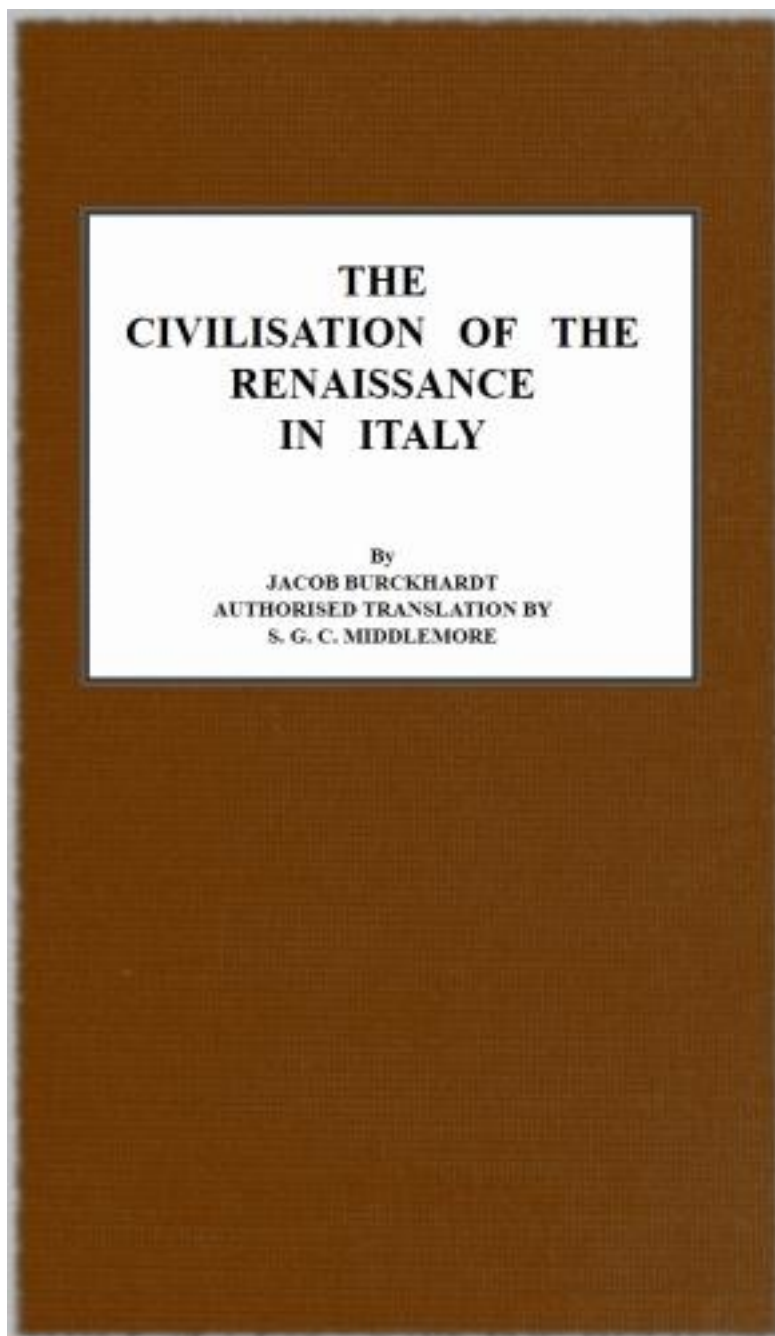


Цивилизация Возрождения в Италии

Джейкоб Буркхардт



Электронная книга проекта "Гутенберг" о цивилизации Возрождения в Италии

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Цивилизация Возрождения в Италии

Автор: Джейкоб Буркхардт

Переводчик: S. G. C. Мидлмор

Дата выхода: 1 февраля 2000 г. [Электронная книга № 2074]

Последнее обновление: 27 января 2021 г.

Язык: Английский

Кредиты: Подготовлено Чаком Грейфом и командой онлайн-корректоров по адресу <http://www.pgdp.net> (Этот файл создан на основе изображений, доступных в интернет-архиве)

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА "ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА ГУТЕНБЕРГА " ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ В ИТАЛИИ " ***

Исправлены некоторые типографские ошибки; [после текста приводится список](#).

Содержание

указателя: [A](#), [B](#), [C](#), [D](#), [E](#), [F](#), [G](#), [H](#), [I](#), [J](#), [K](#), [L](#), [M](#), [N](#), [O](#), [P](#), [R](#), [S](#), [T](#), [U](#), [V](#), [W](#), [Z](#).

Сноски

(примечание переводчика)

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ В ИТАЛИИ

ДЖЕЙКОБ БУРКХАРДТ
АВТОРИЗОВАННЫЙ ПЕРЕВОД
S. G. C. МИДЛМОР

ЛОНДОН: GEORGE ALLEN & UNWIN LTD.
НЬЮ-ЙОРК: КОМПАНИЯ MACMILLAN

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Работа ДОКТОРА Буркхардта о Ренессансе в Италии слишком хорошо известна не только исследователям того периода, но и более широкому кругу читателей, чтобы было необходимо какое-либо введение. Возросший в последние годы в Англии интерес к этой и родственным темам, а также то, как приветствовались работы других авторов по этим темам, побуждают меня надеяться, что публикацией этого перевода я удовлетворю потребность тех, кто либо вообще не умеет читать по-немецки, либо кому английская версия сэкономит много времени и хлопот.

Перевод сделан с третьего издания оригинала, недавно опубликованного в Германии, с небольшими дополнениями к тексту и большими дополнениями к примечаниям, сделанными доктором Людвигом Гейгером из Берлина. В нем также содержатся некоторые свежие сведения, переданные доктором Буркхардтом профессору Диего Вальбусе из Мантуи, итальянскому переводчику книги. Всем трем джентльменам я должен выразить благодарность за проявленную вежливость или помощь, оказанную мне в ходе моей работы.

В нескольких случаях, когда точка зрения доктора Гейгера отличается от точки зрения доктора Буркхардта, я привлекал внимание к этому факту, заключая мнение доктора Гейгера в квадратные скобки и добавляя его инициалы.

ПЕРЕВОДЧИК.

Содержание.

ЧАСТЬ I.

ГОСУДАРСТВО КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА

ГЛАВА I. ВВЕДЕНИЕ.

СТРАНИЦА

Политическое состояние Италии в XIII веке	4
Нормандское государство при Фридрихе II.	5
Эццелино да Романо	7

ГЛАВА II.

ТИРАНИЯ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ВЕКА.

Финансы и их связь с культурой	8
Идеал абсолютного правителя	9
Внутренние и внешние опасности	10
Флорентийская оценка тиранов	11
Висконти	12

ГЛАВА III. ТИРАНИЯ ПЯТНАДЦАТОГО ВЕКА.

Вмешательство и визиты императоров	18
Отсутствие фиксированного закона о престолонаследии. Незаконность	20
Основание кондотьерами государств	22
Отношения кондотьеров со своими работодателями	23
Семья Сфорца	24
Джакомо Пиччинино	25
Более поздние попытки кондотьеров	26

ГЛАВА IV. МЕЛКИЕ ТИРАНИИ.

Бальони из Перуджи	28
Резня в 1500 году	31
Малатеста, Пико и Петруччи	33

ГЛАВА V. ВЕЛИКИЕ ДИНАСТИИ.

Арагонцы в Неаполе	35
Последний Висконти в Милане	38
Франческо Сфорца и его удача	39
Галеаццо Мария и Людовик Моро	40
Гонзага в Мантуе	43
Федерико да Монтефельтро, герцог Урбинский	44
Эсте в Ферраре	46

ГЛАВА VI. ПРОТИВНИКИ ТИРАНИИ.

Более поздние гвельфы и гибеллины	55
Заговорщики	56
Убийства в церкви	57
Влияние древнего тираноубийства	57
Катилина как идеал	59
Флорентийский взгляд на тираноубийство	59
Народ и тираноубийство	60

ГЛАВА VII. РЕСПУБЛИКИ: ВЕНЕЦИЯ И ФЛОРЕНЦИЯ.

Венеция в пятнадцатом веке	62
Жители	63

Опасности со стороны бедной знати	64
Причины стабильности Венеции	65
Совет десяти и политические процессы	66
Отношения с кондотьерами	67
Оптимизм венецианской внешней политики	68
Венеция как родина статистики	69
Замедление эпохи Возрождения	71
Средневековая преданность реликвиям	72
Флоренция четырнадцатого века	73
Объективность о политическом интеллекте	74
Данте как политик	75
Флоренция как родина статистики: два Виллани	76
Высшая форма статистики	77
Флорентийские конституции и историки	82
Фундаментальный порок государства	82
Политические теоретики	83
Макиавелли и его взгляды	84
Сиена и Генуя	86
ГЛАВА VIII.	
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИТАЛЬЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ.	
Зависть к Венеции	88
Отношения с другими странами: симпатия к Франции	89
План баланса сил	90
Иностранное вмешательство и завоевания	91
Союзы с турками	92
Противодействие влиянию Испании	94
Объективный подход к политике	95
Искусство дипломатии	96
ГЛАВА IX.	
ВОЙНА КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА.	
Огнестрельное оружие	98
воины-профессионалы и дилетанты	99
ужасы войны	101
глава X.	
папство и его опасности.	
Отношения папства к Италии и зарубежных	103

стран	
беспорядки в Риме со времен Николая Васильевича	104
Сикста IV. хозяином Рима	105
государств Nipoti в Романье	107
кардиналов, принадлежащих к княжескому дома	107
Иннокентий VIII. и его сын	108
Александр VI. как испанец	109
Отношения с зарубежными странами	110
Симония	111
Цезарь Борджиа и его отношения к своему отцу	111
Планы и деяния Цезаря	112
Юлий II. как спаситель папства	117
Лев X. Его отношения с другими государствами	120
Адриан VI.	121
Климент VII. и разграбление Рима	122
Реакция, последовавшая за последним	123
Папство Контрреформации	124
Заключение. Итальянские патриоты	125

ЧАСТЬ II.

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ.

ГЛАВА I.

ИТАЛЬЯНСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ.

Средневековый человек	129
Пробуждение личности	129
Деспот и его подданные	130
Индивидуализм в республиках	131
Изгнание и космополитизм	132

ГЛАВА II.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ.

Многогранные люди	134
Универсальные люди	136

ГЛАВА III.

СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЛАВЕ.

Отношение Данте к славе	139
Знаменитость гуманистов: Петрарка	141

Култ места рождения и могил	142
Култ знаменитых людей древности	143
Литература местной известности: Падуа	143
Литература всеобщей известности	146
Слава, даруемая или отвергаемая писателями	150
Болезненная страсть к славе	152

ГЛАВА IV. СОВРЕМЕННОЕ ОСТРОУМИЕ И САТИРА.

Его связь с индивидуализмом	154
Флорентийское остроумие: роман	155
Шуты и буффонады	156
Лев X. и его остроты	157
Поэтические пародии	158
Теория остроумия	159
Поношение	161
Адриан VI. козел отпущения	162
Пьетро Аретино	164

ЧАСТЬ III. ВОЗРОЖДЕНИЕ АНТИЧНОСТИ.

ГЛАВА I. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.

Расширенное применение слова "Ренессанс"	171
Античность в средние века	172
Латинская поэзия двенадцатого века в Италии	173
Дух четырнадцатого века	175

ГЛАВА II. РИМ, ГОРОД РУИН.

Данте, Петрарка, Уберти	177
Рим во времена Поджо	179
Николай V. и Пий II. как антиквар	180
Древность за пределами Рима	181
Принадлежность семей и городов к Риму	182
Римский труп	183
Раскопки и архитектурные планы	184
Рим при Льве X.	184
Сентиментальный эффект руин	185

ГЛАВА III. СТАРЫЕ АВТОРЫ.

Их распространение в четырнадцатом веке	187
Открытия в пятнадцатом веке	188
Библиотеки	189
Переписчики и "скриттори"	192
Книгопечатание	194
Греческая наука	195
Востоковедение	197
Взгляд Пико на античность	202
ГЛАВА IV.	
ГУМАНИЗМ В ЧЕТЫРНАДЦАТОМ ВЕКЕ.	
Его неизбежная победа	203
Данте, Петрарка и Боккаччо	205
Коронация поэтов	207
ГЛАВА V.	
УНИВЕРСИТЕТЫ И ШКОЛЫ.	
Позиция гуманистов в университетах	211
Латинские школы	213
Более свободное образование: Витторино да Фельтре	213
Гуарино Веронский	215
Воспитание принцев	216
ГЛАВА VI.	
СТОРОННИКИ ГУМАНИЗМА.	
Граждане Флоренции: Никколи и Манетти	217
Более ранние Медичи	220
Гуманизм при дворах	222
Папы начиная с Николая V.	223
Альфонсо Неаполитанский	225
Фредерик Урбинский	227
Дома Сфорца и Эсте	227
Сигизмодо Малатеста	228
ГЛАВА VII.	
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АНТИЧНОСТИ. ЛАТИНСКАЯ ПЕРЕПИСКА И РЕЧИ.	
Папская канцелярия	230
Написание писем	232
Ораторы	233
Политические, дипломатические и надгробные речи	236

Академические и военные речи	237
Латинские проповеди	238
Форма и содержание речей	239
Страсть к цитированию	240
Воображаемые речи	241
Упадок красноречия	242

ГЛАВА VIII. ЛАТИНСКИЕ ТРАКТАТЫ И ИСТОРИЯ.

Ценность латыни	243
Исследования по средневековью: Блондус	245
Истории на итальянском; их античный дух	246

ГЛАВА IX. ОБЩАЯ ЛАТИНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ.

Древние имена	250
Латинизированные социальные отношения	251
Претензии латыни на превосходство	252
Цицерон и цицеронцы	253
Разговоры на латыни	254

ГЛАВА X. СОВРЕМЕННАЯ ЛАТИНСКАЯ ПОЭЗИЯ.

Эпические поэмы по древней истории:	258
"Африка"	
Мифическая поэзия	259
Христианский эпос: Санназаро	260
Поэзия на современные темы	261
Введение в мифологию	262
Дидактическая поэзия: Палингений	263
Лирическая поэзия и ее пределы	264
Оды святым	265
Элегии и тому подобное	266
Эпиграмма	267

ГЛАВА XI. ПАДЕНИЕ ГУМАНИСТОВ В ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВЕК.

Обвинения и доля правды, которую они	272
содержали	
Страдания ученых	277
Тип счастливого ученого	278
Помпонию Летус	279

Академии	280
ЧАСТЬ IV.	
ОТКРЫТИЕ МИРА И ЧЕЛОВЕКА.	
ГЛАВА I.	
ПУТЕШЕСТВИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ.	
Колумб	286
Космографическая цель путешествия	287
ГЛАВА II.	
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ В ИТАЛИИ.	
Эмпирическая тенденция нации	289
Данте и астрономия	290
Отношение Церкви к естествознанию	290
Влияние гуманизма	291
Ботаника и сады	292
Зоология и коллекции иностранных животных	293
Человеческий зверинец Ипполито Медичи	296
ГЛАВА III.	
ОТКРЫТИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ КРАСОТЫ.	
Пейзажи в средние века	299
Петрарка и его восхождения на горы	301
"Диттамондо" Уберти	302
Фламандская школа живописи	302
Эней Сильвиус и его описания	303
Природа у поэтов и романистов	305
ГЛАВА IV.	
ОТКРЫТИЕ ЧЕЛОВЕКА.—ДУХОВНОЕ ОПИСАНИЕ В ПОЭЗИИ.	
Популярная психологическая разработка.	309
Темпераменты	
Ценность рифмованной поэзии	310
Ценность сонета	310
Данте и "Новой жизни"	312
"Божественной комедии"	312
Петрарка как художник души	314
Боккаччо и "Фьяметты"	315
Слабое развитие трагедии	315
Сценическое великолепие, враг драмы	316
Интермеццо и балет	317
Комедии и маски	320

Компенсация, предоставляемая музыкой	321
Эпические романы	321
Необходимая подчиненность описаний персонажей	323
Пульчи и Бохардо	323
Внутренний закон их сочинений	324
Ариосто и его стиль	325
Фоленго и пародия	326
Контраст, предлагаемый Тассо	327
ГЛАВА V. БИОГРАФИЯ.	
Продвижение Италии в Средние века	328
Тосканские биографы	330
Биография в других частях Италии	332
Автобиография; Эней Сильвий	333
Бенвенуто Челлини	333
Джироламо Кардано	334
Луиджи Корнаро	335
ГЛАВА VI. ОПИСАНИЕ НАЦИЙ И ГОРОДОВ.	
"Диттамондо"	339
Описаний в шестнадцатом веке	339
ГЛАВА VII. ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ЧЕЛОВЕКА.	
Боккаччо о красоте	344
Идеал Фиренцуолы	345
Его общие определения	345
ГЛАВА VIII. ОПИСАНИЯ ЖИЗНИ В ДВИЖЕНИИ.	
Эней Сильвиус и другие	349
Традиционная буколическая поэзия времен Петрарки	350
Подлинная поэтическая трактовка сельской жизни	351
Баттиста Мантовано, Лоренцо Магнифико, Пульчи	352
Анджело Полициано	353
Человек и концепция человечности	354

Пико делла Мирандола о достоинстве человека	354
--	-----

ЧАСТЬ V. ОБЩЕСТВО И ПРАЗДНИКИ.

ГЛАВА I. УРАВНЕНИЕ КЛАССОВ.

Контраст со средневековьем	359
Обычная жизнь дворян и бюргеров в городах	359
Теоретическая критика благородного происхождения	360
Дворяне в разных частях Италии	362
Дворянство и культура	363
Дурное влияние Испании	363
Рыцарство со времен средневековья	364
Турниры и карикатуры на них	365
Благородное происхождение как обязательное условие придворного	367

ГЛАВА II. ВНЕШНЯЯ УТОНЧЕННОСТЬ ЖИЗНИ.

Костюм и мода	369
туалете женщин	371
чистоты	374
в 'Galateo и хорошими манерами	375
комфорт и элегантность	376

Глава III. ЯЗЫК КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ.

Развитие идеального языка	378
своего широкого распространения	379
пуристов	379
их хотят успеха	382
разговор	383

Глава IV. ВЫСШИЕ ФОРМЫ ОБЩЕСТВА.

Правила и статуты	384
Романисты и их общество	384
Знатная дама и гостиная	385
Флорентийское общество	386
Описания Лоренцо своего собственного круга	387

ГЛАВА V.
СОВЕРШЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК ОБЩЕСТВА.

Его занятия любовью	388
Его внешние и духовные достижения	389
Физические упражнения	389
Музыка	390
Инструменты и виртуозы	392
Музыкальный дилетантизм в обществе	393

ГЛАВА VI.
ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН.

Их мужское воспитание и поэзия	396
Завершение их личности	397
Мегера	398
Женщины в обществе	399
Культура проституток	399

ГЛАВА VII.
ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО.

Контраст со средневековьем	402
Аньоло Пандольфини (Л. Б. Альберти)	402
Вилла и загородная жизнь	404

ГЛАВА VIII.
ФЕСТИВАЛИ.

Их происхождение в мистерии и процессии	406
Преимущества перед зарубежными странами	408
Исторические представители абстракций	409
Мистерии	411
Корпус-Кристи в Витербо	414
Светские представления	415
Пантомимы и княжеские приемы	417
Процессии и религиозные триумфы	419
Светские триумфы	420
Регаты и шествия по воде	424
Карнавал в Риме и Флоренции	426

ЧАСТЬ VI.
МОРАЛЬ И РЕЛИГИЯ.

ГЛАВА I.
МОРАЛЬ.

Пределы критики	431
-----------------	-----

Итальянское сознание деморализации	432
Современное чувство чести	433
Сила воображения	435
Страсть к азартным играм и мести	436
Нарушение брачных уз	441
Положение замужней женщины	442
Одухотворение любви	445
Всеобщее освобождение от моральных ограничений	446
Разбой	448
Оплаченное убийство: отравление	450
Абсолютное зло	453
Мораль и индивидуализм	454
ГЛАВА II. РЕЛИГИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ.	
Отсутствие реформации	457
Отношения итальянцев к Церкви	457
Ненависть к иерархии и монахам	458
Нищенствующие ордена	462
Доминиканская инквизиция	462
Высшие монашеские ордена	463
Чувство зависимости от Церкви	465
Проповедники покаяния	466
Джироламо Савонарола	473
Языческие элементы в народных верованиях	479
Вера в реликвии	481
Мариолатрия	483
Колебания общественного мнения	485
Эпидемические религиозные пробуждения	485
Их пресечение полицией Феррары	487
ГЛАВА III. РЕЛИГИЯ И ДУХ ВОЗРОЖДЕНИЯ.	
Неизбежная субъективность	490
Мирскость	492
Терпимость к магометанству	492
Эквивалентность всех религий	494
Влияние античности	495

Так называемые эпикурейцы	496
Доктрина свободной воли	497
Благочестивые гуманисты	499
Менее выраженные гуманисты	499
Кодрус Урсей	500
Зачатки религиозной критики	501
Фатализм гуманистов	503
Их языческая внешность	504

ГЛАВА IV.

СМЕСЬ ДРЕВНИХ И СОВРЕМЕННЫХ СУЕВЕРИЙ.

Астрология	507
Ее распространение и влияние	508
Ее противники в Италии	515
Противодействие и влияние Пико	516
Различные суеверия	518
Суеверия гуманистов	519
Призраки усопших	522
Вера в демонов	523
Итальянская ведьма	524
Гнездо ведьм в Норче	526
Влияние и пределы северного колдовства	528
Колдовство проституток	529
Маги и чародейки	530
Демоны на пути в Рим	531
Особые формы магии: Телесматы	533
Магия при закладке фундамента	534
Некромант в поэзии	535
Сказка Бенвенуто Челлини	536
Упадок магии	537
Особые ветви суеверия	538

ГЛАВА V.

ОБЩИЙ РАСПАД ВЕРЫ.

Последнее признание Босколи	543
Религиозный беспорядок и общий скептицизм	543
Споры о бессмертии	545
Языческие небеса	545
Грядущая гомеровская жизнь	546

ЧАСТЬ I.

ГОСУДАРСТВО КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА.

ГЛАВА I.

ВВЕДЕНИЕ.

ЭТА работа носит название эссе в самом строгом смысле этого слова. Никто лучше писателя не осознает, с какими ограниченными средствами и силами он взялся за столь трудную задачу. И даже если бы он мог с большей уверенностью относиться к своим собственным исследованиям, вряд ли он тем самым чувствовал бы себя более уверенным в одобрении компетентных судей. Каждому глазу, возможно, очертания данной цивилизации предстают по-разному; и при описании цивилизации, которая является матерью нашей собственной и чье влияние все еще действует на нас, неизбежно, что индивидуальные суждения и чувства должны сказываться в каждый момент как на писателе, так и на читателе. В широком океане, на который мы отваживаемся, существует множество возможных путей и направлений; и те же исследования, которые послужили для этой работы, в других руках могли бы легко не только получить совершенно иную трактовку и применение, но и привести к существенно иным выводам. Важность этого предмета действительно такова, что он все еще требует нового исследования и может быть с пользой изучен с самых различных точек зрения. В то же время мы будем довольны, если нас выслушают терпеливо и если эту книгу возьмут и оценят в целом. Самая серьезная трудность в истории цивилизации состоит в том, что великий интеллектуальный процесс должен быть разбит на отдельные и часто кажущиеся произвольными категории, чтобы быть каким-либо образом понятным. Ранее у нас было намерение восполнить пробелы в этой книге специальной работой об "Искусстве Возрождения", — намерение, однако, которое мы смогли реализовать лишь[1] частично.

Борьба между папами и Гогенштауфенами привела Италию к политическому состоянию, существенно отличавшемуся от положения в других странах Запада. В то время как во Франции, Испании и Англии феодальная система была организована так, что к концу своего существования она естественным образом трансформировалась в единую монархию, и в то время как в Германии она помогала поддерживать, по крайней мере внешне, единство империи, Италия почти полностью от нее избавилась. Императоров четырнадцатого века, даже в самом благоприятном случае, больше принимали и уважали не как феодалов, а как

возможных лидеров и сторонников уже существующих держав; в то время как папство,[2] со своими созданиями и союзниками, было достаточно сильным, чтобы препятствовать национальному единству в будущем, но недостаточно сильным само по себе, чтобы добиться этого единства. Между ними лежало множество политических образований — республик и деспотий — частично давних, частично недавних, чье существование было основано просто на их способности поддерживать его.[3] В них мы впервые обнаруживаем современный политический дух Европы, свободно отдавшийся собственным инстинктам, часто проявляющий худшие черты необузданного эгоизма, попирающий всякое право и убивающий все зародыши здоровой культуры. Но везде, где эта порочная тенденция преодолевается или каким-либо образом компенсируется, в истории появляется новый факт — государство как результат размышлений и расчетов, государство как произведение искусства. Эта новая жизнь проявляется в сотне форм, как в республиканских, так и в деспотических государствах, и определяет их внутреннее устройство не в меньшей степени, чем их внешнюю политику. Мы ограничимся рассмотрением более полного и четко определенного типа, который предлагают деспотические государства.

Внутреннее состояние деспотически управляемых государств имело запоминающийся аналог в Нормандской империи Нижней Италии и Сицилии после ее преобразования императором Фридрихом II.[4] Выросший среди измены и опасностей по соседству с сарацинами, Фридрих, первый правитель современного типа, восседавший на троне, рано приучил себя, как в критике, так и в действиях, к совершенно объективному подходу к делам. Его знакомство с внутренним состоянием и управлением сарацинских государств было близким; и смертельная борьба, в которую он был вовлечен с папством, вынудила его, не меньше, чем его противников, задействовать все имеющиеся в его распоряжении ресурсы. Меры Фридриха (особенно после 1231 года) направлены на полное разрушение феодального государства, на превращение народа во множество, лишенное воли и средств сопротивления, но в высшей степени выгодное для казны. Он централизовал, способом, доселе неизвестным на Западе, всю судебную и политическую администрацию, передав имперским судьям право обжалования из феодальных судов, которое, однако, не отменил. Отныне ни одна должность не могла быть замещена путем всенародных выборов под страхом разорения провинившегося округа и порабощения его жителей. Были введены акцизы; налоги, основанные на всесторонней оценке и распределяемые в соответствии с мусульманскими обычаями, взимались теми жестокими и досадными методами, без которых, правда, невозможно получить никаких денег от жителей Востока. Короче говоря, здесь мы находим не народ, а просто дисциплинированное множество подданных; которым, например, запрещалось вступать в брак за пределами страны без специального разрешения и ни при каких обстоятельствах не разрешалось учиться за границей. Неаполитанский университет был первым известным нам университетом, ограничившим свободу обучения, в то время как Восток, во всяком случае, в этом отношении, оставил свою молодежь свободной. Именно по примеру мусульманских правителей Фридрих вел торговлю за свой счет во всех частях Средиземноморья, оставляя за собой монополию на многие товары и различными способами ограничивая торговлю своих подданных. Фатимитские халифы, при всем их эзотерическом неверии, были, по крайней мере в своей ранней истории, терпимы к различиям в религиозной вере своего народа; Фридрих, с другой стороны, увенчал свою систему правления религиозной инквизицией, которая покажется тем более предосудительной, если мы вспомним, что в лице еретиков он преследовал представителей свободной муниципальной жизни. Наконец, внутренняя полиция и ядро армии для внешней

службы состояли из сарацин, привезенных с Сицилии в Ночеру и Луцерию, — людей, которые были глухи к воплям о несчастье и не обращали внимания на запрет Церкви. В более поздний период подданные, для которых применение оружия было давно забыто, были пассивными свидетелями падения Манфреда и захвата власти Карлом Анжуйским; последний продолжал использовать систему, которая, как он обнаружил, уже действовала.

На стороне императора-централиста появился узурпатор самого необычного толка: его наместник и зять Эццелино да Романо. Он не является представителем никакой системы правления или администрации, поскольку вся его деятельность была потрачена впустую в борьбе за господство в восточной части Верхней Италии; но как политический тип он был фигурой не менее важной для будущего, чем его императорский покровитель Фридрих. Завоевания и узурпации, которые до сих пор имели место в Средние века, основывались на реальном или мнимом наследовании и других подобных притязаниях, либо же осуществлялись против неверующих и отлученных от церкви лиц. Здесь впервые была открыто предпринята попытка основать трон путем массовых убийств и бесконечных варварств, короче говоря, путем применения любых средств, не преследующих ничего, кроме преследуемой цели. Никто из его преемников, даже Цезарь Борджиа, не мог сравниться с колоссальной виной Эццелино; но однажды поданный пример не был забыт, и его падение не привело к восстановлению справедливости среди народов и не послужило предупреждением будущим преступникам.

Напрасно в то время святой Фома Аквинский, прирожденный подданный Фридриха, выдвинул теорию конституционной монархии, в которой принца должна была поддерживать верхняя палата, назначенная им самим, и представительный орган, избранный народом; напрасно он уступил народу право на революцию.[5] Подобные теории не находили отклика за пределами лекционного зала, а Фредерик и Эццелино были и остаются для Италии великими политическими феноменами XIII века. Их личность, уже наполовину легендарная, составляет важнейшую тему "Ста старых сказок", первоначальное сочинение которых, безусловно, относится к этому столетию.[6] В них Фредерик уже представлен как обладающий правом поступать с собственностью своих подданных, как ему заблагорассудится, и оказывающий на всех, даже на преступников, глубокое влияние силой своей личности; об Эццелино говорят с благоговением, которое оставляют после себя все великие впечатления. Его личность стала центром целой литературы от хроники очевидцев до полумифической трагедии[7] более поздних поэтов.

Сразу после падения Фридриха и Эццелино на сцене появилась толпа тиранов. Борьба между гвельфами и гибеллинами стала для них благоприятной возможностью. В целом они выступали как лидеры гибеллинов, но временами и при столь различных условиях, что невозможно не признать в этом факте закон высшей и всеобщей необходимости. Средства, которые они использовали, были уже знакомы по партийной борьбе прошлого — изгнание или уничтожение их противников и семей их противников.

ГЛАВА II.

ТИРАНИЯ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ВЕКА.

Тирании, большие и малые, четырнадцатого века служат постоянным доказательством того, что подобные примеры не были отброшены. Их злодеяния громко кричали об этом и были подробно

описаны историками. Как государства, зависящие в своем существовании только от самих себя и научно организованные с целью достижения этой цели, они представляют для нас больший интерес, чем простое повествование.

Преднамеренное приспособление средств к целям, о котором в то время не имел представления ни один правитель за пределами Италии, в сочетании с почти абсолютной властью в пределах государства породило среди деспотов как людей, так и образ жизни особого характера.[8] Главный секрет управления в руках благоразумного правителя заключался в том, чтобы по возможности оставить сферу налогообложения там, где он ее нашел, или так, как он ее изначально организовал. Основными источниками дохода были: земельный налог, основанный на оценке стоимости; определенные налоги на предметы потребления и пошлины на экспортируемые и импортируемые товары; а также личное состояние правящего дома. Единственное возможное увеличение было получено за счет роста бизнеса и общего процветания. Займы, подобные тем, которые мы находим в вольных городах, были здесь неизвестны; хорошо спланированная конфискация считалась предпочтительным средством сбора денег при условии, что она оставляла непоколебимым государственный кредит - цель, которая достигалась, например, истинно восточной практикой смещения и разграбления финансового директора.[9]

Из этого дохода покрывались расходы на содержание малого двора, телохранителей, наемных войск и общественных зданий, а также на шутов и талантливых людей, принадлежавших к личной свите принца. Незаконность его правления изолировала тирана и окружала его постоянной опасностью; самый почетный союз, который он мог заключить, заключался с интеллектуальными достоинствами, независимо от их происхождения. Щедрость северных князей XIII века была свойственна только рыцарям, знати, которая служила и пела. Иначе обстояло дело с итальянским деспотом. С его жаждой славы и страстью к монументальным произведениям ему нужен был талант, а не рождение. В обществе поэта и ученого он чувствовал себя в новом положении, почти обретая новую легитимность.

Ни один принц не был более знаменит в этом отношении, чем правитель Вероны Кан Гранде делла Скала, который числился среди знаменитых изгнанников, которых он принимал при своем дворе, представителей всей Италии.[10] Литераторы не были неблагодарными. Петрарка, чьи визиты при дворах таких людей подвергались столь суровому осуждению, нарисовал идеальный образ принца четырнадцатого века.[11] Он требует великих свершений от своего покровителя, сеньора Падуи, но таким образом, который показывает, что он считает его способным на это. "Ты должен быть не господином, а отцом своих подданных и должен любить их как своих детей; да, как членов своего тела.[12] Оружие, охрану и солдат ты можешь использовать против врага — для твоих подданных достаточно доброй воли. Под гражданами, конечно, я подразумеваю тех, кто любит существующий порядок; ибо те, кто ежедневно желает перемен, являются мятежниками и предателями, и против такого сурового правосудия может свершиться все, что угодно".

Далее следует, детально проработанная, чисто современная фикция о всемогуществе государства. Принц должен быть независим от своих придворных, но в то же время управлять с простотой и скромностью; он должен взять все в свои руки, содержать и реставрировать церкви и общественные здания, содержать муниципальную полицию,[13] осушать болота, следить за поставками вина и кукурузы; он должен осуществлять строгую справедливость,

чтобы распределять налоги, которые необходимы. народ может осознать свою необходимость и сожаление правителя о том, что он вынужден залезать в карманы других; он должен поддерживать больных и беспомощных и оказывать свою защиту и общество выдающимся ученым, от которых будет зависеть его слава в последующие века.

Но какими бы ни были светлые стороны системы и заслуги отдельных правителей, все же люди четырнадцатого века не были лишены более или менее отчетливого осознания краткости и ненадежности правления большинства из этих деспотий. Поскольку подобные политические институты естественным образом надежны пропорционально размеру территории, на которой они существуют, более крупные княжества постоянно испытывали искушение поглотить более мелкие. Целые гекатомбы мелких правителей были принесены в жертву в то время одному только Висконти. В результате этой внешней опасности внутреннее брожение находилось в непрестанной активности, и влияние ситуации на характер правителя было, как правило, самого зловещего рода. Абсолютная власть, с ее соблазнами роскоши и необузданного эгоизма, а также опасности, которым он подвергался со стороны врагов и заговорщиков, почти неизбежно превратили его в тирана в худшем смысле этого слова. Хорошо для него, если бы он мог доверять своим ближайшим родственникам! Но там, где все было незаконным, не могло быть обычного закона о наследовании, ни в отношении наследования, ни в отношении разделасобственности правителя; и, следовательно, наследник, если он был недееспособен или несовершеннолетний, в интересах самой семьи должен был быть заменен дядей или двоюродным братом с более решительным характером. Признание или исключение бастардов было плодотворным источником соперничества; и в результате большинство этих семей были окружены толпой недовольных и мстительных родственников. Это обстоятельство приводило к постоянным вспышкам измены и ужасным сценам домашнего кровопролития. Иногда претенденты жили за границей в изгнании и, подобно Висконти, который занимался рыболовством на озере Гарда,^[14] рассматривали ситуацию с терпеливым безразличием. Когда посланец его соперника спросил, когда и как он думает вернуться в Милан, он ответил: 'Теми же средствами, какими я был изгнан, но не раньше, чем его преступления перевесят мои собственные'. Иногда также деспот приносился своими родственниками в жертву общественной совести, которую он слишком грубо оскорблял, с целью спасения семьи.^[15] В некоторых случаях правительство находилось в руках всей семьи или, по крайней мере, правитель был обязан прислушиваться к их совету; и здесь тоже распределение собственности и влияния часто приводило к ожесточенным спорам.

Вся эта система вызывала глубокую и стойкую ненависть флорентийских писателей той эпохи. Даже помпезность и показуха, с помощью которых деспот, возможно, меньше стремился удовлетворить свое собственное тщеславие, чем произвести впечатление на народное воображение, вызвали у них острейший сарказм. Горе авантюристу, если он попадет в их руки, подобно выскочке, дожу Агуэлло из Пизы (1364), который обычно выезжал верхом с золотым скипетром и показывался в окне своего дома, "как показывают реликвии". Возлежа на расшитых драпировках и подушках, ему прислуживали, как папе или императору, коленопреклоненные слуги.^[16] Однако чаще старые флорентийцы говорят на эту тему с возвышенной серьезностью. Данте хорошо видел и охарактеризовал вульгарность и заурядность, которыми отмечены амбиции новых принцев.^[17] "Что означают их трубы и колокола, их рога и флейты; но приди, палач, приди, стервятники?" Замок тирана, каким его рисует народное сознание, представляет собой высокое и уединенное здание, полное подземелий и подслушивающих трубок,^[18] обитель жестокости и страданий. Несчастье

предсказано всем, кто поступает на службу к деспоту, [19] который даже сам в конце концов становится объектом жалости: он, должно быть, враг всех хороших и честных людей; он никому не может доверять и может прочесть на лицах своих подданных ожидание своего падения. "По мере того, как деспотии возникают, разрастаются и консолидируются, в их среде растет скрытый элемент, который должен привести к их распаду". [20] Но глубочайшая причина неприязни не была указана; Флоренция была тогда ареной наиболее богатого развития человеческой индивидуальности, в то время как для деспотов не могло быть позволено жить и процветать никакой другой индивидуальности, кроме их собственной и их ближайших иждивенцев. Контроль за каждым человеком осуществлялся неукоснительно, вплоть до создания паспортной системы. [21]

Астрологические суеверия и религиозное неверие многих тиранов придавали в умах их современников особую окраску этому ужасному и забытому Богом существованию. Когда последний каррарец больше не мог защищать стены и ворота пораженной чумой Падуи, окруженной со всех сторон венецианцами (1405 г.), солдаты гвардии услышали, как он взывал к дьяволу, "чтобы тот пришел и убил его".

Наиболее полный и поучительный образ тирании четырнадцатого века, несомненно, можно найти у Висконти миланского, начиная со смерти архиепископа Джованни (1354). Семейное сходство, проявляющееся между Бернабо и худшим из римских императоров, безошибочно; [22] самым важным общественным объектом была охота принца на кабана; любой, кто вмешивался в это, был предан смерти с применением пыток; напуганные люди были вынуждены содержать 5000 гонимых собак со строгой ответственностью за их здоровье и безопасность. Налоги вымогались всеми мыслимыми способами принуждения; семь дочерей принца получили приданое в размере 100 000 золотых флоринов каждая; и было собрано огромное сокровище. После смерти его жены (1384) был издан приказ 'подданным' разделить его горе, как когда-то они разделяли его радость, и носить траур в течение года. *Государственный переворот* (1385), с помощью которого его племянник Джангалеаццо привел его к власти, — один из тех блестящих заговоров, которые заставляют сердце даже поздних историков биться быстрее [23] — был поразительно характерен для этого человека. Джангалеаццо, презираемый своими родственниками за свою религию и любовь к науке, решил отомстить и, покинув город под предлогом паломничества, напал на своего ничего не подозревающего дядю, взял его в плен, силой вернулся в город во главе вооруженного отряда, захватил правительство и отдал дворец Бернабо на всеобщее разграбление.

В Джангалеаццо та страсть к колоссальному, которая была свойственна большинству деспотов, проявляется в самом широком масштабе. Он предпринял, ценой в 300 000 золотых флоринов, строительство гигантских дамб, чтобы в случае необходимости отвести Минчо от Мантуи и Бренту от Падуи и таким образом сделать эти города беззащитными. [24] Не исключено, что он думал осушить лагуны Венеции. Он основал самый замечательный из всех монастырей, Чертозу Павии, [25] и Миланский кафедральный собор, 'который превосходит по размерам и великолепию все церкви христианского мира'. Дворец в Павии, строительство которого начал его отец Галеаццо и который он сам достроил, был, вероятно, самым великолепным из королевских жилищ Европы. Туда он перенес свою знаменитую библиотеку и огромную коллекцию реликвий святых, в которые он особенно верил. Король Винцеслав сделал его герцогом (1395); он надеялся ни на что иное, как на Королевство Италия [26] или императорскую корону, когда (1402) он заболел и умер. Говорят, что все его территории выплатили ему за один

год, помимо обычного взноса в размере 1 200 000 золотых флоринов, еще не менее 800 000 в виде чрезвычайных субсидий. После его смерти владения, которые он объединил всевозможным насилием, распались на куски; и какое-то время его преемникам с трудом удавалось поддерживать даже первоначальное ядро. Трудно сказать, что могло бы стать с его сыновьями Джованни Марией (умер в 1412 году) и Филиппо Марией (умер в 1417 году), если бы они жили в другой стране и среди других традиций. Но, как наследники своего дома, они унаследовали тот чудовищный капитал жестокости и трусости, который накапливался из поколения в поколение.

Джованни Мария тоже прославился своими собаками, которых, однако, использовали уже не для охоты, а для разрывания человеческих тел. Традиция сохранила их названия, как и у медведей императора Валентиниана I.^[27] В мае 1409 года, когда шла война, и голодающее население кричало ему на улицах: "Шагай!" *Быстрее!* он натравил на них своих наемников, и 200 жизней были принесены в жертву; под страхом виселицы было запрещено произносить слова *pace* и *guerra*, а священникам было приказано вместо *dona nobis pacem* произносить *tranquillitatem*! Наконец, банда заговорщиков воспользовалась моментом, когда Фачино Кейн, главный кондотьер безумного правителя, лежал больной в Павии, и зарубила Джован Марию в церкви Сан-Готтардо в Милане; умирающий Фачино в тот же день заставил своих офицеров поклясться поддерживать наследника Филиппо Марию, которого он сам убедил свою жену^[28] взять на воспитание второй муж. Его жена, Беатриче ди Тенда, последовала его совету. Позже у нас будет возможность поговорить о Филиппо Марии.

И в подобные времена Кола ди Риенци мечтал основать на шатком энтузиазме коррумпированного населения Рима новое государство, которое должно было охватить всю Италию. Рядом с правителями, подобными тем, кого мы описали, он кажется не лучше бедного введенного в заблуждение дурака.

ГЛАВА III.

ТИРАНИЯ ПЯТНАДЦАТОГО ВЕКА.

Деспотизм пятнадцатого века демонстрирует изменившийся характер. Многие из менее значительных тиранов и некоторые из более великих, такие как Скала и Каррара, исчезли, в то время как более могущественные, возвеличенные завоеваниями, придали каждой из своих систем характерное развитие. Неаполь, например, получил свежий и более сильный импульс от новой династии Арагонцев. Поразительной чертой этой эпохи является попытка кондотьеров основать собственные независимые династии. Факты и действительные отношения между вещами, помимо традиционных оценок, принимаются во внимание только сами по себе; талант и смелость выигрывают большие призы. Мелкие деспоты, чтобы заручиться надежной поддержкой, начинают поступать на службу к более крупным государствам и сами становятся кондотьерами, получая в обмен на свои услуги деньги и безнаказанность за свои злодеяния, если не увеличение территории. Все, будь то малые или великие, должны больше напрягаться, действовать с большей осторожностью и расчетом и должны научиться воздерживаться от слишком массового варварства; общественное мнение допускает только столько зла, сколько необходимо для достижения поставленной цели, и в этом беспристрастный наблюдатель, безусловно, не найдет вины. Здесь не видно и следа той полурелигиозной лояльности, которой пользовались законные правители Запада; личная популярность - это ближайший подход,

который мы можем найти к ней. Талант и расчет - единственные средства продвижения. Характер, подобный характеру Карла Смелого, истощившего себя в страстном стремлении к неосуществимым целям, был загадкой для итальянца. ' Швейцарцы были всего лишь крестьянами, и если бы их всех убили, это не принесло бы удовлетворения бургундской знати, которая могла пасть в войне. Если бы герцог получил во владение всю Швейцарию без борьбы, его доход не был бы на 5000 дукатов больше".[29] Средневековые черты характера Карла, его рыцарские устремления и идеалы давно стали непонятны итальянцу. Дипломаты Юга, когда увидели, что он бьет своих офицеров и все же держит их у себя на службе, когда он жестоко обращался со своими войсками, чтобы наказать их за поражение, а затем возложил вину на своих советников в присутствии тех же войск, сочли его погибшим.[30] Людовик XI, с другой стороны, чья политика превосходит политику итальянских князей в их собственном стиле и который был признанным поклонником Франческо Сфорца, должен быть поставлен во всем, что касается культуры и утонченности, намного ниже этих правителей.

Добро и зло странным образом смешались в итальянских государствах пятнадцатого века. Личность правителя настолько высокоразвита, часто имеет такое глубокое значение и настолько характерна для условий и потребностей времени, что сформировать адекватное моральное суждение о ней - непростая задача.[31]

Основа системы была и оставалась незаконной, и ничто не могло снять лежащее на ней проклятие. Императорское одобрение или инвеститура ничего не меняли в этом вопросе, поскольку народ не придавал большого значения тому факту, что деспот купил кусок пергамента где-то в чужих странах или у какого-то незнакомца, проезжавшего через его территорию.[32] Если бы Император был хоть на что—то годен - так гласит логика не критичного здравого смысла — он бы вообще никогда не позволил тирану подняться. Со времен римского похода Карла IV императоры не сделали в Италии ничего большего, чем санкционировали тиранию, возникшую без их помощи; они не могли наделить ее никакой другой практической властью, кроме той, которая могла вытекать из императорской хартии. Все поведение Карла в Италии было скандальной политической комедией. Маттео Виллани[33] рассказывает, как Висконти сопровождал его по своей территории и, наконец, покинул ее; как он ходил, как лоточник, продавая свои товары (привилегии и т.д.) За деньги; какой подлый вид он имел в Риме и как в конце, даже не обнажив меча, вернулся с пополненной казной через Альпы. Тем не менее патристические энтузиасты и поэты, преисполненные величия прошлого, возлагали на его приход большие надежды, которые впоследствии были рассеяны его жалким поведением. Петрарка, который часто писал императору письма, призывавшие его перейти Альпы, вернуть Риму его ушедшее величие и основать новую всемирную империю, теперь, когда император, наплевав на эти грандиозные проекты, наконец прибыл, все еще надеялся увидеть осуществление своих мечтаний, неустанно стремился устно и письменно произвести им впечатление на императора, но в конце концов был с отвращением отогнан от него, когда он увидел, что императорская власть обесчещена подчинением Карла папе.[34] Сигизмунд пришел, по крайней мере, в первый раз (1414), с добрым намерением убедить Иоанна XXIII. чтобы принять участие в его совете; именно в том путешествии, когда папа и император смотрели с высокой башни Кремоны на панораму Ломбардии, их хозяина, тирана Габина Фондоло, охватило желание свергнуть их обоих. Во время своего второго визита Сигизмунд прибыл как простой авантюрист, не предоставив никаких доказательств своих императорских прерогатив, за исключением коронации Беккаделли как поэта; более полугода он оставался взаперти в Сиене, как должник в тюрьме, и лишь с трудом, и то в более поздний период,

добился коронации в Риме. А что можно подумать о Фридрихе III?.. Его поездки в Италию носят характер отпускных поездок или увеселительных туров, совершаемых за счет тех, кто хотел, чтобы он подтвердил их прерогативы, или чьему тщеславию льстило принимать императора. Последнее было в случае с Альфонсо Неаполитанским, который заплатил 150 000 флоринов за честь императорского визита.[35] В Ферраре,[36] по своему второму возвращению из Рима (1469 г.) Фридрих провел целый день, не выходя из своей комнаты, раздавая не менее восьмидесяти титулов; он создал рыцарей, графов, докторов, нотариусов — графов, действительно, разных степеней, как, например, графов палатинских, графов с правом создавать докторов до пяти, графов с правом узаконить ублюдков, назначить нотариусов и так далее. Канцлер, однако, ожидал в обмен на рассматриваемые патенты вознаграждения, которое в Ферраре сочли чрезмерным.[37] Мнение Борсо, который сам создал герцога Модены и Реджо в обмен на ежегодную выплату 4000 золотых флоринов, когда его императорский покровитель раздавал титулы и дипломы всему маленькому двору, не упоминается. Гуманисты, в то время главные представители эпохи, разделились во мнениях в соответствии со своими личными интересами, в то время как некоторые из них[38] из них обычными приветствиями поэтов императорского Рима. Поджио[39] признался, что больше не знает, что означала коронация; в старые времена короновали только победоносного императора, а затем его венчали лавром.[40]

С Максимилиана I. начинается не только всеобщее вмешательство иностранных государств, но и новая имперская политика в отношении Италии. Первый шаг — наделение Людовико Моро герцогством Миланским и исключение его несчастного племянника — был не из тех, что могли принести хорошие плоды. Согласно современной теории интервенции, когда две стороны разрывают страну на части, третья может вмешаться и взять свою долю, и по этому принципу действовала империя. Но к праву и справедливости больше не зывали. При Людовике XII. ожидался в Генуе (1502), и императорский орел был удален из зала герцогского дворца и заменен раскрашенными лилиями, историк Сенарега[41] спросил, что, в конце концов, означал орел, которого пощадили так много революций, и какие претензии империя имела к Генуе. Никто не знал об этом деле больше, чем старая фраза о том, что Генуя - это *камера империи*. На самом деле, никто в Италии не мог дать четкого ответа ни на один из подобных вопросов. В конце концов, когда Карл V объединил Испанию и империю, он смог с помощью испанских войск предъявить веские имперские претензии; но общеизвестно, что то, чего он таким образом добился, пошло на пользу не империи, а испанской монархии.

С политической нелегитимностью династий XV века было тесно связано общественное безразличие к законному рождению, которое иностранцам — например, Коминам - казалось столь примечательным. Эти две вещи естественным образом сочетались друг с другом. В северных странах, таких как Бургундия, незаконнорожденные отпрыски обеспечивались особым классом уделов, таких как епископства и тому подобное; в Португалии незаконнорожденная линия удерживалась на троне только постоянными усилиями; в Италии, напротив, больше не существовало княжеского дома, где даже по прямой линии происхождения не терпели бы бастардов. Неаполитанские арагонские монархи принадлежали к незаконнорожденной линии, сам Арагон достался на долю брата Альфонсо I. Великий Фредерик Урбинский, возможно, вообще не был Монтефельтро. Когда Пий II. когда он направлялся на конгресс в Мантуе (1459), восемь бастардов из дома Эсте выехали ему навстречу в Феррару, среди них сам правящий герцог Борсо и два внебрачных сына его внебрачного брата и предшественника Леонелло.[42] У последнего также была законная жена,

сама незаконнорожденная дочь Альфонсо I Неаполитанского от африканки.[43] Бастарды часто допускались к наследованию, когда законные дети были несовершеннолетними и опасность ситуации была непреодолимой; и было признано правило старшинства, которое не принимало во внимание чистое или нечистое рождение. Пригодность человека, его ценность и способности имели больший вес, чем все законы и обычаи, господствовавшие в других странах Запада. Действительно, это была эпоха, когда сыновья пап основывали династии. В шестнадцатом веке под влиянием иностранных идей и начавшейся тогда контрреформации весь вопрос был рассмотрен более строго: Варчи обнаруживает, что наследование законных детей "предписано разумом и является волей небес от вечности".[44] Кардинал Ипполито Медичи обосновал свои претензии на власть во Флоренции тем фактом, что он, возможно, был плодом законного брака и, во всяком случае, сыном благородной женщины, а не, как герцог Алессандро, служанки.[45] В это время начались те морганатические браки по любви, которые в пятнадцатом веке по соображениям политики или морали вообще не имели бы никакого значения.

Но высшей и наиболее почитаемой формой незаконнорожденности в пятнадцатом веке был кондотьер, который, каким бы ни было его происхождение, возвысился до положения независимого правителя. По сути, оккупация Нижней Италии норманнами в XI веке носила именно такой характер. Теперь подобные попытки стали поддерживать на полуострове постоянное брожение.

Кондотьер мог получить власть над округом даже без узурпации, в случае, когда его работодатель из-за нехватки денег или войск обеспечивал его таким образом;[46] при любых обстоятельствах кондотьеру, даже когда он увольнял на время большую часть своих сил, требовалось безопасное место, где он мог бы обосноваться. он занял свое зимнее жилище и собрал припасы и провизию. Первым примером капитана, распределенного таким образом, является Джон Хоквуд, который был назначен Григорием XI. с сиятельством Баньякавалло и Котиньолой.[47] Когда при Альберико да Барбиано на сцене появились итальянские армии и лидеры, шансы основать княжество или увеличить уже приобретенное стали более частыми. Первая великая вакханалия военных амбиций произошла в миланском герцогстве после смерти Джангалеаццо (1402). Политика двух его сыновей была направлена главным образом на разрушение новых деспотий, основанных кондотьерами; и от величайшего из них, Фачино Кане, дом Висконти унаследовал вместе с его вдовой длинный список городов и 400 000 золотых флоринов, не говоря уже о солдатах ее первого мужа, которых Беатриче ди Тенда привела с собой.[48] С этого момента эти совершенно аморальные отношения между правительствами и их кондотьерами, характерные для пятнадцатого века, становились все более и более распространенными. Старая история[49] — одна из тех, которые правдивы и неправдивы, везде и нигде — описывает это следующим образом: У граждан некоего города (кажется, имеется в виду Сиена) когда-то на службе был офицер, который освободил их от иностранной агрессии; ежедневно они совещались, как вознаградить его, и пришли к выводу, что никакая награда в их власти не была достаточно велика, даже если бы они сделали его лордом. из города. Наконец один из них поднялся и сказал: "Давайте убьем его, а затем почитаем его как нашего святого покровителя". Так они и сделали, следуя примеру римского сената с Ромулом. Фактически, у кондотьеров не было причин бояться никого так сильно, как своих нанимателей; если они добивались успеха, они становились опасными и их убивали с дороги, как Роберта Малатесту сразу после победы, которую он одержал при Сиксте IV. (1482); если они терпели неудачу, месье венецианцев Карманьоле[50] показал, какому риску они подвергаются. были разоблачены

(1432). Характерно для морального аспекта ситуации, что кондотьерам часто приходилось отдавать своих жен и детей в качестве заложников, и, несмотря на это, они не испытывали и не внушали доверия. Они, должно быть, были героями отречения, натурами, подобными самому Велисарии, не подверженными язвам ненависти и горечи; только самая совершенная доброта могла спасти их от самого чудовищного беззакония. Неудивительно поэтому, что мы находим их полными презрения ко всему священному, жестокими и предательскими по отношению к своим братьям — людям, которым было все равно, умрут они под запретом Церкви или нет. В то же самое время и в силу тех же условий гений и способности многих из них достигли наивысшего возможного развития и завоевали восхищенную преданность своих последователей; их армии являются первыми в современной истории, в которых личная заслуга лидера является движущей силой. Блестящий пример показан в жизни Франческо Сфорца; [51] никакие предрассудки происхождения не могли помешать ему завоевывать и привлекать к ответственности, когда ему это было нужно, безграничную преданность каждого человека, с которым ему приходилось иметь дело; не раз случалось, что его враги складывали оружие при виде него, благоговейно приветствуя его с непокрытой головой, каждый отдавал ему почести. В нем "общий отец всех воинов". Раса Сфорца представляет особый интерес тем, что с самого начала ее истории мы, кажется, можем проследить ее стремление к короне. [52] Основа его состояния заключалась в замечательной плодовитости семьи; у отца Франческо, Якопо, самого знаменитого человека, было двадцать братьев и сестер, все они выросли примерно в Котиньоле, недалеко от Фазэнцы, среди опасностей одной из бесконечных романьольских 'вендетт' между их собственным домом и домом Пазолини. Семейное жилище было всего лишь арсеналом и крепостью; мать и дочери были такими же воинственными, как и их родственники. На тринадцатом году жизни Якопо сбежал и бежал в Паникале к папскому кондотьеру Болдрино — человеку, который даже после смерти продолжал руководить своими войсками, отдавая приказы из увенчанного знаменами шатра, в котором лежало забальзамированное тело, пока, наконец, не был найден достойный лидер, который сменил его. Якопо, когда он, наконец, сделал себе имя на службе у разных кондотьеров, послал за своими родственниками и получил через них те же преимущества, какие получает принц из многочисленной династии. Именно эти родственники поддерживали единство армии, когда он был пленником в замке Дуово в Неаполе; его сестра собственными руками взяла в плен королевских посланников и спасла его этим возмездием от смерти. О широте и размахе его планов свидетельствовало то, что в денежных делах Якопо полностью заслуживал доверия; следовательно, даже потерпев поражение, он пользовался доверием банкиров. Он обычно защищал крестьян от своеволия своих войск и неохотно разрушал или повреждал завоеванные города. Он выдал свою известную любовницу Лючию, мать Франческо, замуж за другого, чтобы освободиться от княжеского союза. Даже браки его родственников были организованы по определенному плану. Он держался подальше от нечестивой и распутной жизни своих современников и воспитал своего сына Франческо в соответствии с тремя правилами: 'Оставь в покое чужих жен; не бей никого из своих последователей, а если и ударишь, отошли пострадавшего человека подальше; не едь на лошади с грубым ртом или на той, у которой упала подкова'. Но его главный источник влияния заключался в качествах если не великого полководца, то, по крайней мере, великого солдата. Его фигура была мощной и развитой всевозможными упражнениями; его крестьянское лицо и откровенные манеры завоевали всеобщую популярность; у него была великолепная память, и по прошествии лет он мог вспомнить имена своих последователей, количество их лошадей и сумму их жалованья. Его образование было чисто итальянским: он посвящал свой досуг изучению истории и переводил для себя греческих и латинских авторов.

Франческо, его еще более знаменитый сын, с самого начала вознамерился основать могущественное государство и благодаря блестящему полководчеству и вероломству, которое ни перед чем не колебалось, завладел великим городом Миланом (1447-1450).

Его пример был заразителен. Эней Сильвий писал об этом времени:[53] 'В нашей любящей перемены Италии, где ничто не стоит прочно и где не существует древней династии, слуга может легко стать королем'. В частности, один человек, называвший себя 'человеком удачи', поразил воображение всей страны: Джакомо Пиччинино, сын Никколо. В то время остро стоял вопрос, удастся ли и ему основать княжеский дом. Более крупные государства были явно заинтересованы в том, чтобы помешать этому, и даже Франческо Сфорца считал, что было бы лучше, если бы список самодуров не расширялся. Но войска и капитаны, посланные против него, например, в то время, когда он метил на сеньорство Сиены, признали свою заинтересованность в его поддержке:[54] 'Если бы с ним все было кончено, нам пришлось бы вернуться и вспахать наши поля'. Даже осаждая его в Орбетелло, они снабжали его провизией, и он с честью вышел из затруднительного положения. Но в конце концов судьба настигла его. Вся Италия делала ставки на результат, когда (1465), после визита к Сфорце в Милан, он отправился к королю Ферранте в Неаполь. Несмотря на данные обещания и свои высокие связи, он был убит в замке Дуово.[55] Даже кондотьеры, получившие свои владения по наследству, никогда не чувствовали себя в безопасности. Когда Роберто Малатеста и Фредерик Урбинский умерли в один и тот же день (1482 г.), один в Риме, другой в Болонье, было обнаружено[56], что каждый из них поручил свое государство заботам другого. Против класса людей, которые сами ни на чем не останавливались, считалось дозволенным все. Франческо Сфорца, будучи совсем молодым, женился на богатой калабрийской наследнице, Полиссене Русса, графине Монтальто, которая родила ему дочь; тетя отравила мать и ребенка и завладела наследством.[57]

После смерти Пиччинино создание кондотьерами новых государств превратилось в скандал, который нельзя было терпеть. Четыре великие державы - Неаполь, Милан, папство и Венеция - установили между собой политическое равновесие, которое не допускало никаких нарушений. В государствах Церкви, кишевших мелкими тиранами, которые отчасти были кондотьерами, племянниками пап, со времен Сикста IV монополизировали право на все подобные предприятия. Но при первых признаках политического кризиса солдаты удачи снова появились на сцене. При жалком правлении Иннокентия VIII. чуть было не случилось, что некий Боккалино, ранее служивший в бургундской армии, сдался турецким войскам вместе с городом Осимо, хозяином которого он был;[58] к счастью, благодаря вмешательству Лоренцо Великолепного, он оказался готов откупиться и уехал. В 1495 году, когда начались войны Карла VIII. перевернув Италию с ног на голову, кондотьер Видоверо из Брешии испытал свои силы:[59] он уже захватил город Чезена и убил многих дворян и бюргеров; но цитадель выстояла, и он был вынужден отступить. Затем он во главе банды, одолженной ему другим негодяем, Пандольфо Малатеста из Римини, сыном уже упомянутого Роберто и венецианским кондотьером, отвоевал город Кастельнуово у архиепископа Равенны. Венецианцы, опасаясь, что последует нечто худшее, а также по настоянию папы римского, приказали Пандольфо 'с самыми добрыми намерениями' воспользоваться случаем и арестовать своего доброго друга: арест был произведен, хотя и "с большим сожалением", после чего поступил приказ доставить заключенного на виселицу. Пандольфо был достаточно тактичен, чтобы задушить его в тюрьме, а затем показать его труп народу. Последним заметным примером таких узурпаторов является знаменитый кастелян

Муссо, который во время беспорядков на миланской территории, последовавших за битвой при Павии (1525), импровизировал на озере Комо.

ГЛАВА IV.

МЕЛКИЕ ТИРАНИИ.

В целом о деспотизме XV века можно сказать, что величайшие преступления чаще всего совершались в самых маленьких государствах. В них, где семья была многочисленной и все члены хотели жить так, как подобало их рангу, споры о наследовании были неизбежны. Бернардо Варано из Камерино казнил (1434) двух своих братьев,^[60] желая разделить их имущество между своими сыновьями. Там, где правитель отдельного города отличался мудрым, умеренным и гуманным правлением и рвением к интеллектуальной культуре, он обычно был членом какой-нибудь знатной семьи или политически зависел от нее. Так было, например, с Алессандро Сфорца,^[61] Принц Пезаро, брат великого Франческо и отчим Фредерика Урбинского (ум. 1473). Благоразумный в управлении, справедливый и приветливый в своем правлении, он наслаждался после долгих лет войн спокойным правлением, собрал богатую библиотеку и проводил досуг в ученых или религиозных беседах. Человеком того же класса был Джованни II Бентивольо Болонский (1462-1506), чья политика определялась политикой Эсте и Сфорца. С другой стороны, какая свирепость и кровожадность наблюдается среди Варани из Камерино, Малатеста из Римини, Манфредди из Фаэнцы и, прежде всего, среди Бальони из Перуджи. Поразительную картину событий, происходивших в семье с последним именем в конце пятнадцатого века, мы находим в замечательных исторических повествованиях Грациани и Матераццо.^[62]

Бальони были одной из тех семей, чье правление никогда не принимало форму откровенного деспотизма. Это было скорее лидерство, осуществляемое благодаря их огромному богатству и практическому влиянию на выбор государственных служащих. В семье главой считался один мужчина, но среди представителей разных ветвей господствовала глубокая и тайная зависть. Против семьи Бальони выступала другая аристократическая партия, возглавляемая семьей Одди. В 1487 году город был превращен в лагерь, и дома видных горожан кишели бравыми; сцены насилия были обычным явлением. На похоронах убитого немецкого студента два колледжа взялись за оружие друг против друга; иногда бравы из разных факультетов даже вступали в бой на городской площади. Жалобы торговцев и ремесленников были напрасны; папские наместники и *Нипоти* придержали языки или удалились при первой возможности. В конце концов Одди были вынуждены покинуть Перуджу, и город превратился в осажденную крепость под абсолютным деспотизмом Бальони, которые использовали даже собор в качестве казарм. Заговоры и неожиданности были встречены жестокой местью; в 1491 году, после того как 130 заговорщиков, пробившихся в город, были убиты и повешены во дворце коммуны, на площади было воздвигнуто тридцать пять алтарей, и в течение трех дней служились мессы и устраивались процессии, чтобы снять проклятие, лежавшее на этом месте. Племянник Иннокентия VIII. был на улице в день открытых дверей. Племянник Александра VI., которого послали уладить дело, был уволен с публичным неуважением. Все это время два лидера правящего дома, Гвидо и Ридольфо, часто беседовали с сестрой Коломбой из Риети, доминиканской монахиней с репутацией святой и чудесными способностями, которая под страхом какой-то великой катастрофы приказала им заключить мир — естественно, напрасно.

Тем не менее "хроника" пользуется случаем, чтобы указать на преданность и благочестие лучших людей Перуджи во время этого правления террора. Когда в 1494 году приблизился Карл VIII, бальони из Перуджи и изгнанники, стоявшие лагерем в Ассизи и его окрестностях, вели войну с такой яростью, что каждый дом в долине был сровнен с землей. Поля оставались невозделанными, крестьяне превратились в грабителей и убийц-дикарей, в только что выросших кустах водились олени и волки, и звери жирели на телах убитых, на так называемой 'христианской плоти'. При Александре VI. удалился (1495) в Умбрию еще до Карла VIII. Затем, вернувшись из Неаполя, в Перудже ему пришло в голову, что теперь он мог бы раз и навсегда избавиться от Бальони; он предложил Гвидо устроить фестиваль, или турнир, или что-то еще в том же роде, что объединило бы всю семью. Гвидо, однако, придерживался мнения, 'что самым впечатляющим зрелищем из всех было бы увидеть все военные силы Перуджи собранными в единое целое', после чего папа отказался от своего проекта. Вскоре после этого изгнанники предприняли еще одну атаку, в которой только личный героизм Бальони принес им победу. Именно тогда Симонетто Бальоне, юноше, которому едва исполнилось восемнадцать, сражался на площади с горсткой сторонников против сотен врагов: в конце концов он пал с более чем двадцатью ранами, но пришел в себя, когда Асторре Бальоне пришел ему на помощь и, вскочив на коня в позолоченных доспехах с соколом на шлеме, "подобно Марсу в осанке и поступках, ринулся в бой".

В то время Рафаэль, двенадцатилетний мальчик, учился в школе у Пьетро Перуджино. Впечатления тех дней, возможно, увековечены в маленьких ранних изображениях Святого Михаила и Святого Георгия: возможно, что-то из них вечно живет в великой картине Святого Михаила: и если Асторре Бальоне где-то и нашел свой апофеоз, так это в фигуре небесного всадника в "Гелиодоре".

Противники Бальони были частично уничтожены, частично рассеяны в ужасе и отныне были неспособны на другое предприятие подобного рода. Через некоторое время произошло частичное примирение, и некоторым изгнанникам было разрешено вернуться. Но Перуджа не стала ни безопаснее, ни спокойнее: внутренний разлад правящей семьи вылился в ужасные эксцессы. Против Гвидо и Ридольфо и их сыновей Джанпаоло, Симонетто, Асторре, Джисмондо, Джентиле, Маркантонио и других была сформирована оппозиция двумя внучатыми племянниками, Грифоне и Карло Барчилья; последний из них также был племянником Варано, принца Камерино, и братом одного из бывших изгнанников, Иеронимо делла Пенна. Тщетно Симонетто, предупрежденный зловещим предчувствием, на коленях умолял своего дядю позволить ему казнить Пенну: Гвидо отказался. Заговор созрел внезапно по случаю женитьбы Асторре на Лавинии Колонна в середине лета 1500 года. Фестиваль начался и продолжался несколько дней на фоне мрачных предчувствий, усиливающий эффект которых превосходно описан Матараццо. Варано подпитывал и поощрял их с дьявольской изобретательностью: он воздействовал на Грифоне перспективой безраздельной власти и историями о воображаемой интриге его жены Зенобии с Джанпаоло. Наконец, каждому заговорщику была предоставлена жертва. (Бальони жили все в отдельных домах, в основном на месте нынешнего замка.) Каждый получил по пятнадцать "браво" на руки; остальные были поставлены на вахту. Ночью 15 июля двери были взломаны, и Гвидо, Асторре, Симонетто и Джисмондо были убиты; остальным удалось сбежать.

Когда труп Асторре лежал рядом с телом Симонетто на улице, зрители, 'и особенно иностранные студенты', сравнивали его с древним римлянином, настолько великим и

внушительным он казался. В чертах лица Симонетто все еще можно было проследить дерзость и непокорность, которые не укротила сама смерть. Победители обошли друзей семьи и сделали все возможное, чтобы зарекомендовать себя; они нашли всех в слезах и готовящимися к отъезду в деревню. Тем временем бежавшие Бальони собрали силы за пределами города и на следующий день ворвались внутрь во главе с Джанпаоло и быстро нашли сторонников среди других, кому Барчилья угрожал смертью. Когда Грифоне попал в их руки недалеко от С. Эрколоно. Джанпаоло передал его на казнь своим последователям. Барчилья и Пенна бежали к Варано, главному виновнику трагедии, в Камерино; и в одно мгновение, почти без потерь, Джанпаоло стал хозяином города.

Аталанта, все еще молодая и красивая мать Грифоне, которая накануне уехала в загородный дом с женой последнего Зенобией и двумя детьми Джанпаоло и не раз отвергала своего сына материнским проклятием, теперь вернулась со своей падчерицей на поиски умирающего. Все расступились при приближении двух женщин, каждый мужчина боялся, что его узнают как убийцу Грифоне, и боялся проклятия матери. Но они были обмануты: она сама умоляла своего сына простить того, кто нанес смертельный удар, и он умер с ее благословения. Взгляды толпы благоговейно провожали двух женщин, когда они пересекали площадь в окровавленных одеждах. Именно для Аталанты Рафаэль впоследствии написал всемирно известное "Низложение", в котором она возложила свои материнские горести к ногам еще более высокого и святого страдальца.

Собор, в непосредственной близости от которого разыгралась большая часть этой трагедии, был омыт вином и заново освящен. Триумфальная арка, воздвигнутая к свадьбе, все еще стояла, расписанная подвигами Асторре и хвалебными стихами рассказчика этих событий, достойного Матараццо.

Легендарная история, которая является просто отражением этих зверств, возникла в первые дни существования Бальони. Сообщалось, что все члены этой семьи с самого начала умерли злой смертью — двадцать семь человек одновременно; говорили, что их дома когда-то уже сравнивали с землей, а улицы Перуджи вымостили этим кирпичом — и многими другими в том же роде. При Павле III. разрушение их дворцов действительно имело место.^[63]

Какое-то время они, по-видимому, принимали правильные решения, приводили в порядок свою собственную партию и защищали государственных чиновников от произвола знати. Но старое проклятие вспыхнуло снова, как тлеющий костер. Джанпаоло был заманен в Рим при Льве X и там обезглавлен; один из его сыновей, Орацио, правивший в Перудже лишь короткое время и самыми жестокими средствами как сторонник герцога Урбино (которому самому угрожал папа), еще раз повторил в своей собственной семье ужасы прошлого. Его дядя и трое двоюродных братьев были убиты, после чего герцог прислал ему весточку, что сделано достаточно.^[64] Его брат, Малатеста Бальоне, флорентийский генерал, обрел бессмертие благодаря государственной измене 1530 года; а сын Малатесты Ридольфо, последний из дома, получил, благодаря убийству легата и государственных чиновников в 1534 году, кратковременную, но кровопролитную власть.

То тут, то там мы встречаемся с именами правителей Римини. Беспринципность, нечестие, военное мастерство и высокая культура редко так сочетались в одном человеке, как в Сигизмондо Малатесте (ум. 1467).^[65] Но накопленные преступления такой семьи должны в конце концов перевесить все таланты, какими бы великими они ни были, и утащить тирана в

пропасть. Пандольфо, племяннику Сигизмондо, о котором уже упоминалось, удалось отстоять свои позиции по той единственной причине, что венецианцы отказались бросить своего кондотьера, какую бы вину ему ни вменяли; когда его подданные (1497 г.), после многочисленных провокаций, [66] обстреляли его в его замке в Римини, а затем позволили ему сбежать, венецианский комиссар вернул его обратно, запятнанный братоубийством и всякой другой мерзостью. Тридцать лет спустя Малатеста были изгнанниками без гроша в кармане. В 1527 году, как и во времена Цезаря Борджиа, на мелких тиранов обрушилось нечто вроде эпидемии: немногие из них пережили эту дату, и ни один не принес им пользы. В Мирандоле, которой управляли незначительные принцы из дома Пико, жил в 1533 году бедный ученый Лилио Грегорио Джиральди, бежавший от разграбления Рима к гостеприимному очагу престарелого Джованни Франческо Пико, племянника знаменитого Джованни; споры о надгробном памятнике, который принц сооружал для себя, привели к написанию трактата, посвящение которого датировано апрелем этого года. Постскрипtum печальный. [67]— "В октябре того же года несчастный принц был атакован ночью и лишен жизни и трона сыном своего брата; а я сам чудом спасся и сейчас нахожусь в глубочайшем несчастье".

Псевдодеспотизм без характерных черт, подобный тому, который Пандольфо Петруччи осуществлял с 1490 года в Сиене, затем раздираемый фракциями, вряд ли заслуживает более пристального рассмотрения. Ничтожный и злобный, он управлял страной с помощью профессора юриспруденции и астролога и время от времени пугал свой народ убийствами. Его развлечением в летние месяцы было скатывать каменные глыбы с вершины Монте-Амиата, не заботясь о том, во что или кого они врезаются. Добившись успеха там, где потерпели неудачу самые благоразумные, избежав козней Цезаря Борджиа, он умер, наконец, покинутый и презираемый. Его сыновья сохраняли квалифицированное превосходство в течение многих последующих лет.

ГЛАВА V.

ВЕЛИКИЕ ДИНАСТИИ.

Говоря о главных династиях Италии, удобно обсудить арагонскую, ввиду ее особого характера, отдельно от остальных. Феодальная система, которая со времен норманнов сохранилась в форме территориального господства баронов, придавала особый колорит политическому устройству Неаполя; в то время как в других частях Италии, за исключением южной части церковных владений и нескольких других округов, преобладало прямое землевладение, и никакие наследственные полномочия законом не допускались. Великий Альфонсо, правивший в Неаполе с 1435 года (ум. в 1458 году), был человеком иного рода, чем его настоящие или предполагаемые потомки. Блестящий на протяжении всей своей жизни, бесстрашный в общении со своим народом, мягкий и щедрый по отношению к своим врагам, достойный и приветливый в общении, скромный, несмотря на свое законное королевское происхождение, вызывающий восхищение, а не порицание даже за страсть своего старика к Лукреции д'Аланья, он обладал одним плохим качеством - экстравагантностью, [68] из чего, однако, последовало естественное следствие. Недобросовестные финансисты долгое время были всемогущи при дворе, пока разорившийся король не лишил их добычи; проповедовался крестовый поход как предлог для обложения налогами духовенства; евреи были вынуждены спасать себя от обращения в христианство и других репрессивных мер подарками и уплатой регулярных

налогов; когда в Абрुцци произошло сильное землетрясение, выжившие были вынуждены возместить взносы погибших. С другой стороны, он отменил необоснованные налоги, подобные налогу на игру в кости, и стремился освободить своих более бедных подданных от поборов, которые давили на них сильнее всего. Такими средствами Альфонсо мог с непревзойденной пышностью развлекать высоких гостей; он находил удовольствие в постоянных расходах, даже в пользу своих врагов, и в вознаграждении за литературную работу не знал абсолютно никакой меры. Поджио получил 500 золотых за перевод "Киропедии" Ксенофонта.

Ферранте, [69] который стал его преемником, считался его незаконнорожденным сыном от испанской леди, но, что вполне вероятно, был сыном мавра-полукровки из Валентии. Была ли это его кровь или заговоры, организованные против его жизни баронами, которые ожесточили и омрачили его натуру, несомненно, что никто из принцев его времени не мог сравниться с ним в свирепости. Неумолимо активный, признанный одним из самых могущественных политических умов того времени и свободный от пороков распутства, он сосредоточил все свои силы, к числу которых следует отнести глубокое лицемерие и непримиримый дух мести, на уничтожении своих противников. Он был уязвлен во всех областях, в которых правитель может быть оскорблен, ибо вожди баронов, хотя и были связаны с ним узами брака, все же были союзниками его внешних врагов. Крайние меры стали частью его повседневной политики. Средства для этой борьбы с его баронами и для его внешних войн были изысканы в той же мусульманской манере, что и у Фридриха II. правительство занималось только нефтью и вином; вся торговля страны была передана Ферранте в руки богатого купца Франческо Копполы, который полностью контролировал якорную стоянку на побережье и делился прибылью с королем. Дефицит покрывался принудительными займами, казнями и конфискациями, открытой симонией и взносами, взимаемыми с церковных корпораций. Помимо охоты, которой он занимался, невзирая ни на какие имущественные права, его удовольствия были двоякого рода: ему нравилось иметь рядом со своими противниками либо живых в хорошо охраняемых тюрьмах, либо мертвых и забальзамированных, одетых в те костюмы, которые они носили при жизни. [70] Он посмеивался, рассказывая о пленниках со своими друзьями, и не делал никакого секрета из музея мумий. Его жертвами были в основном люди, которых он заполучил в свою власть путем предательства; некоторых даже схватили, когда они были гостями за королевским столом. Его поведение по отношению к своему первому министру Антонелло Петруччи, который заболел и поседел на службе и из растущего страха смерти которого он вытягивал подарок за подарком, было буквально дьявольским. В конце концов подозрение в соучастии в последнем заговоре баронов дало повод для его ареста и казни. Вместе с ним умер Коппола. От того, как все это изложено в "Караччоло и Порцио", волосы встают дыбом. Старший из сыновей короля, Альфонсо, герцог Калабрийский, в последующие годы пользовался своего рода совместным регентством со своим отцом. Он был диким, брутальным распутником, описанным Коминсом как "самый жестокий, наихудший, порочный и подлый человек, которого когда-либо видели", который только в плане откровенности имел преимущество перед Ферранте и который открыто признавал свое презрение к религии и ее обычаям. [71] Лучших и благородных черт итальянского деспотизма нельзя найти среди князей этой линии; все, чем они обладали в искусстве и культуре своего времени, служило целям роскоши или показухи. Даже настоящие испанцы, по-видимому, почти всегда вырождались в Италии; но конец этого смешанного рода (1494 и 1503) дает ясное доказательство недостатка крови. Ферранте умер от душевной болезни; Альфонсо обвинил своего брата Федериги, единственного честного члена семьи, в государственной измене и оскорбил его самым подлым образом. В конце концов, хотя до сих

пор он считался одним из самых способных генералов Италии, он потерял голову и бежал на Сицилию, оставив своего сына, младшего Ферранте, добычей французов и внутренней измены. Династия, правившая так, как эта, должна была, по крайней мере, дорого продать свою жизнь, если ее дети когда-либо надеялись на реставрацию. Но, как односторонне, но в целом справедливо замечает по этому поводу Коминес, *"Человек жесток, но не вынослив"*.

Деспотизм миланских герцогов, чье правление со времен Джангалеаццо было абсолютной монархией самого основательного типа, демонстрирует подлинно итальянский характер пятнадцатого века. Последний из Висконти, Филиппо Мария (1412-1447), является персонажем, представляющим особый интерес, и, к счастью, нам оставили замечательное описание^[72]. Чего может достичь человек с незаурядными способностями и высоким положением, движимый страстью страха, показано здесь с тем, что можно назвать математической полнотой. Все ресурсы государства были направлены на обеспечение его личной безопасности, хотя, к счастью, его жестокий эгоизм не перерос в бесцельную жажду крови. Он жил в Миланской цитадели, окруженной великолепными садами, беседками и лужайками. В течение многих лет его нога не ступала в город, совершая экскурсии только по сельской местности, где находилось несколько его великолепных замков; флотилия, запряженная самыми быстрыми лошадьми, доставила его к ним по каналам, построенным специально для этой цели, была организована таким образом, чтобы позволять соблюдать самый строгий этикет. За каждым, кто входил в цитадель, следили сотни глаз; запрещалось даже стоять у окна, чтобы не подавать знаков тем, кто снаружи. Все, кто был принят в число личных последователей принца, подвергались ряду строжайших экзаменов; затем, после принятия, им поручались высшие дипломатические поручения, а также самые скромные личные услуги — и то, и другое при этом Дворе было одинаково почетно. И это был человек, который провел долгих и трудных войн, которые нанесли завсегдатаям коалицию с политическим вопросам первостепенной важности, и каждый день послал своих полномочных представителей во всех частях Италии. Его безопасность заключалась в том факте, что никто из его слуг не доверял другим, что за его кондотьерами следили и вводили в заблуждение шпионы, а послы и высшие чиновники были сбиты с толку и держались особняком из-за искусственно разжигаемой ревности, и в частности из-за того, что честный человек был связан с лжецом. Его внутренняя вера тоже покоилась на противоположных и противоречивых системах; он верил в слепую необходимость и во влияние звезд, и в вознесение молитв в одно и то же время помощникам любого рода;^[73] он изучал древних авторов, а также французские рыцарские рассказы. И все же тот же самый человек, который никогда не допустил бы, чтобы в его присутствии упоминали о смерти,^[74] и приказал вывезти своих умирающих любимцев из замка, чтобы тень не упала на обитель счастья, намеренно ускорил свою смерть, зашив рану, и, отказавшись пускать кровь, скончался наконец с достоинством и изяществом.

Его приемный сын и преемник, удачливый кондотьер Франческо Сфорца (1450-1466, см. стр. 24), был, пожалуй, из всех итальянцев пятнадцатого века человеком, наиболее соответствовавшим сердцу своего века. Никогда триумф гения и личной силы не проявлялся так ярко, как в нем; и те, кто не признавал его заслуг, были, по крайней мере, вынуждены удивляться ему как избалованному дитя фортуны. Миланцы открыто заявляли, что для них большая честь находиться под управлением столь выдающегося мастера; когда он въехал в город, толпа народа внесла его верхом в собор, не дав ему возможности спешиться.^[75] Давайте послушаем

баланс его жизни по оценке папы Пия II, судьи в таких вопросах:[76] "В 1459 году, когда герцог приехал на конгресс в Мантуе Ему было 60 (на самом деле 58) лет; верхом на лошади он выглядел как молодой человек; высокой и внушительной фигуры, с серьезными чертами лица, спокойный и приветливый в разговоре, царственной осанки, с сочетанием физических и интеллектуальных дарований, не имеющих себе равных в наше время, непобедимый на поле боя, - таков был человек, поднявшийся со скромного положения до управления империей. Его жена была красива и добродетельна, его дети были подобны небесным ангелам; он редко болел, и все его главные желания исполнялись. И все же он не был без несчастий. Его жена из ревности убила его любовницу; его старые товарищи Троило и Бруноро бросили его и перешли на сторону короля Альфонсо; другого, Чиарполлоне, он был вынужден повесить за измену; ему пришлось пережить то, что его брат Алессандро натравил на него французов; один из его сыновей плел интриги против него и был заключен в тюрьму; поход на Анкону, который он выиграл на войне, он снова проиграл таким же образом. Ни один человек не наслаждается столь безоблачным состоянием, чтобы ему не было где бороться с невзгодами. Счастлив тот, у кого мало неприятностей'. С этим негативным определением счастья ученый папа отпускает читателя. Если бы он был способен заглянуть в будущее или пожелал остановиться и обсудить последствия неконтролируемого деспотизма, от его внимания не ускользнул бы один преобладающий факт — отсутствие каких-либо гарантий на будущее. Эти дети, прекрасные, как ангелы, тщательно и всесторонне образованные, когда они выросли, стали жертвами развращения безмерным эгоизмом. Галеаццо Мария (1466-1476), заботящийся только о внешнем эффекте, гордился красотой своих рук, высоким жалованьем, которым он пользовался, финансовым кредитом, которым он пользовался, своим сокровищем в два миллиона золотых монет, выдающимися людьми, которые его окружали, а также армией и охотничьими птицами, которых он содержал. Он любил звук собственного голоса и говорил хорошо, возможно, наиболее бегло, когда у него была возможность оскорбить венецианского посла.[77] Он был подвержен капризам, таким как расписывание комнаты фигурами за одну ночь; и, что было хуже, приступам бессмысленного разврата и отвратительной жестокости по отношению к своим ближайшим друзьям. За горстку энтузиастов, во главе которой стоял Джов. Андреа ди Лампуньяно, он казался тираном, слишком плохим, чтобы жить; они убили его,[78] и тем самым отдали государство во власть своих братьев, один из которых, Людовико иль Моро, бросил своего племянника в тюрьму и взял правительство в свои руки. За этой узурпацией последовала французская интервенция и бедствия, обрушившиеся на всю Италию.

Мавр - самый совершенный тип деспота того времени и, как своего рода естественный продукт, почти обезоруживает наше моральное суждение. Несмотря на глубокую аморальность средств, которые он применял, он использовал их с совершенной непосредственностью; никто, вероятно, не был бы более удивлен, чем он сам, узнав, что за выбор средств, равно как и целей, человек несет моральную ответственность; он скорее счел бы исключительной добродетелью то, что, насколько это было возможно, воздерживался от слишком свободного применения смертной казни. Он принимал как должное почти сказочное уважение итальянцев к его политическому гению.[79] В 1496 году он хвастался, что папа Александр был его капелланом, император Максимилиан - его кондотьером, Венеция - его камергером, а король Франции - его курьером, который должен приходить и уходить по его приказу.[80] Судивительным присутствием духа он взвесил, даже находясь в крайней ситуации, все возможные способы побега и, наконец, решил, к своей чести, положиться на доброту человеческой природы; он отклонил предложение своего брата, кардинала Асканио, который пожелал остаться в

Миланской цитадели на основании давней ссоры: "Монсеньор, не обижайтесь, но я вам не доверяю, каким бы братом вы ни были"; и назначил комендантом замка, "этого залога своего возвращения", человека, которому он всегда делал добро, но кто, тем не менее, предал его.[81] У себя на родине мавр был хорошим и полезным правителем и до последнего рассчитывал на свою популярность как в Милане, так и в Комо. В прежние годы (после 1496 г.) он перенапряг ресурсы своего государства и в Кремоне из чистой целесообразности приказал тихо задушить респектабельного гражданина, выступавшего против новых налогов. С тех пор, устраивая аудиенции, он держал посетителей подальше от своей персоны с помощью барной стойки, так что в разговоре с ним они были вынуждены говорить во весь голос.[82] При его дворе, самом блестящем в Европе с тех пор, как Бургундский прекратил свое существование, была распространена наихудшая безнравственность: отец продавал дочь, муж - жену, брат - сестру.[83] Сам принц был непрестанно активен и, как сын своих собственных деяний, утверждал, что поддерживает отношения со всеми, кто, как и он сам, опирался на свои личные достоинства — с учеными, поэтами, художниками и музыкантами. Академия, которую он основал[84] служил скорее для его собственных целей, чем для обучения ученых; он прислушивался не столько к славе выдающихся людей, которые его окружали, сколько к их обществу и их услугам. Несомненно, что Браманте сначала платили скудно;[85] С другой стороны, Лионардо до 1496 года получал соответствующее вознаграждение — и, кроме того, что удерживало его при дворе, если не его собственная воля? Мир был открыт для него, как, возможно, ни для кого другого из смертных того времени; и если не хватало доказательств более возвышенного элемента в натуре Людовико Моро, то это можно найти в долгом пребывании загадочного мастера при его дворе. То, что впоследствии Лионардо поступил на службу к Сезарю Борджиа и Франциску I. вероятно, было вызвано интересом, который он испытывал к необычным и поразительным характерам этих двух людей.

После падения Мавров — он был взят в плен французами в апреле 1500 года, после его возвращения из бегства в Германию — его сыновья плохо воспитывались среди незнакомцев и не проявили способности выполнять его политическое завещание. Старший, Массимилиано, не имел с ним никакого сходства; младший, Франческо, во всяком случае, был не лишен духа. Милан, который в те годы так часто менял своих правителей и так невыразимо страдал от этих перемен, пытался обезопасить себя от реакции. В 1512 году французы, отступавшие перед оружием Максимилиана и испанцев, были вынуждены заявить, что миланцы не принимали участия в их изгнании и, не будучи виновными в мятеже, могут сдать новому завоевателю.[86] Тот факт, имеющий определенное политическое значение, что в такие переходные моменты несчастный город, подобно Неаполю во время бегства арагонцев, был склонен становиться добычей банд (часто в высшей степени аристократических) негодяев.

Дом Гонзага в Мантуе и дом Монтефельтро в Урбино были одними из самых упорядоченных и богатых способными людьми во второй половине пятнадцатого века. Гонзага были довольно гармоничной семьей; в течение долгого времени среди них не было известно ни о каком убийстве, и их мертвых можно было показывать миру без страха. Маркиз Франческо Гонзага[87] и его жена Изабелла Эсте, несмотря на некоторые недостатки, были сплоченной и респектабельной парой и вырастили своих сыновей успешными и замечательными людьми в то время, когда их маленькое, но самое важное состояние подвергалось постоянной опасности. То, что Франческо, будь то государственный деятель или солдат, должен был придерживаться

политики исключительной честности, было тем, чего ни император, ни Венеция, ни король Франции не могли ожидать или желать; но, безусловно, после битвы при Таро (1495 г.) в том, что касалось воинской чести, он чувствовал и действовал как итальянский патриот и передал тот же дух своей жене. Каждый акт верности и героизма, такой как защита Фаэнцы от Цезаря Борджиа, она воспринимала как подтверждение чести Италии. Наше суждение о ней не обязательно должно основываться на похвалах художников и писателей, которые щедро вознаградили прекрасную принцессу за ее покровительство; ее собственные письма показывают нам ее как женщину непоколебимой твердости, полную доброты и наблюдательности с чувством юмора. Бембо, Банделло, Ариосто и Бернардо Тассо присылали свои работы этому двору, каким бы маленьким и бессильным он ни был, и пустой они нашли его сокровищницу. Более изысканного и очаровательного круга нельзя было увидеть в Италии со времен роспуска (1508) старого двора Урбино; и в одном отношении, в плане свободы передвижения, общество Феррары уступало обществу Мантуи. В вопросах искусства Изабелла обладала точными знаниями, и каталог ее небольшой, но отборной коллекции ни один ценитель искусства не может прочесть без волнения.

В великом Федерико (1444-1482), независимо от того, был он настоящим Монтефельтро или нет, Урбино обладал блестящим представителем княжеского сословия. Как кондотьер — а в этом качестве он служил королям и папам в течение тридцати лет после того, как стал принцем, — он разделял политическую мораль солдат удачи, мораль, вина за которую лежит не только на них; как правитель своей маленькой территории, он принял план тратить дома деньги, заработанные за границей, и как можно меньше облагать налогами свой народ. О нем и двух его преемниках, Гвидобальдо и Франческо Марии, мы читаем: "Они возводили здания, занимались обработкой земли, жили дома и давали работу большому количеству людей: их подданные любили их".^[88] Но не только государство, но и суд был произведением искусства и организации, причем во всех смыслах этого слова. У Федерико на службе было 500 человек; устройство двора было таким же полным, как в столицах величайших монархов, но ничто не пропадало даром; все имело свою цель, и за всем тщательно наблюдали и контролировали. Двор не был ареной порока и распутства: он служил школой военного образования для сыновей других великих домов, основательность культуры и обучения которых герцог считал делом чести. Дворец, который он построил, если и не был одним из самых великолепных, то был классическим по совершенству своей планировки; там находилось величайшее из его сокровищ - знаменитая библиотека.^[89] Чувствуя себя в безопасности в стране, где все получали прибыль или занятие от его правления, и где не было нищих, он обычно ходил без оружия и почти без сопровождения; один среди принцев своего времени, он отваживался гулять по открытому парку и скромно ужинать в открытой комнате, в то время как Ливию или, во время поста, ему читали какую-нибудь религиозную работу. Он. В течение того же дня он слушал лекцию на какую-нибудь классическую тему, а затем отправлялся в монастырь Клариссы и беседовал о священных вещах через решетку с настоятельницей. Вечером он наблюдал за боевыми упражнениями молодых людей своего двора на лугу Святого Франческо, известном своим великолепным видом, и тщательно следил за тем, чтобы все подвиги были выполнены самым совершенным образом. Он всегда старался быть максимально приветливым и доступным, посещая ремесленников, которые работали на него в их мастерских, устраивая частые аудиенции и, по возможности, удовлетворяя просьбы каждого человека в тот же день, когда они были представлены. Неудивительно, что люди, когда он шел по улице, опускались на колени и кричали: 'Дио ти мантенга, синьор!' Мыслящие люди называли его "светом Италии".^[90] Его

одаренный сын Гвидобальдо,[91], страдавший от болезней и всевозможных несчастий, смог в конце концов (1508 г.) передать свое государство в надежные руки своего племянника Франческо Марии (племянник также папы Юлия II.), Которому, по крайней мере, удалось сохранить территорию от любой постоянной иностранной оккупации. Примечательно, с какой уверенностью Гвидобальдо уступил и бежал перед Цезарем Борджиа, а Франческо - перед войсками Льва X.; каждый знал, что его восстановление будет тем легче и популярнее, чем меньше страна пострадает от бесплодной обороны. Когда Людовико сделал такой же расчет в "Милане", он забыл о множестве причин для ненависти, которые существовали против него. Двор Гвидобальдо был обессмертен как высшая школа изысканных манер Бальдассаром Кастильоне, который представил свою эклогу "Тирсис" ранее и в честь этого общества (1506) и который впоследствии (1518) создал сцену диалога своего "Кортиджано" в кругу образованной герцогини Элизабеты Гонзага.

Правление семьи Эсте в Ферраре, Модене и Реджо демонстрирует любопытные контрасты насилия и популярности.[92] Во дворце были совершены ужасные деяния; принцесса была обезглавлена (1425) за предполагаемое прелюбодеяние с пасынком;[93] законные и незаконнорожденные дети бежали от двора, и даже за границей их жизни угрожали наемные убийцы, посланные в погоню за ними (1471). Заговоры извне были непрекращающимися; незаконнорожденный сын незаконнорожденного пытался отнять корону у законного наследника Геркулеса I. Впоследствии (1493 г.) говорят, что этот последний отравил свою жену, узнав, что она по наущению своего брата Ферранте Неаполитанского собиралась отравить его. Этот список трагедий замыкает заговор двух бастардов против своих братьев, правящего герцога Альфонсо I. и кардинала Ипполито (1506), который был вовремя раскрыт и наказан пожизненным заключением. Финансовая система в этом государстве была самой совершенной, и это было неизбежно, поскольку ни одна из крупных или второсортных держав Италии не подвергалась такой опасности и не испытывала такой постоянной потребности в вооружении и укреплениях. Правители надеялись, что растущее благосостояние народа будет идти в ногу с растущим весом налогов, и маркиз Никколо (ум. в 1441 году) часто выражал пожелание, чтобы его подданные были богаче жителей других стран. Если быстрый рост населения является показателем фактически достигнутого процветания, то, безусловно, важным фактом является то, что в 1497 году, несмотря на значительное расширение столицы, ни один дом не был сдан в аренду.[94] Феррара - первый по-настоящему современный город в Европе; большие и хорошо застроенные кварталы возникли по приказу правителя: здесь, благодаря концентрации официальных классов и активному развитию торговли, впервые была сформирована настоящая столица; богатые беглецы со всех концов Италии, особенно флорентийцы, поселились и построили свои дворцы в Ферраре. Но косвенное налогообложение, во всяком случае, должно было достичь такой точки, когда его можно было только терпеть. Правительство, это правда, приняло меры по смягчению последствий, которые также были приняты другими итальянскими деспотами, такими как Галеаццо Мария Сфорца: во время голода кукурузу привозили издалека и, похоже, раздавали безвозмездно;[95] но в обычные времена это компенсировалось монополией если не на кукурузу, то на многие другие предметы первой необходимости — рыбу, солите мясо, фрукты и овощи, которые в прошлом были заботливо посажены на городских стенах и рядом с ними. Однако самым значительным источником дохода была ежегодная продажа государственных должностей, что было распространено по всей Италии и о функционировании которых в Ферраре у нас есть более точные сведения. Мы читаем, например, что в новом 1502 году большинство чиновников купили

свои места в "прецци салати"; государственные служащие самого разного рода, таможенные чиновники, судебные приставы (массари), нотариусы, "подеста", судьи и даже капитаны, т.е. вице-губернаторы провинциальных городов, упоминаются поименно. Упоминается Тито Строща — будем надеяться, что не знаменитый латинский поэт — как один из "пожирателей людей", дорого заплативших за свои места и которых "ненавидели хуже дьявола". Примерно в одно и то же время каждый год герцоги имели обыкновение наносить визиты в Феррару, так называемый 'андар на вентуру', во время которых они принимали подарки, во всяком случае, от более богатых горожан. Подарки, однако, состояли не из денег, а из натуральных продуктов.

Гордость герцога^[96] чтобы вся Италия знала, что в Ферраре солдаты получали жалованье, а профессора Университета - жалованье ни днем позже, чем положено; что солдаты никогда не осмеливались произвольно поднимать руки на горожан или крестьян; что город был неприступен для штурма; и что в цитадели хранились огромные суммы чеканных денег. Вести два набора счетов казалось излишним; министр финансов был в то же время управляющим герцогским двором. Здания, возведенные Борсо (1430-1471), Геркулесом I. (до 1505 г.) и Альфонсо I. (до 1534 г.), были очень многочисленными, но небольшого размера: они характерны для княжеского дома, который, при всей своей любви к великолепию — Борсо никогда не появлялся иначе, как в вышивке и драгоценностях, — не позволял себе необдуманных расходов. Альфонсо, возможно, предвидел судьбу, уготованную его очаровательным маленьким виллам, Бельведеру с его тенистыми садами и Монтане с ее фонтанами и прекрасными фресками.

Нельзя отрицать, что опасности, которым постоянно подвергались эти принцы, развили в них замечательные способности. В столь искусственном мире только безупречный человек мог надеяться на успех; каждый претендент на звание отличника был вынужден подтвердить свои претензии личными заслугами и показать себя достойным короны, к которой он стремился. Их характеры не лишены темных сторон, но в каждом из них живет что-то от тех качеств, к которым Италия тогда стремилась как к своему идеалу. Какой европейский монарх того времени так трудился над своей культурой, как, например, Альфонсо I.? Его путешествия по Франции, Англии и Нидерландам были предприняты с целью изучения: благодаря им он получил точные знания о промышленности и торговле этих стран.^[97] Смешно упрекать его в токарной работе, которой он занимался в часы досуга, связанной с его мастерством в литье пушек и с той непредвзятой свободой, с которой он окружал себя мастерами всех видов искусства. Итальянские принцы не были, в отличие от их современников на Севере, зависимы от общества аристократии, которая считала себя единственным классом, заслуживающим внимания, и которая заражала монарха тем же тщеславием. В Италии принцу было разрешено и вынуждено знать и использовать людей всех слоев общества; а знать, хотя и была кастой по рождению, была вынуждена в социальных отношениях опираться только на свои личные качества. Но это вопрос, который мы обсудим более подробно в дальнейшем.

Чувство феррарезе к правящему дому представляло собой странную смесь молчаливого страха, истинно итальянского чувства хорошо просчитанного интереса и лояльности современного подданного: личное восхищение трансформировалось в новое чувство долга. Город Феррара воздвиг в 1451 году бронзовую конную статую своему принцу Никколо, умершему десятью годами ранее; Борсо (1454) не постеснялся поставить свою собственную статую, тоже из бронзы, но в сидячей позе, рядом с рынком; в дополнение к этому город в начале его правления выделил ему 'мраморную триумфальную колонну'. И когда его похоронили, весь народ

почувствовал, что сам Бог умер во второй раз.[98] Гражданин, который, находясь за границей из Венеции, публично плохо отзывался о Борсо, по возвращении домой был уведомлен об этом и приговорен к изгнанию и конфискации своего имущества; верноподданный с трудом удержался от того, чтобы не зарезать его перед самым трибуналом, и с веревкой на шее преступник отправился к герцогу и попросил полного прощения. Правительство было хорошо обеспечено шпионами, и герцог лично проверял ежедневный список путешественников, который трактирщикам было строго приказано представлять. При Borso,[99] который стремился не оставить без почестей ни одного выдающегося незнакомца, это постановление служило гостеприимной цели; Геркулес I.[100] использовал его просто как мера предосторожности. В Болонье тоже тогда было такое правило, при Джованни II. Бентивольо, что каждый проходящий мимо путешественник, вошедший через одни ворота, должен получить билет, чтобы выйти через другие.[101] Неизменным средством повышения популярности было внезапное увольнение деспотичных чиновников. Когда Борсо лично арестовал своего главного и доверенного советника, когда Геркулес I. сместил и опозорил сборщика налогов, который годами сосал кровь народа, в их честь были зажжены костры и зазвонили колокола. Однако с одним из своих слуг Геракл зашел слишком далеко. Директором полиции, или каким бы именем мы его ни называли (Capitano di Giustizia), был Грегорио Зампанте из Лукки — коренной житель, неподходящий для должности такого рода. Даже сыновья и братья герцога трепетали перед этим человеком; штрафы, наложенные им, составляли сотни и тысячи дукатов, а пытки применялись еще до слушания дела: взятки принимались от богатых преступников, и их помилование добивалось от герцога ложными заявлениями. Народ с радостью заплатил бы любую сумму этому правителю за изгнание 'врага Бога и человека'. Но Геркулес посвятил его в рыцари и сделал крестным отцом своих детей, и год от года Зампанте откладывал по 2000 дукатов. Он осмеливался есть только голубей, выращенных в его собственном доме, и не мог перейти улицу без отряда лучников и браво. Пришло время избавиться от него; в 1490 году два студента и обращенный еврей, которых он смертельно оскорбил, убили его в его доме во время сиесты, а затем проехали по городу на поджидавших лошадях, крича: 'Выходите! выходите! мы убили Зампанте!' Преследователи пришли слишком поздно и обнаружили их уже в безопасности на другой стороне границы. Конечно, теперь посыпались сатиры — некоторые в форме сонетов, другие в форме од.

Именно в духе этой системы государь навязал двору и народу свое собственное уважение к полезным слугам. Когда в 1469 году умер тайный советник Борсо Людовико Казелла, ни суду, ни коммерческим учреждениям в городе, ни лекционному залу в университете не разрешили работать: все должны были следовать за телом в Сан-Доменико, поскольку герцог намеревался присутствовать. И действительно, "первый из дома Эсте, кто присутствовал при погребении подданного", одетый в черное, шел за гробом, рыдая, в то время как за ним следовали родственники Казеллы, каждого из которых вел один из придворных: дворяне вынесли тело простого горожанина из церкви в монастырь, где оно было похоронено. Действительно, это официальное сочувствие княжеским чувствам впервые проявилось в итальянских государствах.[102] В основе практики может лежать прекрасное, гуманное чувство; выражение его, особенно у поэтов, как правило, двусмысленно искреннее. Одно из юношеских стихотворений Ариосто,[103] о смерти Лионоры Арагонской, жены Геркулеса I., содержит, помимо неизбежных кладбищенских цветов, которые разбросаны по элегиям всех эпох, некоторые совершенно современные черты: "Эта смерть нанесла Ферраре удар, от которого она не оправлялась годами: ее благотельница теперь была ее защитницей на небесах,

поскольку земля была недостойна ее; поистине, ангел Смерти пришел к ней не с окровавленной косой, как к нам, простым смертным, но с таким прекрасным видом (онеста) и с таким добрым лицом, что всякий страх рассеялся". Но мы встречаемся также с сочувствием иного рода. Романисты, полностью зависящие от благосклонности своих покровителей, рассказывают нам истории любви принца даже перед его смертью, [104] в манере, которая более поздним временам показалась бы верхом нескромности, но которая тогда воспринималась просто как невинный комплимент. Поэты-лирики даже заходили так далеко, что воспевали незаконное пламя своих законно женатых господ, например, Анджело Полициано, пламя Лоренцо Великолепного и Джовиано Понтано, с особым упоением воспевавших Альфонсо Калабрийского. Рассматриваемое стихотворение [105] бессознательно выдает одиозный нрав арагонского правителя; и в этих вещах он, должно быть, самый удачливый, иначе горе тем, кто более успешен! То, что величайшие художники, например Лионардо, изображали любовниц своих покровителей, было не более чем само собой разумеющимся.

Но дом Эсте не удовлетворился похвалами других; он взялся отмечать их сам. В Палаццо Шифаноха Борсо заставил нарисовать себя в серии исторических изображений, а Геркулес отметил годовщину своего восшествия на престол процессией, которую сравнивали с праздником Тела Христова; магазины были закрыты, как в воскресенье; в центре шеренги шли все члены княжеского дома (включая бастардов), одетые в расшитые одежды. То, что корона была источником чести и авторитета, что все личные отличия исходили только от нее, было давно [106] выражено при этом дворе орденом Золотой шпоры — орденом, который не имел ничего общего со средневековым рыцарством. Геркулес I. добавил к шпорам меч, расшитую золотом мантию и денежное пожалование, в обмен на которое, без сомнения, требовалась регулярная служба.

Покровительство искусству и литературе, благодаря которому этот двор приобрел всемирную известность, осуществлялось через Университет, который был одним из самых совершенных в Италии, и путем предоставления мест на личной или официальной службе принца; следовательно, это не требовало дополнительных расходов. Бохардо, как богатый сельский житель и высокопоставленный чиновник, принадлежал к этому классу. В то время, когда Ариосто начал проявлять себя, ни в Милане, ни во Флоренции не существовало двора в истинном смысле этого слова, а вскоре его не было ни в Урбино, ни в Неаполе. Ему пришлось довольствоваться местом среди музыкантов и жонглеров кардинала Ипполито, пока Альфонсо не взял его к себе на службу. Иначе обстояло дело позже с Торквато Тассо, присутствия которого при дворе ревностно добивались.

ГЛАВА VI.

ПРОТИВНИКИ ТИРАНИИ.

Перед лицом этой централизованной власти любое легальное противодействие в пределах государства было бесполезным. Элементы, необходимые для восстановления республики, были навсегда уничтожены, и поле деятельности было подготовлено для насилия и деспотизма. Дворяне, лишённые политических прав, даже там, где они владели феодальными владениями, могли называть себя гвельфами или гибеллинами по своему желанию, могли наряжать своих браво в мягкие чулки и шапочки с перьями. [107] или как им еще заблагорассудится; вдумчивые люди вроде Макиавелли. [108] достаточно хорошо знал, что Милан и Неаполь были слишком

"коррупцированы" для республики. Странные суждения обрушиваются на эти две так называемые партии, которые теперь служили лишь для официального разрешения личных и семейных споров. Итальянский принц, которому Агриппа Неттесгеймский[109] посоветовал усмирить их, ответил, что их ссоры приносят ему более 12 000 дукатов штрафов в год. И когда в 1500 году, во время краткого возвращения Людовико Моро в свои Государства, гвельфы Тортонны призвали часть соседней французской армии в город, чтобы раз и навсегда покончить со своими противниками, французы, конечно, начали с грабежа и разорения гибеллинов, но закончили тем, что сделали то же самое с их хозяевами, пока Тортонна не была полностью опустошена.[110] В Романье, рассаднике всех свирепых страстей, эти два названия давно потеряли всякое политическое значение. Признаком политического заблуждения народа было то, что он нередко считал гвельфов естественными союзниками французов, а гибеллинов - испанцев. Трудно понять, что те, кто пытался извлечь выгоду из этой ошибки, многого добились, поступая таким образом. Франция, после всех своих интервенций, была вынуждена в конце концов покинуть полуостров, и то, что стало с Испанией после того, как она разрушила Италию, известно каждому читателю.

Но вернемся к деспотам эпохи Возрождения. Мы могли бы подумать, что чистый и простодушный ум, возможно, возразил бы, что, поскольку вся власть исходит от Бога, эти князья, если бы их лояльно и честно поддерживали все их подданные, должны были бы со временем сами исправиться и утратить все следы своего насильственного происхождения. Но от персонажей и воображения, распаленного страстью и честолюбием, рассуждений подобного рода ожидать было нельзя. Подобно плохим врачам, они думали вылечить болезнь, устранив симптомы, и воображали, что если тирана предать смерти, свобода наступит сама собой. Или же, не размышляя даже до такой степени, они стремились лишь дать выход всеобщей ненависти или отомстить за какое-то семейное несчастье или личное оскорбление. Поскольку правительства были абсолютными и свободными от всех юридических ограничений, оппозиция с равной свободой выбирала свое оружие. Боккаччо открыто заявляет[111] 'Должен ли я называть тирана королем или принцем и преданно повиноваться ему как своему господину? Нет, ибо он враг содружества. Против него я могу использовать оружие, заговоры, шпионов, засады и мошенничество; делать это - священная и необходимая работа. Нет более приемлемой жертвы, чем кровь тирана.' Нам не нужно заниматься отдельными случаями; Макиавелли,[112] в знаменитой главе своего 'Дискурси' рассматривает заговоры древних и современных времен, начиная со времен греческих тиранов и далее, и классифицирует их с хладнокровным безразличием в соответствии с их различными планами и результатами. Нам нужно сделать всего два замечания, первое о убийствах, совершенных в церкви, и второе о влиянии классической древности. Тиран охранялся так хорошо, что было почти невозможно наложить на него руки где-либо еще, кроме как на торжественных религиозных службах; и ни по какому другому случаю всю семью нельзя было застать в сборе. Таким образом, фабрианцы[113] убили (1435 г.) членов своего правящего дома, Кьявистелли, во время великой мессы, сигнал был подан словами Символа веры 'Et incarnatus est'. В Милане герцог Джован Мария Висконти (1412) был убит у входа в церковь Сан-Готтардо, Галеаццо Мария Сфорца (1476) - в церкви Санто-Стефано, а Людовико Моро только избежал (1484) кинжалов сторонников овдовевшей герцогини Бона, войдя в церковь Сант-Амброджо через другую дверь, не через ту, через которую его ожидали. В этом поступке не было преднамеренного нечестия; убийцы Галеаццо не преминули помолиться перед убийством святому покровителю церкви и благоговейно прослушать первую мессу. Однако одной из причин частичного провала заговора

Пацци против Лоренцо и Гильяно Медичи (1478) стало то, что разбойник Монтесекко, который договорился совершить убийство на банкете, отказался совершить его во Флорентийском соборе. Некоторые из священнослужителей, "которые были знакомы со священным местом и, следовательно, не испытывали страха", были вынуждены действовать вместо него.[114]

Что касается подражания античности, на влияние которой на моральные, и особенно на политические, вопросы мы будем часто ссылаться, то пример подавали сами правители, которые как в своей концепции государства, так и в своем личном поведении открыто принимали старую римскую империю за образец. Точно так же их противники, когда они приступали к работе собдуманной теорией, брали пример с древних тираноубийц. Возможно, будет трудно доказать, что в главном — в формировании самого решения - они сознательно следовали классическому примеру; но обращение к античности было не просто фразой. Самые поразительные разоблачения были оставлены нам в отношении убийц Галеаццо Сфорца — Лампуньяни, Ольджати и Висконти.[115] Хотя все трое преследовали личные цели, все же их предприятие может быть частично объяснено более общей причиной. Примерно в это же время Кола де Монтани, гуманист и профессор красноречия, пробудил во многих молодых миланских аристократах смутную страсть к славе и патриотическим свершениям и поделился с Лампуньяни и Ольджиати своей надеждой освободить Милан. Вскоре против него возбудили подозрение: он был изгнан из города, а его ученики предались фанатизму, который он возбудил. Примерно за десять дней до этого они встретились и принесли торжественную клятву в монастыре Сант-Амброджо. "Затем, - рассказывает Ольгиати, - в отдаленном уголке я поднял глаза к изображению святого покровителя и взмолился о его помощи для нас самих и для всего его народа'. Небесный покровитель города был призван благословить это начинание, как впоследствии и святой Стефан, в церкви которого оно было исполнено. Многие из их товарищей были теперь проинформированы о заговоре, в доме Лампуньяни проводились ночные собрания, и заговорщики упражнялись в убийстве ножнами своих кинжалов. Попытка удалась, но Лампуньяни был убит на месте слугами герцога; остальные были схвачены: Висконти раскаялся, но Ольгиати, несмотря на все свои пытки, настаивал на том, что содеянное было приемлемой жертвой Богу, и воскликнул, когда палач ломал ему ребра: 'Мужайся, Джироламо! тебя будут долго помнить; смерть горька, но слава вечна'.[116]

Но какими бы идеалистическими ни казались объект и цель таких заговоров, способ, которым они проводились, выдает влияние худшего из всех заговорщиков, Катилины — человека, в мыслях которого свободе вообще не было места. Сиенские анналы прямо говорят нам, что заговорщиками были ученики Саллюстия, и этот факт косвенно подтверждается признанием Ольгиати.[117] В другом месте мы также встречаем имя Катилины, и вряд ли можно было найти более привлекательный образ заговорщика, кроме конца, которому он следовал.

Среди флорентийцев, всякий раз, когда они избавлялись или пытались избавиться от Медичи, тираноубийство было общепринятой и одобренной практикой. После бегства Медичи в 1494 году бронзовая группа Донателло[118]— Юдифь с мертвым Олоферном — была изъята из их коллекции и помещена перед Палаццо Синьория, на том месте, где сейчас стоит "Давид" Микеланджело, с надписью "Exemplum salutis publicæ cives posuere 1495".[119] Ни один пример не был более популярен, чем пример младшего Брута, который в Данте,[120] лежит с Кассием и Иудой Искаротом в самой нижней яме ада, из-за его измены империи. Пьетро Паоло Босколи, чей заговор против Гильяно, Джованни и Джулио Медичи провалился (1513), был восторженным поклонником Брута и, чтобы последовать по его стопам, ждал только Кассия. Именно с таким

партнером он познакомился в лице Агостино Каппони. Его последние высказывания в тюрьме[121]— поразительное свидетельство религиозного чувства того времени — показывают, с каким усилием он избавил свой разум от этих классических представлений, чтобы умереть как христианин. Друг и исповедник оба должны были заверить его, что святой Фома Аквинский безоговорочно осуждал заговорщиков; но впоследствии исповедник признался тому же другу, что святой Фома проводил различие и разрешал заговоры против тирана, который навязал себя народу против его воли. После того, как Лоренцино Медичи убил герцога Алессандро (1537), а затем сбежал, появилось извинение за содеянное,[122] которое, вероятно, является его собственной работой и, безусловно, составлено в его интересах, и в котором он восхваляет тираноубийство как акт высшей заслуги; исходя из предположения, что Алессандро был законным Медичи и, следовательно, состоял с ним в родстве. Пусть и отстраненно, он смело сравнивает себя с Тимолеоном, который убил своего брата ради своей страны. Другие в том же случае использовали сравнение с Брутом, и о том, что сам Микеланджело, даже в конце жизни, не был враждебен идеям такого рода, можно заключить из его бюста Брута в Уффици. Он оставил ее незаконченной, как и почти все свои произведения, но, конечно, не потому, что убийство Цезаря противоречило его чувствам, как гласит двестише ниже.

Популярный радикализм в той форме, в какой он противостоит монархиям более поздних времен, нельзя найти в деспотических государствах эпохи Возрождения. Каждый индивид внутренне протестовал против деспотизма, но был скорее склонен заключить с ним приемлемые или выгодные условия, чем объединяться с другими для его уничтожения. Должно быть, дела обстояли так же плохо, как в Камерино, Фабриано или Римини (стр. 28), прежде чем граждане объединились, чтобы уничтожить или изгнать правящий дом. В большинстве случаев они слишком хорошо знали, что это всего лишь означало бы смену хозяев. Звезда Республик, безусловно, была на закате.

ГЛАВА VII.

РЕСПУБЛИКИ: ВЕНЕЦИЯ И ФЛОРЕНЦИЯ.

В прежние времена итальянские муниципалитеты явили наглядное доказательство той силы, которая превращает город в государство. Оставалось только, чтобы эти города объединились в великую конфедерацию; и эта идея постоянно возвращалась к итальянским государственным деятелям, какие бы различия в формах она ни проявляла время от времени. Фактически, во время борьбы двенадцатого и тринадцатого веков города действительно создавали великие и грозные союзы; и Сисмонди (ii. 174) придерживается мнения, что время окончательного вооружения ломбардской конфедерации против Барбароссы было моментом, когда стала возможной всеобщая итальянская лига. Но более могущественные государства уже выработали характерные черты, которые делали любую подобную схему неосуществимой. В своих коммерческих делах они не гнушались никакими мерами, какими бы крайними они ни были, которые могли нанести ущерб их конкурентам; они держали своих более слабых соседей в состоянии беспомощной зависимости - короче говоря, каждый из них воображал, что может обойтись сам, без помощи остальных, и таким образом прокладывал путь для будущей узурпации. Узурпатор появился, когда длительные конфликты между знатью и народом, а также между различными фракциями знати пробудили стремление к сильному правительству, и когда банды наемников, готовых продать свою помощь тому, кто больше заплатит, заменили общий

сбор с граждан, который партийные лидеры теперь сочли неподходящим для своих целей.^[123] Тираны уничтожили свободу большинства городов; кое-где они были изгнаны, но не полностью или лишь на короткое время; и они всегда восстанавливались, поскольку внутренние условия были для них благоприятны, а силы противника истощены.

Среди городов, сохранивших свою независимость, есть два, имеющие глубокое значение для истории человечества: Флоренция, город непрерывного движения, который оставил нам летопись мыслей и устремлений всех без исключения, кто на протяжении трех столетий принимал участие в этом движении, и Венеция, город очевидного застоя и политической секретности. Нет контраста можно представить себе сильнее, чем ту, которую предлагает нам эти двое, и ни один не может сравниться ни с чем в мире, которые до сих пор производятся.

Венеция с самого начала осознала себя странным и загадочным творением — плодом силы более высокой, чем человеческая изобретательность. Торжественное основание города стало предметом легенды. 25 марта 413 года, в полдень, эмигранты из Падуи заложили первый камень на Риа́льто, чтобы иметь священное, неприкосновенное убежище среди опустошений варваров. Более поздние авторы приписывали основателям города предчувствие будущего величия города; месье Антонио Сабеллико, который отпраздновал это событие величественным потоком своих гекзаметров, заставляет священника, завершающего акт освящения, воззвать к небесам: 'Когда мы в будущем предпримем великие дела, даруй нам процветание! Сейчас мы преклоняем колени перед жалким алтарем; но если наши клятвы не окажутся напрасными, для Тебя, о Боже, воздвигнутся сотни храмов из золота и мрамора'.^[124] Островной город в конце пятнадцатого века был сокровищницей мира. Так его описывает тот же Сабеллико,^[125] с его древними куполами, наклонными башнями, инкрустированными мрамором фасадами, его сжатым великолепием, где богатейшее убранство не мешало практическому использованию каждого уголка пространства. Он ведет нас на переполненную площадь перед Сан-Джакомо́тто в Риа́льто, где мирские дела совершаются не среди криков и неразберихи, а под приглушенный гул множества голосов; где в портиках вокруг площади^[126] и на прилегающих улицах сидят сотни менял и ювелиров, с бесконечными рядами магазинов. и склады над их головами. Он описывает большой Фонда́ко немцев за мостом, где лежат их товары и жилища и перед которым в канале стоят бок о бок их корабли; выше - целая флотилия, груженная вином и маслом, а параллельно ей, на берегу, кишасщем носильщиками, расположены хранилища торговцев; затем от Риа́льто к площади Святого Марка тянутся постоянные дворы и лавки парфюмеров. Итак, он ведет читателя из одного квартала города в другой, пока тот, наконец, не добирается до двух больниц, которые были одними из тех общественных учреждений, которых нигде не было так много, как в Венеции. Забота о людях, как в мирное, так и в военное время, была характерна для этого правительства, и его внимание к раненым, даже к раненым врага, вызывало восхищение других государств.^[127] Государственные учреждения всех видов нашли в Венеции свою схему; выплата пенсий вышедшим на пенсию слугам осуществлялась систематически и включала обеспечение вдов и сирот. Богатство, политическая безопасность и знакомство с другими странами способствовали более зрелому пониманию подобных вопросов. Эти стройные светловолосые мужчины,^[128] с тихими осторожными шагами и обдуманной речью, лишь незначительно отличались друг от друга костюмами и осанкой; украшения, особенно жемчуг, были зарезервированы для женщин и девочек. В то время всеобщее процветание, несмотря на потери, понесенные от турок, все еще было ослепительным; запасы энергии, которыми обладал

город, и предубеждение в его пользу, распространившееся по всей Европе, позволили ему гораздо позже пережить тяжелые удары, нанесенные открытием морского пути в Индию, падением мамлюков в Египте и войной Камбрейской лиги.

Сабеллико, родившийся в окрестностях Тиволи и привыкший к откровенной болтовне ученых своего времени, замечает в другом месте^[129] с некоторым удивлением, что молодых дворян, пришедших утром послушать его лекции, невозможно было убедить вступить в политические дискуссии: "Когда я спрашиваю их, что люди думают, говорят и ожидают по поводу того или иного этого движения в Италии, они все в один голос отвечают, что ничего не знают об этом деле." Тем не менее, несмотря на строгую государственную инквизицию, тем, кто был готов заплатить за это достаточно, предстояло многому научиться у наиболее коррумпированных представителей аристократии. В последней четверти пятнадцатого века среди высших должностных лиц были предатели;^[130] папы римские, итальянские принцы и даже второсортные кондотьеры на службе у правительства имели информаторов на жалованье, иногда с регулярным жалованьем; дело зашло так далеко, что Совет Десяти считал благоразумным скрывать важные политические новости от Совета Прегади, и это было невозможно. предполагалось даже, что Людовико Моро контролировал определенное количество голосов среди последних. Трудно решить, принесли ли большую пользу повешение отдельных преступников и высокие награды — такие, как пожизненная пенсия в шестьдесят дукатов, выплачиваемая тем, кто доносил на них, — одна из главных причин этого зла, бедность многих представителей знати, не могла быть устранена за один день. В 1492 году двое из этого ордена выдвинули предложение о том, что государство должно ежегодно тратить 70 000 дукатов на помощь тем беднейшим дворянам, которые не занимали государственных должностей; вопрос был близок к рассмотрению в Великом совете, в котором оно могло бы иметь большинство, когда вовремя вмешался Совет Десяти и пожизненно сослал двух претендентов в Никосию на Кипре.^[131] Примерно в это же время Соранцо был повешен, хотя и не в самой Венеции, за святотатство, а Контарини закован в цепи за кражу со взломом; другой представитель той же семьи предстал в 1499 году перед синьорией и пожаловался, что много лет он был без должности, что у него было всего шестнадцать дукатов в год и девять детей, что его долги составляли шестьдесят дукатов, что он не знал ремесла и недавно был выброшен на улицу. Мы можем понять, почему некоторые из более состоятельных дворян строили дома, иногда целые ряды, чтобы предоставить бесплатное жилье своим нуждающимся товарищам. Такие произведения фигурируют в завещаниях среди актов благотворительности.^[132]

Но если враги Венеции когда-либо возлагали серьезные надежды на злоупотребления такого рода, они глубоко заблуждались. Можно было бы подумать, что коммерческая деятельность города, предоставлявшая самым скромным богатое вознаграждение за их труд, и колоний на восточных берегах Средиземного моря должны были отвлечь от политических дел опасные элементы общества. Но разве политическая история Генуи, несмотря на подобные преимущества, не была одной из самых бурных? Причина стабильности Венеции заключается скорее в сочетании обстоятельств, которые нигде больше не встречались при объединении. Неуязвимая со своей позиции, она с самого начала могла относиться к иностранным делам с самым полным и спокойным размышлением и почти полностью игнорировать партии, разделявшие остальную Италию, избегать запутанных постоянных союзов и назначать самую высокую цену за те, которые она считала целесообразными заключить. Следовательно, лейтмотивом венецианского характера был дух гордой и презрительной изоляции, который в сочетании с ненавистью, испытываемой к городу другими государствами Италии, породил

внутри сильное чувство солидарности. Между тем жители были объединены самыми мощными узами заинтересованности в делах как с колониями, так и с владениями на материке, что вынуждало население последнего, то есть всех городов вплоть до Бергамо, покупать и продавать только в Венеции. Власть, опирающаяся на столь искусственные средства, могла поддерживаться только внутренней гармонией и единством; и это убеждение было так широко распространено среди граждан, что заговорщик нашел мало элементов для работы. А недовольные, если таковые и были, находились так далеко друг от друга из-за разделения между дворянами и бюргерами, что взаимопонимание было нелегким делом. С другой стороны, в рядах самой знати путешествия, коммерческие предприятия и непрекращающиеся войны с турками спасали богатых и опасных людей от этого плодотворного источника заговоров — безделья. В этих войнах командующий генерал щадил их, часто до преступной степени, и венецианец Катон предсказал падение города, если этот страх знати "причинить друг другу боль" будет продолжаться в ущерб справедливости.^[133] Тем не менее, это свободное передвижение на свежем воздухе придавало венецианской аристократии в целом здоровый уклон.

И когда зависть и честолюбие требовали удовлетворения, появлялась официальная жертва, и законные средства и власти были готовы. Моральные пытки, которым в течение многих лет подвергался дож Франческо Фоскари (ум. в 1457 г.) на глазах у всей Венеции, являются ужасающим примером мести, возможной только для аристократии. Совет десяти, который приложил руку ко всему, который без апелляции распоряжался жизнью и смертью, финансовыми делами и военными назначениями, который включал в свое число инквизиторов и который сверг Фоскари, как он свергал стольких могущественных людей прежде, — этот Совет ежегодно избирался заново из всего руководящего органа, Gran Consilio, и, следовательно, был самым прямым выражением его воли. Маловероятно, что на этих выборах происходили серьезные интриги, поскольку непродолжительность пребывания в должности и последовавшая за этим подотчетность сделали их объектом без особого желания. Но какими бы жестокими и таинственными ни были действия этой и других властей, настоящий венецианец скорее добивался, чем бежал от приговора, не только потому, что у Республики были длинные руки, и если она не могла поймать его, то могла наказать его семью, но и потому, что в большинстве случаев она действовала из рациональных побуждений, а не из жажды крови.^[134] Действительно, ни одно государство никогда не оказывало большего морального влияния на своих подданных, будь то за границей или дома. Если среди прегади и водились предатели, то это было достаточной компенсацией в том факте, что каждый венецианец, находящийся вдали от дома, был прирожденным шпионом своего правительства. Само собой разумеется, что венецианские кардиналы в Риме присылали домой известия о действиях тайных папских консисторий. Кардинал Доменико Гримани приказал перехватить депеши в окрестностях Рима (1500 г.), которые Асканио Сфорца отправлял своему брату Людовико Моро, и переправил их в Венецию; его отец, подвергшийся тогда серьезному обвинению, заявил о публичной заслуге своего сына перед Великим Консилиумом; другими словами, перед всем миром.^[135]

О поведении венецианского правительства по отношению к кондотьерам, получающим жалованье, уже говорилось. Единственная дополнительная гарантия их верности, которую можно было получить, заключалась в их большом количестве, из-за чего предательство было столь же затруднено, сколь и легко раскрыто. Глядя на список венецианской армии, можно только удивляться, что среди войск такого разного состава были возможны какие-либо

совместные действия. В каталоге кампании 1495 года мы находим 15 526 всадников, разбитых на несколько небольших подразделений.^[136] Только у Гонзаги Мантуанского было 1200 человек, а у Джоффридо Борджиа 740; затем следуют шесть офицеров с контингентом от 600 до 700, десять с 400, двенадцать с 400 до 200, четырнадцать или около того с 200 до 100, девять с 80, шесть с 50 до 60 и так далее. Эти силы частично состояли из старых венецианских войск, частично из ветеранов, возглавляемых венецианской городской или сельской знатью; однако большинство лидеров были принцами и правителями городов или их родственниками. К этим силам должны быть добавлены 24 000 пехотинцев — нам не сообщается, как они были набраны или под командованием — и еще 3300 военнослужащих, которые, вероятно, принадлежали к спецслужбам. В мирное время города материка были совершенно незащищены или заняты незначительными гарнизонами. Венеция полагалась если не совсем на лояльность, то, по крайней мере, на здравый смысл своих подданных; в войне Камбрейской лиги (1509 г.) она, как хорошо известно, освободила их от присяги на верность и позволила им сравнить удобства иностранной оккупации с мягким правительством, к которому они привыкли. Поскольку в их бегстве с острова Святого Марка не было никакой измены и, следовательно, никакого наказания опасаться не приходилось, они с величайшим рвением вернулись к своим старым хозяевам. Эта война, заметим в скобках, была результатом протестов столетия против венецианского стремления к величию. Венецианцы, на самом деле, не были свободны от ошибки тех чересчур умных людей, которые не приписывают своим оппонентам никакого иррационального и необдуманного поведения.^[137] Введенные в заблуждение этим оптимизмом, который, возможно, является своеобразной слабостью аристократии, они совершенно проигнорировали не только приготовления Мухаммеда II. для взятия Константинополя, но даже и для вооружения Карла VIII, пока, наконец, не был нанесен неожиданный удар.^[138] Лига Камбре была событием того же характера, поскольку она явно противоречила интересам двух главных членов, Людовика XII. и Юлия II. Ненависть всей Италии к городу-победителю, по-видимому, была сосредоточена в уме папы и ослепила его к злу иностранной интервенции; а что касается политики кардинала Амбуаза и его короля, Венеции следовало бы задолго до этого признать ее проявлением злонамеренного идиотизма и быть полностью настороже. Другие члены Лиги приняли в этом участие из той зависти, которая может быть благотворным средством для исправления большого богатства и власти, но которая сама по себе является нищенским чувством. Венеция вышла из конфликта с честью, но не без серьезного ущерба.

Власть, основы которой были столь сложными, деятельность и интересы которой охватывали столь широкую сцену, невозможно представить без систематического надзора за целым, без регулярной оценки средств и бремени, прибылей и убытков. Венеция вполне может претендовать на звание родины статистической науки, возможно, вместе с Флоренцией, а за ней последуют более просвещенные деспотии. Феодалное государство средневековья не знало ничего, кроме каталогов синьориальных прав и владений (Urbaria); оно рассматривало производство как фиксированную величину, которой оно приблизительно и является, пока мы имеем дело только с земельной собственностью. Города, с другой стороны, по всему Западу, должно быть, с самых ранних времен рассматривали производство, которое у них зависело от промышленности и торговли, как чрезвычайно изменчивое; но даже в самые процветающие времена Ганзейского союза они никогда не выходили за рамки простого коммерческого баланса. Флоты, армии, политическая власть и влияние отражаются по дебету и кредиту бухгалтерской книги трейдера. В итальянских государствах ясное политическое сознание,

образец мусульманского управления и длительное и активное осуществление торговли объединились, чтобы впервые создать настоящую статистическую науку.^[139] Абсолютная монархия Фридриха II в Нижней Италии была организована с единственной целью - обеспечить сосредоточенную власть для смертельной борьбы, в которую он был вовлечен. В Венеции, напротив, высшими целями были наслаждение жизнью и властью, увеличение унаследованных преимуществ, создание наиболее прибыльных видов промышленности и открытие новых каналов для торговли.

Писатели того времени говорят об этих вещах с величайшей свободой.^[140] Мы узнаем, что население города составляло в 1422 году 190 000 душ; итальянцы были, возможно, первыми, кто подсчитал не по очагам, или мужчинам, способным носить оружие, или людям, способным ходить, и так далее, но по "животным" и, таким образом, получили наиболее нейтральную основу для дальнейших расчетов. Примерно в это же время,^[141] когда флорентийцы захотели заключить союз с Венецией против Филиппо Марии Висконти, им на данный момент было отказано, полагая, основываясь на точной коммерческой прибыли, что война между Венецией и Миланом, то есть между продавцом и покупателем, была глупой. Даже если герцог просто увеличит свою армию, миланцы из-за более высоких налогов, которые они должны платить, станут худшими клиентами. 'Лучше пусть флорентийцы потерпят поражение, и тогда, привыкнув к жизни вольного города, они поселятся у нас и привезут с собой свою шелковую и шерстяную промышленность, как это сделали Луккезе в свое время'. Речь умирающего дожа Мочениго (1423) к нескольким сенаторам, за которыми он послал к своей постели^[142] еще более примечательна. В нем содержатся основные элементы статистического учета всех ресурсов Венеции. Я не могу сказать, существует ли подробное разъяснение этого вызывающего недоумение документа; в качестве иллюстрации можно привести следующие факты. После выплаты военного займа в четыре миллиона дукатов государственный долг ('il monte') по-прежнему составлял шесть миллионов дукатов; текущая торговля достигла (так кажется) десяти миллионов, что принесло, как сообщает нам текст, прибыль в четыре миллиона. 3000 'навильи', 300 'нави' и 45 галер были укомплектованы соответственно 17 000, 8000 и 11 000 моряками (более 200 человек на каждую галеру). К этому следует добавить 16 000 корабельных плотников. Дома в Венеции оценивались в семь миллионов, а арендная плата составляла полмиллиона.^[143] Насчитывалось 1000 дворян, чей доход колебался от 70 до 4000 дукатов. В другом отрывке обычный доход государства в том же году оценивается в 1 100 000 дукатов; из-за расстройств торговли, вызванного войнами, он снизился примерно к середине столетия до 800 000 дукатов.^[144]

Если Венеция, благодаря этому духу расчета и тому практическому повороту, который она ей придала, была первой, кто полностью представил одну из важных сторон современной политической жизни, то в той культуре, которую Италия тогда ценила наиболее высоко, она не стояла в первых рядах. Литературный импульс, в целом, здесь отсутствовал, и особенно тот энтузиазм по отношению к классической древности, который преобладал в других местах.^[145] Способности венецианцев, по словам Сабеллико, к философии и красноречию были сами по себе не менее замечательными, чем к коммерции и политике; но эти способности не развивались в них самих и не вознаграждались у чужаков так, как это поощрялось в других частях Италии. Филельфо, вызванный в Венецию не государством, а частными лицами, вскоре обнаружил, что его ожидания обманули; и Джордж Трапезундский, который в 1459 году положил латинский перевод законов Платона к ногам дожа и был назначен профессором филологии с годовой зарплатой в 150 дукатов и, наконец, посвятил свою "Риторику"

синьории,[146] вскоре неудовлетворенный покинул город. На самом деле литература, как и все остальное в Венеции, преследовала в основном практическую цель. Соответственно, если мы обратимся к истории венецианской литературы, которую Франческо Сансовино приложил к своей известной книге,[147] мы не найдем в четырнадцатом веке почти ничего, кроме истории и специальных работ по теологии, юриспруденции и медицине; а в пятнадцатом веке, пока мы не дойдем до Эрмолао Барбаро и Альдо Мануччи, гуманистическая культура для города имеющий такое значение, наиболее скудно представленный. Точно так же мы находим сравнительно мало следов страсти, столь сильной в других местах, к коллекционированию книг и рукописей; а ценные тексты, составлявшие часть наследия Петрарки, сохранились так плохо, что вскоре все следы от них были утрачены. Библиотека, которую кардинал Виссарион завещал государству (1468), чудом избежала рассеяния и разрушения. Обучение, безусловно, культивировалось в Падуанском университете, где, однако, врачи и юристы — последние как авторы юридических заключений — получали гораздо более высокую зарплату. Доля Венеции в поэтическом творчестве страны долгое время была незначительной, пока в начале шестнадцатого века ее недостатки не были восполнены.[148] Даже искусство эпохи Возрождения было импортировано в город извне, и только в конце пятнадцатого века она научилась двигаться в этой области с независимой свободой и силой. Но мы находим еще более поразительные примеры интеллектуальной отсталости. Это правительство, которое так тщательно контролировало духовенство, которое оставляло за собой назначение на все важные церковные должности и которое раз за разом осмеливалось бросать вызов римскому двору, демонстрировало официальное благочестие самого необычного рода.[149] Тела святых и другие реликвии, привезенные из Греции после турецкого завоевания, были куплены ценой величайших жертв и приняты дождем в торжественной процессии.[150] За пальто без шва было решено (1455) предложить 10 000 дукатов, но их не удалось получить. Эти меры были результатом не какого-либо народного волнения, а спокойной решимости глав правительств, и могли быть опущены, не вызвав никаких комментариев, и во Флоренции, при аналогичных обстоятельствах, они, несомненно, были бы опущены. Мы ничего не будем говорить о благочестии масс и об их твердой вере в индульгенции Александра VI. Но само государство, после поглощения Церкви в степени, неизвестной где-либо еще, на самом деле имело определенный церковный элемент в своем составе, и дождь, символ государства, появлялся в двенадцати великих процессиях ("андате")[151] в полукерикальном образе. Почти все они были празднествами в память о политических событиях и соперничали по великолепию с великими церковными праздниками; самый блестящий из всех, знаменитое бракосочетание с морем, приходилось на День Вознесения.

Самая возвышенная политическая мысль и самые разнообразные формы человеческого развития объединены в истории Флоренции, которая в этом смысле заслуживает названия первого современного государства в мире. Здесь весь народ занят тем, что в деспотических городах является делом одной семьи. Этот удивительный флорентийский дух, одновременно остро критический и художественно созидательный, непрестанно трансформировал социальное и политическое состояние государства и столь же непрестанно описывал и оценивал перемены. Таким образом, Флоренция стала родиной политических доктрин и теорий, экспериментов и внезапных перемен, но также, подобно Венеции, родиной статистической науки и единственным, превыше всех других государств в мире, родиной исторической репрезентации в современном смысле этого слова. Зрелище древнего Рима и знакомство с его ведущими писателями не остались без влияния; Джованни Виллани[152] признается, что

первый импульс к своей великой работе он получил в юбилейный 1300 год и начал ее сразу по возвращении домой. И все же, сколько из 200 000 паломников того года, возможно, были подобны ему по дарованиям и склонностям и все же не написали историю своих родных городов! Ибо не все из них могли ободрить себя мыслью: "Рим тонет; мой родной город восстает и готов свершить великие дела, и поэтому я хочу рассказать о его прошлой истории и надеюсь продолжить ее до настоящего времени и до тех пор, пока продлится моя жизнь". И, помимо свидетельства своего прошлого, Флоренция приобрела благодаря своим историкам нечто большее — большую славу, чем выпало на долю любого другого города Италии.[153]

Наша нынешняя задача состоит не в том, чтобы написать историю этого замечательного государства, а лишь в том, чтобы дать несколько указаний на интеллектуальную свободу и независимость, которыми флорентийцы были обязаны этой истории.

Ни в одном другом городе Италии борьба политических партий не была такой ожесточенной, возникшей так рано и столь постоянной. Описания их, относящиеся, правда, к несколько более позднему периоду, ясно свидетельствуют о превосходстве флорентийской критики.

И каким политиком является великая жертва этих кризисов, Данте Алигьери, возмужавший как дома, так и в изгнании! Он выразил свое презрение к непрекращающимся изменениям и экспериментам в конституции своего родного города в стихах адаманта, которые останутся вошедшими в поговорку до тех пор, пока повторяются политические события того же рода;[155] он обратился к своему дому со словами вызова и тоски, которые, должно быть, тронули сердца его соотечественников. Но его мысли витали над Италией и всем миром; и если его страсть к Империи, как он ее себе представлял, была не более чем иллюзией, все же следует признать, что юношеские мечты о зарождающейся политической спекуляции в его случае не лишены поэтического величия. Он гордится тем, что был первым, кто прошел этот путь,[156] безусловно, по стопам Аристотеля, но по-своему независимо. Его идеальный император - справедливый и гуманный судья, зависящий только от Бога, наследник вселенской власти Рима, которому принадлежала санкция природы, права и воли Бога. Согласно этой точке зрения, завоевание мира было законным, основанным на божественном суде между Римом и другими народами земли, и Бог одобрил эту империю, поскольку при ней он стал Человеком, подчинившись при своем рождении переписи императора Августа, а при своей смерти суду Понтия Пилата. Нам может быть трудно оценить эти и другие аргументы того же рода, но страсть Данте никогда не перестает увлекать нас за собой. В своих письмах он фигурирует как один из первых публицистов,[157] и, возможно, является первым непрофессионалом, опубликовавшим политические трактаты в такой форме. Он начал рано. Вскоре после смерти Беатриче он обратился с памфлетом о состоянии Флоренции 'к великим мира сего', и все публичные высказывания его последних лет, начиная со времени его изгнания, адресованы императорам, принцам и кардиналам. В этих письмах и в его книге "О вульгарном красноречии" постоянно повторяется чувство, приобретенное с такой горькой болью, что изгнанник может найти в другом месте, кроме своего родного места, интеллектуальный дом в языке и культуре, который у него нельзя отнять. Об этом нам будет что сказать в дальнейшем.

Двум Виллани, Джованни и Маттео, мы обязаны не столько глубокими политическими размышлениями, сколько свежими практическими наблюдениями, а также элементами флорентийской статистики и важными заметками других государств. Здесь торговля также дала

толчок экономической и политической науке. Нигде больше в мире нельзя было получить такой точной информации о финансовых делах. Богатство папского двора в Авиньоне, которое к моменту смерти Иоанна XXII составляло двадцать пять миллионов золотых флоринов, было бы невероятным для любого менее заслуживающего доверия источника.[158] Только здесь, во Флоренции, мы встречаемся с колоссальными займами, подобными тому, который король Англии получил от флорентийских домов Барди и Перуцци, которые проиграли его Величеству сумму в 1 365 000 золотых флоринов (1338 г.) — свои собственные деньги и деньги своих партнеров — и, тем не менее, оправились от шока.[159] Здесь зафиксированы наиболее важные факты о состоянии Флоренции в это время:[160] государственные доходы (более 300 000 золотых флоринов) и расходы; население город, здесь лишь приблизительно оцененный, согласно потреблению хлеба в "бочке", *то есть* ртами, составляет 90 000 человек, а население всей территории - от 300 до 500 детей мужского пола среди ежегодно крещаемых 5800-6000 человек;[161] школьники, из которых от 8000 до 10 000 обучались чтению, от 1000 до 1200 - арифметике в шести школах; и, кроме того, это 600 ученых, которые преподавали латинскую грамматику и логику в четырех школах. Затем следуйте статистике церквей и монастырей; больниц, в которых было более тысячи коек; торговли шерстью с ее наиболее ценными деталями; монетного двора, снабжения города продовольствием, государственных чиновников и так далее.[162] Случайно мы узнаем много любопытных фактов; например, когда в 1353 году были впервые учреждены государственные фонды ("монте"), францисканцы выступили с кафедры в пользу этой меры, доминиканцы и августинцы - против.[163] Экономические результаты "черной смерти" нигде больше во всей Европе не наблюдались и не могли быть описаны так, как в этом городе.[164] Только флорентиец мог оставить запись о том, как ожидалось, что скудное население сделает все дешевым, и как вместо этого рабочая сила и товары удвоились в цене; как простые люди поначалу вообще не будут работать, а просто предадутся удовольствиям; как в самом городе слуг и горничных можно было нанять только за непомерно высокую плату; как крестьяне не могли найти ничего, кроме возделывали бы только лучшие земли, а остальные оставили необработанными; и как огромное наследство, завещанное бедным во время чумы, оказалось впоследствии бесполезным, поскольку бедняки либо умерли, либо перестали быть бедными. Наконец, в связи с великим завещанием, по которому бездетный филантроп оставил по шесть "данари" каждому нищему в городе, предпринята попытка дать исчерпывающий статистический отчет о флорентийском нищенстве.[165]

Этот статистический взгляд на вещи в более позднее время еще более высоко культивировался во Флоренции. Примечательным моментом в нем является то, что, как правило, мы можем ощутить его связь с высшими аспектами истории, с искусством и с культурой в целом. Опись 1422 года[166] в том же документе в рамках того же документа упоминаются семьдесят два обменных пункта, которые окружали "Меркато Нуово"; количество чеканных денег в обращении (два миллиона золотых флоринов); тогдашняя новая отрасль золотопрядения; шелковые изделия; Филиппо Брунеллеско, который в то время был занят выкапыванием классической архитектуры из могилы; и Лионардо Аретино, секретарь республики, работающий над возрождением древней литературы и красноречия; наконец, это говорит об общем процветании города, тогда свободного от политических конфликтов, и о великой удаче Италии, избавившейся от иностранных наемников. Приведенная выше венецианская статистика (стр. 70), датируемая примерно тем же годом, безусловно, свидетельствует о более крупной собственности и прибылях, а также о более обширной арене действий; Венеция долгое время

была владычицей морей, прежде чем Флоренция отправила свои первые галеры (1422) в Александрию. Но ни один читатель не может не признать высокий дух флорентийских документов. Эти и подобные списки повторяются с интервалом в десять лет, систематизированы и сведены в таблицы, в то время как в других местах мы находим в лучшем случае случайные упоминания. Мы можем составить приблизительную оценку имущества и бизнеса первых Медичи; они заплатили на благотворительность, общественные здания и налоги с 1434 по 1471 год не менее 663 755 золотых флоринов, из которых более 400 000 пришлось только на Козимо, и Лоренцо Магнifico был рад, что деньги были так хорошо потрачены.^[167] В 1472 году мы снова имеем наиболее важное и в своем роде полное представление о торговле этого города,^[168] некоторые из которых могут быть полностью или частично причислены к изобразительное искусство — например, то, что было связано с штофом и золотым или серебряным шитьем, с резьбой по дереву и "интарсией", со скульптурой арабесок из мрамора и песчаника, с портретами из воска, а также с ювелирными изделиями из золота. Врожденный талант флорентийцев к систематизации внешней жизни демонстрируют их книги по сельскому хозяйству, бизнесу и домашнему хозяйству, которые заметно превосходят книги других европейских народов пятнадцатого века. Было справедливо решено опубликовать подборки этих работ,^[169] хотя для извлечения из них ясных и определенных результатов потребуется немалое исследование. Во всяком случае, нам нетрудно узнать город, где умирающие родители в своих завещаниях умоляли правительство оштрафовать их сыновей на 1000 флоринов, если они откажутся заниматься обычной профессией.^[170]

На первую половину шестнадцатого века, вероятно, ни одно государство в мире не располагало документом, подобным великолепному описанию Флоренции Варчи.^[171] В описательной статистике, как и во многих других вещах, нам оставлена еще одна модель, прежде чем свобода и величие города сойдут в могилу.^[172]

Однако эта статистическая оценка внешней жизни неизменно сопровождается описанием политических событий, на которые мы уже ссылались.

Флоренция не только существовала при более разнообразных политических формах, чем в свободных государствах Италии и Европы в целом, но и отразилась на них гораздо глубже. Это точное зеркало отношений индивидов и классов к изменчивому целому. Картины великих гражданских демократий во Франции и Фландрии, как они изображены у Фруассара, и повествования немецких хронистов четырнадцатого века действительно имеют большое значение; но по полноте мысли и рациональному развитию истории никто не выдержит сравнения с флорентийцами. Правление знати, тирании, борьба среднего класса с пролетариатом, ограниченная и неограниченная демократия, псевдодемократия, главенство одной палаты, теократия Савонаролы и смешанные формы правления, подготовившие путь деспотизму Медичи, — все описано так, что обнажаются самые сокровенные мотивы действующих лиц.^[173] Наконец, Макиавелли в своей "Истории Флоренции" (вплоть до 1492 года) представляет свой родной город как живой организм, а его развитие - как естественный и индивидуальный процесс; он первый из современников, кто дорос до такой концепции. Не в нашей компетенции определять, совершал ли Макиавелли насилие над историей, как это общеизвестно в его "Жизни Каструччо Кастракане" — причудливом изображении типичного деспота, и если да, то в каких моментах. Мы могли бы найти, что сказать против каждой строки "Истории Фиорентины", и все же великая и уникальная ценность всего этого осталась бы неизменной. А его современники и преемники, Якопо Питти, Гвиччардини, Сеньи, Варчи,

Веттори, какой круг прославленных имен! И что за историю рассказывают нам эти мастера! Здесь разворачивается великая и запоминающаяся драма последних десятилетий Флорентийской республики. Обширный отчет о крушении высочайшей и наиболее самобытной жизни, которую мир мог тогда показать, может показаться одному не более чем собранием курьезов, может пробудить в другом дьявольский восторг от крушения такого количества благородства и величия, третьему может показаться великим историческим судебным заседанием; для всех это будет объектом размышлений и изучения до скончания времен. Злом, которое вечно нарушало покой города, было его господство над некогда могущественными, а теперь побежденными соперниками, такими как Пиза, — правление, необходимым следствием которого было хроническое состояние насилия. Единственным средством, безусловно крайним, принять которое никто, кроме Савонаролы, не смог бы убедить Флоренцию, да и то только при благоприятном стечении обстоятельств, было бы своевременное превращение Тосканы в федеральный союз вольных городов. В более поздний период этот план, тогда еще не более чем мечта ушедшей эпохи, привел (1548) патриотически настроенного гражданина Лукки на эшафот.^[174] От этого зла и от злополучных гвельфских симпатий Флоренции к иностранному принцу, которые приобщили ее к иностранной интервенции, произошли все последующие бедствия. Но кто не восхищается народом, который был приведен своим почитаемым проповедником в такое устойчивое возвышенное настроение, что впервые в Италии подал пример щадящего побежденного врага, в то время как вся история его прошлого не учила ничему, кроме мести и истребления? При взгляде издали может показаться, что сияние, превратившее патриотизм в единое целое с моральным возрождением, вскоре угасло; но его лучшие результаты вновь проявились в памятной осаде 1529-30 годов. Они были 'глупцами', как писал тогда Гвиччардини, которые обрушили эту бурю на Флоренцию, но он сам признается, что они достигли того, что казалось невероятным; и когда он заявляет, что разумные люди избежали бы опасности, он имеет в виду не более чем то, что Флоренция должна была молча и бесславно сдаться в руки своих врагов. Он, без сомнения, сохранил бы свои великолепные пригороды и сады, а также жизни и процветание бесчисленных горожан; но он стал бы беднее из-за одного из своих величайших и наиболее облагораживающих воспоминаний.

Во многих своих главных достоинствах флорентийцы являются образцом и самым ранним типом итальянцев и современных европейцев в целом; они таковы же и во многих своих недостатках. Когда Данте сравнивает город, который постоянно исправлял свою конституцию, с больным человеком, который постоянно меняет позу, спасаясь от боли, он затрагивает этим сравнением постоянную черту политической жизни Флоренции. Великая современная ошибка о том, что конституция может быть создана комбинацией существующих сил и тенденций,^[175] постоянно возникала в бурные времена; даже Макиавелли не полностью свободен от нее. Никогда не было недостатка в художниках-конституционалистах, которые с помощью хитроумного распределения политической власти, не прямых выборов самого сложного рода, учреждения номинальных должностей стремились установить прочный порядок вещей и удовлетворить или обмануть как богатых, так и бедных. Они наивно берут свои примеры из классической древности и заимствуют названия партий "оттиматы", "аристократия",^[176] как нечто само собой разумеющееся. С тех пор мир привык к этим выражениям и придал им общепринятый европейский смысл, тогда как все прежние названия партий были чисто национальными и либо характеризовали рассматриваемую проблему, либо возникли по прихоти случая. Но как имя окрашивает или обесцвечивает политическое дело!

Но из всех, кто считал возможным построить государство, величайшим, вне всякого сравнения, был Макиавелли.[177] Он рассматривает существующие силы как живые и активные, широко и точно рассматривает альтернативные возможности и не стремится вводить в заблуждение ни себя, ни других. Ни один человек не может быть более свободным от тщеславия или показухи; на самом деле, он пишет не для публики, а либо для принцев и администраторов, либо для личных друзей. Опасность для него заключается не в притворстве гениальности или в ложном порядке идей, а скорее в мощном воображении, которое он, очевидно, с трудом контролирует. Объективность его политических суждений иногда ужасает своей искренностью; но это признак времени необычной нужды и опасностей, когда было трудно верить в правоту или приписывать другим справедливые поступки. Добродетельное негодование на его счет обрушивается на нас, видевших, в каком смысле политическая мораль понимается государственными деятелями нашего века. Макиавелли, во всяком случае, был способен забыть в своем деле. По правде говоря, хотя его сочинения, за исключением очень немногих слов, совершенно лишены энтузиазма, и хотя сами флорентийцы в конце концов отнеслись к нему как к преступнику,[178] он был патриотом в самом полном смысле этого слова. Но каким бы свободным он ни был, как и большинство его современников, в речи и морали, благополучие государства все же было его первой и последней мыслью.

Его наиболее полная программа построения новой политической системы во Флоренции изложена в мемориале Льву X.,[179] составлена после смерти младшего Лоренцо Медичи, герцога Урбино (ум. в 1519 г.), которому он посвятил своего 'Принца'. Государство к тому времени было доведено до крайности и совершенно коррумпировано, и предлагаемые средства правовой защиты не всегда морально оправданы; но наиболее интересно посмотреть, как он надеется установить республику в форме умеренной демократии, будучи наследником Медичи. Более хитроумного плана уступок папе римскому, различным приверженцам папы Римского и различным флорентийским интересам невозможно себе представить; мы могли бы представить себя смотрящими на механизм часов. Принципы, наблюдения, сравнения, политические прогнозы и тому подобное можно найти в большом количестве в 'Дискорси', среди них вспышки удивительного озарения. Он признает, например, закон непрерывного, хотя и неравномерного развития республиканских институтов и требует, чтобы конституция была гибкой и способной к изменениям, как единственное средство избежать кровопролития и изгнаний. По аналогичной причине, чтобы защититься от частного насилия и иностранного вмешательства — "смерти всякой свободы" — он желает, чтобы была введена судебная процедура ('accusa') против ненавистных граждан, вместо которой во Флоренции до сих пор не было ничего, кроме суда скандалов. Виртуозной рукой принимаются запоздалые и произвольные решения, которые в критические моменты играют столь важную роль в республиканских государствах. Однажды, это правда, он был введен в заблуждение своим воображением и давлением событий и безоговорочно восхвалял народ, который, по его словам, выбирает своих офицеров лучше, чем любой принц, и который может быть исправлен от своих ошибок "добрым советом".[180] Что касается правительства Тосканы, он не сомневается, что оно принадлежит его родному городу, и утверждает в специальном "Дискорсо", что отвоевание Пизы - это вопрос жизни и смерти; он сожалеет, что Ареццо после восстания 1502 года не было стерто с лица земли; он признает в целом, что итальянским республикам должно быть позволено свободно расширяться и расширять свою территорию, чтобы наслаждаться миром дома, а не быть самым атакованными другими, но заявляет, что Флоренция всегда начинала не с

того конца и с самого начала нажила себе смертельных врагов в Пизе. , Лукка и Сиена, в то время как Пистойя, к которому "относились как к брату", добровольно подчинился ей.[181]

Было бы неразумно проводить параллель между немногочисленными другими республиками, которые все еще существовали в пятнадцатом веке, и этим уникальным городом — важнейшей мастерской итальянского, да и современного европейского духа. Сиена страдала от тяжелейших органических заболеваний, и ее относительное процветание в искусстве и промышленности не должно вводить нас в заблуждение на этот счет. Эней Сильвиус[182] с тоской смотрит из своего родного города на "веселые" города германской империи, где жизнь омрачают не конфискации земель и товаров, не произвол чиновников и не политические группировки.[183] Генуя едва ли входит в сферу нашей задачи, поскольку до времен Андреа Дориа она почти не участвовала в эпохе Возрождения. Действительно, житель Ривьеры вошел в поговорку среди итальянцев за свое презрение ко всей высшей культуре.[184] Партийные конфликты здесь приняли столь ожесточенный характер и так сильно нарушили весь ход жизни, что мы с трудом можем понять, как после стольких революций и вторжений генуэзцам вообще удалось вернуться к сносному состоянию. Возможно, это было связано с тем фактом, что почти все, кто принимал участие в общественных делах, были в то же время почти без исключения активными деловыми людьми.[185] Пример Генуи поразительным образом показывает, с какой ненадежностью сочетаются богатство и обширная торговля и с каким внутренним беспорядком владение отдаленными колониями.

Лукка не имела большого значения в пятнадцатом веке.

ГЛАВА VIII.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ИТАЛЬЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ.

ПОСКОЛЬКУ большинство итальянских государств по своему внутреннему устройству были произведениями искусства, то есть плодом размышлений и тщательной адаптации, их отношение друг к другу и к зарубежным странам также было произведением искусства. То, что почти все они были результатом недавних узурпаций, было фактом, который оказал столь же фатальное влияние на их внешнюю, как и на внутреннюю политику. Ни один из них не признавал другого безоговорочно; та же самая игра случая, которая помогла основать и консолидировать одну династию, могла расстроить другую. И не всегда у деспота был выбор - молчать или нет. Необходимость движения и усиления является общей для всех незаконных держав. Таким образом, Италия стала ареной "внешней политики", которая постепенно, как и в других странах, приобрела статус признанной системы публичного права. Чисто объективный подход к международным делам, столь же свободный от предрассудков, как и от моральных угрызений совести, достиг совершенства, которое иногда не лишено определенной красоты и величия само по себе. Но в целом это производит на нас впечатление бездонной пропасти.

Интриги, вооружение, лиги, коррупция и государственная измена составляют внешнюю историю Италии в этот период. Венецию, в частности, долгое время обвиняли со всех сторон в стремлении завоевать весь полуостров или постепенно настолько ослабить свою мощь, чтобы одно государство за другим попадало в ее руки.[186] Но при ближайшем рассмотрении становится очевидным, что эта жалоба исходила не от народа, а скорее от судов и чиновничества, которые обычно вызывали отвращение у своих подданных, в то время как

мягкое правительство Венеции обеспечило себе всеобщее доверие. Даже Флоренция,[187] с ее беспокойными подчиненными городами, оказалась в ложном положении по отношению к Венеции, помимо всякой коммерческой зависти и прогресса Венеции в Романье. Наконец Камбрская лига действительно нанесла серьезный удар по государству (стр. 68), которое вся Италия должна была поддержать объединенными силами.

Другие государства также были движимы чувствами не менее недружелюбными и в любое время были готовы применить друг против друга любое оружие, которое могла подсказать им нечистая совесть. Людовико Моро, арагонские короли Неаполя и Сикст IV, не говоря уже о более мелких державах, держали Италию в состоянии постоянного и опасного волнения. Было бы хорошо, если бы жестокая игра была ограничена Италией; но природа дела такова, что вмешательства и помощи следовало, наконец, искать за границей, в частности, у французов и турок.

Симпатии народа в целом были повсюду на стороне Франции. Флоренция никогда не переставала признаваться с шокирующей *наивностью* в своем давнем гвельфском предпочтении французам.[188] И когда Карл VIII действительно появился к югу от Альп, вся Италия приняла его с энтузиазмом, который ему самому и его последователям казался необъяснимым.[189] В воображении итальянцев, если взять, к примеру, Савонаролу, все еще жил идеальный образ мудрого, справедливого и могущественного спасителя и правителя, с той разницей, что он был уже не императором, которого призывал Данте, а королем Франции Капетингов. С его отъездом иллюзия была разрушена; но прошло много времени, прежде чем все поняли, насколько глубоко Карл VIII, Людовик XII и Франциск I. ошибались в своем истинном отношении к Италии и какими низменными мотивами они руководствовались. Принцы, со своей стороны, пытались использовать Францию совершенно по-другому. Когда франко-английские войны подошли к концу, при Людовике XI. начав раскидывать свои дипломатические сети со всех сторон, а Карл Бургундский пустился в свои глупые авантюры, итальянские кабинеты министров шли им навстречу на каждом шагу. Стало ясно, что вмешательство Франции было лишь вопросом времени, хотя претензий на Неаполь и Милан никогда не существовало, и что старое вмешательство в Геную и Пьемонт было лишь прообразом того, что должно было последовать. Венецианцы, по сути, ожидали этого еще в 1642 году.[190] Смертельный ужас герцога Миланского Галеаццо Марии во время бургундской войны, в которой он, по-видимому, был союзником как Карла, так и Людовика и, следовательно, имел основания опасаться нападения с обеих сторон, ярко показан в его переписке.[191] План равновесия четырех главных итальянских держав, как его понимал Лоренцо Великолепный, был всего лишь предположением о жизнерадостном оптимистическом духе, который перерос как безрассудство экспериментальной политики, так и суеверия флорентийского гвельфизма и упорно надеялся на лучшее. Когда Людовик XI предложил ему помощь в войне против Ферранте Неаполитанского и Сикста IV, он ответил: 'Я не могу ставить свою выгоду выше безопасности всей Италии; если бы французским королям никогда не пришлось в голову испытать свои силы в этой стране! Если они когда-нибудь сделают это, Италия будет потеряна'.[192] Для других принцев, король Франции был попеременно пугалом для них самих и для их врагов, и они угрожали вызвать его всякий раз, когда не видели более удобного выхода из своих трудностей. Папы, в свою очередь, воображали, что они могут использовать Францию без какой-либо опасности для себя, и даже Иннокентий VIII вообразил, что он может удалиться, чтобы дуться на Севере, и вернуться победителем в Италию во главе французской армии.[193]

Действительно, вдумчивые люди предвидели иностранное завоевание задолго до экспедиции Карла VIII.^[194] И когда Чарльз снова оказался по ту сторону Альп, каждому было ясно, что началась эра интервенции. Теперь несчастье следовало за несчастьем; слишком поздно стало понятно, что Франция и Испания, два главных захватчика, стали великими европейскими державами, что они больше не будут довольствоваться словесным почтением, а будут сражаться насмерть за влияние и территорию в Италии. Они начали напоминать централизованные итальянские государства и даже копировать их, только в гигантских масштабах. Схемы аннексии или обмена территорией какое-то время бесконечно множились. Концом, как хорошо известно, стала полная победа Испании, которая, как меч и щит контрреформации, долгое время удерживала папство среди других своих подданных. Меланхолические размышления философов могли только показать им, как плохо кончили все те, кто призвал варваров.

В то же время заключались союзы и с турками, без малейших колебаний или маскировки; они считались ничуть не хуже любых других политических мер. Вера в единство Западного христианского мира в разное время в ходе крестовых походов была серьезно поколеблена, и Фридрих II. вероятно, перерос ее. Но новое наступление восточных народов, нужда и крушение Греческой империи возродили старые чувства, хотя и не в прежней силе, во всей Западной Европе. Италия, однако, была поразительным исключением из этого правила. Каким бы великим ни был ужас перед турками и исходящая от них реальная опасность, все же едва ли было сколько-нибудь значительное правительство, которое не вступало в заговор против других итальянских государств с Мухаммедом II и его преемниками. И когда они этого не сделали, им все равно приписали это; и это было не хуже, чем отправка эмиссаров с целью отравления цистерн Венеции, в чем обвинялись наследники Альфонсо, короля Неаполя.^[195] От такого негодяя, как Сигизмондо Малатеста, нельзя было ожидать ничего лучшего, чем призвать турок в Италию.^[196] Но арагонские монархи Неаполя, от которых Мухаммед — по наущению, как мы читаем, других итальянских правительств, особенно Венеции^[197]—однажды отвоевал Отранто (1480), затем преследовал султана Баязета II. против венецианцев.^[198] Такое же обвинение было предъявлено Людовико Моро. ‘Кровь убитых и страдания пленников в руках турок вызывают к Богу о мести ему’, - говорит государственный историк. В Венеции, где правительство было проинформировано обо всем, было известно, что Джованни Сфорца, правитель Пезаро, двоюродный брат мавра, принимал турецких послов по пути в Милан.^[199] Два самых уважаемых среди пап XV века, Николай V и Пий II, умерли в глубочайшей скорби по поводу продвижения турок, причем последний действительно находился в процессе подготовки к крестовому походу, который он надеялся возглавить лично; их преемники присвоили пожертвования, присланные на эту цель со всех концов христианского мира, и превратили индульгенции, предоставленные в обмен на них, в частную коммерческую спекуляцию.^[200] Иннокентий VIII. согласился быть тюремщиком беглого принца Джема за жалованье, выплачиваемое братом заключенного Баязетом II., а Александр VI. поддержал шаги, предпринятые Людовико Моро в Константинополе для продолжения турецкого нападения на Венецию (1498), после чего последний пригрозил ему Советом.^[201] Ясно, что пресловутый союз между Франциском I и Солиманом II. не было ничего нового или неслыханного.

Действительно, мы находим примеры целых групп населения, которым не казалось особым преступлением переходить на сторону турок. Даже если бы это было преподнесено только как угроза деспотическим правительствам, это, по крайней мере, доказательство того, что идея стала привычной. Еще в 1480 году Баттиста Мантовано ясно дал нам понять, что большинство

жителей Адриатического побережья предвидели нечто подобное и что Анкона, в частности, желала этого.[202] Когда Романья страдала от деспотичного правительства Льва X, депутат от Равенны открыто сказал легату кардиналу Гильо Медичи: "Монсеньор, достопочтенная Венецианская республика не примет нас, опасаясь спора со Святым Престолом; но если турок придет в Рагузу, мы отдадим себя в его руки".[203]

Слабым, но не совсем беспочвенным утешением в связи с начатым испанцами порабощением Италии было то, что страна была по крайней мере защищена от рецидива варварства, которое ожидало бы ее при турецком владычестве.[204] Сам по себе, каким бы разделенным он ни был, вряд ли избежал бы этой участи.

Если, при всех этих недостатках, итальянская государственная мудрость того периода заслуживает нашей похвалы, то только на основании ее практического и непредвзятого подхода к тем вопросам, которые не были затронуты страхом, страстью или злобой. Здесь не было феодальной системы на северный манер с ее искусственной схемой прав; но власть, которой обладал каждый, он удерживал как на практике, так и в теории. Здесь не было сопутствующего благородства, которое воспитывало бы в сознании принца средневековое чувство чести со всеми его странными последствиями; но принцы и советники были согласны действовать в соответствии с требованиями конкретного случая и до конца, который они имели в виду. По отношению к людям, услугами которых пользовались, и к союзникам, откуда бы они ни происходили, не чувствовалось кастовой гордости, которая могла бы оттолкнуть сторонника; а класс кондотьеров, в руках которых происхождение было делом безразличным, достаточно ясно показывает, в каких руках находилась реальная власть; и, наконец, правительство в руках просвещенного деспота имело несравненно более точное представление о своей собственной стране и о своих соседях, чем современники с севера, и оценивало экономические и моральные способности друзей и врагов вплоть до мельчайших деталей. . Правители, несмотря на серьезные ошибки, были прирожденными мастерами статистической науки. С такими людьми были возможны переговоры; можно было предположить, что они будут убеждены и их мнение изменится, когда им представят практические доводы. Когда великий Альфонсо Неаполитанский был (1434) пленником Филиппо Марии Висконти, он смог убедить своего тюремщика, что правление Анжуйского дома вместо его собственного в Неаполе сделает французов хозяевами Италии; Филиппо Мария освободил его без выкупа и заключил с ним союз.[205] Северный принц вряд ли поступил бы так же, и уж точно не тот, чья мораль в других отношениях была подобна морали Висконти. О том, насколько верили в силу своекорыстия, свидетельствует знаменитый визит, который Лоренцо Великолепный, ко всеобщему изумлению флорентийцев, нанес вероломному Ферранте в Неаполе - человеку, который, несомненно, испытал бы искушение оставить его пленником и отнюдь не был для этого слишком щепетилен.[206] Для ареста могущественного монарха, а затем отпустить его живым, вымогая его подпись и иным образом оскорбляя его, как Карл Смелый поступил с Людовиком XI. битва при Перонне (1468) казалась итальянцам безумием;[207] так что ожидалось, что Лоренцо вернется, покрытый славой, или вообще не вернется. Искусство политического убеждения было в это время доведено до такой степени — особенно венецианскими послами, — о которой северные народы впервые получили представление от итальянцев и о которой официальные обращения дают самое несовершенное представление. Это всего лишь фрагменты гуманистической риторики. И, несмотря на церемониальный этикет в остальном, в дипломатических сношениях не было недостатка в грубых и откровенных выражениях в случае необходимости.[208] Такой человек, как Макиавелли, предстает в его 'Легациони' в почти

патетическом свете. Снабженный скудными инструкциями, бедно экипированный и к нему относятся как к агенту низшего ранга, он никогда не теряет своего дара свободного и широкого наблюдения или удовольствия от живописных описаний. С того времени Италия была и оставалась страной политических 'Иструциони' и 'Отношений'. Несомненно, в других государствах было много дипломатических способностей, но только Италия в столь ранний период сохранила об этом значительное количество документальных свидетельств. Длинное послание о последнем периоде жизни Ферранте Неаполитанского (17 января 1494 г.), написанное рукой Понтано и адресованное кабинету Александра VI, дает нам самое высокое мнение об этом классе политических сочинений, хотя оно цитируется лишь случайно и как одно из многих написанных. И сколько других депеш, столь же важных и энергично написанных в дипломатических сношениях того и более позднего времени, до сих пор остаются неизвестными или неотредактированными!^[209]

Особый раздел этой работы будет посвящен изучению человека в индивидуальном и национальном масштабе, которое у итальянцев шло рука об руку с изучением внешних условий человеческой жизни.

ГЛАВА IX.

ВОЙНА КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА.

Здесь следует кратко указать, на каких этапах военное искусство приобретало характер продукта размышлений.^[210] Во всех странах Запада воспитание отдельного солдата в средние века было совершенным в рамках господствовавшей тогда системы обороны и нападения: не было недостатка и в гениальных изобретателях в искусстве осады и фортификации. Но развитию как стратегии, так и тактики препятствовали характер и продолжительность военной службы, а также амбиции дворян, которые оспаривали вопросы первенства перед лицом врага и из-за простого отсутствия дисциплины потерпели поражение в таких великих битвах, как Креси и Мопертюи. Италия, напротив, была первой страной, принявшей систему наемных войск, которая требовала совершенно иной организации; и раннее внедрение огнестрельного оружия внесло свой вклад в превращение войны в демократическое занятие не только потому, что самые прочные замки не могли выдержать бомбардировки, но и потому, что мастерство инженера, изготовителя орудий и артиллериста - людей, принадлежащих к другому классу, чем дворянство, — теперь имело первостепенное значение в кампании. С сожалением чувствовалось, что ценность личности, которая была душой небольших и превосходно организованных банд наемников, пострадает от этих новых средств уничтожения, которые делали свое дело на расстоянии; и были кондотьеры, которые всячески возражали против внедрения, по крайней мере, мушкета, недавно изобретенного в Германии.^[211] Мы читаем, что Паоло Вителли,^[212] узнав пушку и взяв ее в руки, выколол глаза и отрубил руки захваченному "скиоппеттьери" из враг, потому что он считал недостойным, чтобы доблестный и, возможно, благородный рыцарь был ранен и повержен простым, презираемым пехотинцем. В целом, однако, новые открытия были приняты и использованы с пользой, пока итальянцы не стали учителями всей Европы как в строительстве укреплений, так и в средствах нападения на них.^[213] Такие принцы, как Федерико Урбинский и Альфонсо Феррарский, овладели предметом, по сравнению с которым знания даже Максимилиана I. кажутся поверхностными. В Италии раньше, чем где бы то ни было, существовали всеобъемлющая наука и искусство

военного дела; здесь впервые испытывается беспристрастное наслаждение от умелого полководчества ради него самого, чего, действительно, можно было ожидать от частой смены партии и от совершенно несентиментального образа действий кондотьеров. Во время милано-венецианской войны 1451 и 1452 годов между Франческо Сфорца и Якопо Пиччинино в штаб-квартире последнего присутствовал ученый Джан Антонио Порчелло деи Пандони, которому Альфонсо Неаполитанский поручил написать отчет о кампании.^[214] Написано не на чистейшей, но беглой латыни, чересчур в стиле гуманистической напыщенности того времени, смоделировано по Комментариям Цезаря и перемежается речами, вундеркиндами и тому подобным. Поскольку в течение последних ста лет велись серьезные споры о том, кто был сильнее - Сципион Африканский или Ганнибал,^[215] Пиччинино на протяжении всей книги должен называться Сципион и Сфорца Ганнибал. Но нужно было сообщить и кое-что положительное о миланской армии; софист представился Сфорца, его провели по рядам, он высоко оценил все, что увидел, и пообещал передать это потомкам.^[216] Помимо него, итальянская литература того времени богата описаниями войн и стратегических приемов, написанных для использования образованными людьми в целом, а также специалистами, в то время как современные повествования о северянах, такие как "Бургундская война" Дибольда Шеллинга, все еще сохраняют бесформенность и сухость простой хроники. Величайший *дилетант*, который когда-либо трактовал в этом образе^[217] военного дела, был тогда занят написанием своего 'Искусства Герры'. Но развитие отдельного солдата нашло свое наиболее полное выражение в тех публичных и торжественных конфликтах между одной или несколькими парами комбатантов, которые практиковались задолго до знаменитого "Вызова Барлетты"^[218] (1503). Победитель был уверен в восхвалениях поэтов и ученых, в которых было отказано северному воину. Результат этих боев больше не рассматривался как Божественный суд, а как триумф личных заслуг, и в сознании зрителей казался одновременно решением захватывающего соревнования и удовлетворением чести армии или нации.^[219]

Очевидно, что такое чисто рациональное отношение к военным делам допускало, при определенных обстоятельствах, наихудшие зверства даже при отсутствии сильной политической ненависти, как, например, когда войскам было обещано разграбление города. После четырехдневного опустошения Пьяченцы, которое Сфорца был вынужден разрешить своим солдатам (1447 г.), город долго стоял пустой, и в конце концов его пришлось заселять силой.^[220] Однако подобные бесчинства были ничем по сравнению с теми страданиями, которые впоследствии принесли Италии иностранные войска, и больше всего испанцы, в которых, возможно, нотка восточной крови, возможно, знакомство с зрелищами инквизиции, высвободили дьявольский элемент человеческой природы. Увидев их за работой в Прато, Риме и других местах, нелегко проявить какой-либо высший интерес к Фердинанду Католику и Карлу V. Которые знали, что это за орды, и все же освободили их. Масса документов, которые постепенно извлекаются на свет из кабинетов этих правителей, всегда будет оставаться важным источником исторической информации; но от таких людей нельзя ожидать плодотворной политической концепции.

ГЛАВА X.

ПАПСТВО И ЕГО ОПАСНОСТИ.

Папство и владения Церкви[221] являются творениями настолько своеобразного рода, что до сих пор при определении общих характеристик итальянских государств мы ссылались на них лишь изредка. Преднамеренный выбор и приспособление политических мер, которые вызывают такой большой интерес у других государств, - это то, что мы меньше всего находим в Риме, поскольку здесь духовная власть могла постоянно скрывать или восполнять недостатки мирской. И каким огненным испытаниям подверглось это государство в четырнадцатом и начале пятнадцатого века, когда папство было пленено в Авиньоне! Сначала все пришло в замешательство; но у папы были деньги, войска и великий государственный деятель и генерал испанец Альборнос, который снова привел церковное государство в полное подчинение. Опасность окончательного распада была еще больше во времена раскола, когда ни римский, ни французский папа не были достаточно богаты, чтобы отвоевать вновь утраченное государство; но это было сделано при Мартине V, после того как единство Церкви было восстановлено, и сделано снова при Евгении IV, когда та же опасность возобновилась. Но церковное государство было и оставалось абсолютной аномалией среди итальянских держав; в самом Риме и вблизи него папству бросали вызов знатные семьи Колонна, Орсини, Савелли и Ангильяра; в Умбрии, на Марках и в Романье почти прекратили свое существование те гражданские республики, за преданность которым папство выказывало так мало благодарности; их место заняла толпа княжеских династий, больших или малых, чья лояльность и послушание мало что значили. Как самостоятельные державы, опирающиеся на свои собственные достоинства, они имеют собственные интересы; и с этой точки зрения наиболее важные из них уже обсуждались (стр. 28, 44).

Тем не менее, вряд ли можно обойтись без нескольких общих замечаний о папстве. Новые и странные опасности и испытания обрушились на нее в течение пятнадцатого века, когда политический дух нации начал овладевать ею с разных сторон и вовлекать в сферу своих действий. Наименьшая из этих опасностей исходила от населения или из-за границы; самая серьезная коренилась в характерах самих пап.

Давайте на данный момент оставим в стороне страны за Альпами. В то время, когда папство подвергалось смертельной опасности в Италии, оно не получало и не могло получить ни малейшей помощи ни от Франции, находившейся тогда при Людовике XI, ни от Англии, отвлеченной войнами Алой и Белой Розы, ни от тогдашней дезорганизованной испанской монархии, ни от Германии, но недавно преданной на Базельском соборе. В самой Италии было определенное количество просвещенных и даже необразованных людей, чьему национальному тщеславию льстил итальянский характер папства; личные интересы очень многих зависели от наличия и сохранения этого характера; и огромные массы людей все еще верили в силу папского благословения и хиротонии;[222] среди них отъявленные преступники как тот Вителлоццо Вителли, который все еще молил Александра VI о прощении грехов, когда сын папы приказал его зарезать.[223] Но всех этих оснований для сочувствия, вместе взятых, было бы недостаточно, чтобы спасти папство от его врагов, если бы последние были действительно серьезны и если бы они знали, как воспользоваться завистью и ненавистью, с которыми относились к этому учреждению.

И в то самое время, когда перспектива помощи извне была столь мала, самые опасные симптомы проявились внутри самого папства. Живя так, как сейчас, и действуя в духе светских итальянских княжеств, оно было вынуждено пройти через те же мрачные испытания, что и они; но его собственная исключительная природа придавала теням особую окраску.

Что касается самого Рима, то его внутренние волнения почти не принимались во внимание, так много было пап, вернувшихся после изгнания из-за народных волнений, и так важно было присутствие Курии в интересах римского народа. Но Рим не только временами проявлял специфический антипапский радикализм,^[224] но и в самых серьезных заговорах, которые тогда замышлялись, давал доказательства работы невидимых рук извне. Так было и в случае с заговором Стефано Поркаро против Николая V. (1453), того самого папы, который больше всего сделал для процветания города, но который, обогатив кардиналов и превратив Рим в папскую крепость, вызвал недовольство народа.^[225] Поркаро стремился к полному свержению папской власти и имел выдающихся сообщников, которые, хотя их имена нам не переданы,^[226] безусловно, являются следствием искать среди итальянских правительств того времени. При понтификате того же человека Лоренцо Валла завершил свою знаменитую речь против дара Константина пожеланием скорейшей секуляризации церковных государств.^[227]

Банда катилинариев, с которой связан Пий II. пришлось бороться^[228] (1460), с такой же откровенностью заявили о своем решении свергнуть правительство священников, а их лидер Тибурцио возложил вину на прорицателей, которые назначили исполнение его желаний именно на этот год. Несколько высокопоставленных лиц Рима, принц Тарентский и кондотьер Якопо Пиччинино, были сообщниками и сторонниками Тибурцио. Действительно, когда мы думаем о добыче, которая была накоплена во дворцах богатых прелатов — заговорщики особенно имели в виду кардинала Аквилеи, — мы удивляемся, что в почти неохраняемом городе подобные попытки не были более частыми и успешными. Недаром Пий II. предпочитал проживать где угодно, только не в Риме, и даже Павел II.^[229] был немало встревожен заговором, организованным некоторыми уволенными аббревиатурами, которые под командованием Платины двадцать дней осаждали Ватикан. Папство рано или поздно пало бы жертвой подобных предприятий, если бы не уничтожило аристократические группировки, под защитой которых эти банды разбойников достигли своего апогея.

Эту задачу взял на себя грозный Сикст IV. Он был первым папой, который полностью контролировал Рим и окрестности, особенно после его успешного нападения на Дом Колонна, и, следовательно, как в своей итальянской политике, так и во внутренних делах Церкви он мог отважиться действовать с вызывающей дерзостью и свести на нет жалобы и угрозы созвать собор, которые исходили со всех концов Европы. Он обеспечил себя необходимыми средствами за счет симонии, которая внезапно разрослась до неслыханных размеров и которая простиралась от назначения кардиналов до предоставления мельчайших услуг.^[230] Сам Сикст не получил папского сана, не прибегнув к тем же средствам.

Столь повсеместная коррупция рано или поздно может привести к катастрофическим последствиям для Святого Престола, но они лежат в неопределенном будущем. Иначе обстояло дело с кумовством, которое в свое время угрожало полностью уничтожить папство. Из всех 'нипот' кардинал Пьетро Риарио поначалу пользовался главным и почти исключительным расположением Сикста. Вскоре он привлек к себе внимание всей Италии,^[231] отчасти сказочной роскошью своей жизни, отчасти распространявшимися сообщениями о его

безбожии и его политических планах. Он заключил сделку с герцогом Милана Галеаццо Марией (1473), что последний должен стать королем Ломбардии, а затем помочь ему деньгами и войсками вернуться в Рим и взойти на папский престол; Сикст, похоже, добровольно уступил бы его ему.^[232] Этот план, который, сделав папство наследственным, привел бы к секуляризации папского государства, провалился из-за внезапной смерти Пьетро. Второй 'нипоте', Джироламо Риарио, оставался мирянином и не стремился к понтификату. С этого времени 'нипоты', стремившиеся основать собственные княжества, стали новым источником смятения в Италии. Уже случалось, что папы пытались удовлетворить свои феодальные претензии на Неаполь в пользу своих родственников;^[233] но после провала Каликста III. такой план больше не был осуществим, и Джироламо Риарио, после того как попытка завоевать Флоренцию (и кто знает, сколько еще мест) потерпела неудачу, был вынужден довольствоваться основанием государства в пределах самих папских владений. Это было, в какой-то мере, оправданно, поскольку Романья с ее князьями и гражданскими деспотами угрожала полностью избавиться от папского владычества и рисковала вскоре стать добычей Сфорца или венецианцев, когда Рим вмешался, чтобы предотвратить это. Но кто в такие моменты и при таких обстоятельствах мог гарантировать постоянное повиновение 'нипоты' и их потомков, ныне превратившихся в суверенных правителей, папам, до которых им больше не было дела? Даже при жизни папа римский не всегда был уверен в собственном сыне или племяннике, и было велико искушение изгнать 'нипоте' предшественника и заменить его кем-то из своих. Реакция всей системы на само папство носила самый серьезный характер; все средства принуждения, будь то мирские или духовные, использовались без зазрения совести для достижения самых сомнительных целей, и этим были подчинены все другие цели Апостольского престола. И когда они были достигнуты, любой ценой революций и проскрипций, была основана династия, у которой не было более сильного интереса, чем уничтожение папства.

После смерти Сикста Джироламо смог удержаться в своем узурпированном княжестве Форли и Имола только собственными усилиями и с помощью Дома Сфорца. Он был убит в 1488 году. На конклаве (1484), последовавшем за смертью Сикста, в котором участвовал Иннокентий VIII. был избран — произошел инцидент, который, казалось, дал папству новую внешнюю гарантию. Два кардинала, которые в то же время были принцами правящих домов, Джованни д'Арагона, сын короля Ферранте, и Асканио Сфорца, брат мавра, продали свои голоса с самой бесстыдной наглостью;^[234] так что, во всяком случае, правящие дома Неаполя и Милана заинтересовались своим участием в добыче, в продолжение папской системы. И снова, на следующем конклаве, когда все кардиналы, кроме пяти, продались, Асканио получил огромные суммы взятки, не без надежды, что на следующих выборах он сам станет предпочтительным кандидатом.^[235]

Лоренцо Великолепный, со своей стороны, заботился о том, чтобы Дом Медичи не ушел с пустыми руками. Он выдал свою дочь Маддалену замуж за сына нового папы римского — первого, кто публично признал своих детей, — Франческетто Кибо, и ожидал не только всевозможных милостей от своего собственного сына, кардинала Джованни, впоследствии Льва X., но и быстрого продвижения по службе своего зятя.^[236] Но в отношении последнего он требовал невозможного. При Иннокентии VIII. не было никакой возможности для дерзкого кумовства, с помощью которого были основаны государства, поскольку сам Франческетто был бедняком, который, как и его отец папа римский, стремился к власти только с самой низменной целью — приобретением и накоплением денег.^[237] Однако способ, которым отец и сын занимались этим занятием, рано или поздно должен был привести к окончательной катастрофе — распаду государства. Если Сикст пополнял свою казну за счет духовных достоинств и

милостей, то Иннокентий и его сын, со своей стороны, учредили контору по продаже светских милостей, в которой за большие суммы денег продавались помилования за убийство по неосторожности. Из каждого штрафа 150 дукатов поступали в папскую казну, а остальное переходило к Франческетто. Рим во время последней части этого понтификата кишел лицензированными и нелицензированными убийцами; группировки, которые Сикст начал подавлять, снова были так же активны, как и прежде; папа, которого хорошо охраняли в Ватикане, довольствовался тем, что время от времени расставлял ловушки, в которые время от времени попадался богатый преступник. Для Франческетто главным было узнать, каким образом после смерти папы он сможет сбежать с хорошо набитой казной. В конце концов он выдал себя ложным сообщением (1490 г.) о смерти своего отца; он попытался унести все деньги из папской казны, а когда это оказалось невозможным, настоял на том, чтобы, во всяком случае, турецкий принц Джем отправился с ним и служил живым капиталом, которым можно было выгодно распорядиться, возможно, Ферранте Неаполитанскому.^[238] Трудно оценить политические возможности отдаленных периодов, но мы не можем не задать себе вопрос, смог бы Рим пережить два или три понтификата такого рода. Даже в отношении верующих стран Европы было неосторожно допускать, чтобы дело зашло так далеко, что не только путешественники и паломники, но и целое посольство Максимилиана, короля римлян, было раздето до нитки в окрестностях Рима, и что посланникам постоянно приходилось возвращаться, не заходя в город.

Такое положение вещей было несовместимо с концепцией власти и ее удовольствий, которые вдохновляли одаренного Александра VI (1492-1503), и первым событием, которое произошло, было восстановление, по крайней мере временное, общественного порядка и своевременная выплата каждому жалованья.

Строго говоря, поскольку мы сейчас обсуждаем этапы развития итальянской цивилизации, об этом понтификате можно было бы умолчать, поскольку Борджиа не более итальянцы, чем Неаполитанский дом. Александр публично говорил по-испански с цезарем; Лукреции при ее въезде в Феррару, где она была в испанском костюме, пели испанские шуты; их доверенные слуги состояли из испанцев, как и самая дурно известная рота войск Цезаря в войне 1500 года; и даже его палач, дон Микелетто, и его отравитель Себастьян Пинзон,^[239] похоже, были одной нации. Среди других своих достижений Цезарь в истинно испанской манере убил, согласно правилам ремесла, шесть диких быков на закрытом дворе. Но римская коррупция, которая, казалось, достигла кульминации в этой семье, была уже далеко развита, когда они приехали в город.

Кем они были и что делали, часто и полностью описывалось.^[240] Их непосредственной целью, которой, по сути, они достигли, было полное подчинение папского государства. Все мелкие деспоты,^[241] которые в основном были более или менее непокорными вассалами Церкви, были изгнаны или уничтожены; а в самом Риме были уничтожены две великие фракции, так называемые гвельфы Орсини, а также так называемые гибеллины Колонна. Но использованные средства были настолько устрашающего характера, что они, несомненно, привели бы к краху папства, если бы одновременная смерть отца и сына от яда внезапно не вмешалась и не изменила весь аспект ситуации. Моральное возмущение христианского мира, конечно, не было большим источником опасности для Александра; дома он был достаточно силен, чтобы добиваться террора и повиновения; иностранные правители были привлечены на его сторону, как и Людовик XII. даже помогал ему в меру своих сил. Массы людей по всей Европе едва ли

имели представление о том, что происходило в Центральной Италии. Единственный момент, который был действительно чреват опасностью, — при Карле VIII. был в Италии — прошел мимо с неожиданной удачей, и даже тогда в опасности было не папство как таковое, а Александр, который рисковал быть вытесненным более респектабельным папой.^[242] Великая, постоянная и возрастающая опасность для папства заключалась в самом Александре и, прежде всего, в его сыне Цезаре Борджиа.

В характере отца честолюбие, алчность и чувственность сочетались с сильными и блестящими качествами. Все удовольствия власти и роскоши он предоставлял себе с первого дня своего понтификата в полной мере. В выборе средств для достижения этой цели он не испытывал никаких угрызений совести; сразу было известно, что он с лихвой компенсирует себе жертвы, которых потребовало его избрание,^[243] и что симония продавца намного превзойдет симонию покупателя. Следует помнить, что должность вице-канцлера и другие должности, которые Александр ранее занимал, научили его лучше разбираться в различных источниках доходов и более практично подходить к ним, чем любого другого члена курии. Еще в 1494 году кармелит Адам из Генуи, проповедовавший в Риме против симонии, был найден убитым в своей постели с двадцатью ранами. Едва ли хоть один кардинал был назначен без выплаты огромных денежных сумм.

Но когда папа со временем попал под влияние своего сына Цезаря Борджиа, его насильственные меры приобрели тот характер дьявольской злобы, который неизбежно отражается на преследуемых целях. То, что было сделано в борьбе с римской знатью и с тиранами Романьи, превосходило по вероломству и варварству даже ту меру, к которой арагонские правители Неаполя уже приучили мир; и гений обмана был также больше. Манера, с которой цезарь изолировал своего отца, брата-убийцу, шурина и других родственников или придворных всякий раз, когда их благосклонность к папе или их положение в любом другом отношении становились для него неудобными, буквально ужасает. Александр был вынужден согласиться на убийство своего самого любимого сына, герцога Гандийского, поскольку сам жил в ежечасном страхе перед цезарем.^[244]

Каковы были конечные цели последнего? Даже в последние месяцы его тирании, когда он убил кондотьеров в Синигалье и был, по сути, хозяином церковного государства (1503), те, кто стоял рядом с ним, скромно отвечали, что герцог просто хотел подавить фракции и деспотов, и все это только на благо Церкви; что для себя он не желал ничего больше, чем господства в Романье, и что он заслужил благодарность всех последующих пап, избавив их от Орсини и Колонна.^[245] Но никто не примет это как его окончательный замысел. Сам папа Александр в своих беседах с венецианским послом пошел дальше, поручая своего сына защите Венеции: "Я позабочусь об этом, - сказал он, - чтобы однажды папство принадлежало либо ему, либо вам".^[246] Цезарь, конечно, добавил, что никто не может стать папой без согласия Венеции, и с этой целью венецианский кардиналам оставалось только держаться вместе. Имел ли он в виду себя или нет, мы не можем сказать; во всяком случае, заявления его отца достаточно, чтобы доказать его замыслы на папский престол. Далее мы получаем от Лукреции Борджиа определенное количество косвенных свидетельств, поскольку определенные отрывки в стихотворениях Эрколе Строцца могут быть отголоском выражений, которые она, как герцогиня Феррарская, могла легко позволить себе использовать. Здесь также в основном говорится о надеждах цезаря на папство;^[247] но время от времени намекается на превосходство над всей Италией,^[248] и, наконец, мы нам дают понять, что планы Цезаря как временного правителя

были величайшими и что ради них он ранее отказался от своего кардинализма.[\[249\]](#) Фактически, не может быть никаких сомнений в том, что цезарь, независимо от того, был ли он избран папой или нет после смерти Александра, намеревался сохранить владение папским государством любой ценой, и что это, после всех совершенных им чудовищ, ему, как папе, не удалось бы сделать постоянно. Он, как никто другой, мог бы секуляризировать Церковные состояния, и он был бы вынужден сделать это, чтобы сохранить их.[\[250\]](#) Если мы не сильно обманываемся, это настоящая причина тайного сочувствия, с которым Макиавелли относится к великому преступнику; от цезаря или ни от кого другого можно было надеяться, что он ‘вытащит сталь из раны’, другими словами, уничтожит папство — источник всех иностранных интервенций и всех расколов Италии. Интриганы, которые пытались разгадать цели цезаря, возлагая на него надежды на Тосканское королевство, по-видимому, были отвергнуты с презрением.[\[251\]](#)

Но все логические выводы из его посылок бесполезны не из-за необъяснимой гениальности, которая на самом деле характеризовала его так же мало, как герцога Фридландского, а потому, что средства, которые он использовал, были несовместимы с каким-либо масштабным и последовательным планом действий. Возможно, действительно, в самом разгаре его злодеяний какая-то перспектива спасения для папства могла существовать даже без несчастного случая, положившего конец его правлению.

Даже если мы предположим, что уничтожение мелких деспотов в папском государстве не принесло ему ничего, кроме сочувствия, даже если мы примем в качестве доказательства его великих проектов армию, состоящую из лучших солдат и офицеров Италии, с Лионардо да Винчи в качестве главного инженера, которая последовала за его судьбой в 1503 году, другие факты, тем не менее, носят такой характер неразумия, что наше суждение, как и суждение современных наблюдателей, совершенно не в состоянии объяснить их. Одним из фактов такого рода является опустошение и жестокое обращение с недавно завоеванным государством, которое цезарь все еще намеревался сохранить и править им.[\[252\]](#) Другое положение Рима и Курии в последние десятилетия понтификата. Будь то то, что отец и сын составили официальный список запрещенных лиц,[\[253\]](#) или что убийства были раскрыты одно за другим, в любом случае Борджиа были нацелены на тайное уничтожение всех, кто стоял у них на пути или чьего наследства они жаждали. Из этого количества деньги и движимое имущество составляли наименьшую часть; гораздо большим источником прибыли для папы было то, что доходы упомянутых духовных сановников были приостановлены в связи с их смертью, и что он получал доходы от их должностей, пока они были вакантны, и стоимость этих должностей, когда их занимали преемники убитых людей. Венецианский посол Паоло Капелло[\[254\]](#) объявляет в 1500 году: ‘Каждую ночь обнаруживают четырех или пяти убитых мужчин — епископов, прелатов и других, — так что весь Рим дрожит от страха быть уничтоженным герцогом (цезарем)’. Он сам имел обыкновение бродить по Риму ночью со своей охраной,[\[255\]](#) и есть все основания полагать, что он делал это не только потому, что, подобно Тиберию, боялся показывать свои теперь отталкивающие черты при дневном свете, но и для удовлетворения своей безумной жажды крови, возможно, даже на лицах тех, кто ему неизвестен.

Уже в 1499 году отчаяние было настолько велико и повсеместным, что многие папские гвардейцы были подстерегаемы и преданы смерти.[\[256\]](#) Но те, на кого Борджиа не смогли напасть с открытым насилием, стали жертвами их яда. В случаях, когда требовалась определенная осторожность, использовался белый порошок[\[257\]](#) приятного вкуса, который

действовал не сразу, а медленно и постепенно, и который можно было незаметно подмешивать в любое блюдо или бокал. Принц Джем выпил немного этого сладкого напитка, прежде чем Александр выдал его Карлу VIII (1495), а в конце своей карьеры отец и сын отравились одним и тем же порошком, случайно попробовав конфету, предназначенную для богатого кардинала, вероятно, Адриана из Корнето.^[258] Официальный составитель истории пап, Онуфριο Панвинио,^[259] упоминаются три кардинала: Орсини, Феррерио и Михиэль, которого Александр приказал отравить, и намекает на четвертого, Джованни Борджиа, которого цезарь взял под свою опеку — хотя, вероятно, богатые прелаты редко умирали в Риме в то время, не вызвав подозрений подобного рода. Даже спокойные студенты, уехавшие в какой-нибудь провинциальный городок, не были вне досягаемости безжалостного яда. Тайный ужас, казалось, витал вокруг папы; бури и молнии, сокрушавшие стены и покои, в прежние времена часто посещали его и вызывали у него тревогу; в 1500 году,^[260] когда эти явления повторялись, их считали 'коза дьявола'. Отчет об этих событиях, кажется, наконец-то, благодаря широко посещаемой юбилейной^[261] 1500 года, был широко распространен по странам Европы, и печально известная торговля индульгенциями сделала то, что еще было необходимо, чтобы обратить все взоры на Рим.^[262] Помимо возвращающихся паломников, из Италии на Север прибыли странные кающиеся в белых одеждах, среди них переодетые беглецы из Папского государства, которые вряд ли хранили молчание. И все же никто не может подсчитать, как далеко могли зайти скандал и негодование христианского мира, прежде чем они стали источником серьезной опасности для Александра. "Он бы, - говорит Панвинио в другом месте,^[263] "устранил бы с дороги всех других богатых кардиналов и прелатов, чтобы завладеть их имуществом, если бы в разгар своих великих планов относительно сына его не сразила смерть". И чего бы не достиг цезарь, если бы в момент смерти своего отца он сам не был убит. положенный на постель больного! Что это был бы за конклав, на котором, вооруженный всем своим оружием, он добился бы своего избрания от коллегии, численность которой он благоразумно сократил с помощью яда, — и это в то время, когда под рукой не было французской армии! Выдвигая такую гипотезу, воображение теряется в бездне.

Вместо этого последовал конклав, на котором присутствовал Пий III. был избран, а после его скорой смерти — тот, кто выбрал Юлия II. -оба избрания - плоды всеобщей реакции.

Какова бы ни была личная мораль Юлия II. во всех существенных отношениях он был спасителем папства. Его знакомство с ходом событий со времен понтификата его дяди Сикста дало ему глубокое представление об основаниях и условиях существования папской власти. На этом он основал свою собственную политику и посвятил ей всю силу и страсть своей непоколебимой души. Он вззошел по ступеням кафедры Святого Петра без симонии и под всеобщие аплодисменты, и вместе с ним прекратилась, во всяком случае, неприкрытая суэта на высших церковных постах. У Юлиуса были фавориты, и среди них были люди, отнюдь не достойные, но особое состояние ставило его выше соблазна кумовства. Его брат, Джованни делла Ровере, был мужем наследницы Урбино, сестры последнего Монтефельтро Гвидобальдо, и от этого брака в 1491 году родился сын Франческо Мария делла Ровере, который в то же время был папским 'нипоте' и законным наследником герцогства Урбино. То, что Юлий приобрел в других местах либо на поле битвы, либо дипломатическим путем, он с гордостью передал Церкви, а не своей семье; церковную территорию, которую он обнаружил в состоянии распада, он завещал своему преемнику полностью покоренной и увеличенной за счет Пармы и

Пьяченцы. Не его вина была в том, что Феррара тоже не была присоединена к владениям Церкви. 700 000 дукатов, хранившихся в замке Святого Анджело, должны были быть переданы губернатором никому, кроме будущего папы римского. Он сделал себя наследником кардиналов и, более того, всего духовенства, умершего в Риме, и это самыми деспотическими средствами; но никого из них он не убил и не отравил.^[264] То, что он сам вел свои войска в бой, было для него неизбежной необходимостью и, конечно, не принесло ему ничего, кроме пользы в то время, когда человек в Италии был вынужден быть либо молотом, либо наковальней, и когда личность была большей силой, чем самое неоспоримое право. Если, несмотря на все свое высокопарное "Долой варваров!", он, тем не менее, внес большой вклад, чем кто-либо другой, в прочное поселение испанцев в Италии, он, возможно, считал это делом безразличия к папству или даже, при существующем положении вещей, относительным преимуществом. И к кому, как не к Испании, Церковь могла бы обратиться за искренним и прочным уважением,^[265] в эпоху, когда князья Италии не лелеяли ничего, кроме кощунственных замыслов против нее? Как бы то ни было, могучая, самобытная натура, не способная подавить гнев и скрыть подлинную доброжелательность, производила в целом впечатление, наиболее желательное в его положении, — впечатление "Понтефиса террибиле". Он мог даже со сравнительно чистой совестью рискнуть созвать собор в Риме и таким образом бросить вызов тому протесту о созыве собора, который был поднят оппозицией по всей Европе. Правитель такой марки нуждался в каком-то великом внешнем символе своих концепций; Юлиус нашел его в реконструкции собора Святого Петра. План этого, каким его хотел видеть Браманте, является, пожалуй, самым грандиозным выражением силы в единстве, которое только можно себе представить. В других искусствах, помимо архитектуры, лицо и память о папе продолжают жить в их самой идеальной форме, и не лишено значения то, что даже латинская поэзия тех дней свидетельствует о совершенно ином энтузиазме по отношению к Юлию, чем тот, который проявлялся по отношению к его предшественникам. Въезд в Болонью в конце "Iter Julii Secundi" кардинала Адриано да Корнето по-своему великолепен, и Джован Антонио Фламинио,^[266] в одной из лучших элегий обратился к патриоту в лице папы с просьбой даровать Италии его защиту.

В конституции своего Латеранского собора Юлий торжественно осудил симонию папских выборов.^[267] После его смерти в 1513 году любящие деньги кардиналы попытались обойти запрет, предложив разделить между собой поровну пожертвования и должности, которые до сих пор занимал выбранный кандидат, и в этом случае они избрали бы наиболее одаренного кардинала, некомпетентного Рафаэля Риарио.^[268] Но реакция, в основном со стороны молодых членов Священной коллегии, которые превыше всего желали либерального папы, сделала жалкую комбинацию тщетной; Был избран Джованни Медичи — знаменитый Лев X.

Мы часто будем встречаться с ним, когда будем говорить о полудне Возрождения; здесь мы хотим только указать, что при нем папство снова подверглось большим внутренним и внешним опасностям. К их числу мы не относим заговор кардиналов Петруччи, Де Саулиса, Риарио и Корнето (1517 г.), который в лучшем случае мог привести к смене лиц, и истинное противоядие от которого Лев нашел в неслыханном создании тридцати девяти новых кардиналов, мера, которая имела дополнительное преимущество в вознаграждении, по крайней мере в некоторых случаях, реальных заслуг.^[269]

Но некоторые из путей, по которым Лео позволял себе ступать в течение первых двух лет своего пребывания на этом посту, были крайне опасны. Он серьезно стремился путем переговоров закрепить за своим братом Джулиано Неаполитанское королевство, а за своим племянником

Лоренцо - могущественное североитальянское государство, включавшее Милан, Тоскану, Урбино и Феррару.[270] Ясно, что Папское государство, окруженное таким образом со всех сторон, стало бы простым уделом Медичи, и что, фактически, не было бы дальнейшей необходимости в его секуляризации.

Политические условия того времени натолкнули план на непреодолимое препятствие. Джулиано рано умер. Чтобы обеспечить Лоренцо, Лео предпринял изгнание герцога Франческо Марии делла Ровере из Урбино, но не получил от войны ничего, кроме ненависти и нищеты, и был вынужден, когда в 1519 году Лоренцо последовал за своим дядей в могилу, передать Церкви с трудом завоеванные владения.[271] Он совершил по принуждению и без признания того, что, если бы это было сделано добровольно, сделало бы ему честь на всю жизнь. То, что частично в одиночку, а частично в ходе попеременных переговоров с Франциском I и Карлом V. Он предпринял против Альфонсо Феррарского и фактически добился против нескольких мелких деспотов и кондотьеров, несомненно, не способствовало повышению его репутации. И это было в то время, когда монархи Запада с каждым годом все больше и больше привыкали к политическим азартным играм колоссального масштаба, в которых ставкой была та или иная провинция Италии.[272] Кто может гарантировать, что, поскольку за последние десятилетия их власть у себя дома так сильно возросла, их амбиции не дотянут до Состояния Церкви? Сам Лев был свидетелем прелюдии к тому, что свершилось в 1527 году; несколько отрядов испанской пехоты появились — кажется, по собственной воле — в конце 1520 года на границах папской территории с целью обложить папу контрибуцией,[273] но были отброшены папскими войсками. Общественное недовольство коррумпированностью иерархии в последние годы также быстро достигало апогея, и люди, устремленные в будущее, такие как Пико делла Мирандола-младший, срочно требовали реформ.[274] Тем временем на сцене уже появился Лютер.

При Адриане VI (1522-1523) немногочисленные и робкие улучшения, осуществленные перед лицом великой немецкой реформации, пришли слишком поздно. Он мог сделать немногим больше, чем заявить о своем ужасе перед тем ходом событий, который развивался до сих пор, перед симонией, кумовством, расточительностью, разбоем и расточительством. Опасность со стороны лютеран была отнюдь не самой большой; проницательный наблюдатель из Венеции Джироламо Негро высказал свои опасения, что скорое и ужасное бедствие постигнет сам город Рим.[275]

При Клименте VII. весь горизонт Рима был затянут испарениями, подобными той свинцовой вуали, которую сирокко набрасывает на Кампанию и которая делает последние месяцы лета такими смертоносными. Папу римского ненавидели дома не меньше, чем за границей. Вдумчивые люди были полны тревоги,[276] на улицах и площадях Рима появились отшельники, предсказывающие судьбу Италии и мира и называющие папу именем Антихриста;[277] фракция Колонны вызывающе подняла голову; неукротимый кардинал Помпео Колонна, само существование которого[278] было постоянной угрозой папству, отважился напасть на город в 1526 году, надеясь с помощью Карла V. стать папой тут же, как только Климент будет убит или схвачен. Риму не повезло, что последнему удалось сбежать в замок Святого Ангела, и участь, которая ему уготована, вполне можно назвать худшей, чем смерть.

С помощью серии тех ложных заявлений, на которые могут отважиться только сильные мира сего, но которые приносят гибель слабым, Климент вызвал наступление германо-испанской

армии при Бурбоне и Фрундсберге (1527). Несомненно, [279], что кабинет Карла V намеревался подвергнуть его суровому наказанию и что он не мог заранее просчитать, как далеко зайдет рвение его неоплачиваемых орд. Было бы тщетно пытаться вербовать людей в Германии без выплаты какого-либо вознаграждения, если бы не было хорошо известно, что целью экспедиции был Рим. Вполне возможно, что письменные заказы на Бурбон когда-нибудь будут найдены, и не исключено, что они окажутся сформулированными мягко. Но историческая критика не позволит сбить себя с пути истинного. Католический король и император был обязан своей удаче и ничему другому, что папа и кардиналы не были убиты его войсками. Если бы это произошло, никакая софистика в мире не смогла бы снять с него долю вины. Массовое убийство бесчисленного количества менее значимых людей, разграбление остальных и все ужасы пыток и торговли человеческими жизнями достаточно ясно показывают, что было возможно в "Сакко ди Рома".

Карл, по-видимому, хотел доставить папу, который во второй раз бежал в замок Святого Ангела, в Неаполь, предварительно вымогав у него огромные суммы денег, а бегство Климента в Орвието, должно быть, произошло без какого-либо попустительства со стороны Испании. [280] Думал ли император когда-либо всерьез о секуляризации Церковных государств, [281], к которому все были вполне готовы, и действительно ли его отговаривали от этого заявления Генриха VIII. об Англии, вероятно, никогда не будет прояснено.

Но если такие проекты действительно существовали, они не могли просуществовать долго: из разрушенного города поднялся новый дух реформ как в Церкви, так и в государстве. Это дало о себе знать в одно мгновение. Кардинал Садолето, один из многих свидетелей, так пишет: 'Если через наши страдания удовлетворяются гнев и справедливость Божья, если эти страшные наказания снова открывают путь к лучшим законам и морали, то наше несчастье, возможно, не самое большое.... Он позаботится о том, что принадлежит Богу; перед нами лежит жизнь исправления, которую никакое насилие не сможет у нас отнять. Давайте так управлять своими делами и мыслями, чтобы искать в Боге только истинную славу священства и наше собственное истинное величие и силу'. [282]

На самом деле этот критический 1527 год до сих пор приносил плоды, и голоса серьезных людей снова могли быть услышаны. Рим слишком много выстрадал, чтобы вернуться, даже при Павле III, к разращению геев Льва X.

Папство тоже, когда его страдания стали столь велики, начало вызывать сочувствие наполовину религиозное, наполовину политическое. Короли не могли допустить, чтобы кто-то из их числа присвоил себе права папского тюремщика, и заключили (18 августа 1527 г.) Амьенский мирный договор, одной из целей которого было освобождение Климента. Таким образом, при любых событиях они обращали на свой счет непопулярность, вызванную действиями имперских войск. В то же время император был серьезно смущен, даже в Испании, где прелаты и вельможи никогда не видели его без самых настоятельных увещаний. Когда планировалась всеобщая депутация духовенства и мирян, облаченных в траур, Карл, опасаясь, что из-за этого могут возникнуть проблемы, подобные тем, что были вызваны подавленным несколькими годами ранее восстанием, запретил этот план. [283] Он не только не осмеливался продолжать жестокое обращение с папой, но и был абсолютно вынужден, даже помимо всех соображений внешней политики, примириться с папством, которому он так тяжело нанес рану. Ибо настроение немецкого народа, которое, безусловно, указывало на иной курс, казалось ему, как и

германские дела в целом, не давало никакой основы для политики. Возможно также, как утверждает венецианец,[284], что память о разграблении Рима тяжелым грузом лежала на его совести и имела тенденцию ускорять то искупление, которое было закреплено постоянным подчинением флорентийцев семье Медичи, членом которой был папа. 'Нипоте' и новый герцог, Алессандро Медичи, был женат на внебрачной дочери императора.

В последующие годы план проведения Собора позволил Карлу держать папство во всех существенных аспектах под своим контролем и одновременно защищать и притеснять его. Величайшая опасность из всех — секуляризация - опасность, которая исходила изнутри, от самих пап и их 'nipoti', была отложена на столетия немецкой реформацией. Точно так же, как только это сделало возможным и успешным поход против Рима (1527 г.), это заставило папство снова стать выражением всемирной духовной силы, подняться из бездушного унижения, в котором оно находилось, и поставить себя во главе всех врагов этой реформации. Институт, таким образом, развившийся в последние годы правления Климента VII. и при Павле III., Павле IV. и их преемниках, перед лицом дезертирства половины Европы, представлял собой новую, возрожденную иерархию, которая избежала всех великих и опасных скандалов прежних времен, особенно кумовства, с его попытками территориального расширения,[285] и которая, в союзе с католическими князьями и движимый новорожденной духовной силой, нашел свою главную работу в восстановлении того, что было утрачено. Она существовала и понятна только в противостоянии отделившимся. В этом смысле можно совершенно справедливо сказать, что моральным спасением папство обязано своим смертельным врагам. И теперь его политическое положение тоже, хотя, несомненно, находилось под постоянной опекой Испании, стало неприступным; почти без усилий он унаследовал, после исчезновения своих вассалов, законную линию Эсте и дом Делла Ровере, герцогства Феррара и Урбино. Но без Реформации — если, конечно, ее можно отбросить — все церковное государство давным-давно перешло бы в светские руки.

В заключение давайте кратко рассмотрим влияние этих политических обстоятельств на дух нации в целом.

Очевидно, что общая политическая неопределенность в Италии в XIV и XV веках была такого рода, что вызывала у лучших людей того времени патриотическое отвращение и оппозицию. Данте и Петрарка,[286] в свое время громко провозгласили общую Италию, объект наивысших усилий всех ее детей. Могут возразить, что это был всего лишь энтузиазм нескольких высокообразованных людей, которого масса народа не разделяла; но вряд ли могло быть иначе даже в Германии, хотя по крайней мере номинально эта страна была единой и признавала в лице императора одного верховного главу. Первые патриотические высказывания немецкой литературы, если не считать некоторых стихов из "Миннесотца", принадлежат гуманистам времен Максимилиана I.[287] и после, и читаются как эхо итальянских декламаций или как ответ итальянской критике интеллектуальной незрелости Германии. И все же, на самом деле, Германия долгое время была нацией в более истинном смысле, чем Италия когда-либо была со времен римской империи. Франция обязана сознанием своего национального единства главным образом своим конфликтам с англичанами, а Испании так и не удалось окончательно поглотить Португалию, несмотря на тесное родство этих двух стран. Для Италии существование церковного государства и условия, при которых только оно могло сохраняться,

были постоянным препятствием на пути к национальному единству, препятствием, устранение которого казалось безнадежным. Поэтому, когда в политических отношениях XV века иногда подчеркнуто упоминается общее отечество, в большинстве случаев это делается для того, чтобы досадить какому-нибудь другому итальянскому государству.^[288] Первые десятилетия шестнадцатого века, годы, когда Ренессанс достиг своего наивысшего расцвета, не были благоприятны для возрождения патриотизма; наслаждение интеллектуальными и художественными удовольствиями, комфорт и элегантность жизни, а также высшие интересы саморазвития уничтожили или затруднили любовь к родине. Но эти глубоко серьезные и скорбные призывы к национальному чувству были услышаны позже, когда время единства прошло, когда страна была наводнена французами и испанцами и когда германская армия завоевала Рим. Можно сказать, что чувство местного патриотизма в какой-то мере заменило это чувство, хотя и было его слабым эквивалентом.

ЧАСТЬ II.

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ.

ГЛАВА I.

ИТАЛЬЯНСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ.

В характере этих государств, будь то республики или деспотии, заключается не единственная, но главная причина раннего развития итальянского языка. Именно этим объясняется то, что он был первенцем среди сынов современной Европы.

В Средние века обе стороны человеческого сознания — та, что была обращена внутрь, и та, что была обращена вовне, — находились во сне или наполовину бодрствовали под общей завесой. Завеса была соткана из веры, иллюзии и детских предубеждений, сквозь которые мир и история виделись одетыми в странные оттенки. Человек осознавал себя только как члена расы, народа, партии, семьи или корпорации — только через какую-то общую категорию. В Италии эта завеса впервые растаяла в воздухе; стало возможным объективное отношение к государству и всем вещам этого мира. Субъективная сторона в то же время заявила о себе с соответствующим акцентом; человек стал духовным индивидуумом,^[289] и осознал себя таковым. Точно так же грек когда-то отличал себя от варвара, а араб чувствовал себя индивидуальностью в то время, когда другие азиаты осознавали себя только как представителей расы. Нетрудно будет показать, что этот результат был обусловлен прежде всего политическими обстоятельствами Италии.

В гораздо более ранние времена мы можем кое-где обнаружить развитие свободной личности, которого в Северной Европе либо вообще не было, либо не могло проявиться таким же образом. Шайка дерзких преступников шестнадцатого века, описанная нам Луидпрандом, некоторыми современниками Григория VII и несколькими противниками первых Гогенштауфенов, являет нам характеры такого рода. Но в конце XIII века Италия начала изобиловать индивидуальностями;

очарование, наложенное на человеческую личность, рассеялось; и тысячи фигур встречаются нас, каждая в своей особой форме и одежде. Великая поэма Данте была бы невозможна ни в одной другой стране Европы, хотя бы по той причине, что все они все еще находятся под влиянием расовых чар. Для Италии августейший поэт, благодаря богатству индивидуальности, которую он демонстрировал, был самым национальным глашатаем своего времени. Но это раскрытие сокровищ человеческой природы в литературе и искусстве - это многогранное представление и критика — будут обсуждаться в отдельных главах; здесь мы имеем дело только с самим психологическим фактом. Этот факт проявляется в самой решительной и безошибочной форме. Итальянцы четырнадцатого века мало знали о ложной скромности или лицемерии в любой форме; ни один из них не боялся необычности, того, чтобы быть и казаться[290] непохожим на своих соседей.[291]

Деспотизм, как мы уже видели, в высшей степени способствовал развитию индивидуальности не только самого тирана или кондотьера,[292] но и людей, которых он защищал или использовал в качестве своих инструментов — секретаря, министра, поэта и компаньона. Эти люди были вынуждены познать все внутренние ресурсы своей собственной природы, преходящие или постоянные; и их наслаждение жизнью было усилено и сконцентрировано желанием получить наибольшее удовлетворение от, возможно, очень короткого периода власти и влияния.

Но даже подданные, которыми они правили, не были свободны от того же импульса. Не принимая во внимание тех, кто растратил свою жизнь на тайную оппозицию и заговоры, мы говорим о большинстве, которое довольствовалось строго частным положением, подобно большинству городского населения Византийской империи и мусульманских государств. Без сомнения, подданным Висконти часто было трудно поддерживать достоинство своей личности и семей, и многие, должно быть, потеряли моральный облик из-за рабства, в котором они жили. Но это было не так в отношении индивидуальности; ибо политическое бессилие не мешает различным тенденциям и проявлениям частной жизни процветать во всей полноте и разнообразии. Богатство и культура, поскольку им не запрещались демонстрация и соперничество, муниципальная свобода, которая не переставала быть значительной, и Церковь, которая, в отличие от византийского или мусульманского мира, не была тождественна государству, — все эти условия, несомненно, благоприятствовали развитию индивидуальной мысли, для которой прекращение партийных конфликтов предоставляло необходимый досуг. Частный человек, равнодушный к политике и занятый отчасти серьезными занятиями, отчасти интересами *дилетанта*, по-видимому, впервые полностью сформировался при этих деспотизмах четырнадцатого века. Разумеется, по этому поводу не может потребоваться документальных подтверждений. Романисты, от которых мы могли бы ожидать информации, в изобилии описывают нам странности, но только с одной точки зрения и в той мере, в какой этого требуют потребности рассказа. Их место действия также находится главным образом в городах республиканской республики.

В последнем случае обстоятельства также были, но в другом смысле, благоприятны для развития индивидуального характера. Чем чаще менялась правящая партия, тем больше индивид стремился извлечь максимум пользы из осуществления власти и наслаждения ею. Государственные деятели и популярные лидеры, особенно в истории Флоренции,[293] приобрели настолько ярко выраженный личностный характер, что мы едва ли можем найти,

даже в исключительных случаях, параллель им в современной истории, вряд ли даже у Якоба фон Артевельдта.

С другой стороны, члены потерпевших поражение партий часто оказывались в положении, подобном положению подданных деспотических государств, с той разницей, что свобода или власть, которыми они уже пользовались, а в некоторых случаях и надежда на их восстановление придавали более высокую энергию их индивидуальности. Среди этих людей вынужденного досуга мы находим, например, Аньоло Пандольфини (ум. в 1446 г.), чья работа по домашней экономике[294] является первой полной программой развитой частной жизни. Его оценка обязанностей личности в противовес опасностям и неблагодарности общественной жизни[295] в своем роде является настоящим памятником эпохи.

Изгнание также имеет, прежде всего, тот эффект, что оно либо изматывает изгнанника, либо развивает в нем все самое лучшее. "Во всех наших густонаселенных городах, - говорит Джованни Понтано,[296] "мы видим толпы людей, которые покинули свои дома по собственной воле; но человек берет свои добродетели с собой, куда бы он ни пошел". И, на самом деле, это были ни в коем случае не единственные люди, которые действительно были сосланы, но тысячи добровольно покинули свою родину, потому что сочли ее политическое или экономическое положение невыносимым. Флорентийские эмигранты в Ферраре и Луккезе в Венеции сами по себе образовали целые колонии.

Космополитизм, выросший в самых одаренных кругах, сам по себе является высокой стадией индивидуализма. Данте, как мы уже говорили, находит новый дом в языке и культуре Италии, но выходит даже за рамки этого в словах: "Моя страна - это весь мир".[297] И когда ему предложили вернуться во Флоренцию на недостойных условиях, он написал в ответ: 'Не могу ли я повсюду созерцать свет солнца и звезд; повсюду размышлять о благороднейших истинах, не появляясь бесславно и позорно перед городом и народом. Даже мой хлеб не подведет меня'.[298] Художники не менее вызывающе ликуют от своей свободы от ограничений постоянного места жительства. "Только тот, кто всему научился", - говорит Гиберти,[299] 'нигде не бывает чужаком; лишенный своего состояния и друзей, он все же гражданин любой страны и может бесстрашно презирать перемены судьбы.' В том же духе пишет изгнанный гуманист: "Где бы ни обосновался ученый человек, там и дом.[300]

ГЛАВА II.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ.

Острый и опытный глаз мог бы проследить, шаг за шагом, увеличение числа полных людей в течение пятнадцатого века. Трудно сказать, имели ли они перед собой в качестве сознательной цели гармоничное развитие своего духовного и материального существования; но некоторые из них достигли его, насколько это согласуется с несовершенством всего земного. Возможно, было бы лучше отказаться от попытки оценить ту долю, которую состояние, характер и талант сыграли в жизни Лоренцо Магнifico. Но взгляните на личность, подобную Ариосто, особенно на то, что показано в его сатирах. В какой гармонии выражены гордость человека и поэта, ирония, с которой он относится к собственным удовольствиям, тончайшая сатира и глубочайшая доброжелательность!

Когда этот импульс к высшему индивидуальному развитию[301] сочетался с мощной и разнообразной природой, овладевшей всеми элементами культуры того времени, тогда возник "многогранный человек" - "универсальный человек", который принадлежал одной Италии. В средние века во многих странах люди обладали энциклопедическими знаниями, поскольку эти знания были ограничены узкими рамками; и даже в двенадцатом веке были художники-универсалы, но проблемы архитектуры были сравнительно простыми и единообразными, а в скульптуре и живописи материя имела большее значение, чем форма. Но в Италии эпохи Возрождения мы находим художников, которые в каждой отрасли создавали новые и совершенные произведения, и которые также производили наибольшее впечатление как мужчины. Другие, помимо искусств, которыми они занимались, были обладателями широкого круга духовных интересов.

Данте, которого еще при жизни одни называли поэтом, другие философом, третьи богословом,[302] во всех своих произведениях изливается поток личной силы, которым читатель, помимо интереса к предмету, чувствует себя увлеченным. Какой силы воли, должно быть, требовала неуклонная, непрерывная разработка "Божественной комедии"! И если мы посмотрим на содержание стихотворения, то обнаружим, что во всем духовном или физическом мире едва ли найдется важная тема, которую поэт не постиг и по которой его высказывания — часто всего несколько слов — не были бы самыми весомыми за все время. Для пластических искусств он имеет первостепенное значение, и на это есть более веские причины, чем несколько ссылок на современных художников — вскоре он сам стал источником вдохновения.[303]

Пятнадцатый век - это, прежде всего, век многогранных людей. Нет биографии, в которой, помимо главного произведения ее героя, не говорилось бы о других занятиях, выходящих за пределы дилетантизма. Флорентийский купец и государственный деятель часто владел обоими классическими языками; самые известные гуманисты читали ему и его сыновьям "этику и политику Аристотеля";[304] даже дочери в доме были высокообразованными. Именно в этих кругах к частному образованию впервые отнеслись серьезно. Гуманист, со своей стороны, был вынужден к самым разнообразным достижениям, поскольку его филологическое образование не ограничивалось, как это происходит сейчас, теоретическими знаниями классической древности, но должно было служить практическим потребностям повседневной жизни. Изучая Плиния,[305] он составлял сборники естественной истории; география древних была его руководством при изучении современной географии, их история была его образцом при написании современных хроник, даже когда они были составлены на итальянском; он не только переводил комедии Плавта, но и выступал в роли менеджера, когда они ставились на сцене; каждая эффективная форма древней литературы, вплоть до диалоги Лукиана он из всех сил старался подражать; и, помимо всего этого, он выступал в качестве судьи, секретаря и дипломата — не всегда в своих интересах.

Но среди этих многогранных людей есть те, кого действительно можно назвать разносторонними, возвышающиеся над остальными. Прежде чем анализировать общие этапы жизни и культуры этого периода, мы можем здесь, на пороге пятнадцатого века, на мгновение рассмотреть фигуру одного из этих гигантов — Леона Баттисты Альберти (р. 1404? ум. в 1472).[306] Его биография,[307], которая является лишь фрагментом, мало говорит о нем как о художнике и вообще не упоминает о его огромном значении в истории архитектуры. Теперь мы увидим, кем он был, помимо этих особых претензий на отличие.

Во всем, чем можно заслужить похвалу, Леон Баттиста с детства был первым. О его различных гимнастических трюках и упражнениях мы с удивлением читаем, как, сведя ноги вместе, он мог перепрыгнуть через голову человека; как в соборе он подбрасывал монету в воздух так, что было слышно, как она звякает о далекую крышу; как самые дикие лошади трепетали под ним. В трех вещах он хотел казаться окружающим безупречным: в ходьбе, верховой езде и речи. Он учился музыке без учителя, и все же его сочинения вызывали восхищение профессиональных судей. Находясь под гнетом бедности, он много лет изучал как гражданское, так и каноническое право, пока истощение не привело к тяжелой болезни. На двадцать четвертом году жизни, обнаружив, что его память на слова ослабла, но восприятие фактов осталось прежним, он принялся за физику и математику. И все это время он приобретал всевозможные достижения и ловкость, допрашивая художников, ученых и ремесленников всех мастей, вплоть до сапожников, о секретах и особенностях их ремесла. Кстати, он занимался живописью и лепкой, и особенно преуспел в создании восхитительных портретов по памяти. Большое восхищение вызвала его таинственная "камера-обскура", [308] в которой он показал в одно время звезды и луну, восходящие над скалистыми холмами, в другое время широкие пейзажи с горами и заливами, отступающими в неясной перспективе, и с флотилиями, продвигающимися по водам в тени или на солнце. И то, что создавали другие, он радостно приветствовал и считал каждое человеческое достижение, которое следовало законам красоты, чем-то почти божественным. [309] Ко всему этому следует добавить его литературные произведения, прежде всего те, что посвящены искусству, которые являются вершинами и авторитетами первого порядка в области Возрождения Форм, особенно в архитектуре; затем его латинские прозаические произведения — романы и другие произведения, некоторые из которых были приняты за произведения античности; его элегии, эклоги и юмористические речи за ужином. Он также написал итальянский трактат о домашней жизни [310] в четырех книгах; различные моральные, философские и исторические работы; и множество речей и стихотворений, включая надгробную речь о его собаке. Несмотря на свое восхищение латинским языком, он писал по-итальянски и призывал других делать то же самое; сам будучи последователем греческой науки, он придерживался доктрины, что без христианства мир блуждал бы в лабиринте ошибок. Было сочтено, что его серьезные и остроумные высказывания заслуживают коллекционирования, и некоторые из них, занимающие много колонок, цитируются в его биографии. И всем, что у него было и что он знал, он делился, как это всегда делают богатые натуры, без малейших утайек, отдавая свои главные открытия даром. Но о глубочайшей черте его натуры еще предстоит рассказать — о сочувствующей интенсивности, с которой он входил во всю окружающую его жизнь. При виде величественных деревьев и колышущихся кукурузных полей он прослезился; красивых и исполненных достоинства стариков он почитал как 'прелесть природы' и никогда не мог насмотреться на них вдоволь. Идеально сложенные животные завоевали его расположение как существа, особо благодетельствованные природой; и не раз, когда он болел, вид прекрасного пейзажа излечивал его. [311] Неудивительно, что те, кто видел его в этом тесном и таинственном общении с миром, приписывали ему дар пророчества. Говорили, что он предсказал кровавую катастрофу в семье Эсте, судьбу Флоренции и смерть пап за много лет до того, как они произошли, и умел читать по лицам и сердцам людей. Нет нужды добавлять, что железная воля пронизывала и поддерживала всю его личность; как и все великие люди эпохи Возрождения, он говорил: "Люди могут все, если захотят".

А Лионардо да Винчи был для Альберти как финишер для новичка, как мастер для *дилетанта*. Если бы только творчество Вазари было дополнено здесь описанием, подобным описанию

Альберти! Колоссальные очертания натуры Лионардо можно было бы представить лишь смутно и на расстоянии.

ГЛАВА III.

СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЛАВЕ.

Этому внутреннему развитию личности соответствует новый вид внешнего отличия — современная форма славы.^[312]

В других странах Европы различные классы общества жили обособленно, каждый со своим собственным средневековым кастовым чувством чести. Поэтическая слава трубадуров и миннезенгеров была свойственна рыцарскому ордену. Но в Италии социальное равенство появилось еще до эпохи тираний или демократий. Там мы находим ранние следы общего общества, имевшего, как будет показано более полно позже, общую почву в латинской и итальянской литературе; и такая почва была необходима для того, чтобы этот новый элемент в жизни мог вырасти. К этому следует добавить, что римские авторы, которых сейчас ревностно изучают, и особенно Цицерон, самый читаемый и вызывающий восхищение из всех, наполнены концепцией славы и что сам их предмет — вселенская римская империя — был постоянным идеалом в умах итальянцев. Отныне все стремления и достижения народа определялись моральным постулатом, который до сих пор был неизвестен нигде в Европе.

Здесь, опять же, как и во всех существенных моментах, первым свидетелем, которого следует вызвать, является Данте. Он стремился к гирлянде поэта^[313] всей силой своей души. Как публицист и литератор, он подчеркивал тот факт, что то, что он делал, было новым, и что он хотел не только быть первым на своем пути, но и быть почитаемым.^[314] Но даже в своих прозаических произведениях он затрагивает неудобства славы; он знает, как часто личное знакомство со знаменитыми людьми разочаровывает, и объясняет, что это происходит отчасти из-за детской фантазии мужчин, отчасти из-за зависти, а отчасти из-за несовершенства самого героя.^[315] И в своем великом стихотворении он твердо отстаивает пустоту славы, хотя и таким образом, который выдает, что его сердце не было освобождено от тоски по ней. В Раю сфера Меркурия является обителью таких благословенных,^[316] которые на земле стремились к славе и тем самым затемняли 'лучи истинной любви'. Характерно, что заблудшие души в аду умоляют Данте сохранить для них память об их жизни и славу на земле,^[317] в то время как находящиеся в Чистилище молят только его молитв и молитв других о своем освобождении.^[318] И в известном отрывке,^[319] страсть к славе — "lo gran desio dell'eccellenza" — порицается по той причине, что интеллектуальная слава не является абсолютной, но относительной ко времени, и может быть превзойден и затмеваем более великими преемниками.

Новая раса ученых-поэтов, возникшая вскоре после Данте, быстро овладела этой новой тенденцией. Они делали это в двояком смысле, будучи сами самыми признанными знаменитостями Италии и в то же время, как поэты и историки, сознательно пренебрегая репутацией других. Внешним символом такого рода славы была коронация поэтов, о которой мы поговорим позже.

Современник Данте, Альбертин Мусаттус или Муссаттус, коронованный поэт в Падуе епископом и настоятелем, пользовался славой, которая мало чем отличалась от обожествления. Каждое Рождество доктора и студенты обоих колледжей университета проходили торжественной

процессией перед его домом с трубами и, как кажется, с горящими свечами, чтобы поприветствовать его[320] и принести ему подарки. Его репутация сохранялась до тех пор, пока в 1318 году он не впал в немилость у правящего тирана из Дома Каррара.

Этот новый фимиам, который когда-то приносили в жертву только святым и героям, был подарен в облаках Петрарке, который на склоне лет убедил себя, что это всего лишь глупое и хлопотное занятие. Его письмо "Потомкам"[321] - это признание старого и знаменитого человека, который вынужден удовлетворять любопытство публики. Он признает, что желает славы в грядущие времена, но предпочел бы обойтись без нее в свое время.[322] В его диалоге о судьбе и несчастье,[323] собеседник, утверждающий тщетность славы, выигрывает в состязании. Но, в то же время, Петрарке приятно, что самодержец Византии[324] знает его так же хорошо по его писаниям, как и Карла IV.[325] знает его. И действительно, еще при жизни его слава распространилась далеко за пределы Италии. И волнение, которое он испытал, было естественным, когда его друзья по случаю визита в его родной Ареццо (1350 г.) отвели его в дом, где он родился, и рассказали ему, что город позаботился о том, чтобы в нем ничего не менялось.[326] В прежние времена жилища некоторых великих святых сохранялись и почитались таким образом, как келья святого Фомы Аквинского в доминиканском монастыре в Неаполе и Портункула святого Франциска близ Ассизи; и один или два великих юриста также пользовались полумифической репутацией, которая привела к этой чести. Ближе к концу четырнадцатого века жители Баньоло, недалеко от Флоренции, назвали старое здание "Студией" Аккурсиуса (род. около 1150 г.), но, тем не менее, допустили его разрушение.[327] Вероятно, что большие доходы и политическое влияние, которые некоторые юристы получили в качестве юристов-консультантов, произвели неизгладимое впечатление на общественное воображение.

К культу мест рождения знаменитых людей следует добавить культ их могил,[328] и, в случае Петрарки, места, где он умер. В память о нем Арка стала любимым курортом падуанцев и была усеяна изящными маленькими виллами.[329] В то время в Северной Европе не было "классических мест", и паломничества совершались только к картинам и реликвиям. Для разных городов было делом чести обладать останками своих и зарубежных знаменитостей; и весьма примечательно, с какой серьезностью флорентийцы даже в четырнадцатом веке — задолго до строительства Санта-Кроче - трудились над тем, чтобы превратить свой собор в пантеон. Аккурсо, Данте, Петрарке, Боккаччо и юристу Заноби делла Страда должны были воздвигнуть там великолепные гробницы.[330] В конце пятнадцатого века Лоренцо Магнifico лично обратился к сполетанцам с просьбой отдать тело художника фра Филиппо Липпи для собора и получил ответ, что у них не так уж много украшений для города, особенно в форме выдающихся людей, по этой причине они умоляли его пощадить их; и, фактически, ему пришлось довольствоваться с возведением кенотафа.[331] И даже Данте, несмотря на все заявления, к которым Боккаччо с горечью призывал флорентийцев,[332] продолжал безмятежно спать рядом с храмом Сан-Франческо в Равенне, "среди древних гробниц императоров и склепов святых, в более почетном обществе, чем ты, о Дом, мог бы предложить ему". Случилось даже, что однажды один человек безнаказанно снял светильники с алтаря, на котором стояло распятие, и поставил их у могилы со словами: "Возьми их; ты более достоин их, чем Он, Распятый!"[333]

И вот теперь итальянские города снова начали вспоминать своих древних граждан и обитателей. Неаполь, возможно, никогда не забывал свою могилу Вергилия, поскольку это

название приобрело своего рода мифический ореол, и память о нем была возрождена Петраркой и Боккаччо, которые оба остались в городе.

Падуанцы даже в шестнадцатом веке твердо верили, что у них есть не только подлинные кости их основателя Антенора, но и кости историка Ливия.^[334] "Сульмона", - говорит Боккаччо,^[335] 'скорбит о том, что Овидий похоронен далеко в изгнании; и Парма радуется, что Кассий спит в ее стенах'. В 1257 году мантуанцы отчеканили медаль с бюстом Вергилия, и воздвигли статую в его честь. В припадке аристократической дерзости,^[336] опекун молодого Гонзаги, Карло Малатеста, снес его в 1392 году, а впоследствии был вынужден, когда слава старого поэта показалась ему слишком сильной, установить его снова. Возможно, даже тогда грот в паре миль от города, где, как говорили, медитировал Вергилий,^[337] показывали незнакомцам, как и 'Скуолу Вирджилио' в Неаполе. Кому заявил права на оба Плинии^[338] как на свои собственные, и в конце пятнадцатого века воздвиг статуи в их честь, сидящие под изящными балдахинами на фасаде собора.

История и новая топография теперь следили за тем, чтобы ни одна местная знаменитость не осталась незамеченной. В тот же период северные хроники лишь кое-где, среди списков пап, императоров, землетрясений и комет, упоминают, что в то или иное время тот или иной знаменитый человек 'процветал'. В другом месте нам придется показать, как, главным образом под влиянием этой идеи славы, была создана замечательная биографическая литература. Здесь мы должны ограничиться местным патриотизмом топографов, которые зафиксировали притязания своих родных городов на отличия.

В средние века города гордились своими святыми, костями и реликвиями в своих церквях.^[339] С них панегирист Падуи в 1440 году Микеле Савонарола,^[340] начинает свой список; от них он переходит к "знаменитым людям, которые не были святыми"., но которые своим великим интеллектом и силой (*virtus*) заслуживают того, чтобы их причислили (*adnecti*) к лику святых — точно так же, как в классической древности выдающийся человек вплотную подошел к герою.^[341] Дальнейшее перечисление наиболее характерно для того времени. Первым идет Антенор, брат Приама, основавший Падую с бандой беглых троянцев; король Дардан, победивший Аттилу на Эуганских холмах, бросившийся за ним в погоню и убивший его в Римини шахматной доской; император Генрих IV, построивший кафедральный собор; король Марк, голова которого хранилась в Монселиче (*monte silicis arce*); затем пара кардиналов и прелатов как основателей колледжей, церквей и так далее; знаменитый теолог-августинец Фра Альберто; вереница философов, начиная с Паоло Венето и знаменитого Пьетро Альбано; юрист Паоло Падовано; затем Ливи и поэты Петрарка, Муссато, Ловато. Если в списке военных знаменитостей не хватает, поэт утешает себя обилием ученых людей, которых он должен показать, и более долговечным характером интеллектуальной славы; в то время как слава солдата похоронена вместе с его телом или, если она длится, обязана своим постоянством только ученому.^[342] Тем не менее, для города почетно, что иностранные воины похоронены здесь по их собственному желанию, такие как Пьетро де Росси из Пармы, Филиппо Арчелли из Пьяченцы и особенно Гаттамелата из Нарни (ум. 1642),^[343] чья бронзовая конная статуя, "подобная цезарю в триумфе", уже стояла у церкви Санто. Затем автор называет целую плеяду юристов и врачей, среди которых два последних друга Петрарки, Иоганн аб Часослов и Якоб де Дондис, дворяне, "которые не только, как многие другие, получили, но и заслужили рыцарское звание". Затем следует список известных механиков, художников и музыкантов, который

завершается именем мастера фехтования Микеле Россо, которого, как самого выдающегося человека в своей профессии, можно было увидеть нарисованным во многих местах.

Рядом с этими местными храмами славы, для создания которых объединились мифы, легенды, всеобщее восхищение и литературные традиции, ученые-поэты создали великий Пантеон мировых знаменитостей. Они составляли коллекции знаменитых мужчин и знаменитых женщин, часто в прямом подражании Корнелию Непоту, псевдо-Светонию, Валерию Максимусу, Плутарху (*Mulierum, virtutes*), Иерониму (*De Viris Illustribus*) и другим; или они писали о воображаемых триумфальных шествиях и олимпийских собраниях, как это было сделано Петrarкой в его "Триумфе Славы" и Боккаччо в "Любовном видении", с сотнями имен, из которых три четверти по меньшей мере наименьшие из них относятся к античности, а остальные - к Средневековью.^[344] Мало-помалу к этому новому и сравнительно современному элементу стали относиться с большим вниманием; историки начали вставлять описания персонажей, и появились сборники биографий выдающихся современников, таких как Филиппо Виллани, Веспасиано Фиорентино, Бартоломео Фацио, Паоло Кортезе,^[345] и, наконец, о Паоло Джовио.^[346]

Север Европы, пока итальянское влияние не начало сказываться на его писателях — например, на Тритемии, первом немце, написавшем жития знаменитых людей, — обладал либо легендами о святых, либо описаниями князей и церковников, в значительной степени носящими характер легенд и не демонстрирующими никаких следов идеи славы, то есть отличия, завоеванного личными усилиями человека. Поэтическая слава все еще принадлежала определенным классам общества, и имена северных художников того периода известны нам лишь постольку, поскольку они были членами определенных гильдий или корпораций.

Итальянский поэт-эрудит, как мы уже говорили, в полной мере осознавал, что он - даритель славы и бессмертия, или, если он пожелает, забвения.^[347] Петрарка, несмотря на весь идеализм своей любви к Лауре, выражает чувство, что его сонеты даруют бессмертие как его возлюбленной, так и ему самому.^[348] Боккаччо жалуется на красавицу, которой он отдавал дань уважения, а которая осталась жестокосердной ради того, чтобы он мог продолжать восхвалять ее и прославлять, и он намекает ей, что попытается немного обвинить.^[349] Санназаро в двух великолепных сонетах угрожает Альфонсо Неаполитанскому вечной неизвестностью из-за его трусливого бегства перед Карлом VIII.^[350] Анджеоло Полициано серьезно призывает (1491) короля Португалии Иоанна^[351] подумать о его бессмертии в связи с новыми открытиями в Африке и отправить ему материалы отправлены во Флоренцию, где им предстоит придать форму (*operosius excolenda*), в противном случае это постигнет его, как постигло всех остальных, чьи деяния, не подкрепленные помощью ученых, "скрыты в огромной куче человеческих слабостей". Король или его гуманистически настроенный канцлер согласились с этим и пообещали, что по крайней мере португальские хроники африканских событий будут переведены на итальянский и отправлены во Флоренцию для перевода на латынь. Было ли выполнено обещание, неизвестно. Эти претензии ни в коем случае не так беспочвенны, как может показаться на первый взгляд; ибо форма, в которой события, даже величайшие, рассказываются живущим и потомкам, - это что угодно, только не вопрос безразличия. Итальянские гуманисты, с их способом изложения и их латинским стилем, долгое время полностью контролировали читающий мир Европы, и до прошлого столетия итальянские поэты были более широко известны и изучались, чем поэты любой другой нации. Крестильное имя флорентийцу Америго Веспуччи было дано из-за его книги путешествий — разумеется, по

предложению ее немецкого переводчика на латынь Мартина Вальдзимюллера (Hylacomylus)[352]- на новую четверть земного шара, и если Паоло Джовио, со всей своей поверхностностью и изящным капризом, пообещал сам бессмертный,[353] его ожидания не совсем оправдались.

Среди всех этих внешних приготовлений к завоеванию и закреплению славы занавес время от времени приподнимается, и мы с ужасающей очевидностью видим безграничные амбиции и жажду величия, не зависящие ни от каких средств и последствий. Так, в предисловии к "Флорентийской истории" Макиавелли, в котором он обвиняет своих предшественников Лионардо Аретино и Поджо в их слишком тактичной сдержанности по отношению к политическим партиям в городе: "Они сильно ошибались и показали, что плохо понимают амбиции людей и желание увековечить имя. Сколько тех, кто не мог отличиться ничем достойным похвалы, стремились сделать это позорными поступками! Эти писатели не учли, что действия, которые велики сами по себе, как в случае с действиями правителей и государств, всегда, кажется, приносят больше славы, чем порицания, какого бы рода они ни были и каким бы ни был их результат." [354] Мотивом многих замечательных и ужасных начинаний, приписываемых серьезными писателями, является жгучее желание достичь чего-то великого и запоминающегося. Этот мотив - не просто крайний случай обычного тщеславия, но нечто демоническое, предполагающее отказ от воли, использование любых средств, какими бы жестокими они ни были, и даже безразличие к самому успеху. В этом смысле, например, Макиавелли представляет себе характер Стефано Поркаро (стр. 104);[355] об убийцах Галеаццо Марии Сфорца (стр. 57), документы говорят нам примерно то же самое; и убийство герцога Алессандро Флорентийского (1537) приписывается Варчи сам признался в жажде славы, которая мучила убийцу Лоренцино Медичи (стр. 60). Еще больше внимания этому мотиву уделяет Паоло Джовио.[356] Лоренцино, по его словам, пригвожденный памфлетом Мольцы из-за повреждения некоторых древних статуй в Риме, размышляет над поступком, новизна которого заставит забыть его позор, и заканчивает убийством своего родственника и принца. Это характерные черты нашего века надрывных и отчаявшихся страстей и сил, которые напоминают нам о сожжении храма Дианы в Эфесе во времена Филиппа Македонского.

ГЛАВА IV.

СОВРЕМЕННОЕ ОСТРОУМИЕ И САТИРА.

Исправление не только этого современного стремления к славе, но и всей высокоразвитой индивидуальности заключается в насмешке, особенно когда она выражается в победоносной форме остроумия.[357] Мы читаем в Средние века, как враждебные армии, принцы и знать провоцировали друг друга символическими оскорблениями, и как побежденная сторона была переполнена символическим возмущением. Здесь и там тоже, под влиянием классической литературы, остроумие стало использоваться как оружие в богословских спорах, а поэзия Прованса породила целый класс сатирических сочинений. Даже миннесотцы, как показывают их политические стихи, могли при необходимости перенять этот тон.[358] Но остроумие не могло быть самостоятельным элементом жизни, пока не появилась соответствующая жертва, развитая личность с личными притязаниями. Его оружие тогда ни в коем случае не ограничивалось языком и пером, но включало в себя трюки и розыгрыши — так называемые "берл" и "бифф", - которые составляют главную тему многих сборников романов.

В "Ста старинных романах", которые, должно быть, были написаны примерно в конце XIII века, пока нет ни остроумия, ни контраста, ни "бурлы" в качестве темы;[359] их цель - просто придать простое и элегантное выражение мудрым высказываниям и красивым историям или басням. Но если что-то и доказывает великую древность сборника, так это именно отсутствие сатиры. Ибо с четырнадцатым веком приходит Данте, который в своем презрительном высказывании оставляет всех других поэтов в мире далеко позади, и которого, хотя бы из-за его великой картины обманщиков,[360] следует назвать главным мастером колоссальной комедии. С Петрарки[361] начинаются сборники остроумных высказываний по образцу Плутарха (Aprophthegmata и др.).

Какие запасы остроумия были сосредоточены во Флоренции в этом столетии, наиболее характерно показано в романах Франко Саккетти. Это, по большей части, не истории, а ответы, данные при определенных обстоятельствах — шокирующие образцы *наивности*, с которыми глупые люди, придворные шуты, негодяи и распутные женщины высказывают свои возражения. Комизм рассказа заключается в поразительном контрасте этой реальной или мнимой *наивности* с общепринятой моралью и обычными отношениями в мире — вещи поставлены с ног на голову. Используются все средства живописного изображения, включая введение некоторых североитальянских диалектов. Часто место остроумия занимают простая наглость, неуклюжий обман, богохульство и непристойность; одна или две шутки, рассказанные о кондотьерах[362] являются одними из самых жестоких и злобных, которые были записаны. Многие 'берлы' насквозь комичны, но многие из них являются лишь реальными или предполагаемыми свидетельствами личного превосходства, триумфа над другим человеком. Со многим ли люди были готовы мириться, как часто жертва довольствовалась тем, что привлекала смех на свою сторону ответной уловкой, сказать невозможно; ко всему этому примешивалось много бессердечной и бессмысленной злобы, и жизнь во Флоренции, без сомнения, часто становилась достаточно неприятной из-за этой причины.[363] Изобретатели и распространители шуток вскоре стали неизбежными фигурами,[364] и среди них, должно быть, были такие, кто был классиком — намного превосходил всех простых придворных шутов, которым конкуренция меняющаяся публика и быстрое восприятие публикой всех преимуществ жизни во Флоренции были недостаточны. Некоторые флорентийские умники сыграли главную роль при деспотических дворах Ломбардии и Романьи,[365] и оказались гораздо более вознагражденными, чем дома, где их талант был дешевым и изобильным. Лучший тип этих людей - забавник (л'уомо Пьячеволе), худший - шут и вульгарный паразит, который является на свадьбы и банкеты с аргументом: 'Если меня не пригласили, это не моя вина'. Время от времени последние объединяются, чтобы подцепить молодого расточителя,[366] но в целом к ним относятся как к паразитам и презирают их, в то время как умники более высокого положения ведут себя как принцы и считают свой талант чем-то суверенным. Дольчибене, которого Карл IV, "Император Буэм", провозгласил "королем итальянских шутов", сказал ему в Ферраре: "Ты завоеуешь мир, поскольку ты мой друг и друг папы; ты сражаешься мечом, папа - своими буллами, а я - своим языком".[367] Это не просто шутка, а предзнаменование Пьетро Аретино.

Двумя самыми известными шутами примерно середины пятнадцатого века были священник из Флоренции Арлотто (1483), отличавшийся более утонченным остроумием ("фейзи"), и придворный шут из Феррары, Гоннелла, за буффонаду. Вряд ли мы можем сравнивать их истории с историями священника из Каленберга и Тилля Уленшпигеля, поскольку последние возникли иным, полумифическим образом, как плоды воображения целого народа, и затрагивают скорее то, что является общим и понятным для всех, в то время как Арлотто и

Гоннелла были историческими существами, окрашенными и сформированными местными влияниями. Но если позволить сравнение и распространить его на шутки неитальянских народов, мы обнаружим, что шутка во французских *фаблю*, [368] как и у немцев, направлена главным образом на достижение какой-либо выгоды или удовольствия; в то время как остроумие Арлотто и розыгрыши Гоннеллы являются самоцелью и существуют для всех, просто ради триумфа производства. (До тех пор, пока Уленшпигель снова не сформирует класс самостоятельно, как персонифицированную викторину, по большей части достаточно бессмысленную, об определенных классах и профессиях). Придворный шут Эсте не раз спасал себя своей острой сатирой и изощренными способами мести. [369]

Тип 'уомо пьачеволе' и 'буффоне' надолго пережил свободу Флоренции. При герцоге Козимо процветала Барлаккья, а в начале семнадцатого века Франческо Русполи и Курцио Мариньолли. В папе Льве X поразительно проявилась подлинная флорентийская любовь к шутам. Этот принц, чей вкус к самым утонченным интеллектуальным удовольствиям был ненасытен, терпел и желал за своим столом нескольких остроумных шутов и джекпот-пудингов, среди них двух монахов и калеку; [370] на публичных пирах он обращался с ними с намеренным презрением как с паразитами, ставя перед ними обезьян и ворон вместо вкусного мяса. Лео, действительно, проявлял особую привязанность к "бурле"; в его натуре было иногда относиться к своим любимым занятиям — музыке и поэзии — с иронией, пародируя их своим фактотом, кардиналом Биббиеной. [371] Ни один из них не считал ниже своего достоинства дурачить честного старого секретаря, пока тот не возомнил себя мастером музыкального искусства. Импровизатор Барабалло из Гаэты был настолько увлечен лелью Льва, что со всей серьезностью подал заявку на коронацию поэта на Капитолии. В годовщину св. Космы и Св. Дамиана, покровителей Дома Медичи, его сначала заставили, украшенного лавром и пурпуром, развлекать папских гостей своими декламациями и, наконец, когда все были готовы покаться со смеху, взобраться во дворе Ватикана на слона в золотой упряжи, присланного в подарок Риму Эммануилом Великим из Португалии, в то время как папа смотрел сверху вниз через свой монокль. [372] Зверь, однако, был так напуган звуком труб и барабанов, а также приветственными криками толпы, что не было никакой возможности переправить его через мост С. Анджело.

Пародия на торжественное или возвышенное, которая встречается здесь в случае процессии, уже заняла важное место в поэзии. [373] Естественно, она была вынуждена выбирать жертвыного рода, чем у Аристофана, который ввел великого трагика в свои пьесы. Но та же зрелость культуры, которая в определенный период породила пародию у греков, сделала то же самое и в Италии. К концу четырнадцатого века страдальческие стенания из сонетов Петрарки и других в том же роде были сняты карикатуристами; и торжественная атмосфера этой формы стихотворения была спародирована в строках мистической болтовни. 'Божественная комедия' постоянно призывала к пародированию, и Лоренцо Магнifico написал самую замечательную пародию в стиле 'Ада' ("Симпозио" или "Я беони"). Луиджи Пулеи явно подражает Импровизаторам в своей 'Морганте', и как его стихи, так и стихи Боджардо отчасти, по крайней мере, наполовину осознанная пародия на рыцарскую поэзию средневековья. Такая карикатура была намеренно сделана великим пародистом Теофило Фоленго (около 1520 года). Под именем Лимерно Питокко он сочинил 'Орландино', в котором рыцарство предстает лишь как нелепая декорация для толпы современных деятелей и идей. Под именем Мерлинус Коккаюс он описывал путешествия и подвиги своих фантастических бродяг (также в том же духе пародии) наполовину латинскими гекзаметрами, со всей наигранной помпезностью ученого эпоса того

времени. ('Opus Macaronicorum'). С тех пор карикатура постоянно и часто блестяще представлена на итальянском Парнасе.

Примерно в средний период Возрождения был предпринят теоретический анализ остроумия, и его практическое применение в хорошем обществе регулировалось более точно. Теоретиком был Джовиано Понтано.^[374] В своей работе о разговорной речи, особенно в третьей и четвертой книгах, он пытается посредством сравнения многочисленных шуток или 'острот' прийти к общему принципу. О том, как следует использовать остроумие среди людей с высоким положением, рассказывает Бальдассар Кастильоне в своем "Кортиджано".^[375] Его главная функция, естественно, заключается в том, чтобы оживлять присутствующих повторением комических или изящных историй и высказываний; личные шутки, напротив, не поощряются на том основании, что они ранят несчастных людей, оказывают слишком много чести беззаконникам и делают врагами могущественных и избалованных детей фортуны;^[376] и даже при повторении джентльмену рекомендуется проявлять большую сдержанность в использовании драматических жестов. Далее следует, не только для цитирования, но и как образец для будущих шутов, большая коллекция каламбуров и остроумных высказываний, методично расположенных в соответствии с их видом, среди которых есть достойные восхищения. Примерно двадцать лет спустя Джованни делла Каза в своем "Руководстве по хорошему манерам" изложил доктрину гораздо строже и осторожнее;^[377] с учетом последствий он желает, чтобы желание торжества было полностью изгнано из шуток и "балагана". Он - провозвестник реакции, которая, несомненно, рано или поздно должна была проявиться.

Италия фактически превратилась в школу скандалов, подобной которой мир не может показать, даже во Франции времен Вольтера. В нем и его товарищах, несомненно, не было недостатка в духе отрицания; но где в восемнадцатом веке можно было найти толпу подходящих жертв, это бесчисленное собрание высоко и характерно развитых человеческих существ, знаменитостей всех мастей, государственных деятелей, церковников, изобретателей и первооткрывателей, литераторов, поэтов и художников, все из которых тогда наиболее полно и свободно проявляли свою индивидуальность? Это воинство существовало в пятнадцатом и шестнадцатом веках, и рядом с ним общая культура того времени воспитала ядовитый выводок бессильных умов, прирожденных критиков и злословцев, чья зависть требовала гекатомб жертв; и ко всему этому добавлялась зависть знаменитых людей между собой. В этом, как известно, лидировали филологи — Филельфо, Поджио, Лоренцо Валла и другие, — в то время как художники пятнадцатого века жили в мирном и дружеском соревновании друг с другом. История искусства может принять этот факт к сведению.

Флоренция, великий рынок славы, в этом отношении, как мы уже говорили, опережала другие города. "Острые глаза и злые языки" - вот описание, данное этим обитателям.^[378] Непринужденное презрение ко всему и вся, вероятно, было преобладающим тоном в обществе. Макиавелли в замечательном прологе к своей 'Мандраголе' справедливо или ошибочно относит видимый упадок моральных сил к общей привычке злословить и угрожает своим недоброжелателям известием о том, что он может говорить резкие вещи не хуже их. Рядом с Флоренцией находится папский двор, который долгое время был местом встречи самых язвительных и остроумных людей. "Грани" Поджио взяты из "Палаты лжи" (*bugiale*) апостольских нотариусов; и когда мы вспоминаем о количестве разочарованных соискателей места,

безнадежных конкурентов и врагов фаворитов, праздных, распутных прелатов, собравшихся там, становится понятным, как Рим стал домом дикой пасквиады, а также более философской сатиры. Если мы добавим к этому широко распространенную ненависть к священникам и хорошо известный инстинкт толпы возлагать любой ужас на великих, то получится неисчислимая масса позора.[379] Те, кто смог, лучше всего защитили себя, презрев как ложные, так и истинные обвинения, а также блестящей и радостной демонстрацией.[380] Более чувствительные натуры впадали в полное отчаяние, когда оказывались глубоко вовлеченными в чувство вины и еще глубже в клевету.[381] С течением времени клевета стала всеобщей, и самая строгая добродетель была наиболее надежной из всех, чтобы противостоять нападкам злого умысла. О великом ораторе с кафедры, фра Эджидио из Витербо, которого Лев возвел в кардиналы за его заслуги и который показал себя человеком из народа и храбрым монахом во время бедствия 1527 года,[382] Джовио дает нам понять, что он сохранял свою аскетическую бледность с помощью дыма мокрой соломы и других средств того же рода. Джовио - настоящий знаток в этих вопросах.[383] Обычно он начинает с рассказа своей истории, затем добавляет, что не верит в нее, а затем в конце намекает, что, возможно, в конце концов, в ней что-то есть. Но истинным козлом отпущения римлян был благочестивый и высокоморальный Адриан VI. Похоже, было достигнуто общее согласие воспринимать его только с комической стороны. Адриан презрительно назвал группу Лакун "idola antiquorum", закрыл вход в Бельведер, оставил работы Рафаэля незаконченными и изгнал поэтов и актеров со двора; даже опасались, что он сожжет несколько древних статуй, превратив их в известь для новой церкви Святого Петра. Он поссорился с самого начала с грозным Франческо Берни, угрожая сбросить в Тибр не, как говорили люди,[384] статую Пасквино, а самих авторов сатир. Местью за это стал знаменитый "Капитолий" против папы Адриано, вдохновленный не столько ненавистью, сколько презрением к комичному голландскому варвару;[385] более жестокие угрозы были прибереганы для кардиналов, которые его избрали. Чума, которая тогда была распространена в Риме, была приписана ему;[386] Берни и другие[387] набросок окружения папы — немцев, которыми он управлял[388] — с той же искрометной неправдивостью, с какой современный *фельетонист* превращает черное в белое, а все остальное во что угодно. Биография, которую кардинал Тортозы поручил написать Паоло Джовио и которая должна была стать панегириком, является для любого, кто умеет читать между строк, непревзойденным произведением сатиры. Звучит смешно — по крайней мере, для итальянцев того времени — слышать, как Адриан обращался в капитул Сарагосы за челюстью святого Ламберта; как набожные испанцы разукрасили его, пока он не стал похож "на настоящего хорошо одетого папу римского"; как он прибыл в беспорядочной и безвкусной процессии из Остии в Рим, совещался о сожжении или утоплении Пасквино, внезапно прервал самое важное дело, когда объявили об обеде; и, наконец, в конце несчастливой правления, как он умер, выпив слишком много пива, после чего дом был разрушен. портрет его врача был увешан гирляндами полуночных гуляк и украшен надписью "Освободители отечества" (Liberatori Patriæ S. P. Q. R.). Это правда, что Джовио потерял свои деньги при всеобщей конфискации государственных фондов и получил пособие только в качестве компенсации, то есть потому, что он "не был поэтом". никакого язычника.[389] Но было решено, что Адриан должен стать последней великой жертвой. После катастрофы, постигшей Рим в 1527 году, клевета заметно пошла на убыль вместе с безудержной порочностью частной жизни.

Но в то время, когда она все еще процветала, ее развивал, главным образом в Риме, величайший железнодорожник современности Пьетро Аретино. Беглый взгляд на его жизнь и характер избавит нас от необходимости замечать многих менее выдающихся представителей его класса.

Мы знаем его главным образом по последним тридцати годам его жизни (1527-1557), которые он провел в Венеции, единственном возможном для него убежище. Отсюда он держал все, что было известно в Италии, в своего рода осадном положении, и сюда доставлялись подарки иностранных принцев, которые нуждались в его перу или боялись его. Карл V и Франциск I. оба отправили его на пенсию одновременно, каждый надеясь, что Аретино причинит какой-нибудь вред другому. Аретино льстил обоим, но, естественно, еще больше привязался к Чарльзу, потому что тот оставался хозяином в Италии. После победы императора при Тунисе в 1535 году этот тон лести перешел в самое нелепое поклонение, соблюдая которое, не следует забывать, что Аретино постоянно лелеял надежду, что Карл поможет ему получить кардинальскую шапку. Вполне вероятно, что он пользовался особой защитой как испанский агент, поскольку его речь или молчание могли оказать немалое влияние на небольшие итальянские суды и на общественное мнение в Италии. Он делал вид, что совершенно презирает папский двор, потому что хорошо знал его; истинная причина заключалась в том, что Рим не мог и не хотел больше платить ему.^[390] Венецию, которая приютила его, он был достаточно мудр, чтобы оставить без нападения. Остальные его отношения с великими - это попрошайничество и вульгарное вымогательство.

Аретино представляет собой первый крупный пример злоупотребления публичностью в подобных целях. Полемические сочинения, которыми столетием ранее обменивались Подджио и его оппоненты, столь же печально известны по своему тону и цели, но они были написаны не для прессы, а для своего рода частного распространения. Аретино получал всю свою прибыль от полной публичности, и в определенном смысле его можно считать отцом современной журналистики. Его письма и разные статьи периодически печатались после того, как они уже были распространены среди достаточно широкой публики.^[391]

По сравнению с острыми перьями восемнадцатого века у Аретино было то преимущество, что он не был обременен принципами, ни либерализмом, ни филантропией, ни какой-либо другой добродетелью, ни даже наукой; весь его багаж состоял из хорошо известного девиза 'Veritas odium parit'. Следовательно, он никогда не оказывался в ложном положении Вольтера, который был вынужден отречься от своей 'Пучели' и всю свою жизнь скрывать авторство других произведений. Аретино ставил свое имя под всем, что писал, и открыто прославлялся своим пресловутым 'Раджионаменти'. Его литературный талант, его ясный и искрометный стиль, его разностороннее наблюдение за людьми и вещами сделали бы его выдающимся писателем при любых обстоятельствах, поскольку он был лишен способности создать подлинное произведение искусства, такое как настоящая драматическая комедия; и к самой грубой, а также самой утонченной злобе он добавил гротескное остроумие, настолько блестящее, что в некоторых случаях оно не уступает остроумию Рабле.^[392]

При таких обстоятельствах, с такими целями и средствами он приступил к работе, чтобы напасть на свою жертву или обойти ее. Тон, которым он обратился к Клименту VII. не жаловаться и не думать о мести,^[393] но прощать в тот момент, когда вопли разрушенного города доносятся до замка Святого Ангела, где сам папа был узником, - это насмешка дьявола или обезьяны. Иногда,

когда он вынужден оставить всякую надежду на подарки, его ярость вырывается в дикий вой, как в 'Капитоло' принцу Салерно, который, заплатив ему, некоторое время отказывался делать это дальше. С другой стороны, кажется, что ужасный Пьерлуиджи Фарнезе, герцог Пармский, вообще не обращал на него никакого внимания. Поскольку этот джентльмен, вероятно, полностью отказался от удовольствий, связанных с хорошей репутацией, было нелегко вызвать у него раздражение; Аретино попытался сделать это, сравнив свою внешность с внешностью констебля, мельника и пекаря.[394] Аретино наиболее комичен в выражении плаксивого нищенства, как в 'Капитолии' Франциску I. Но письма и стихи, составленные из угроз и лести, нельзя, несмотря на все то, что в них есть смешного, читать без глубочайшего отвращения. Письмо, подобное тому, что он написал Микеланджело в ноябре 1545 г.[395] единственное в своем роде; наряду со всем восхищением, которое он выражает "Страшному суду", он обвиняет его в безбожии, непристойности и воровстве у наследников Юлия II., и добавляет в примирительном постскрипте: "Я только хочу показать вам, что если вы вы "божественный", я не "д'Аква". Аретино придавал большое значение тому — то ли из безумного тщеславия, то ли в качестве карикатуры на знаменитых людей, — что его самого следует называть божественным, как это уже начал делать один из его льстецов; и он, несомненно, приобрел такую личную известность, что его дом в Ареццо считался одной из достопримечательностей этого места.[396] Действительно, бывали целые месяцы, в течение которых он не осмеливался переступить порог своего дома в Венеции, опасаясь столкнуться с каким-нибудь разгневанным флорентийцем вроде младшего Строцци. Не избежал он и дубинок и кинжалов своих врагов,[397] хотя они не возымели того эффекта, который Берни предсказал ему в знаменитом сонете. Аретино умер в своем доме от апоплексического удара.

Различия, которые он проявлял в своих способах лести, замечательны: в общении с неитальянцами он был чрезвычайно грубым;[398] к таким людям, как герцог Козимо Флорентийский, он относился совсем по-другому. Он похвалил красоту тогда еще юного принца, который на самом деле в немалой степени разделял это качество с Августом; он похвалил его моральное поведение, косвенно упомянув финансовые устремления матери Козимо Марии Сальвиати, и закончил нищенствующим нытьем о плохих временах и так далее. Когда Козимо отправил его на пенсию,[399] что Козимо делал щедро, учитывая свою обычную скупость — доходящую, наконец, до 160 дукатов в год — он, несомненно, обратил внимание на опасный характер Аретино как испанского агента. Аретино мог высмеивать и поносить Козимо и в то же время угрожать флорентийскому агенту, что добьется от герцога немедленного отзыва; и если бы принц Медичи почувствовал, что Карл V наконец раскусил его насквозь, он, естественно, не стал бы беспокоиться о том, чтобы шутки и стишки Аретино против него циркулировали при императорском дворе. Любопытно, что лесь была адресована печально известному маркизу Мариньяно, который в качестве кастеляна Муссо (стр. 27) пытался основать независимое государство. Поблагодарив его за подарок в сто крон, Аретино пишет: "В тебе присутствуют все качества, которыми должен обладать принц, и все люди думали бы так, если бы акты насилия, неизбежные в начале любого начинания, не заставляли тебя казаться немного грубым (*aspro*)".[400]

Часто замечали, что Аретино поносил только мир, но не Бога. Религиозная вера человека, который жил так, как он жил, совершенно безразлична, как и назидательные труды, которые он сочинил по своим собственным соображениям.[401] На самом деле трудно сказать, почему он должен был быть богохульником. Он не был профессором, теоретическим мыслителем или

писателем; и он не мог вымогать деньги у Бога угрозами или лестью, и, следовательно, никогда не был склонен к богохульству из-за отказа. Такой человек, как он, не лезет на рожон просто так.

То, что такой характер и такая карьера стали в тысячу раз невозможнее, является хорошим признаком нынешнего духа Италии. Но историческая критика всегда найдет в Аретино важное исследование.

ЧАСТЬ III.

ВОЗРОЖДЕНИЕ АНТИЧНОСТИ.

ГЛАВА I.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.

ТЕПЕРЬ, когда эта точка в нашем историческом взгляде на итальянскую цивилизацию достигнута, пришло время поговорить о влиянии античности, "новое рождение" которой было односторонне выбрано в качестве названия для подведения итога всему периоду. Условий, которые были до сих пор описаны, было бы достаточно, если не считать античности, для подъема и зрелости национального разума; и большинство интеллектуальных тенденций, которые еще предстоит отметить, были бы немыслимы и без этого. Но и то, что было раньше, и то, что нам еще предстоит обсудить, тысячью способов окрашено влиянием древнего мира; и хотя суть явлений могла бы оставаться той же и без классического возрождения, только с этим возрождением и через него они действительно проявляются для нас. Возрождение не было бы процессом мирового значения, которым оно является, если бы его элементы можно было так легко отделить друг от друга. Мы должны настаивать на том, как на одном из главных положений этой книги, что завоевание западного мира было достигнуто не только возрождением античности, но и ее союзом с гением итальянского народа. Степень независимости, которую национальный дух сохранял в этом союзе, варьировалась в зависимости от обстоятельств. В современной латинской литературе того периода она очень мала, в то время как в пластическом искусстве, как и в других сферах, она удивительно велика; и поэтому союз между двумя отдаленными эпохами в цивилизации одного и того же народа, заключенный на равных условиях, оказался оправданным и плодотворным. Остальная Европа была вольна либо отразить, либо частично или полностью принять могучий импульс, исходивший из Италии. Там, где имело место последнее, мы также можем быть избавлены от жалоб на ранний упадок средневековой веры и цивилизации. Если бы они были достаточно сильны, чтобы удержаться на своих местах, они были бы живы по сей день. Если бы эти элегические натуры, жаждущие их возвращения, могли провести среди них хотя бы час, они бы ахнули, очутившись снова в современном воздухе. То, что в великом историческом процессе такого рода цветы изысканной красоты могут погибнуть, не будучи обессмерченными в поэзии или традиции, несомненно, верно; тем не менее, мы не можем желать, чтобы этот процесс был отменен. Общий результат этого состоит в том, что на стороне Церкви, которая до сих пор удерживала страны Запада

вместе (хотя и не могла делать это дольше), возникло новое духовное влияние, которое, распространившись за границу из Италии, стало дыханием жизни для всех наиболее просвещенных умов Европы. Худшее, что можно сказать об этом движении, это то, что оно было антинародным, что благодаря ему Европа впервые резко разделилась на культурные и некультурные классы. Упрек покажется беспочвенным, если мы подумаем, что даже сейчас этот факт, хотя и четко осознанный, не может быть изменен. Разделение также ни в коем случае не является таким жестоким и абсолютным в Италии, как в других странах. Самый артистичный из ее поэтов, Тассо, находится в руках даже самых бедных.

Цивилизация Греции и Рима, которая с XIV века приобрела столь сильное влияние на итальянскую жизнь, как источник и основа культуры, как объект и идеал существования, отчасти также как общепризнанная реакция на предшествующие тенденции, — эта цивилизация долгое время оказывала частичное влияние на средневековую Европу даже за пределами Италии. Культура, представителем которой был Карл Великий, была, по сути, Возрождением перед лицом варварства седьмого и восьмого веков и не могла проявиться ни в какой другой форме. Точно так же, как в романской архитектуре Севера, помимо общих очертаний, унаследованных от античности, встречаются замечательные прямые имитации античности, так и монашеская наука не только постепенно впитала огромную массу материалов римских авторов, но и стиль ее, начиная со времен Эгинхарда, демонстрирует следы сознательного подражания.

Но возрождение античности приняло в Италии иную форму, чем та, которую оно приняло на Севере. Едва прошла волна варварства, как народ, в котором прежняя жизнь была лишь наполовину стерта, проявил сознание своего прошлого и желание воспроизвести его. В других странах Европы люди сознательно и обдуманно заимствовали тот или иной элемент классической цивилизации; в Италии симпатии как ученых, так и простого народа, естественно, были на стороне античности в целом, которая представлялась им символом былого величия. Латинский язык тоже был легок для итальянца, а многочисленные памятники и документы, которыми изобиловала страна, способствовали возвращению к прошлому. Наряду с этой тенденцией другие элементы — народный характер, который теперь сильно изменился со временем, политические институты, импортированные лангобардами из Германии, рыцарство и другие северные формы цивилизации, а также влияние религии и Церкви — объединились, чтобы создать современный итальянский дух, которому было суждено служить образцом и идеалом для всего западного мира.

То, как античность начала действовать в пластическом искусстве, как только спал поток варварства, ясно показано в тосканских зданиях XII и скульптурах XIII веков. В поэзии тоже, по-видимому, не будет недостатка в подобных аналогиях с теми, кто считает, что величайший латинский поэт двенадцатого века, автор, взявший ключевую ноту целого класса латинских стихотворений, был итальянцем. Мы имеем в виду автора лучших произведений так называемой 'Кармины Бураны'. Искреннее наслаждение жизнью и ее удовольствиями, покровителями которых являются языческие боги, в то время как Катон и Сципион занимают место святых и героев христианства, полным ходом пронизывает рифмованные стихи. Перечитывая их с натяжкой, мы едва ли можем не прийти к выводу, что говорит итальянец, вероятно, ломбардец; на самом деле, есть положительные основания так думать.^[402] В определенной степени эти латинские поэмы "Clerici vagantes" двенадцатого века, при всей их замечательной фривольности, несомненно, являются произведением, в котором участвовала вся Европа; но

автор песни "De Phyllide et Flora"[403] и "эстуаны промежуточные" могли быть северянами в такой же мере, как и утонченный наблюдатель-эпикурейец, которому мы обязаны "Dum Dianae vitrea sero lampas oritur". Здесь, по правде говоря, воспроизводится весь древний взгляд на жизнь, который тем более поражает средневековой формой стиха, в котором он изложен. Существует множество произведений этого и последующих столетий, в которых тщательное подражание античности проявляется как в гекзаметре, так и в пентаметре метра в классическом, часто мифологическом характере сюжета, и в которых все же нет ничего похожего на тот же дух античности. В гекзаметрических хрониках и других произведениях Гулиэля Апулийского и его преемников (примерно с 1100 г.) мы находим частые следы прилежного изучения Вергилия, Овидия, Лукана, Статия и Клавдиана; но эта классическая форма, в конце концов, здесь просто вопрос археологии, как и классический предмет у коллекционеров, таких как Винсент из Бове, или у автора мифов и аллегорий Алана аб Инсулиса. Возрождение - это не просто фрагментарная имитация или компиляция, но новое рождение; и признаки этого видны в поэмах неизвестного "Клерикуса" двенадцатого века.

Но большой и всеобщий энтузиазм итальянцев по отношению к классической древности проявился не ранее XIV века. Для этого требовалось развитие гражданской жизни, которое имело место только в Италии, да и то не раньше. Было необходимо, чтобы дворянин и бюргер сначала научились жить вместе на равных условиях и чтобы возник социальный мир (см. стр. 139), который ощущал нехватку культуры и имел досуг и средства для ее получения. Но культура, как только она освободилась от фантастических уз Средневековья, не смогла сразу и без посторонней помощи найти свой путь к пониманию физического и интеллектуального мира. Ей нужен был проводник, и она нашла его в древней цивилизации с ее богатством истины и знаний во всех духовных областях. И форма, и содержание этой цивилизации были приняты с восхищением и благодарностью; она стала главной частью культуры того времени.[404] Общее состояние страны благоприятствовало этим преобразованиям. Средневековая империя после падения Гогенштауфенов либо отказалась, либо не смогла удовлетворить свои претензии на Италию. Папы переселились в Авиньон. Большинство реально существующих политических сил были обязаны своим возникновением насильственным и незаконным средствам. Дух народа, теперь пробудившийся к самосознанию, искал какой-то новый и стабильный идеал, на который можно было бы опереться. И таким образом, видение всемирной империи Италии и Рима настолько овладело массовым сознанием, что Кола ди Риенци действительно смог попытаться воплотить его в жизнь. Представление, которое он сформировал о своей задаче, особенно когда впервые стал трибуном, могло закончиться только какой-нибудь экстравагантной комедией; тем не менее память о древнем Риме оказала немалую поддержку национальным чувствам. Заново познакомившись со своей культурой, итальянец вскоре почувствовал себя настоящим гражданином самой развитой нации в мире.

Теперь наша задача - обрисовать это духовное движение, хотя и не во всей его полноте, но в его наиболее характерных чертах, и особенно в его первых зачатках.[405]

ГЛАВА II.

РИМ, ГОРОД РУИН.

Сам РИМ, город руин, теперь стал объектом совершенно иного благочестия, чем в те времена, когда создавались "Римская мирабилия" и сборник Уильяма Малмсберийского. Фантазии

набожного паломника или искателя чудес[406] и сокровища вытесняются в современных записях интересами патриота и историка. В этом смысле мы должны понимать слова Данте,[407] что камни стен Рима заслуживают почитания, и что земля, на которой построен город, более достойна, чем говорят люди. Юбилеи, какими бы непрерывными они ни были, едва ли оставили хоть один благочестивый след в литературе, должным образом так называемой. Лучшее, что Джованни Виллани (стр. 73) привез с юбилея 1300 года, - это решение написать свою историю, которое пробудилось в нем при виде руин Рима. Петрарка свидетельствует о разделении вкуса междуклассической и христианской античностью. Он рассказывает нам, как часто с Джованни Колонна поднимался под могучие своды Терм Диоклетиана,[408] и там, в прозрачном воздухе, среди широкой тишины, на фоне простирающейся далеко вокруг них панорамы, они говорили не о бизнесе или политических делах, а об истории, которую подсказывали руины под их ногами, Петрарка появлялся в их диалогах как сторонник о классике, Джованни о христианской античности; затем они рассуждали о философии и изобретателях искусств. Как часто с тех пор, вплоть до дней Гиббона и Нибура, одни и те же руины побуждали умы людей к одним и тем же размышлениям!

Этот двойной поток чувств также заметен в 'Диттамондо' Фацио дельи Уберти, написанном примерно в 1360 году, — описании визионерских путешествий, в которых автора сопровождает старый географ Солин, как Данте сопровождал Вергилия. Они посещают Бари в память о святом Николае и Монте-Гаргано в честь архангела Михаила, а в Риме упоминаются легенды об Арасели и Санта-Мария-ин-Трастевере. Тем не менее, языческое великолепие древнего Рима, несомненно, оказывает на них большее очарование. Почтенная матрона в разорванных одеждах — имеется в виду сам Рим — рассказывает им о славном прошлом и дает подробное описание старых триумфов;[409] затем она ведет незнакомцев по городу и указывает им на семь холмов и многие из главных руин — "che comprender potrai, quanto fui bella".

К сожалению, этот Рим раскольников и авиньонских пап с точки зрения классических остатков уже не был таким, каким он был несколькими поколениями ранее. Разрушение 140 укрепленных домов римской знати сенатором Бранкалеоне в 1257 году, должно быть, полностью изменило характер наиболее важных зданий, стоявших тогда; поскольку знать, без сомнения, укрылась в самых возвышенных и лучше всего сохранившихся руинах.[410] Тем не менее, сохранилось гораздо больше, чем мы сейчас находим, и, вероятно, на многих останках сохранились мраморная инкрустация, входы с колоннами и другие украшения, там, где сейчас мы не видим ничего, кроме остова кирпичной кладки. При таком положении вещей были сделаны первые зачатки топографического изучения старого города.

В "Прогулках Поджио по Риму"[411] изучение самих останков впервые более тесно сочетается с изучением древних авторов и надписей — последние он искал среди всей растительности, в которую они были погружены[412]— воображение писателя строго ограничено, а воспоминания о христианском Риме тщательно исключены. Жаль только, что работы Поджио не были полнее и не иллюстрировались эскизами. В его время было оставлено гораздо больше, чем нашел Рафаэль восемьдесят лет спустя. Он увидел гробницу Цецилии Метеллы и колонны перед одним из храмов на склоне Капитолия сначала полностью сохранившимися, а затем наполовину разрушенными из-за того неудачного свойства, которым обладает мрамор, - он легко обжигается до известкового состояния. Огромная колоннада рядом с Минервой пала жертвой той же участи. Очевидец в 1443 году сообщает нам, что производство известки все еще продолжалось; "и это позор, потому что новые здания жалки, а красота Рима - в его

руинах".[413] Жители того времени в своих крестьянских плащах и сапогах казались иностранцам пастухами; и на самом деле скот пасся в городе вплоть до Банчи. Единственной возможностью для светских встреч были службы в церкви, на которых можно было увидеть красивых женщин.

В последние годы правления Евгения IV (ум. в 1447 г.) Блондус из Форли написал свою *'Roma Instaurata'*, используя Фронтинуса и старые *'Региональные библиотеки'*, а также, кажется, Анастасия. Его целью является не только описание того, что существовало, но в еще большей степени восстановление того, что было утрачено. В соответствии с посвящением Папе римскому, он утешает себя в связи со всеобщим разорением мыслью о драгоценных мощах святых, которыми был так богат Рим.[414]

При Николае V. (1447-1455) на папском престоле проявился тот новый монументальный дух, который был характерен для эпохи Возрождения. Новая страсть к украшению города принесла с собой, с одной стороны, новую опасность для руин, с другой - уважение к ним, как к одной из претензий Рима на самобытность. Pius II. был полностью одержим энтузиазмом антиквара, и если он мало говорит о древностях Рима, то[415] он внимательно изучал памятники из всех других частей Италии и был первым, кто узнал и точно описал останки, которыми изобиловали районы на многие мили вокруг столицы.[416] Это правда, что и как священник, и как космограф он одинаково интересуется классическими и христианскими памятниками, а также чудесами природы. Или он совершал насилие над собой, когда писал, что память святого Павлина почитается в Ноле более высоко, чем все ее классические воспоминания и героическая борьба Марцелла? Нельзя сказать, что его вера в реликвии была напускной; но его ум, очевидно, был скорее склонен к пылливому интересу к природе и древности, к рвению к монументальным работам, к острому и деликатному наблюдению за человеческой жизнью. В последние годы своего папства, страдавшего подагрой, но пребывавшего в самом веселом настроении, его носили в носилках через холмы и долины в Тускул, Альбу, Тибур, Остию, Фалерии и Окрикулум, и все, что он видел, он записывал. Он проследил линию римских дорог и акведуков и попытался установить границы древних племен, обитавших вокруг города. Во время экскурсии в Тиволи с великим Федерико Урбинским мы с удовольствием провели время в беседах о военной системе древних, и особенно о Троянской войне. Даже во время своего путешествия на конгресс в Мантуе (1459) он искал, хотя и безуспешно, лабиринт Клузия, упомянутый Плинием, и посетил так называемую виллу Вергилия на Минчо. То, что такой папа требует от своих аббревиатуров классического латинского стиля, - это не более чем можно было бы ожидать. Именно он во время войны с Неаполем даровал амнистию жителям Арпина, как землякам Цицерона и Мария, в честь которых многие из них были названы. Только ему одному, как судье и покровителю, Блондус мог посвятить своих *'Римских триумфаторов'*, первую крупную попытку полного изложения римской древности.[417]

В тот период энтузиазм по поводу классического прошлого Италии не ограничивался столицей. Боккаччо[418] уже назвал обширные руины Байи *'старыми стенами, но новыми для современных духов'*; и с тех пор они считались самой интересной достопримечательностью близ Неаполя. Коллекции всевозможных древностей теперь стали обычным явлением. Кириако из Анконы (ум. 1457), который объяснял (1433) римские памятники императору Сигизмунду, путешествовал не только по Италии, но и по другим странам старого света, Элладе, островам архипелага и даже по некоторым частям Азии и Африки и привез с собой бесчисленные надписи и наброски. Когда его спросили, зачем он взял на себя все эти хлопоты, он ответил:

"Чтобы разбудить мертвых".^[419] Истории различных городов Италии с древнейших времен претендовали на некую истинную или воображаемую связь с Римом, предполагали некое поселение или колонизацию, начавшуюся из столицы;^[420] и услужливые составители родословных, по-видимому, постоянно выводили различные семейства от старейшей и наиболее известной крови Рима. Это различие ценилось так высоко, что люди цеплялись за него даже в свете зарождающейся критики пятнадцатого века. Когда Пий II. был в Витербо^[421] он откровенно сказал римским депутатам, которые умоляли его вернуться: "Рим - такой же дом, как и Сиена, ибо мой Дом, Пикколомини, в незапамятные времена переехал из столицы в Сиену, о чем свидетельствует постоянное использование имен Эней и Сильвий в моей семье'. Вероятно, он не возражал бы против того, чтобы его считали потомком Юлиев. Павел II, венецианский барбо, обнаружил, что его тщеславию льстит вывод его Дома, несмотря на неблагоприятную родословную, согласно которой он происходил из Германии, от римского Агенобарба, который возглавил колонию в Парме, и чьи преемники были вынуждены из-за партийных конфликтов мигрировать в Венецию.^[421A] что Массими утверждал, что происходит от Q. Фабий Максим и Корнаро из "Корнелии" не могут нас удивить. С другой стороны, поразительно исключительным фактом для шестнадцатого века является то, что новеллист Банделло пытался связать свою кровь со знатной семьей остготов (i. 23 ноября).

Вернуться в Рим. Жители, 'которые тогда называли себя римлянами", с жадностью принимали почести, оказанные им остальной Италией. При Павле II, Сиксте IV и Александре VI частью карнавала были пышные процессии, представляющие сцену, наиболее привлекательную для воображения того времени, — триумф римского императора. Настроения людей естественным образом выражались в этой форме и других подобных ей. При таком настроении общественного мнения появилось сообщение о том, что 15 апреля 1485 года был обнаружен труп молодой римлянки классического периода — удивительно красивый и в идеальной сохранности.^[422] Некоторые ломбардские каменщики, раскапывая древнюю гробницу в поместье монастыря Санта-Мария-Новелла, на Аппиевой дороге за Цецилией Метеллой, как говорили, нашли мраморный саркофаг с надписью 'Юлия, дочь Клавдия'. На этой основе была построена следующая история. Лангобарды исчезли вместе с драгоценностями, которые были найдены вместе с телом в саркофаге. Тело было покрыто антисептической эссенцией и было таким же свежим и гибким, как у пятнадцатилетней девочки через час после смерти. Говорили, что она все еще сохранила краски жизни, с полукрытыми глазами и ртом. Ее отвезли во дворец Консерваторов на Капитолии; а затем началось паломничество, чтобы увидеть ее. Среди толпы было много тех, кто пришел нарисовать ее; "ибо она была прекраснее, чем можно сказать или написать, и, если бы это было сказано или написано, в это не поверили бы те, кто ее не видел'. По приказу Иннокентия VIII. однажды ночью ее тайно похоронили за Пинчианскими воротами; пустой саркофаг остался во дворе 'Консерватории'. Вероятно, на лице трупа в классическом стиле была нанесена цветная маска из воска или какого-либо другого материала, с которой восхитительно гармонировали позолоченные волосы, о которых мы читаем. Трогательным моментом в этой истории является не сам факт, а твердая вера в то, что древнее тело, которое, как теперь считалось, наконец-то действительно предстало перед глазами людей, обязательно должно быть намного красивее, чем что-либо современное.

Тем временем благодаря раскопкам были расширены материальные знания о Старом Риме. При Александре VI. были обнаружены так называемые 'гротески", то есть настенные украшения древних, а Аполлон Бельведерский был найден в Порто д'Анцо. При Юлии II. последовали незабываемые открытия Лакуна, ватиканской Венеры, Торса Клеопатры.^[423] Дворцы знати и

кардиналов начали заполняться древними статуями и фрагментами. Рафаэль предпринял для Льва X ту идеальную реставрацию всего древнего города, о которой говорится в его знаменитом письме (1518 или 1519).^[424] После горькой жалобы на разрушения, которые даже тогда не прекратились и которые были особенно частыми при Юлии II., он умоляет папу защитить те немногие реликвии, которые остались свидетельствовать о силе и величии той божественной души древности, память о которой вдохновляла всех, кто был способен на более высокие поступки. Затем он продолжает с пронизательным суждением, чтобы заложить основы сравнительной истории искусств, и в заключение дает определение архитектурного обзора, которое было принято с его времени; он требует, чтобы план местности, разрез и высота каждого сохранившегося здания были указаны отдельно. Как археология после его смерти посвятила себя изучению почитаемого города и превратилась в особую науку, и как Витрувианская академия, во всяком случае, ставила перед собой великие цели,^[425] не может быть здесь передана. Давайте лучше остановимся на днях Льва X, при котором наслаждение древностью сочеталось со всеми другими удовольствиями, придавая римской жизни неповторимый оттенок.^[426] Ватикан огласился песнями и музыкой, и их эхо было слышно по городу как призыв к радости, хотя Лео не преуспел в том, чтобы изгнать заботы и боль из своей собственной жизни, и его преднамеренный расчет продлить свои дни жизнерадостностью был расстроен ранней смертью.^[427] Рим Льва, как его описывает Паоло Джовио, представляет собой картину, слишком великолепную, чтобы от нее отвернуться, безошибочно узнаваемую, как и ее более темные аспекты — рабство тех, кто изо всех сил пытался возвыситься; тайные страдания прелатов, которые, несмотря на большие долги, были вынуждены жить в стиле, подобающем их рангу; система литературного покровительства, которая приводила к тому, что они становились жертвами насилия. паразитами или авантюристами; и, наконец, вопиющим неправильным управлением государственными финансами.^[428] Тем не менее, тот же Ариосто, который так хорошо все это знал и высмеивал, дает в шестой сатире страстную картину своего ожидаемого общения с опытными поэтами, которые проведут его по городу руин, ученого совета, который он там найдет для своих собственных литературных усилий, и сокровищ ватиканской библиотеки. По его словам, именно это, а не давно оставленная надежда на защиту Медичи, было настоящей приманкой, которая привлекла его, когда его попросили отправиться послом Феррарезе в Рим.

Но руины внутри и за пределами Рима пробуждали не только археологическое рвение и патриотический энтузиазм, но и элегическую или сентиментальную меланхолию. У Петрарки и Боккаччо мы находим намеки на это чувство (стр. 177, 181). Поджио (стр. 181) часто посещал храм Венеры и Рим, полагая, что это храм Кастора и Поллукса, где так часто собирался сенат, и погружался в воспоминания о великих ораторах Крассе, Гортензии, Цицероне. Язык Пия II, особенно в описании Тиволи, имеет насквозь сентиментальный оттенок,^[429] и вскоре после этого (1467) появились первые фотографии руин с комментарием Полифило.^[430] Руины могучих арок и колоннад, наполовину скрытые платанами, лаврами, кипарисами и хворостом, фигурируют на его страницах. В священных легендах вошло в обычай, трудно сказать каким образом, помещать сцену рождения Христа на развалинах великолепного дворца.^[431] То, что искусственные руины впоследствии стали необходимостью в ландшафтном озеленении, является лишь практическим следствием этого чувства.

ГЛАВА III.

ДРЕВНИЕ АВТОРЫ.

НО литературные наследия античности, как греческие, так и латинские, имели гораздо большее значение, чем архитектурные, да и вообще все художественные пережитки, которые она оставила. Они считались в самом абсолютном смысле источником всего знания. Литературные условия того века великих открытий часто описывались; здесь можно попытаться лишь указать на несколько менее известных черт картины.^[432]

Как ни велико было влияние старых авторов на итальянское сознание в четырнадцатом веке и ранее, все же это влияние было вызвано скорее широким распространением того, что было давно известно, чем открытием многого нового. Самые популярные латинские поэты, историки, ораторы и литераторы вместе с рядом латинских переводов отдельных произведений Аристотеля, Плутарха и нескольких других греческих авторов составляли сокровище, из которого несколько избранных людей во времена Петрарки и Боккаччо черпали свое вдохновение. Первый, как хорошо известно, владел и бережно хранил греческого Гомера, которого он не мог прочесть. Полный латинский перевод "Илиады" и "Одиссеи", хотя и очень плохой, был сделан по предложению Петрарки и с помощью Боккаччо калабрийским греком Леонцио Пилато.^[433] Но с пятнадцатого века начался длинный список новых открытий, систематическое создание библиотек с помощью копий и быстрое умножение переводов с греческого.^[434]

Если бы не энтузиазм нескольких коллекционеров того времени, которые не гнушались никакими усилиями или лишениями в своих исследованиях, мы, несомненно, владели бы лишь небольшой частью литературы, особенно греческой, которая сейчас находится в наших руках. Папа Николай V., когда был всего лишь простым монахом, по уши в долгах из-за покупки рукописей или их копирования. Даже тогда он не скрывал своей страсти к двум великим увлечениям эпохи Возрождения - книгам и зданиям.^[435] Как папа Римский, он сдержал свое слово. Переписчики писали, а шпионы искали его по всему миру. Перотто получил 500 дукатов за латинский перевод Полибия; Гуарино - 1000 золотых флоринов за перевод Страбона, и ему заплатили бы на 500 больше, если бы не смерть папы. Филельфо должен был получить 10 000 золотых флоринов за метрический перевод Гомера, и только смерть папы помешала ему приехать из Милана в Рим. Николай оставил коллекцию из 5000 или, согласно другому способу подсчета, из 9000 томов,^[436] для использования членами Курии, которая легла в основу библиотеки Ватикана. Она должна была храниться в самом дворце, как его самое благородное украшение, подобно библиотеке Птолемея Филадельфа в Александрии. Когда чума (1450 г.) загнала его и его двор в Фабриано, откуда тогда, как и сейчас, доставляли лучшую бумагу, он взял с собой своих переводчиков и компиляторов, чтобы не рисковать потерять их.

Флорентинец Никколо Никколи,^[437] член тогочисленного круга друзей, который окружал старшего Козимо де Медичи, потратил все свое состояние на покупку книг. Наконец, когда у него кончились все деньги, Медичи предоставили в его распоряжение свой кошелек на любую сумму, которая могла потребоваться для его целей. Ему мы обязаны завершением "Аммиана Марцеллина", "Оратора" Цицерона, текста Лукреция, который до сих пор пользуется наибольшим авторитетом, и других работ; он убедил Козимо купить лучшую рукопись Плиния в монастыре в Любеке. С благородной уверенностью он одалживал свои книги тем, кто о них

просил, позволял всем желающим изучать их в своем собственном доме и был готов беседовать со студентами о том, что они прочитали. Его коллекция из 800 томов, оцененная в 6000 золотых флоринов, после его смерти, благодаря вмешательству Козимо, была передана монастырю Сан-Марко при условии, что она будет доступна для публики, и в настоящее время является одной из жемчужин Лаврентийской библиотеки.

Из двух великих книгоискателей, Гуарино и Поджио, последний, [438] по случаю Констанцского собора и частично действуя как агент Никколи, усердно искал среди аббатств Южной Германии. Там он обнаружил шесть речей Цицерона и первую полную речь Квинтилиана, написанную Сен-Галлом, ныне в Цюрихе; говорят, что за тридцать два дня он полностью переписал ее красивым почерком. Он смог внести важные дополнения в Силия Италика, Манилия, Лукреция, Валерия, Флакка, Аскония, Педиана, Колумеллу, Цельса, Авла, Геллия, Статия и других; и с помощью Лионардо Аретино он раскопал последние двенадцать комедий Плавта, а также верринские речи, "Брута" и "Оратора" Цицерона.

Знаменитый грек, кардинал Виссарион, [439], в котором патриотизм сочетался с увлечением литературой, ценой больших жертв (30 000 золотых флоринов) собрал 600 рукописей языческих и христианских авторов. Затем он огляделся в поисках какого-нибудь вместилища, где они могли бы безопасно храниться до тех пор, пока его несчастная страна, если она когда-нибудь вернет себе свободу, не сможет вернуть свою утраченную литературу. Венецианское правительство заявило о своей готовности возвести подходящее здание, и по сей день в библиотеке Святого Марка хранится часть этих сокровищ. [440]

Формирование знаменитой библиотеки Медичи имеет свою историю, в которую мы не можем здесь углубляться. Главным коллекционером Лоренцо Магнifico был Йоханнес Ласкарис. Хорошо известно, что коллекция после разграбления в 1494 году была возвращена по частям кардиналом Джованни Медичи, впоследствии Львом X.

Библиотека Урбино, [441] находящаяся сейчас в Ватикане, была полностью работой великого Фредерика Монтефельтро (стр. 44 кв.). Еще мальчиком он начал коллекционировать; в последующие годы он нанял тридцать или сорок "скриттори" в разных местах и потратил со временем на коллекцию не менее 30 000 дукатов. Она систематически расширялась и дополнялась, главным образом с помощью Веспасиано, и его рассказ о ней формирует идеальную картину библиотеки эпохи Возрождения. В Урбино были каталоги библиотек Ватикана, святого Марка во Флоренции, Висконти в Павии и даже библиотеки Оксфорда. С гордостью отмечалось, что по богатству и исполноте никто не мог соперничать с Урбино. Богословие и средневековые были представлены, пожалуй, наиболее полно. Там был полный Томас Аквинский, полный Альбертус Магнус, полный Буэнавентура. Коллекция, однако, была многогранной и включала все работы по медицине, которые тогда были доступны. Среди 'современников' первое место занимали великие писатели четырнадцатого века — Данте и Боккаччо с их полным собранием сочинений. Затем последовали двадцать пять избранных гуманистов, неизменно со своими латинскими и итальянскими трудами и со всеми их переводами. Среди греческих рукописей Отцов Церкви намного больше, чем остальных; и все же в списке классиков мы находим все произведения Софокла, все Пиндара и все Менандра. Последнее, должно быть, быстро исчезло из Урбино, [442] иначе филологи вскоре отредактировали бы ее. Однако в наш век книготорговли были люди, которые возвысили голос предостережения против капризов страсти. Это были не враги науки, а ее друзья, которые

боялись, что от стремления, ставшего манией, может быть нанесен вред. Сам Петрарка протестовал против модного безумия бесполезного нагромождения книг; и в том же столетии Джованни Манзини высмеивал Андреоло де Очиса, семидесятилетнего старика из Брешии, который был готов пожертвовать домом и землей, своей женой и самим собой, чтобы пополнить запасы своей библиотеки.

Кроме того, у нас есть много информации о том, каким образом умножались рукописи и библиотеки.^[443] Покупка древней рукописи, которая содержала редкий, или единственный полный, или единственный существующий текст старого автора, была, естественно, счастливой случайностью, которую нам не нужно больше принимать во внимание. Среди профессиональных переписчиков самое высокое место занимали те, кто понимал греческий, и именно они носили почетное название 'скриттори'. Их количество всегда было ограничено, а жалование они получали очень большое.^[444] Остальные, называемые просто "кописти", были частично простыми клерками, которые зарабатывали себе на жизнь таким трудом, частично школьными учителями и нуждающимися образованными людьми, желавшими увеличить свой доход, частично монахами или даже монахинями, которые считали это занятие делом, угодным Богу. На ранних стадиях Возрождения профессиональных переписчиков было мало, и они не заслуживали доверия; Петрарка горько жаловался на их невежество и медлительность. В пятнадцатом веке их было больше, и они привнесли больше знаний в свое призвание, но в точности работы они никогда не достигали добросовестной точности старых монахов. Они, по-видимому, выполняли свою работу угрюмо и небрежно, редко ставя свои подписи внизу кодексов, и не проявляли никаких следов того веселого юмора или того гордого сознания благотворной деятельности, которое часто удивляет нас во французских и немецких рукописях того же периода. Это более любопытно, поскольку переписчиками в Риме во времена Николая V. были в основном немцы или французы^[445]— 'варвары', как называли их итальянские гуманисты, вероятно, люди, которые искали благосклонности при папском дворе и которые тем временем поддерживали себе жизнь этим способом. Когда Козимо Медичи спешил создать библиотеку для своего любимого фонда, Бадиа под Фьезоле, он послал за Веспасиано и получил от него совет отказаться от всяких мыслей о покупке книг, поскольку те, которые стоили того, доставались нелегко, а лучше воспользоваться услугами переписчиков; после чего Козимо договорился платить ему столько-то в день, и Веспасиано с сорока пятью писателями под началом доставил 200 томов за двадцать два месяца.^[446] Каталог работ, подлежащих копированию, был отправлен Козимо Николасом В.^[447] который написал его собственноручно. Церковная литература и книги, необходимые для хоровых служб, естественно, занимали главное место в списке.

Почерк был написан тем прекрасным современным итальянским почерком, который уже был в ходу в предыдущем столетии и который доставляет удовольствие при виде одной из книг того времени. Папа Николай V, Поджио, Джанноццо Манетти, Никколо Никколи и другие выдающиеся ученые сами писали красивым почерком и никого другого не желали и не терпели. Декоративные дополнения, даже когда миниатюры не составляли их части, были выполнены со вкусом, что особенно заметно в лаврентьевских рукописях, с легкими и изящными завитками, которыми начинаются и заканчиваются строки. Материалом, на котором писали, когда работа заказывалась знатными или богатыми людьми, всегда был пергамент; переплет, как в Ватикане, так и в Урбино, представлял собой однородный малиновый бархат с серебряными застежками. Там, где так заботились о том, чтобы отдать должное содержанию книги красотой ее внешней формы, понятно, что внезапное появление печатных книг поначалу было встречено как угодно,

но не благосклонно. Посланцы кардинала Виссариона, когда они впервые увидели печатную книгу в доме Константино Ласкариса, посмеялись над открытием, "сделанным среди варваров в каком-то немецком городе", а Фридрих Урбинский "постыдился бы владеть печатной книгой".[448]

Но усталые переписчики — не те, кто жил своим ремеслом, а многие, кто был вынужден копировать книгу, чтобы иметь ее, — радовались немецкому изобретению,[449] 'несмотря на похвалы и поощрения, которыми поэты награждали каллиграфию'. Вскоре он был применен в Италии для умножения сначала латинских, а затем греческих авторов, и долгое время нигде, кроме Италии, он не распространялся, однако, отнюдь не с той быстротой, которую можно было ожидать при всеобщем энтузиазме по отношению к этим произведениям. Через некоторое время современные отношения между автором и издателем начали развиваться сами собой,[450] и при Александре VI, когда уже было нелегко уничтожить книгу, как Козимо мог заставить Filelfo пообещать сделать,[451] появилась запретительная цензура.

Рост текстологической критики, сопровождавший продвижение изучения языков и античности, так же мало относится к теме этой книги, как и история науки в целом. Мы здесь заняты не изучением итальянцев как таковых, а воспроизведением античности в литературе и жизни. Еще одно слово о самих исследованиях, пожалуй, все же допустимо.

Греческая наука была в основном ограничена Флоренцией, а также пятнадцатым и началом шестнадцатого веков. Она никогда не была столь распространенной, как латинская наука, отчасти из-за гораздо больших трудностей, с которыми она сталкивалась, отчасти, и это еще больше, из-за сознания римского превосходства и инстинктивной ненависти к грекам, которые с лихвой уравнивали привлекательность греческой литературы для итальянцев.[452]

Импульс, исходивший от Петрарки и Боккаччо, каким бы поверхностным ни было их собственное знакомство с греческим языком, был мощным, но не сказался сразу на их современниках;[453] с другой стороны, изучение греческой литературы прекратилось примерно в 1520 году[454] с последним из колонии ученых греческих изгнанников, и это была особая удача, что северяне, такие как Агрикола, Рейхлин, Эразм, Стефани и Будей, тем временем овладели языком. Эта колония началась с Мануэля Хрисолораса и его родственника Джона, а также с Георгия Трапезундского. Затем последовали, примерно во время завоевания Константинополя и после него, Иоанн Аргиропулос, Феодор Газа, Деметрий Халкондилас, который воспитал своих сыновей Феофила и Базилиоса превосходными эллинистами, Андроникос Каллистос, Маркос Мусурос и семья Ласкарисов, не говоря уже о других. Но после завершения покорения Греции турками преемственность ученых поддерживалась только сыновьями беглецов и, возможно, кое-где какими кандийскими или кипрскими беженцами. То, что упадок эллинистических исследований начался примерно во время смерти Льва X., отчасти объяснялось общим изменением интеллектуального отношения,[455] и определенной пресыщенностью классическими влияниями, которые теперь давали о себе знать; но его совпадение со смертью греческих беглецов не было полностью случайностью. Изучение греческого языка среди итальянцев, по-видимому, если мы примем за стандарт 1500 год, проводилось с необычайным рвением. Молодежь того времени училась говорить на этом языке, и полвека спустя, подобно папам Павлу III. и Павлу IV., они все еще могли говорить на нем в старости.[456] Но такого рода мастерство в изучении предполагает общение с коренными греками.

Помимо Флоренции, Рим и Падуа почти всегда содержали платных учителей греческого языка, а Верона, Феррара, Венеция, Перуджа, Павия и другие города - случайных учителей.[457] Эллинистические исследования в неоплатном долгу перед издательством Альдо Мануччи в Венеции, где самые важные и объемистые авторы были впервые напечатаны в оригинале. Альдо вложил в это предприятие все свои силы; он был редактором и издателем, подобных которым мир редко видел.[458]

Наряду с этим возрождением классицизма востоковедение приобрело теперь значительные масштабы.[459] Сам Данте придавал большое значение ивриту, хотя мы не можем предположить, что он его понимал. Начиная с пятнадцатого века, ученые больше не довольствовались тем, что просто говорили о нем с уважением, но приступили к его тщательному изучению. Однако этому научному интересу к языку с самого начала либо способствовали, либо препятствовали религиозные соображения. Поджио, отдыхая от трудов Констанцского собора, выучил иврит в этом месте и в Бадене у крещеного еврея, которого он описывает как "глупого, сварливого и невежественного, как большинство обращенных евреев"; но ему пришлось защищать свое поведение от Лионардо Бруни, который пытался доказать ему, что иврит бесполезен или даже вреден. Противоречивые труды великого флорентийского государственного деятеля и ученого Джанноццо Манетти[460] (ум. в 1459 г.) против евреев представляют собой ранний пример полного владения их языком и наукой. Его сын Аньоло с детства был обучен латыни, греческому и ивриту. Отец, по просьбе Николая V., перевел Псалмы, но вынужден был отстаивать принципы своего перевода в работе, адресованной Альфонсо. По заказу того же папы, который предложил награду в 5000 дукатов за обнаружение оригинального еврейского текста евангелиста Матфея, он составил коллекцию еврейских рукописей, которая до сих пор хранится в Ватикане, и начал большую апологетическую работу против евреев.[461] Таким образом, изучение иврита было поставлено на службу Церкви. Камальдозский монах Амброджо Траверсари выучил язык,[462] и папа Сикст IV, который возвел здание для библиотеки Ватикана и пополнил коллекцию собственными обширными приобретениями, взял к себе на службу "scrittori" (*библиотекари*) для иврита, а также для греческого и латыни.[463] Изучение языка теперь стало более общим; рукописи на иврите были собраны, и в некоторых библиотеках, таких как библиотека Урбино, они составляли особенно ценную часть хранящихся там богатых сокровищ; печатание книг на иврите началось в Италии в 1475 году и облегчило изучение как самим итальянцам, так и другим народам Европы, которые в течение многих лет получали их из Италии. Вскоре не осталось ни одного крупного города, в котором не было бы людей, владеющих языком, и многие стремились бы его изучать, и в 1488 году в Болонье была основана кафедра иврита, а в 1514 году - еще одна в Риме. Это исследование стало настолько популярным, что ему даже отдавали предпочтение перед греческим.[464][465]

Среди всех тех, кто занимался ивритом в пятнадцатом веке, никто не был более важен, чем Пико делла Мирандола. Он не был удовлетворен знанием еврейской грамматики и Священных Писаний, но проникся еврейской каббалой и даже познакомился с литературой Талмуда. Тем, что такие занятия, хотя они, возможно, и не зашли очень далеко, были для него вообще возможны, он был обязан своим еврейским учителям. Большая часть обучения на иврите фактически проводилась евреями, некоторые из которых, хотя, как правило, только после обращения в христианство, стали выдающимися университетскими профессорами и весьма уважаемыми писателями.[466]

Среди восточных языков изучался арабский, а также иврит. Медицинская наука, более не удовлетворявшаяся старыми латинскими переводами великих арабских врачей, постоянно прибегала к оригиналам, легкий доступ к которым предоставляли венецианские консульства на Востоке, где регулярно содержались итальянские врачи. Но арабская наука эпохи Возрождения является лишь слабым отголоском влияния, которое арабская цивилизация в средние века оказывала на Италию и весь культурный мир, — влияния, которое не только предшествовало влиянию эпохи Возрождения, но и в некоторых отношениях было враждебно ей и которое не уступило без борьбы место, которое оно долго и энергично отстаивало. Иеронимо Рамузио, венецианский врач, перевел большую часть Авиценны с арабского и умер в Дамаске в 1486 году. Андреа Монгаджо из Беллуно, [467] ученик того же Авиценны, долго жил в Дамаске, выучил арабский и совершенствовался у своего учителя. Впоследствии венецианское правительство назначило его профессором этого предмета в Падуе. Примеру, поданному Венецией, последовали другие правительства. Принцы и богатые люди соперничали друг с другом в коллекционировании арабских рукописей. Первый арабский печатный станок был запущен в Фано при Юлии II. и освящен в 1514 году при Льве X. [468]

Здесь мы должны ненадолго задержаться на Пико делла Мирандола, прежде чем перейти к общим последствиям гуманизма. Он был единственным человеком, который громко и энергично защищал истину и науку всех веков от одностороннего поклонения классической древности. [469] Он знал, как ценить не только Аверроэса и еврейских исследователей, но и авторов-схоластов средневековья, в соответствии с содержанием их трудов. Ему кажется, что он слышит, как они говорят: "Мы будем жить вечно, но не в школах ловцов слов, а в кругу мудрецов, где говорят не о матери Андромахе или о сыновьях Ниобы, а о более глубоких причинах всего человеческого и божественного; тот, кто присмотрится повнимательнее, увидит, что даже у варваров был разум (*mercurium*), не на языке, а в груди". Сам писавший на энергичной и не лишенной изящества латыни и мастер ясного изложения, он презирал пуризм педантов и нынешнюю переоценку заимствованных форм, особенно в сочетании, как это часто бывает, с односторонностью и безразличием к более широкой истине самих вещей. Глядя на Пико, мы можем предположить, какого высокого полета достигла бы итальянская философия, если бы контрреформация не уничтожила высшую духовную жизнь народа.

ГЛАВА IV.

ГУМАНИЗМ В ЧЕТЫРНАДЦАТОМ ВЕКЕ.

КТО же были те, кто выступал посредниками между своей эпохой и почитаемой древностью и сделал последнюю главным элементом культуры первой?

Это была толпа самого разного толка, носившая сегодня одно лицо, а завтра другое; но они ясно чувствовали себя, и это было полностью признано их временем, что они составляли совершенно новый элемент в обществе. "Вагантские священнослужители" двенадцатого века, на поэзию которых мы уже ссылались (стр. 174), возможно, могут быть приняты за их предшественников — то же неустойчивое существование, те же свободные и более чем свободные взгляды на жизнь и, во всяком случае, зачатки тех же языческих тенденций в их поэзии. Но теперь, конкурируя со всей культурой Средневековья, которая была по существу

клерикальной и поддерживалась Церковью, появилась новая цивилизация, основывающаяся на том, что находилось по другую сторону Средневековья. Его активные представители стали влиятельными[470] потому что они знали то, что знали древние, потому что они пытались писать так, как писали древние, потому что они начали думать, а вскоре и чувствовать, как думали и чувствовали древние. Традиция, которой они посвятили себя, перешла в тысячу раз к подлинному воспроизведению.

Некоторые современные авторы выражают сожаление по поводу того факта, что ростки гораздо более независимой и по сути национальной культуры, такой, какая появилась во Флоренции около 1300 года, впоследствии были полностью подавлены гуманистами.[471] Говорят, что тогда во Флоренции не было никого, кто не умел бы читать; даже погонщики ослов пели стихи Данте; лучшие итальянские рукописи, которыми мы располагаем, первоначально принадлежали флорентийским ремесленникам; тогда была возможна публикация популярной энциклопедии, такой как "Tesoro" брюнетки Латини; и все это было основано о силе и здравомыслии характера, обусловленных всеобщим участием в общественных делах, в торговле и путешествиях, а также систематическим осуждением праздности. Утверждается, что флорентийцы в то время пользовались уважением и влиянием во всем мире, и в том году папа Бонифаций VIII не без основания называл их 'пятым элементом'. Быстрый прогресс гуманизма после 1400 года парализовал естественные импульсы. С тех пор люди обращались к древности только за решением каждой проблемы и, следовательно, позволили литературе ограничиться простыми цитатами. Более того, всему этому отчасти следует приписать само падение гражданской свободы, поскольку новое учение основывалось на повиновении властям, принесло муниципальные права в жертву римскому праву и, таким образом, искало и находило благосклонность деспотов.

Эти обвинения будут время от времени занимать нас на более поздней стадии нашего исследования, когда мы попытаемся привести их к их истинной ценности и сопоставить потери с выгодами этого движения. Пока мы должны ограничиться тем, что покажем, как цивилизация даже энергичного четырнадцатого века неизбежно подготовила путь к полной победе гуманизма и как именно величайшие представители национального итальянского духа сами были теми людьми, которые широко открыли ворота для безмерной преданности античности в пятнадцатом веке.

Начнем с Данте. Если бы итальянская культура возглавлялась чередой людей одинакового гения, какие бы элементы их натуры ни впитали в себя от античности, они все равно не могли бы не сохранить характерный и ярко выраженный национальный отпечаток. Но ни Италия, ни Западная Европа не произвели на свет другого Данте, и он был и остался человеком, который первым выдвинул античность на передний план национальной культуры. В 'Божественной комедии' он рассматривает античный и христианский миры не как имеющие равный авторитет, а как параллельные друг другу. Точно так же, как в более ранний период Средневековья типы и прообразы искали в истории Ветхого и Нового Заветов, так и Данте постоянно сводит воедино христианскую и языческую иллюстрации одного и того же факта.[472] Следует помнить, что христианский цикл истории и легенд был знаком, в то время как древний был относительно неизвестен, был полон обещаний и интереса и обязательно одержал верх в борьбе за симпатии общественности, когда больше не было Данте, который удерживал баланс между ними.

Петрарка, который в наши дни живет в памяти большинства людей главным образом как великий итальянский поэт, был обязан своей известностью среди современников скорее тому факту, что он был своего рода живым представителем античности, что он подражал всем стилям латинской поэзии, стремился своими объемистыми историческими и философскими трудами не вытеснить, а сделать известными труды древних, и писал письма, которые как трактаты по вопросам, представляющим интерес для антикваров, приобрели репутацию, которая для нас непонятна, но которая была достаточно естественной в эпоху без справочников. Сам Петрарка верил и надеялся, что его латинские сочинения принесут ему славу среди современников и потомков, и был настолько невысокого мнения о своих итальянских стихах, что, как он часто говорит нам, с радостью уничтожил бы их, если бы таким образом ему удалось стереть их из памяти людей.

То же самое было и с Боккаччо. В течение двух столетий, когда о "Декамероне" было мало что известно[473] к северу от Альп он был известен по всей Европе просто благодаря своим латинским сборникам мифологии, географии и биографии.[474] Одно из них, "De Genealogia Deorum", содержит в четырнадцатой и пятнадцатой книгах замечательное приложение, в котором он прокликает позицию тогдашнего юношеского гуманизма по отношению к эпохе. Нас не должны вводить в заблуждение его исключительные ссылки на "поэзию", поскольку более пристальное наблюдение показывает, что под этим он подразумевает всю умственную деятельность поэтов-знатоков.[475] Вот с чьими врагами он так яростно борется — с легкомысленными невеждами, у которых душа не лежит ни к чему, кроме разврата; теолог-софист, для которого Геликон, Касталийский фонтан и роща Аполлона были глупостью; жадные юристы, для которых поэзия была излишеством, поскольку на ней нельзя было заработать денег; наконец, нищенствующие монахи, описанные перифрастически, но достаточно ясно, которые освободились от обвинений в язычестве и безнравственности.[476] Затем следует защита поэзии, доказательство того, что поэзия древних и их современных последователей не содержит ничего лживого, восхваление ее, и особенно более глубоких и аллегорических значений, которые мы всегда должны ей приписывать, и той расчетливой неясности, которая призвана оттолкнуть тупые умы невежд.

И, наконец, с четкой ссылкой на его собственную научную работу,[477] писатель оправдывает новое отношение его эпохи к язычеству. Он утверждает, что ситуация была совершенно иной, когда Ранней Церкви приходилось пробивать себе дорогу среди язычников. Теперь — хвала Иисусу Христу! — истинная религия укрепилась, язычество уничтожено, и победоносная Церковь овладела враждебным лагерем. Теперь можно было почти без опасности прикасаться к язычеству и изучать его (*fere*). Боккаччо, однако, не придерживался этой либеральной точки зрения последовательно. Причина его отступничества крылась отчасти в подвижности его характера, отчасти во все еще сильном и широко распространенном предубеждении, что классические занятия не подобают теологу. К этим причинам следует добавить предупреждение, данное ему монахом Джоаккино Чиани от имени покойного Пьетро Петрони, оставить свои языческие занятия под страхом ранней смерти. Соответственно, он решил отказаться от них, и только искренние увещания Петрарки и умелая демонстрация последнего того, что гуманизм совместим с религией, заставили его отказаться от этого трусливого решения.[478]

Таким образом, в мире появилось новое дело и новый класс людей для его поддержания. Бесплезно спрашивать, не следовало ли этому делу резко остановиться на своем победном

пути, сознательно ограничить себя и уступить первое место чисто национальным элементам культуры. Никакое убеждение не было более прочно укоренившимся в народном сознании, чем то, что античность была высшим правом на славу, которым обладала Италия.

Существовала символическая церемония, знакомая этому поколению поэтов-знатоков, которая продолжалась в пятнадцатом и шестнадцатом веках, хотя и утратила то высокое чувство, которое ее вдохновляло, — коронация поэтов лавровым венком. Происхождение этой системы в средние века неясно, и ритуал церемонии так и не стал фиксированным. Это была публичная демонстрация, внешнее и зримое выражение литературного энтузиазма,^[479] и, естественно, ее форма варьировалась. Данте, например, похоже, понимал это как полурелигиозное посвящение; он хотел принять венок в баптистерии Сан-Джованни, где, как и тысячи других флорентийских детей, он получил крещение.^[480] Он мог, говорит его биограф, где угодно получить корону в силу своей славы, но не желал этого нигде, кроме как в своем родном городе, и поэтому умер некоронованным. Из того же источника мы узнаем, что это употребление было до тех пор необычным и считалось унаследованным древними римлянами от греков. Самый свежий источник, к которому можно было бы сослаться на эту практику, — это капитолийские конкурсы музыкантов, поэтов и других художников, основанные Домицианом в подражание грекам и отмечаемые каждые пять лет, которые, возможно, на какое-то время пережили падение Римской империи; но поскольку мало кто другой отважился бы короновать себя, как того желал Данте, возникает вопрос, кому принадлежала эта должность? Альбертино Муссато (стр. 140) был коронован в Падуе в 1310 году епископом и ректором университета. Парижский университет, ректором которого в то время был флорентиец (1341), и муниципальные власти Рима соревновались за честь короновать Петрарку. Его самовыдвиженец, экзаменатор, король Роберт Анжуйский, с удовольствием провел бы церемонию в Неаполе, но Петрарка предпочел, чтобы его короновал на Капитолии сенатор Рима. Эта честь долгое время была высшей целью честолюбия, и так казалось Якобусу Пизинге, знаменитому сицилийскому магистрату.^[481] Затем началось итальянское путешествие Карла IV, которого забавляло тешить тщеславие честолюбивых людей и производить впечатление на невежественную толпу посредством великолепных церемоний. Отталкиваясь от выдумки о том, что коронация поэтов была прерогативой старых римских императоров и, следовательно, не менее принадлежала ему, он короновал (15 мая 1355 г.) флорентийского ученого Заноби делла Страда в Пизе, к неудовольствию Петрарки, который жаловался, что "лавр варвара посмел украсить человека, любимого музами Авзонии", и к великому отвращению Боккаччо, который отказался признать эту "пизанскую лавру" законной.^[482] Действительно, можно было бы справедливо спросить, по какому праву этот незнакомец, наполовину славянин по происхождению, пришел судить о достоинствах итальянских поэтов. Но с тех пор императоры короновали поэтов везде, куда бы они ни отправлялись в свои путешествия; а в пятнадцатом веке папы и другие монархи присвоили себе то же право, пока, наконец, не перестали обращать внимание на место или обстоятельства. В Риме, при Сиксте IV, академия^[483] Помпония Лета вручила венок от своего имени. У флорентийцев хватило хорошего вкуса не короновать своих знаменитых гуманистов до самой смерти. Карло Аретино и Лионардо Аретино были коронованы таким образом; надгробную речь первому произнес Маттео Пальмиери, второму — Джанноццо Манетти перед членами совета и всем народом, оратор стоял в изголовье носилок, на которых лежал труп, одетый в шелковое одеяние.^[484] Карло Аретино был удостоен еще одной гробницы в Санта-Кроче, которая является одной из самых красивых за всю эпоху Возрождения.

ГЛАВА V.

УНИВЕРСИТЕТЫ И ШКОЛЫ.

Влияние античности на культуру, о котором мы сейчас говорим, предполагает, что новое образование овладело университетами. Это было так, но ни в коем случае не в той степени и не с теми результатами, которых можно было ожидать.

Немногие итальянские университеты^[485] проявляют себя в полную силу вплоть до тринадцатого и четырнадцатого веков, когда рост благосостояния сделал возможной более систематическую заботу об образовании. Сначала обычно существовало три вида профессорских должностей — одна для гражданского права, другая для канонического права, третья для медицины; со временем были добавлены профессорские должности риторики, философии и астрономии, последняя обычно, хотя и не всегда, отождествлялась с астрологией. Заработная плата сильно различалась в разных случаях. Иногда выплачивалась основная сумма. С распространением культуры конкуренция стала настолько активной, что различные университеты пытались переманить друг у друга выдающихся преподавателей, и при таких обстоятельствах Болонья, как говорят, иногда выделяла университету половину своего государственного дохода (20 000 дукатов). Встречи, как правило, назначались только на определенное время,^[486] иногда всего на полгода, так что учителя были вынуждены вести бродячую жизнь, подобно актерам. Назначения на всю жизнь, однако, не были чем-то необычным. Иногда требовалось обещание не преподавать где-либо то, чему уже преподавали в одном месте. Были также добровольные, неоплачиваемые профессора.

Из упомянутых кафедр гуманист особенно стремился к кафедре риторики; и все же только от его знакомства с древними науками зависело, может ли он стремиться к кафедрам права, медицины, философии или астрономии или нет. Внутренние условия тогдашней науки были столь же изменчивы, как и внешние условия работы учителя. Некоторые юристы и врачи получали, безусловно, самую большую зарплату из всех, причем первые в основном в качестве юристов-консультантов по искам государства, которое их наняло. В Падуе юрист пятнадцатого века получал зарплату в 1000 дукатов,^[487] и было предложено назначить знаменитого врача с ежегодной оплатой в 2000 дукатов и правом частной практики,^[488] тот же самый человек ранее получил 700 золотых флоринов в Пизе. Когда юрист Бартоломмео Сочини, профессор из Пизы, принял венецианское назначение в Падуе и собирался отправиться в путь, он был арестован флорентийским правительством и освобожден только после внесения залога в размере 18 000 золотых флоринов.^[489] Высокая оценка, которой пользовались эти отрасли науки, делает понятным, почему выдающиеся филологи обратили свое внимание на юриспруденцию и медицину, в то время как, с другой стороны, специалисты все больше и больше были вынуждены приобретать что-то от широкой литературной культуры. Вскоре у нас будет возможность поговорить о работе гуманистов в других областях практической жизни.

Тем не менее, положение филологов как таковое, даже там, где зарплата была большой,^[490] и не исключала других источников дохода, было в целом неопределенным и временным, так что один и тот же преподаватель мог быть связан с большим разнообразием учебных заведений. Очевидно, что перемены были желанны сами по себе, и от каждого новичка ожидалось чего-то нового, что было естественно в то время, когда наука находилась в процессе становления, и, следовательно, в немалой степени зависело от личного влияния учителя. Не всегда было так,

что лектор по классическим авторам действительно принадлежал к университету того города, где он преподавал. Общение было настолько легким, а количество подходящих помещений в монастырях и других местах было настолько велико, что часто можно было заняться частным бизнесом. В первые десятилетия пятнадцатого века,[491] когда Флорентийский университет был в расцвете сил, когда придворные Евгения IV и, возможно, даже Мартина V. толпились в аудиториях, когда Карло Аретино и Филельфо боролись за самую большую аудиторию, существовал не только почти полноценный университет среди августинцев Санто-Спирито, не только ассоциация ученых среди камальдозеи Анджели, но и известные личности, поодиночке или сообща, организовали философское и филологическое преподавание для себя и других. Лингвистические и антикварные исследования в Риме не имели почти никакой связи с университетом (Сапиенца) и зависели почти исключительно либо от благосклонности отдельных пап и прелатов, либо от назначений, сделанных в папской канцелярии. Только при Льве X (1513) произошла великая реорганизация Sapienza, когда ее восемьдесят восемь преподавателей, среди которых были способные люди, хотя и не первого ранга, возглавили археологический факультет. Но этот новый блеск длился недолго. Мы уже вкратце говорили о профессорстве греческого и иврита в Италии (стр. 195 кв.).

Чтобы составить точное представление о применяемом тогда методе научного обучения, мы должны как можно дальше отвести глаза от нашей нынешней академической системы. Личное общение между преподавателями и обучаемыми, публичные диспуты, постоянное использование латыни, а часто и греческого, частая смена лекторов и нехватка книг придавали исследованиям того времени окраску, которую мы не можем представить себе без усилий.

Латинские школы были в каждом малозначительном городе, и ни в коем случае не только для подготовки к высшему образованию, но и потому, что после чтения, письма и арифметики знание латыни было необходимостью; а после латыни шла логика. Следует особо отметить, что эти школы зависели не от Церкви, а от муниципалитета; некоторые из них тоже были просто частными предприятиями.

Эта школьная система, руководимая несколькими выдающимися гуманистами, не только достигла замечательного совершенства организации, но и стала инструментом высшего образования в современном смысле этого слова. С образованием детей двух княжеских домов в Северной Италии были связаны учебные заведения, которые можно назвать уникальными в своем роде.

При дворе Джован Франческо Гонзага в Мантуе (с 1407 по 1444 гг.) появился знаменитый Витторино да Фельтре[492] (р. 1397, ум. 1446), иначе Витторе да Рамбальдони — он предпочитал, чтобы его называли мантуанцем, а не Фельтресе — один из тех людей, которые посвящают себя вся их жизнь посвящена цели, для которой их природные дары составляют особое призвание. Он почти ничего не написал и в конце концов уничтожил те несколько стихотворений своей юности, которые долгое время хранил при себе. Он учился с неослабевающим усердием; он никогда не стремился к титулам, которые, как и все внешние отличия, презирал; и он жил в условиях самой тесной дружбы с учителями, товарищами и учениками, чью доброжелательность он знал, как сохранить. Он преуспевал в физических упражнениях не меньше, чем в умственных, был превосходным наездником, танцором и фехтовальщиком, зимой носил ту же одежду, что и летом, ходил в одних сандалиях даже в самый сильный мороз и жил так, что до самой старости никогда не болел. Он настолько обуздал

свои страсти, свою естественную склонность к чувственности и гневу, что всю свою жизнь оставался целомудренным и почти никогда никого не обижал грубым словом.

Он руководил воспитанием сыновей и дочерей княжеского дома, и одна из последних стала под его опекой образованной женщиной. Когда его репутация распространилась по всей Италии, и члены знатных и богатых семей приезжали издалека, даже из Германии, в поисках его наставлений, Гонзага не только желал, чтобы они были приняты, но, похоже, считал честью для Мантуи быть избранной школой аристократического мира. Здесь впервые гимнастика и все благородные телесные упражнения рассматривались наряду с научным обучением как необходимые для получения гуманитарного образования. Кроме этих учеников, пришли другие, чье обучение Витторино, вероятно, считал своей высшей земной целью, одаренные бедняки, которых часто достигало семидесяти человек вместе взятых, которых он содержал в своем доме и обучал "по любви Божьей", а также высокородные юноши, которые здесь научились жить под одной крышей с безымянным гением. Чем больше толпа учеников стекалась в Мантую, тем больше требовалось учителей, чтобы передать наставления, которыми Витторино только руководил, — наставления, направленные на то, чтобы дать каждому ученику тот вид знаний, к получению которого он был наиболее приспособлен. Гонзага выплачивал ему ежегодное жалованье в размере 240 золотых флоринов, построил для него великолепный дом "Ла Джоккоза", в котором учитель жил со своими учениками, и оплачивал расходы более бедных учеников. То, что было еще необходимо, Витторино выпрашивал у принцев и богатых людей, которые, правда, не всегда прислушивались к его мольбам и своим жестокосердием вынуждали его залезать в долги. И все же в конце концов он оказался в комфортных условиях, владел небольшой собственностью в городе и поместьем за городом, где проводил каникулы со своими учениками, и обладал знаменитой коллекцией книг, которые он с радостью давал взаймы, хотя и немало сердился, когда их забирали без разрешения. Рано утром он читал религиозные книги, затем бичевал себя и шел в церковь; его учеников тоже заставляли ходить в церковь, как и его, исповедоваться раз в месяц и строгойше соблюдать постные дни. Ученики уважали его, но трепетали перед его взглядом. Когда они делали что-то не так, их наказывали сразу после проступка. Все современники почитали его не меньше, чем его ученики, и люди отправлялись в Мантую только для того, чтобы увидеть его.

Больше внимания уделял чистой учености Гуарино Веронский^[493] (1370-1460), который в 1429 году был вызван Никколо д'Эсте в Феррару для обучения своего сына Лионелло, и который, когда в 1436 году его ученик почти вырос, начал преподавать в университете в качестве профессора красноречия и древних языков. Еще будучи наставником Лионелло, у него было много других учеников из разных уголков страны, а в его собственном доме - избранный класс бедных учеников, которых он частично или полностью поддерживал. Вечерние часы до глубокой ночи он посвящал слушанию уроков или поучительной беседе. Его дом тоже был домом строгой религии и морали. Гуарино изучал Библию и поддерживал дружеские отношения с благочестивыми современниками, хотя без колебаний выступал против них в защиту языческой литературы. Ни для него, ни для Витторино не имело большого значения, что большинство гуманистов своего времени заслуживали незначительной похвалы в вопросах морали или религии. Непостижимо, как Гуарино при всей свалившейся на него повседневной работе все еще находил время для написания переводов с греческого и объемистых оригинальных произведений.^[494] Ему не хватало той мудрой сдержанности и доброй мягкости, которые украшали характер Витторино, и он легко поддавался вспыльчивости, которая приводила к частым ссорам с его учеными современниками.

Не только при этих двух дворах, но и в целом по всей Италии образование княжеских семей частично и в течение определенных лет находилось в руках гуманистов, которые тем самым поднялись на ступеньку выше в аристократическом мире. Написание трактатов о воспитании принцев, ранее бывшее делом теологов, теперь входило в их компетенцию.

Со времен Пьера Паоло Верджерио об итальянских принцах хорошо заботились в этом отношении, и этот обычай был перенесен в Германию Энеасом Сильвиусом, который обратился с подробными наставлениями к двум молодым немецким принцам из Дома Габсбургов[495] по вопросу их дальнейшего образования, в котором их обоих, как и следовало ожидать, призывают культивировать и лелеять гуманизм, но в основном им приказано стать способными правителями и энергичными, выносливыми воинами. Возможно, Эней признавал, что, обращаясь к этим юношам, он говорит вслух, и поэтому принял меры по распространению своего трактата в общественном пространстве. Но об отношениях гуманистов к правителям будет сказано отдельно.

ГЛАВА VI.

СТОРОННИКИ ГУМАНИЗМА.

Сначала мы должны поговорить о тех гражданах, в основном флорентийцах, которые сделали интерес к антиквариату одним из главных предметов своей жизни и которые сами были либо выдающимися учеными, либо выдающимися *дилетантами*, которые содержали ученых. (Сост., стр. 193 кв. м.) Они имели особое значение в переходный период начала XV века, поскольку именно в них гуманизм впервые проявил себя практически как незаменимый элемент повседневной жизни. Только по прошествии этого времени папы и князья начали всерьез заниматься этим.

О Никколо Никколи и Джанноццо Манетти уже не раз говорилось. Никколи описан нам Веспасиано[496] как человек, который не потерпит ничего, что противоречило бы его собственному классическому духу. Его красивая фигура в длинном одеянии, его добрая речь, его дом, украшенный самыми благородными остатками старины, производили особое впечатление. Он был скрупулезно чистоплотен во всем, особенно за столом, где перед ним на белейшей скатерти стояли старинные вазы и хрустальные кубки.[497] Способ, которым он привлек к интеллектуальным интересам любящего удовольствия молодого флорентийца, слишком очарователен, чтобы не быть описанным здесь.[498] Пьеро де Пацци, сын выдающегося торговца, которому самому предназначено то же призвание, приятный на вид и много отдающий мирским удовольствиям, думал о чем угодно, только не о литературе. Однажды, проходя мимо Палаццо дель Подеста,[499] Никколо подозвал молодого человека к себе, и хотя они никогда прежде не обменивались ни словом, юноша подчинился зову столь уважаемого человека. Никколо спросил его, кто его отец. Он ответил: 'Мессер Андреа де Пацци'. Когда его далее спросили, чем он занимается, Пьеро ответил, как это обычно делают молодые люди: 'Я получаю удовольствие' ("attendo a darmi buon tempo"). Никколо сказал ему: 'Как сын такого отца и такой красивый на вид, мне стыдно, что ты ничего не знаешь о латинском языке, который был бы таким большим украшением для тебя. Если ты не научишься этому, ты ни на что не будешь годен, и как только расцветет юность, станешь человеком без значения' (*virtù*). Когда Пьеро услышал это, он сразу понял, что это правда, и сказал, что с радостью приложит все усилия, чтобы учиться, если бы только у него был учитель. На что Никколо ответил, что

позаботится об этом. И он нашел ему знатока латыни и греческого по имени Понтано, к которому Пьеро относился как к члену своего дома и которому платил 100 золотых флоринов в год. Отказавшись от всех удовольствий, в которых он до сих пор жил, он учился день и ночь и стал другом всех ученых людей и благородно мыслящим государственным деятелем. Он выучил наизусть всю "Энеиду" и многие речи Ливия, главным образом по дороге из Флоренции в свой загородный дом в Треббио.^[500] Античность была представлена в другом, более высоком смысле Джанноццо Манетти (1393-1459).^[501] Развитый не по годам, он был едва ли больше ребенка, когда закончил обучение коммерции и стал бухгалтером в банке. Но вскоре жизнь, которую он вел, показалась ему пустой и брэнной, и он начал тосковать по науке, с помощью которой только человек может обрести бессмертие. Затем он занялся книгами так, как до него это делали немногие миряне, и стал, как уже было сказано (стр. 209), одним из самых глубоких ученых своего времени. Когда правительство назначило его представительным судьей и сборщиком налогов в Пеше и Пистохе, он выполнял свои обязанности в соответствии с высоким идеалом, которым его вдохновляли религиозные чувства и гуманистические исследования в сочетании. Ему удалось собрать самые непопулярные налоги, которые ввело флорентийское государство, и он отказался от оплаты своих услуг. Как губернатор провинции, он отказывался от всех подарков, питал отвращение ко всем взяткам, пресекал азартные игры, обеспечивал страну достаточным запасом зерна, требовал от своих подчиненных строгого послушания и абсолютной бескорыстности, был неумолим в мирном разрешении судебных тяжб и творил чудеса в усмирении разгоревшихся страстей своей добротой. Пистохезе любили и почитали его как святого и так и не смогли выяснить, к какой из двух политических партий он принадлежал; когда срок его полномочий истек, обе отправили послов во Флоренцию с просьбой продлить его.словно символизируя общие права и интересы всех, он проводил часы досуга за написанием истории города, которая хранилась в пурпурном переплете как священная реликвия в ратуше.^[502] Когда он прощался, город подарил ему знамя с гербом муниципалитета и великолепный серебряный шлем. Во время дипломатических миссий в Венецию, Рим и к королю Альфонсо Манетти представлял, как и в Пистойе, интересы своего родного города, бдительно следя за его честью, но отказываясь от предлагаемых ему почестей, снискал большую славу своими речами и переговорами, а благодаря своему благоразумию и дальновидности приобрел имя пророка.

Для получения дополнительной информации об образованных жителях Флоренции того периода читателю тем более следует обратиться к Веспасиано, который знал их всех лично, потому что тон и атмосфера, в которых он пишет, а также условия, на которых он вращался в их обществе, имеют даже большее значение, чем факты, которые он описывает. Даже в переводе, а еще больше в кратких указаниях, которыми мы здесь вынуждены ограничиться, это главное достоинство его книги утрачено. Не будучи великим писателем, он был досконально знаком с предметом, на который писал, и обладал глубоким чувством его интеллектуальной значимости.

Если мы попытаемся проанализировать очарование, которое Медичи пятнадцатого века, особенно Козимо Старший (ум. 1464) и Лоренцо Великолепный (ум. 1492), оказывали на Флоренцию и на всех своих современников, мы обнаружим, что оно заключалось не столько в их политических способностях, сколько в их лидерстве в культуре того времени. Человек в положении Козимо — крупный торговец и партийный лидер, на стороне которого также были все мыслители, писатели и исследователи, человек, который был первым из флорентийцев по рождению и первым из итальянцев по культуре, — такой человек во всех отношениях уже был принцем. Козимо принадлежит особая слава признания в философии Платона прекраснейшего

цветка античного мира мысли,[503] того, что он вдохновил своих друзей той же верой и, таким образом, способствовал в самих гуманистических кругах другому, более высокому возрождению античности. Эта история известна нам до мельчайших подробностей.[504] Все зависит от призвания ученого Йоханнеса Аргиропулоса и от личного энтузиазма самого Козимо в последние годы его жизни, который был таков, что великий Марсилио Фичино мог называть себя, насколько это касалось платонизма, духовным сыном Козимо. При Пьетро Медичи Фичино уже возглавлял школу; к нему сын Пьетро и внук Козимо, прославленный Лоренцо, перешел от перипатетиков. Среди его самых выдающихся коллег-ученых были Бартоломмео Валори, Донато Аччаджуоли и Пьерфилиппо Пандольфини. Восторженный учитель заявляет в нескольких отрывках своих сочинений, что Лоренцо постиг все глубины платоновской философии и выразил свое убеждение в том, что без Платона было бы трудно быть хорошим христианином или добропорядочным гражданином. Знаменитая группа ученых, окружавшая Лоренцо, была объединена воедино и отличалась от всех других кругов подобного рода этой страстью к высшей и идеалистической философии. Только в таком мире такой человек, как Пико делла Мирандола, мог чувствовать себя счастливым. Но, возможно, лучшее из всего, что можно сказать по этому поводу, это то, что при всем этом поклонении античности итальянская поэзия нашла здесь священное убежище, и что из всех лучей света, исходивших от круга, центром которого был Лоренцо, ни один не был более мощным, чем этот. Как государственного деятеля, пусть каждый судит о нем, как ему заблагорассудится; иностранец постесняется сказать, что было вызвано виной человека, а что обстоятельствами в судьбе Флоренции, но никогда не было выдвинуто более несправедливого обвинения, чем то, что в области культуры Лоренцо был защитником посредственности, что по его вине Лионардо да Винчи и математик фра Лука Паччоло жили за границей, и что Тосканелла, Веспуччи и другие, по крайней мере, остались без поддержки. На самом деле он не был человеком универсального ума; но из всех великих людей, которые стремились поддерживать духовные интересы, немногие, безусловно, были столь многогранны, и ни у кого, вероятно, не было столь глубокой внутренней потребности делать это.

Век, в который мы живем, достаточно громко заявляет о ценности культуры, и особенно культуры античности. Но восторженную преданность ему, признание того, что потребность в нем является первой и величайшей из всех потребностей, можно найти только у флорентийцев пятнадцатого и начала шестнадцатого веков. На этот счет у нас есть прямое доказательство, которое исключает всякие сомнения. Не было бы так принято посвящать дочерей в одни и те же занятия, если бы они не считались самым благородным из земных занятий; изгнание не превратилось бы в счастливое убежище, как это сделала Палла Строцци; и люди, предававшиеся всем мыслимым излишествам, не сохранили бы сил и духа для написания критических трактатов по "Естественной истории" Плиния, подобных Филиппо Строцци.[505] Наше дело здесь не хвалить или порицать, а понимать дух эпохи во всей ее яркой индивидуальности.

Помимо Флоренции, в Италии было много городов, где отдельные люди и общественные круги посвящали всю свою энергию поддержке гуманизма и защите ученых, которые жили среди них. Переписка того периода полна упоминаний о личных отношениях такого рода.[506] Ощущение от занятий с инструктором сильно и почти исключительно направлено в этом направлении.

Но сейчас пришло время поговорить о гуманизме при итальянских дворах. Естественный союз между деспотом и ученым, каждый из которых полагался исключительно на свой личный

талант, уже затрагивался (стр. 9); то, что последние открыто предпочитали княжеские дворы вольным городам, следовало ожидать только из более высокого жалованья, которое они там получали. В то время, когда великий Альфонсо Арагонский, казалось, мог стать хозяином всей Италии, Эней Сильвий написал другому гражданину Сиены:[507] "Я бы предпочел, чтобы Италия достигла мира под его правлением, чем под властью вольных городов, ибо королевская щедрость вознаграждает совершенство любого рода.[508] В последнее время слишком много внимания уделялось недостойной стороне этого отношения и корыстной лести, к которой оно приводило, точно так же, как раньше восхваления гуманистов приводили к слишком благоприятному суждению об их покровителях. Принимая все это во внимание, к чести последних в значительной степени делает то, что они чувствовали себя обязанными поставить себя во главе культуры своего времени и страны, какой бы односторонней эта культура ни была. У некоторых пап,[509] бесстрашие перед последствиями, к которым может привести новое обучение, поражает нас как нечто действительно, но подсознательно внушительное. Николай Васильевич был уверен в будущем Церкви, поскольку тысячи ученых мужей поддерживали ее. Pius II. он был далек от таких блестящих жертв во имя гуманизма, какие были принесены Николаем, и поэты, часто посещавшие его двор, были немногочисленны; но сам он был гораздо более личным главой республики литературы, чем его предшественник, и пользовался своим положением без малейших опасений. Павел II. был первым, кто испугался культуры своих секретарей и не доверял ей, а трое его преемников, Сикст, Иннокентий и Александр, приняли посвящения и позволили поэтам воспевать себя сколько душе угодно — даже существовала "Борджиада", вероятно, гекзаметрами[510] — но были слишком заняты в другом месте и слишком заняты поиском других оснований для своей власти, чтобы беспокоить сами многое о поэте-знатоки. Юлий II. нашел поэтов, восхваляющих его, потому что он сам был неплохим предметом для поэзии (стр. 117), но он, похоже, не особо беспокоился о них. За ним последовал Лев X, "как Ромул за Нумой" — другими словами, после воинственных потрясений первого понтификата надеялись на новый, полностью отданный музам. Наслаждение изящной латинской прозой и мелодичными стихами было частью программы жизни Лео., и его покровительство, несомненно, привело к тому, что его латинские поэты оставили нам живую картину того радостного и блистательного духа львиных дней, которым наполнена биография Иовиуса в бесчисленных эпиграммах, элегиях, одах и речах.[511] Вероятно, во всей европейской истории нет принца, который, в соответствии с несколькими поразительными событиями своей жизни, получал такое многообразное почтение. Поэты имели доступ к нему в основном около полудня, когда музыканты прекращали играть;[512] но один из лучших среди них[513] рассказывает нам, как они также преследовали его, когда он гулял в своем саду или уединялся в своих покоях, и если им не удавалось поймать его там, они пытались завоевать его нищенской одой или элегией, в которой, как обычно, участвовало все население Олимпа.[514] Ибо Лео, расточавший свои деньги и не любивший, чтобы его окружали только веселые лица, проявлял щедрость в своих подарках, которая была сказочно преувеличена в последующие трудные времена.[515] О его реорганизации Sapienza (стр. 212) уже говорилось. Чтобы не недооценивать влияние Лео на гуманизм, мы должны остерегаться быть введенными в заблуждение игрушечной работой, которая была примешана к нему, и не должны позволять себе обманываться очевидной иронией, с которой он сам иногда относился к этим вопросам (стр. 157). Наше суждение должно скорее остановиться на бесчисленных духовных возможностях, которые заключены в слове 'стимул' и которые, хотя и не могут быть измерены в целом, все же могут быть при более тщательном изучении фактически использованы в конкретных случаях. Какое бы влияние в Европе итальянские гуманисты ни оказали с 1520 года,

это так или иначе зависит от импульса, который был дан Львом. Он был папой, который, предоставив регмиссию напечатать недавно найденного Тацита,[516] мог сказать, что великие писатели были правилом жизни и утешением в несчастье; что помощь ученым людям и приобретение превосходных книг всегда были одной из его высших целей; и что теперь он благодарил небеса за то, что мог принести пользу человечеству, содействуя публикации этой книги.

Разграбление Рима в 1527 году разбросало ученых не меньше, чем художников, во все стороны и распространило славу великого покойного Мecenата до самых дальних пределов Италии.

Среди светских князей XV века никто не проявлял такого энтузиазма по отношению к древности, как Альфонсо Великий Арагонский, король Неаполя (см. стр. 35). Похоже, что его рвение ничуть не пострадало, и что памятники и письма древнего мира произвели на него со времени его прибытия в Италию впечатление, достаточно глубокое и сильное, чтобы изменить его жизнь. Возможно, на него повлиял пример его предка Роберта, великого покровителя Петрарки, с которым он, возможно, хотел соперничать или превзойти. Со странной готовностью он уступил упрямого Арагона своему брату и всецело посвятил себя своим новым владениям. У него на службе были,[517] последовательно или вместе, Георгий Трапезундский, младший Хрисолорас, Лоренцо Валла, Бартоломео Фацио и Антонио Панормита, из которых двое последних были его историками; Панормита ежедневно инструктировал короля и его двор на ливийском, даже во время военных экспедиций. Эти люди ежегодно обходились ему в 20 000 золотых флоринов. Он дал Панормите 1000 долларов за его работу: Фацио получил за "Историю Альфонси", помимо годового дохода в 500 дукатов, подарок еще на 1500, когда она была закончена, со словами: "Это дано не для того, чтобы заплатить вам, ибо ваша работа не была бы оплачена, если бы я отдал вам прекраснейший из моих городов; но со временем я надеюсь удовлетворить вас".[518] Когда он взял Джанноццо Манетти своим секретарем на самых блестящих условиях, он сказал ему: 'Я поделюсь с тобой своим последним хлебом'. Когда Джанноццо впервые пришел, чтобы передать поздравления флорентийского правительства по случаю женитьбы принца Ферранте, впечатление, которое он произвел, было настолько велико, что король неподвижно сидел на троне, 'как бронзовая статуя, и даже не смахнул муху, которая села ему на нос в начале речи'. Восстанавливая замок, он брал Витрувия в качестве проводника; куда бы он ни пошел, с ним были древние классики; день, когда он ничего не читал, казался ему потерянным; когда он читал, его ничто не беспокоило, даже звуки музыки; и он презирал всех современных принцев, которые не были ни учеными, ни покровителями учености. Его любимым пристанищем, по-видимому, была библиотека неаполитанского замка, которую он сам открывал, если библиотекарь отсутствовал, и где он мог сидеть у окна с видом на залив и слушать ученые диспуты о Троице. Ибо он был глубоко религиозен и читал ему Библию, а также Ливия и Сенеку, пока после четырнадцати прочтений он не выучил ее почти наизусть. Он давал тем, кто хотел стать монахинями, деньги на поступление в монастырь, был ревностным прихожанином и с большим вниманием слушал проповедь. Кто может полностью понять чувство, с которым он относился к предполагаемым останкам (стр. 143) Ливия в Падуе? Когда после долгих просьб он добыл у венецианцев часть скелета и с торжественной помпой получил его в Неаполе, как странно, должно быть, смешались христианские и языческие чувства в его сердце! Во время кампании в Абруцци, когда ему указали на далекую Сульмону, родину Овидия, он отдал честь этому месту и вернулся благодаря его гению-покровителю. Его обрадовало исполнение пророчества великого поэта о его будущей славе.[519] Действительно, однажды, при своем знаменитом въезде в завоеванный город Неаполь (1443), он сам решил

предстать перед миром в античном стиле. Недалеко от рынка в стене была проделана брешь шириной в сорок локтей, и через нее он проехал на позолоченной колеснице, как римский триумфатор.^[520] Память об этой сцене сохранила величественная мраморная триумфальная арка в Кастелло Нуово. Его неаполитанские преемники (стр. 37) унаследовали от этой страсти к старине так же мало, как и от других его положительных качеств.

Альфонсо был намного превзойден в учености Фредериком Урбинским^[521] — великим учеником великого учителя Витторино да Фельтре, — вокруг которого было мало придворных, он ничего не растрчивал и в своем присвоении древности, как и во всем остальном, подходил к делу обдуманно. Именно для него и для Николая V. было написано большинство переводов с греческого, а также ряд лучших комментариев и других подобных работ. Он много тратил на ученых, услугами которых пользовался, но тратил с пользой. В Урбино, где сам герцог был самым образованным при дворе, не осталось и следа официального поэта. Классическая античность, действительно, была лишь частью его культуры. Опытный правитель, капитан и джентльмен, он овладел большей частью науки того времени, и это с целью ее практического применения. Как богослов, он мог сравнивать Скотта с Аквинским и был знаком с трудами древних отцов Восточной и Западной Церквей, первые из которых были переведены на латынь. В философии он, по-видимому, полностью оставил Платона своему современнику Козимо, но он досконально знал не только "Этику" и "Политику" Аристотеля, но и "Физику" и некоторые другие работы. Остальная часть его чтения касалась главным образом древних историков, всеми которыми он располагал; их, а не поэтов, "он всегда читал, и те читали ему".

Сфорца,^[522] также все они были людьми более или менее образованными и покровителями литературы; о них уже упоминалось мимоходом (стр. 38 кв.). Герцог Франческо, вероятно, рассматривал гуманистическую культуру как нечто само собой разумеющееся в воспитании своих детей, хотя бы по политическим причинам. Повсеместно считалось преимуществом, если принц мог общаться на равных с самыми образованными людьми своего времени. Людовико Моро, сам превосходный знаток латыни, проявлял интерес к интеллектуальным вопросам, выходящим далеко за рамки классической античности (стр. 41 кв.).

Даже мелкие деспоты стремились к подобным отличиям, и мы несправедливы к ним, думая, что они поддерживали ученых при своих дворах только как средство распространения собственной славы. Такой правитель, как Борсо Феррарский (стр. 49), при всем своем тщеславии, похоже, ни в коем случае не искал бессмертия у поэтов, как бы они ни стремились умиловить его "Борсайдом" и тому подобным. Для этого у него было слишком гордое ощущение собственного положения правителя. Но общение с учеными людьми, интерес к антиквариату и страсть к изящной латинской переписке были необходимостью для принцев того времени. Каковы горькие жалобы герцога Альфонсо, каким бы компетентным он ни был в практических вопросах, на то, что его юношеская слабость вынудила его искать развлечения только в занятиях физическим трудом!^[523] или это был просто предлог держать гуманистов на расстоянии? Такая натура, как у него, была непонятна даже современникам.

Даже самым незначительным деспотам Романьи было трудно обойтись без одного-двух литераторов. Наставник и секретарь часто были одним и тем же человеком, который иногда действительно выступал в роли своего рода придворного фактотума.^[524] Мы склонны относиться к малому масштабу этих судов как к причине для того, чтобы отвергать их со

слишком явным презрением, забывая, что высшие духовные ценности не поддаются точному измерению.

Жизнь и нравы при дворе Римини, должно быть, представляли собой исключительное зрелище при смелом язычнике-кондотьере Сигизмондо Малатеста. Вокруг него было несколько ученых, некоторых из которых он щедро обеспечивал, даже подарив им земельные владения, в то время как другие зарабатывали на жизнь, по крайней мере, офицерами в его армии.^[525] В его цитадели — 'аркс Сисмундия' — они проводили дискуссии, часто очень ядовитого характера, в присутствии "рекса", как они его называли. В своих латинских стихах они поют ему дифирамбы и прославляют его любовь с прекрасной Изоттой, в честь которой и в качестве памятника которой была проведена знаменитая перестройка Сан—Франческо в Римини - "Диве Изотте Сакрум". Когда самим гуманистам пришло время умирать, их положили в саркофаги, которыми были украшены ниши внешних стен церкви, с надписью, свидетельствующей, что они были положены здесь во времена правления Сигизмунда, сына Пандульфа.^[526] В наши дни нам трудно поверить, что такое чудовище, как этот принц, считало ученость и дружбу культурных людей жизненной необходимостью; и все же человек, который отлучил его от церкви, развязал с ним войну и сжег его изображение, папа Пий II, говорит: 'Сигизмунд знал историю и обладал большим запасом философии; он, казалось, был рожден для всего, за что брался.'^[527]

ГЛАВА VII.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АНТИЧНОСТИ: ЛАТИНСКАЯ ПЕРЕПИСКА И РЕЧИ.

Однако были две цели, для которых гуманист был так же необходим республикам, как князьям или папам, а именно: ведение официальной переписки государства и произнесение речей по публичным и торжественным поводам.

От секретаря требовалось не только быть компетентным специалистом по латыни, но и наоборот, только гуманисту приписывались знания и способности, необходимые для должности секретаря. И, таким образом, величайшие люди в сфере науки в пятнадцатом веке в основном посвящали значительную часть своей жизни служению государству в этом качестве. Дому или происхождению человека не придавалось никакого значения. Из четырех великих флорентийских секретарей, которые занимали этот пост между 1427 и 1465 годами,^[528] трое принадлежали к подчиненному городу Ареццо, а именно, Лионардо (Бруни), Карло (Марсуппини) и Бенедетто Акколти; Поджо был из Терра Нуова, также на территории Флоренции. Действительно, в течение длительного периода многие высшие государственные чиновники из принципа были отданы иностранцам. Лионардо, Поджо и Джанноццо Манетти в то или иное время были личными секретарями пап, и Карло Аретино должен был стать таковым. Блондус из Форли и, несмотря ни на что, наконец, даже Лоренцо Валла занимали один и тот же пост. Со времен Николая V и Пия II. далее,^[529] Папская канцелярия продолжала все больше и больше привлекать самых способных людей, и это продолжалось даже при последних папах XV века, хотя они мало заботились о письмах. В 'Истории пап' Платины рассказывается о жизни Павла II. это очаровательный образчик мести гуманиста единственному папе, который не знал, как вести себя со своей канцелярией — с тем кругом "поэтов и ораторов, которые даровали папскому двору столько же славы, сколько они получили от него". Восхитительно видеть негодование этих надменных и богатых джентльменов, которые не хуже самого папы знали, как использовать свое положение для грабежа иностранцев,^[530] когда произошла какая-то ссора

из-за старшинства, когда, например, "Advocati consistoriales" претендовали на равный или превосходящий их ранг.[531] Апостол Иоанн, которому была открыта "Тайна Лестии"; секретарь Порсенны, которого Муций Сцевола ошибочно принял за короля; Меценат, который был личным секретарем Августа; архиепископы, которых в Германии называли канцлерами, ко всем обращаются по очереди.[532] "В руках апостольских секретарей находится самое важное дело в мире. Ибо кто, как не они, принимает решения по вопросам католической веры, кто еще борется с ересью, восстанавливает мир и выступает посредником между великими монархами? кто, как не они, составляют статистические отчеты христианского мира? Именно они поражают королей, принцев и народы тем, что исходит от Папы. Они пишут приказы и инструкции для легатов и получают их только от папы, которого ждут день и ночь." Но высшей вершины славы достигли только два знаменитых секретаря и стилиста Льва X.: Пьетро Бембо и Якопо Садолето.[533]

Не во всех канцеляриях выпускались одинаково элегантные документы. Обтянутый кожей официальный стиль, написанный на самой нечистой латыни, был очень распространен. В миланских документах, сохранившихся у Корио, прослеживается заметный контраст между такого рода сочинениями и немногочисленными письмами, написанными членами княжеского дома, которые, должно быть, тоже были написаны в критические моменты.[534] Они являются образцами чистой латиноамериканщины. Поддерживать безупречный стиль при любых обстоятельствах было правилом хорошего тона и результатом привычки. Помимо этих официальных лиц, частные ученые всех мастей, естественно, вели собственную переписку. Целью написания писем редко было то, что является сейчас, - дать информацию об обстоятельствах жизни автора или новости о других людях; скорее, к ним относились как к литературному произведению, созданному для того, чтобы засвидетельствовать свою ученость и завоевать уважение тех, кому оно было адресовано. Эти письма рано начали служить целям ученого исследования; и Петрарка, который ввел эту форму письма, возродил формы старого эпистолярного стиля, заменив классическое "ты" на "ты" средневековой латыни. В более поздний период письма превратились в подборки аккуратно выверенных фраз, которыми подданные поощрялись или унижались, коллеги льстили или оскорблялись, а покровители восхвалялись или просили милостыню.[535]

Письма Цицерона, Плиния и других в это время усердно изучались в качестве образцов. Уже в пятнадцатом веке появилось множество бланков и инструкций для латинской переписки в качестве дополнения к великим грамматическим и лексикографическим трудам, масса которых поражает нас даже сейчас, когда мы просматриваем их в библиотеках. Но точно так же, как существование этих помощников побуждало многих братья за дело, к которому у них не было призвания, так и по-настоящему способных людей побуждали к более безупречному совершенству, пока, наконец, не появились письма Политиана, а в начале шестнадцатого века письма Пьетро Бембо, которые заняли свое место как непревзойденные шедевры не только латинского стиля в целом, но и более специального искусства написания писем.

Вместе с ними в шестнадцатом веке возник классический стиль итальянской переписки, во главе которого снова стоит Бембо.[536] Его форма полностью современна и намеренно сохранена свободной от латинского влияния, и все же его дух насквозь пропитан идеями античности. Эти письма, хотя и носят частично конфиденциальный характер, в основном написаны с расчетом на возможную публикацию в будущем, и всегда исходя из предположения, что их, возможно, стоит показать из-за их элегантности. После 1530 года

начали появляться печатные сборники, либо письма разных корреспондентов в нерегулярной последовательности, либо отдельных авторов; и тот же Бембо, чья слава была столь велика как латинского корреспондента, завоевал столь же высокое положение на своем родном языке.[537]

Но в то время и среди людей, где "слушать" было одним из главных удовольствий жизни и где каждое воображение было наполнено воспоминаниями о римском сенате и его великих ораторах, оратор занимал гораздо более блестящее место, чем автор писем.[538] Красноречие избавилось от влияния Церкви, в которой оно находило убежище в средние века, и теперь стало незаменимым элементом и украшением всей возвышенной жизни. Многие из светских часов, которые сейчас заполнены музыкой, тогда посвящались латинскому или итальянскому ораторскому искусству; и все же Бартоломео Фацио жаловался, что ораторы его времени были в невыгодном положении по сравнению с ораторами античности; из трех видов ораторского искусства, которые были доступны последним, только один был оставлен первым, поскольку судебное ораторское искусство было предоставлено юристам, а речи в правительственных советах приходилось произносить на итальянском.[539]

Социальное положение оратора было совершенно безразлично; желанным был просто наиболее развитый гуманистический талант. При дворе Борсо Феррарского врач герцога Джеронимо да Кастелло был выбран для произнесения поздравительной речи по случаю визитов Фридриха III. и Пия II.[540] Женатые миряне поднимались на кафедры церквей во время любого праздника или траура и даже в дни памяти святых. Неитальянским членам Базельского собора показалось странным, что архиепископ Миланский вызвал Энея Сильвия, который в то время не был рукоположен, для публичного выступления на празднике святого Амвросия; но они терпели это, несмотря на ропот богословов, и слушали оратора с величайшим любопытством.[541]

Давайте на мгновение взглянем на наиболее частые и важные случаи публичных выступлений.

Во-первых, не зря послы от одного государства к другому получали звание ораторов. Что бы еще ни делалось в ходе секретных переговоров, посланник никогда не упускал случая появиться на публике и произнести публичную речь в обстановке максимально возможной помпезности и церемониальности.[542] Как правило, каким бы многочисленным ни было посольство, один человек говорил за всех; но случилось так, что Пий II, критик, перед которым все были рады быть услышанными, был вынужден сидеть и выслушивать целую делегацию, одну за другой.[543] Ученые князья, обладавшие даром речи, сами любили вести беседы на латыни или итальянском. Дети Дома Сфорца были обучены этому упражнению. Мальчик Галеаццо Мария произнес в 1455 году беглую речь перед Великим советом в Венеции,[544] и его сестра Ипполита приветствовала папу Пия II. с изящной речью на конгрессе в Мантуе.[545] Сам Пий на протяжении всей своей жизни много делал своим ораторским искусством, чтобы подготовить почву для своего окончательного восшествия на папский престол. Каким бы великим он ни был как ученый и дипломат, он, вероятно, никогда бы не стал папой римским без славы и обаяния своего красноречия. "Ибо не было ничего более возвышенного, чем достоинство его ораторского искусства".[546] Без сомнения, именно по этой причине многие считали его наиболее подходящим кандидатом на этот пост еще до его избрания.

Принцев также обычно принимали на публичных мероприятиях с речами, которые иногда длились часами. Это происходило, конечно, только тогда, когда принц был известен как

любитель красноречия,[547] или хотел сойти за такового, и когда присутствовал компетентный оратор, будь то профессор университета, чиновник, священнослужитель, врач или придворный ученый.

За любую другую политическую возможность хватались с таким же рвением, и, в зависимости от репутации оратора, число любителей культуры было велико или невелико. При ежегодной смене государственных чиновников и даже при хиротонии новых епископов гуманист обязательно выступал вперед и иногда обращался к своей аудитории гекзаметрами или сапфическими стихами.[548] Часто вновь назначенный чиновник сам был вынужден произнести речь, более или менее относящуюся к его ведомству, например, о правосудии; и ему повезло, если он хорошо справлялся со своей ролью! Во Флоренции даже кондотьеры, каким бы ни было их происхождение или образование, были вынуждены приспосабливаться к настроениям населения, и, получив знаки отличия своей должности, самый ученый государственный секретарь выступил с речью перед собравшимся народом.[549] Похоже, что под Лоджией Ланци или рядом с ней — крыльцом, где правительство обычно торжественно появлялось перед народом, — для таких целей была возведена трибуна (*rostra ringhiera*).

Годовщины, особенно смерти принцев, обычно отмечались поминальными речами. Даже так называемая надгробная речь, как правило, поручалась гуманисту, который произносил ее в церкви, одетый в светское платье; эта честь оказывалась не только князьям, но и должностным лицам или иным выдающимся лицам.[550] Так было и с речами, произносимыми на свадьбах или помолвках, с той разницей, что они, по-видимому, произносились во дворце, а не в церкви, как у Филельфо на помолвке Анны Сфорца с Альфонсо де Эсте в Миланском замке. Все еще возможно, что церемония могла состояться в часовне замка. Частные знатные семьи, без сомнения, также нанимали таких свадебных ораторов в качестве одной из роскошей светской жизни. В Ферраре Гуарино в таких случаях просили прислать того или иного из его учеников.[551] Церковь просто взяла на себя ответственность за религиозные церемонии на свадьбах и похоронах.

Академические речи, как произнесенные при назначении нового преподавателя, так и при открытии нового курса лекций,[552] были произнесены самим профессором и рассматривались как случаи великолепного риторического выступления. Обычные университетские лекции также обычно носили ораторский характер.[553]

Что касается судебного красноречия, то качество аудитории определяло форму речи. В случае необходимости она обогащалась всевозможными философскими и антикварными знаниями.

В качестве особого класса речей мы можем упомянуть обращения, произносимые на итальянском языке на поле боя, либо до, либо после боя. Фредерик Урбинский[554] считался классиком в этом стиле; он обычно проходил среди своих эскадронов, когда они выстраивались в боевой порядок, вдохновляя их, в свою очередь, гордостью и энтузиазмом. Многие речи военных историков пятнадцатого века, как, например, у Порцеллия (стр. 99), могут быть, по крайней мере, вымышленными, но также могут быть отчасти точным воспроизведением слов, произнесенных на самом деле. Обращения, которые были обращены к флорентийскому ополчению,[555], организованные в 1506 году главным образом под влиянием Макиавелли и произносимые сначала на смотрах, а затем на специальных ежегодных фестивалях, были другого рода. Это были просто общие призывы к патриотизму слушателей, и к собравшимся войскам в церквях каждого квартала города обращались горожане в доспехах с мечом в руке.

Наконец, ораторское искусство с кафедры начало в пятнадцатом веке утрачивать свои отличительные особенности. Многие священнослужители вошли в круг классической культуры и стремились к успеху в ней. Уличный проповедник Бернардино да Сиена, который еще при жизни считался святым и которому поклонялись простые люди, не гнушался брать уроки риторики у знаменитого Гуарино, хотя проповедовать ему приходилось только на итальянском. Никогда еще от проповедников не ожидали большего, чем в то время, особенно от великопостных проповедников; и было немало аудиторий, которые могли не только терпеть, но и требовали сильной дозы философии с кафедры.^[556] Но здесь мы должны особо поговорить о выдающихся проповедниках на латыни. Многие из их возможностей были отняты у них, как уже было замечено, учеными мирянами. Речи в определенные дни святых, на свадьбах и похоронах, или при возведении на должность епископа, и даже вступительная речь на первой мессе друга-священнослужителя или обращение на празднике какого-либо религиозного ордена - все это оставлялось мирянам.^[557] Но в любом случае при папском дворе в пятнадцатом веке, какими бы ни были обстоятельства, проповедниками, как правило, были монахи. При Сиксте IV Джаккомо да Вольтерра регулярно перечисляет этих проповедников и критикует их в соответствии с правилами искусства.^[558] Федра Ингирами, известная как оратор при Юлии II, по крайней мере, получила священный сан и была каноником в церкви Святого Иоанна Латеранского; и, кроме него, элегантные латинисты теперь были достаточно распространены среди прелатов. В этом вопросе, как и в других, преувеличенные привилегии профанов—гуманистов, по-видимому, уменьшились в шестнадцатом веке - о чем мы сейчас поговорим более подробно.

Какова же была тема и общий характер этих выступлений? Средневековым итальянцам не хватало национального дара красноречия, и так называемая "риторика" изначально принадлежала к семи свободным искусствам; но что касается возрождения древних методов, то эту заслугу следует приписать, по словам Филиппо Виллани,^[559] флорентийцу Бруно Казини, который умер от чумы в 1348 году. . Преследуя практическую цель научить своих соотечественников легко и эффектно выступать на публике, он использовал, по образцу древних, изобретательность, декламацию, манеру держаться и жестикуляцию, каждое из которых находилось в надлежащей связи. В другом месте мы также читаем об ораторском мастерстве, направленном исключительно на практическое применение. Ни одно достижение не ценилось так высоко, как сила элегантной импровизации на латыни.^[560] Растущее изучение речей и теоретических трудов Цицерона, Квинтилиана и панегиристов императору, появление новых оригинальных трактатов,^[561] общий прогресс изучения древностей и запасы древних материалов и идей, из которых теперь можно и нужно черпать, — все это в совокупности сформировало характер нового красноречия.

Этот характер, тем не менее, сильно различался в зависимости от конкретного человека. Многие речи дышат духом истинного красноречия, особенно те, которые касаются рассматриваемого вопроса; к такого рода речам относится масса того, что осталось нам от Пия II. Чудесные эффекты, произведенные Джанноззо Манетти^[562] указывают на оратора, подобного которому не часто встретишь. Его грандиозные аудиенции в качестве посланника у Николая V, а также у дожа и Венецианского совета были событиями, которые не скоро забудутся. Многие ораторы, напротив, воспользовались бы случаем не только для того, чтобы польстить тщеславию выдающихся слушателей, но и для того, чтобы нагрузить свои речи

огромной массой антикварного хлама. Как можно было терпеть это мучение в течение двух и даже трех часов, можно понять, только если принять во внимание интенсивный интерес, который тогда испытывали ко всему, связанному с античностью, и редкость и ущербность трактатов по этому предмету в то время, когда книгопечатание было мало распространено. Подобные речи имели, по крайней мере, ту ценность, о которой мы говорили (стр. 232) для многих писем Петрарки. Но некоторые ораторы зашли слишком далеко. Большинство речей Филельфо представляют собой чудовищное лоскутное одеяло из классических и библейских цитат, прилепленных к ряду общих мест, среди которых великие люди, которым он хочет польстить, расположены во главе кардинальных добродетелей или какой-то подобной категории, и только с величайшим трудом, в его случае и в случае многих других, мы можем извлечь те немногие ценные исторические замечания, которые они действительно содержат. Речь, например, ученого и профессора из Пьяченцы на приеме герцога Галеаццо Марии в 1467 году начинается с Юлия Цезаря, затем переходит к смешению массы классических цитат с рядом аллегорических произведений самого выступающего и завершается каким-то крайне нескромным советом правителю.^[563] К счастью, была поздняя ночь, и оратору пришлось довольствоваться вручением написанного панегирика принцу. Филельфо начинает речь на помолвке словами: 'Аристотель, перипатетик'. Другие начинают с П. Корнелия Сципиона и тому подобного, как будто ни они, ни их слушатели не могли ни минуты дожидаться цитаты. В конце пятнадцатого века вкус публики внезапно улучшился, главным образом благодаря флорентийскому влиянию, и практика цитирования была ограничена в должных пределах. Теперь существовало множество справочных изданий, в которых первый встречный мог найти столько, сколько хотел, из того, что до сих пор вызывало восхищение князей и народа.

Поскольку большинство речей были записаны заранее в ходе исследования, рукописи впоследствии послужили средством дальнейшей рекламы. С другой стороны, великим ораторам-импровизаторам помогали стенографисты.^[564] Далее мы должны помнить, что все речи, которые дошли до нас, не предназначались для того, чтобы быть произнесенными на самом деле. Панегирик, например, Бериальду старшему, посвященный Людовико Моро, был представлен ему в рукописи.^[565] Фактически, точно так же, как письма были написаны, адресованные всем мыслимым людям и частям мира, в качестве упражнений, формуляров или даже для достижения спорной цели, так и речи были для воображаемых случаев^[566] будет использоваться в качестве образца для приема принцев, епископов и других высокопоставленных лиц.

Для ораторского искусства, как и для других искусств, смерть Льва X (1521) и разграбление Рима (1527) знаменуют эпоху упадка. Джовио,^[567] только что спасшийся от запустения вечного города, описывает, не исчерпывая, но в целом верно, причины этого упадка.

Пьесы Плавта и Теренция, некогда служившие школой латинского стиля для образованных римлян, изгнаны, чтобы освободить место итальянским комедиям. Изящные ораторы больше не находят признания и награды, которые они когда-то получали. Адвокаты Консistorии больше не готовят ничего, кроме вступлений к своим речам, а остальное произносят сбивчиво — по вдохновению момента. Проповеди и случайные выступления опустились до того же уровня. Если требуется произнести надгробную речь в честь кардинала или другой важной персоны, исполнители не обращаются к лучшим ораторам города, которым пришлось бы заплатить сотню золотых монет, но они нанимают за бесценок первого попавшегося наглого педанта, который только и хочет, чтобы о нем говорили, хорошо это или плохо. Мертвый, говорят они,

ничуть не узнает, если на кафедре появится обезьяна в черном одеянии и, начиная с хриплого, скулящего бормотания, мало-помалу перейдет в громкий вой. Даже проповеди, произносимые на великих папских церемониях, больше не приносят пользы, как это было раньше. Монахи всех орденов снова взяли их в свои руки и проповедуют так, как если бы они обращались к толпе. Всего несколько лет назад проповедь на мессе перед папой римским могла легко проложить путь к епископству.

ГЛАВА VIII.

ЛАТИНСКИЕ ТРАКТАТЫ И ИСТОРИЯ.

От ораторского искусства и эпистолярных сочинений гуманистов мы перейдем здесь к другим их творениям, которые все в большей или меньшей степени были воспроизведением античности.

К их числу следует отнести трактат, который часто принимал форму диалога.^[568] В данном случае оно было заимствовано непосредственно у Цицерона. Чтобы отдать должное этому классу литературы — чтобы не отбросить его с первого взгляда как скучный, — необходимо принять во внимание две вещи. Век, вырвавшийся из-под влияния Средневековья, испытывал потребность в чем-то посредническом между собой и античностью во многих вопросах морали и философии; и эта потребность была удовлетворена автором трактатов и диалогов. Многие из того, что в их сочинениях кажется нам просто банальным, было для них и их современников новым и с трудом завоеванным взглядом на вещи, о которых человечество хранило молчание со времен античности. Язык также в этой форме письма, будь то итальянский или латинский, двигался более свободно и гибко, чем в историческом повествовании, в письмах или в ораторском искусстве, и, таким образом, сам по себе стал источником особого удовольствия. Несколько итальянских композиций такого рода до сих пор занимают свое место в качестве образцов стиля. Многие из этих работ были или будут упомянуты из-за их содержания; здесь мы называем их классом. Со времен писем и трактатов Петрарки и почти до конца пятнадцатого века накопление ученых цитат, как в случае с ораторами, является основным занятием большинства этих писателей. Затем весь стиль, особенно итальянский, внезапно прояснился, пока в "Асолани" Бембо, и "Вите Собриа" Луиджи Корнаро,^[569] было достигнуто классическое совершенство. И здесь решающим фактом было то, что антикварные материалы любого рода тем временем начали помещаться в энциклопедические труды (ныне печатаемые) и больше не стояли на пути эссеиста.

Также было неизбежно, что гуманистический дух должен был управлять написанием истории. Поверхностное сравнение историй этого периода с более ранними хрониками, особенно с произведениями, столь полными жизни, красок и блеска, как работы Виллани, заставит нас громко сожалеть об изменении. Какими безвкусными и условными кажутся рядом с ними лучшие из гуманистов, и особенно их непосредственные и наиболее известные преемники среди историков Флоренции, Лионардо Аретино и Поджо!^[570] Удовольствие читателя постоянно омрачается ощущением того, что в классических фразах Фация, Сабелликуса, Фолиеты, Сенареги, Платины в "хрониках Мантуи", Бембо в "Венецианских анналах" и даже Джовио в его исторических сочинениях утрачен наилучший местный и индивидуальный колорит и полная искренность интереса к истинным событиям. Наше недоверие усиливается, когда мы слышим, что Ливия, образец этой школы писателей, копировали как раз там, где он

менее всего достоин подражания, а именно:[571] ‘что он превратил сухую и обнаженную традицию в изящество и богатство’. В том же месте мы встречаемся с подозрительным заявлением, что функция историка — точно так же, как если бы он был единым целым с поэтом, — возбуждать, очаровывать или ошеломлять читателя. Мы должны также помнить, что многие историки-гуманисты очень мало знали о том, что происходило за пределами их собственной сферы, и это немногое они часто были вынуждены приспособлять ко вкусу своих покровителей и работодателей. Наконец, мы спрашиваем себя, не должно ли презрение к современным вещам, которое те же самые гуманисты иногда открыто демонстрировали[572], обязательно иметь неблагоприятное влияние на их отношение к ним. Подсознательно читатель обнаруживает, что с большим интересом и доверием смотрит на непритязательных латинских и итальянских летописцев, таких как болонские и феррарские, которые оставались верны старому стилю, и еще большую благодарность он чувствует лучшим из настоящих хронистов, писавших по-итальянски, — Марину Санудо, Корио и Инфессуре, — за которыми в начале XVI века последовала новая и прославленная группа великих национальных историков, писавших на своем родном языке.

Современная история, без сомнения, была написана гораздо лучше на языке того времени, чем когда ее принудительно переводили на латынь. Был ли итальянский язык также более подходящим для повествования о событиях давнего прошлого или для исторических исследований — это вопрос, который допускает для того периода не один, а несколько ответов. Латынь в то время была ‘Языком общения’ образованных людей, не только в международном смысле, как средство общения между англичанами, французами и итальянцами, но и в межпровинциальном смысле. Ломбардский, венецианский и неаполитанский способы письма, хотя и долгое время были созданы по образцу тосканского и несли лишь слабые следы диалекта, все еще не были признаны флорентийцами. Это имело меньшее значение в местных современных историях, которые были уверены в читателях в том месте, где они были написаны, чем в повествованиях о прошлом, для которых требовалась более широкая публика. В них местные интересы народа должны были быть принесены в жертву общим интересам образованных людей. Насколько далеко простиралось бы влияние такого человека, как Блондус из Форли, если бы он написал свои великие научные труды на диалекте Романьи? Они, несомненно, были бы забыты, хотя бы из-за презрения флорентийцев, хотя бы потому, что, написанные на латыни, они оказали глубочайшее влияние на весь образованный европейский мир. И даже флорентийцы в пятнадцатом веке писали по-латыни не только потому, что их умы были проникнуты гуманизмом, но и для того, чтобы быть более читаемыми.

Наконец, в современной истории существуют определенные латинские эссе, которые стоят на одном уровне с лучшими итальянскими произведениями подобного рода. Когда от непрерывного повествования в манере Ливия — этого Прокрустова ложа столь многих писателей — отказываются, перемены становятся поразительными. Те же Платина и Джовио, чьи великие истории мы читаем только потому, что должны, внезапно выступают как мастера биографического стиля. Мы уже говорили о Тристане Караччоло, о биографических работах Фациуса и о венецианской топографии Сабеллико, а другие будут упомянуты в дальнейшем. Историческая композиция, подобно письмам и ораторскому искусству, вскоре обзавелась своей теорией. Следуя примеру Цицерона, она с гордостью провозглашает ценность истории, смело называет Моисея и Евангелистов простыми историками и завершается искренними призывами к строгой беспристрастности и любви к истине.[573]

Латинские трактаты по прошлой истории, естественно, были посвящены, по большей части, классической античности. Что нас еще больше удивляет, так это то, что среди этих гуманистов мы обнаружили несколько значительных работ по истории Средних веков. Первой работой такого рода была "Хроника Маттео Пальмиери" (449-1449), начинающаяся там, где заканчивается "Проспер Аквитанский", стиль которой, безусловно, оскорбил более поздних критиков, таких как Паоло Кортезе. Открывая 'Десятилетия' Блондуса изФорли, мы с удивлением обнаруживаем всеобщую историю, 'ab inclinatione Romanorum imperii', как у Гиббона, полную оригинальных исследований об авторах каждого столетия и занимающую на протяжении первых 300 страниц фолианта историю раннего средневековья вплоть до смерти Фридриха II. И это в то время, когда в северных странах не требовалось ничего, кроме хроник пап и императоров и 'Временного пучка'. Мы не можем здесь останавливаться, чтобы показать, какими трудами пользовался Блондус и где он нашел свои материалы, хотя историки литературы когда-нибудь воздадут ему должное. Одна только эта книга дает нам право сказать, что именно изучение античности сделало возможным изучение Средних веков, предварительно приучив ум к беспристрастной исторической критике. К этому следует добавить, что средние века для Италии теперь закончились, и что итальянский ум мог лучше оценить их, потому что он стоял вне их. Нельзя, тем не менее, сказать, что оно сразу судило их справедливо, и еще меньше - что оно судило их с благочестием. В искусстве проявилось стойкое предубеждение против всего, что было создано этими веками, и гуманисты датируют новую эру временем своего собственного появления. "Я начинаю, - говорит Боккаччо,[574] "надеяться и верить, что Бог смилостивился над итальянским именем, поскольку я вижу, что Его бесконечная доброта вселяет души в сердца итальянцев, подобные душам древних — души, которые ищут славы иными средствами, нежели грабеж и насилие, но, скорее, на пути поэзии, которая делает людей бессмертными'. Но этот ограниченный и несправедливый нрав не препятствовал расследованию в умах более одаренных людей, в то время как в других частях Европы о каком-либо подобном расследовании не могло быть и речи. Историческая критика[575] средневековья была осуществима только потому, что рациональное отношение гуманистов ко всем предметам воспитало исторический дух. В пятнадцатом веке этот дух так глубоко проник в историю даже отдельных городов Италии, что глупые сказки о происхождении Флоренции, Венеции и Милана исчезли, в то время как в то же время и много позже хроники Севера были наполнены этим фантастическим вздором, лишенным по большей части всякой поэтической ценности и изобретенным еще в четырнадцатом веке.

Тесная связь между местной историей и чувством славы уже затрагивалась в отношении Флоренции (часть i, глава vii). Венеция не осталась бы в стороне. Точно так же, как великий риторический триумф флорентийцев[576] заставило бы венецианское посольство поспешно написать домой, чтобы за ними прислали оратора, так и венецианцы почувствовали потребность в истории, которая выдерживала бы сравнение с историей Лионардо Аретино и Поджо. И именно для того, чтобы удовлетворить это чувство, в пятнадцатом веке, после провала переговоров с Джованни Марией Филельфо и другими, появились "Десятилетия" Сабеллико, а в шестнадцатом - "Повторная венецианская история" Пьетро Бембо, обе написанные по прямому поручению республики, причем последняя является продолжением первой.

Великие флорентийские историки начала XVI века (стр. 81 кв.) были людьми совершенно иного склада, чем латинисты Бембо и Джовио. Они писали по-итальянски не только потому, что не могли соперничать с чичероновской элегантностью филологов, но и потому, что, подобно Макиавелли, они могли фиксировать живым языком только живые результаты своих

собственных непосредственных наблюдений — и мы можем добавить в случае Макиавелли, его наблюдения за прошлым - и потому, что, как и в случае Гвиччардини, Варчи и многих других, они больше всего желали, чтобы их взгляд на ход событий имел как можно более широкий и глубокий практический эффект. Даже когда они пишут только для нескольких друзей, таких как Франческо Веттори, они чувствуют внутреннюю потребность высказать свое мнение о людях и событиях, объяснить и оправдать свое участие в последних.

И все же, несмотря на все характерные черты их языка и стиля, они находились под сильным влиянием античности и без ее влияния были бы немыслимы. Они не были гуманистами, но прошли школу гуманизма, и в них больше духа древних историков, чем в большинстве подражателей Ливия. Как и древние, они были гражданами, которые писали для граждан.

ГЛАВА IX.

ВСЕОБЩАЯ ЛАТИНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ.

Мы не можем попытаться проследить влияние гуманизма в специальных науках. У каждого из них есть своя история, в которой итальянские исследователи этого периода, главным образом благодаря повторному открытию результатов, достигнутых античностью, [577] отмечают новую эпоху, с которой с большей или меньшей отчетливостью начинается современный период рассматриваемой науки. Что касается философии, то мы также должны отсылать читателя к специальным историческим трудам по этому предмету. Влияние древних философов на итальянскую культуру будет казаться временами огромным, временами незначительным; первое, если мы рассмотрим, как доктрины Аристотеля, в основном почерпнутые из этики [578] и Политика — оба широко распространенные в ранний период — стали общим достоянием образованных итальянцев, и как весь метод абстрактного мышления был изменен. управлялся им; [579] последнее, если мы вспомним, насколько незначительным было догматическое влияние старых философий и даже восторженных флорентийских платоников на дух народа в целом. То, что выглядит как такое влияние, как правило, является не более чем следствием новой культуры в целом и особого роста и развития итальянского сознания. Когда мы перейдем к разговору о религии, нам будет что сказать по этому поводу. Но в гораздо большем числе случаев нам приходится иметь дело не с общей культурой народа, а с высказываниями отдельных лиц или ученых кругов; и здесь также следует проводить различие между истинным усвоением древних доктрин и модной выдумкой. Ибо для многих древность была всего лишь модой, даже среди очень ученых людей.

Тем не менее, все, что в наше время выглядит как притворство, не обязательно было таковым на самом деле. Давать детям греческие и латинские имена, например, лучше и респектабельнее, чем нынешняя практика заимствования их, особенно женских имен, из романов. Когда энтузиазм по отношению к древнему миру был больше, чем по отношению к святым, было достаточно просто и естественно, что знатные семьи называли своих сыновей Агамемноном, Тидеем и Ахиллесом, [580] и что художник назвал своего сына Апеллесом, а дочь Минервой. [581] Также не покажется необоснованным, что вместо фамилии, от которой люди часто были рады избавиться, было выбрано хорошо звучащее древнее имя. От местного названия, общего для всех жителей этого места и еще не преобразованного в фамилию, охотно отказались, особенно когда религиозные ассоциации сделали это неудобным; Филиппо да Сан-Джеминьяно называл себя Каллимахом. Человек, непонятый и оскорбленный своей семьей, сколотивший состояние

ученым в зарубежных городах, мог позволить себе, даже если бы он был Сансеверино, сменить свое имя на Юлий Помпоний Летус. Даже простой перевод имени на латынь или греческий, как это почти повсеместно было принято в Германии, можно извинить поколению, говорившему и писавшему по-латыни и нуждавшемуся в именах, которые можно было не только склонять, но и легко использовать в стихах и прозе. Что было достойно порицания и нелепости, так это смена половины имени, при крещении или в семье, чтобы придать ему классическое звучание и новый смысл. Так Джованни превратился в Иовиана или Януса, Пьетро - в Петрея или Пиерия, Антонио - в Аония, Санназаро - в Синцера, Лука Грассо - в Луция Красса. Ариосто, который с такой насмешкой отзывается обо всем этом, [582] дождался до того, чтобы увидеть детей, названных в честь его собственных героев и героинь. [583]

Мы также не должны слишком строго судить латинизацию многих обычаев общественной жизни, таких как титулы должностных лиц, церемонии и тому подобное, у писателей того периода. До тех пор, пока люди довольствовались простым, беглым латинским стилем, как это было в случае с большинством писателей от Петрарки до Энея Сильвия, эта практика не была столь частой и поразительной; она стала неизбежной, когда потребовалась безупречная цicerоновская латынь. Современные названия и вещи больше не гармонировали со стилем, если только их предварительно не изменили искусственно. Педантам доставляло удовольствие обращаться к муниципальным советникам "Patres Conscripti", монахиням - "Virgines Vestales" и называть каждого святого "Divus" или "Деус"; но люди с лучшим вкусом, такие как Паоло Джовио, делали это только тогда, когда и потому, что ничего не могли с этим поделать. Но поскольку Джовио делает это естественно и не придает этому особого значения, мы не обидимся, если на его мелодичном языке кардиналы будут фигурировать как "Senatores", их декан - как "Princeps Senatus", отлучение - как "Dirae", [584] а карнавал - как "Lupercalia". Одного этого примера с этим автором достаточно, чтобы предостеречь нас от поспешных выводов из этих особенностей стиля относительно всего образа мышления писателя.

Историю латинской композиции здесь невозможно проследить в деталях. На протяжении целых двух столетий гуманисты действовали так, как будто латынь была и должна оставаться единственным языком, достойным написания. Поджио [585] сожалеет, что Данте написал свою великую поэму на итальянском; а Данте, как хорошо известно, на самом деле предпринял попытку на латыни и написал начало "Ада" сначала гекзаметрами. Все будущее итальянской поэзии зависело от того, что он не продолжит в том же стиле, [586] но даже Петрарка больше полагался на свою латинскую поэзию, чем на сонеты и "Канцони", а некоторые хотели, чтобы сам Ариосто написал свое стихотворение на латыни. Более сильного принуждения в литературе никогда не существовало; [587] но поэзия по большей части избавилась от него, и можно сказать, не рискуя впасть в излишний оптимизм, что итальянской поэзии повезло, что у нее были оба средства самовыражения. В обоих было достигнуто нечто великое и характерное, и в каждом из них мы можем видеть причину, по которой был выбран латинский или итальянский языки. Возможно, то же самое можно сказать и о прозе. Положение и влияние итальянской культуры во всем мире зависели от того факта, что определенные темы рассматривались на латыни [588] — "urbi et orbi" — в то время как итальянскую прозу лучше всего писали те, кому стоило внутренней борьбы не писать на латыни.

Начиная с четырнадцатого века Цицерон был повсеместно признан чистейшим образцом прозы. Это ни в коем случае не было связано исключительно с беспристрастным мнением в пользу выбора им языка, структуры его предложений и его стиля сочинения, скорее, с тем

фактом, что итальянский дух полностью и инстинктивно откликнулся на дружелюбие автора писем, на блеск оратора и на ясное изложение философского мыслителя. Даже Петрарка ясно осознавал слабость Цицерона как человека и государственного деятеля,[589] хотя он слишком уважал его, чтобы радоваться им. После времен Петрарки эпистолярный стиль сформировался полностью по образцу Цицерона; и все остальное, за исключением повествовательного стиля, подверглось тому же влиянию. Однако истинное чичеронианство, отвергавшее каждую фразу, которая не могла быть оправдана великим авторитетом, появилось только в конце пятнадцатого века, когда грамматические труды Лоренцо Валлы начали распространяться по всей Италии и когда были проанализированы и сопоставлены мнения римских историков литературы.[590] Затем каждый оттенок различия в стиле древних был изучен с все более пристальным вниманием, пока, наконец, не был сделан утешительный вывод, что только в Цицероне можно найти совершенную модель или, если охватить все формы литературы, в "бессмертном и почти небесном веке Цицерона".[591] Такие люди, как Пьетро Бембо и Пьеро Валериано, теперь направили всю свою энергию на этот единственный объект. Даже те, кто долго сопротивлялся этой тенденции и сформировал для себя архаичный стиль на основе более ранних авторов,[592] наконец уступили и присоединились к поклонению Цицерону. Лонголий, по совету Бембо, решил в течение пяти лет не читать ничего, кроме Цицерона, и в конце концов дал клятву не употреблять ни одного слова, которое не встречалось бы у этого автора. Именно этот настрой в конце концов проявился в великой войне между учеными, в которой сражение вели Эразм и Скалигер-старший.

Ибо все поклонники Цицерона ни в коем случае не были настолько односторонни, чтобы считать его единственным источником языка. В пятнадцатом веке Политиан и Эрмолао Барбаро предприняли сознательные и обдуманые усилия по формированию собственного стиля,[593] естественно, на основе их "переполюющей" учености, хотя им не удалось внушить своим ученикам подобное стремление к независимости; и наш информатор об этом факте, Паоло Джовио, преследовал ту же цель. Сначала он попытался, не всегда успешно, но часто с замечательной силой и элегантностью и с немалой затратой усилий, воспроизвести на латыни ряд современных, особенно эстетических, идей. Его латинские характеристики великих художников и скульпторов своего времени содержат смесь самых умных и самых грубых интерпретаций.[594] Даже Лев X, прославивший факт "*ut lingua latina nostra pontificatu dicatur factu auctior*",[595] был склонен к либеральной и не слишком эксклюзивной латиноамериканщине, которая, действительно, гармонировала с его любящей удовольствия натурой. Он был доволен, когда латынь, которую ему приходилось читать и слышать, была живой, элегантной и идиоматичной. Кроме того, Цицерон не предлагал модели для латинской беседы, так что здесь, помимо него, приходилось поклоняться другим богам. Недостаток восполнялся представлениями комедий Плавта и Теренция, частыми как в Риме, так и за его пределами, которые для актеров были ни с чем не сравнимым упражнением в латыни как языке повседневной жизни. Импульс к изучению старых латинских комедий и их современным имитациям был дан открытием пьес Плавта в "Треске". Урсиниан', который был привезен в Рим в 1428 или 1429 году. Несколько лет спустя, в понтификат Павла II, ученый кардинал Теано[596] (вероятно, Никколо Фортегерра из Пистойи) прославился своими критическими трудами в этой области науки. Он принялся за работу над наиболее несовершенными пьесами Плавта, в которых отсутствовал даже список действующих лиц, и тщательно просмотрел все, что осталось от этого автора, главным образом обращая внимание на язык. Возможно, именно он дал первый толчок к публичному представлению этих пьес. Впоследствии Помпоний Лет занялся тем же

предметом и выступал в качестве управляющего, когда Плавта ставили на сцене в домах великих церковников.[597] То, что эти представления стали менее распространенными после 1520 года, упоминается Джовио, как мы видели (стр. 242), среди причин упадка красноречия.

В заключение мы можем упомянуть аналогию между Цицеронианством в литературе и возрождением Витрувия архитекторами в сфере искусства.[598] И здесь также действует закон, господствующий повсюду в истории Возрождения, согласно которому каждому художественному движению предшествует соответствующее движение в общей культуре эпохи. В данном случае интервал составляет не более двадцати лет, если считать от кардинала Адриана Корнетского (1505?) до первых признанных витрувианцев.

ГЛАВА X.

СОВРЕМЕННАЯ ЛАТИНСКАЯ ПОЭЗИЯ.

Однако главной гордостью гуманистов является их современная латинская поэзия. Рассмотрение этого входит в рамки нашей задачи, по крайней мере, в той мере, в какой это служит характеристикой гуманистического движения.

Насколько благосклонно общественное мнение относилось к этой форме поэзии и насколько близко она вытеснила все остальные, уже было показано (стр. 252). Мы можем быть совершенно уверены, что самая одаренная и высокоразвитая нация, существовавшая тогда в мире, не отказалась от использования такого языка, как итальянский, просто по глупости и не ведая, что творит. Должно быть, у них была веская причина поступить так.

Этой причиной была приверженность античности. Как всякая горячая и подлинная преданность, она неизбежно побуждала людей к подражанию. В другие времена и у других народов мы находим множество изолированных попыток того же рода. Но только в Италии существовали два главных условия, которые были необходимы для продолжения и развития неолатинской поэзии: общий интерес к предмету среди образованных классов и частичное пробуждение старого итальянского гения среди самих поэтов — чудесный отзвук далекой мелодии. Лучшее из того, что производится в этих условиях, — это не имитация, а свободное производство. Если мы отказываемся мириться с любыми заимствованными формами в искусстве, если мы либо вообще не придаем значения античности, либо приписываем ей некую магическую и недоступную добродетель, или если мы не прощаем промахов поэтам, которые были вынуждены, например, угадывать или открывать множество слоговых величин, тогда нам лучше оставить этот класс литературы в покое. Его лучшие произведения были созданы не для того, чтобы бросить вызов критике, а для того, чтобы доставить удовольствие поэту и тысячам его современников.[599]

Наименьшего успеха добились эпические повествования, взятые из истории или легенд древности. Существенные условия живой эпической поэзии были отвергнуты не только римлянами, которые теперь служили образцами, но даже греками после Гомера. Их нельзя было искать среди латинян эпохи Возрождения. И все же "Африка" Петрарки[600], вероятно, нашла не меньше восторженных читателей и слушателей, чем любой эпос современности. Цель и происхождение стихотворения небезынтересны. Четырнадцатый век со здравым историческим тактом признал время второй Пунической войны днем расцвета римского величия, и Петрарка не смог удержаться, чтобы не написать об этом времени. Если бы тогда был

открыт Силий Италик, Петрарка, вероятно, выбрал бы другую тему; но, как бы то ни было, прославление Сципиона Африканского Старшего настолько соответствовало духу четырнадцатого века, что другой поэт, Заноби ди Страда, также поставил перед собой ту же задачу и только из уважения к Петрарке отозвал стихотворение, с которым он уже добился больших успехов.^[601] Если и требовалось какое-либо оправдание для "Африки", то оно заключалось в том факте, что во времена Петрарки и впоследствии Сципион был таким же объектом общественного интереса, как если бы он был тогда жив, и что многие считали его более великим человеком, чем Александр, Помпей и Цезарь.^[602] Сколько современных эпосов затрагивают тему, одновременно столь популярную, столь историческую по своей основе и столь поражающую воображение? Для нас, это правда, поэма нечитабельна. За другими темами того же рода читатель может обратиться к истории литературы.

Было обнаружено более богатое и плодотворное направление в расширении и дополнении греко-римской мифологии. В этом тоже рано начала принимать участие итальянская поэзия, начиная с 'Тезейды' Боккаччо, которая считается его лучшим поэтическим произведением. При Мартине V. Маффео Вегио написал на латыни тринадцатую книгу "Энеиды"; кроме того, мы встречаем множество менее значительных попыток, особенно в стиле Клавдиана — 'Мелеагрис', "Гесперис" и так далее. Еще более любопытными были недавно придуманные мифы, населявшие красивейшие регионы Италии первобытной расой богов, нимф, гениев и даже пастухов, причем эпический и буколический стили переходили здесь друг в друга. В повествовательной или разговорной эклоге после времен Петрарки пасторальная жизнь трактовалась чисто условно,^[603] как средство выражения всех возможных чувств и фантазий; и этот момент будет снова затронут в дальнейшем. На данный момент мы имеем дело только с новыми мифами. В них яснее, чем где-либо еще, мы видим двойное значение старых богов для людей эпохи Возрождения. С одной стороны, они заменяют абстрактные термины в поэзии и делают аллегорические фигуры излишними; а с другой, они служат свободными и независимыми элементами в искусстве, формами красоты, которые могут быть использованы в той или иной степени в любом стихотворении. Пример был смело подан Боккаччо с его причудливым миром богов и пастухов, населяющих местность вокруг Флоренции в его 'Нинфале д'Амето' и 'Нинфале Фьезолано'. Оба эти стихотворения были написаны на итальянском языке. Но шедевром в этом стиле была "Сарка" Пьетро Бембо,^[604] в которой рассказывается о том, как бог-река с таким именем ухаживал за нимфой Гардой; о блестящем брачном пиршестве в пещере Монте-Бальдо; о пророчествах Манто, дочери Тиресия; о рождении ребенка Минция; об основании о Мантуе и о будущей славе Вергилия, сына Минция и Майи, нимфы Анд. Это гуманистическое рококо Бембо излагает в замечательных стихах, завершающихся обращением к Вергилию, которому мог бы позавидовать любой поэт. Такими произведениями часто пренебрегают, считая их просто декламацией. Это вопрос вкуса, по которому мы все вольны формировать свое собственное мнение.

Далее, мы находим длинные эпические поэмы гекзаметрами на библейские или церковные темы. Авторы отнюдь не всегда стремились к возвышению или благосклонности папы. У лучших из них и даже у менее одаренных писателей, таких как Баттиста Мантовано, автор 'Парфеники', вероятно, было искреннее желание служить религии своими латинскими стихами — желание, с которым их полуязыческая концепция католицизма достаточно хорошо гармонировала. Гиральдус просматривает список этих поэтов, среди которых Вида с его "Христиадой" и Санназаро с его тремя книгами "О девственной части",^[605] занимают первое место. Санназаро (р. 1458, ум. в 1530) впечатляет устойчивым и мощным потоком своих стихов, в которых без

стеснения смешиваются христианские и языческие элементы, пластической силой своего описания и совершенством мастерства. Он мог бы рискнуть ввести четвертую эклогу Вергилия в свою "песнь о пастухах у яслей" (III, 200 кв. м), не опасаясь сравнения. Говоря о невидимом мире, он иногда приводит доказательства смелости, достойной Данте, например, когда царь Давид в Чистилище Патриархов поднимается, чтобы петь и пророчествовать (I. 236 кв.), или когда Вечный, восседающий на троне, облаченный в мантию, сияющую изображениями всех стихий, обращается к небесному воинству (III. 17 кв.). В других случаях он без колебаний вплетает в свой сюжет всю классическую мифологию, при этом не нарушая гармонии целого, поскольку языческие божества являются лишь вспомогательными фигурами и не играют важной роли в повествовании. Чтобы оценить художественный гений той эпохи во всех его проявлениях, мы не должны отказываться замечать подобные произведения. Заслуга Санназаро покажется тем более значимой, если мы примем во внимание, что смешение христианских и языческих элементов склонно беспокоить нас гораздо больше в поэзии, чем в пластических искусствах. Последние все еще могут радовать глаз красотой формы и цвета и в общем гораздо более независимы от значимости предмета, чем поэзия. У них воображение интересуется главным образом формой, у поэзии - материей. Честный Баттиста Мантовано в своем календаре фестивалей, [606] попробовал другой способ. Вместо того чтобы заставить богов и полубогов служить целям священной истории, он поставил их, как это делали Отцы Церкви, в активное противостояние ей. Когда ангел Гавриил приветствует Деву Марию в Назарете, Меркурий летит за ним из Кармила и подслушивает у двери. Затем он объявляет о результатах своего подслушивания собравшимся богам и тем самым побуждает их к отчаянным решениям. В другом месте, [607] это правда, в его трудах Фетида, Церера, Эол и другие языческие божества охотно отдают дань уважения славе Мадонны.

Слава Санназаро, количество его подражателей, восторженное почтение, которое оказывали ему величайшие люди — Бембо, написавший ему эпитафию, и Тициан, написавший его портрет, — все это показывает, насколько дорог и необходим он был своему веку. На пороге Реформации он решил для Церкви проблему, возможно ли поэту быть не только классиком, но и христианином; и Лев, и Климент громко благодарили его за достижения.

И, наконец, современная история теперь излагалась гекзаметрами или отрывками, иногда в повествовательном, а иногда в панегирическом стиле, но чаще всего в честь какого-нибудь принца или княжеской семьи. Таким образом, мы встречаемся со Сфорциадой, [608] Борзеида, Лаврентиада, Борджиада (см. стр. 223), Триульзиада и тому подобное. Искомая цель, конечно, не была достигнута; ибо те, кто стал знаменитым и теперь бессмертен, обязаны этим чему угодно, только не такого рода стихам, к которым мир всегда испытывал неистребимую неприязнь, даже если они были написаны хорошими поэтами. Совершенно иной эффект производят более мелкие, простые и непритязательные сцены из жизни выдающихся людей, такие как прекрасное стихотворение Льва X. "Охота в Пало", [609] или "Путешествие Юлия II" Адриана Корнетского (стр. 119). Блестящие описания охотничьих отрядов встречаются у Эрколе Строща, у вышеупомянутого Адриана и у других; и жаль, что современный читатель позволяет себе раздражаться или отталкиваться от лести, которой они, несомненно, наполнены. Виртуозная обработка и значительная историческая ценность многих из этих самых изящных стихотворений гарантируют им более длительное существование, чем многие популярные произведения наших дней, вероятно, достигнут.

В общем, эти стихи хороши пропорционально щадящему использованию сентиментального и общего. Некоторые из небольших эпических поэм, даже признанных мастеров, непреднамеренно производят из-за несвоевременного введения мифологических элементов неопишимо нелепое впечатление. Таков, например, плач Эрколе Строцца[610] о Цезаре Борджиа. Здесь мы выслушиваем жалобы Рима, который возлагал все свои надежды на испанских пап Каликста III. и Александра VI., и который видел в Цезаре своего обещанного избавителя. Его история восходит к катастрофе 1503 года. Затем поэт спрашивает Музу, каковы были советы богов в тот момент,[611] и Крато рассказывает, как на Олимпе Паллада приняла сторону испанцев, Венера - итальянцев, как затем обе обнимают колени Юпитера, как вслед за этим он целует их, успокаивает и объясняет им, что он ничего не может сделать против судьбы, сплетенной Парком, но что божественные обещания будут выполнены отпрыском Дома Эсте-Борджиа.[612] После рассказа о сказочном происхождении обоих семейств он заявляет, что может даровать бессмертие Цезарю так же мало, как когда-то, несмотря на все мольбы, Мемнону или Ахиллему; и завершает утешительным заверением, что Цезарь, перед своей смертью, уничтожит много людей на войне. Затем Марс спешит в Неаполь, чтобы разжечь войну и смуту, в то время как Паллас отправляется в Непи и там является умирающему цезарю в облике Александра VI. Дав ему добрый совет покориться своей судьбе и довольствоваться славой своего имени, папская богиня исчезает, «как птица».

И все же мы напрасно лишили бы себя удовольствия, которое иногда бывает очень велико, если бы отбросили в сторону все, в чем классическая мифология играет более или менее соответствующую роль. Здесь, как и в живописи и скульптуре, искусство часто облагораживало то, что само по себе является чисто условным. Зачатки пародии также можно обнаружить любителям этого жанра литературы (стр. 159 кв.), например, в "Макарониде", раннюю параллель которому составляет "Комический пир богов" Джованни Беллини.

Многие повествовательные стихотворения гекзаметрами также являются просто упражнениями или адаптациями историй в прозе, которые предпочтет читатель там, где он сможет их найти. Наконец, все - каждая ссора и каждая церемония — стало облекаться в стихи, и это сделали даже немецкие гуманисты Реформации.[613] И все же было бы несправедливо приписывать это простой занятости или чрезмерной легкости в соединении стихов. В Италии, во всяком случае, это было скорее из-за богатого чувства стиля, что дополнительно подтверждается массой современных отчетов, историй и даже брошюр в 'терца рима'. Точно так же, как Никколо да Уззано опубликовал свой план новой конституции, Макиавелли - свой взгляд на историю своего времени, третью - "Жизнь Савонаролы" и четвертую - "Осаду Пьомбино Альфонсо Великим",[614] в этом сложном метре, чтобы произвести более сильный эффект, многие другие почувствовали необходимость из гекзаметров, чтобы завоевать ими особую публику. То, что тогда терпели и чего требовали, в такой форме лучше всего демонстрирует дидактическая поэзия того времени. Ее популярность в пятнадцатом веке просто поразительна. Самые выдающиеся гуманисты были готовы прославлять в латинских гекзаметрах самые банальные, нелепые или отвратительные темы, такие как изготовление золота, игра в шахматы, обращение с шелкопрядами, астрология и венерические болезни (*галльский мор*), не говоря уже о множестве длинных итальянских стихотворений того же рода. В наши дни этот класс стихотворений осуждается как непрочитанный, и мы не можем сказать, насколько, на самом деле, они действительно заслуживают прочтения.[615] Одно можно сказать наверняка, что эпохи, намного превосходящие нашу в смысле красоты — Ренессанс и греко-римский мир — не могли обойтись без этой формы поэзии. В ответ можно возразить, что не отсутствие чувства

прекрасного, а большая серьезность и измененный метод научного изложения делают поэтическую форму неуместной, и останавливаться на этом нет необходимости.

Одна из этих дидактических работ в последние годы периодически переиздавалась[616]— "Зодиак жизни" Марцелла Палингениуса (Пьера Анджелло Манцолли), тайного приверженца протестантизма в Ферраре, написанный около 1528 года. С возвышеннейшими рассуждениями о Боге, добродетели и бессмертии писатель связывает обсуждение многих вопросов практической жизни и по этой причине является авторитетом, имеющим определенный вес в истории морали. Однако в целом его творчество следует рассматривать как лежащее за пределами эпохи Возрождения, на что дополнительно указывает тот факт, что в соответствии с серьезной дидактической целью поэмы аллегория имеет тенденцию вытеснять мифологию.

Но именно в лирике, и особенно в элегической поэзии, поэт-ученый ближе всего подошел к античности; и рядом с этим - в эпиграмме.

В более легком стиле Катулл совершенно очаровал итальянцев. Не несколько изящных латинских мадригалов, не несколько маленьких сатир и злобных посланий являются простой адаптацией к нему; и смерть попугаев и комнатных собачек оплакивается, даже там, где нет словесного подражания, в точности в тоне и стиле стихов о Воробье Лесбии. Есть короткие стихотворения такого рода, дату которых не смог бы установить даже критик,[617] в отсутствие положительных доказательств того, что это произведения пятнадцатого и шестнадцатого веков.

С другой стороны, мы едва ли можем найти оду в сапфическом или алькальдовом стиле, которая не выдавала бы явно ее современное происхождение. Об этом свидетельствует главным образом риторическое многословие, редкое в древности до времен Стация, и странный недостаток лирической сосредоточенности, которая необходима для этого стиля поэзии. Отдельные отрывки в оде, иногда две или три строфы вместе, могут выглядеть как древний фрагмент; но более длинный отрывок редко сохранит этот характер на всем протяжении. И там, где это происходит, как, например, в прекрасной "Оде Венере" Андреа Наваджеро, легко обнаружить простой парафраз древних шедевров.[618] Некоторые авторы од берут святых в качестве своей темы и призывают их в стихах, со вкусом смоделированных по образцу аналогичных од Горация и Катулла. Такова манера Наваджеро в "Оде Архангелу Гавриилу", и особенно Санназаро (стр. 260), который идет еще дальше в своем присвоении языческих чувств. Прежде всего он прославляет своего святого покровителя,[619] часовня которого была пристроена к его прекрасной вилле на берегу Позилиппо, "там, где морские волны пьют воду из скал и разбиваются о стены маленького святилища". Его восхищает ежегодный праздник Святого Наззаро, и ветви и гирлянды, которыми увешана часовня в этот день, кажутся ему жертвенными дарами. Полный скорби, находясь далеко в изгнании, в Сен-Назере, на берегах Луары, вместе с изгнанным Фредериком Арагонским, он в ту же годовщину приносит венки из самшита и дубовых листьев своему святому покровителю, думая о прежних годах, когда вся молодежь Позилиппо выходила приветствовать его на увитых цветами лодках и молилась, чтобы он смог вернуться домой.[620]

Пожалуй, наиболее обманчивое сходство с классическим стилем имеет класс стихотворений элегическим или гекзаметрическим стилем, тематика которых варьируется от так называемых элегий до эпиграмм. Поскольку гуманисты наиболее свободно обращались с текстами римских элегических поэтов, они чувствовали себя как дома, подражая им. Элегия Наваджеро, обращенная к ночи, как и другие стихотворения того же возраста и рода, полна моментов,

напоминающих нам о его образцах; но в ней есть тончайший античный оттенок. Действительно, Навагеро[621] всегда начинает с выбора по-настоящему поэтической темы, к которой затем обращается не с раболепным подражанием, а с виртуозной свободой, в стиле Антологии Овидия, Катулла или эклог Виргилиана. Он скупно использует мифологию, только, например, для того, чтобы представить очерк сельской жизни в молитве Церере и другим сельским божествам. Обращение к своей стране по возвращении из посольства в Испании, хотя и оставленное незаконченным, могло бы быть достойно места рядом с 'Прекрасной Италией, любящей душу' Винченцо Монти, если бы остальное соответствовало этому началу:

‘Salve, cura Deûm, mundi felicior ora,
Formosae Veneris dulces salvet recessus;
Ut vos post tantos animi mentisque labores
Aspicio lustroque libens, ut munere vestro
Sollicitas toto depello e pectore curas!’[622]

Элегическая или гекзаметрическая форма была той, в которой находили выражение все высшие чувства, как благороднейший патриотический энтузиазм (см. стр. 119, элегия Юлию II.), так и самые изощренные панегирики правящим домам,[623] а также нежная меланхолия Тибулла. Франческо Марио Мольца, который соперничает со Статием и Марциалом в своей лести Клименту VII. и Фарнези в своей элегии к своим "товарищам", написанной с постели больного, излагает нам мысли о смерти, столь прекрасные и подлинно античные, какие только можно найти у любого из поэтов древности, и это без заимствования у них чего-либо стоящего разговора.[624] Дух и диапазон римской элегии были лучше всего поняты и воспроизведены Санназаро, и ни один другой писатель его времени не предлагает нам столь разнообразный выбор хороших стихотворений в этом стиле, как он. Время от времени у нас будет возможность поговорить о некоторых из этих элегий в связи с вопросом, который в них затрагивается.

Латинская эпиграмма, наконец, стала в те дни делом серьезной важности, поскольку несколько остроумных строк, выгравированных на памятнике или цитируемых со смехом в обществе, могли заложить фундамент известности ученого. Эта тенденция рано проявилась в Италии. Когда стало известно, что Гвидо делла Полента желает установить памятник на могиле Данте, со всех сторон посыпались эпитафии,[625] "написанные теми, кто хотел *проявить себя*, или почтить память умершего поэта, или завоевать расположение Поленты". На могиле архиепископа Джованни Висконти (ум. 1354), в Миланском соборе, мы читаем внизу 36 гекзаметров: "Мастер Габриус де Заморис из Пармы, доктор юридических наук, написал эти стихи". Со временем, главным образом под влиянием Марциала и отчасти Катулла, сформировалась обширная литература такого рода. Это был величайший из всех триумфов, когда эпиграмму приняли за подлинную копию с какого-нибудь старинного мрамора,[626] или когда она была настолько хороша, что вся Италия выучила ее наизусть, как случилось с некоторыми произведениями Бембо. Когда венецианское правительство заплатило СануНазаро 600 дукатов за надгробную речь в трех частях,[627] никто не считал это актом щедрой расточительности. Эпиграмма ценилась за то, чем она, по правде говоря, была для всех образованных классов того времени, — за концентрированную сущность славы. С другой стороны, ни один человек в то время не был настолько могущественным, чтобы оказаться

недостижимым для сатирической эпиграммы, и даже самые могущественные нуждались в помощи осторожных и сведущих ученых для каждой надписи, которую они выставляли на всеобщее обозрение, чтобы какая-нибудь ошибка не позволила ей занять место в сборниках смехотворных эпитафий.[628] Эпиграф и эпиграмма были ответвлениями одного и того же направления; воспроизведение первого было основано на тщательном изучении древних памятников.

Городом эпиграмм и надписей был, прежде всего, Рим. В этом государстве, лишенном наследственных почестей, каждый человек должен был заботиться о собственном бессмертии и в то же время считал эпиграмму эффективным оружием против своих конкурентов. Пий II с удовлетворением вспоминает стихи, написанные его главным поэтом Кампаном о любом событии его правления, которое можно было бы использовать в поэтических целях. При следующих папах сатирические эпиграммы вошли в моду и достигли, в противовес Александру VI. и его семье, наивысшей высоты вызывающих оскорблений. Санназаро, это правда, писал свои стихи в сравнительно безопасном месте, но другие люди в непосредственной близости от двора отваживались на самые безрассудные нападки (стр. 112). Однажды, когда к двери библиотеки были прикреплены восемь угрожающих отрывков,[629] Александр усилил свою охрану на 800 человек; мы можем представить, что бы он сделал с поэтом, если бы поймал его. При Льве X латинские эпиграммы были как хлеб насущный. Для восхваления или поношения папы римского, для наказания врагов и жертв, названных или неназванных, для реальных или воображаемых проявлений остроумия, злобы, горя или размышлений не было более подходящей формы. На знаменитой группе Богородицы со Святой Анной и Младенцем, которую Андреа Сансовино вырезал для Сан Агостино, не менее 120 человек написали латинские стихи, правда, не столько из набожности, сколько из уважения к меценату, заказавшему эту работу.[630] Этот человек, Иоганн Гориц Люксембургский, папский референдарий по петициям, не только провел религиозную службу в праздник Святой Анны, но и устроил великолепный литературный ужин в своем саду на склонах Капитолия. Тогда стоило бы в длинной поэме 'О городских поэтах' дать обзор целой толпе певцов, искавших счастья при дворе Льва. Это сделал Франциск Арсиллус[631]— человек, который не нуждался в покровительстве ни папы, ни принца, и который осмеливался высказывать свое мнение даже против своих коллег. Эпиграмма пережила понтификат Павла III. лишь в нескольких редких отзвуках, в то время как эпиграф продолжал процветать до семнадцатого века, когда он окончательно утратил напыщенность.

В Венеции эта форма поэзии также имела свою собственную историю, которую мы можем проследить с помощью 'Венеции' Франческо Сансовино. Постоянной задачей для авторов эпиграмм были девизы (Brevi) на портретах дожей в большом зале герцогского дворца — два или четыре гексаметра, в которых излагались наиболее примечательные факты правления каждого из них.[632] В дополнение к этому, на гробницах дожей в четырнадцатом веке были короткие надписи в прозе, фиксирующие только факты, а рядом с ними напыщенные гексаметры или львиные стихи. В пятнадцатом веке стилю уделялось больше внимания; в шестнадцатом веке он предстает в лучшем виде; и вскоре после этого появились бессмысленные антитезы, просопопуляция, ложный пафос, восхваление абстрактных качеств — одним словом, жеманство и напыщенность. Можно обнаружить немало следов сатиры, и завуалированная критика живых подразумевается под открытым восхвалением мертвых. В гораздо более поздний период мы находим несколько примеров намеренного возвращения к старому, простому стилю.

Архитектурные и декоративные сооружения в целом были построены с целью получения надписей, часто повторяющихся; в то время как Северная готика редко и с трудом находила для них подходящее место, а в надгробных памятниках, например, оставляли свободными только наиболее открытые части, а именно края.

Сказанным до сих пор нам, возможно, не удалось убедить читателя в характерной ценности этой итальянской латинской поэзии. Наша задача состояла скорее в том, чтобы указать на его место и необходимость в истории цивилизации. В свое время появилась карикатура на это^[633] — так называемая маккаронская поэзия. Шедевр этого стиля, ‘opus massaronicorum’, был написан Мерлином Коккаем (Теофило Фоленго из Мантуи). Время от времени у нас будет возможность обратиться к теме этого стихотворения. Что касается формы — гекзаметра и других стихов, составленных из латинских и итальянских слов с латинскими окончаниями, — то их комический эффект заключается главным образом в том факте, что эти сочетания звучат как многочисленные оговорки или излияния чересчур поспешного латинского ‘импровизатора’. Немецкие имитации не дают ни малейшего представления об этом эффекте.

ГЛАВА XI.

ПАДЕНИЕ ГУМАНИСТОВ В ШЕСТНАДЦАТОМ ВЕКЕ.

ПОСЛЕ того, как блестящая череда ученых-поэтов с начала четырнадцатого века наполнила Италию и весь мир поклонением античности, определила формы образования и культуры, часто брала на себя ведущую роль в политических делах и в немалой степени воспроизводила античную литературу, — наконец, в шестнадцатом веке, прежде чем их доктрины и ученость утратили контроль над общественным сознанием, весь класс впал в глубокую и всеобщую немилость. Хотя они по-прежнему служили образцом для поэтов, историков и ораторов, лично никто не согласился бы быть причисленным к их числу. К двум главным обвинениям против них — в злонамеренном самомнении и в отвратительном распутстве - растущими силами контрреформации было теперь громко добавлено третье обвинение в безбожии.

Почему, можно спросить, эти упреки, истинные или ложные, не были услышаны раньше? На самом деле, они были услышаны в очень ранний период, но эффект, который они произвели, был незначительным по той простой причине, что люди были слишком зависимы от ученых в их знании древности — что ученые лично были обладателями и распространителями древней культуры. Но распространение печатных изданий классиков,^[634] и больших и хорошо составленных справочников и словарей, значительно освободило людей от необходимости личного общения с гуманистами, и, как только от них можно было хотя бы частично отказаться, изменение народных настроений стало очевидным. Это была перемена, при которой пострадали как хорошие, так и плохие люди без разбора.

Первыми, кто выдвинул эти обвинения, были, безусловно, сами гуманисты. Из всех людей, когда-либо составлявших класс, они меньше всего осознавали свои общие интересы и меньше всего уважали то, что было связано с этим чувством. Все средства считались законными, если один из них видел шанс вытеснить другого. От литературной дискуссии они с поразительной внезапностью перешли к самой яростной и беспочвенной брани. Не довольствуясь опровержением, они стремились уничтожить оппонента. Кое-что из этого следует отнести к их положению и обстоятельствам; мы видели, как яростно эпоха, самыми громкими выразителями

которой они были, была охвачена страстью к славе и страстью к сатире. Их положение в практической жизни также было таким, за которое им приходилось постоянно бороться. В таком настроении они писали, говорили и описывали друг друга. Одни только произведения Поджо содержат достаточно грязи, чтобы создать предубеждение против всего класса — и эти ‘Орега Роггii’ были как раз теми, которые чаще всего печатались как на северной, так и на южной стороне Альп. Мы должны позаботиться о том, чтобы не радоваться слишком рано, когда встречаем среди этих людей фигуру, которая кажется безупречной; при дальнейшем расследовании всегда есть опасность столкнуться с каким-нибудь грязным обвинением, которое, даже если оно невероятно, все равно портит картину. Масса непристойных латинских стихотворений, имевших хождение, и такие вещи, как непристойные высказывания на тему его собственной семьи в диалоге Понтано ‘Антоний’, довершили дело до дискредитации класса. Шестнадцатый век был не только знаком со всеми этими уродливыми симптомами, но и устал от типа гуманиста. Этим людям пришлось заплатить как за совершенные ими злодеяния, так и за избыток чести, которая до сих пор выпадала на их долю. Их злая судьба распорядилась так, что величайший поэт нации написал о них тоном спокойного и суверенного презрения.^[635]

Из упреков, которые в совокупности вызвали такую сильную ненависть, многие были слишком обоснованны. И все же явная и безошибочная склонность к строгости в вопросах религии и морали была жива у многих филологов, и если осуждается весь класс, то это свидетельствует о скудном знании того периода. И все же многие, и среди них самые громкие ораторы, были виновны.

Три факта объясняют и, возможно, уменьшают их вину: чрезмерное расположение и удача, когда удача была на их стороне; неопределенность будущего, в котором роскошь или нищета зависели от каприза покровителя или злого умысла врага; и, наконец, обманчивое влияние древности. Это подрывало их мораль, не давая им взамен своей собственной; и в религиозных вопросах, поскольку они никогда не могли подумать о принятии позитивной веры в старых богов, это влияло на них только с негативной и скептической стороны. Именно потому, что они воспринимали античность догматически, то есть принимали ее за образец для всех мыслей и действий, ее влияние было здесь пагубным. Но в том, что существовала эпоха, которая боготворила древний мир и его продукты с исключительной преданностью, не было вины отдельных людей. Это было делом исторического провидения, и вся культура последующих и грядущих веков основана на том факте, что так оно и было, и что все цели жизни, кроме этой, были тогда намеренно отложены в сторону.

Карьера гуманистов была, как правило, такого рода, что только самые сильные личности могли пройти через нее невредимыми. Первая опасность исходила, в некоторых случаях, от родителей, которые стремились превратить не по годам развитого ребенка в чудо обучения,^[636] с прицелом на его будущее положение в том классе, который тогда был высшим. Юные вундеркинды, однако, редко поднимаются выше определенного уровня; а если и поднимаются, то вынуждены добиваться своего дальнейшего прогресса ценой самых горьких испытаний. Для честолюбивого юноши слава и блестящее положение гуманистов были опасным искушением; ему казалось, что и он ‘из-за врожденной гордости больше не может смотреть на низкие и обыденные вещи жизни’. Таким образом, он окунулся в жизнь, полную волнений и превратностей, в которой изнуряющая учеба, наставничество, секретарство, профессорство, должности в княжеских семьях, смертельная вражда и опасности, роскошь и нищета, безграничное восхищение и безграничное презрение беспорядочно следовали одно

за другим, и в которой самые солидные достоинства и ученость часто отодвигались на второй план поверхностной наглостью. Но хуже всего было то, что положение гуманиста было почти несовместимо с постоянным домом, поскольку оно либо делало необходимой частую смену жилища для получения средств к существованию, либо настолько влияло на психику человека, что он никогда не мог долго быть счастливым на одном месте. Он устал от народа и не находил покоя среди вражды, которую возбуждал, в то время как сам народ, в свою очередь, требовал чего-то нового (с. 211). Хотя эта жизнь во многом напоминает нам греческих софистов времен Империи, описанных нам Филостратом, все же позиция софистов была более благоприятной. У них часто были деньги, или им было легче обходиться без них, чем гуманистам, и как профессиональным преподавателям риторики, а не ученым людям, их жизнь была свободнее и проще. Но ученый эпохи Возрождения был вынужден сочетать высокую образованность с умением сопротивляться влиянию постоянно меняющихся занятий и ситуаций. Добавьте к этому омертвляющий эффект распущенных излишеств и — поскольку он делал все, что мог, — о нем думали в худшем - о полном безразличии к моральным законам, признанным другими. Вряд ли можно представить себе существование таких людей без непомерной гордыни. Они нуждались в этом хотя бы для того, чтобы держать голову над водой, и утвердились в этом благодаря восхищению, которое чередовалось с ненавистью в обращении, которое они получали от мира. Они являются наиболее яркими примерами и жертвами необузданного субъективизма.

Нападки и сатирические картинки начались, как мы уже говорили, в ранний период. При всей ярко выраженной индивидуальности, при всех различиях в национальном вкусе к насмешкам всегда было под рукой исправление. И в этом случае сами люди предложили обильные и ужасные материалы, которые сатире оставалось только использовать. В пятнадцатом веке Баттиста Мантовано в "Рассуждениях о семи чудовищах", [637] включает гуманистов и многих других под заголовком "Superbia". Он описывает, как, воображая себя детьми Аполлона, они идут с напускной торжественностью и с угрюмыми, злобными взглядами, то разглядывая собственную тень, то размышляя над народной похвалой, они охотились за ней, как журавли в поисках пищи. Но в шестнадцатом веке обвинительный акт был представлен полностью. Помимо Ариосто, об этом свидетельствует их собственный историк Гиралдус [638], чей трактат, написанный при Льве X., вероятно, был переработан примерно в 1540 году. Предостерегающие примеры из древних и современных времен о моральном беспорядке и жалком существовании ученых встречаются нам в поразительном изобилии, и наряду с этим против них официально выдвигаются обвинения самого серьезного характера. Среди них гнев, тщеславие, упрямство, обожание себя, распутная личная жизнь, безнравственность всех видов, ересь, атеизм; далее, привычка говорить без убеждения, зловещее влияние на правительство, педантичность речи, неблагодарность по отношению к учителям и низменная лесть великих, которые сначала дают ученому вкусить их благосклонности, а затем оставляют его голодать. Описание завершается ссылкой на золотой век, когда на земле не существовало такого понятия, как наука. Из этих обвинений обвинение в ереси вскоре стало самым опасным, и сам Гиральд, когда впоследствии переиздал совершенно безобидную юношескую работу, [639] был вынужден укрыться под мантией герцога Геркулеса II Феррарского, [640] поскольку теперь верх взяли мужчины, которые считали, что людям лучше тратить свое время на христианские темы, чем на мифологические исследования. Он оправдывает себя тем, что последние, напротив, были в то время почти единственными безобидными отраслями науки, поскольку имели дело с предметами совершенно нейтрального характера.

Но если долг историка - искать доказательства, в которых моральные суждения смягчаются человеческим сочувствием, он не найдет авторитета, сравнимого по ценности с работой Пьеро Валериано, которую так часто цитируют,^[641] "О неполноценности ученого". Она была написана под мрачным впечатлением, оставленным разграблением Рима, которое, по мнению автора, является не только прямой причиной невыразимых страданий ученых людей, но и, так сказать, исполнением злого рока, который долгое время преследовал их. Пьеро здесь руководствуется простым и, в целом, справедливым чувством. Он не говорит об особой силе, которая преследовала гениальных людей из-за их гениальности, но он констатирует факты, в которых несчастливый случай часто принимает вид фатальности. Не желая писать трагедию или связывать события с конфликтом высших сил, он довольствуется тем, что рисует перед нами сцены повседневной жизни. Мы знакомимся с людьми, которые в трудные времена теряют сначала свои доходы, а затем и места; с другими, которые, пытаясь получить два назначения, упускают оба; с нелюдимыми скрягами, которые носят свои деньги зашитыми в одежду и умирают безумными, когда у них их отнимают; с другими, которые соглашались на хорошо оплачиваемые должности, а затем заболевают меланхолией, тоскуя по утраченной свободе. Мы читаем, как некоторые умерли молодыми от чумы или лихорадки и как труды, стоившие им стольких усилий, были сожжены вместе с постелью и одеждой; как другие жили в ужасе от убийственных угроз своих коллег; как один был убит алчным слугой, а другого поймали разбойники с большой дороги в пути и оставили томиться в темнице, потому что не могли заплатить выкуп. Многие умерли от невысказанного горя из-за полученных ими оскорблений и призов, которых они были лишены обманом. Нам рассказывают о смерти венецианца, потому что его сын, вундеркинд юности, был мертв; и мать и братья последовали за ним, как будто потерянный ребенок увлек их всех за собой. Многие, особенно флорентийцы, покончили жизнь самоубийством;^[642] другие по тайному правосудию тирана. Кто, в конце концов, счастлив? — и какими средствами? Притупляя все чувства к такому несчастью? Один из ораторов в диалоге, в который Пьеро облек свою аргументацию, может дать ответ на эти вопросы — прославленный Гаспаро Контарини, при упоминании имени которого мы оборачиваемся с ожиданием услышать хотя бы что-нибудь из самого верного и глубокого, что тогда думали по подобным вопросам. Как тип счастливого ученого, он упоминает фра Урбано Валериано из Беллуно,^[643] который в течение многих лет был преподавателем греческого языка в Венеции, который посетил Грецию и Восток, а к концу своей жизни путешествовал то по этой стране, то по той, ни разу не сев на лошадь; у которого никогда не было своего пенни, отвергал все почести и отличия и после веселой старости скончался на восемьдесят четвертом году жизни, не испытав ни единого часа болезни, если не считать падения с лестницы. И в чем разница между таким человеком и гуманистами? У последних было больше свободы воли, больше субъективизма, чем они могли использовать для достижения счастья. Нищенствующий монах, который с детства жил в монастыре и никогда не ел и не спал иначе, как по уставу, перестал чувствовать принуждение, под которым он жил. Благодаря силе этой привычки он вел, несмотря на все внешние трудности, жизнь во внутреннем покое, которой он производил на своих слушателей гораздо большее впечатление, чем своим учением. Глядя на него, они могли бы поверить, что только от нас самих зависит, справимся ли мы с бедой или сдадимся ей. 'Среди нужды и тяжелого труда он был счастлив, потому что хотел быть таким, потому что у него не было дурных привычек, он не был капризным, непостоянным, неумеренным; но всегда был доволен малым или ничем'. Если бы мы послушали самого Контарини, религиозные мотивы, несомненно, сыграли бы свою роль в этом споре, но философ-практик в сандалиях говорит достаточно ясно. Близким персонажем, но помещенным в другие обстоятельства, является Фабио Кальви из Равенны, комментатор

Гиппократ. [644] Он дожил до глубокой старости в Риме, питаясь только бобовыми, "как пифагорейцы", и жил в лачуге немногим лучше, чем ванна Диогена. Из пенсии, которую ему назначал папа Лев, он тратил достаточно, чтобы поддерживать тело и душу вместе, а остальное раздавал. Он не был здоровым человеком, как фра Урбано, и маловероятно, что, как и он, он умер с улыбкой на губах. В возрасте девяноста лет, при разграблении Рима, он был утащен испанцами, которые надеялись на выкуп, и умер от голода в больнице. Но его имя перешло в царство бессмертных, ибо Рафаэль любил старика как отца, и чтит его как учителя, и приходил к нему за советом во всем. Возможно, они рассуждали главным образом о планируемом восстановлении древнего Рима (с. 184), возможно, о еще более высоких материях. Кто может сказать, какую роль Фабио мог сыграть в концепции Афинской школы и в других великих работах мастера?

Мы бы с удовольствием завершили эту часть нашего эссе изображением какого-нибудь приятного и обаятельного персонажа. Помпоний Летус, о котором мы кратко поговорим, известен нам главным образом по письму его ученика Сабеллика, [645] в котором его характеру намеренно придан античный колорит. Тем не менее, многие его черты хорошо узнаваемы. Он был (стр. 251) бастардом из дома неаполитанцев Сансеверини, князей Салерно, которых он, тем не менее, отказался признать, написав в ответ на приглашение жить у них знаменитое письмо: 'Помпоний Летус когнатис и близкие люди, приветствую. Quod petitis fieri non potest. Valete.' Незначительная фигурка, с маленькими быстрыми глазками и в причудливой одежде, он жил в последние десятилетия пятнадцатого века в качестве профессора Римского университета либо в своем коттедже в саду на Эсквилинском холме, либо в своем винограднике на Квиринале. В одном он разводил своих уток и домашнюю птицу; другой он выращивал в соответствии с самыми строгими предписаниями Катона, Варрона и Колумеллы. Каникулы он проводил, ловя рыбу или птиц в Кампанье, или пируя у какого-нибудь тенистого источника или на берегу Тибра. Богатство и роскошь он презирал. Освободившись от зависти и немилосердных речей, он не потерпел бы их в других. Только выступая против иерархии, он дал волю своему языку и до последних лет жизни слыл полным презрителем религии. Он был вовлечен в преследование гуманистов, начатое папой Павлом II, и венецианцы выдали его этому понтифику; но не удалось найти никаких средств, чтобы вырвать у негоднестойные признания. Впоследствии он подружился и получил поддержку пап и прелатов, и когда его дом был разграблен во время беспорядков при Сиксте IV, для него было собрано больше, чем он потерял. Ни один учитель не был более добросовестным. Еще до рассвета его видели спускающимся по Эсквилину со своим фонарем, и, добравшись до своей аудитории, он обнаружил, что она всегда до отказа заполнена учениками, которые приходили в полночь, чтобы занять место. Заикание вынуждало его говорить осторожно, но его речь была ровной и эффективной. Его немногочисленные работы свидетельствуют о тщательном написании. Ни один ученый не относился к текстам древних авторов более трезво и точно. Остатки древности, окружавшие его в Риме, трогали его так глубоко, что он стоял перед ними как зачарованный или внезапно разражался слезами при виде их. Поскольку он был готов отложить свои собственные исследования, чтобы помогать другим, его очень любили, и у него было много друзей, а после его смерти - даже Александр VI. послал своих придворных последовать за трупом, который нес самый выдающийся из его учеников. На заупокойной службе в Арасели присутствовали сорок епископов и все иностранные послы.

Именно Летус представил и дирижировал представлениями древних, главным образом плавтинских, пьес в Риме (с. 255). Каждый год он отмечал годовщину основания города

фестивалем, на котором его друзья и ученики читали речи и стихи. Подобные собрания положили начало тому, что приобрело и долгое время сохраняло название Римской академии. Это был просто свободный союз отдельных лиц, не связанный никаким фиксированным учреждением. Помимо упомянутых случаев, он встречался[646] по приглашению покровителя или в память об умершем участнике Platina. В такие моменты прелат, принадлежащий академии, сначала служил мессу; затем Помпонио поднимался на кафедру и произносил речь; затем кто-нибудь другой следовал за ним и декламировал элегию. Традиционный банкет с декламациями завершил праздник, будь то веселый или серьезный, и академики, особенно сам Платина, рано приобрели репутацию эпикурейцев.[647] В другое время гости разыгрывали фарсы в старом ателланском стиле. Как свободное объединение самых разнообразных элементов, академия просуществовала в своем первоначальном виде вплоть до разграбления Рима, и среди ее гостей были Ангелус Колоччиус, Дж. Кориций (стр. 269) и другие. Его точную ценность как элемента интеллектуальной жизни народа оценить так же трудно, как и ценность любого другого общественного объединения того же рода; и все же такой человек, как Садолето[648] причислил его к самым ценным воспоминаниям своей юности. Большое количество других академий возникло и прекратило свое существование во многих итальянских городах, в соответствии с количеством и значимостью гуманистов, живущих в них, и покровительством, оказываемым великими и богатыми. Из них мы можем упомянуть Неаполитанскую академию, центром которой был Юпитер Понтанус, и которая отправила колонию в Лечче,[649] и академию Порденоне, которая сформировала двор кондотьера Альвиано. О круге Людовико Моро и его особой важности для этого принца уже говорилось (стр. 42).

Примерно в середине шестнадцатого века эти ассоциации, по-видимому, претерпели полное изменение. Гуманисты, вытесненные в других сферах со своего командного положения и на которых люди контрреформации смотрели косо, потеряли контроль над академиями, и здесь, как и везде, латинская поэзия была заменена итальянской. Вскоре в каждом малозначительном городке появилась своя академия с каким-нибудь странным, фантастическим названием,[650] и свои собственные пожертвования и подписки. Помимо декламации стихов, новые учреждения унаследовали от своих предшественников регулярные банкеты и представление пьес, иногда разыгрываемых самими членами клуба, иногда под их руководством молодыми любителями, а иногда и платными актерами. Судьба итальянской сцены, а затем и оперы долгое время находилась в руках этих ассоциаций.

ЧАСТЬ IV.

ОТКРЫТИЕ МИРА И ЧЕЛОВЕКА.

ГЛАВА I.

ПУТЕШЕСТВИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ.

ОСВОБОЖДЕННЫЙ от бесчисленных уз, которые повсюду в Европе сдерживали прогресс, достигший высокой степени индивидуального развития и воспитанный на учениях античности, итальянский ум теперь обратился к открытию внешней вселенной и к представлению ее в речи и форме.

О путешествиях итальянцев в отдаленные части света мы можем здесь сделать лишь несколько общих замечаний. Крестовые походы открыли перед европейским сознанием неизведанные дали и пробудили во всех людях страсть к путешествиям и приключениям. Возможно, трудно точно указать момент, когда эта страсть объединилась с жадью знаний или стала ее слугой; но именно в Италии это произошло в первую очередь и наиболее полно. Даже в крестовых походах интересы итальянцев были шире, чем у других народов, поскольку они уже были военно-морской державой и имели торговые отношения с Востоком. С незапамятных времен Средиземное море давало народам, населявшим его берега, ментальные импульсы, отличные от тех, которые руководили народами Севера; и никогда, по самой структуре своего характера, итальянцы не могли быть авантюристами в том смысле, который это слово имело у германцев. После того как они почувствовали себя как дома во всех восточных гаванях Средиземноморья, было естественно, что наиболее предприимчивые из них должны были присоединиться к тому обширному международному движению мусульман, которое там нашло свой выход. Новая половина мира лежала перед ними, так сказать, только что открытая. Или, подобно венецианскому поло, они были подхвачены течением монгольских народов и перенесены к ступеням трона Великого хана. В ранний период мы находим итальянцев причастными к открытиям, сделанным в Атлантическом океане; именно генуэзцы в 13 веке открыли Канарские острова.[651] В том же 1291 году, когда была потеряна Птолемида, последний остаток христианского Востока, генуэзцы снова предприняли первую известную попытку найти морской проход в Ост-Индию.[652] Сам Колумб - всего лишь величайший из длинного списка итальянцев, которые на службе у западных народов плавали в далекие моря. Однако истинный первооткрыватель - это не тот, кто первым натывается на что-либо, а тот, кто находит то, что искал. Только такой человек находится в связи с мыслями и интересами своих предшественников, и эта связь также определит отчет, который он даст о своих поисках. По этой причине итальянцы, хотя их притязания быть первыми пришельцами на тот или иной берег могут быть оспорены, все же сохраняют свой титул нации первооткрывателей на протяжении всей последней части Средневековья. Более полное доказательство этого утверждения относится к специальной истории открытий.[653] И все же мы снова и снова обращаемся с восхищением к величественной фигуре великого генуэзца, который требовал, искал и нашел новый континент за океаном; и который был первым, кто смог сказать: 'Мир в покое' — мир не так велик, как думали люди. В то время, когда Испания отдала Александра VI. Итальянцам, Италия отдала Колумбу испанцев. Всего за несколько недель до смерти этого папы (7 июля 1503 г.) Колумб написал с Ямайки свое благородное письмо неблагодарным католическим королям, которое грядущие века никогда не смогут читать без глубокого волнения. В дополнении к своему завещанию, датированном Вальядолидом 4 мая 1506 года, он завещал 'своему любимому дому, Генуэзской республике, молитвенник, который подарил ему папа Александр и который в

тюрьме, в конфликте и во всех невзгодах был для него величайшим утешением'. Кажется, что эти слова бросают на ненавистное имя Борджиа последний отблеск благодати и милосердия.

Развитие географических и смежных наук у итальянцев, как и история их путешествий, должно быть затронуто, но очень кратко. Поверхностное сравнение их достижений с достижениями других наций показывает раннее и поразительное превосходство с их стороны. Где, как не в Италии, можно было найти в середине пятнадцатого века такое объединение географических, статистических и исторических знаний, какое было обнаружено у Энея Сильвия? Не только в своем великом географическом труде, но и в своих письмах и комментариях он с равным мастерством описывает пейзажи, города, нравы, отрасли промышленности и продукты, политические условия и конституции везде, где он может использовать свои собственные наблюдения или свидетельства очевидцев. То, что он берет из книг, естественно, имеет меньшее значение. Даже краткий набросок[654] той долины в Тиролевских Альпах, где жил Фридрих III. это принесло ему пользу, и тем более его описание Шотландии не оставляет нетронутым ни одно из отношений человеческой жизни и демонстрирует силу и метод непредвзятого наблюдения и сравнения, невозможные ни для кого, кроме соотечественника Колумба, воспитанного в школе древних. Тысячи людей видели и, отчасти, знали, что он сделал, но у них не было желания нарисовать картину этого, и они не осознавали, что мир желает таких картин.

В географии[655] как и в других вопросах, тщетно пытаться различать, сколько следует приписать изучению древних, а сколько особому гению итальянцев. Они видели вещи этого мира и относились к ним с объективной точки зрения еще до того, как познакомились с древней литературой, отчасти потому, что сами были полудревним народом, а отчасти потому, что к этому их предрасполагали политические обстоятельства; но они не достигли бы так быстро такого совершенства, если бы древние географы не указали им путь. Влияние существующих итальянских географических карт на дух и склонности путешественников и первооткрывателей также было неопределимо. Даже простой 'дилетант' науки — если в данном случае мы должны присвоить Энею Сильвию столь низкий ранг — может вызвать именно тот общий интерес к предмету, который подготавливает для новых первооткрывателей необходимую основу благоприятной предрасположенности в общественном сознании. Истинные первооткрыватели в любой науке хорошо знают, чем они обязаны такому посредничеству.

ГЛАВА II.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ИТАЛИИ.

ЧТО касается положения итальянцев в области естественных наук, мы должны отослать читателя к специальным трактатам по этому предмету, из которых единственный, с которым мы знакомы, - это поверхностный и пренебрежительный труд Либри.[656] Спор о приоритете конкретных открытий касается нас тем меньше, что мы считаем, что в любое время и среди любого цивилизованного народа может появиться человек, который, начав с очень скудной подготовки, будет движим непреодолимым импульсом на путь научного исследования и благодаря своим природным способностям добьется самых поразительных успехов. Такими людьми были Герберт из Реймса и Роджер Бэкон. То, что они владели всеми знаниями того времени в своих нескольких областях, было естественным следствием того духа, в котором они работали. Когда однажды завеса иллюзии была разорвана в клочья, когда однажды страх перед

природой и рабство книгам и традициям были преодолены, перед ними предстали бесчисленные проблемы, требующие решения. Другое дело, когда целый народ получает естественное удовольствие от изучения природы, в то время как другие народы безразличны, то есть когда первооткрывателю не угрожают и его полностью игнорируют, но он может рассчитывать на дружескую поддержку близких по духу людей. То, что так было в Италии, не вызывает сомнений.^[657] Итальянские исследователи природы с гордостью прослеживают в "Божественной комедии" намеки и доказательства научного интереса Данте к природе.^[658] Относительно его притязаний на приоритет в том или ином открытии или ссылке мы должны предоставить решать людям науки; но каждый непрофессионал должен быть поражен богатством его наблюдений за внешним миром, показанных просто в его картинах и сравнениях. Он больше, чем любой другой современный поэт, берет их из реальности, будь то природа или человеческая жизнь, и использует их не просто как украшение, а для того, чтобы дать читателю наиболее полное и адекватное представление о его значении. Именно в астрономии он предстает главным образом как научный специалист, хотя не следует забывать, что многие астрономические аллюзии в его великой поэме, которые сейчас кажутся нам учеными, тогда должны были быть понятны широкому читателю. Данте, учась отдельно, апеллирует к распространенным знаниям о небесах, которые итальянцы его времени, исходя из того простого факта, что они были морским народом, имели общие черты с древними. Календари и часы сделали это знание о восходе и заходе созвездий ненужным для современного мира, а вместе с ним исчез и тот интерес к астрономии, который когда-то мог быть у людей. В наши дни, с нашими школами и учебниками, каждый ребенок знает то, чего не знал Данте, - что земля движется вокруг Солнца; но интерес, однажды проявленный к самому предмету, уступил место самому абсолютному безразличию, за исключением специалистов по астрономии.

Псевдонаука, которая также имела дело со звездами, ничего не доказывает против индуктивного духа итальянцев того времени. Этот дух был лишь пересечен, а временами и побежден страстным желанием проникнуть в будущее. Мы вернемся к теме астрологии, когда будем говорить о моральном и религиозном характере людей.

Церковь почти всегда относилась к этой и другим псевдонаукам терпимо; и проявляла себя по-настоящему враждебно даже к подлинной науке только тогда, когда также ставилось под сомнение обвинение в ереси или некромантии— что, безусловно, часто имело место. Было бы интересно решить следующий вопрос: осознавали ли и в каких случаях доминиканские (а также францисканские) инквизиторы в Италии ложность обвинений и все же осуждали обвиняемых либо в угоду какому-нибудь врагу заключенного, либо из ненависти к естествознанию, и особенно к экспериментам. Последнее, несомненно, имело место, но доказать этот факт нелегко. То, что способствовало возникновению таких преследований на Севере, а именно противодействие новаторам со стороны сторонников общепринятой официальной схоластической системы природы, не имело большого значения в Италии. Хорошо известно, что Пьетро из Альбано в начале четырнадцатого века пал жертвой зависти другого врача, который обвинил его перед инквизицией в ереси и магии;^[659] и нечто подобное, возможно, произошло в случае с его современником из Падуаны, Джованнино Сангинначчи, который был известен как новатор в медицинской практике. . Однако он избежал изгнания. Не следует забывать и о том, что инквизиторская власть доминиканцев осуществлялась в Италии менее единообразно, чем на Севере. Тираны и вольные города четырнадцатого века временами относились к духовенству с таким суверенным презрением, что вопросы, совершенно отличные

от естественных наук, оставались безнаказанными.[660] Но когда с пятнадцатого века античность стала ведущей силой в Италии, брешь, которую она допустила в старой системе, была привлечена к ответственности каждой отраслью светской науки. Гуманизм, тем не менее, привлек к себе лучшие силы нации и тем самым, без сомнения, нанес ущерб индуктивному исследованию природы.[661] То тут, то там инквизиция внезапно оживала и наказывала или сжигала врачей как богохульников или магов. В таких случаях трудно понять, каков был истинный мотив, лежащий в основе осуждения. И в конце концов, Италия в конце пятнадцатого века, во времена Паоло Тосканелли, Луки Паччоли и Лионардо да Винчи, занимала несравненно более высокое место среди европейских наций в области математики и естественных наук, и ученые мужи каждой страны, даже Региомонтанус и Коперник, признавали себя ее учениками.[662]

Важным доказательством широко распространенного интереса к естественной истории является рвение, проявленное в ранний период в деле сбора и сравнительного изучения растений и животных. Италия претендует на звание первого создателя ботанических садов, хотя, возможно, они служили главным образом практической цели, и само притязание на приоритет может быть оспорено.[663] Гораздо важнее то, что принцы и богатые люди, разбивая свои увеселительные сады, инстинктивно стремились собрать как можно большее количество различных растений во всех их видах и разновидностях. Таким образом, в пятнадцатом веке благородные земли виллы Медичи Кареджи, судя по имеющимся у нас описаниям, были почти ботаническим садом,[664] с бесчисленными образцами различных деревьев и кустарников. Такого же рода была вилла кардинала Триульцио в начале шестнадцатого века в римской Кампанье по направлению к Тиволи,[665] с живой изгородью из различных видов роз, с деревьями всевозможных видов — фруктовые деревья особенно поражают разнообразием — с двадцатью различными сортами виноградных лоз и большим огородом. Очевидно, что это нечто сильно отличающееся от десятка-другого знакомых лекарственных растений, которые можно было найти в саду любого замка или монастыря Западной Европы. Наряду с тщательным выращиванием плодов для сервировки стола, мы обнаруживаем интерес к растению ради него самого, из-за удовольствия, которое оно доставляет глазу. Из истории искусства мы узнаем, в какой поздний период эта страсть к ботаническим коллекциям была отложена в сторону и уступила место тому, что считалось живописным стилем ландшафтного садоводства.

Коллекции чужеземных животных также не только удовлетворяли любопытство, но и служили высшим целям наблюдения. Удобство транспортировки из южных и восточных гаваней Средиземноморья и мягкий итальянский климат сделали возможным покупку самых крупных животных юга или получение их в подарок от султанов.[666] Города и князья особенно заботились о сохранении живых львов, даже когда лев не был, как во Флоренции, эмблемой государства.[667] Логово львов обычно находилось в правительственном дворце или рядом с ним, как в Перудже и Флоренции; в Риме оно располагалось на склоне Капитолия. Звери иногда служили исполнителями политических приговоров,[668] и, без сомнения, помимо этого, они поддерживали определенный ужас в сознании людей. Их состояние также считалось зловещим с точки зрения добра или зла. Их плодовитость, особенно, считалась признаком общественного процветания, и не кто иной, как Джованни Виллани, счел нужным отметить, что он присутствовал при родах львицы.[669] Детенышей часто отдавали союзным государствам и принцам или кондотьерам в награду за доблесть.[670] Помимо львов, флорентийцы очень рано начали разводить леопардов, для которых был назначен специальный смотритель.[671] Борсо[672] Феррарский король натравливал своих львов на быков, медведей и диких кабанов.

Однако к концу пятнадцатого века многие принцы содержали настоящие зверинцы (серрагли), которые в настоящее время считаются частью придворных построек. "Это относится к положению великих, - говорит Матараццо,[673] 'держат лошадей, собак, мулов, соколов и других птиц, придворных шутов, певцов и чужеземных животных'. Зверинец в Неаполе во времена Ферранте и других содержал жирафа и зебру, подаренных, кажется, правителем Багдада.[674] Филиппо Мария Висконти владел не только лошадьми, каждая из которых стоила ему 500 или 1000 золотых монет, и ценными английскими собаками, но и несколькими леопардами, привезенными со всех концов Востока; расходы на его охотничьих птиц, собранных в странах Северной Европы, составляли 3000 золотых монет в месяц.[675] "Кремонцы говорят, что император Фридрих II привез в их город слона, присланного пресвитером Иоанном из Индии", - читаем мы у Брунетто Латини; Петрарка описывает вымирание слонов в Италии.[676] Король Португалии Эммануил Великий хорошо знал, что делал, когда подарил Льву X слона и носорога.[677] Именно при таких обстоятельствах были заложены основы научной зоологии и ботаники.

Практическим плодом этих зоологических исследований стало создание племенных питомников, из которых мантуанский под руководством Франческо Гонзаги считался первым в Европе.[678] Любый интерес и знания о различных породах лошадей, без сомнения, так же стары, как и сама верховая езда, и скрещивание европейских с азиатскими, должно быть, было обычным делом со времен крестовых походов. В Италии особым стимулом к совершенствованию породы были призы на скачках, проводимых в каждом крупном городе полуострова. В мантуанских конюшнях были найдены непогрешимые победители в этих состязаниях, а также лучшие боевые кони и лошади, наиболее подходящие по своему величественному виду для подарков великим людям. Гонзага держал жеребцов и кобыл из Испании, Ирландии, Африки, Фракии и Киликии и ради последних заручился дружбой султана. Здесь были опробованы все возможные эксперименты, чтобы получить самых совершенных животных.

Не было недостатка даже в человеческих зверинцах. Знаменитый кардинал Ипполито Медичи,[679] бастард Джулиано, герцога Немурского, держал при своем странном дворе отряд варваров, говоривших не менее чем на двадцати различных языках и все они были совершенными представителями своей расы. Среди них были несравненные *вольтижеры* лучших кровей североафриканских мавров, татарские лучники, негритянские борцы, индийские ныряльщики и турки, которые обычно сопровождали кардинала в его охотничьих экспедициях. Когда его настигла ранняя смерть (1535), эта разношерстная банда пронесла труп на своих плечах из Итри в Рим и смешала с всеобщим трауром по кардиналу с распростертыми руками свою болтовню языков и бурную жестикуляцию.[680]

Эти разрозненные упоминания об отношениях итальянцев к естествознанию и их интересе к богатству и разнообразию продуктов природы являются лишь фрагментами великой темы. Никто так хорошо не осознает недостатки своих знаний по этому вопросу, как автор. Из множества специальных работ, в которых эта тема должным образом освещена, ему лишь частично известны даже названия.

ГЛАВА III.

ОТКРЫТИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ КРАСОТЫ.

НО вне сферы научных исследований есть и другой способ приблизиться к природе. Итальянцы - первые среди современных народов, кто воспринимал внешний мир как нечто прекрасное.[681]

Способность делать это всегда является результатом длительного и сложного развития, и ее происхождение нелегко обнаружить, поскольку смутное чувство такого рода может существовать задолго до того, как оно проявится в поэзии и живописи и, таким образом, осознает себя. У древних, например, искусство и поэзия прошли через весь круг человеческих интересов, прежде чем обратились к изображению природы, и даже тогда последняя всегда занимала ограниченное и подчиненное место. И все же, начиная со времен Гомера, мощное впечатление, производимое природой на человека, демонстрируется бесчисленными стихами и случайными выражениями. Германские народы, основавшие свои государства на развалинах Римской империи, были основательно и специально подготовлены к пониманию духа природного пейзажа; и хотя христианство на некоторое время заставило их видеть в источниках и горах, в озерах и лесах, которые они до тех пор почитали, действие злых демонов, все же это переходное представление вскоре переросло. К 1200 году, в разгар средневековья, подлинное, сердечное наслаждение внешним миром снова существовало и нашло живое выражение в менестрелях разных народов,[682] что свидетельствует о симпатии, испытываемой ко всем простым явлениям природы — весне с ее цветами, зеленым полям и лесам. Но все эти картины - на переднем плане без перспективы. Даже крестоносцы, которые путешествовали так далеко и видели так много, не узнаваемы как таковые в этих стихах. Эпическая поэзия, которая так полно описывает доспехи и костюмы, представляет собой не более чем набросок внешней природы; и даже великий Вольфрам фон Эшенбах едва ли где-либо дает нам адекватное представление о сцене, по которой движутся его герои. Из этих стихотворений никогда бы не догадались, что их благородные авторы во всех странах населяли или посещали величественные замки, открывающие далекие перспективы. Даже в латинских стихотворениях странствующих клерков (стр. 174) мы не находим следов вида вдаль — собственно так называемого пейзажа, — но то, что находится вблизи, иногда описывается с блеском и великолепием, которые не может превзойти ни один из рыцарских менестрелей. Какое изображение Рощи любви может сравниться с изображением итальянского поэта — ибо таковым мы его считаем — двенадцатого века?

‘Immortalis fieret
Ibi manens homo;
Arbor ibi quaelibet
Suo gaudet pomò;
Viae myrrha, cinnamo
Fragrant, et amomo—
Conjectari poterat
Dominus ex domo,’[683] etc.

Во всяком случае, по мнению итальянцев, природа к этому времени утратила свой налет греховности и стряхнула с себя все следы демонических сил. Святой Франциск Ассизский в своем Гимне Солнцу откровенно восхваляет Господа за сотворение небесных тел и четырех стихий.

Но безошибочные доказательства углубляющегося воздействия природы на человеческий дух начинаются с Данте. Он не только несколькими энергичными строками пробуждает в нас ощущение утреннего воздуха и дрожащего света на далеком океане или величия побитого штормом леса, но и совершает восхождение на высокие вершины с единственной возможной целью - насладиться видом[684]— возможно, первый человек со времен античности, который совершил восхождение на высокие вершины. итак. По Боккаччо мы можем сделать немногим больше, чем сделать вывод о том, как сельский пейзаж повлиял на него;[685] однако его пасторальные романы показывают, что им было наполнено его воображение. Но значение природы для восприимчивого духа полностью и ясно показано Петраркой — одним из первых по-настоящему современных людей. Этот ясный человек, который первым собрал в литературе всех стран свидетельства о происхождении и развитии чувства естественной красоты и сам в своем "Учении о природе" создал величайший шедевр описания, Александр фон Гумбольдт, не отдал полной справедливости Петрарке; и, следуя по стопам великого жнеца, мы все еще можем надеяться почерпнуть несколько интересных и ценных сведений.

Петрарка был не только выдающимся географом — говорят, что первая карта Италии была составлена под его руководством[686]— и не только репродуктор высказываний древних,[687] но почувствовал на себе влияние природной красоты. Наслаждение природой является для него любимым сопровождением интеллектуальных занятий; именно для того, чтобы сочетать то и другое, он жил в ученом уединении в Воклюзе и в других местах, время от времени убегал от мира и от своего возраста.[688] Мы должны были бы поступить с ним неправильно, сделав вывод из его слабой и неразвитой способности описывать природные пейзажи, что он не чувствовал их глубоко. Его изображение, например, прекрасного залива Специя и Порто-Венере, которое он вставляет в конец шестой книги "Африки", по той причине, что никто из древних или современных не воспевал его,[689] - это не более чем простое перечисление, но описания в письмах к своим друзьям из Рима, Неаполя и других итальянских городов, в которых он охотно бывал. затянутые, они живописны и достойны данной темы. Петрарка также осознает красоту скальных пейзажей и прекрасно умеет отличать живописность от полезности природы.[690] Во время его пребывания в лесах Реджо внезапный вид впечатляющего пейзажа так подействовал на него, что он возобновил стихотворение, которое давно отложил в сторону.[691] Но самое глубокое впечатление из всех произвело на него восхождение на Мон-Ванту, недалеко от Авиньона.[692] Необъяснимая тоска по далекой панораме становилась в нем все сильнее и сильнее, пока, наконец, случайный взгляд на отрывок из Ливия, где король Филипп, враг Рима, поднимается по Гему, не убедил его. Он думал, что то, что не порицается в седовласом монархе, вполне может быть *извинено* молодому человеку частного положения. Восхождение на гору ради нее самой было неслыханным делом, и не могло быть и мысли о компании друзей или знакомых. Петрарка взял с собой только своего младшего брата и двух крестьян из последнего места, где он останавливался. У подножия горы старый пастух умолял его повернуть назад, говоря, что он сам пытался взобраться на нее пятьдесят лет назад и не принес домой ничего, кроме раскаяния, переломанных костей и порванной одежды, и что ни до, ни после никто не отваживался сделать то же самое. Тем не менее, они упорно продвигались вперед и вверх, пока облака не легли у них под ногами, и наконец они достигли вершины.

Тщетно было бы искать описание вида с вершины не потому, что поэт был к нему нечувствителен, а, напротив, потому, что впечатление было слишком ошеломляющим. Вся его прошлая жизнь со всеми ее безумствами встала перед его мысленным взором; он вспомнил, что десять лет назад в этот день он молодым человеком покинул Болонью и устремил тоскующий взор на свою родину; он открыл книгу, которая тогда была его постоянным спутником, 'Исповедь св. Августина, - и его взгляд упал на отрывок из десятой главы, - и люди идут вперед и восхищаются высокими горами и широкими морями, и ревущими потоками, и океаном, и движением звезд, и забывают при этом самих себя. " Его брат, которому он читал эти слова, не мог понять, почему он закрыл книгу и больше ничего не сказал.

Несколько десятилетий спустя, около 1360 года, Фацио дельи Уберти описывает в своей "рифмованной географии"[693] (стр. 178) широкую панораму с гор Оверни, правда, с интересом только географа и антиквара, но все же ясно показывающую, что он сам ее видел. Однако он, должно быть, поднимался на гораздо более высокие вершины, поскольку знаком с фактами, которые происходят только на высоте 10 000 футов или более над уровнем моря - горной болезнью и ее сопутствующими явлениями, от которых его воображаемый товарищ Солин пытается вылечить его губкой, смоченной в эссенции. Восхождения на Парнас и Олимп,[694], о которых он говорит, возможно, всего лишь вымысел.

В пятнадцатом веке великие мастера фламандской школы Хьюберт и Иоганн ван Эйки внезапно приоткрыли завесу над природой. Их пейзажи являются не просто плодом попытки отразить реальный мир в искусстве, но и обладают, даже если выражены условно, определенным поэтическим смыслом — короче говоря, душой. Их влияние на все искусство Запада неоспоримо, оно распространилось и на пейзажную живопись итальянцев, но не помешало характерному для итальянского взгляда интересу к природе найти свое собственное выражение.

В этом вопросе, как и в научном описании природы, Эней Сильвий снова является одним из самых весомых представителей своего времени. Даже если мы признаем справедливость всего, что было сказано против его характера, мы должны, тем не менее, признать, что мало в ком другом так полно отражалась картина эпохи и ее культуры и что лишь немногие приблизились к нормальному типу людей раннего Возрождения. Можно добавить в скобках, что даже в отношении его морального облика его нельзя будет судить справедливо, если мы прислушаемся исключительно к жалобам немецкой церкви, которой его непостоянство помогло сорвать Собор, которого она так горячо желала.[695]

Здесь он привлекает наше внимание как первый, кто не только наслаждался великолепием итальянского пейзажа, но и описал его с энтузиазмом вплоть до мельчайших деталей. Церковное государство и юг Тосканы — свой родной дом — он знал досконально, и после того, как стал папой, свой досуг в благоприятное время года проводил главным образом в экскурсиях по стране. Наконец, подагрический человек был достаточно богат, чтобы его носили на носилках по горам и долинам; и когда мы сравниваем его удовольствия с удовольствиями пап, сменивших его, Пий, чьим главным наслаждением были природа, древность и простая, но благородная архитектура, кажется почти святым. На элегантной и плавной латыни своих "Комментариев" он свободно рассказывает нам о своем счастье.[696]

Его взгляд кажется таким же острым и опытным, как у любого современного наблюдателя. Он с восторгом наслаждается панорамным великолепием вида с вершины Альбанских холмов — с

Монте-Каво, - откуда он мог видеть берега Святого Петра от Террачины и мыс Цирцеи до Монте-Арджентаро, и широкие просторы страны вокруг, с разрушенными городами прошлого и горными цепями центральной Италии за ними; а затем его взгляд обращался к зеленым лесам в низинах и горным озерам среди них. Он ощущает красоту расположения Тоди, венчающего виноградники и поросшие оливками склоны, глядя вниз на далекие леса и долину Тибра, где города и замки возвышаются над извилистой рекой. Прекрасные холмы вокруг Сиены, с виллами и монастырями на каждой высоте, - это его собственный дом, и его описания их проникнуты особым чувством. Отдельные живописные виды тоже очаровывают его, как, например, небольшой мыс Капо-ди-Монте, вдающийся в озеро Больсена. 'Каменистые ступени, ' читаем мы, ' затененные виноградными лозами, спускаются к кромке воды, где между утесами стоят вечнозеленые дубы, оживленные пением дроздов'. На тропинке вокруг озера Неми, под каштанами и фруктовыми деревьями, он чувствует, что здесь, как нигде, должна пробудиться душа поэта — здесь, в убежище Дианы! Он часто проводил консистории или принимал послов под огромными старыми каштанами или под оливами на зеленой лужайке у какого-нибудь журчащего источника. Вид, подобный сужающемуся ущелью с смело перекинутым через него мостом, сразу пробуждает в нем художественное чутье. Даже мельчайшие детали доставляют ему удовольствие благодаря чему—то прекрасному, или совершенному, или характерному в них - голубые поля колышущегося льна, желтый дрок, покрывающий холмы, даже густые заросли, или отдельные деревья, или родники, которые кажутся ему чудесами природы.

Пика его энтузиазма по отношению к природной красоте он достиг во время своего пребывания на Монте-Амиата, летом 1462 года, когда чума и жара сделали низменности непригодными для жизни. На полпути к вершине горы, в старом ломбардском монастыре Сан-Сальваторе, он и его придворные разместились в своих покоях. Там, между каштанами, покрывающими крутой склон, взгляд может окинуть всю южную Тоскану, а вдалеке - башни Сиены. Восхождение на высочайшую вершину он предоставил своим спутникам, к которым присоединился венецианский посланник; они обнаружили на вершине две огромные каменные глыбы, поставленные одна на другую — возможно, жертвенный алтарь доисторического народа - и им показалось, что вдалеке они увидели Корсику и Сардинию[697] возвышающиеся над морем. В прохладном воздухе холмов, среди старых дубов и каштанов, на зеленых лугах, где не было колючек, которые ранили бы ноги, и никаких змей или насекомых, которые могли бы причинить вред или досаждают, папа римский проводил дни в безоблачном счастье. Для "Сегнатуры", которая проводилась в определенные дни недели, он каждый раз выбирал какое-нибудь новое тенистое убежище[698] "новы в выздоравливающих фонтанах и новы в умбрах, к сомнительным выборам лицом". В такие моменты собаки, возможно, выпроваживали из логова большого оленя, который после защищаясь некоторое время копытами и рогами, он, наконец, взлетел бы на гору. Вечером папа имел обыкновение сидеть перед монастырем на том месте, с которого была видна вся долина Пальи, и вести оживленные беседы с кардиналами. Придворные, отваживавшиеся спускаться с высот в своих охотничьих экспедициях, находили жару внизу невыносимой, а выжженные равнины - сущим адом, в то время как монастырь с его прохладными, тенистыми лесами казался обителью блаженных.

Все это - подлинное современное наслаждение, а не отражение старины. Столь же несомненно, как сами древние чувствовали то же самое, так, тем не менее, и скупые выражения писателей, которых Пий знал, были недостаточны, чтобы пробудить в нем такой энтузиазм.[699]

Вторая великая эпоха итальянской поэзии, пришедшаяся на конец пятнадцатого и начало шестнадцатого веков, а также латинская поэзия того же периода богаты доказательствами мощного воздействия природы на человеческий разум. Первого взгляда на лириков того времени будет достаточно, чтобы убедить нас. Правда, подробные описания природных пейзажей встречаются очень редко по той причине, что в наш энергичный век романам и лирической или эпической поэзии было с чем иметь дело. Бохардо и Ариосто рисуют природу энергично, но максимально кратко и без попыток апеллировать своими описаниями к чувствам читателя,[700] которого они стремятся достичь исключительно своим повествованием и персонажами. Авторы писем и философских диалогов на самом деле являются лучшим свидетельством растущей любви к природе, чем поэты. Романист Банделло, например, строго соблюдает правила своего отдела литературы; в самих своих романах он не говорит ни слова больше, чем необходимо, о природных пейзажах, среди которых происходит действие его рассказов,[701] но в посвящениях, которые всегда предшествуют им, мы встречаемся с очаровательными описаниями природы как декорации для его диалогов и социальных картин. Среди авторов писем Аретино[702], к сожалению, должен быть назван первым, кто полностью описал словами великолепный эффект света и тени на итальянском закате.

Мы иногда обнаруживаем, что чувство поэтов также с нежностью привязывается к изящным сценам сельской жизни. Тито Строцца, около 1480 года, описывает в латинской элегии[703] жилище своей любовницы. Нам показывают старый, увитый плющом дом, наполовину скрытый деревьями и украшенный потрепанными непогодой фресками святых, а рядом с ним часовню, сильно пострадавшую от бурного течения реки По; неподалеку священник вспахивает свои несколько бесплодных полей взятым напрокат скотом. Это не воспоминание о римских элегиках, а истинное современное чувство; и параллель ему — искреннее, неискусственное описание деревенской жизни в целом — вы найдете в конце этой части нашей работы.

Могут возразить, что немецким художникам началаXVI века удавалось с совершенным мастерством изображать эти сцены сельской жизни, как, например, Альбрехту Дюреру на его гравюре "Блудный сын".[704] Но одно дело, если художник, воспитанный в школе реализма, вводит такие сцены, и совсем другое дело, если поэт, привыкший к идеальным или мифологическим рамкам, руководствуется внутренним импульсом к реализму. Кроме того, приоритет во времени здесь, как и в описаниях деревенской жизни, на стороне итальянских поэтов.

ГЛАВА IV.

ОТКРЫТИЕ ЧЕЛОВЕКА. ДУХОВНОЕ ОПИСАНИЕ В ПОЭЗИИ.

К открытию внешнего мира эпоха Возрождения добавила еще большее достижение, впервые распознав и выявив полную природу человека.[705]

Этот период, как мы видели, сначала дал наивысшее развитие индивидуальности, а затем привел индивида к самому ревностному и тщательному изучению самого себя во всех формах и при любых условиях. Действительно, развитие личности по существу связано с признанием этого в себе и в других. Между этими двумя великими процессами наше повествование поместило влияние древней литературы, потому что способ понимания и представления как

отдельного человека, так и человеческой природы в целом был определен и окрашен этим влиянием. Но сила концепции и репрезентации заключалась в эпохе и в людях.

Фактов, которые мы приведем в доказательство нашего тезиса, будет немного. Здесь, если где-либо в ходе этого обсуждения, автор осознает, что он ступает на опасную почву догадок, и что то, что ему кажется ясным, хотя и деликатным и постепенным переходом в интеллектуальном движении четырнадцатого и пятнадцатого веков, может быть не столь очевидным для других. Постепенное пробуждение души народа - явление, которое может произвести разное впечатление на каждого зрителя. Время покажет, какое впечатление будет наиболее верным.

К счастью, изучение интеллектуальной стороны человеческой природы началось не с поиска теоретической психологии — для этого все еще было достаточно Аристотеля, - а с попытки наблюдать и описывать. Необходимый теоретический балласт был ограничен популярной доктриной о четырех темпераментах в ее обычном тогда сочетании с верой во влияние планет. Такие концепции могут оставаться неискоренимыми в умах отдельных людей, не препятствуя общему прогрессу эпохи. Это, безусловно, производит на нас особое впечатление, когда мы встречаемся с ними в то время, когда человеческая природа в ее глубочайшей сущности и во всех ее характерных проявлениях была не только познана путем точных наблюдений, но и представлена бессмертной поэзией и искусством. Это звучит почти нелепо, когда компетентный в других отношениях наблюдатель рассматривает Климента VII. иметь меланхолический темперамент, но оставляет свое суждение на усмотрение врачей, которые объявляют папу сангвинико-холерической натурой;^[706] или когда мы читаем, что тот же самый Гастон де Фуа, победитель Равенны, которого рисовал Джорджоне и вырезал Бамбаджа, и которого описывают все историки, обладал сатурнианским темпераментом.^[707] Несомненно, те, кто использует эти выражения, что-то подразумевают под ними; но термины, с помощью которых они сообщают нам свое значение, странным образом устарели в Италии шестнадцатого века.

В качестве примеров свободного выражения человеческого духа мы сначала поговорим о великих поэтах четырнадцатого века.

Если бы мы собрали жемчужины придворной и рыцарской поэзии всех стран Запада за два предшествующих столетия, то получили бы массу чудесных предсказаний и отдельных картин внутренней жизни, которые на первый взгляд могли бы соперничать с поэзией итальянцев. Оставляя в стороне лирическую поэзию, Годфри Страсбургский в 'Тристреме и Изольде' дает нам представление о человеческой страсти, некоторые черты которой бессмертны. Но эти жемчужины разбросаны в океане искусственных условностей, и в целом они представляют собой нечто совершенно отличное от полной объективной картины внутреннего человека и его духовного богатства.

Италия тоже в XIII веке имела, благодаря "Троватори", свою долю в поэзии дворов и рыцарства. Именно им в основном обязана "Канцона", построение которой столь же сложно и искусственно, как и у песен любого северного менестреля. Их предмет и образ мыслей представляют собой просто общепринятый тон дворов, будь поэт бюргером или ученым.

Но в конце концов проявились два новых пути, по которым итальянская поэзия могла продвигаться к другому, характерному будущему. Они не менее важны и потому, что их интересует только формальная и внешняя сторона искусства.

Тому же Брунетто Латини — учителю Данте, — который в своей "Канцони" использует обычную манеру "Троватори", мы обязаны первыми известными "Верси Сциолти", или пустыми десятисложными стихами,^[708] и в его кажущемся отсутствии формы внезапно проявилась настоящая страсть. Тот же добровольный отказ от внешнего эффекта, вызванный уверенностью в силе внутренней концепции, можно наблюдать несколькими годами позже во фресковой живописи, а еще позже во всех видах живописи, которые начали перестать полагаться на цвет для достижения эффекта, используя просто более светлый или темный оттенок. Для эпохи, придававшей такое большое значение искусственной форме в поэзии, эти стихи Брунетто знаменуют начало новой эпохи.^[709]

Примерно в то же время или даже в первой половине XIII века одна из многих строго сбалансированных форм метра, в которых Европа была тогда столь плодотворна, стала нормальной и признанной формой в Италии — сонет. Порядок рифм и даже количество строк менялись в течение целого столетия,^[710] пока Петрарка не исправил их навсегда. В этой форме трактовались все высшие лирические или медитативные сюжеты, а в более позднее время и сюжеты всех возможных описаний, и мадригалы, сестины и даже канцони были сведены к второстепенному месту. Более поздние итальянские писатели жалуются, наполовину в шутку, наполовину с негодованием, на эту неизбежную форму, на это прокрустово ложе, к которому они были вынуждены приспособлять свои мысли и чувства. Другие были и остаются вполне довольны этой особой формой стихотворения, которую они свободно используют для выражения любых личных воспоминаний или праздного пения без необходимости или серьезной цели. По этой причине плохих или незначительных сонетов гораздо больше, чем хороших.

Тем не менее, следует признать, что этот сонет был невыразимым благословением для итальянской поэзии. Ясность и красота его структуры, приглашение развить мысль во второй, более динамичной половине и легкость, с которой его можно было выучить наизусть, сделали его ценным даже для величайших мастеров. Фактически, они не сохранили бы его в употреблении вплоть до нашего столетия, если бы не прониклись ощущением его исключительной ценности. Эти мастера могли бы передать нам те же мысли в других и совершенно иных формах. Но когда однажды они сделали сонет обычным видом лирической поэзии, многие другие писатели с большими, если не самыми высокими способностями, которые в противном случае потерялись бы в море разнообразия, были вынуждены сконцентрировать свои чувства. Сонет стал для итальянской литературы таким конденсатором мыслей и эмоций, каким не обладала поэзия ни одного другого современного человека.

Таким образом, мир итальянских настроений предстает перед нами в виде серии фотографий, ясных, лаконичных и наиболее эффектных в своей краткости. Если бы другие нации обладали формой выражения того же рода, мы, возможно, знали бы больше об их внутренней жизни; мы могли бы иметь ряд картин внутренних и внешних ситуаций — отражений национального характера и темперамента — и не зависели бы в этом знании от так называемых лирических поэтов четырнадцатого и пятнадцатого веков, которых вряд ли когда-либо можно читать с каким-либо серьезным удовольствием. В Италии мы можем проследить несомненный прогресс с того времени, как появился сонет. Во второй половине тринадцатого века "Trovatori della transizione", как их недавно называли,^[711] отмечают переход от трубадуров к поэтам, то есть к тем, кто писал под влиянием античности. Простота и сила их чувств, энергичное изложение фактов, точное выражение и закругление их сонетов и других стихотворений предвещают

приход Данте. Некоторые политические сонеты гвельфов и Гибеллинов (1260-1270) пропитаны его страстью, а другие напоминают нам о его самых сладостных лирических нотах.

О его собственном теоретическом взгляде на сонет мы, к сожалению, ничего не знаем, поскольку последние книги его труда *‘De vulgari eloquio’*, в которых он предлагал рассматривать баллады и сонеты, либо остались ненаписанными, либо были утеряны. Но, на самом деле, он оставил нам в своих Сонетах и ‘Канцони’ сокровище внутреннего опыта. И в какие рамки он их поместил! Проза *‘Новой жизни’*, в которой он рассказывает о происхождении каждого стихотворения, столь же прекрасна, как и сами стихи, и составляет с ними единое целое, вдохновленное глубочайшим накалом страсти. С непоколебимой откровенностью он обнажает каждый оттенок своей радости и своего горя и решительно воплощает их в самые строгие формы искусства. Внимательно читая эти Сонеты и ‘Канцони’, а также чудесные фрагменты дневника его юности, которые лежат между ними, мы воображаем, что на протяжении всего средневековья поэты намеренно убегали от самих себя и что он был первым, кто искал свою собственную душу. До него мы встречаем много художественных стихотворений; но он первый художник в полном смысле этого слова — первый, кто сознательно облек бессмертную материю в бессмертную форму. Субъективное чувство обладает здесь полной объективной правдой и величием, и большая его часть изложена так, что все эпохи и народы могут сделать ее своей.^[712] Там, где он пишет в духе абсолютной объективности и позволяет угадать силу своего чувства только по некоторым внешним фактам, как в великолепных сонетах *‘Tanto gentile’* и др. И *‘Vedi perfettamente’* и др., Он, кажется, чувствует необходимость извиниться.^[713] Самое прекрасное из этих стихотворений действительно принадлежит к этому классу — *‘Deh peregrini che pensosi andate’*.

Даже помимо *‘Божественной комедии’*, Данте обозначил бы этими юношескими стихотворениями границу между средневековьем и современностью. Человеческий дух сделал мощный шаг к осознанию своей собственной тайной жизни.

Откровения по этому поводу, содержащиеся в самой *‘Божественной комедии’*, просто неизмеримы; и было бы необходимо пройти по всей поэме, по одной песне за другой, чтобы отдать должное ее ценности с этой точки зрения. К счастью, нам нет необходимости делать это, поскольку это уже давно стало повседневной пищей во всех странах Запада. Его замысел и идеи, на которых он основан, принадлежат средневековью и представляют для нас интерес только исторически; но, тем не менее, это начало всей современной поэзии благодаря силе и богатству, проявляющимся в описании человеческой природы во всех формах и позах.^[714]

С этого времени поэзия, возможно, испытывала неравные судьбы и на протяжении полувека подряд демонстрировала так называемый рецидив. Но его более благородный и жизненный принцип был сохранен навсегда; и всякий раз, когда в четырнадцатом, пятнадцатом и в начале шестнадцатого веков оригинальный ум посвящал себя ему, он представлял собой более продвинутую стадию, чем любой поэт из Италии, учитывая — что, конечно, не всегда легко установить удовлетворительно — равенство природных дарований для начала.

Здесь, как и во всем остальном в Италии, культура, к которой принадлежит поэзия, предшествует пластическим искусствам и, по сути, придает им главный импульс. Прошло более столетия, прежде чем духовный элемент в живописи и скульптуре обрел силу выражения, аналогичную силе *‘Божественной комедии’*. Насколько это правило справедливо для

художественного развития других наций,[715] и насколько важен весь этот вопрос, нас здесь не касается. Для итальянской цивилизации это имеет решающее значение.

Позиция, которую следует отнести к Петрарке в этом отношении, должна быть определена многими читателями поэта. Те, кто приходит к нему в духе перекрестного допроса и занимается выявлением противоречий между поэтом и мужчиной, его неверности в любви и других слабых сторон его характера, возможно, после достаточных усилий в конце концов потеряют всякий вкус к его поэзии. Таким образом, вместо художественного наслаждения мы можем приобрести знание о человеке во всей его "тотальности". Как жаль, что письма Петрарки из Авиньона содержат так мало сплетен, за которые можно ухватиться, и что письма его знакомых и друзей этих знакомых либо утеряны, либо никогда не существовали! Вместо того, чтобы благодарить Небеса за то, что нам не приходится задаваться вопросом, как и с помощью каких усилий поэт спас нечто бессмертное от своей собственной бедной жизни и участи, для Петрарки из этих так называемых 'останков' была сшита биография, которая читается как обвинительный акт. Но поэт может утешиться. Если печатание и редактирование переписки знаменитых людей будет продолжаться еще полвека, как это началось в Англии и Германии, у него будет достаточно прославленной компании, сидящей с ним на скамье покаяния.

Не закрывая глаза на многое натянутое и искусственное в его поэзии, где писатель просто подражает самому себе и продолжает петь в старом ключе, мы не можем не восхищаться удивительным изобилием картин сокровеннейших душевных переживаний — описаний моментов радости и печали, которые, должно быть, были полностью его собственными, поскольку никто до него не дарил нам ничего подобного, и на которых зиждется его значимость для его страны и для всего мира. Его стихи не во всех местах одинаково прозрачны; рядом с его самыми прекрасными мыслями иногда стоит какое-нибудь аллегорическое тщеславие или какой-нибудь софистический логический прием, совершенно чуждый нашему нынешнему вкусу. Но баланс на стороне совершенства.

Боккаччо тоже в своих малоизвестных сонетах,[716] иногда удается дать наиболее яркую и эффектную картину своих чувств. Возвращение в место, освященное любовью (Сын. 22), весенняя меланхолия (Сын. 33), печаль поэта, чувствующего, что он стареет (Сын. 65), прекрасно переданы им. А в "Амето" он описал облагораживающую и преображающую силу любви в манере, которую вряд ли можно было ожидать от автора "Декамерона".[717] Во 'Фьяметте' мы имеем еще одну великолепную и детально нарисованную картину человеческой души, полную острейшего наблюдения, хотя и выполненную далеко не с одинаковой силой, и местами омраченную страстью к высокопарному языку и неудачной смесью мифологических аллюзий и заученных цитат. 'Фьяметта', если мы не ошибаемся, является своего рода женским аналогом "Новой жизни" Данте или, во всяком случае, обязана ей своим происхождением.

То, что древние поэты, особенно элегисты, и Вергилий в четвертой книге "Энеиды" не остались без влияния[718] на итальянцев этого и следующего поколения, не подлежит сомнению; но источник чувств внутри последнего, тем не менее, был мощным и оригинальным. Если мы сравним их в этом отношении с их современниками в других странах, мы обнаружим в них самое раннее полное выражение современных европейских чувств. Вопрос, следует помнить, заключается не в том, чтобы узнать, не испытывали ли выдающиеся люди других наций таких же глубоких и благородных чувств, а в том, кто первым предоставил документальное подтверждение широчайших знаний о движениях человеческого сердца.

Почему итальянцы эпохи Возрождения не сделали ничего выше второго ранга в трагедии? Это было поле, на котором можно было проявить человеческий характер, интеллект и страсть во всех тысячах форм их роста, их борьбы и их упадка. Другими словами: почему в Италии не было Шекспира? Ибо на сцене других северных стран, помимо Англии, у итальянцев шестнадцатого и семнадцатого веков не было причин бояться сравнения; а с испанцами они не могли соперничать, поскольку Италия давно утратила все следы религиозного фанатизма, относилась к рыцарскому кодексу чести только как к форме и была слишком горда и слишком умна, чтобы склониться перед своими тираническими и незаконнорожденными хозяевами.^[719] Поэтому нам остается только рассмотреть английскую сцену в период ее краткого расцвета.

Очевиден ответ, что вся Европа произвела на свет только одного Шекспира и что такой ум - редчайший из даров Небес. Далее, возможно, что итальянская сцена была на пути к чему-то великому, когда на нее ворвалась контрреформация и, при содействии испанского господства над Неаполем и Миланом, а косвенно и над всем полуостровом, увяла лучшими цветами итальянского духа. Было бы трудно представить самого Шекспира при испанском вице-короле, или по соседству со Святой инквизицией в Риме, или даже в его собственной стране несколькими десятилетиями позже, во времена Английской революции. Стадия, которая в своем совершенстве является поздним продуктом любой цивилизации, должна ждать своего времени и удачи.

Мы не должны, однако, прекращать эту тему, не упомянув о некоторых обстоятельствах, которые имели характер препятствия или замедления высокого развития драмы в Италии до тех пор, пока не прошло время для этого.

В качестве наиболее весомой из этих причин мы, без сомнения, должны упомянуть то, что сценические вкусы людей были заняты другим, и главным образом мистериями и религиозными процессиями. По всей Европе драматические представления священной истории и легенд являются источником светской драмы; но Италия, как это будет показано более полно в дальнейшем, потратила на мистерии такое богатство декоративного великолепия, которое не могло не сказаться на драматическом элементе. Из всех бесчисленных и дорогостоящих представлений не возникло даже такой ветви поэзии, как "Autos Sagramentales" Кальдерона и других испанских поэтов, не говоря уже о каком-либо преимуществе или фундаменте для подлинной драмы.^[720]

И когда последний, наконец, появился, он сразу же отдался великолепию сценических эффектов, к которым мистерии уже слишком сильно приучили вкус публики. Мы с удивлением узнаем, насколько богатыми и великолепными были пейзажи Италии в то время, когда на Севере считалось достаточным самое простое указание на это место. Само по себе это могло бы не оказать такого неблагоприятного воздействия на драму, если бы внимание публики не было отвлечено от поэтической концепции пьесы отчасти великолепием костюмов, отчасти и главным образом фантастическими интермедиями (Intermezzi).

То, что во многих местах, особенно в Риме и Ферраре, Плавт и Теренций, а также пьесы старых трагиков давались на латыни или по-итальянски (стр. 242, 255), что академии (стр. 280), о которых мы уже говорили, сделали это одной из своих главных целей, и что поэты Возрождения слишком раболепно следовали этим образцам, - все это были неблагоприятные условия для итальянской сцены в рассматриваемый период. И все же я считаю их второстепенными. Если бы не контрреформация и правление иностранцев, эти самые недостатки можно было бы

превратить в полезные средства перехода. Как бы то ни было, к 1520 году победа родного языка в трагедии и комедии была, к великому неудовольствию гуманистов, практически одержана.^[721] Таким образом, с этой стороны, ничто не стояло на пути наиболее развитых людей Европы, чтобы помешать им превратить драму в ее благороднейших формах в истинное отражение человеческой жизни и судьбы. Именно инквизиторы и испанцы подавили итальянский дух и сделали невозможным представление величайших и возвышеннейших тем, особенно когда они были связаны с патриотическими воспоминаниями. В то же время нет сомнений, что отвлекающие 'интермецци' нанесли серьезный вред драме. Теперь мы должны рассмотреть их немного внимательнее.

Когда праздновалась свадьба Альфонсо Феррарского и Лукреции Борджиа, герцог Геркулес лично показал своим знатым гостям 110 костюмов, которые должны были служить на представлении пяти комедий Плавта, чтобы все могли убедиться, что ни один из них не был использован дважды.^[722] Но вся эта демонстрация шелка и батиста не шла ни в какое сравнение с балетами и пантомимами, которые служили интерлюдиями между актами драм Плавина. То, что по сравнению с ними сам Плавт казался смертельно скучным такой жизнерадостной молодой леди, как Изабелла Гонзага, и что во время спектакля все жаждали интермедий, вполне понятно, если вспомнить живописный блеск, с которым они были поставлены на сцене. Здесь можно было увидеть сражения римских воинов, размахивающих своим оружием под звуки музыки, танцы с факелами в исполнении мавров, танец дикарей с рогами изобилия, из которых струились огненные волны, - все это напоминало балетную пантомиму, в которой девушка спасалась от дракона. Затем последовал танец дураков, вставших в позу панчей, избивающих друг друга свиными пузырями, и еще много чего в том же роде. При дворе Феррары никогда не давали комедии без "своего" балета (Морески).^[723] Сомнительно, в каком стиле там изображен 'Амфитрион' Плавта (1491, при первом браке Альфонсо с Анной Сфорца). Возможно, это было подано скорее как пантомима с музыкой, чем как драма.^[724] В любом случае, аксессуары были более значительными, чем сама пьеса. Был хороводный танец увитых плющом юношей, исполнявших замысловатые фигуры под музыку звенящего оркестра; затем появился Аполлон, ударивший плектром по лире и спевший оду во славу Дома Эсте; затем последовал, как антракт в антракте, своего рода деревенский фарс, после которого сцену снова заняла классическая мифология — Венера, Вахх и их последователи — и пантомима, изображающая суд Парижа. Только после этого была исполнена вторая половина басни об Амфитрионе с безошибочными отсылками к будущему рождению Геркулеса из Дома Эсте. На предыдущем представлении той же пьесы во дворе дворца (1487) постоянно горел 'рай со звездами и другими колесами', под чем, вероятно, подразумевается иллюминация фейерверком, которая, без сомнения, поглощала большую часть внимания зрителей. Конечно, было бы лучше, если бы такие выступления давались отдельно, как это было в других судах. Нам придется поговорить о развлечениях, устраиваемых кардиналом Пьетро Риарио, Бентивольи в Болонье и другими, когда мы перейдем к рассмотрению фестивалей в целом.

Это сценическое великолепие, ставшее теперь всеобщим, оказало пагубное влияние на итальянскую трагедию. "Раньше в Венеции, - пишет Франческо Сансовино,^[725] 'помимо комедий, на сцене с большой помпой ставились трагедии древних и современных авторов. Слава о сценических аранжировках (*apparati*) привлекла зрителей издалека и вблизи. В наши дни представления устраиваются частными лицами в их собственных домах, и издавна

установился обычай проводить карнавал в комедиях и других веселых развлечениях.' Другими словами, сценическая демонстрация помогла заглушить трагедию.

Различные начинания или попытки этих современных трагиков, среди которых 'Софонисба' из Триссино была самой знаменитой, принадлежат истории литературы. То же самое можно сказать и о благородной комедии, созданной по образцу Плавта и Теренция. Даже Ариосто не смог создать ничего первоклассного в этом стиле. С другой стороны, популярная прозаическая комедия в трактовке Макиавелли, Бибьены и Аретино могла бы иметь будущее, если бы ее содержание не обрекло ее на разрушение. Это было, с одной стороны, до крайности распушенным, а с другой - направленным против определенных классов общества, которые после середины XVI века перестали служить поводом для публичных нападков. Если в 'Софонисбе' изображение персонажа уступило место блестящей декламации, то последняя, с ее карикатурой на сводную сестру, слишком свободно использовалась и в комедии. Тем не менее, эти итальянские комедии, если мы не ошибаемся, были первыми, написанными в прозе и скопированными с реальной жизни, и по этой причине заслуживают упоминания в истории европейской литературы.

Написание трагедий и комедий, а также практика постановки на сцене как древних, так и современных пьес продолжались без перерыва; но они служили лишь поводом для показа. Национальный гений обратился к чему-то другому в поисках живого интереса. Когда появились опера и пасторальная басня, от этих попыток в конце концов отказались полностью.

Национальной была и оставалась только одна форма комедии — ненаписанная импровизированная 'Комедия дель Арте'. Это не оказало большой помощи в описании характера, поскольку использованных масок было немного, и они были знакомы всем. Но талант нации имел такую близость к этому стилю, что часто в середине написанных комедий актеры отдавались собственному вдохновению,[726] так что в некоторых местах появилась новая смешанная форма комедии. Пьесы, поставленные в Венеции Буркьелло, а затем труппой Армонио, Валь. Цуккато, Лод. Дольче и другими, возможно, носили такой характер.[727] О Буркьелло мы точно знаем, что он для усиления комического эффекта смешивал греческие и славянские слова с венецианским диалектом. Законченная 'Комедия дель Арте", или почти законченная, была представлена Анджело Беолко, известным как 'Иль Руццанте" (1502-1542), который пользовался высочайшей репутацией поэта и актера, его сравнивали как поэта с Плавтом, а как актера - с Росциусом, и который составил компанию нескольким своим друзьям, которые появлялись в его пьесах как падуанские крестьяне, с именами Менато, Веццо, Биллора и др. Он изучал их диалект, проводя лето на вилле своего покровителя Луиджи Корнаро (Алоизиус Корнелиус) в Кодевиго.[728] Постепенно появились все знаменитые местные маски, останки которых до сих пор радуют итальянское население: Панталоне, Доктор, Бригелла, Пульчинелла, Арлекино и остальные. Большинство из них очень древние и, возможно, исторически связаны с масками в древнеримских фарсах; но только в шестнадцатом веке некоторые из них были объединены в одно произведение. В настоящее время это случается реже, но каждый крупный город по-прежнему придерживается своей местной маски - Неаполь с Пульчинеллой, Флоренция со Стенторелло, Милан с его часто вызывающим восхищение Менегино.[729]

Это действительно мизерная компенсация для народа, который обладал способностью, возможно, в большей степени, чем кто-либо другой, отражать и созерцать свои собственные

высочайшие качества в зеркале драмы. Но этому могуществу было суждено на века пострадать от враждебных сил, за преобладание которых итальянцы были ответственны лишь частично. Универсальный талант к драматическому представлению действительно не мог быть искоренен, и в музыке Италия долгое время подтверждала свои претензии на господство в Европе. Те, кто может найти в этом мире звука компенсацию за драму, которой было отказано во всяком будущем, во всяком случае, не имеют скудного источника утешения.

Но, возможно, мы сможем найти в эпической поэзии то, чего не может предложить нам сцена. И все же главный упрек героической поэзии Италии заключается именно в незначительности и несовершенном изображении ее персонажей.

Ей можно приписать и другие достоинства, среди прочего, то, что на протяжении трех столетий ее действительно читали и постоянно переиздавали, в то время как почти вся эпическая поэзия других народов стала просто предметом литературного или исторического любопытства. Возможно, это зависит от вкуса читателей, которые требуют чего-то отличного от того, что удовлетворило бы северную публику? Конечно, без способности в какой-то степени проникнуться итальянскими чувствами невозможно оценить характерное совершенство этих стихотворений, и многие выдающиеся люди заявляют, что они ничего не могут сделать из них. И по правде говоря, если мы будем критиковать Пульчи, Бохардо, Ариосто и Берни исключительно с оглядкой на их мысли и суть, мы не сможем воздать им должное. Это художники особого рода, которые пишут для народа, отличающегося особой артистичностью.

Средневековые легенды продолжали жить после постепенного исчезновения рыцарской поэзии, частично в виде рифмованных адаптаций и сборников, а частично в виде романов в прозе. Последнее имело место в Италии в четырнадцатом веке; но вновь пробудившиеся воспоминания об античности быстро разрастались до гигантских размеров и вскоре отбросили в тень все фантастические творения средневековья. Боккаччо, например, в своем "Любовном видении" называет среди героев своего заколдованного дворца Тристрама, Артура, Галеотто и других, но кратко, как будто ему было стыдно говорить о них (с. 206); а последующие авторы либо вообще не называют их, либо называют только в целях насмешки. Но народ сохранил их в своей памяти, и от народа они перешли в руки поэтов пятнадцатого века. Теперь они были способны осмыслять и представлять свою тему совершенно по-новому. Но они сделали больше. Они ввели в него множество свежих элементов и фактически переделали его от начала до конца. Не следует ожидать от них, что они должны относиться к таким предметам с тем уважением, которое когда-то испытывали к ним. Все другие страны должны были бы позавидовать им в том, что они могут апеллировать к народным интересам такого рода; но они не могли бы без лицемерия относиться к этим мифам с каким-либо уважением.^[730]

Вместо этого они с победоносной свободой продвигались на новом поприще, которое завоевала поэзия. Главной их целью, по-видимому, было то, чтобы их стихи при чтении производили наиболее гармоничный и волнующий эффект. Эти произведения действительно приобретают огромный успех, когда их повторяют, но не целиком, а по частям, и с легким налетом комедийности в голосе и жестах. Более глубокое и детальное изображение персонажа мало усилило бы этот эффект; хотя читатель, возможно, и желает этого, слушатель, который видит рапсода стоящим перед ним и слышит только одно произведение за раз, вообще не думает об этом. По отношению к фигурам, которые поэт находил готовыми для себя, его чувство было двоякого рода; его гуманистическая культура протестовала против их средневекового

характера, а их поединки, как аналоги битв и турниров эпохи самого поэта, демонстрировали все его знания и художественную силу, в то же время они пробуждали в декламаторе все самые высокие качества. Даже в "Пульчи",^[731] соответственно, мы не находим, строго говоря, пародии на рыцарство, хотя грубый юмор его паладинов временами приближается к нему. Рядом с ними стоит идеал драчливости — забавный и жизнерадостный Морганте, который повелевает целыми армиями с помощью своего колокольчика и который сам выделяется на фоне гротескного и интереснейшего монстра Маргутте. И все же Пульчи не придает особого значения этим двум грубым и энергичным персонажам, и его история еще долго после того, как они исчезли из нее, продолжает идти своим необычным чередом. Бохардо^[732] обращается со своими персонажами с таким же мастерством, используя их в серьезных или комических целях, как ему заблагорассудится; он развлекается даже со сверхъестественными существами, которых иногда намеренно изображает хамами. Но есть одна художественная цель, которую он преследует так же серьезно, как и Пульчи, а именно, живое и точное описание всего, что происходит в будущем. Пульчи декламировал свои стихи по мере того, как была закончена одна книга за другой, в обществе Лоренцо Магнifico, и точно так же Бохардо декламировал свои при дворе Геркулеса Феррарского. Нетрудно представить, какого совершенства требовала такая аудитория и как мало благодарности заслужил бы поэт за глубокое раскрытие характера. При таких обстоятельствах стихотворения, естественно, не составляли полного целого и с таким же успехом могли бы быть вдвое или вдвое длиннее, чем сейчас. Их композиция напоминает не великую историческую картину, а скорее фриз или какую-нибудь богатую гирлянду, переплетенную с группами живописных фигур. И точно так же, как в фигурах или завитках фриза мы не ищем тонкости исполнения отдельных форм или отдаленных перспектив и разных плоскостей, так и от этих стихотворений мы не должны ожидать ничего подобного.

Разнообразие изобретательности, которое постоянно поражает нас, больше всего в случае с Бохардо, оборачивается насмешкой над всеми нашими школьными определениями сущности эпической поэзии. Для той эпохи эта форма литературы была наиболее приятным отвлечением от археологических исследований и, по сути, единственно возможным средством восстановления независимого класса повествовательной поэзии. Ибо стихосложение древней истории могло привести лишь к ложным следам, которые были проложены Петраркой в его "Африке", написанной латинскими гекзаметрами, и сто пятьдесят лет спустя Триссино в его "Италии, освобожденной от готов", написанной "versi sciolti" — бесконечной поэме с безупречным языком и стихосложением, которая только заставляет нас усомниться в том, что несчастливый союз был самым пагубным для истории или для поэзии.^[733]

И куда же подевался пример Данте для тех, кто ему подражал? Визионерские 'Трионфи' Петрарки были последними произведениями, написанными под этим влиянием и удовлетворяющими нашему вкусу. "Любовное видение" Боккаччо - это, по сути, не более чем перечисление исторических или сказочных персонажей, сгруппированных по аллегорическим категориям.^[734] Другие предваряют то, что они хотят рассказать, барочной имитацией первой песни Данте и приводят какое-нибудь аллегорическое сравнение, чтобы занять место Вергилия. Уберти, например, выбрал Солина для своей географической поэмы "Диттамондо", а Джованни Санти, Плутарх, — для своего восхваления Фридриха Урбинского.^[735] Единственным спасением того времени от этих ложных тенденций была новая эпическая поэзия, которую представляли Пульчи и Бохардо. Восхищение и любопытство, с которыми она была воспринята и подобные которым, возможно, никогда больше не выпадут на долю эпической поэзии до окончания веков, являются блестящим доказательством того, насколько велика была в ней

потребность. Бесплезно спрашивать, реализован ли в этих произведениях тот эпический идеал, который наши дни сформировали из Гомера и "Нибелунгов", или нет; идеал их собственной эпохи, несомненно, был. Своими бесконечными описаниями сражений, которые для нас являются самой утомительной частью этих стихотворений, они удовлетворяли, как мы уже говорили, практический интерес, о котором нам трудно составить справедливое представление[736]— на самом деле, так же трудно, как и уважение, с которым тогда относились к живому и верному отражению проходящего момента.

К Ариосто также нельзя применить более неподходящий критерий, чем степень, в которой его "Орlando Фуриозо"[737] служит для представления характера. Персонажи, действительно, есть, и нарисованы они с нежной тщательностью; но эффект стихотворения не зависит от них, и он скорее проиграл бы, чем выиграл, если бы им уделялось больше внимания. Но спрос на них является частью более широкого желания, которое Ариосто не смог удовлетворить так, как хотелось бы в наши дни. От поэта с такой известностью и такими могучими способностями мы бы с радостью получили что-нибудь получше, чем "Приключения Орlando". От него мы могли бы ожидать произведения, выражающего глубочайшие конфликты человеческой души, высочайшие мысли его времени о человеческом и божественном — словом, одного из тех высочайших синтезов, подобных "Божественной комедии" или "Фаусту". Вместо этого он берется за работу подобно художникам-пластикам своего времени, не заботясь об оригинальности в нашем смысле этого слова, просто воспроизводя знакомый круг фигур и даже, когда это соответствует его целям, используя детали, оставленные ему предшественниками. Совершенство, которого, несмотря на все это, все же можно достичь, будет тем более непонятным для людей, рожденных без художественного чутья, чем более образованными и интеллигентными они будут в других отношениях. Художественная цель Ариосто - блестящее, живое действие, которое он равномерно распределяет по всей своей великой поэме. Для этого его нужно освободить не только от всякого более глубокого выражения характера, но и от поддержания какой-либо строгой связи в его повествовании. Ему должно быть позволено брать за утерянные и забытые нити, когда и где ему заблагорассудится; его герои должны приходить и уходить не потому, что это их характер, а потому, что этого требует история. И все же в этом явно иррациональном и произвольном стиле композиции он демонстрирует гармоничную красоту, никогда не теряясь в описаниях, но давая только такой набросок сцен и лиц, который не мешает плавному движению повествования. Еще меньше он теряется в беседе и монологе,[738] но сохраняет высокую привилегию истинного эпоса, превращая все в живое повествование. Его пафос не заключается в словах,[739] даже в знаменитой двадцать третьей и последующих песнях, где описывается безумие Роланда. То, что любовные истории в героической поэме лишены всякой лирической нежности, следует считать достоинством, хотя с моральной точки зрения их не всегда можно одобрить. И все же временами они полны такой правды и реальности, несмотря на всю магию и романтику, которые их окружают, что мы могли бы подумать, что это личные дела самого поэта. В полном сознании собственной гениальности он без колебаний вплетает в поэму события своего собственного времени и воспевае славу дома Эсте в видениях и пророчествах. Чудесный поток его октав несет все это вперед в ровном и величественном движении.

Благодаря Теофило Фоленго, или, как он здесь называет себя, Лимерно Питокко, пародия на всю рыцарскую систему достигла цели, к которой так долго стремилась.[740] Но здесь комедия с ее реалистичностью по необходимости потребовала более строгого описания персонажа. Подвергнутый грубому обращению полудиких уличных мальчишек в провинциальном римском

городке Сутри, маленький Орlando на наших глазах вырастает в героя, ненавистника священников и спорщика. Условный мир, который был признан со времен Пульчи и служил основой для эпоса, здесь разваливается на куски. Происхождение и положение паладинов открыто высмеивается, как в "Турнире ослов" во второй книге, где рыцари появляются с самым нелепым вооружением. Поэт высказывает свои иронические сожаления по поводу необъяснимого неверия, которое, по-видимому, укоренилось в доме Гано из Майнца, по поводу нелегкого приобретения меча Дуриндана и так далее. Традиция, по сути, служит ему лишь основой для эпизодов, нелепых фантазий, намеков на события того времени (среди которых некоторые, например, завершение главы vi, чрезвычайно хороши) и неприличных шуток. В сочетании со всем этим безошибочно определенная насмешка над Ариосто, и "Орlando Фуриозо" повезло, что "Орландино" с его лютеранскими ересьями вскоре был устранен инквизицией. Пародия очевидна, когда (cap. v. str. 28) дом Гонзага происходит от паладина Гвидоне, поскольку Колонна утверждал, что Орlando, Орсини Ринальдо и дом Эсте — согласно Ариосто—Руджеро - были их предками. Возможно, Ферранте Гонзага, покровитель поэта, был причастен к этому сарказму в адрес дома Эсте.

То, что в 'Освобожденном Иерусалиме' Торквато Тассо обрисовка характера является одной из главных задач поэта, доказывает лишь то, насколько сильно его образ мыслей отличался от господствовавшего полвека назад. Его замечательная работа является подлинным памятником контрреформации, которая тем временем завершилась, а также духа и тенденции этого движения.

ГЛАВА V.

БИОГРАФИЯ.

И за пределами поэзии итальянцы были первыми из всех европейских народов, кто проявил какую-либо замечательную способность и склонность точно описывать человека так, как это показано в истории, в соответствии с его внутренними и внешними характеристиками.

Верно, что в Средние века предпринимались значительные попытки в том же направлении; и церковные легенды, как своего рода постоянная биографическая задача, должны были в какой-то степени поддерживать живой интерес и дар к таким описаниям. В летописях монастырей и соборов многие церковники, такие как Майнверк Падерборнский, Годехард Кильдесхаймский и другие, живо предстают перед нашими глазами; существуют описания нескольких германских императоров, составленные по образцу старых авторов, особенно Светония, которые содержат замечательные черты. Действительно, эти и другие светские 'жизнеописания' появились со временем, чтобы сформировать непрерывный аналог священных легенд. И все же ни Эйнхард, ни Радевичус[741] не могут быть названы рядом с изображением Святого Людовика Жуанвиля, которое, безусловно, стоит почти особняком как первый полный духовный портрет современной европейской природы. Такие персонажи, как Сент-Луис, редки во все времена, и ему повезло в том, что искренний и наивный наблюдатель уловил дух всех событий и поступков его жизни и превосходно изобразил его. Из каких скудных источников нам остается строить догадки о внутренней природе Фридриха II. или Филиппа Красивого. Многие из того, что до конца средневековья считалось биографией, собственно говоря, не что иное, как современное повествование, написанное без какого-либо понимания того, что является индивидуальным в предмете мемуаров.

Напротив, среди итальянцев преобладающей тенденцией был поиск характерных черт выдающихся людей; и именно это отличает их от других западных народов, среди которых происходит то же самое, но редко и в исключительных случаях. Этот острый взгляд на индивидуальность присущ только тем, кто вышел из полубессознательной жизни расы и сам стал индивидуальностью.

Под влиянием преобладающей концепции славы (стр. 139, кв.) Возникло искусство сравнительной биографии, которое больше не считало нужным, как Анастасий,[742] Агнелл,[743] и их преемники, или, подобно биографам венецианских дождей, придерживаться династической или церковной преемственности. Она чувствовала себя свободной описывать человека, если и потому что он был замечательным. В качестве моделей были взяты Светоний, Непот ("вири иллюстраций") и Плутарх, насколько он был известен и переведен; для очерков истории литературы жизнеописания грамматиков, риторов и поэтов, известные нам как "Приложения" к Светонию,[744], похоже, послужили образцами, а также широко читаемое "Жизнеописание Вергилия" Доната.

Уже упоминалось, что биографические сборники — жизнеописания знаменитых мужчин и знаменитых женщин — начали появляться в четырнадцатом веке (с. 146). Там, где они не описывают современников, они, естественно, зависят от более ранних повествований. Первое крупное оригинальное произведение - "Жизнь Данте" Боккаччо. Написанная легко и риторически, полная произвольных фантазий, эта работа, тем не менее, дает нам живое представление об экстраординарных чертах характера Данте.[745] Затем следует, в конце четырнадцатого века, "Житие" прославленных флорентийцев Филиппо Виллани. Это люди всех профессий: поэты, юристы, врачи, ученые, художники, государственные деятели и солдаты, некоторые из них тогда еще были живы. К Флоренции здесь относятся как к одаренной семье, в которой замечены все члены, в ком энергично проявляется дух дома. Описания кратки, но демонстрируют замечательное внимание к тому, что характерно, и заслуживают внимания тем, что включают внутреннюю и внешнюю физиономию в один и тот же набросок.[746] С тех пор[747] Тосканцы никогда не переставали считать, что описание человека входит в их особую компетенцию, и им мы обязаны самыми ценными портретами Итальянцы пятнадцатого и шестнадцатого веков. Джованни Кавальканти в приложениях к своей флорентийской истории, написанной до 1450 года,[748] собирает примеры гражданской добродетели и отречения, политической проницательности и военной доблести, проявленные флорентийцами. Пий II. дает нам в своих "Комментариях" ценные портреты знаменитых современников; и не так давно была переиздана отдельная работа его ранних лет,[749], которая кажется подготовительной к этим портретам, но имеет очень необычные цвета и черты. Якобу Вольтеррскому мы обязаны пикантными зарисовками членов Курии[750] во времена Сикста IV. На Веспасиано Фиорентино уже часто ссылались, и как историческому авторитету ему должно быть отведено высокое место; но его дар как художника характеров не идет ни в какое сравнение с даром Макиавелли, Никколо Валори, Гвиччардини, Варки, Франческо Веттори и других, которые, вероятно, оказали такое же влияние на европейскую историю в этом направлении, как и древние. Не следует забывать, что некоторые из этих авторов вскоре попали в северные страны благодаря латинским переводам. И без Джорджо Вазари из Ареццо и его важнейшей работы у нас, возможно, по сей день не было бы истории северного искусства или искусства современной Европы вообще.[751]

Среди биографов Северной Италии XV века Бартоломео Фацио из Специи занимает высокое положение (с. 147). Платина, родившийся на территории Кремоны, приводит нам в своей "Жизни Павла II" (стр. 231) примеры биографических карикатур. Описание последнего Висконти, [752], написанное Пирсандидо Декабрио — увеличенной имитацией Светония — имеет особое значение. Сисмонди сожалеет, что столько сил было потрачено на столь недостойный объект, но автор вряд ли смог бы иметь дело с более великим человеком, в то время как он был полностью компетентен, чтобы описать неоднозначную натуру Филиппо Марии и с ее помощью с точностью представить условия, формы и последствия этого особого вида деспотизма. Картина пятнадцатого века была бы неполной без этой уникальной биографии, которая характерна вплоть до мельчайших деталей. Впоследствии у Милана появился, в лице историка Корио, превосходный художник-портретист; а после него пришел Паоло Джовио из Комо, чьи более обширные биографии и более короткие 'Элогии' приобрели всемирную известность и стали образцами для будущих писателей во всех странах. Легко доказать сотней отрывков, насколько поверхностным и даже нечестным он был; да и от такого человека, как он, нельзя ожидать каких-либо высоких и серьезных целей. Но дыхание эпохи ощущается на его страницах, и его Лео, его Альфонсо, его Помпео Колонна живут и действуют перед нами с такой совершенной правдивостью и реальностью, что мы, кажется, допущены в самые глубокие уголки их натуры.

Среди неаполитанских писателей Тристано Караччоло (стр. 36), насколько мы можем судить, бесспорно, занимает первое место в этом отношении, хотя его цель не была строго биографической. В фигурах, которые он представляет нам, удивительным образом переплетаются вина и судьба. Он своего рода бессознательный трагик. Та подлинная трагедия, которой тогда не нашлось места на сцене, 'пронеслась' по дворцу, улице и площади. "Слова и деяния Альфонсо Великого", написанные Антонио Панормитой [753] при жизни короля и, следовательно, демонстрирующие больше духа лести, чем соответствует исторической правде, замечательны как один из первых подобных сборников анекдотов и мудрых и остроумных высказываний.

Остальная Европа последовала примеру Италии в этом отношении, но медленно, [754] хотя великие политические и религиозные движения разбили так много групп и пробудили так много тысяч людей к новой духовной жизни. Итальянцы, будь то ученые или дипломаты, в целом по-прежнему оставались лучшим источником информации о характерах ведущих людей всей Европы. Хорошо известно, как быстро и единодушно в последнее время отчеты венецианских посольств в шестнадцатом и семнадцатом веках были признаны авторитетными источниками первого порядка для личного описания. [755] Даже автобиография то тут, то там в Италии совершает смелый и энергичный взлет и представляет перед нами, наряду с самыми разнообразными происшествиями внешней жизни, поразительные откровения внутреннего человека. Среди других народов, даже в Германии времен Реформации, она имеет дело только с внешним опытом и оставляет нас гадать о внутреннем духе по стилю повествования. [756] Кажется, что 'Новая жизнь' Данте с присущей ей неумолимой правдивостью указала его народу путь.

Зачатки автобиографии прослеживаются в семейных историях четырнадцатого и пятнадцатого веков, которые, как говорят, не редкость в виде рукописей во флорентийских библиотеках — незатронутых повествований, написанных ради человека или его семьи, как у Буонаккорсо Питти.

В 'Комментариях' Пия II не следует искать глубокого самоанализа. То, что мы здесь узнаем о нем как о человеке, на первый взгляд, в основном ограничивается отчетом, который он дает о различных этапах своей карьеры. Но дальнейшее размышление приведет нас к другому выводу относительно этой замечательной книги. Есть люди, которые по своей природе являются зеркалами того, что их окружает. Было бы неуместно постоянно расспрашивать об их убеждениях, их духовной борьбе, их сокровенных победах и достижениях. Эней Сильвий жил исключительно ближайшими интересами, не беспокоясь о проблемах и противоречиях жизни. Его католическая ортодоксальность оказывала ему всю необходимую помощь такого рода. И в любом случае, приняв участие во всех интеллектуальных движениях, интересовавших его эпоху, и заметно продвинув некоторые из них, он все же в конце своего земного пути сохранил достаточно характера, чтобы проповедовать крестовый поход против турок и умереть от горя, когда это ни к чему не привело.

Автобиография Бенвенуто Челлини, так же как и автобиография Пия II, основана не на самоанализе. И все же она описывает человека в целом — не всегда охотно — с поразительной правдивостью и полнотой. Немаловажно, что Бенвенуто, чьи самые важные работы погибли наполовину законченными, и который как художник совершенен только в своей небольшой декоративной специальности, но в других отношениях, если судить по сохранившимся его работам, превзойден столь многими из своих великих современников — что Бенвенуто как человек будет интересовать человечество до конца времен. Читатель не портит впечатления, когда часто обнаруживает, что он хвастается или лжет; остается впечатление могучей, энергичной и всесторонне развитой натуры. Рядом с ним наши северные автобиографы, хотя их склонности и моральный облик могут быть гораздо выше, кажутся несовершенными существами. Это человек, который может все и осмеливается делать все, и который несет свою меру в себе.^[757] Нравится он нам или нет, он живет таким, каким был, как значительный тип современного духа.

Еще один человек заслуживает краткого упоминания в связи с этой темой — человек, который, как и Бенвенуто, не был образцом правдивости: Джироламо Кардано из Милана (р. 1500). Его небольшая книга "О собственности жизни"^[758] переживет и затмит его славу в философии и естествознании, точно так же, как жизнь Бенвенуто, хотя ее ценность иного рода, отбросила его работы в тень. Кардано - врач, который чувствует свой собственный пульс и описывает свою собственную физическую, моральную и интеллектуальную природу вместе со всеми условиями, в которых она развивалась, и делает это, насколько это в его силах, честно и искренно. Труд, который он открыто взял за образец, — 'Исповедь' Марка Аврелия, — он смог превзойти в этом отношении, хотя ему и не мешали никакие стоические максимы. Он не желает щадить ни себя, ни других и начинает рассказ о своей карьере с заявления о том, что его мать пыталась сделать аборт, но безуспешно. Стоит отметить, что он приписывает звездам, которые определили его рождение, только события его жизни и его интеллектуальные способности, но не его моральные качества; он признается (глава 10), что астрологическое предсказание о том, что он не доживет до сорока или пятидесяти лет, сильно навредило ему в юности. Но нет необходимости цитировать столь хорошо известную и доступную книгу; кто бы ни открыл ее, он не отложит ее до последней страницы. Кардано признает, что жульничал в игре, что был мстителен, не способен ни на какие угрызения совести, намеренно жесток в своей речи. Он признается в этом без дерзости и притворного раскаяния, даже не желая стать объектом интереса, но с той же простой и искренней любовью к фактам, которая руководила им в его научных изысканиях. И,

что для нас самое отталкивающее из всего, старик после самых шокирующих переживаний^[759] и после того, как его уверенность в своих близких исчезла, он, в конце концов, чувствует себя вполне счастливым и довольным. Он все еще оставил ему внука, огромную ученость, славу своих трудов, деньги, положение и кредит, могущественных друзей, знание многих секретов и, самое главное, веру в Бога. После этого он пересчитывает зубы у себя в голове и обнаруживает, что у него их пятнадцать.

Однако, когда Кардано писал, инквизиторы и испанцы уже были заняты в Италии, либо препятствуя производству таких существ, либо, там, где они существовали, тем или иным способом устраняя их с пути. Между этой книгой и мемуарами Альфиери лежит пропасть.

И все же было бы несправедливо закрывать этот список автобиографов, не выслушав ни слова от одного человека, который был одновременно достойным и счастливым. Это известный философ практической жизни Луиджи Корнаро, чье жилище в Падуе, классическое как архитектурное произведение, было в то же время домом всех муз. В своем знаменитом трактате "О трезвой жизни",^[760] он описывает строгий режим, благодаря которому ему удалось после болезненной юности достичь преклонного и здорового возраста, которому тогда было восемьдесят три года. Далее он отвечает тем, кто презирает жизнь после шестидесяти пяти лет как смерть заживо, показывая им, что в его собственной жизни не было ничего смертельного. 'Пусть они придут и посмотрят, и удивятся моему крепкому здоровью, тому, как я сажусь верхом без посторонней помощи, как бегаю по лестницам и холмам, насколько я весел, забавен и доволен, насколько свободен от забот и неприятных мыслей. Покой и радость никогда не покидали меня.... Мои друзья - мудрые, образованные и выдающиеся люди с хорошим положением, и когда их нет со мной, я читаю и пишу и стараюсь таким образом, как и всеми другими способами, быть полезным другим. Каждую из этих вещей я делаю в свое время и непринужденно, в своем доме, который прекрасен и находится в лучшей части Падуи, и устроен как для лета, так и для зимы со всеми архитектурными изысками, и снабжен садом у проточной воды. Весной и осенью я ненадолго уезжаю на свой холм в самой красивой части Эуганских гор, где у меня есть фонтаны, сады и удобное жилище; и там я развлекаю себя какой-нибудь легкой и приятной охотой, соответствующей моим годам. В другое время я хожу на свою виллу на равнине;^[761] там все тропинки ведут к открытому пространству, посреди которого стоит симпатичная церковь; рукав Brenty протекает через плантации — плодородные, хорошо возделанные поля, ныне полностью заселенные, которые болота и затхлый воздух когда-то сделали более пригодными для змей, чем для людей. Это я осушил страну; затем воздух стал хорошим, и люди поселились там и размножились, а земля стала возделываться такой, какая она есть сейчас, так что я могу искренне сказать: "На этом месте я воздвиг Богу алтарь и храм и души для поклонения Ему". Это мое утешение и мое счастье всякий раз, когда я прихожу сюда. Весной и осенью я также посещаю соседние города, чтобы повидаться и побеседовать со своими друзьями, через которых я знакомлюсь с другими выдающимися людьми, архитекторами, художниками, скульпторами, музыкантами и земледельцами. Я вижу, что нового они сделали, я снова смотрю на то, что я уже знаю, и узнаю много полезного для себя. Я вижу дворцы, сады, предметы старины, общественные территории, церкви и укрепления. Но что больше всего восхищает меня, когда я путешествую, так это красота страны и городов, раскинувшихся то на равнине, то на склонах холмов, то на берегах рек и ручьев, окруженных садами и виллами. И эти удовольствия не уменьшаются из-за слабости глаз или ушей; все мои чувства (слава Богу!) находятся в наилучшем состоянии, включая чувство вкуса; ибо мне больше

нравится простая пища, которую я сейчас ем в умеренных количествах, чем все деликатесы, которые я ел в годы моего беспорядка".

После упоминания работ, которые он предпринял от имени республики по осушению болот, и проектов, которые он постоянно отстаивал для сохранения лагун, он таким образом заключает:—

‘Это истинное воссоздание старости, которой Бог позволил быть здоровой и которая свободна от тех душевных и телесных страданий, которым подвержены так много молодых людей и так много болезненных пожилых людей. И если позволительно добавить малое к великому, шутку к серьезности, то в результате моей умеренной жизни можно отметить, что на восемьдесят третьем году жизни я написал забавнейшую комедию, полную безупречного остроумия. Такие произведения, как правило, удел молодежи, как трагедия - удел старости. Если к чести знаменитого грека следует отнести то, что он написал трагедию на семьдесят третьем году жизни, то не должен ли я, имея на десять лет больше, быть более жизнерадостным и здоровым, чем он когда-либо был? И чтобы не было недостатка в утешении в переполненной чаше моей старости, я вижу перед своими глазами своего рода телесное бессмертие в лицах моих потомков. Когда я прихожу домой, я вижу перед собой не одного или двух, а одиннадцать внуков в возрасте от двух до восемнадцати лет, все от одних и тех же отца и матери, все здоровые и, насколько уже можно судить, все одарены талантом и склонностью к учебе и хорошей жизни. Один из младших у меня товарищ по играм (буффончело), поскольку дети с третьего по пятый год рождаются для трюков; к старшим я отношусь как к своим товарищам, и, поскольку у них замечательные голоса, я получаю удовольствие, слушая, как они поют и играют на разных инструментах. И я пою сам, и нахожу свой голос лучше, чище и громче, чем когда-либо. Это удовольствие моих последних лет. Следовательно, моя жизнь жива, а не мертва; и я не променял бы свой возраст на молодость тех, кто живет на службе своим страстям.

В ‘Наставлении’, которое Корнаро добавил гораздо позже, на девяносто пятом году жизни, он относит к числу составляющих своего счастья то, что его ‘Трактат’ привлек многих новообращенных. Он умер в Падуе в 1565 году в возрасте более ста лет.

ГЛАВА VI.

ОПИСАНИЕ НАЦИЙ И ГОРОДОВ.

ЭТОТ национальный дар, однако, не ограничивался критикой и описанием отдельных людей, но чувствовал себя компетентным иметь дело с качествами и характеристиками целых народов. На протяжении средневековья города, семьи и нации всей Европы имели привычку делать оскорбительные и ироничные выпады друг в друга, которые, несмотря на большую карикатурность, обычно содержали зерно истины. Но с самого начала итальянцы превзошли всех остальных в своем быстром понимании ментальных различий между городами и населением. Их местный патриотизм, вероятно, более сильный, чем у любого другого средневекового народа, вскоре нашел выражение в литературе и объединился с современной концепцией "Славы". Топография стала аналогом биографии (стр. 145); в то время как все более важные города начали восхвалять себя в прозе и стихах,^[762] появились писатели, которые сделали главные города и районы отчасти предметом серьезного обсуждения. сравнительное описание, частично сатирическое, а иногда и репортажных, в которых нелегко отличить шутку

от серьезности. В первую очередь следует упомянуть Брунетто Латини. Помимо своей собственной страны, он знал Францию по семилетнему пребыванию и приводит длинный список характерных различий в костюме и образе жизни французов и итальянцев, отмечая разницу между монархическим правительством Франции и республиканской конституцией итальянских городов.[763] После этого, рядом с некоторыми известными отрывками из 'Божественной комедии', идет "Диттамондо" Уберти (около 1360 года). Как правило, здесь упоминаются только отдельные примечательные факты и характеристики: Пир ворон в Сант-Аполлинаре в Равенне, источники в Тревизо, большой погреб близ Виченцы, высокие пошлины в Мантуе, лес башен в Лукке. Однако вперемешку со всем этим мы находим хвалебную и сатирическую критику любого рода. Ареццо ассоциируется с коварным нравом своих граждан, Генуя - с искусственно подбитыми глазами и зубами (?) своих женщин, Болонья - с ее расточительностью, Бергамо - с его грубым диалектом и твердолобыми людьми.[764] В пятнадцатом веке было модно хвалить свой собственный город, даже за счет других. Микеле Савонарола допускает, что по сравнению с его родной Падуей только Рим и Венеция более великолепны, а Флоренция, возможно, более радостна[765]— чем наши знания, естественно, не сильно расширяются. В конце века Иовиан Понтанус в своем 'Антонии' описывает воображаемое путешествие по Италии просто как средство для злонамеренных наблюдений. Но в шестнадцатом веке мы встречаемся с серией точных и глубоких исследований национальных особенностей, с которыми не мог соперничать ни один другой народ того времени.[766] Макиавелли в некоторых своих ценных эссе описывает характер и политическое положение немцев и французов таким образом, что прирожденный северянин, знакомый с историей своей страны, благодарен флорентийскому мыслителю за его озарения. Флорентийцы (стр. 71 кв.) начинают получать удовольствие от описания самих себя;[767] и, купаясь в заслуженном солнечном свете своей интеллектуальной славы, их гордость, кажется, достигает своего апогея, когда они извлекают художественное превосходство Тосканы среди итальянцев не из каких-то особых даров природы, а из тяжелого терпеливого труда.[768] Дань уважения знаменитым людям из других частей Италии, великолепным примером которых является шестнадцатая капитолия Ариосто, они приняли как заслуженную дань их превосходству.

Замечательное описание итальянцев с их разнообразными занятиями и характерными чертами, хотя и в нескольких словах и с особым упором на Луккезе, которому была посвящена эта работа, было дано Ортензио Ланди, который, однако, так любит играть в прятки со своим собственным именем и небрежно оперировать историческими фактами, что даже когда он кажется наиболее серьезным, его следует воспринимать с осторожностью и только после тщательного изучения.[769] Тот же Ланди опубликовал анонимный "Комментарий" примерно десять лет спустя,[770] который содержит среди множества глупостей немало ценных намеков на плачевное разрушенное состояние Италии в середине столетия.[771] Леондро Альберти[772] не так плодотворен, как можно было ожидать, в его описании характера разных городов.

Мы не можем точно сказать, в какой степени это сравнительное изучение национальных и местных особенностей с помощью итальянского гуманизма могло повлиять на остальную Европу. Во всяком случае, Италии принадлежит приоритет в этом отношении, как и в описании мира в целом.

ГЛАВА VII.

ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ЧЕЛОВЕКА.

НО открытия, сделанные в отношении человека, не ограничивались духовными характеристиками отдельных людей и наций; его внешний вид был в Италии предметом совершенно иного интереса, чем тот, который проявляли к ней северные народы.[773]

О позиции, занимаемой великими итальянскими врачами по отношению к прогрессу физиологии, мы не осмеливаемся говорить; а художественное изучение человеческой фигуры относится не к произведению, подобному настоящему, а к истории искусства. Но здесь следует кое-что сказать о том всеобщем воспитании глаз, которое делало суждения итальянцев о телесной красоте или уродстве совершенными и окончательными.

Внимательно читая итальянских авторов того периода, мы поражаемся остроте и точности, с которыми описываются внешние черты, и полноте, с которой описывается внешность человека в целом.[774] Даже сегодня итальянцы, и особенно римляне, владеют искусством набрасывать портрет человека в двух словах. Это быстрое восприятие того, что является характерным, является необходимым условием для обнаружения и представления прекрасного. Правда, в поэзии подробное описание может быть недостатком, а не достоинством, поскольку одна-единственная черта, подсказанная глубокой страстью или проницательностью, часто вызывает у читателя гораздо более сильное впечатление от описываемой фигуры. Нигде Данте не дает нам более великолепного представления о своей Беатриче, чем там, где он всего лишь описывает влияние, которое она оказывает на все вокруг. Но здесь мы должны говорить не конкретно о поэзии, которая следует своим собственным законам и преследует свои собственные цели, а скорее об общей способности изображать словами реальные или воображаемые формы.

В этом Боккаччо мастер - не в 'Декамероне', где характер сказок запрещает пространные описания, а в романах, где он волен не торопиться. В своем "Ameto"[775] он описывает блондинку и брюнетку так, как их нарисовал бы художник сто лет спустя — ибо и здесь культура задолго до искусства. В рассказе брюнетки — или, строго говоря, менее светловолосой из них двоих — есть штрихи, которые заслуживают того, чтобы их назвали классическими. В словах "la spaziosa testa e distesa" заложено стремление к более величественным формам, которые выходят за рамки изящной привлекательности; брови у него больше не напоминают две дуги, как в византийском идеале, а единую волнистую линию; нос, кажется, должен был быть орлиным;[776] широкая, полная грудь, руки средней длины эффект красивой руки, лежащей на пурпурной мантии, — все это одновременно предвещает ощущение красоты грядущего времени и подсознательно приближается к ощущению классической древности. В других описаниях Боккаччо упоминает плоский (не средневеково закругленный) лоб, длинный, серьезный карий глаз и круглую, а не впалую шею, а также — в очень современном тоне — "маленькие ножки" и "два плутоватых глаза" черноволосой нимфы.[777]

Оставил ли пятнадцатый век какие-либо письменные свидетельства о своем идеале красоты, я не могу сказать. Работы художников и скульпторов не делают такое описание излишним, как может показаться на первый взгляд, поскольку, возможно, в противовес их реализму авторы предпочли бы более идеальный типаж и сохранили его.[778] В XVI векетури Фиренцуола

выступил со своей замечательной работой о женской красоте.[779] Мы должны четко различать в нем то, чему он научился у старых авторов или у художников, например, установлению пропорций в соответствии с длиной головы и определенным абстрактным концепциям. То, что осталось, - это его собственное подлинное наблюдение, проиллюстрированное примерами женщин и девочек из Прато. Поскольку его маленькая работа представляет собой своего рода лекцию, прочитанную перед женщинами этого города — то есть перед очень суровыми критиками, — он, должно быть, был довольно близок к истине. Его принцип, по общему признанию, совпадает с принципом Зевксиса и Люциана — собрать идеальную красоту из множества прекрасных частей. Он определяет оттенки цвета, которые встречаются в волосах и коже, и отдает предпочтение "biondo", как самому красивому цвету для волос,[780] понимая под ним мягкий желтый цвет с переходом в коричневый. Он требует, чтобы волосы были густыми, длинными и вьющимися; лоб безмятежным и в два раза шире высокого; кожа яркой и прозрачной (candida), но не мертвенно-белой (bianchezza); брови темными, шелковистыми, наиболее ярко выраженными посередине и переходящими в тень к ушам и носу; белки глаз, слегка тронутые голубизной, радужная оболочка на самом деле не черная, хотя все поэты восхваляют "occhi neri" как дар Венеры, несмотря на то, что даже богини были известны своими глазами небесно-голубого цвета и этим мягким оттенком. радостные карие глаза вызывали всеобщее восхищение. Сам глаз должен быть большим, полным и выдвинут далеко вперед; веки белыми, с почти невидимыми крошечными красными прожилками; ресницы не должны быть ни слишком длинными, ни слишком густыми, ни слишком темными. Впадинка вокруг глаза должна быть того же цвета, что и щека.[781] Ушко, не слишком большое и не слишком маленькое, плотно и аккуратно посаженное, должно иметь более яркий цвет в обмотке, чем в ровных частях, с прозрачной румяной гранатной каймой. Виски должны быть белыми и ровными, и для большей красоты не должны быть слишком узкими. Румянец должен становиться глубже по мере округления щек. Нос, который в основном определяет величину профиля, должен плавно и равномерно опускаться по направлению к глазам; там, где хрящи заканчиваются, может быть небольшое возвышение, но не настолько выраженное, чтобы сделать нос орлиным, что неприятно у женщин; нижняя часть должна быть менее ярко окрашена, чем уши, но не холодной белизны, а средняя перегородка над губами слегка подкрашена красным. Рот у нашего автора был бы довольно маленьким, не выступающим заостренно и не совсем плоским, с губами не слишком тонкими и аккуратно прилегающими друг к другу; при случайном открывании, то есть когда женщина не разговаривает и не смеется, не должно быть видно более шести верхних зубов. В качестве деликатных деталей он упоминает ямочку на верхней губе, определенную полноту нижней губы, соблазнительную улыбку в левом уголке рта — и так далее. Зубы не должны быть слишком мелкими, правильными, хорошо отграниченными друг от друга и цвета слоновой кости; а десны не должны быть слишком темными или даже похожими на красный бархат. Подбородок должен быть круглым, не заостренным и не выгнутым наружу, и слегка краснеющим по мере подъема; его великолепие - ямочка. Шея должна быть белой, округлой и скорее длинной, чем короткой, с впадиной и Адамовым яблоком, но слабо обозначенными; а на коже при каждом движении должны быть приятные морщинки. Плечи он желает широкие, а в широте груди видит первое условие своей красоты. На нем не должно быть видно ни одной косточки, его опущение и набухание должны быть нежными и постепенными, его цвет "кандидиссимус". Нога должна быть длинной и не слишком твердой в нижней части, но все же не без мякоти на голени, которая должна быть снабжена белыми, полными икрами. Ему нравится, что ступня маленькая, но не костлявая, подъем (кажется) высокий, а цвет белый, как алебастр. Руки должны быть белыми, а в верхней

части окрашенными в красный цвет; по своей консистенции мясистыми и мускулистыми, но все еще мягкими, как у Паллады, когда она стояла перед пастухом на горе Ида, — словом, спелыми, свежими и упругими. Рука должна быть белой, особенно у запястья, но большой и пухлой, на ощупь мягкой, как шелк, розовая ладонь, отмеченная несколькими, но четкими и не замысловатыми линиями; возвышения на ней должны быть не слишком большими, пространство между большим и указательным пальцами ярко окрашено и без морщин, пальцы длинными, изящными и едва ли тоньше к кончикам, с чистыми, ровными ногтями, не слишком длинными и не слишком квадратными, и подстриженными так, чтобы виднелся белый край шириной с тыльную сторону ножа.

Эстетические принципы общего характера занимают весьма подчиненное место по сравнению с этими частностями. Высшие принципы красоты, согласно которым глаз судит о "senza appello", являются для Фиренцуолы тайной, в чем он откровенно признается; и его определения 'Leggiadria', "Grazia", 'Vaghezza', 'Venustà', 'Aria', "Maestà" отчасти, как уже было отмечено, филологические, а отчасти тщетные попытки выразить невыразимое. Смех он красиво определяет, вероятно, вслед за каким-нибудь старым автором, как сияние души.

В литературе всех стран на закате средневековья могут быть отдельные попытки сформулировать теоретические принципы красоты;[782] но никакая другая работа не может сравниться с работой Фиренцуолы. Брантом, пришедший на добрых полвека позже, является неуклюжим критиком, потому что руководствуется похотью, а не чувством прекрасного.

ГЛАВА VIII.

ОПИСАНИЯ ЖИЗНИ В ДВИЖЕНИИ.

В заключение среди новых открытий, сделанных в отношении человека, мы должны отметить интерес, проявляемый к описаниям повседневного хода человеческой жизни.

Комическая и сатирическая литература средневековья не могла обойтись без изображений повседневных событий. Но совсем другое дело, когда итальянцы эпохи Возрождения останавливались на этой картине ради нее самой - из присущего ей интереса — и потому, что она является частью той великой, универсальной жизни мира, волшебное дыхание которой они ощущали повсюду вокруг себя. Вместо сатирической комедии и вместе с ней, которая бродит по домам, деревням и улицам, ища пищу для своих насмешек у священника, крестьянина и бюргера, мы теперь видим в литературезачатки настоящего *жанра*, задолго до того, как он нашел какое-либо выражение в живописи. То, что *жанр* и сатира часто встречаются в единстве, не мешает им быть совершенно разными вещами.

За многими земными делами Данте, должно быть, наблюдал с пристальным интересом, прежде чем смог заставить нас увидеть собственными глазами все, что происходило в его духовном мире.[783] Знаменитые картины оживленного движения в венецианском арсенале, слепых, лежащих бок о бок перед дверью церкви,[784] и подобные, ни в коем случае не являются единственными примерами такого рода: искусство выражения сокровенной души внешним жестом, в котором он является мастером, не может существовать без пристального и непрерывного изучения человеческой жизни.

Последовавшие за ним поэты редко приближались к нему в этом отношении, а романистам первые законы их литературного стиля запрещали останавливаться на деталях. Их предисловия и повествования могли быть сколь угодно длинными, но то, что мы придерживаемся *жанра*, находилось за пределами их компетенции. Вкус к этому классу описаний не был полностью пробужден до времен возрождения античности.

И вот мы снова встречаемся с человеком, у которого было сердце ко всему — Энеасом Сильвиусом. Не только природная красота, не только то, что представляет интерес для антиквара или географа, находит место в его описаниях (с. 248; ii. с. 28), но и любая живая сцена повседневной жизни.[785] Среди многочисленных отрывков в его мемуарах, в которых описываются сцены, которые вряд ли кто-либо из его современников счел бы заслуживающими внимания, мы упомянем здесь только лодочные гонки на озере Больсена.[786] Мы не в состоянии определить, от какого старого писателя или рассказчика исходил импульс, которому мы обязаны столь реалистичными картинами. Действительно, все духовное общение между античностью и Возрождением полно деликатности и таинственности.

К этому классу принадлежат те описательные латинские поэмы, о которых мы уже говорили (стр. 262) — сцены охоты, путешествия, церемонии и так далее. В итальянском языке мы также находим нечто в том же роде, как, например, описания знаменитого турнира Медичи у Политиана и Луки Пульчи.[787] Настоящие эпические поэты, Луиджи Пульчи, Бохардо и Ариосто, увлекаются потоком своего повествования быстрее; однако во всех них мы должны признать легкость и точность их описательного подхода как один из главных элементов их величия. Франко Саккетти развлекается тем, что повторяет короткие речи группы хорошеньких женщин, застигнутых в лесу проливным дождем.[788]

Другие эпизоды движущейся жизни следует искать у военных историков (стр. 99). В длинном стихотворении,[789], относящемся к более раннему периоду, мы находим точную картину сражения солдат-наемников в четырнадцатом веке, главным образом в форме приказов, боевых кличей и диалогов, которыми оно сопровождается.

Но наиболее замечательными произведениями такого рода являются реалистические описания сельской жизни, которые в наибольшем изобилии встречаются у Лоренцо Магниifico и поэтов его круга.

Со времен Петрарки,[790] в моде был нереальный и условный стиль буколической поэзии, которая, будь то написанная на латыни или итальянском, по сути, была копией Вергилия. Параллельно с этим мы находим пасторальный роман Боккаччо (стр. 259) и другие произведения того же рода, вплоть до 'Аркадии' Санназаро, а еще позже - пасторальную комедию Тассо и Гуарини. Это произведения, стиль которых, будь то поэзия или проза, восхитительно закончен и совершенен, но в которых пасторальная жизнь является лишь идеальной оболочкой для чувств, принадлежащих к совершенно иной сфере культуры.[791]

Но наряду со всем этим к концу XV века в итальянской поэзии появились признаки более реалистичного отношения к деревенской жизни. За пределами Италии это было невозможно, ибо только здесь крестьянин, будь то рабочий или собственник, обладал человеческим достоинством, личной свободой и правом на поселение, какой бы тяжелой ни была иногда его участь в других отношениях.[792] Разница между городом и деревней здесь далеко не так заметна, как в северных странах. Многие небольшие городки населены почти исключительно

крестьянами, которые, возвращаясь домой с наступлением темноты с работы, превращаются в горожан. Каменщики Комо разбрелись почти по всей Италии; ребенок Джотто был волен оставить своих овец и вступить в гильдию во Флоренции; повсюду был людской поток, текущий из сельской местности в города, и некоторые горные жители, казалось, были рождены для пополнения этого потока.[793] Это правда, что гордость и местное самомнение давали поэтам и романистам множество мотивов для игры в "вилланов", [794] а то, что они оставили незавершенным, взяли на себя комические импровизаторы (стр. 320 кв.). Но нигде мы не находим и следа той жестокой и презрительной классовой ненависти к "вилланам", которая вдохновляла поэтов-аристократов Прованса, и часто тоже французскими хронистами. Напротив, [795] итальянские авторы всех мастей охотно признают и подчеркивают то, что является великим или примечательным в жизни крестьянина. Джовиано Понтано с восхищением упоминает примеры стойкости диких жителей Абруцци; [796] в биографических сборниках и у романистов мы встречаемся с фигурой героической крестьянки [797] которая рискует своей жизнью, чтобы защитить свою семью и свою честь. [798]

Такие условия сделали возможным поэтическое изображение сельской жизни. Первый пример, который мы упомянем, - это Баттиста Мантовано, чьи эклоги, когда-то много читавшиеся и до сих пор заслуживающие прочтения, появились среди его самых ранних работ около 1480 года. Они представляют собой смесь реальной и традиционной деревенской жизни, но преобладает первая. Они отражают образ мыслей благонамеренного деревенского священника, не лишённого определенной склонности к либеральным идеям. Будучи монахом-кармелитом, писатель, возможно, имел возможность свободно общаться с крестьянством. [799]

Но именно с силой совершенно иного рода Лоренцо Магнifico переносит себя в мир крестьян Своей "Ненсией ди Барберино" [800] звучит как собрание подлинных отрывков из популярных песен флорентийской страны, слившихся в огромный поток октав. Объективность писателя такова, что мы сомневаемся, вызывает ли у него сочувствие или насмешку говорящий — молодой крестьянин Валлера, который признается Ненсии в любви. Преднамеренный контраст с традиционной эклогой очевиден. Лоренцо намеренно отдается реализму простой, грубой деревенской жизни, и все же его работы производят на нас впечатление истинной поэзии.

"Бека да Дикомано" Луиджи Пульчи [801] является признанным аналогом 'Ненсии' Лоренцо. Но более глубокая цель - это желание. 'Бека' написан не столько из внутренней потребности дать картину народной жизни, сколько из желания завоевать одобрение образованного флорентийского мира удачным стихотворением. Отсюда большая и более нарочитая грубость сцен и неприличные шутки. Тем не менее, точка зрения простоватого влюбленного превосходно выдержана.

Третьим в этой компании поэтов идет Анджело Полициано со своим "Рустиком" [802] латинскими гекзаметрами. Избегая всякого подражания георгике Вергилия, он описывает год тосканского крестьянина, начиная с поздней осени, когда крестьянин готовит свой новый плуг и заготавливает семена на зиму. Картина весенних лугов полна и прекрасна, а в 'Лете' есть прекрасные пассажи; но осенний праздник сбора винограда - одна из жемчужин современной латинской поэзии. Политиан писал стихи как на итальянском, так и на латыни, из чего мы можем сделать вывод, что в кругу Лоренцо удалось дать реалистичную картину страстной жизни низших классов. Его "Песня о любви цыганки" [803] является одним из самых ранних продуктов этой совершенно современной тенденции ставить себя с поэтическим сознанием в положение

другого класса. Вероятно, это пытались сделать целую вечность с целью сатиры,[804] и возможность для этого предоставлялась во Флоренции на каждом карнавале "песнями маскеров". Но сочувственное понимание чувств другого класса было новым; и вместе с этим "Ненсия" и эта "Зингареская канцона" знаменуют новую отправную точку в истории поэзии.

Здесь мы также должны кратко указать, как культура подготовила путь для развития искусства. Со времен "Ненсии" до деревенской жанровой живописи Якопо Бассано и его школы прошло восемьдесят лет.

В следующей части этой работы мы покажем, как различия в рождении утратили свое значение в Италии. Многие из этого, несомненно, произошло благодаря тому факту, что здесь впервые были полностью и глубоко поняты люди. Этого единственного результата Возрождения достаточно, чтобы наполнить нас бесконечной благодарностью. Логическое представление о человечестве было достаточно старым — но здесь это понятие стало фактом.

Самые возвышенные концепции на эту тему были высказаны Пико делла Мирандолой в его речи о достоинстве человека,[805] которую можно по праву назвать одним из благороднейших завещаний той великой эпохи. Бог, говорит он нам, создал человека в конце творения, чтобы он знал законы Вселенной, любил ее красоту, восхищался ее величием. Он не привязывал его ни к определенному месту, ни к предписанной форме работы, ни к железной необходимости, но давал ему свободу воли и передвижения. 'Я поместил тебя,' говорит Творец Адаму, 'посреди мира, чтобы тебе было легче созерцать все, что в нем есть. Я создал тебя существом ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным только для того, чтобы ты мог свободно формировать себя и преодолевать себя. Ты можешь превратиться в зверя и родиться заново по божественному подобию. Животные приносят из тела своей матери то, что они будут носить с собой всю свою жизнь; высшие духи с самого начала или вскоре после этого являются[806] тем, кем они будут вечно. Только тебе дано расти и развиваться в зависимости от твоей собственной свободной воли. Ты несешь в себе зародыши вселенской жизни".

ЧАСТЬ V.

ОБЩЕСТВО И ФЕСТИВАЛИ.

ГЛАВА I.

УРАВНЕНИЕ КЛАССОВ.

КАЖДЫЙ период цивилизации, образующий целостное и непротиворечивое целое, проявляется не только в политической жизни, религии, искусстве и науке, но и накладывает свой характерный отпечаток на социальную жизнь. Таким образом, в Средние века были свои

придворные и аристократические манеры и этикет, мало отличавшиеся в различных странах Европы, а также свои особые формы жизни среднего класса.

Итальянские обычаи эпохи Возрождения в этом отношении представляют собой самый резкий контраст со средневековьем. Основа, на которой они покоятся, совершенно иная. Социальное общение в его высшей и наиболее совершенной форме теперь игнорировало все кастовые различия и основывалось просто на существовании образованного класса, как мы теперь понимаем это слово. Рождение и происхождение не имели никакого влияния, если только не сочетались с досугом и унаследованным богатством. Однако это утверждение не следует понимать в абсолютном и безоговорочном смысле, поскольку средневековые различия все еще иногда давали о себе знать в большей или меньшей степени, хотя бы как средство поддержания равенства с аристократическими притязаниями менее развитых стран Европы. Но основное течение того времени неуклонно шло к слиянию классов в современном смысле этого слова.

Жизненно важным был тот факт, что, несомненно, начиная с XII века, знать и бюргеры жили вместе в городских стенах.^[807] Таким образом, интересы и удовольствия обоих классов были идентифицированы, и феодал научился смотреть на общество с другой точки зрения, чем точка зрения его горного замка. Церковь также в Италии никогда не позволяла использовать себя, как в северных странах, в качестве средства обеспечения младших сыновей знатных семей. Епископства, аббатства и канонизмы часто присваивались из самых недостойных побуждений, но все же не в соответствии с родословными претендентов; и хотя епископы в Италии были более многочисленными, бедными и, как правило, лишеными всех суверенных прав, они все же жили в городах, где стояли их соборы, и составляли вместе со своими капитулами важный элемент культурного общества того места. В последовавшую за этим эпоху деспотов и абсолютных правителей у знати в большинстве городов были мотивы и досуг посвятить себя частной жизни (с. 131), свободной от политических опасностей и украшенной всем, что было элегантно и приятным, но в то же время едва отличимым от жизни богатого бюргера. И после времен Данте, когда новая поэзия и литература были в руках всей Италии,^[808] когда к этому добавилось возрождение древней культуры и новый интерес к человеку как таковому, когда успешный кондотьер стал принцем, и не только хорошее происхождение, но и законное рождение перестало быть необходимым для трона (стр. 21), вполне может показаться, что наступила эпоха равенства, и вера в благородство исчезла навсегда.

С теоретической точки зрения, когда апеллировали к античности, концепция благородства могла быть как оправдана, так и осуждена только Аристотелем. Данте, например,^[809] адаптирует аристотелевское определение: 'Благородство основывается на совершенстве и унаследованном богатстве', его собственное высказывание: 'Благородство основывается на личном совершенстве или на совершенстве предшественников'. Но в другом месте он не удовлетворен таким выводом. Он винит себя,^[810] потому что даже в Раю, разговаривая со своим предком Каччагидой, он упомянул о своем благородном происхождении, которое является всего лишь мантией, с которой время что-то срезает, если мы сами ежедневно не добавляем к ней свежести. И в "Convito"^[811] он отделяет "нобиле" и "нобилта" от всех условий рождения и отождествляет идею со способностью к моральному и интеллектуальному возвышению, делая особый акцент на высокой культуре, называя "нобилту" сестрой "философии".

И с течением времени, чем больше влияние гуманизма на итальянское сознание, тем тверже и распространеннее становилось убеждение, что рождение ничего не решает относительно доброты или порочности человека. В пятнадцатом веке это было преобладающее мнение. Поджио в своем диалоге "О благородстве", [812] соглашается со своими собеседниками — Никколо Никколи и Лоренцо Медичи, братом великого Козимо, — что нет другого благородства, кроме личных заслуг. Самые острые стрелы его насмешек направлены против многого из того, что вульгарные предрассудки считают необходимым для аристократической жизни. 'Человек тем дальше отходит от истинного благородства, чем дольше его предки занимались разбойничьим ремеслом. В пристрастии к соколиной охоте благородства не больше, чем в гнездах и логовищах зверей, на которых ведется охота в пикенарде. Обработка почвы, как это практиковалось древними, была бы гораздо благороднее, чем это бессмысленное блуждание по холмам и лесам, благодаря которому люди становятся более похожими на животных, чем на разумных существ. Это может достаточно хорошо служить развлечением, но не делом всей жизни.' Жизнь английского и французского рыцарства в сельской местности или в лесных крепостях кажется ему совершенно неблагородной и худшей из всех деяний рыцарей-разбойников Германии. Лоренцо здесь начинает принимать сторону знати, но не потому, что, что характерно, апеллирует к какому—либо естественному чувству в ее пользу, а потому, что Аристотель в пятой книге 'Политики' признает существование знати и определяет ее как основанную на совершенстве и унаследованном богатстве. На это Никколи возражает, что Аристотель излагает это не как свое собственное убеждение, а как общественное впечатление; в своей "Этике", где он говорит так, как думает, он называет благородным того, кто стремится к истинно хорошему. Лоренцо тщетно убеждает его, что греческое слово, обозначающее благородство, означает хорошее происхождение; Никколи считает римское слово "нобилис" (*то есть* замечательный) лучшим, поскольку оно ставит благородство в зависимость от поступков человека. [813] Вместе с этими обсуждениями мы находим краткий обзор положения знати в различных частях Италии. В Неаполе они не будут работать и не займутся ни своими поместьями, ни торговлей, которую они считают порочащей; они либо бездельничают дома, либо разъезжают верхом. [814] Римская знать также презирует торговлю, но занимается фермерством своей собственности; обработка земли даже открывает путь к титулу; [815] 'это респектабельная, но грубая знать.' В Ломбардии дворяне живут на ренту своих унаследованных поместий; происхождение и воздержание от какого-либо постоянного призвания составляют дворянство. [816] В Венеции 'нобили', правящая каста, все были торговцами. Точно так же в Генуе дворяне и не дворяне были одинаковыми купцами и моряками, и их разделяло только происхождение; некоторые из первых, правда, все еще скрывались как разбойники в своих горных замках. Во Флоренции часть старой знати посвятила себя торговле; другая, и, конечно, гораздо меньшая часть, наслаждалась своими титулами и проводила время либо вообще ни в чем, либо в охоте и соколиной охоте. [817]

Решающим фактом было то, что почти повсюду в Италии даже те, кто был склонен гордиться своим происхождением, не могли оправдать притязаний на мощь культуры и богатства, и что их привилегий в политике и при дворе было недостаточно, чтобы поощрять какое-либо сильное чувство кастовости. Венеция представляет собой лишь кажущееся исключение из этого правила, поскольку там 'нобили' вели ту же жизнь, что и их сограждане, и отличались немногими почетными привилегиями. Конечно, иначе обстояло дело в Неаполе, который строгая изоляция и показное тщеславие его знати исключали, помимо всех других причин, из духовного движения Возрождения. Традиции средневековой Ломбардии и Нормандии, а

также последовавшие за ними влияния французской аристократии - все это вело в этом направлении; и правительство Арагона, установившееся к середине пятнадцатого века, довершило начатое и осуществило в Неаполе то, что последовало сто лет спустя в остальной Италии — социальные преобразования в соответствии с испанскими идеями, главными чертами которых были презрение к труду и страсть к титулам. Эффект этого нового влияния был очевиден даже в небольших городах до 1500 года. Мы слышим жалобы Ла Кавы на то, что это место было вошедшим в поговорку богатым, пока в нем жили каменщики и ткачи; в то время как теперь, когда вместо ткацких станков и мастерков не было видно ничего, кроме шпор, стремян и позолоченных поясов, поскольку каждый пытался стать доктором права или медицины, нотариусом, офицером или рыцарем, царилла самая невыносимая бедность.^[818] Во Флоренции, по-видимому, аналогичные изменения произошли ко времени Козимо, первого великого герцога; его благодарят за то, что он сделал молодых людей, которые сейчас презирают торговлю, рыцарями своего ордена Святого Стефана.^[819] Это противоречит старому доброму флорентийскому обычаю,^[820] согласно которому отцы оставляли имущество своим детям при условии, что у них должно быть какое-либо занятие (стр. 79). Но мания к титулам любопытного и нелепого рода иногда пересекала и препятствовала, особенно среди флорентийцев, уравнивающему влиянию искусства и культуры. Такова была страсть к рыцарству, ставшая одним из самых поразительных безумств того времени, в то время как само достоинство потеряло всякую тень значимости.

"Несколько лет назад, - пишет Франко Саккетти,^[821] Ближе к концу четырнадцатого века "все увидели, как все рабочие, вплоть до пекарей, как все чесальщики шерсти, ростовщики, менялы и мерзавцы всех мастей, стали рыцарями. Зачем чиновнику рыцарство, когда он собирается править каким-то маленьким провинциальным городком? Какое отношение имеет этот титул к любому обычному занятию добыванием пропитания? Как поникло твое несчастное достоинство! Из всего длинного списка рыцарских обязанностей какую единственную выполняют наши рыцари? Я хотел поговорить об этих вещах, чтобы читатель мог увидеть, что рыцарство умерло.^[822] И поскольку мы зашли так далеко, что воздаем почести мертвецам, почему бы не статуэткам из дерева и камня, и почему бы не быку?" Истории, которые Саккетти рассказывает в качестве иллюстрации, говорят достаточно ясно. Там мы читаем, как Бернабо Висконти посвятил победителя в рыцари в пьяной драке, а затем в насмешку проделал то же самое с побежденным; как высмеивались немецкие рыцари с их украшенными шлемами и гербами - и многое другое в том же роде. В более поздний период Поджио^[823] веселится над многими рыцарями своего времени без лошади и без военной подготовки. Те, кто хотел утвердить привилегии ордена и выехать с копьем и знаменами, обнаружили во Флоренции, что им, возможно, придется столкнуться как с правительством, так и с джокерами.^[824]

При более тщательном рассмотрении вопроса мы обнаружим, что это запоздалое рыцарство, независимое от знатности происхождения, хотя отчасти и являвшееся плодом безумной страсти к титулам, имело, тем не менее, другую, лучшую сторону. Турниры еще не перестали практиковаться, и никто не мог принимать в них участия, если не был рыцарем. Но поединки на ристалище, и особенно трудные и опасные приемы обращения с копьем, предоставляли благоприятную возможность для демонстрации силы, умения и отваги, которыми никто, независимо от его происхождения, добровольно не пренебрег бы в эпоху, придававшую такое значение личным заслугам.^[825]

Напрасно со времен Петрарки турнир осуждался как опасная глупость. Никого не убедил патетический призыв поэта: "В какой книге мы читаем, что Сципион и Цезарь были искусны в рыцарских поединках?"[826] Эта практика становилась все более и более популярной во Флоренции. Каждый честный гражданин стал рассматривать его турнир — теперь, без сомнения, менее опасный, чем раньше, — как модный вид спорта. Франко Саккетти[827] оставил нам смехотворную фотографию одного из этих праздничных кавалеров — нотариуса семидесяти лет от роду. Он едет верхом в Перетолу, где турнир был дешевым, на нефритовой коляске, взятой напрокат у красильщика. Какой-то остряк воткнул чертополох под хвост коню, который испугался, убежал и унес всадника в шлеме, избитого и потрясенного, обратно в город. Неизбежным завершением рассказа является суровая лекция под занавес от жены, которая немало разгневана этими головокружительными выходками своего мужа.[828]

В заключение можно упомянуть, что Медичи проявляли страстный интерес к этому виду спорта, как будто хотели показать — какими бы частными лицами они ни были, без благородной крови в жилах, — что общество, которое их окружало, ни в чем не уступало Придворному.[829] Даже при Козимо (1459), а впоследствии при старшем Пьетро во Флоренции проводились блестящие турниры. Младший Пьетро пренебрегал государственными обязанностями ради этих забав и никогда не позволял рисовать себя, кроме как облаченным в доспехи. Та же практика преобладала при дворе Александра VI., и когда кардинал Асканио Сфорца спросил турецкого принца Джема (стр. 109, 115), как ему понравилось это зрелище, варвар весьма сдержанно ответил, что подобные бои в его стране происходили только среди рабов, поскольку тогда, в случае несчастного случая, никому от этого не становилось хуже. Жители Востока бессознательно были согласны с древними римлянами в осуждении нравов средневековья.

Однако, помимо этого особого элемента рыцарства, мы находим кое-где в Италии, например, в Ферраре (стр. 46 кв.), придворные ордена, члены которых имели право на этот титул.

Но какими бы великими ни были личные амбиции и тщеславие дворян и рыцарей, фактом остается то, что итальянское дворянство заняло свое место в центре общественной жизни, а не на периферии. Мы обнаруживаем, что они обычно смешиваются с другими классами на основе совершенного равенства и ищут своих естественных союзников в культуре и интеллекте. Это правда, что для придворного требовался определенный дворянский чин,[830] но эта настоятельная необходимость прямо заявлена как вызванная укоренившимся в общественном сознании предрассудком — "за всеобщее одобрение" — и никогда не подразумевала веру в то, что личная ценность человека не благородной крови была в какой-либо степени уменьшена этим, и это не вытекало из этого правила заключалось в том, что принц был ограничен знатью для своего общества. Имелось в виду просто, что совершенный мужчина — истинный придворный — не должен испытывать недостатка ни в каких мыслимых преимуществах, и, следовательно, не в этом. Если во всех жизненных отношениях он был особенно обязан сохранять достоинство и сдержанность, причина заключалась не в крови, которая текла в его жилах, а в совершенстве манер, которого от него требовали. Мы присутствуем при современном различии, основанном на культуре и богатстве, но на последнем исключительно потому, что оно позволяет людям посвятить свою жизнь первому и эффективно продвигать его интересы и прогресс.

ГЛАВА II.

ВНЕШНЯЯ УТОНЧЕННОСТЬ ЖИЗНИ.

НО по мере того, как различия по происхождению переставали давать какие-либо особые привилегии, сам индивид был вынужден максимально использовать свои личные качества, а общество находить свою ценность и очарование в самом себе. Поведение отдельных людей и все высшие формы социального общения стали целями, преследуемыми с обдуманной и художественной целью.

Даже внешний вид мужчин и женщин и привычки повседневной жизни были более совершенными, красивыми и отточенными, чем у других народов Европы. Жилища высших классов скорее относятся к области истории искусства; но мы можем отметить, насколько замок и городской особняк в Италии превосходили по комфорту, порядку и гармонии жилища северной знати. Стиль одежды менялся так постоянно, что невозможно провести какое-либо полное сравнение с модой других стран, тем более что с конца пятнадцатого века подражания последней были частыми. Костюмы того времени, переданные нам итальянскими художниками, являются самыми удобными и приятными для глаз из всех, какие только можно было найти в то время в Европе; но мы не можем быть уверены, отражают ли они господствующую моду или же они точно воспроизведены художником. Тем не менее, вне всякого сомнения, нигде одежде не придавалось такого большого значения, как в Италии. Народ был и остается тщеславным, и даже серьезные люди среди него смотрели на красивый и подходящий костюм как на элемент совершенства личности. Во Флоренции, действительно, был короткий период, когда одежда была сугубо личным делом, и каждый человек сам устанавливал моду (стр. 130, примечание 1), и вплоть до шестнадцатого века были исключительные люди, которым все еще хватало смелости поступать так; [831] и большинство, во всяком случае, показали, что способны изменять моду в соответствии со своими индивидуальными предпочтениями. вкусы. Это признак упадка, когда Джованни делла Каза предупреждает своих читателей не выделяться и не отходить от существующей моды. [832] Наше время, которое, во всяком случае, в мужской одежде считает единообразие высшим законом, отказывается от этого гораздо больше, чем оно само осознает. Но это экономит много времени, и это, согласно нашим представлениям о бизнесе, перевешивает все остальные недостатки.

В Венеции [833] и Флоренции во времена Возрождения существовали правила, предписывающие одеваться мужчинам и ограничивающие роскошь женщин. Там, где моды были менее свободными, как в Неаполе, моралисты с сожалением признают, что между дворянами и бюргерами нет никакой разницы. [834] Они также сожалеют о быстрых изменениях моды и — если мы правильно понимаем их слова — о бессмысленном идолопоклонстве всему, что приходит из Франции, хотя во многих случаях мода, полученная обратно от французов, изначально была итальянской. Нас больше не волнует, насколько эти частые изменения и принятие французского и испанского обычаев, [835] способствовали национальной страсти к внешней показухе; но мы находим в них дополнительные свидетельства быстрого развития жизни в Италии в десятилетия до и после 1500 года. Оккупация различных частей Италии иностранцами заставила жителей не только перенимать иностранную моду, но иногда и отказываться от всякой роскоши в одежде. Подобное изменение общественного настроения в Милане зафиксировано Ланди. Но различия, по его словам, в костюмах продолжали

существовать: Неаполь отличался великолепием, а Флоренция, на взгляд автора, абсурдностью.[836]

Мы можем, в частности, отметить усилия женщин изменить свою внешность всеми доступными туалету средствами. Ни в одной стране Европы со времен падения Римской империи не прилагалось столько усилий для изменения лица, цвета кожи и роста волос, как в Италии того времени.[837] Все стремились к формированию обычного типа ценой наиболее ярких и прозрачных обманов. Не принимая во внимание костюм в целом, который в XIV веке[838] был в высшей степени разнообразен по цвету и украшен орнаментом, а в более поздний период приобрел характер более гармоничного богатства, мы здесь более конкретно ограничиваемся туалетом в более узком смысле.

Ни одно украшение не использовалось так широко, как накладные волосы, часто сделанные из белого или желтого шелка.[839] Закон тщетно осуждал и запрещал это, пока какой-нибудь проповедник покаяния не коснулся мирских умов тех, кто носит это. Затем был замечен посреди общественной площади высокий погребальный костер (таламо), на котором, помимо лютен, игральных костей, масок, магических амулетов, песенников и других предметов тщеславия, лежали массы накладных волос,[840] которые очистительные костры вскоре превратили в кучу пепла. Идеальным цветом, который искали как для натуральных, так и для искусственных волос, был блонд. И поскольку предполагалось, что солнце способно придать волосам этот цвет,[841] многие дамы в солнечные дни проводили все свое время на свежем воздухе.[842] Красители и другие смеси также использовались свободно для той же цели. Помимо всего этого, мы сталкиваемся с бесконечным списком косметических средств, пластырей и красок для каждой отдельной части лица — даже для зубов и век, — о которых в наши дни мы не можем составить ни малейшего представления. Насмешки поэтов,[843] оскорбления проповедников и опыт пагубного воздействия этой косметики на кожу были бессильны помешать женщинам придать своему лицу неестественную форму и цвет. Возможно, что частые и великолепные представления Мистерий,[844] на которых сотни людей появлялись раскрашенными и в масках, помогли продвинуть эту практику в повседневной жизни. Несомненно, что это было широко распространено и что деревенские женщины соперничали в этом отношении со своими сестрами в городах.[845] Тщетно было проповедовать, что подобные украшения - признак куртизанки; самые почтенные матроны, которые круглый год никогда не прикасались к краске, тем не менее пользовались ею по праздникам, когда показывались на публике.[846] Но рассматриваем ли мы эту дурную привычку как пережиток варварства, параллелью которому является рисование дикарей, или как следствие стремления к совершенной юношеской красоте в чертах лица и цвете, как заставляют нас думать искусство и сложность туалета — в любом случае недостатка в хороших советах со стороны мужчин не было.

Использование парфюмерии также выходило за все разумные пределы. Ее применяли ко всему, с чем люди соприкасались. На фестивалях даже мулов обрабатывали благовониями и мазями,[847] Пьетро Аретино благодарит Козимо I. за надушенную пачку денег.[848]

Итальянцы того времени жили в убеждении, что они более чистоплотны, чем другие нации. На самом деле существуют общие причины, которые говорят скорее за, чем против этого утверждения. Чистота необходима для нашего современного представления о социальном совершенстве, которое было развито в Италии раньше, чем где-либо еще. То, что итальянцы были одним из богатейших из существующих народов, является еще одним предположением в

их пользу. Доказательств ни за, ни против этих претензий, конечно, никогда не может быть получено, и если бы этот вопрос был одним из приоритетных при установлении правил чистоты, рыцарская поэзия средневековья, возможно, опережает все, что может произвести Италия. Тем не менее, несомненно, что исключительная опрятность и чистоплотность некоторых выдающихся представителей эпохи Возрождения, особенно в их поведении за едой, была особо отмечена,[849] и что "немецкий" был синонимом в Италии всего грязного.[850] Грязные привычки, которые Массимилиано Сфорца приобрел в ходе своего немецкого образования, и внимание, которое они привлекли по возвращении в Италию, описаны Джовио.[851] В то же время очень любопытно, что, по крайней мере, в пятнадцатом веке постоянные дворы и гостиницы оставались в основном в руках немцев,[852] которые, вероятно, однако, получали свою прибыль в основном за счет паломников, направлявшихся в Рим. Однако заявления по этому поводу могут относиться скорее к загородным районам, поскольку общеизвестно, что в крупных городах итальянские отели занимали первое место.[853] Отсутствие приличных гостиниц в стране также может быть объяснено общей незащищенностью жизни и имущества.

К первой половине шестнадцатого века относится руководство по вежливости, которое Джованни делла Каза, флорентинец по происхождению, опубликовал под названием 'Il Galateo'. Здесь предписывается не только чистота в строгом смысле этого слова, но и отказ от всех уловок и привычек, которые мы считаем неприличными, с тем же неизменным тактом, с каким моралист распознает высшие этические истины. В литературе других стран преподаются те же уроки, хотя и менее систематически, благодаря косвенному влиянию отталкивающих описаний.[854]

И в других отношениях 'Галатео' — изящное и умное руководство по хорошим манерам, школа такта и деликатности. Даже сейчас ее могут читать с немалой пользой люди всех классов, и вежливость европейских народов вряд ли перерастет ее предписания. Поскольку такт — дело сердца, он был врожденным у одних людей на заре цивилизации и приобретался другими силой воли; но итальянец первым признал его универсальным общественным долгом и признаком культуры и образования. Да и сама Италия сильно изменилась за два столетия. В момент их закрытия мы чувствуем, что время розыгрышей между друзьями и знакомыми — для "берла" и "биффа" (стр. 155 кв.) — в хорошем обществе прошло,[855] что люди вышли за стены городов и научились космополитической вежливости и учтивости. Позже мы будем говорить об общественных отношениях в более узком смысле.

Внешняя жизнь, действительно, в пятнадцатом и начале шестнадцатого веков была отшлифована и облагорожена, как ни у какого другого народа в мире. Мы знаем, что бесчисленное количество тех маленьких и замечательных вещей, которые в совокупности составляют то, что мы подразумеваем под комфортом, впервые появились в Италии. На хорошо вымощенных улицах итальянских городов[856] вождение автомобиля было повсеместным, в то время как в других странах Европы ходьба пешком или верховая езда были обычным делом, и, во всяком случае, никто не садился за руль ради развлечения. Мы читаем у романистов о мягких, эластичных кроватях, дорогих коврах и мебели для спален, о которых мы ничего не слышим в других странах.[857] Особенно часто мы слышим об изобилии и красоте льна. Большая часть всего этого нарисована в сфере искусства. Мы с восхищением отмечаем тысячи способов, которыми искусство облагораживает роскошь, не только украшая массивный буфет

или легкие кронштейны благородными вазами, украшая стены трогательным великолепием гобеленов и покрывая туалетный столик бесчисленными изящными безделушками, но и вовлекая в свою сферу целые отрасли механической работы, особенно плотницкую. Вся Западная Европа, как только ее богатство позволило ей это сделать, в конце Средних веков принялась за работу таким же образом. Но его усилия приводили либо к детским и фантастическим игрушечным работам, либо были скованы цепями узкого и чисто готического искусства, в то время как Ренессанс двигался свободно, вникая в дух каждой задачи, за которую брался, и работая для гораздо более широкого круга покровителей и поклонников, чем северный художник. Быстрая победа итальянского декоративного искусства над северным в течение XVI века отчасти объясняется этим фактом, хотя отчасти является результатом более широких причин.

ГЛАВА III.

ЯЗЫК КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ.

Высшие формы социального общения, которые здесь встречаются нам как произведение искусства — как сознательный продукт и один из высших продуктов национальной жизни, — не имеют более важного основания и условия, чем язык.

В самый расцвет средневековья знать Западной Европы стремилась использовать "куртуазную" речь как для общения в обществе, так и для поэзии. Также и в Италии, где диалекты так сильно отличались друг от друга, мы находим в XIII веке так называемый 'куриале', который был обычным явлением при дворе и у поэтов. Для Италии имеет решающее значение то, что там была предпринята серьезная и сознательная попытка превратить это в язык литературы и общества. Введение к 'Cento Novelle Antiche', которое было приведено в их нынешнюю форму до 1300 года, открыто признает эту цель. Язык здесь рассматривается отдельно от его использования в поэзии; его высшая функция - ясное, простое, осмысленное высказывание в коротких речах, эпиграммах и ответах. Этой способностью восхищались в Италии, как нигде больше, кроме как среди греков и арабов: "сколько людей за долгую жизнь едва ли произвели на свет хоть одно "прекрасное произведение искусства"".

Но этот вопрос усложнялся из-за разнообразия аспектов, под которыми он рассматривался. Труды Данте переносят нас в самую гущу борьбы. Его работа "Итальянский язык"[858] имеет не только первостепенное значение для самого предмета, но и является первым полным трактатом о любом современном языке. Его метод и результаты принадлежат истории лингвистической науки, в которой они всегда будут занимать высокое место. Здесь мы должны ограничиться замечанием, что задолго до появления этой книги тема, должно быть, была повседневной и неотложной, что различные диалекты Италии долгое время были объектами пристального изучения и споров и что рождение единого классического языка не обошлось без многих мук.[859]

Ничто, безусловно, не способствовало достижению этой цели в такой степени, как великая поэма Данте. Тосканский диалект стал основой новой национальной речи.[860] Если кому-то может показаться, что это утверждение заходит слишком далеко, то как иностранцы мы можем быть извинены за то, что в вопросе, по которому преобладают большие различия во мнениях, следуем общему мнению.

Литература и поэзия, вероятно, потеряли больше, чем приобрели, из-за спорного пуризма, который долгое время был распространен в Италии и который омрачил свежесть и энергию многих способных писателей. Другие, опять же, чувствовавшие себя хозяевами этого великолепного языка, испытывали искушение положиться на его гармонию и плавность, независимо от мысли, которую он выражал. Самая незначительная мелодия, сыгранная на таком инструменте, может произвести очень сильный эффект. Но как бы то ни было, несомненно, что в социальном плане язык имел большое значение. Это было, так сказать, венцом благородного и исполненного достоинства поведения и заставляло джентльмена как в его обычной манере держаться, так и в исключительные моменты соблюдать внешние приличия. Без сомнения, эта классическая одежда, подобно языку аттического общества, служила прикрытием многого грязного и злобного; но она также была адекватным выражением всего самого благородного и утонченного. Но в политическом и национальном плане он имел первостепенное значение, служа идеальным домом для образованных классов во всех штатах разделенного полуострова.[861] Это не было особым достоянием знати или какого-либо одного класса, но самые бедные и скромные могли бы узнать об этом, если бы захотели. Даже сейчас — и, возможно, больше, чем когда-либо, — в тех частях Италии, где, как правило, преобладает самый непонятный диалект, иностранец часто удивляется, услышав чистый и хорошо произносимый итальянский язык из уст крестьян или ремесленников, и тщетно ищет чего-либо аналогичного во Франции или в Германии, где даже образованные классы сохраняют следы провинциальной речи. В Италии, безусловно, больше людей, способных читать, чем мы могли бы ожидать, учитывая состояние многих частей страны — например, Церковных штатов — в других отношениях; но что более важно, так это всеобщее и бесспорное уважение к чистому языку и произношению как к чему-то драгоценному и священному. Одна часть страны за другой официально переходила на классический диалект. Венеция, Милан и Неаполь сделали это в период расцвета итальянской литературы и частично под ее влиянием. Только в нынешнем столетии Пьемонт по собственной воле стал подлинной итальянской провинцией, разделив с ней главное сокровище народа — чистую речь.[862] Диалекты с начала шестнадцатого века намеренно оставляли для рассмотрения определенного класса тем, как серьезных, так и комических,[863] и разработанный таким образом стиль оказался равным для всех его задачи. Среди других народов сознательное разделение такого рода произошло лишь в гораздо более поздний период.

Мнение образованных людей относительно социальной ценности языка полностью изложено в "Кортиджано".[864] Тогда, в начале шестнадцатого века, были люди, которые намеренно придерживались устаревших выражений Данте и других тосканских писателей его времени просто потому, что они были старыми. Наш автор вообще запрещает их использование в речи и не желает допускать их даже в письменной форме, которую он считает формой речи. Из этого следует признание того, что лучший стиль речи — это тот, который больше всего напоминает хорошее письмо. Мы можем ясно распознать чувство автора, что люди, которым есть что сказать важного, должны формировать свою собственную речь, и что язык — это нечто гибкое и изменяющееся, потому что это нечто живое. Допустимо использовать любое выражение, каким бы витиеватым оно ни было, до тех пор, пока оно используется народом; также не запрещены нетосканские слова или даже французские и испанские слова, если обычай когда-то применял их для определенных целей.[865] Таким образом, забота и интеллект создадут язык, который, если и не будет чистым старотосканским, то все же останется итальянским, богатым цветами и

фруктами, как ухоженный сад. К совершенству "Кортиджано" относится то, что его остроумие, его утонченные манеры и его поэзия должны быть облачены в это совершенное одеяние.

Когда стиль и язык однажды стали достоянием живого общества, все усилия пуристов и архаистов оказались безуспешными. Сама Тоскана была богата первоклассными писателями и ораторами, которые игнорировали и высмеивали эти начинания. Множество насмешек ожидало иностранного ученого, который объяснил тосканцам, как плохо они понимают свой собственный язык.[866] Жизни и влияния такого писателя, как Макиавелли, было достаточно, чтобы смести всю эту паутину. Его энергичные мысли, его ясный и простой способ выражения носили форму, которая имела какие угодно достоинства, кроме 'трехчувственности'. А с другой стороны, было слишком много североитальянцев, римлян и неаполитанцев, которые были бы благодарны, если бы требование чистоты стиля в литературе и разговорной речи не заходило слишком далеко. Они, действительно, отвергли формы и идиомы своего диалекта; и Банделло, с ложной скромностью, которую иностранец мог бы заподозрить в ложной скромности, не устает заявлять: "У меня нет стиля; я пишу не как флорентинец, а как варвар; я не стремлюсь придать своему языку новые черты; я ломбардец и, вдобавок, с лигурийской границы".[867] Но претензии пуристов были наиболее успешно удовлетворены явным отказом от высших качеств стиля и принятием вместо них энергичного, популярного языка. Мало кто мог соперничать с Пьетро Бембо, который, хотя и родился в Венеции, тем не менее писал на чистейшем тосканском, который для него был иностранным, или неаполитанцем Санназаро, который делал то же самое. Но существенным моментом было то, что язык, будь то устный или письменный, считался объектом уважения. Пока это чувство было преобладающим, фанатизм пуристов — их лингвистические конгрессы и все остальное[868] — не причинял особого вреда. Их дурное влияние стало ощущаться гораздо позже, когда первоначальная мощь итальянской литературы ослабла и уступила другим, гораздо худшим влияниям. Наконец-то Академия делла Круска смогла относиться к итальянскому как к мертвому языку. Но это объединение оказалось настолько беспомощным, что даже не смогло воспрепятствовать вторжению галлицизма в восемнадцатом веке.

Этот язык — любимый, ухоженный и приученный ко всем видам использования - теперь служил основой социального общения. В северных странах знать и принцы проводили свой досуг либо в уединении, либо в охоте, драках, выпивке и тому подобном; бюргеры - в играх и физических упражнениях, сочетающихся с литературными или праздничными развлечениями. В Италии существовала нейтральная территория, где люди любого происхождения, если они обладали необходимым талантом и культурой, проводили свое время в беседах и изысканном обмене шутками и серьезностью. Поскольку еда и питье составляли небольшую часть таких развлечений,[869] было нетрудно держать на расстоянии тех, кто искал общества ради этих целей. Если понимать авторов диалогов буквально, то самые возвышенные проблемы человеческого существования не были исключены из разговоров мыслящих людей, и рождение благородных мыслей было делом не одиночества, как это обычно бывает на Севере, а общества. Но здесь мы должны ограничиться менее серьезной стороной социального общения — той, которая существовала только ради развлечения.

ГЛАВА IV.

ВЫСШИЕ ФОРМЫ ОБЩЕСТВА.

ЭТО общество, во всяком случае, в начале шестнадцатого века, было делом искусства; оно имело негласные или общепризнанные правила здравого смысла и приличия и основывалось на них, которые прямо противоположны всякому простому этикету. В менее изысканных кругах, где общество приняло форму постоянной корпорации, мы встречаемся с системой формальных правил и предписанным режимом входа, как это было в случае с теми дикими группами флорентийских артистов, о которых Вазари говорит нам, что они были способны поставить лучшие комедии того времени.^[870] В более легком общении общества не было ничего необычного в выборе какой-нибудь выдающейся леди президентом, чье слово было законом на этот вечер. Все знают вступление к 'Декамерону' Боккаччо и смотрят на президентство Пампиней как на изящный вымысел. То, что это было так в данном конкретном случае, само собой разумеется; но вымысел, тем не менее, был основан на практике, которая часто имела место в реальности. Фиренцуола, который почти два столетия спустя (1523) предваряет свой сборник рассказов подобным образом, явно ссылаясь на Боккаччо, несомненно, ближе к истине, когда вкладывает в уста королевы общества официальную речь о способах проведения времени во время пребывания, которое компания предложила провести в стране. День должен был начинаться с прогулки среди холмов, проходившей в философских беседах; затем следовал завтрак,^[871] с музыкой и пением, после чего последовало чтение, в каком-нибудь прохладном, тенистом месте, нового стихотворения, тема которого была озвучена накануне вечером; вечером вся компания отправилась к источнику, где все сели, и каждый рассказал свою историю. ; наконец, последовал ужин и оживленная беседа, "такого рода, что женщины могли слушать ее без стыда, а мужчинам не казалось, что они разговаривают под воздействием вина". Банделло во вступлениях и посвящениях к отдельным романам, правда, не дает нам таких вступительных речей, как эта, поскольку круги, перед которыми рассказываются истории, представлены уже сформировавшимися; но он другими способами дает нам понять, насколько богатыми, разнообразными и очаровательными должны были быть условия жизни общества. У некоторых читателей может сложиться мнение, что ничего хорошего нельзя было получить от мира, который был готов развлекаться такой аморальной литературой. Было бы справедливее удивляться прочным основам общества, которое, несмотря на эти рассказы, все еще соблюдало правила порядка и пристойности и знало, как разнообразить подобные развлечения серьезной и основательной дискуссией. Потребность в благородных формах общественного общения ощущалась сильнее, чем во всех других. Чтобы убедиться в этом, мы не обязаны брать за образец идеализированное общество, которое Кастильоне изображает как обсуждение самых возвышенных чувств и целей человеческой жизни при дворе Гвидобальдо Урбинского и Пьетро Бембо в замке Азоло. Общество, описанное Банделло, со всеми легкомыслиями, которые можно приписать ему, позволяет нам составить наилучшее представление о непринужденном и утонченном достоинстве, о светской доброте, интеллектуальной свободе, остроумии и изящном дилетантизме, которые отличали эти круги. Важным доказательством ценности таких кружков является тот факт, что женщины, которые были их центром, могли стать знаменитыми без какого-либо ущерба для своей репутации. Среди покровительниц Банделло, например, об Изабелле Гонзага (урожденной Эсте, стр. 44) говорили неблагоприятно не по ее вине, а из-за слишком свободной жизни молодых леди, заполнявших ее двор.^[872] Джулия Гонзага Колонна, Ипполита Сфорца, вышедшая замуж за

Бентивольо, Бьянка Рангона, Сесилия Галлерана, Камилла Скарампа и другие были либо совершенно безупречны, либо их общественная слава отбрасывала в тень все, что они могли натворить плохого. Самая известная женщина Италии, Виттория Колонна,^[873] (р. 1490, ум. в 1547), подруга Кастильоне и Микеланджело, пользовалась репутацией святой. Трудно представить такую картину непринужденного общения этих кругов в городе, в банях или в деревне, которая послужила бы буквальным доказательством превосходства Италии в этом отношении над остальной Европой. Но давайте прочитаем Банделло,^[874] и затем спросим себя, было ли возможно что-либо подобного рода, скажем, во Франции, до того, как такой тип общества был введен людьми, подобными ему. Без сомнения, высшие достижения человеческого разума были тогда созданы независимо от помощи гостиной. И все же было бы несправедливо слишком низко оценивать влияние последнего на искусство и поэзию, хотя бы по той причине, что общество помогло сформировать то, чего не существовало ни в одной другой стране — широко распространенный интерес к художественному творчеству и интеллектуальное и критичное общественное мнение. И помимо этого, общество того типа, который мы описали, само по себе было естественным проявлением той жизни и культуры, которые тогда были чисто итальянскими и которые с тех пор распространились на остальную Европу.

Во Флоренции литература и политика оказали сильное влияние на общество. Лоренцо Великолепный был главенствующим над своим окружением не благодаря, как нас можно было бы заставить поверить, княжескому положению, которое он занимал, а скорее благодаря удивительному такту, который он проявлял, предоставляя полную свободу действий многочисленным и разнообразным натурам, которые его окружали.^[875] Мы видим, как мягко он обращался со своим великим наставником Политианом и как суверенность поэта и ученого сочеталась, хотя и не без труда, с неизбежной сдержанностью, предписанной приближающимся изменением положения дома Медичи и учетом чувствительности жены. В ответ оказанное ему лечение Политиан стал вестником и живым символом славы Медичи. Лоренцо, как истинный Медичи, получал удовольствие от придания внешнего и художественного выражения своим светским развлечениям. В своей блестящей импровизации "Вечеринка хокинга" он дает нам юмористическое описание своих товарищей, а в "Симпозиуме" — пародию на них, но в обоих случаях таким образом, что мы ясно ощущаем его способность к более серьезному общению.^[876] Достаточным доказательством этого общения является его переписка и записи его литературных и философских бесед. Некоторые из общественных союзов, впоследствии образовавшихся во Флоренции, были отчасти политическими клубами, хотя и не лишенными определенного поэтического и философского характера. Такого рода была так называемая Платоновская академия, собиравшаяся после смерти Лоренцо в садах Руччеллаи.^[877]

При дворах князей общество, естественно, зависело от характера правителя. После начала шестнадцатого века их стало немного, и эти немногие вскоре утратили свое значение. Рим, однако, обладал при уникальном дворе Льва X. обществом, которому мировая история не может найти параллели.

ГЛАВА V.

СОВЕРШЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК ОБЩЕСТВА.

Именно ради этого общества — или, скорее, ради себя самого — "Кортиджано", как описал нам Кастильоне, получил образование. Он был идеальным человеком общества, и цивилизация того века считала его лучшим цветком; и двор существовал гораздо больше для него, чем он для двора. Действительно, такой человек был бы неуместен при любом дворе, поскольку он сам обладал всеми дарами и осанкой опытного правителя, а также потому, что его спокойное превосходство во всем, как внешнем, так и духовном, подразумевало слишком независимую натуру. Внутренний импульс, который вдохновлял его, был направлен, хотя наш автор и не признает этого факта, не на служение принцу, а на его собственное совершенство. Один пример прояснит это.^[878] Во время войны придворный отказывается даже от полезных и опасных заданий, если они сами по себе не красивы и не достойны, таких как, например, захват стада крупного рогатого скота; к участию в войне его побуждает не долг, а 'благородство'. Нравственное отношение к принцу, описанное в четвертой книге, необычайно свободно и независимо. Теория благовоспитанных занятий любовью, изложенная в третьей книге, полна тонких психологических наблюдений, которые, возможно, были бы более уместны в трактате о природе человека в целом; а великолепное восхваление идеальной любви, которое происходит в конце четвертой книги и достигает лирической высоты чувств, не имеет никакого отношения к особой цели произведения. Однако здесь, как и в 'Асолани' Бембо, культура того времени проявляется в деликатности, с которой представлено и проанализировано это чувство. Верно, что этих авторов не во всех случаях следует понимать буквально; но в том, что речи, которые они нам приводят, действительно были частыми в хорошем обществе, не может быть сомнений, и что это было не притворство, а подлинная страсть, которая проявлялась в этом наряде, мы увидим дальше.

Среди внешних достижений от придворного ожидали полного совершенства в так называемых рыцарских упражнениях, а кроме того, многого такого, что могло существовать только при высокоорганизованных дворах, основанных на личном соперничестве, чего нельзя было найти за пределами Италии. Другие моменты, очевидно, опираются на абстрактное понятие индивидуального совершенства. Придворный должен чувствовать себя как дома во всех благородных видах спорта, среди которых бег, прыжки, плавание и борьба; он должен, прежде всего, быть хорошим танцором и, как само собой разумеющееся, искусным наездником. Он должен владеть несколькими языками; во всяком случае, латынью и итальянским; он должен быть знаком с литературой и обладать некоторыми познаниями в изобразительном искусстве. В музыке от него ожидалось определенные практические навыки, которые он, тем не менее, был обязан хранить в максимально возможной тайне. Все это не следует воспринимать слишком серьезно, за исключением того, что касается обращения с оружием. Взаимное взаимодействие этих дарований и достижений приводит к появлению совершенного человека, в котором ни одно качество не занимает места остальных.

Несомненно лишь то, что в шестнадцатом веке итальянцы обучали всю Европу как теоретически, так и практически всем благородным физическим упражнениям, привычкам и манерам хорошего общества. Их инструкции и иллюстрированные книги по верховой езде, фехтованию и танцам послужили образцом для других стран. Гимнастика как искусство, помимо

военной подготовки и простого развлечения, вероятно, впервые была преподана Витторино да Фельтре (с. 213), а со временем стала неотъемлемой частью полноценного образования.[879] Важным фактом является то, что их обучали систематически, хотя какие упражнения были наиболее популярны и напоминали ли они используемые сейчас, мы не можем сказать. Но мы можем заключить, не только исходя из общего характера людей, но и из оставленных нам положительных свидетельств, что не только сила и мастерство, но и грация движений были одним из главных объектов физической подготовки. Достаточно напомнить читателю о великом Фредерике Урбинском (стр. 44), руководившем вечерними играми вверенной его попечению молодежи.

Игры и состязания народных классов по существу не отличались от тех, которые преобладали в других странах Европы. В приморских городах были популярны лодочные гонки, а венецианские регаты были известны в ранний период.[880] Классической игрой Италии был и остается мяч; и в нее, вероятно, играли во времена Возрождения с большим рвением и блеском, чем где-либо еще. Но на этот счет никаких внятных свидетельств не поступало.

Несколько слов о музыке будут уместны в этой части нашей работы.[881] Музыкальная композиция вплоть до 1500 года была в основном в руках представителей фламандской школы, оригинальностью и артистическим мастерством которых восхищались. Наряду с этим, тем не менее, существовала итальянская школа, которая, вероятно, была ближе к нашему нынешнему вкусу. Полвека спустя появился Палестрина, чей гений все еще мощно действует среди нас. Среди прочих фактов мы узнаем, что он был великим новатором; но сыграл ли он или другие решающую роль в формировании музыкального языка современного мира, находится за пределами суждения непрофессионального критика. Оставляя в стороне историю музыкальной композиции, мы ограничимся тем положением, которое музыка занимала в общественной жизни того времени.

Фактом, наиболее характерным для эпохи Возрождения и Италии, является специализация оркестра, поиск новых инструментов и способов звучания, и, в тесной связи с этой тенденцией, формирование класса "виртуозов", которые посвящали все свое внимание определенным инструментам или определенным разделам музыки.

Из более сложных инструментов, которые были усовершенствованы и широко распространены в очень ранний период, мы находим не только орган, но и соответствующий струнный инструмент, "гравиембало" или "клавицебало". Фрагменты этих инструментов, датированные началом четырнадцатого века, дошли до наших дней, украшенные росписями, сделанными руками величайших мастеров. Среди других инструментов первое место занимала скрипка, которая уже тогда принесла успешному игроку большую известность. При дворе Льва X, который, будучи кардиналом, наполнил свой дом певцами и музыкантами и пользовался репутацией критика и исполнителя, еврей Джован Мария и Якопо Сансекондо были одними из самых известных. Первый получил от Льва графский титул и небольшой городок;[882] последний был принят за Аполлона на Парнасе Рафаэля. В течение шестнадцатого века знаменитости во всех областях музыки появлялись в изобилии, и Ломаццо (около 1580 года) называет самых выдающихся мастеров тогдашнего искусства пения, органа, лютни, лиры, "виолы да гамба", арфы, цитры, рожка и трубы и желает, чтобы их портреты были нанесены на

сами инструменты.[883] Такая многосторонняя сравнительная критика была бы невозможна нигде, кроме Италии, хотя те же инструменты можно было найти и в других странах.

О количестве и разнообразии этих инструментов свидетельствует тот факт, что коллекции из них теперь делались из любопытства. В Венеции, которая была одним из самых музыкальных городов Италии,[884] таких собраний было несколько, и когда на месте оказалось достаточное количество исполнителей, сразу же был импровизирован концерт. В одном из таких музеев было представлено большое количество инструментов, сделанных по древним изображениям и описаниям, но нам не говорят, умел ли кто-нибудь играть на них и как они звучали. Не следует забывать, что такие инструменты часто были красиво украшены и могли быть расположены так, чтобы радовать глаз. Таким образом, мы встречаемся с ними в коллекциях других раритетов и произведений искусства.

Музыканты, помимо профессиональных исполнителей, были либо одиночками-любителями, либо их целыми оркестрами, организованными в корпоративную академию.[885] Многие артисты других направлений чувствовали себя в музыке как дома и часто были мастерами этого искусства. Люди с положением испытывали отвращение к духовым инструментам по той же причине, по которой[886], что делало их неприязненными к Алкивиаду и Афине Палладе. В хорошем обществе пение в одиночку или в сопровождении скрипки было обычным делом; но также были распространены квартеты струнных инструментов,[887] и "клавицебало" нравилось из-за его разнообразных эффектов. В пении разрешалось только соло, "потому что один голос слышен, им наслаждаются и о нем судят гораздо лучше". Другими словами, поскольку пение, несмотря на всю общепринятую скромность, является проявлением индивидуальности члена общества, лучше, чтобы каждого видели и слышали по отдельности. Нежные чувства, вызываемые прекрасными слушателями, воспринимаются как должное, и поэтому пожилым людям рекомендуется воздерживаться от подобных форм искусства, даже если они в них преуспевают. Считалось важным, чтобы эффект песни усиливался впечатлением, производимым видом. Однако мы ничего не слышим о том, что в этих кругах музыкальная композиция рассматривается как самостоятельная отрасль искусства. С другой стороны, иногда случалось, что темой песни было какое-то ужасное событие, постигшее самого певца.[888]

Этот дилетантизм, охвативший как средние, так и высшие классы, был в Италии более широко распространен и более по-настоящему артистичен, чем в любой другой стране Европы. Где бы мы ни встречались с описанием социального общения, там всегда и недвусмысленно упоминаются музыка и пение. Сотни портретов изображают нам мужчин и женщин, часто нескольких вместе, играющих или держащих в руках какой-либо музыкальный инструмент, а ангельские концерты, представленные на церковных картинах, доказывают, насколько хорошо художники были знакомы с живым воздействием музыки. Мы читаем о лютнисте Антонио Рота из Падуи (ум. в 1549 г.), который разбогател благодаря своим урокам и опубликовал руководство по игре на лютне.[889]

В то время, когда не существовало оперы, способной сконцентрировать и монополизировать музыкальный талант, это общее культивирование искусства, должно быть, было чем-то удивительно разнообразным, интеллектуальным и оригинальным. Другой вопрос, насколько мы могли бы найти удовлетворяющего нас в этих формах музыки, если бы их сейчас можно было воспроизвести для нас.

ГЛАВА VI.

ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН.

ЧТОБЫ понять высшие формы социального общения в этот период, мы должны иметь в виду тот факт, что женщины стояли на ногах совершенного равенства с мужчинами.^[890] Мы не должны позволять вводить себя в заблуждение софистическим и часто злонамеренным разговорам о предполагаемой неполноценности женского пола, с которыми мы время от времени встречаемся в диалогах нашего времени,^[891] ни такими сатирами, как "Третий из Ариосто",^[892] который относится к женщине как к опасному взрослому ребенку, которым мужчина должен научиться управлять, несмотря на огромную пропасть между ними. Действительно, в том, что он говорит, есть определенная доля правды. Только потому, что образованная женщина была на одном уровне с мужчиной, то единение ума и сердца, которое проистекает из чувства взаимной зависимости и завершенности, не могло развиваться в браке в то время, как это было развито позже в культурном обществе Севера.

Образование, получаемое женщинами в высших классах, было, по сути, таким же, как и у мужчин. Итальянцы во времена Возрождения без колебаний давали сыновьям и дочерям одинаковый курс литературного и даже филологического обучения (с. 222). Действительно, рассматривая эту древнюю культуру как главное сокровище жизни, он был рад, что его девочки приобщились к ней. Мы видели, какого совершенства достигли дочери княжеских домов в письме и разговорной речи на латыни (с. 234).^[893] Многие другие, по крайней мере, должны были прочитать это, чтобы следить за разговором дня, который в основном касался классических тем. Многие проявляли активный интерес к итальянской поэзии, в которой, будь то подготовленная или импровизированная, прославилось большое количество итальянских женщин, начиная со времен венецианки Кассандры Феделе (примерно в конце пятнадцатого века).^[894] Одну, действительно, Витторию Колонна, можно назвать бессмертной. Если бы требовалось какое-либо доказательство сделанного выше утверждения, его можно было бы найти в мужественном тоне этих стихов. Даже любовные сонеты и религиозные поэмы настолько точны и определены по своему характеру и так далеки от нежных сумерек чувств и от всего дилетантизма, который мы обычно находим в женской поэзии, что мы без колебаний приписали бы их авторам-мужчинам, если бы у нас не было четких внешних свидетельств обратного.

Ибо с образованием индивидуальность женщин из высших классов развивалась так же, как и у мужчин. До времен Реформации личность женщин за пределами Италии, даже самого высокого ранга, мало выступала на первый план. Исключения, такие как Изабелла Баварская, Маргарита Анжуйская и Изабелла Кастильская, являются вынужденным результатом очень необычных обстоятельств. В Италии на протяжении всего пятнадцатого века жены правителей, и в еще большей степени жены кондотьеров, почти все обладали ярко выраженной, узнаваемой индивидуальностью и получали свою долю дурной славы. К ним постепенно добавилась толпа знаменитых женщин самого разного вида (i, стр. 147, примечание 1); среди них те, чье отличие заключалось в том факте, что их красота, нрав, образование, добродетель и благочестие в сочетании делали их гармоничными человеческими существами.^[895] Не было никакого вопроса о 'правах женщины' или женской эмансипации, просто потому, что это само по себе было само собой разумеющимся. Образованная женщина в не меньшей степени, чем мужчина,

естественно стремилась к характерной и полной индивидуальности. То же интеллектуальное и эмоциональное развитие, которое довело до совершенства мужчину, требовалось и для совершенствования женщины. Активной литературной работы, тем не менее, от нее не ожидали, и если бы она была поэтессой, то искали бы какого-нибудь мощного выражения чувств, а не откровенности романа или дневника. Эти женщины не думали об обществе;[896] их функцией было оказывать влияние на выдающихся мужчин и умерять мужские импульсы и капризы.

Самой высокой похвалой, которую тогда можно было воздать великим итальянским женщинам, было то, что они обладали умом и мужеством мужчин. Нам стоит только понаблюдать за совершенно мужественной осанкой большинства женщин в героических поэмах, особенно у Бохардо и Ариосто, чтобы убедиться, что перед нами идеал того времени. Титул 'virago', который в наши дни является двусмысленным комплиментом, тогда не подразумевал ничего, кроме похвалы. Он предстал во всей своей красе перед Катериной Сфорца, женой, а впоследствии вдовой Джироламо Риарио, чье наследственное владение Форли она доблестно защищала сначала от его убийц, а затем и от Чезаре Борджиа. Несмотря на окончательное поражение, она сохранила восхищение своих соотечественников и титул "примадонна Италии".[897] Эту героическую жилку можно обнаружить у многих женщин эпохи Возрождения, хотя ни у одной из них не было такой возможности продемонстрировать свой героизм миру. В Изабелле Гонзага этот тип явно узнаваем, и не в меньшей степени в Клариче из Дома Медичи, жене Филиппо Строцци.[898]

Женщины этого типа могли слушать романы, подобные романам Банделло, и от этого не страдало социальное общение. Правящим гением общества была не женственность, как сейчас, или уважение к определенным предпосылкам, тайнам и восприимчивости, а сознание энергии, красоты и социального состояния, полного опасностей и возможностей. И по этой причине мы находим, бок о бок с наиболее взвешенными и отточенными социальными формами, то, что наш век назвал бы нескромностью,[899] забывая о том, что было исправлено и уравновешено — сильные характеры женщин, которые подверглись этому воздействию.

То, что во всех диалогах и трактатах вместе взятых мы не можем найти абсолютных доказательств по этим пунктам, вполне естественно, как бы свободно ни обсуждалась природа любви, положение и способности женщин.

Чего, по-видимому, не хватало в этом обществе, так это молодых девушек,[900] которые, даже когда не воспитывались в монастырях, все равно тщательно держались от этого подальше. Нелегко сказать, было ли их отсутствие причиной большей свободы общения или их удалили именно из-за этого.

Даже общение с куртизанками, по-видимому, приобрело более возвышенный характер, напоминая нам о положении гетер в классических Афинах. Знаменитая римская куртизанка Империя была женщиной умной и культурной, научилась у некоего Доменико Кампаны искусству слагать сонеты и не была лишена музыкальных способностей.[901] Прекрасная Изабелла де Луна испанского происхождения, которая считалась забавной компанией, кажется, представляла собой странное сочетание доброго сердца с отвратительно сквернословящим языком, который иногда доставлял ей неприятности.[902] В Милане Банделло знал величественную Катерину ди Сан Чельсо,[903] которая великолепно играла, пела и декламировала. Из всего, что мы прочитали по этому вопросу, ясно, что выдающиеся

люди, которые посещали этих женщин и время от времени жили с ними, требовали от них значительной степени интеллекта и образования, и что к знаменитым куртизанкам относились с немалым уважением. Даже когда отношения с ними были прерваны, их хорошее мнение все еще было желанным,[904], которая показывает, что ушедшая страсть оставила после себя неизгладимые следы. Но в целом это интеллектуальное общение не стоит упоминания рядом с тем, что санкционировано признанными формами общественной жизни, а следы, которые оно оставило в поэзии и литературе, по большей части носят скандальный характер. Мы вполне можем быть удивлены, что среди 6800 человек этого класса, которых можно было найти в Риме в 1490 г.[905] — то есть до появления сифилиса — едва ли хоть одна женщина, по-видимому, отличалась какими-либо высшими способностями. Все те, кого мы упомянули, принадлежат к периоду, который непосредственно последовал за этим. Образ жизни, мораль и философия публичных женщин, которые при всей своей чувственности и жадности не всегда были неспособны к более глубоким страстям, а также лицемерие и дьявольская злоба, проявляемые некоторыми в зрелые годы, лучше всего изложены Джиральди в романах, составляющих введение к 'Гекатоммити'. Пьетро Аретино в своем "Раджионаменти" рисует нам скорее свой собственный порочный характер, чем этот несчастный класс женщин, какими они были на самом деле.

Любовницы принцев, как уже указывалось (стр. 53), были воспеты поэтами и нарисованы художниками, и, следовательно, были лично знакомы их современникам и потомкам. Мы едва ли знаем больше, чем имена Алисы Перрерс и Клары Деттин, любовницы Фридриха Победоносного, а об Агнес Сорель сохранилась лишь полулегендарная история. С монархами эпохи Возрождения — Франциском I и Генрихом II. — дело обстоит иначе.

ГЛАВА VII.

ВНУТРЕННЯЯ ЭКОНОМИКА.

ПОСЛЕ рассмотрения общественных отношений давайте на мгновение взглянем на домашнюю жизнь того периода. Мы обычно склонны рассматривать семейную жизнь итальянцев в то время как безнадежно разрушенную национальной безнравственностью, и эта сторона вопроса будет более подробно рассмотрена в дальнейшем. На данный момент мы должны ограничиться указанием на то, что супружеская неверность ни в коем случае не оказывает такого катастрофического влияния на семейную жизнь в Италии, как на Севере, по крайней мере, до тех пор, пока не переходятся определенные границы.

Домашняя жизнь средневековья была продуктом народной морали, или, если мы предпочитаем выражаться иначе, результатом врожденных тенденций национальной жизни, измененных различными обстоятельствами, которые на них влияли. Рыцарство во времена своего расцвета не затронуло домашнюю экономику. Рыцарь кочевал от двора ко двору и с одного поля битвы на другое. Его почтение систематически оказывалось какой-то другой женщине, кроме его собственной жены, и все шло так, как могло бы идти дома, в замке.[906] Дух Возрождения впервые привнес порядок в домашнюю жизнь, рассматривая ее как произведение преднамеренного изобретения. Разумные экономические взгляды (стр. 77) и рациональный стиль внутренней архитектуры способствовали достижению этой цели. Но главной причиной перемен было вдумчивое изучение всех вопросов, связанных с социальными отношениями, образованием, домашним хозяйством и организацией.

Самым ценным документом на эту тему является "трактат об управлении домом" Аньоло Пандольфини (Л. Б. Альберти).[907] Он представляет отца, разговаривающего со своими взрослыми сыновьями и посвящающего их в свой метод управления. Мы попадаем в большую и состоятельную семью, которая, если управлять ею с умеренностью и разумной экономией, обещает счастье и процветание грядущим поколениям. Значительное землевладение, продукция которого служит столешницей в доме и основой семейного состояния, сочетается с каким-либо промышленным занятием, таким как ткачество из шерсти или шелка. Жилище прочное, а еда вкусная. Все, что связано с планировкой и обустройством дома, великолепно, долговечно и дорого, но повседневная жизнь в нем максимально проста. Все остальные расходы, от самых крупных, при которых на карту поставлена честь семьи, до карманных денег младших сыновей, связаны друг с другом рационально, а не условно. Ничто не считается столь важным, как образование, которое глава дома дает не только детям, но и всей семье. Сначала он превращает свою жену из застенчивой девочки, воспитанной в тщательном уединении, в настоящую хозяйку дома, способную командовать слугами и направлять их. Сыновья воспитываются без какой-либо чрезмерной строгости,[908] за ними тщательно наблюдают, дают советы и контролируют "скорее авторитетом, чем силой". И, наконец, слуг выбирают и обращаются с ними в соответствии с такими принципами, которых они с радостью и преданностью придерживаются в семье.

Следует упомянуть об одной особенности этой книги, которая ни в коем случае не является ей свойственной, но о которой в ней говорится с особой теплотой, — о любви образованного итальянца к сельской жизни.[909] В северных странах знать жила за городом в своих замках, а монахи высших орденов — в своих хорошо охраняемых монастырях, в то время как самые богатые бюргеры от конца года до конца года проживали в городах. Но в Италии, во всяком случае, в том, что касалось окрестностей определенных городов,[910] безопасность жизни и имущества была настолько велика, а страсть к загородному жилью была настолько сильна, что мужчины были готовы рисковать потерями во время войны. Так возникла вилла, загородный дом состоятельного горожанина. Таким образом, это драгоценное наследие старого римского мира было возрождено, как только богатство и культура народа достигли достаточного уровня развития.

Один автор находит на своей вилле покой и счастье, рассказ о которых читатель должен услышать от него самого: 'В то время как любое другое владение вызывает труд и опасность, страх и разочарование, вилла приносит большое и почетное преимущество; вилла всегда верна и добра; если вы поселитесь в ней в нужное время и с любовью, это не только удовлетворит вас, но и добавит награды к награде. Весной зелень деревьев и пение птиц придадут вам радости и надежды; осенью умеренные физические нагрузки принесут стократные плоды; на протяжении всего года меланхолия будет изгнана из вас. Вилла — это место, где любят собираться хорошие и честные люди. Здесь не делается ничего тайного, ничего предательского; все видят все; здесь нет нужды в судьях или свидетелях, ибо все добры и миролюбиво расположены друг к другу. Поспешите сюда и беги прочь от гордыни богатых и бесчестия плохих. О блаженная жизнь на вилле, о неведомое богатство!' Экономическая сторона вопроса заключается в том, что одна и та же собственность должна, по возможности, содержать все — зерно, вино, масло, пастбища и леса, и что в таких случаях за собственность хорошо платили, поскольку тогда ничего не нужно было покупать на рынке. Но о более высоком удовольствии, получаемом от виллы, свидетельствуют некоторые слова из предисловия: 'Вокруг Флоренции расположено множество вилл с прозрачной атмосферой, среди веселых пейзажей и с великолепным видом; здесь мало

тумана и нет вредных ветров; все хорошо, а вода чистая и полезная. Из многочисленных зданий многие похожи на дворцы, многие - на замки, дорогие и красивые для созерцания.' Он говорит о тех непревзойденных виллах, из которых большее количество было пожертвовано, хотя и тщетно, самими флорентийцами при защите своего города в 1529 году.[911]

На этих виллах, как и на виллах на Бренте, на Ломбардских холмах, в Позилиппо и на Вомеро, общественная жизнь носила более свободный и сельский характер, чем во дворцах в черте города. Мы встречаемся с очаровательными описаниями общения гостей, охотничьих вечеринок и всех занятий и увеселений на открытом воздухе.[912] Но самые благородные достижения поэзии и мысли иногда также датируются этими сценами сельской тишины.

ГЛАВА VIII.

ПРАЗДНИКИ.

Не случайно при обсуждении общественной жизни того периода мы обращаемся к процессиям и зрелищам, которые были частью народных праздников.[913] Художественная мощь, которую итальянцы эпохи Возрождения доказывали в таких случаях,[914] была достигнута только посредством того свободного общения всех классов, которое составляло основу итальянского общества. В Северной Европе монастыри, дворы и бюргерство устраивали свои особые праздники и представления, как в Италии; но в одном случае форма и содержание этих представлений различались в зависимости от класса, принимавшего в них участие, в другом - искусство и культура, общие для всей нации, придавали им более высокий и популярный характер. Декоративная архитектура, которая помогла в проведении этих фестивалей, заслуживает отдельной главы в истории искусства, хотя наше воображение может составить о ней представление только по тем описаниям, которые нам оставили. Нас здесь больше всего интересует праздник как высшая фаза в жизни народа, в которой его религиозные, нравственные и поэтические идеи обрели зримую форму. Итальянские фестивали в своей лучшей форме отмечают точку перехода от реальной жизни к миру искусства.

Первоначально здесь, как и везде на Западе, были две основные формы праздничного представления: Мистерия, или инсценировка священной истории и легенд, и Процессия, мотив и характер которой также были чисто церковными.

Представления мистерий в Италии с самого начала были более частыми и великолепными, чем где бы то ни было, и на них самым благоприятным образом повлиял прогресс поэзии и других искусств. Со временем от Мистерии отделились не только фарс и светская драма, как в других странах Европы, но и пантомима с сопровождающими ее пением и танцами, эффект которых зависел от богатства и красоты зрелища.

Процессия по широким, ровным и хорошо вымощенным улицам итальянских городов,[915] вскоре превратилась в 'Трионфо', или процессию пеших фигур в масках и на колесницах, церковный характер которой постепенно уступил место светскому. Процессии на карнавале и на празднике Тела Христова[916] были похожи по пышности и блеску, с которыми они проводились, и задавали образец, которому впоследствии следовали королевские шествия. Другие страны были готовы потратить огромные суммы денег на эти представления, но только в Италии мы находим художественный метод обработки, который превращал процессию в гармоничное и многозначительное целое.

То, что осталось от этих фестивалей, - лишь жалкие остатки того, что когда-то существовало. Как религиозные, так и светские демонстрации такого рода отказались от драматического элемента — костюмов — отчасти из боязни насмешек, а отчасти потому, что культурные классы, которые раньше отдавали этим вещам всю свою энергию, по ряду причин потеряли к ним интерес. Даже на Карнавале грандиозные шествия масок вышли из моды. То, что все еще сохранилось, например, костюмы, принятые в подражание определенным религиозным братствам, или даже блестящий фестиваль Санта-Розалия в Палермо, ясно показывает, как далеко высшая культура страны отошла от подобных интересов.

Фестивали достигли своего полного развития только после решительной победы современного духа в пятнадцатом веке,[\[917\]](#) если, возможно, Флоренция не была здесь, как и во всем остальном, в опережении остальной Италии. В прежние времена во Флоренции несколько кварталов города были организованы с целью проведения подобных выставок, которые требовали немалых художественных усилий. Подобным было представление Ада с эшафотом и лодками в Арно 1 мая 1304 года, когда мост алла Карраха рухнул под тяжестью зрителей.[\[918\]](#) То, что в более позднее время флорентийцы путешествовали по Италии в качестве директоров фестивалей (*festaiuoli*), показывает, что искусство рано совершенствовалось дома.[\[919\]](#)

Перечисляя основные моменты превосходства итальянских фестивалей над фестивалями других стран, первое, что мы должны отметить, - это развитое чувство индивидуальных особенностей, другими словами, способность придумывать определенную маску и играть роль с драматическим достоинством. Художники и скульпторы не просто внесли свой вклад в оформление места, где проводился фестиваль, но и сами помогли создать персонажей и прописали одежду, краски ([стр. 373](#)) и другие украшения, которые нужно было использовать. Второй факт, на который следует обратить внимание, - это всеобщее знакомство людей с поэтической основой шоу. Мистерии, действительно, были одинаково хорошо поняты по всей Европе, поскольку библейская история и легенды о святых были общим достоянием христианского мира; но во всех других отношениях преимущество было на стороне Италии. Для декламации, будь то религиозных или светских героев, она обладала лирической поэзией, настолько богатой и гармоничной, что никто не мог устоять перед ее очарованием.[\[920\]](#) Большинство зрителей — по крайней мере, в городах — также понимали значение мифологических фигур и могли без особого труда догадываться об аллегорических и исторических, которые были почерпнуты из источников, знакомых массе итальянцев.

Этот момент нуждается в более подробном обсуждении. Средние века были, по сути, эпохой аллегорий. Теология и философия рассматривали свои категории как независимые существа,[\[921\]](#) а поэзии и искусству почти нечего было добавить, чтобы придать им индивидуальность. Здесь все страны Запада были на одном уровне. Мир их идей был достаточно богат типами и фигурами, но когда они обрели конкретную форму, костюм и атрибуты, скорее всего, оказались невразумительными и не соответствовали популярному вкусу. Так часто происходило даже в Италии, и не только в течение всего периода Возрождения, но и вплоть до еще более позднего времени. Чтобы вызвать путаницу, было достаточно, если предикат аллегорических фигур был ошибочно переведен атрибутом. Даже Данте не совсем свободен от подобных ошибок,[\[922\]](#) и, действительно, он гордится неясностью своих аллегорий в целом.[\[923\]](#) Петрарка в своем 'Трионфи' пытается дать ясные, хотя и короткие, описания, по

крайней мере, фигур Любви, Целомудрия, Смерти и Славы. Другие снова нагружают свои аллегории неподходящими атрибутами. В Сатирах Винчигерры, [924] например, Зависть изображается с грубыми железными зубами, Обжорство - как кусание собственных губ, и с копной спутанных волос, последнее, вероятно, для того, чтобы показать свое безразличие ко всему, что не является мясом и выпивкой. Мы не можем здесь обсуждать дурное влияние этих недоразумений на пластические искусства. Они, как и поэзия, могли бы считать себя счастливыми, если бы аллегория могла быть выражена мифологической фигурой — фигурой, которую древность спасла от абсурда, — если бы Марс мог символизировать войну, а Диана [925] из любви к охоте.

Тем не менее в искусстве и поэзии были аллегории получше этих, и мы можем предположить в отношении фигур такого рода, появлявшихся на итальянских фестивалях, что публика требовала от них четкой и яркой характеристики, поскольку ее предыдущее образование подготовило ее к роли компетентного критика. В других местах, особенно при бургундском дворе, допускались самые невыразительные фигуры и даже простые символы, поскольку понимать их или казаться, что понимаешь, было частью аристократического воспитания. По случаю знаменитой "Клятвы фазана" в 1453 году, [926] красивая молодая всадница, которая предстает как 'Королева удовольствий', является единственной приятной аллегорией. Огромные блюда с автоматическими или даже живыми фигурками внутри являются либо простым раритетом, либо призваны преподать какой-то неуклюжий моральный урок. Предполагалось, что статуя обнаженной женщины, охраняющей живого льва, символизирует Константинополь и его будущего спасителя, герцога Бургундского. Остальное, за исключением Пантомимы "Ясон в Колхиде", кажется либо слишком непонятным, чтобы его можно было понять, либо вообще лишенным смысла. Сам Оливье, которому мы обязаны описанием этой сцены, появился в костюме "Церкви" в башне на спине слона и спел длинную элегию о победе неверующих. [927]

Но хотя аллегорический элемент в поэзии, искусстве и фестивалях Италии превосходит как по хорошему вкусу, так и по единству концепции то, что мы находим в других странах, все же не эти качества являются наиболее характерными и уникальными. Решающий момент превосходства [928] заключался скорее в том факте, что помимо олицетворений абстрактных качеств, в большом количестве были представлены их исторические представители — что и поэзия, и пластика были использованы для изображения известных мужчин и женщин. 'Божественная комедия', 'Триумф' Петрарки, 'Любовное видение' Боккаччо — все эти произведения построены по этому принципу — и великое распространение культуры, произошедшее под влиянием античности, познакомило нацию с этим историческим элементом. Теперь эти фигуры появлялись на фестивалях либо индивидуально, в виде определенных масок, либо группами, как характерные сопровождающие какой-нибудь ведущей аллегорической фигуры. Искусству группирования и композиции, таким образом, обучались в Италии в то время, когда самые великолепные выставки в других странах были составлены из непонятной символики или бессмысленных ребячеств.

Давайте начнем с того, что это, пожалуй, самый древний из всех праздников — Мистерий. [929] По своим основным характеристикам они напоминали те, что используются в остальной Европе. На общественных площадях, в церквях и в монастырях были сооружены обширные строительные леса, верхний этаж которых служил Раем, который открывался и закрывался по желанию, а нижний этаж часто служил Адом, в то время как между ними располагалась собственно так называемая сцена, представляющая сцену всех земных событий драмы. В

Италии, как и везде, библейская или легендарная пьеса часто начиналась со вступительного диалога между апостолами, Пророками, Сивиллами, Добродетелями и Отцами Церкви, а иногда заканчивалась танцем. Разумеется, в Италии не было недостатка в полукомических "интермецци" второстепенных персонажей, однако вряд ли эта особенность была отмечена так широко, как в северных странах.[930] Искусственные средства, с помощью которых фигуры поднимались и парили в воздухе — одно из главных удовольствий этих представлений, — вероятно, были гораздо лучше поняты в Италии, чем где-либо еще; и во Флоренции в четырнадцатом веке заминки в этих представлениях были постоянным предметом насмешек.[931] Вскоре после этого Брунеллеско изобрел для праздника Благовещения на площади Сан-Феличе чудесный аппарат, состоящий из небесного шара, окруженного двумя кругами ангелов, из которого на машине в форме миндаля слетел Гавриил. Чекка тоже изобрел механизм для таких дисплеев.[932] Духовные корпорации или кварталы города, которые взяли на себя ответственность и частично исполнение этих пьес, не пожалели, во всяком случае, в крупных городах, никаких хлопот и расходов, чтобы сделать их как можно более совершенными и художественными. То же самое, без сомнения, имело место на больших придворных празднествах, когда разыгрывались мистерии, а также пантомимы и светские драмы. Двор Пьетро Риарио (стр. 106) и двор Феррары, несомненно, не испытывали недостатка во всем, что могло произвести человеческое изобретение.[933] Когда мы представляем себе театральные таланты и великолепные костюмы актеров, сцены, построенные в архитектурном стиле того времени и увешанные гирляндами и гобеленами, а на заднем плане — благородные здания итальянской площади или стройные колонны какого-нибудь большого внутреннего двора или монастыря, эффект получается поразительный. Но точно так же, как светская драма страдала от этой страсти к показухе, так и высшее поэтическое развитие Мистерии было остановлено по той же причине. В сохранившихся текстах мы находим по большей части беднейшую драматургическую основу, время от времени дополняемую прекрасными лирическими или риторическими пассажами, но без следа великого символического энтузиазма, который отличает "Autos Sagramentalles" Кальдерона.

В небольших городах, где сценических представлений было меньше, влияние этих духовных пьес на характер зрителей могло быть большим. Мы читаем[934] что один из великих проповедников покаяния, о котором подробнее будет сказано позже, Роберто да Лечче, завершил свои Великопостные проповеди во время чумы 1448 года в Перудже изображением Страстей Христовых. Пьеса была написана по мотивам Нового Завета. Актеров было немного, но весь народ громко плакал. Это правда, что в таких случаях прибегали к эмоциональным стимуляторам, заимствованным из самого грубого реализма. Нам вспоминаются картины Маттео да Сиены или группы глиняных фигурок Гвидо Маццони, когда мы читаем, что актер, исполнивший роль Христа, был покрыт испариной и, по-видимому, истекал кровью, и даже из раны в боку текла кровь.[935]

Особые случаи, по которым совершались эти мистерии, помимо великих церковных праздников, королевских свадеб и тому подобного, были разного рода. Когда, например, святой Бернардино Сиенский был канонизирован папой римским (1450), состоялась своего рода драматическая имитация церемонии (*rappresentazione*), вероятно, на большой площади его родного города, и в течение двух дней для всех желающих устраивался пир с мясом и напитками.[936] Нам говорят, что ученый монах отпраздновал свое повышение до степени доктора богословия, изложив легенду о святом покровителе города.[937] Карл VIII, едва въехав в Италию, он был встречен в Турине овдовевшей герцогиней Бьянкой Савойской чем-то вроде

полурелигиозной пантомимы,[938] в которой пасторальная сцена сначала символизировала Закон Природы, а затем процессия патриархов - Закон Благодати. Затем последовала история Ланселота Озерного и история "Афин". И не успел король добраться до Кьери, как его встретили другой пантомимой, в которой была изображена роженица в окружении высоких гостей.

Если какой-либо церковный праздник проводился по всеобщему согласию и требовал исключительных усилий, то это был праздник Тела Христова, который в Испании (стр. 413) породил особый класс поэзии. У нас есть великолепное описание того, как этот праздник был отпразднован в ВитербоПием II в 1482 году.[939] Сама процессия, которая прошла от огромного и великолепного шатра перед собором Святого Франческо по главной улице к собору, была наименьшей частью церемонии. Кардиналы и богатые прелаты разделили все пространство на части, на которых они по отдельности председательствовали и которые они украсили занавесками, гобеленами и гирляндами.[940] Каждый из них также соорудил собственную сцену, на которой по мере прохождения процессии были представлены короткие исторические и аллегорические сцены. Из описания неясно, все ли персонажи были живыми существами или просто какими-то задрапированными фигурами;[941] расходы, безусловно, были очень большими. Там был страдающий Христос среди поющих херувимов, Тайная вечеря с фигурой святого Фомы Аквинского, битва архангела Михаила с дьяволами, фонтаны вина и оркестры ангелов, могила Христа со всей сценой Воскресения и, наконец, на площади перед собором - могила Пресвятой Богородицы. Он открылся после Торжественной мессы и благословения, и Мать Божья с пением вознеслась в Рай, где была коронована своим Сыном и введена в присутствие Вечного Отца.

Среди этих представлений на улице, данное кардиналом-вице-канцлером Родриго Борджиа, впоследствии папой Александром VI, было примечательным своим великолепием и непонятной символикой.[942] Это ранний пример любви к артиллерийским залпам[943], которая была характерна для дома Борджиа.

Более краткий отчет дает нам Пий II о процессии, состоявшейся в том же году в Риме по случаю прибытия черепа святого Андрея из Греции. Там тоже Родриго Борджиа отличился своим великолепием; но этот праздник носил более светский характер, чем другие, поскольку, помимо обычного хора ангелов, были представлены и другие маски, а также "сильные мужчины", которые, казалось, демонстрировали различные подвиги мускульной доблести.

Такие представления, которые носили полностью или преимущественно светский характер, устраивались, особенно при более важных княжеских дворах, главным образом с целью получения великолепных и поразительных сценических эффектов. Сюжеты были мифологическими или аллегорическими, и интерпретация обычно лежала на поверхности. В экстравагантности, действительно, недостатка не было — гигантские животные, из которых внезапно появлялась толпа фигур в масках, как в Сиене[944] в 1465 году, когда на публичном приеме балет из двенадцати человек вышел из золотого волка; живые украшения стола, не всегда, однако, показывающие безвкусное преувеличение бургундского двора (стр. 182) — и тому подобное. Большинство из них проявляли какое-то художественное или поэтическое чувство. Смещение пантомимы и драмы при дворе Феррары уже упоминалось в "Трактовке поэзии" (стр. 318). Развлечения, устроенные в 1473 году кардиналом Пьетро Риарио в Риме, когда Леонора Арагонская, будущая невеста принца Геркулеса Феррарского, проезжала через

город, были известны далеко за пределами Италии.^[945] Разыгрываемые пьесы были мистериями на какую-то церковную тему, пантомимы, напротив, были мифологическими. Там были изображены Орфей со зверями, Персей и Андромеда, Церера, нарисованная драконами, Вакх и Ариадна с пантерами и, наконец, воспитание Ахилла. Затем последовал балет знаменитых любовников древности с отрядом нимф, который был прерван нападением хищных кентавров, которые, в свою очередь, были побеждены и обращены в бегство Гераклом. Сам по себе незначительный факт может быть упомянут как характерный для вкуса того времени, что люди, которые на всех празднествах появлялись в виде статуй в нишах или на колоннах и триумфальных арках, а затем проявляли себя живыми, пением или речью, носили свой естественный цвет лица и естественный костюм, и, таким образом, ощущение несоответствия было устранено; в то время как в доме Риарио был выставлен живой ребенок, позолоченный с головы до ног, который поливал себя водой из источника.^[946]

Блестящие пантомимы того же рода были разыграны в Болонье на свадьбе Аннибале Бентивольо с Лукрецией де Эсте.^[947] Вместо оркестра пели хоровые песни, в то время как прекраснейшая из нимф Дианы перелетела к Юноне Пронубе, и пока Венера прогуливалась со львом — который в данном случае был переодетым мужчиной — среди отряда дикарей. Декорации были точным изображением леса. В Венеции в 1491 году принцессы дома Эсте^[948] были встречены Буцентавром и развлекались лодочными гонками и великолепной пантомимой под названием 'Мелеагр' во дворе герцогского дворца. В Милане Лионардо да Винчи^[949] руководил фестивалями герцога и некоторых видных горожан. Одна из его машин, которая, должно быть, соперничала с машиной Брунеллеско (стр. 411), изображала небесные тела со всеми их движениями в колоссальном масштабе. Всякий раз, когда планета приближалась к Изабелле, невесте молодого герцога, божество, чье имя она носила, выходило из земного шара,^[950] и исполняло несколько стихов, написанных придворным поэтом Беллинчони (1489). На другом фестивале (1493 г.) модель конной статуи Франческо Сфорца появилась вместе с другими предметами под триумфальной аркой на площади перед замком. У Вазари мы читаем о хитроумных автоматах, которые изобрел Лионардо, чтобы приветствовать французских королей как хозяев Милана. Даже в небольших городах по этим поводам иногда прилагались большие усилия. Когда герцог Борсо прибыл в 1453 году в Реджо^[951], чтобы выразить почтение городу, у дверей его встретила огромная машина, на которой, казалось, парил Святой Просперо, покровитель города, в тени балдахина, который держали ангелы, а под ним был вращающийся диск с восемью поющими херувимами, двое из которых получили от города почести. святым достались скипетр и ключи от города, которые они затем вручили герцогу, в то время как святые и ангелы возносили ему хвалу. Колесница, запряженная скрытыми лошадьми, теперь приближалась, неся пустой трон, за которым стояла фигура Правосудия, сопровождаемая гением. По углам колесницы сидели четыре седовласых законодателя, окруженные ангелами со знаменами; рядом с ней ехали знаменосцы в полном вооружении. Вряд ли нужно добавлять, что богиня и гений не допустили, чтобы герцог прошел мимо, не обратившись к нему. На второй машине, запряженной единорогом, был изображен Каритас с горящим факелом; между ними было классическое зрелище автомобиля в форме корабля, которым управляли спрятанные в нем люди. Теперь вся процессия предстала перед герцогом. Перед церковью Сан-Пьетро снова была сделана остановка. Святой в сопровождении двух ангелов спустился в ореоле с фасада, возложил лавровый венок на голову герцога, а затем вернулся на свое прежнее место.^[952] Духовенство представило еще одну аллегию чисто религиозного характера.

Идолопоклонство и Вера стояли на двух высоких колоннах, и после того, как Вера, представленная красивой девушкой, произнесла свои приветствия, другая колонна развалилась на куски вместе с лежащей на ней фигурой. Далее цезарь встретил Борсо с семью прекрасными женщинами, которые были представлены ему как семь Добродетелей, к которым его призывали стремиться. Наконец мы добрались до собора, но после службы герцог снова занял свое место на высоком золотом троне и во второй раз удостоился почестей от некоторых из уже упомянутых масок. В завершение всего три ангела слетели с соседнего здания и под радостные песни поднесли ему пальмовые ветви как символы мира.

Давайте теперь взглянем на те праздники, главной особенностью которых было само шествие.

Нет никаких сомнений в том, что с раннего периода средневековья религиозные процессии привели к использованию масок. Маленькие ангелочки сопровождали причастие или священные изображения и реликвии на их пути по улицам; или персонажи Страстей Господних — такие, как Христос с крестом, воры и солдаты или верующие женщины — были представлены в назидание публике. Но великие церковные праздники издревле сопровождались гражданской процессией, и наивность Средневековья не находила ничего неподходящего во многих светских элементах, которые в них содержались. Мы можем особо упомянуть военно-морскую машину (*carrus navalis*), которая была унаследована от языческих времен,^[953] и которая, как показывает уже приведенный пример, была допустима на фестивалях самого разного рода, и, в частности, навсегда оставила свое название на одном из них — Карнавал. Такие корабли, украшенные со всем возможным великолепием, радовали взоры зрителей еще долго после того, как их первоначальное значение было забыто. Когда Изабелла Английская встретила своего жениха, императора Фридриха II, в Кельне, ее встретило множество таких колесниц, запряженных невидимыми лошадьми и наполненных толпой священников, которые приветствовали ее музыкой и пением.

Но религиозные процессии не только сопровождались всевозможными светскими аксессуарами, но и часто заменялись процессиями в масках священнослужителей. Их происхождение, возможно, следует искать в группах актеров, которые пробирались по улицам города к месту, где они собирались разыграть мистерию; но не исключено, что в ранний период церковная процессия могла выделиться в отдельный вид. Данте^[954] описывает "Триумф" Беатриче с двадцатью четырьмя Старцами Апокалипсиса, с четырьмя мистическими Зверями, с тремя христианскими и четырьмя кардинальными добродетелями, а также со святым Лукой, святым Павлом и другими апостолами таким образом, который почти заставляет нас заключить, что подобные процессии действительно происходили до него. время. К такому выводу нас подводит главным образом колесница, в которой едет Беатриче и которая в чудесном лесу видения была бы ненужной или, скорее, неуместной. С другой стороны, возможно, что Данте рассматривал колесницу как символ победы и триумфа, и что его поэма скорее послужила толчком к этим процессиям, форма которых была заимствована из триумфа римских императоров. Как бы то ни было, поэзия и теология продолжали свободно использовать этот символ. Савонарола^[955] в своем "Крестном триумфе" представляет Христа на Победоносной колеснице, над его головой сияющая сфера Троицы, в левой руке Крест, в правой Ветхий и Новый Заветы; под ним Дева Мария; по обе стороны мученики и Учителя Церкви с раскрытыми книгами; позади него все множество спасенных; а в правой руке — Ветхий и Новый Заветы.

отдалите бесчисленное множество его врагов — императоров, принцев, философов, еретиков — все они побеждены, их идолы разбиты, а книги сожжены. Великолепная картина Тициана, известная только как гравюра на дереве, имеет много общего с этим описанием. Девятая и десятая из тринадцати элегий Сабеллико (стр. 62), посвященных Божьей Матери, содержат подробный отчет о ее триумфе, богато украшенный аллегориями и особенно интересный с точки зрения той прозаичности, которая также характеризует реалистическую живопись пятнадцатого века.

Тем не менее, светские "триумфы" были гораздо более частыми, чем религиозные. Они были созданы по образцу процессии римского императора, известной по старым рельефам и трудам древних авторов.[956] Исторические концепции, преобладавшие тогда в Италии, с которыми были тесно связаны эти шоу, уже обсуждались (стр. 139).

Время от времени мы читаем о настоящем триумфальном появлении победоносного полководца, которое было организовано, насколько это было возможно, по древнему образцу, даже против воли самого героя. Франческо Сфорца имел мужество (1450) отказаться от триумфальной колесницы, которая была приготовлена для его возвращения в Милан, на том основании, что подобные вещи были монархическими суевериями.[957] Альфонсо Великий при своем вступлении в Неаполь (1443) отказался от лаврового венка,[958] который Наполеон не побрезговал надеть на свою коронацию в Собор Парижской Богоматери. В остальном процессия Альфонсо, прошедшая через пролом в стене через город к кафедральному собору, представляла собой странную смесь античных, аллегорических и чисто комических элементов. Колесница, запряженная четверкой белых лошадей, на которой он восседал на троне, была величественной и покрытой позолотой; двадцать патрициев несли шесты балдахина из золотой ткани, который прикрывал его голову. Часть процессии, которую предприняли флорентийцы, находившиеся в то время в Неаполе, состояла из элегантных молодых кавалеров, искусно размахивавших копьями, колесницы с фигурой Фортуны и семи Добродетелей верхом. Сама богиня,[959] в соответствии с неумолимой логикой аллегии, которой придерживались даже художники того времени, волосы у нее были только на передней части головы, в то время как задняя часть была лысой, а гений, сидевший на нижних ступеньках вагона и символизировавший ускользающий характер фортуны, погрузил ноги (?) в таз с водой. Затем следовал, экипированный теми же флорентийцами, отряд всадников в костюмах разных народов, одетых как иностранные принцы и дворяне, а затем, увенчанный лавром и стоящий над вращающимся земным шаром, Юлий Цезарь,[960] который объяснил королю итальянскими стихами значение аллегорий, а затем занял свое место в зале. процессия. Шестьдесят флорентийцев, одетых во все пурпурное и алое, завершали эту великолепную демонстрацию того, на что способен их дом. Затем отряд каталонцев двинулся вперед пешком, с привязанными к ним спереди и сзади фигурками лошадей, и вступил в притворный бой с отрядом турок, как бы в насмешку над флорентийским сентиментализмом. Последней из всех была гигантская башня, дверь в которую охранял ангел с обнаженным мечом; на ней стояли четыре Добродетели, каждая из которых обращалась к королю с песней. В остальной части шоу не было ничего особенно характерного.

При въезде Людовика XII в Милан в 1507 году[961] мы находим, помимо неизбежной колесницы с Добродетелями, живую группу, представляющую Юпитера, Марс и фигуру Италии, пойманную в сеть. После чего приехала машина, груженная трофеями, и так далее.

И когда на самом деле праздновать было нечего, поэты находили компенсацию для себя и своих покровителей. Петрарка и Боккаччо описывали представление всякого рода славы как сопровождающих аллегорическую фигуру (стр. 409); знаменитости прошлых эпох теперь стали слугами принца. Поэтесса Клеофе Габриэлли из Губбио оказала эту честь Борсо из Феррары.[962] Она дала ему в служанки семь цариц — семь свободных искусств, с которыми он сел в колесницу; далее - толпу героев, отличающихся именами, написанными у них на лбах; затем следовали все знаменитые поэты; а за ними боги, едущие на своих колесницах. На самом деле, в наше время мифологическим и аллегорическим путешествиям на колесницах просто нет конца, и самое важное произведение искусства времен Борсо - фрески в Палаццо Шифаноха — демонстрирует нам целый фриз, наполненный этими мотивами.[963] Рафаэль, когда ему пришлось писать "Камера делла" Сегнатура, счел этот способ художественной мысли полностью вульгаризированным и изношенным. Новое и окончательное освящение, которое он ему дал, останется чудом для всех веков.

Триумфальные шествия, строго говоря, полководцев-победителей, составляли исключение. Но все праздничные шествия, независимо от того, отмечали ли они какое-либо особое событие или проводились в основном ради них самих, в той или иной степени носили характер и почти всегда назывались 'Триумфальными'. Удивительно, что к похоронам не относились таким же образом.[964]

Как на Карнавале, так и в других случаях, было принято представлять триумфы древнеримских военачальников, таких как триумф Павла Эмилия при Лоренцо Великолепном во Флоренции и триумф Камилла во время визита Льва X. Обоими дирижировал художник Франческо Грачани.[965] В Риме первой полноценной выставкой такого рода был "триумф Августа после победы над Клеопатрой", [966] при Павле II., где, помимо комические и мифологические маски, в которых, собственно говоря, не было недостатка на древних триумфах, имелись и все остальные атрибуты — короли в цепях, таблички с указами сената и народа, сенат, одетый в древние костюмы, преторы, эдилы и квесторы, четыре колесницы, наполненные поющими масками, и, несомненно, повозки, груженные трофеями. Другие процессии скорее были направлены на то, чтобы в общих чертах представить вселенскую империю древнего Рима; и в ответ на вполне реальную опасность, которая угрожала Европе со стороны турок, перед народом предстала кавалькада верблюдов с масками, изображающими османских пленников. Позже, на карнавале 1500 года, Цезарь Борджиа, со смелым намеком на самого себя, отпраздновал триумф Юлия Цезаря, процессией из одиннадцати великолепных колесниц,[967] несомненно, к скандалу с паломниками, пришедшими на Юбилей (т. i., стр. 116). Два "Триумфа", известных своим вкусом и красотой, были представлены конкурирующими компаниями во Флоренции в связи с избранием Льва X. на папский престол.[968] Один из них представлял три эпохи Человечества, другой - четыре эпохи Мира, остроумно изложенные в пяти сценах римской истории и в двух аллегориях золотого века Сатурна и его окончательного возвращения. Воображение, проявленное в украшении колесниц, когда великие флорентийские художники взялись за эту работу, сделало сцену настолько впечатляющей, что со временем подобные изображения стали постоянным элементом народной жизни. До сих пор покоренные города довольствовались лишь тем, что преподносили свои символические подарки — дорогие ткани и восковые свечи — в день, когда они ежегодно отдавали дань уважения. Гильдия торговцев построила теперь десять колесниц, к которым впоследствии должны были быть добавлены другие, не столько для перевозки, сколько для обозначения дани уважения, и Андреа дель Сарто, который нарисовал некоторые из них, без сомнения, довел свою работу до

совершенства.[969] Эти автомобили, независимо от того, использовались ли они для перевозки дани уважения или трофеев, теперь стали частью всех подобных торжеств, даже когда денег на них было немного. В 1477 году сиенцы объявили о союзе между Ферранте и Сикстом IV, с которым они сами были связаны, проехав на колеснице по городу с "женщиной, одетой как богиня мира, стоящей в кольчуге и другом оружии".[970]

На венецианских празднествах процессии, проходившие не по суше, а по воде, поражали своим фантастическим великолепием. Плавание "Буцентавра" на встречу с принцессой Феррары в 1491 году (стр. 136), похоже, было чем-то из сказочной страны.[971] Бесчисленные сосуды с гирляндами и драпировками, наполненные богато одетой городской молодежью, двигались впереди; гении с атрибутами, символизирующими различных богов, парили на машинах, подвешенных в воздухе; ниже стояли другие, сгруппированные в виде тритонов и нимф; воздух был наполнен музыкой, сладкими запахами и развевающимися вышитыми знаменами. За "Буцентавром" следовала такая толпа всевозможных лодок, что на милю вокруг (*octo stadia*) воды не было видно. Что касается остальных празднеств, то, помимо упомянутой выше пантомимы, мы можем отметить как нечто новое лодочные гонки пятидесяти сильных девушек. В шестнадцатом веке,[972] знать была разделена на корпорации с целью проведения этих фестивалей, наиболее примечательной особенностью которых была какая-то необычная машина, размещенная на корабле. Так, например, в 1541 году, на фестивале 'Семпитерни', круглая 'вселенная' проплыла по Большому каналу, и внутри нее был дан великолепный бал. Карнавал в этом городе тоже славился своими танцами, шествиями и всевозможными выставками. Было обнаружено, что на площади Святого Марка достаточно места не только для проведения турниров (стр. 390), но и для "Трионфи", подобных тем, что распространены на материке. На фестивале, посвященном заключению мира,[973] благочестивые братства ('скуоле') приняли каждое свое участие в процессии. Там, среди золотых канделябров с красными свечами, среди толп музыкантов и крылатых мальчиков с золотыми чашами и рогами изобилия, была замечена повозка, на которой восседали Ной и Давид на троне; затем появилась Абигайль, ведущая верблюда, нагруженного сокровищами, и вторая машина с группой политических деятелей — Италия расположилась между Венецией и Лигурией, две последние со своими гербами, первая с аистом, символом единства, — и на приподнятой ступеньке три женские символические фигуры с гербами союзных принцев. За этим последовал большой глобус, вокруг которого, как кажется, были расположены созвездия. Сами князья, или, скорее, их физические представители, появлялись на других колесницах со своими слугами и гербами, если мы правильно истолковали нашего автора.[974] На этих и всех других подобных шествиях также звучала музыка.

Карнавал, собственно так называемый, если не считать этих грандиозных триумфальных шествий, пожалуй, нигде в пятнадцатом веке не носил столь разнообразного характера, как в Риме.[975] Там были скачки всех видов — лошадей, ослов, буйволов, стариков, юношей, евреев и так далее. Павел II. развлекал толпы народа перед Венецианским палаццо, в котором он жил. Игры на Пьяцца Навона, которые, вероятно, никогда полностью не прекращались со времен античности, были примечательны своим воинственным великолепием. Мы читаем о притворном сражении кавалерии и смотре всех горожан при оружии. Наибольшая свобода существовала в отношении использования масок, которые иногда разрешались в течение нескольких месяцев подряд.[976] Сикст IV. отважился в самой густонаселенной части города — в Кампофьоре и недалеко от Банчи - пробраться сквозь толпы масок, хотя и отказался принимать их в качестве посетителей в Ватикане. При Иннокентии VIII дискредитирующий обычай, который уже

появился среди кардиналов, достиг своего расцвета. На Карнавале 1491 года они посылали друг другу колесницы, полные великолепных масок, певцов и шутов, распеваящих скандальные куплеты. Их сопровождали мужчины верхом на лошадях.[977] Помимо Карнавала, римляне, похоже, были первыми, кто обнаружил эффект большого шествия при свете факелов. Когда Пий II вернулся с конгресса в Мантуе в 1459 году,[978] народ встречал его с эскадроном всадников с факелами, которые двигались сияющими кругами перед его дворцом. Сикст IV, однако, счел за лучшее отказаться от ночного визита народа, который предложил встретить его с факелами и оливковыми ветвями.[979]

Но флорентийский карнавал превзошел римский в определенном классе шествий, которые оставили свой след даже в литературе.[980] Среди толпы пеших и конных масок появилась какая-то огромная фантастическая колесница, а на ней аллегорическая фигура или группа фигур с соответствующим сопровождением, таким как Ревность с четырьмя лицами в очках на одной голове; четыре темперамента (стр. 309) с принадлежащими им планетами; три Судьбы; Благоразумие, возвышающееся над Надеждой и Страхом, которые лежали перед ней связанными; четыре Стихии, Эпохи, Ветры, Времена года и так далее; а также знаменитая колесница Смерти с гробами, которые вскоре открылись. Иногда мы встречаемся с великолепными сценами из классической мифологии — Вакх и Ариадна, Парис и Елена и другие. Или же хор фигур, образующих какой-то единый класс или категорию, таких как нищие, охотники и нимфы, потерянные души, которые при жизни были жестокосердными женщинами, отшельники, астрологи, бродяги, дьяволы, продавцы различного рода товаров и даже однажды ‘il popolo’, люди как таковые, которые все поносили друг друга в своих песнях. Песни, которые все еще сохранились и были собраны, дают объяснение маскараду иногда в патетическом, иногда в юмористическом, а иногда и в чрезмерно неприличном тоне. Некоторые из худших в этом отношении приписываются Лоренцо Великолепному, вероятно, потому, что настоящий автор не рискнул заявить о себе. Как бы то ни было, мы, безусловно, должны приписать ему прекрасную песню, сопровождавшую маскарад Вакха и Ариадны, припев которой до сих пор доносится до нас из пятнадцатого века, как печальное предчувствие кратковременного великолепия самого Возрождения:

‘Quanto è bella giovinezza,
Che si fugge tuttavia!
Chi vuol esser lieto, sia:
Di doman non c’è certezza.’

ЧАСТЬ VI.

МОРАЛЬ И РЕЛИГИЯ.

ГЛАВА I.

МОРАЛЬ.

Отношение различных народов земли к высшим интересам жизни, к Богу, добродетели и бессмертию, может быть исследовано до определенного момента, но никогда не может быть сопоставлено друг с другом с абсолютной строгостью и уверенностью. Чем яснее в этих вопросах, по-видимому, говорят наши свидетельства, тем осторожнее мы должны воздерживаться от неквалифицированных предположений и опрометчивых обобщений.

Это замечание особенно верно в отношении наших суждений по вопросам морали. Возможно, можно указать на множество контрастов и оттенков различий между разными нациями, но найти баланс в целом человеческому пониманию не дано. Окончательная истина относительно характера, совести и вины народа навсегда остается тайной; хотя бы по той причине, что у его недостатков есть другая сторона, где они вновь проявляются как особенности или даже как добродетели. Мы должны предоставить тем, кто находит удовольствие в огульном осуждении целых наций, делать это так, как им нравится. Народы Европы могут жестоко обращаться, но, к счастью, не судить друг друга. Великая нация, тесно связанная своей цивилизацией, своими достижениями и судьбой со всей жизнью современного мира, может позволить себе игнорировать как своих защитников, так и своих обвинителей. Она продолжает жить с одобрения теоретиков или без него.

Соответственно, то, что здесь следует, - это не суждение, а скорее цепочка заметок на полях, подсказанных исследованием итальянского Возрождения, продолжавшимся несколько лет. Ценность, которую им следует придавать, тем более очевидна, что в основном они затрагивают жизнь высших классов, относительно которых мы гораздо лучше информированы в Италии, чем в любой другой стране Европы того периода. Но хотя и слава, и позор звучат здесь громче, чем где бы то ни было, это не помогает нам формировать адекватную моральную оценку людей.

Какой глаз может проникнуть в глубины, в которых определяются характер и судьбы наций? — в которых врожденное и пережитое соединяются, образуя новое целое и свежую природу? — в которых даже те интеллектуальные способности, которые на первый взгляд мы должны были бы принять за самые оригинальные, на самом деле развиваются поздно и медленно? Кто может сказать, обладал ли итальянец до XIII века той гибкой активностью и уверенностью во всем своем существе — той игрой силы в формировании любого предмета, с которым он имел дело, в слове или форме, которая была свойственна ему позже? И если на эти вопросы невозможно найти ответа, то как мы можем судить о бесконечных и бесконечно запутанных каналах, по которым характер и интеллект непрестанно оказывают свое влияние друг на друга? Для каждого из нас существует трибунал, голосом которого является наша совесть; но давайте покончим с этими обобщениями о нациях. Для людей, которые кажутся наиболее больными, лекарство может быть под рукой; а тот, кто кажется здоровым, может нести в себе созревающие зародыши смерти, которые в час опасности выйдут из своего укрытия.

В начале шестнадцатого века, когда цивилизация Возрождения достигла наивысшего расцвета и в то же время политический крах нации казался неизбежным, не было недостатка в серьезных мыслителях, которые видели связь между этим крахом и распространенной

безнравственностью. Это был не один из тех методистских моралистов, которые в любую эпоху считают себя призванными выступить против порочности того времени, но это был Макиавелли, который в одной из своих самых уважаемых работ,[\[981\]](#) открыто сказал: 'Мы, итальянцы, нерелигиозны и развращены больше других'. Другой человек, возможно, сказал бы: "Мы индивидуально высоко развиты; мы переросли границы морали и религии, которые были естественны для нас в нашем неразвитом состоянии, и мы презираем внешний закон, потому что наши правители незаконнорожденные, а их судьи и чиновники - злые люди'. Макиавелли добавляет: "Потому что Церковь и ее представители подают нам худший пример".

Добавим ли мы также: 'потому что влияние, оказанное древностью, было в этом отношении неблагоприятным'? Это утверждение можно принять только со многими оговорками. Возможно, это справедливо и для гуманистов ([стр. 272](#) кв.), особенно в том, что касается расточительности их жизни. Об остальных, возможно, можно сказать с некоторой долей точности, что после того, как они познакомились с античностью, они заменили святость — христианский идеал жизни — культом исторического величия (см. Часть II. главу iii.). Поэтому мы можем понять, как легко они поддались бы искушению считать безразличными те ошибки и пороки, несмотря на которые их герои были великими. Вероятно, они сами едва ли осознавали это, поскольку, если нас попросят процитировать какое-либо учение по этому вопросу, мы снова будем вынуждены обратиться к гуманистам, таким как Паоло Джовио, который оправдывает лжесвидетельство Джангалеаццо Висконти, благодаря которому он смог основать империю, на примере Юлия Цезаря.[\[982\]](#) Великие флорентийские историки и государственные деятели никогда не опускались до этих раболепных цитат, и то, что кажется античным в их поступках и суждениях, является таковым потому, что природа их политической жизни неизбежно воспитывала в них образ мышления, имеющий некоторую аналогию с античностью.

Тем не менее нельзя отрицать, что Италия в начале XVI века оказалась в эпицентре серьезного морального кризиса, выхода из которого едва ли видели лучшие люди.

Давайте начнем с того, что скажем несколько слов о той моральной силе, которая тогда была сильнейшим оплотом против зла. Высокоодаренные люди того времени думали найти это в чувстве чести. Это та загадочная смесь совести и эгоизма, которая часто сохраняется в современном человеке после того, как он потерял, по своей вине или нет, веру, любовь и надежду. Это чувство чести совместимо с большим эгоизмом и большими пороками и может быть жертвой поразительных иллюзий; и все же, тем не менее, все благородные элементы, которые остались в обломках характера, могут собраться вокруг него, и из этого источника можно почерпнуть новую силу. Это стало, в гораздо более широком смысле, чем принято считать, решающим испытанием поведения в умах культурных европейцев наших дней, и многие из тех, кто все еще свято придерживается религии и морали, бессознательно руководствуются этим чувством при принятии самых серьезных решений в своей жизни.[\[983\]](#)

В наши задачи не входит показывать, как люди древности также испытывали это чувство в особой форме и как впоследствии, в средние века, особое чувство чести стало отличительной чертой определенного класса. Здесь мы также не можем спорить с теми, кто считает, что движущей силой является совесть, а не честь. Действительно, было бы лучше и благороднее, если бы это было так; но поскольку следует признать, что даже наши более достойные решения являются результатом "совести, более или менее затуманенной эгоизмом", лучше называть эту смесь ее настоящим именем.[\[984\]](#) Конечно, не всегда легко, говоря об итальянцах того периода,

отличить это чувство чести от страсти к славе, в которую оно действительно легко переходит. И все же эти два чувства существенно различаются.

По этому вопросу нет недостатка в свидетелях. Тот, кто говорит прямо, может быть процитирован здесь как представитель остальных. В недавно опубликованных "Афоризмах" Гвиччардини мы читаем:[985] 'Тот, кто высоко ценит честь, преуспевает во всем, за что берется, поскольку не боится ни неприятностей, ни опасности, ни расходов; я убедился в этом на собственном опыте и могу это сказать и написать; тщетны и мертвы деяния людей, у которых это не является мотивом'. Необходимо добавить, что из того, что известно о жизни писателя, он может говорить здесь только о чести, а не о славе. Рабле изложил этот вопрос яснее, чем, возможно, любой итальянец. Мы цитируем его, действительно, неохотно, на этих страницах. То, что дает нам великий француз эпохи барокко, - это картина того, каким был бы Ренессанс без формы и без красоты.[986] Но его описание идеального положения вещей в телемитском монастыре является решающим историческим доказательством. Говоря о своих кавалерах и леди Ордена Свободной воли,[987] он сообщает нам следующее:—

'En leur reigle n'estoit que ceste clause: Fay ce que vouldras. Parce que gens liberes, bien nayz,[988] bien instruitz, conversans en compaignies honnestes, ont par nature ung instinct et aguillon qui toujours les poulse à faitz vertueux, et retire de vice; lequel ilz nommoient honneur.'

Это та самая вера в доброту человеческой природы, которая вдохновляла людей второй половины восемнадцатого века и помогла подготовить почву для Французской революции. Среди итальянцев тоже каждый человек апеллирует к этому внутреннему благородному инстинкту, и хотя в отношении к народу в целом — главным образом вследствие национальных бедствий — стали преобладать суждения более пессимистического толка, важность этого чувства чести по-прежнему следует высоко оценивать. Если безграничное развитие индивидуальности, более сильное, чем воля отдельного человека, является делом исторического провидения, то не в меньшей степени это относится и к противодействующей силе, которая тогда проявила себя в Италии. Как часто и вопреки каким страстным атакам эгоизма она побеждала, мы не можем сказать, и поэтому никакое человеческое суждение не может с уверенностью оценить абсолютную моральную ценность нации.

Сила, которую мы должны постоянно принимать во внимание, оценивая нравственность более высокоразвитых итальянцев того периода, - это сила воображения. Это придает его добродетелям и порокам особую окраску, и под ее влиянием его необузданный эгоизм проявляется в своей самой ужасной форме.

Сила его воображения объясняет, например, тот факт, что он был первым крупномасштабным игроком в наше время. Картины будущего богатства и наслаждений вставляли перед его глазами в таких живых красках, что он был готов рискнуть всем, чтобы достичь их. Мусульманские народы, несомненно, предвосхитили бы его в этом отношении, если бы Коран с самого начала не установил запрет на азартные игры как главную гарантию общественной морали и не направил воображение своих последователей на поиски зарытых сокровищ. В Италии страсть к игре достигла такого накала, что часто угрожала существованию игрока или вовсе прекращала его. Во Флоренции уже в конце четырнадцатого века был свой Казанова — некий Буонаккорсо Питти,[989] который в ходе своих непрекращающихся путешествий в качестве торговца,

политического агента, дипломата и профессионального игрока выигрывал и проигрывал суммы настолько огромные, что никто, кроме принцев, таких как герцоги Брабанта, Баварии и Савойи, не мог соперничать с ним. Этот крупный лотерейный банк, который назывался Римским двором, приучал людей к потребности в возбуждении, которая находила свое удовлетворение в азартных играх в промежутках между одной интригой и другой. Мы читаем, например, о том, как Франческетто Кибо в двух партиях с кардиналом Рафаэлло Риарио проиграл не менее 14 000 дукатов, а затем пожаловался папе римскому, что его соперник обманул его.[\[990\]](#) С тех пор Италия стала родиной лотереи.

Именно воображению итальянцев был обязан своеобразный характер их мести. Чувство справедливости действительно было одним и тем же во всей Европе, и любое его нарушение, пока не было назначено наказания, должно было ощущаться одинаково. Но другие нации, хотя им и не было легче прощать, тем не менее легче забывали, в то время как итальянское воображение с пугающей живостью рисовало картину несправедливости.[\[991\]](#) Тот факт, что, согласно народной морали, мщение за кровь является долгом — долгом, часто исполняемым так, что нас бросает в дрожь, — придает этой страсти особую и еще более прочную основу. Правительство и суды признают его существование и оправданность и лишь пытаются удержать его в определенных рамках. Даже среди крестьянства мы читаем о фиестских пирах и взаимных убийствах в самых широких масштабах. Давайте рассмотрим пример.[\[992\]](#)

В районе Аквапенденте трое мальчиков наблюдали за скотом, и один из них сказал: 'Давайте узнаем, как вешают людей'. В то время как один сидел на плечах другого, а третий, накинув веревку на шею первого, привязывал ее к дубу, пришел волк, и двое, которые были свободны, убежали, оставив другого висеть. Впоследствии они нашли его мертвым и похоронили. В воскресенье его отец пришел принести ему хлеба, и один из них признался в случившемся и показал ему могилу. Затем старик убил его ножом, разрезал на куски, унес печень и угостил ею отца мальчика дома. После ужина он сказал ему, чья это печень. После этого между двумя семьями началась серия взаимных убийств, и в течение месяца было убито тридцать шесть человек, как женщин, так и мужчин.

И такая "вендетта", передававшаяся от отца к сыну и распространявшаяся на друзей и дальних родственников, не ограничивалась низшими классами, но доходила и до высших. Хроники и романы того периода полны подобных примеров, особенно мести за насилие над женщинами. Классической страной для подобных распрей была Романья, где "вендетта" была переплетена с интригами и партийными разногласиями всех мыслимых видов. Популярные легенды рисуют ужасную картину дикости, в которую впал этот храбрый и энергичный народ. Например, нам рассказывают об одном вельможе из Равенны, который собрал всех своих врагов в башне и мог бы сжечь их; вместо этого он выпустил их, обнял их и роскошно развлекал; после чего стыд свел их с ума, и они составили против него заговор.[\[993\]](#) Благочестивые и святые монахи неустанно призывали к примирению, но они едва ли могли сделать больше, чем до некоторой степени обуздать уже установившуюся вражду; их влияние едва ли препятствовало возникновению новых. Романисты иногда описывают нам это воздействие религии — как чувства великодушия и прощения внезапно пробуждались, а затем снова парализовывались силой того, что однажды было сделано и уже никогда не могло быть отменено. Самому Папе Римскому не всегда везло как миротворцу. "Папа Павел II. пожелал, чтобы ссора между Антонио Каффарелло и семьей Альберино прекратилась, и приказал Джованни Альберино и Антонио Каффарелло предстать перед ним, и велел им поцеловать друг друга, и пообещал им штраф в 2000 дукатов, если они

возобновят эту ссору, а через два дня Антонио был заколот тем же Джакомо Альберино, сыном Джованни, который ранил его однажды раньше; и папа был полон гнева, и конфисковал имущество Альберино, и разрушил его дома, и изгнал отца и сына из Рима".[994] Клятвы и церемонии, с помощью которых примирившиеся враги пытались оградить себя от рецидива, иногда совершенно ужасны. Когда участники "Нове" и "Пополари" встретились и поцеловались по двое в кафедральном соборе Сиены в канун Рождества 1494 года,[995] была зачитана клятва, согласно которой будущему нарушителю договора было отказано во всяком спасении во времени и вечности — 'клятва более удивительная и ужасная, чем когда-либо слышанная'. Последнее утешение религии в смертный час должно было обернуться проклятием человека, который нарушит ее. Однако ясно, что такая церемония скорее отражает отчаяние посредников, чем дает какую-либо реальную гарантию мира, поскольку самое настоящее примирение - это как раз то, которое меньше всего в нем нуждается.

Эта личная потребность в мести, испытываемая образованным и занимающим высокое положение итальянцем, покоящаяся на прочной основе аналогичного народного обычая, естественно, проявляется в тысяче различных аспектов и получает безоговорочное одобрение общественного мнения, что отражено в произведениях романистов.[996] Все едины в том, что в случае тех травм и оскорблений, за которые итальянское правосудие не предложило никакой компенсации, и тем более в случае тех, против которых ни один человеческий закон никогда не может адекватно защитить, каждый человек волен взять закон в свои руки. Только в мести должно быть искусство, и удовлетворение должно сочетаться с материальным ущербом и моральным унижением преступника. Простое жестокое, неуклюжее торжество силы, по мнению общественного мнения, не приносило удовлетворения. Весь человек с его чувством славы и презрения, а не только его кулак, должен одержать победу.

Итальянец того времени, правда, не стеснялся притворства для достижения своих целей, но был полностью свободен от лицемерия в принципиальных вопросах. В них он не пытался обмануть ни себя, ни других. Соответственно, месть была с совершенной откровенностью объявлена необходимостью человеческой природы. Хладнокровные люди заявляли, что это было тогда наиболее достойно похвалы, когда оно было освобождено от страсти и действовало просто из соображений целесообразности, "чтобы другие люди могли научиться оставлять нас невредимыми".[997] Однако таких случаев, должно быть, было лишь незначительное меньшинство по сравнению с теми, в которых страсть искала выхода. Этот вид мести явно отличается от кровного мщения, о котором уже говорилось; в то время как последнее более или менее укладывается в рамки возмездия — "jus talionis", — первое неизбежно заходит гораздо дальше, не только требуя санкции чувства справедливости, но и жажда восхищения и даже стремясь вызвать смех на своей стороне.

Вот причина, по которой люди были готовы так долго ждать своей мести. 'Белая вендетта', как правило, требовала стечения обстоятельств, которых необходимо было терпеливо ждать. Постепенное созревание таких возможностей описывается романистами с искренним восторгом.

Нет необходимости обсуждать моральность действий, в которых истцом и судьей является одно и то же лицо. Если эту итальянскую жажду мести вообще можно смягчить, то только доказав существование соответствующей национальной добродетели, а именно благодарности. Можно ожидать, что та же сила воображения, которая сохраняет и преувеличивает причиненное

однажды зло, также сохранит живую память о полученной доброте.^[998] Однако невозможно доказать это применительно к нации в целом, хотя следы этого можно увидеть в сегодняшнем итальянском характере. Примерами этого являются благодарность, проявляемая низшими классами за доброе обращение, и добрая память высших за вежливость в социальной жизни.

Эта связь между воображением и моральными качествами итальянца повторяется постоянно. Если, тем не менее, мы обнаруживаем более холодный расчет в случаях, когда северянин скорее следует своим импульсам, то причина в том, что индивидуальное развитие в Италии было не только более выраженным и ранним по времени, но и гораздо более частым. Там, где это имеет место в других странах, результаты также аналогичны. Мы обнаруживаем, например, что раннее освобождение молодежи от домашней и отцовской власти является общим для Северной Америки и Италии. Позже, у более щедрых натур, между родителями и детьми зарождаются узы более свободной привязанности.

На самом деле крайне трудно справедливо судить о других нациях в сфере характера и чувств. В этих отношениях народ может быть высокоразвит, и все же настолько странным образом, что иностранец совершенно неспособен это понять. Возможно, все нации Запада находятся в этом отношении в равном положении.

Но где воображение оказало наиболее сильное и деспотическое влияние на мораль, так это в недозволенных сношениях двух полов. Хорошо известно, что проституцией свободно занимались в средние века, до появления сифилиса. Однако обсуждение этих вопросов не относится к нашей настоящей работе. Что кажется характерным для Италии в это время, так это то, что здесь брак и его права попирались чаще и более сознательно, чем где-либо еще. Девушки высших сословий были тщательно изолированы, и о них мы не говорим. Вся страсть была направлена на замужних женщин.

При таких обстоятельствах примечательно, что, насколько нам известно, число браков не уменьшилось и что семейная жизнь никоим образом не претерпела той дезорганизации, которую подобное положение вещей вызвало бы на Севере. Мужчины хотели жить так, как им заблагорассудится, но ни в коем случае не отказывались от семьи, даже когда они не были уверены, что все это принадлежит им самим. Раса не опустилась по этой причине ни физически, ни умственно; ибо тот очевидный интеллектуальный упадок, который проявился к середине шестнадцатого века, несомненно, может быть объяснен политическими и церковными причинами, даже если мы не будем предполагать, что круг достижений, возможных для Возрождения, был завершен. Несмотря на свою расточительность, итальянцы продолжали оставаться физически и умственно одним из самых здоровых и высокородных народов Европы,^[999] и сохранили это положение с улучшенными моральными устоями вплоть до наших дней.

Когда мы более внимательно приглядываемся к этике любви эпохи Возрождения, нас поражает поразительный контраст. Романисты и поэты-комики дают нам понять, что любовь состоит только в чувственном наслаждении и что для достижения этого все средства, трагические или комические, не только дозволены, но и интересны в меру их дерзости и беспринципности. Но если мы обратимся к лучшим из поэтов-лириков и авторов диалогов, мы обнаружим в них глубокую и духовную страсть самого благородного рода, последним и высшим выражением

которой является возрождение древней веры в изначальное единство душ в Божественном Существо. И оба вида чувств были тогда подлинными и могли сосуществовать в одном и том же человеке. Дело не совсем в славе, но это факт, что у современного культурного человека это чувство может не просто бессознательно присутствовать как на высшей, так и на низшей стадиях, но может таким образом проявляться открыто и даже художественно. Современный человек, как и человек древности, в этом отношении тоже является микрокосмом, которым средневековый человек не был и не мог быть.

Начнем с морали романистов. Как мы уже говорили, в основном они повествуют о замужних женщинах и, следовательно, о супружеской неверности.

Упомянутое выше мнение (стр. 395) о равенстве двух полов имеет большое значение в связи с этим вопросом. Высокоразвитая и культурная женщина распоряжается собой со свободой, неизвестной в северных странах; и ее неверность не разрушает ее жизнь таким же ужасным образом, пока из этого не вытекает никаких внешних последствий. Притязания мужа на ее верность не имеют под собой той прочной основы, которую они приобретают на Севере благодаря поэзии и страсти ухаживания и помолвки. После самого краткого знакомства со своим будущим мужем молодая жена покидает монастырь или отцовский кров, чтобы окунуться в мир, в котором ее характер начинает быстро развиваться. По этой причине права мужа являются условными, и даже мужчина, рассматривающий их в свете "jus quaesitum", думает только о внешних условиях контракта, а не о чувствах. Красивая молодая жена старика отправляет обратно подарки и письма юного любовника в твердой решимости сохранить свою честь (honestia). "Но она радуется любви юноши ради его великого совершенства; и она понимает, что благородная женщина может любить достойного человека без ущерба для своей чести".[1000] Но путь от такого разграничения до полной капитуляции короток.

Последнее действительно кажется вполне оправданным, когда речь идет о неверности со стороны мужа. Женщина, сознающая свое собственное достоинство, воспринимает это не только как боль, но и как унижение и обман, и принимается за работу, часто со спокойнейшим сознанием того, что она делает, чтобы придумать месть, которой заслуживает муж. Ее тактичность должна решить, какая мера наказания подходит к конкретному случаю. Самая глубокая рана, например, может подготовить путь к примирению и мирной жизни в будущем, если только она останется тайной. Романисты, которые сами переживают подобные переживания или выдумывают их в соответствии с духом эпохи, преисполняются восхищения, когда месть искусно приспособлена к конкретному случаю, фактически, когда это произведение искусства. Разумеется, муж никогда в глубине души не признает этого права на возмездие и подчиняется ему только из страха или благоразумия. Там, где эти мотивы отсутствуют, где неверность жены разоблачает его или может выставить на посмешище посторонних, роман приобретает трагический характер и нередко заканчивается убийством или другой жестокой местью. Характерным для реального мотива, из которого проистекают эти деяния, является то, что не только мужа, но и братья[1001] и отец женщины чувствуют себя не только оправданными в совершении мести, но и обязанными совершить ее. Таким образом, ревность не имеет к делу никакого отношения, моральное осуждение невелико; истинная причина - желание испортить триумф других. "В наши дни, - говорит Банделло,[1002] "мы видим, как женщина травит своего мужа, чтобы удовлетворить свою похоть, думая, что вдова может делать все, что пожелает. Другая, опасаясь разоблачения незаконной связи, приказывает своему любовнику убить своего мужа. И хотя отцы, братья и мужа восстают, чтобы искоренить

позор ядом, мечом и любыми другими средствами, женщины все еще продолжают следовать своим страстям, не заботясь о своей чести и своей жизни.' В другой раз, в более мягком тоне, он восклицает: 'Если бы нам ежедневно не приходилось слышать, что один мужчина убил свою жену, потому что заподозрил ее в неверности; что другой убил свою дочь из-за тайного брака; что третий стал причиной убийства своей сестры, потому что она не захотела выйти замуж так, как он хотел! Это большая жестокость, что мы претендуем на право делать все, что перечислим, и не потерпим, чтобы женщины делали то же самое. Если они сделают что-нибудь, что нам не понравится, мы сразу же окажемся со шнурами, кинжалами и ядом. Что за глупость со стороны мужчин полагать, что их собственная честь и честь их дома зависят от аппетита женщины! Трагедия, которой обычно заканчивались подобные романы, была настолько хорошо известна, что романист смотрел на кавалера, которому угрожали, как на мертвеца, даже когда тот ходил живой и веселый. Врач и лютник Антонио Болонья[1003] заключил тайный брак с овдовевшей герцогиней Амальфи из Арагонского дома. Вскоре после этого ее брату удалось заполучить ее и ее детей и убить их в замке. Антонио, ничего не зная об их судьбе и все еще лелея надежду увидеть их снова, находился в Милане под пристальным наблюдением наемных убийц и однажды в обществе Ипполиты Сфорца спел под лютную историю своих злоключений. Друг заведения, Делио, 'рассказал историю до этого момента Сципионе Аттелано и добавил, что сделает ее темой романа, поскольку был уверен, что Антонио будет убит'. Способ, которым это произошло, почти на глазах у Делио и Аттелано, потрясаяще описан Банделло (i. 26).

Тем не менее романисты обычно проявляют симпатию ко всем остроумным, комичным и коварным чертам, которые могут сопутствовать супружеской измене. Они с восторгом описывают, как любовнику удастся спрятаться в доме, все средства и приспособления, с помощью которых он общается со своей любовницей, коробки с подушечками и сладостями, в которых его можно спрятать и унести подальше от опасности. Обманутый муж описывается иногда как дурак, над которым смеются, иногда как кровожадный мститель за свою честь; третьей ситуации не существует, за исключением того случая, когда женщина изображается злой и жестокой, а муж или любовник - невинной жертвой. Однако можно отметить, что повествования последнего типа, строго говоря, не являются романами, а скорее поучительными примерами, взятыми из реальной жизни.[1004]

Когда в течение шестнадцатого века итальянская жизнь все больше и больше подпадала под испанское влияние, жестокость средств, к которым прибегала ревность, возможно, возросла. Но эту новую фазу следует отличать от наказания заневе́рность, которое существовало раньше и которое было основано в духе самого Возрождения. По мере ослабления влияния Испании уменьшались и эти проявления ревности, пока к концу семнадцатого века они полностью не исчезли, а их место не заняло то безразличие, которое относилось к "Чичисбео" как к незаменимой фигуре в каждом доме и не обижалось на одного или двух нештатных любовников ("Патити").

Но кто возьмется сравнить огромную сумму зла, которую подразумевают все эти факты, с тем, что произошло в других странах? Были ли, например, брачные узы действительно более священными во Франции XV века, чем в Италии? 'Фаблио' и фарсы заставили бы нас усомниться в этом и скорее склонить нас к мысли, что неверность была столь же распространенным явлением, хотя ее трагические последствия были менее частыми, потому что индивид был менее развит и его притязания воспринимались менее сознательно, чем в Италии. Однако еще одним доказательством в пользу германских народов является факт социальной свободы,

которой пользуются среди них девочки и женщины, которая так приятно впечатлила итальянских путешественников в Англии и Нидерландах (с. 399, примечание 2). И все же мы не должны придавать этому факту слишком большого значения. Неверность, несомненно, была очень частым явлением и в некоторых случаях приводила к кровавой мести. Нам стоит только вспомнить, как северные принцы того времени поступали со своими женами при первом подозрении в неверности.

Но это было не просто чувственное желание, не просто вульгарный аппетит обычного мужчины, который вторгся на запретную территорию среди итальянцев того времени, но также страсть самых лучших и благородных; и это не только потому, что незамужняя девушка не появлялась в обществе, но также и потому, что мужчина, в соответствии с полнотой его собственной натуры, чувствовал, что его сильнее всего привлекает женщина, которую развил брак. Это люди, которые уловили самые возвышенные ноты лирической поэзии и которые попытались в своих трактатах и диалогах дать нам идеализированный образ всепожирающей страсти — ‘божественной любви’. Когда они жалуются на жестокость крылатого бога, они думают не только о застенчивости или жестокосердии возлюбленного, но и о незаконности самой страсти. Они стремятся подняться над этим болезненным сознанием с помощью той одухотворенности любви, которая нашла опору в платоновском учении о душе и самым известным представителем которой является Пьетро Бембо. Его мысли по этому поводу изложены им самим в третьей книге ‘Азолани’ и косвенно Кастильоне, который вкладывает в его уста великолепную речь, которой завершается четвертая книга ‘Кортиджано’; ни один из этих писателей не был stoиком в своем поведении, но в то время что-то значило быть одновременно знаменитым и хорошим человеком, и эта похвала должна быть воздана им обоим; их современники восприняли то, что сказали эти люди, как истинное выражение их чувств, и мы не имеем права презирать это как притворство. Те, кто возьмет на себя труд изучить речь в ‘Кортиджано’, увидят, насколько скудное представление о ней может дать отрывок. В то время в Италии жили несколько выдающихся женщин, которые были обязаны своей известностью главным образом отношениям такого рода, такие как Джулия Гонзага, Вероника да Кореджо и, прежде всего, Виттория Колонна. Страна распутников и насмешников уважала этих женщин и такой вид любви — и что еще можно сказать в их пользу? Мы не можем сказать, насколько тщеславие имело к этому отношение, насколько Виттории было лестно слышать вокруг себя возвышенные признания в безнадежной любви от самых известных мужчин Италии. Если кое-где эта вещь была в моде, то для Виттории все равно было немалой похвалой то, что она, по крайней мере, никогда не выходила из моды и в последние годы своей жизни производила самое глубокое впечатление. Это было задолго до того, как другие страны смогли продемонстрировать что-либо подобное.

Таким образом, в воображении, которое управляло этим народом больше, чем любым другим, кроется одна общая причина, по которой течение каждой страсти было жестоким и почему средства, используемые для удовлетворения страсти, часто были преступными. Существует насилие, которое не может контролировать само себя, потому что оно порождено слабостью; но в Италии мы находим развращение сильных натур. Иногда эта коррупция принимает колоссальные формы, и преступность, кажется, приобретает почти самостоятельное существование.

Ограничений, которые сознавали люди, было очень мало. Каждый индивид, даже среди самых низших слоев населения, чувствовал себя внутренне освобожденным от контроля государства и его полиции, право на уважение которых было незаконным и само по себе основывалось на насилии; и никто больше не верил в справедливость закона. Когда совершалось убийство, симпатии народа еще до того, как становились известны обстоятельства дела, инстинктивно становились на сторону убийцы.^[1005] Гордая, мужественная осанка перед казнью и во время нее вызывала такое восхищение, что рассказчик часто забывает сообщить нам, за какое преступление преступник был приговорен к смерти.^[1006] Но когда мы добавляем к этому внутреннее неуважение к закону и к бесчисленным обидам и вражде, которые требовали удовлетворения, безнаказанность, которой пользовались преступники во времена политических беспорядков, мы можем только удивляться, что государство и общество не были полностью распущены. Кризисы такого рода происходили в Неаполе во время перехода от арагонского к французскому и испанскому владычеству, и в Милане во время неоднократных изгнаний и возвращений Сфорца; в такие моменты те люди, которые в глубине души никогда не признавали уз закона и общества, выходят вперед и дают волю своим инстинктам убийства и грабежа. Давайте возьмем, в качестве примера, картину, нарисованную из более скромной сферы.

Когда Миланское герцогство страдало от беспорядков, последовавших за смертью Джангалеаццо Сфорца, примерно в 1480 году (стр. 40, 126), безопасности в провинциальных городах пришел конец. Так было в Парме,^[1007] где миланский губернатор, напуганный угрозами убийства и после тщетных предложений вознаграждения за поимку преступников, согласился открыть тюрьмы и выпустить на свободу самых закоренелых преступников. Кражи со взломом, снос домов, бесстыдные нарушения приличий, публичные покушения и убийства, особенно евреев, были событиями повседневными. Сначала виновники этих деяний бродили поодиночке в масках; вскоре большие банды вооруженных людей каждую ночь выходили на работу без маскировки. Письма с угрозами, сатиры и скандальные шутки свободно циркулировали; а сонет, высмеивающий правительство, по-видимому, вызвал его негодование гораздо больше, чем ужасное состояние города. Во многих церквях были украдены священные сосуды с воинством, и этот факт характерен для характера, вызвавшего эти безобразия. Невозможно сказать, что произошло бы сейчас в какой-либо стране мира, если бы правительство и полиция прекратили действовать и все же своим присутствием препятствовали созданию временной администрации; но то, что тогда произошло в Италии, носит особый характер, благодаря большой доле личной ненависти и мести. Действительно, впечатление, которое производит на нас Италия в этот период, таково, что даже в спокойные времена тяжкие преступления были более распространенными, чем в других странах. Правда, нас может ввести в заблуждение тот факт, что здесь мы располагаем гораздо более полными подробностями по таким вопросам, чем где бы то ни было, и что та же сила воображения, которая придает особый характер действительно совершенным преступлениям, заставляет выдумывать многое из того, чего на самом деле никогда не было. Уровень насилия, возможно, был столь же велик и в других местах. Трудно сказать наверняка, были ли в 1500 году люди в большей безопасности, была ли человеческая жизнь в конце концов лучше защищена в могущественной, богатой Германии с ее рыцарями-разбойниками, нищими-вымогателями и дерзкими разбойниками с большой дороги. Но одно можно сказать наверняка: преднамеренные преступления, совершаемые профессионально и по найму третьими лицами, происходили в Италии с большой и ужасающей частотой.

Что касается разбоя, то Италия, особенно в более благополучных провинциях, таких как Тоскана, была, безусловно, не более, а возможно, и менее обеспокоена, чем страны Севера. Но цифры, которые нам встречаются, характерны для страны. Было бы трудно, например, найти в другом месте случай со священником, которого страсть постепенно доводила от одного излишества к другому, пока, наконец, он не возглавил банду разбойников. Тот век предлагает нам этот пример среди других.^[1008] 12 августа 1495 года священник дон Никколо де Пелегати из Фигароло был заключен в железную клетку за пределами башни Сан-Джулиано в Ферраре. Он дважды отслужил свою первую мессу; в первый раз он в тот же день совершил убийство, но впоследствии получил отпущение грехов в Риме; затем он убил четырех человек и женился на двух женах, с которыми путешествовал. Впоследствии он принимал участие во многих убийствах, насиловал женщин, увозил других силой, грабил повсюду и наводнил территорию Феррары бандой последователей в военной форме, вымогая еду и кров всеми видами насилия. Когда мы думаем о том, что все это подразумевает, масса вины, лежащая на голове этого единственного человека, является чем-то огромным. Духовенство и монахи имели много привилегий и мало контроля, и среди них, несомненно, было много убийц и других злоумышленников — но вряд ли был второй Пелегати. Другое дело, хотя и отнюдь не похвальное, когда разорившиеся персонажи прятались в капюшонах, чтобы избежать руки закона, подобно корсару, которого Массуччо знал по монастырю в Неаполе.^[1009] Какова была настоящая правда в отношении папы Иоанна XXIII. на этот счет с уверенностью ничего неизвестно.^[1010]

Эпоха знаменитого главаря разбойников началась лишь позже, в семнадцатом веке, когда политическая борьба гвельфов и гибеллинов, французов и испанцев перестала будоражить страну. Затем место партизана занял грабитель.

В некоторых районах Италии, где цивилизация почти не продвинулась вперед, сельские жители были склонны убивать любого незнакомца, попавшего к ним в руки. Особенно это было характерно для более отдаленных частей Неаполитанского королевства, где варварство, вероятно, восходит ко временам римских "латифундий", и когда чужак и враг ("hospes" и "hostis") добросовестно считались одним и тем же лицом. Эти люди были далеки от того, чтобы быть нерелигиозными. Однажды пастух попал в большую беду на исповеди, признавшись, что во время приготовления сыра во время Великого поста ему в рот попало несколько капель молока. Духовник, сведущий в обычаях страны, обнаружил в ходе своего допроса, что кающийся и его друзья имели обыкновение грабить и убивать путешественников, но что в силу привычки это не вызывало у них угрызений совести.^[1011] Мы уже упоминали (стр. 352, примечание 3), до какой степени варварства могли опуститься крестьяне в других местах во времена политической неразберихи.

Худшим признаком нравственности того времени, чем разбой, была частота заказных убийств. В этом отношении Неаполь считался главой всех городов Италии. "Ничто, - говорит Понтано,^[1012] 'здесь не стоит дешевле человеческой жизни'. Но другие округа также могли бы показать ужасный список этих преступлений. Конечно, трудно классифицировать их в соответствии с мотивами, которыми они руководствовались, поскольку политическая целесообразность, личная ненависть, партийная неприязнь, страх и месть - все это накладывается друг на друга. Для флорентийцев, самого высокоразвитого народа Италии, немалая честь, что правонарушения такого рода среди них происходили реже, чем где-либо еще,^[1013] возможно, потому, что существовала справедливость в отношении законных жалоб,

которая признавалась всеми, или потому, что более высокая культура индивида давала ему иные взгляды на право людей вмешиваться в постановления правительства. Судьба. Во Флоренции, как нигде, люди были способны ощутить неисчислимы последствия кровавого деяния и понять, насколько ненадежен автор так называемого прибыльного преступления в какой-либо реальной и долговременной выгоде. После падения флорентийской свободы количество убийств, особенно со стороны наемных агентов, похоже, быстро увеличилось и продолжалось до тех пор, пока правительство Козимо I. не достигло такой силы, что полиция^[1014], наконец, смогла его подавить.

В других регионах Италии оплачиваемые преступления, вероятно, были более или менее частыми в зависимости от количества влиятельных и платежеспособных покупателей. Хотя невозможно провести какую-либо статистическую оценку их количества, все же, если только часть смертей, которые в общественных отчетах приписываются насилию, на самом деле были убийствами, преступления должны были быть ужасно частыми. Наихудший пример из всех подавали князья и правительства, которые без малейших угрызений совести считали убийство одним из инструментов своей власти. И это, не относясь к одной категории с Сезаром Борджиа. Сфорца, арагонские монархи, Венецианская Республика,^[1015] и позже агенты Карла V. прибегали к ней всякий раз, когда это соответствовало их целям. Воображение людей в конце концов настолько привыкло к фактам такого рода, что смерть какого-либо влиятельного человека редко или вообще никогда не объяснялась естественными причинами.^[1016] Были, конечно, абсурдные представления о действии различных ядов. Возможно, есть доля правды в истории о том ужасном белом порошке, которым пользовались Борджиа, который сделал свое дело в конце определенного периода (стр. 116), и возможно, что это действительно был "веленум аттерминатум", который принц Салерно вручил кардиналу Арагона со словами: "Через несколько дней ты умрешь, потому что твой отец, король Ферранте, хотел растоптать нас всех".^[1017] Но отравленное письмо, которое Катерина Риарио отправила папе Александру VI.^[1018] вряд ли это стало бы причиной его смерти, даже если бы он прочитал это; и когда врачи предупредили Альфонсо Великого, чтобы он не читал "Ливия", который подарил ему Козимо Медичи, он справедливо посоветовал им не говорить как дураки.^[1019] И тот яд, которым секретарь Пиччинино хотел помазать паланкин Пия II.,^[1020] не может повлиять ни на какой другой орган, кроме воображения. Соотношение минеральных и растительных ядов по отношению друг к другу не может быть точно установлено. Яд, которым художник Россо Фиорентино покончил с собой (1541), очевидно, был сильнодействующей кислотой,^[1021] которую было бы невозможно ввести другому человеку без его ведома. Тайное использование оружия, особенно кинжала, на службе у влиятельных лиц было обычным делом в Милане, Неаполе и других городах. Действительно, среди толп вооруженных слуг, которые были необходимы для личной безопасности великих и которые жили в праздности, было естественно, что время от времени случались вспышки этой мании крови. Многие ужасные деяния никогда бы не были совершены, если бы учитель не знал, что ему нужно всего лишь подать знак тому или иному из своих последователей.

Среди средств, используемых для тайного уничтожения других — пока, то есть по замыслу, — мы находим магию,^[1022] применяемую, однако, редко. Там, где упоминаются "малефиции", "мали" и так далее, они предстают скорее как средство нагнетания дополнительного ужаса на голову какого-нибудь ненавистного врага. При дворах Франции и Англии в четырнадцатом и

пятнадцатом веках магия, применявшаяся с целью умерщвления противника, играла гораздо более важную роль в Италии.

Наконец, в этой стране, где индивидуальность всякого рода достигла своего наивысшего развития, мы находим примеры той идеальной и абсолютной порочности, которая находит удовольствие в преступлениях ради них самих, а не как в средствах достижения цели или, по крайней мере, как в средствах достижения целей, для которых наша психология не имеет меры.

Среди этих ужасающих фигур мы можем в первую очередь обратить внимание на некоторых "кондотьеров",^[1023] таких, как Браччо ди Монтоне, Тиберто Брандолино и тот Вернер фон Урслинген, на серебряной кольчуге которого была надпись: 'Враг Бога, сострадания и пощады'. Этот класс людей предлагает нам одни из самых ранних примеров того, как преступники сознательно отвергали все моральные ограничения. И все же мы будем более сдержанны в нашем суждении о них, если вспомним, что худшая часть их вины — по оценке тех, кто это описывает, — заключалась в их пренебрежении духовными угрозами и наказаниями, и что этому факту обязана атмосфера ужаса, которой они изображены окруженными. В случае с Браччо ненависть к Церкви зашла так далеко, что он пришел в ярость при виде монахов, читающих псалмы, и сбросил их с вершины башни;^[1024] но в то же время "он был верен своим солдатам и великому генералу". Как правило, преступления "кондотьеров" были совершены ради какой-то определенной выгоды и должны быть отнесены к положению, в котором люди не могли не быть деморализованы. Даже их, казалось бы, беспричинная жестокость обычно имела определенную цель, хотя бы для того, чтобы посеять ужас. Варварство Арагонского дома, как мы видели, было вызвано главным образом страхом и жаждой мести. Жажда крови сама по себе, дьявольское наслаждение разрушением наиболее ярко проиллюстрированы в случае с испанцем Сезаром Борджиа, жестокость которого, безусловно, была несоразмерна цели, которую он имел в виду (стр. 114 кв.). У Сигизмондо Малатесты, тирана Римини (стр. 32, 228), также можно обнаружить ту же бескорыстную любовь ко злу. Это не только Римский суд,^[1025] но и вердикт истории, который обвиняет его в убийстве, изнасиловании, супружеской неверности, кровосмешении, святотатстве, лжесвидетельстве и государственной измене, совершаемых не один раз, а часто. Самое шокирующее преступление из всех — неестественное покушение на собственного сына Роберто, который сорвал его обнаженным кинжалом,^[1026] — возможно, было результатом не просто морального разложения, но, возможно, какого-то магического или астрологического суеверия. Та же гипотеза была выдвинута для объяснения изнасилования епископа Фано^[1027] Пьерлуиджи Фарнезе из Пармы, сыном Павла III.

Если мы теперь попытаемся суммировать основные черты итальянского характера того времени, как мы знаем его из изучения жизни высших классов, мы получим нечто вроде следующего результата. Основной порок этого персонажа был в то же время условием его величия, а именно чрезмерный индивидуализм. Индивид сначала внутренне отвергает власть государства, которое, на самом деле, в большинстве случаев является тираническим и незаконным, и то, что он думает и делает, справедливо или ошибочно, теперь называется государственной изменой. Вид победоносного эгоизма в других заставляет его защищать свое право собственной рукой. И, думая восстановить свое внутреннее равновесие, он попадает из-за мести, которую он совершает, в руки сил тьмы. Его любовь тоже обращается главным образом для удовлетворения к другой столь же развитой индивидуальности, а именно к жене его соседа. Перед лицом всех объективных фактов, законов и ограничений любого рода он

сохраняет чувство собственного суверенитета и в каждом отдельном случае формирует свое решение самостоятельно, в зависимости от того, насколько честь или интерес, страсть или расчет, месть или отречение берут верх в его собственном сознании.

Следовательно, если эгоизм в его широком и узком смысле является корнем и источником всего зла, то более высокоразвитый итальянец был по этой причине более склонен ко злу, чем представитель других наций того времени.

Но это индивидуальное развитие пришло к нему не по его собственной вине, а скорее в силу исторической необходимости. Это снизошло не на него одного, но также, и главным образом посредством итальянской культуры, на другие народы Европы и с тех пор составляло ту возвышенную атмосферу, которой они дышат. Само по себе это ни хорошо, ни плохо, но необходимо; внутри него вырос современный стандарт добра и зла — чувство моральной ответственности, — которое существенно отличается от того, что было знакомо средневековью.

Но итальянцу эпохи Возрождения пришлось пережить первый мощный всплеск новой эпохи. Благодаря своим способностям и увлечениям он стал самым характерным представителем всех высот и всех глубин своего времени. Рядом с глубоким разложением появились человеческие личности, обладающие благороднейшей гармонией и художественным великолепием, которые придавали человеческой жизни такой блеск, которого ни античность, ни средневековье не могли и не хотели ей придать.

ГЛАВА II.

РЕЛИГИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ.

Нравственность народа находится в теснейшей связи с его сознанием Бога, то есть с его более твердой или более слабой верой в божественное правление миром, независимо от того, смотрит ли эта вера на мир как на обреченный на счастье или на несчастье и скорую гибель.^[1028] Распространенная в то время в Италии неверность печально известна, и тот, кто потрудится поискать доказательства, найдет их сотнями. Наша нынешняя задача, здесь, как и везде, состоит в том, чтобы разделять и дискриминировать, воздерживаясь от абсолютного и окончательного вердикта.

Вера в Бога в прежние времена имела свой источник и главную опору в христианстве и внешнем символе христианства - Церкви. Когда Церковь стала развращенной, люди должны были провести различие и сохранить свою религию вопреки всему. Но это легче сказать, чем сделать. Не каждый народ достаточно спокоен или туп, чтобы мириться с длительным противоречием между принципом и его внешним выражением. Но история не зафиксировала более тяжелой ответственности, чем та, которая лежит на распадающейся Церкви. Она провозгласила абсолютной истиной и самыми жестокими средствами доктрину, которую сама исказила, чтобы послужить своему собственному возвеличиванию. Уверенная в своей неприкосновенности, она предалась самому скандальному распутству и, чтобы сохранить себя в этом состоянии, наносила смертельные удары совести и интеллекту народов и ввергала множество самых благородных душ, которых она внутренне отчуждала, в объятия неверия и отчаяния.

Здесь мы сталкиваемся с вопросом: почему Италия, столь великая интеллектуально, не отреагировала более энергично против иерархии; почему она не осуществила реформацию, подобную той, что произошла в Германии, и не осуществила ее раньше?

На этот вопрос был дан правдоподобный ответ. Нам говорят, что итальянское мышление никогда не шло дальше отрицания иерархии, в то время как происхождение и сила немецкой реформации были обусловлены ее позитивными религиозными доктринами, прежде всего доктринами оправдания верой и неэффективности добрых дел.

Несомненно, что эти доктрины действовали на Италию только через Германию, и то лишь после того, как могущество Испании стало достаточно велико, чтобы без труда искоренить их, частично самостоятельно, а частично с помощью папства и его инструментов.^[1029] Тем не менее, в ранних религиозных движениях Италии, от мистиков тринадцатого века до Савонаролы, существовало большое количество позитивных религиозных доктрин, которые, подобно очень определенному христианству гугенотов, не смогли добиться успеха только потому, что обстоятельства были против этого. Великие события, подобные Реформации, ускользают от внимания философов в том, что касается их деталей, их возникновения и развития, как бы ясно ни была продемонстрирована необходимость их в целом. Движения человеческого духа, его внезапные вспышки, экспансии и паузы должны навсегда остаться тайной для наших глаз, поскольку мы можем знать только ту или иную из действующих в нем сил, но никогда все их вместе.

Отношение высших и средних классов Италии к Церкви в то время, когда эпоха Возрождения достигла кульминации, состояло из глубокого и презрительного отвращения, согласия с внешними церковными обычаями, вошедшими в повседневную жизнь, и чувства зависимости от таинств и церемоний. К фактам, характерным для Италии, можно добавить большое личное влияние религиозных проповедников.

Эта враждебность к иерархии, которая особенно ярко проявляется в итальянской литературе и истории со времен Данте, была подробно рассмотрена несколькими авторами. Мы уже (стр. 223) кое-что говорили об отношении общественного мнения к папству. Те, кто желает получить самые убедительные доказательства, которые предлагают нам лучшие авторитеты, могут найти их в знаменитых отрывках 'Дискорси' Макиавелли и в неизданном издании Гвиччардини. За пределами Римской курии, похоже, испытывали некоторое уважение к лучшим людям среди епископов,^[1030] и ко многим из приходского духовенства. С другой стороны, простые обладатели бенефиций, каноники и монахи находились под почти всеобщим подозрением и часто становились объектами самой скандальной клеветы, распространявшейся на весь их орден.

Было сказано, что монахов сделали козлами отпущения для всего духовенства по той причине, что никто, кроме них, не мог быть высмеян без опасности.^[1031] Но это, безусловно, неверно. Они так часто встречаются в романах и комедиях, потому что эти формы литературы нуждаются в фиксированных и хорошо известных типах, где воображение читателя может легко дополнить схему. Кроме того, романисты на самом деле не щадят светское духовенство.^[1032] В-третьих, у нас есть множество доказательств в остальной итальянской литературе, что люди могли достаточно смело говорить о папстве и римском дворе. В произведениях воображения мы не

можем ожидать найти критику такого рода. В-четвертых, монахи, когда на них нападали, иногда были способны на ужасную месть.

Тем не менее верно, что монахи были самым непопулярным классом из всех, и что они считались живым доказательством никчемности монастырской жизни, всей церковной организации, системы догм и религии в целом, в зависимости от того, кому нравилось, справедливо или ошибочно, делать свои выводы. Мы также можем предположить, что Италия сохранила более четкие воспоминания о происхождении двух великих нищенствующих орденов, чем другие страны, и не забыла, что они были главными действующими лицами реакции[1033] против того, что называется ересью тринадцатого века, то есть против раннего и энергичного движения современного итальянского духа. И та духовная полиция, которая была постоянно вверена доминиканцам, конечно, никогда не вызывала никаких других чувств, кроме тайной ненависти и презрения.

После прочтения 'Декамерона' и романов Франко Саккетти мы могли бы вообразить, что словарный запас оскорблений в адрес монахов и монахинь исчерпан. Но ко времени Реформации это злоупотребление стало еще более жестоким. Не говоря уже об Аретино, который в 'Раджионаменти' использует монастырскую жизнь просто как предлог для того, чтобы дать волю своей ядовитой натуре, мы можем процитировать одного автора, типичного для остальных, — Массуччо, в первых десяти из его пятидесяти романов. Они написаны в тоне глубочайшего возмущения и с целью сделать возмущение всеобщим; и посвящены людям, занимающим самое высокое положение, таким как король Ферранте и принц Альфонсо Неаполитанский. Многие из этих историй старые, и некоторые из них знакомы читателям Боккаччо. Но другие с пугающим реализмом отражают действительное положение вещей в Неаполе. Того, как священники дурачат и грабят людей с помощью поддельных чудес, добавленных к их собственной скандальной жизни, достаточно, чтобы привести в отчаяние любого вдумчивого наблюдателя. Мы читаем о монахах-миноритах, которые путешествовали за подаянием: "Они обманывают, крадут и прелюбодействуют, а когда их ресурсы на исходе, они выдают себя за святых и творят чудеса: у одного на груди плащ святого Винсента, у другого почерк[1034] Святого Бернадино, у третьего уздечка осла Капистрано'. Другие приводят с собой сообщников, которые притворяются слепыми или пораженными какой-либо смертельной болезнью, и, прикоснувшись к краю рясы монаха или реликвиям, которые он нес, исцеляются на глазах у толпы. Затем все кричат "Мизерикордия", звонят в колокола, и чудо фиксируется в торжественном протоколе.' Или же другой человек, стоящий ниже среди слушателей, обличает монаха с кафедры как лжеца; обвинитель немедленно оказывается одержимым дьяволом, а затем исцеляется проповедником. Все это было заранее подготовленной комедией, в которой, однако, директор школы со своим помощником заработали столько денег, что смогли купить епископство у кардинала, на которое два сообщника безбедно прожили до конца своих дней. Массуччо не делает большого различия между францисканцами и доминиканцами, считая, что одни стоят столько же, сколько и другие. "И все же глупый народ позволяет втянуть себя в свою ненависть и разногласия и ссорится из-за них в общественных местах", [1035] и называет себя "франческино" или "доменикино". ' Монахини - исключительная собственность монахов. Те из первых, кто имеет какое-либо отношение к мирянам, подвергаются судебному преследованию и сажаются в тюрьму, в то время как другие сочетаются браком с монахами по всем правилам, под аккомпанемент мессы, брачного контракта и щедрого снисхождения к еде и вину. 'Я сам, ' говорит автор, ' был там не один, а несколько раз и видел все это собственными глазами. Монахини впоследствии рожают хорошеньких маленьких монашек или же используют

средства, препятствующие этому результату. И если кто-нибудь обвинит меня во лжи, пусть хорошенько обыщет женские монастыри, и он найдет там столько же маленьких костей, сколько в Вифлееме во времена Ирода".[1036] Эти и подобные им вещи относятся к числу секретов монашеской жизни. Монахи ни в коем случае не слишком строги друг к другу на исповеди и накладывают Патерностер в тех случаях, когда они отказывают мирянину во всяком отпущении грехов, как если бы он был еретиком. ' Поэтому пусть земля разверзнется и поглотит несчастных живьем вместе с теми, кто их защищает! В другом месте Массуччо, говоря о том факте, что влияние монахов зависит главным образом от страха перед иным миром, высказывает следующее примечательное пожелание: "Лучшим наказанием для них было бы, если бы Бог упразднил Чистилище; тогда они больше не получали бы милостыни и были бы вынуждены вернуться к своим лопатам".

Если бы люди были свободны писать во времена Ферранте и ему самому в таком тоне, причину, возможно, следовало искать в том факте, что сам король был разгневан фальшивым чудом, которое ему подсунули.[1037] Была предпринята попытка призвать его к преследованию евреев, подобному тому, которое проводилось в Испании и которому подражали папы,[1038] изготовив табличку с надписью с именем святого Каталда, который, как говорят, был похоронен в Таренте, а затем откопан снова. Когда он обнаружил обман, монахи бросили ему вызов. Ему также удалось обнаружить и разоблачить мнимый случай голодания, как это сделал до него его отец Альфонсо.[1039] Суд, безусловно, не был соучастником в поддержании этих слепых суеверий.[1040]

Мы цитировали автора, который писал серьезно и который ни в коем случае не одинок в своих суждениях. Вся итальянская литература того времени полна насмешек и оскорблений в адрес нищенствующих монахов.[1041] Вряд ли можно сомневаться в том, что Возрождение вскоре уничтожило бы эти два Ордена, если бы не немецкая реформация и Контрреформация, которую это спровоцировало. Их святые и популярные проповедники вряд ли смогли бы спасти их. Нужно было только в благоприятный момент прийти к взаимопониманию с таким папой, как Лев X, который презирал нищенствующие ордена. Если дух времени находил их смешными или отталкивающими, они больше не могли быть ничем иным, кроме позора для Церкви. И кто может сказать, какая судьба была бы уготована самому папству, если бы Реформация не спасла его?

Влияние, которое отец-инквизитор доминиканского монастыря мог обычно оказывать в городе, где он находился, было во второй половине пятнадцатого века достаточно значительным, чтобы стеснять и раздражать культурных людей, но недостаточно сильным, чтобы вызвать какой-либо длительный страх или повиновение.[1042] Больше не было возможности наказывать людей за их мысли, как это было когда-то (стр. 290 кв.), и те, чьи языки наиболее нагло трепали против духовенства, могли легко держаться подальше от еретической доктрины. За исключением случаев, когда какая-нибудь могущественная партия ставила перед собой цель, как в случае с Савонаролой, или когда вставал вопрос об использовании магических искусств, как это часто случалось в городах Северной Италии, в то время мы редко читали о сожжении людей на костре. Инквизиторы в некоторых случаях довольствовались самым поверхностным опровержением, в других случалось даже, что жертва вырывалась из их рук по дороге к месту казни. В Болонье (1452) священник Никколо да Верона был публично унижен на деревянном помосте перед Сан-Доменико как колдун и осквернитель таинств, и его собирались увести на костер, когда его освободила банда вооруженных людей, посланная Ахиллом Мальвецци,

известным другом еретиков и насильником монахинь. Легату, кардиналу Бессариону, удалось поймать и повесить только одного из участников группы; Мальвецци продолжал жить спокойно.^[1043]

Следует отметить, что высшие монашеские ордена — бенедиктинцы с их многочисленными ответвлениями — пользовались, несмотря на их огромное богатство и легкую жизнь, гораздо меньшей неприязнью, чем нищенствующие монахи. Из десяти романов, повествующих о "фрати", едва ли можно найти хоть один, в котором 'монако' является субъектом и жертвой. Немалым преимуществом этого ордена было то, что он был основан раньше, а не как инструмент полиции, и что он не вмешивался в частную жизнь. В нем были люди образованные, остроумные и набожные, но средний показатель был описан одним из его членов Фиренцуолой,^[1044] который говорит: "Эти упитанные джентльмены в просторных капюшонах не проводят время в путешествиях босиком и на проповедях, а сидят в элегантных туфлях, скрестив руки на животе, в очаровательном ячеек обшиты кипрским деревом. А когда им приходится покидать дом, они с комфортом ездят верхом, словно для собственного развлечения, на мулах и гладких, спокойных лошадях. Они не перенапрягают свой ум изучением множества книг, опасаясь, как бы знание не поставило гордыню Люцифера на место монашеской простоты".

Те, кто знаком с литературой того времени, увидят, что мы изложили только то, что абсолютно необходимо для понимания предмета.^[1045] То, что репутация монахов и светского духовенства, должно быть,, пошатнула веру множества людей во все священное, конечно, очевидно.

И некоторые из судебных решений, которые мы читаем, ужасны; в заключение мы процитируем одно из них, которое было опубликовано совсем недавно и малоизвестно. Историк Гвиччардини, много лет состоявший на службе у пап-Медичи, говорит (1529) в своих "Афоризмах"^[1046]: "Ни один человек не испытывает большего отвращения, чем я, к честолюбию, алчности и распутству священников, не только потому, что каждый из этих пороков ненавистен сам по себе"., но потому, что все они наиболее неподходящи для тех, кто объявляет себя людьми, находящимися в особых отношениях с Богом, а также потому, что это пороки, настолько противоположные друг другу, что они могут сосуществовать только в очень необычных натурах. Тем не менее, мое положение при дворе нескольких пап заставляло меня желать их величия ради моих собственных интересов. Но, если бы это было так, я любил бы Мартина Лютера как самого себя, не для того, чтобы освободиться от законов, которые христианство, в общепринятом понимании и объяснении, возлагает на нас, а для того, чтобы увидеть, как эта толпа негодяев ("questa caterva di scellerati") будет возвращена на свое место, чтобы их можно было заставить жить либо без пороков, либо без власти".^[1047]

Тот же Гвиччардини придерживается мнения, что мы пребываем в неведении относительно всего сверхъестественного, что философы и теологи могут рассказать нам об этом только бессмыслицу, что чудеса происходят в каждой религии и не доказывают истинность ни одной конкретной, и что все они могут быть объяснены как неизвестные явления природы. Вера,двигающая горами, распространенная в то время среди последователей Савонаролы, упоминается Гвиччардини как любопытный факт, но без каких-либо горьких замечаний.

Несмотря на это враждебное общественное мнение, духовенство и монахи имели большое преимущество в том, что народ привык к ним и что их существование было переплетено с повседневным существованием всех остальных. Это преимущество, которым обладает каждое старое и могущественное учреждение. У каждого был какой-нибудь родственник в капюшоне или сюртуке, какая-нибудь перспектива помощи или будущей выгоды от сокровищ Церкви; и в центре Италии находился Римский двор, где люди иногда разбогатели в одно мгновение. Однако никогда не следует забывать, что все это не мешало людям свободно писать и высказываться. Авторы самых скандальных сатир сами были в основном монахами или священниками-благотворителями. Поджио, написавший "Facetiae", был священнослужителем; Франческо Берни, сатирик, принадлежал к каноническому сословию; Теофило Фоленго, автор 'Орландино', был бенедиктинцем, безусловно, отнюдь не верующим; Маттео Банделло, который высмеивал свой собственный орден, был доминиканцем и племянником генерала этого ордена. Вдохновляло ли их писать чувство, что они ничем не рискуют? Или они чувствовали внутреннюю потребность очистить себя лично от позора, нависшего над их орденом? Или ими двигал тот эгоистичный пессимизм, который принимает за максимум 'это продлится наше время'? Возможно, все эти мотивы были более или менее задействованы. В случае с Фоленго следует добавить несомненное влияние лютеранства.[1048]

Чувство зависимости от обрядов и таинств, которого мы уже касались, говоря о папстве (стр. 103), неудивительно среди той части людей, которая все еще верила в Церковь. Среди тех, кто был более эмансипирован, это свидетельствует о силе юношеских впечатлений и магической силе традиционных символов. Всеобщее желание умирающих людей получить отпущение грехов от священников показывает, что последние остатки страха перед адом не были полностью уничтожены даже в случае такого человека, как Вителлоццо. Вряд ли можно было бы найти более поучительный пример, чем этот. Проповедуемая Церковью доктрина о 'неотъемлемом характере' священства, независимо от личности священника, до сих пор приносила плоды, так что можно было ненавидеть человека и все еще желать его духовных даров. Тем не менее, это правда, что были непокорные натуры, такие как Галеотто из Мирандолы,[1049] который умер нераскрытым в 1499 году, прожив шестнадцать лет под запретом Церкви. Все это время город находился под запретом из-за него, так что месса не служилась и христианские похороны не проводились.

Великолепный контраст всему этому представляет власть, которую осуществляют над нацией ее великие Проповедники Покаяния. Другие страны Европы время от времени были тронуты словами святых монахов, но лишь поверхностно, по сравнению с периодическими потрясениями итальянского сознания. Фактически, единственным человеком, который произвел подобный эффект в Германии в пятнадцатом веке,[1050] был итальянец, родившийся в Абрुцци, по имени Джованни Капистрано. Те натуры, которые несут в себе это религиозное призвание и эту повелительную серьезность, носили тогда в северных странах интуитивный и мистический облик. На Юге они были практичны и экспансивны, а также обладали национальным языковым даром и ораторским мастерством. Север произвел 'Подражание Христу', которое действовало тихо, сначала только в стенах монастыря, но работало веками; Юг произвел людей, которые производили на своих собратьев сильное, но мимолетное впечатление.

Это впечатление заключалось главным образом в пробуждении совести. Проповеди были нравственными наставлениями, свободными от абстрактных представлений и полными практического применения, которые производили еще большее впечатление благодаря святому и аскетическому характеру проповедника и чудесам, которые воспаленное воображение людей приписывало ему даже против его воли.^[1051] Самым мощным использованным аргументом была не угроза Ада и Чистилища, а скорее жизненные результаты "maledizione", временного разрушения, навлекаемого на человека проклятием, которое цепляется за неправильные поступки. Скорбь Христа и Святых имеет свои последствия в этой жизни. И только так люди, погрязшие в страсти и вине, могли быть приведены к покаянию и исправлению, что и было главной целью этих проповедей.

Среди этих проповедников были Бернадино да Сиена и двое его учеников, Альберто да Сартеано и Якопо делла Марка, Джованни Капистрано, Роберто да Лечче (стр. 413) и, наконец, Джироламо Савонарола. Ни одно предубеждение того времени не было сильнее, чем предубеждение против нищенствующего монаха, и это они преодолели. Их критиковал и высмеивал презрительный гуманизм;^[1052] но когда они возвысили свой голос, никто не обратил внимания на гуманистов. В этом не было ничего нового, и насмешливые флорентийцы уже в четырнадцатом веке научились карикатурно изображать это всякий раз, когда оно появлялось на кафедре.^[1053] Но как только Савонарола выступил вперед, он с таким триумфом увлек за собой народ, что вскоре все их любимое искусство и культура расплавились в печи, которую он разжег. Даже самая грубая профанация, нанесенная делу лицемерными монахами, которые произвели впечатление на аудиторию с помощью сообщников (стр. 460), не могла дискредитировать саму вещь. Люди продолжали смеяться над обычными монашескими проповедями с их поддельными чудесами и сфабрикованными реликвиями;^[1054] но не перестали чтить великих и подлинных пророков. Это настоящее итальянское фирменное блюдо пятнадцатого века.

Орден — в основном орден святого Франциска, и в особенности так называемые обсервантины — рассылал их по мере необходимости. Обычно это происходило, когда в городе происходила какая-нибудь важная общественная или частная вражда или какая-нибудь тревожная вспышка насилия, безнравственности или болезни. Когда за ним закрепилась репутация проповедника, все города стремились услышать его даже без какого-либо особого повода. Он отправлялся туда, куда его посылало начальство. Особой формой этой работы была проповедь крестового похода против турок;^[1055] но здесь мы должны более конкретно поговорить о призывах к покаянию.

Порядок этих действий, когда с ними обращались методично, по-видимому, соответствовал обычному списку смертных грехов. Однако, чем более насущным является повод, тем более прямо проповедник излагает свою главную мысль. Он начинает, возможно, в одной из великих церквей Ордена или в кафедральном соборе. Вскоре самая большая площадь становится слишком маленькой, чтобы его могли услышать толпы, которые толпятся со всех сторон, а сам он едва может двигаться, не рискуя своей жизнью.^[1056] За проповедью обычно следует большая процессия; но первые магистраты города, которые окружают его, едва ли могут спасти его от множества женщин, которые толпятся, чтобы поцеловать ему руки и ноги и отрезать кусочки от его капюшона.^[1057]

Самыми непосредственными последствиями, вытекающими из обличений проповедником ростовщичества, роскоши и скандальной моды, являются открытие тюрем — что означало не более чем освобождение более бедных кредиторов - и сожжение различных орудий роскоши и развлечений, невинных или нет. Среди них кости, карты, всевозможные игры, письменные заклинания,^[1058] маски, музыкальные инструменты, сборники песен, накладные волосы и так далее. Затем все это изящно размещалось на эшафоте ("таламо"), к вершине которого прикреплялась фигура дьявола, а затем все это поджигалось (сост., стр. 372).

Затем настал черед более ожесточенной совести. Люди, которые долгое время даже близко не подходили к исповедальне, теперь признавались в своих грехах. Добытые нечестным путем выгоды были восстановлены, а оскорбления, которые могли бы принести плоды в виде крови, отменены. Ораторы, подобные Бернадино Сиенскому^[1059] старательно вникали во все детали повседневной жизни людей и в связанные с ней моральные законы. Мало кто из богословов в наши дни почувствовал бы искушение произнести утреннюю проповедь 'о контрактах, реституциях, государственном долге ("монте") и разделении дочерей", подобную той, которую он однажды произнес в кафедральном соборе Флоренции. Неосторожные ораторы легко впадали в ошибку, нападая на определенные классы, профессии или должности с такой энергией, что разъяренные слушатели переходили к насилию против тех, кого проповедник обличал.^[1060] Проповедь, которую Бернадино однажды произнес в Риме (1424), имела еще одно последствие, помимо костра тщеславия на Капитолии: "после этого",^[1061] мы читаем: "ведьма Финицелла была сожжена, потому что своим дьявольским искусством она убила много детей и околдовала многих других людей; и весь Рим пришел посмотреть на это зрелище".

Но самой важной целью проповедника было, как уже было сказано, примирить врагов и убедить их отказаться от мыслей о мести. Вероятно, эта цель редко достигалась до окончания курса проповедей, когда волна покаяния затопляла город, и когда воздух оглашался^[1062] криком всего народа: 'Мизерикордия!' Затем последовали торжественные объятия и мирные договоры, которым не могло помешать даже предыдущее кровопролитие с обеих сторон. Изгнанные мужчины были отозваны в город, чтобы принять участие в этих священных сделках. Похоже, что эти 'паки' в целом неукоснительно соблюдались даже после того, как настроение, побудившее их, прошло; и тогда память о монахе передавалась из поколения в поколение. Но иногда случались ужасные кризисы, подобные тем, что произошли в семьях Делла Валле и Кроче в Риме (1482 г.), когда даже великий Роберто да Лечче тщетно возвышал свой голос.^[1063] Незадолго до Страстной недели он проповедовал перед огромной толпой на площади перед Минервой. Но в ночь перед понедельником, в четверг, перед Палаццо делла Валле, недалеко от гетто, произошла ужасная битва. Утром папа Сикст отдал приказ о его уничтожении, а затем совершил обычные для того дня церемонии. В Страстную пятницу Роберто снова проповедовал с распятием в руке, но ему и его слушателям ничего не оставалось, как плакать.

Вспыльчивые натуры, впавшие в противоречие с самими собой, часто решали уйти в монастырь под впечатлением, производимым этими людьми. Среди них были не только разбойники и преступники всех мастей, но и солдаты без работы.^[1064] Это решение было вызвано их восхищением святым человеком и желанием скопировать, по крайней мере, его внешнюю позицию.

Заключительная проповедь - это общее благословение, выраженное в словах: 'Да будет мир с вами!' Толпы слушателей сопровождают проповедника в следующий город и там вторично прослушивают весь ход проповедей.

Огромное влияние, оказываемое этими проповедниками, сделало важным, как для духовенства, так и для правительства, по крайней мере, не иметь их в качестве противников; одним из средств достижения этой цели было разрешить только монахам[1065] или священникам, получившим, во всяком случае, меньшее посвящение, выходить за кафедру, так что Орден или Корпорация, к которым они принадлежали, в некоторой степени несли ответственность за их деятельность. для них. Но было нелегко сделать это правило абсолютным, поскольку Церковь и кафедра долгое время использовались как средство рекламы во многих отношениях, судебных, образовательных и других, и поскольку даже проповеди иногда произносились гуманистами и другими мирянами (стр. 234 кв.). В Италии также существовал сомнительный класс людей,[1066] которые не были ни монахами, ни священниками, и которые все же отrekliсь от мира — то есть от многочисленного класса отшельников, которые время от времени появлялись за кафедрой по собственному почину и часто приводили с собой людей. Подобный случай произошел в Милане в 1516 году, после второго французского завоевания, безусловно, в то время, когда общественный порядок был сильно нарушен. Тосканский отшельник Иероним Сиенский, возможно, приверженец Савонаролы, в течение нескольких месяцев удерживал свое место за кафедрой собора, с большой яростью осуждал иерархию, распорядился установить в церкви новую люстру и новый алтарь, творил чудеса и покинул поле боя только после долгой и отчаянной борьбы.[1067] В течение десятилетий, в течение которых решалась судьба Италии, дух пророчества был необычайно активен, и нигде, где он проявлялся, он не ограничивался каким-либо одним конкретным классом. Мы знаем, с каким истинно пророческим вызовом выступили отшельники перед разграблением Рима (с. 122). За неимением собственного красноречия эти люди использовали посланцев с символами того или иного рода, как аскет близ Сиены (1429), который послал "маленького отшельника", то есть ученика, в охваченный ужасом город с черепом на шесте, к которому была прикреплена бумага с угрожающим текстом из Библии.[1068]

Да и сами монахи не стеснялись нападать на князей, правительства, духовенство или даже на свой собственный орден. Прямое призывание свергнуть деспотический дом, подобное тому, что произнес Якопо Буссоларо в Павии в четырнадцатом веке,[1069] вряд ли повторится в последующий период; но нет недостатка в смелых упреках, адресованных даже папе в его собственной часовне (стр. 239, примечание 1), и в наивный политический совет, данный в присутствии правителей, которые ни в коем случае не считали себя нуждающимися в нем.[1070] На Пьяцца дель Кастелло в Милане слепой проповедник из Инкоронаты — следовательно, августинец — отважился в 1494 году увещевать Людовико Моро с кафедры: "Милорд, остерегайтесь указывать французам путь, иначе вы расклетесь в этом".[1071] Были и другие монахи-пророки, которые, не произнося политических проповедей, рисовали такие ужасающие картины будущего, что слушатели чуть не лишались чувств. После избрания Льва X. в 1513 году целая ассоциация этих людей, всего двенадцать францисканских монахов, путешествовала по различным округам Италии, из которых к каждому проповеднику был приставлен тот или иной священник. Тот, кто появился во Флоренции,[1072] Фра Франческо ди Монтепульчано, вселил ужас в весь народ. Тревогу не уменьшили преувеличенные сообщения о его пророчествах, которые достигли тех, кто был слишком далеко, чтобы услышать его. После одной из своих проповедей он внезапно умер 'от боли в груди'. Люди в таком количестве стекались целовать

ноги трупу, что его пришлось тайно похоронить ночью. Но вновь пробудившийся дух пророчества, охвативший даже женщин и крестьян, нельзя было контролировать без большого труда. "Чтобы вернуть народу веселое настроение, Медичи — Джулиано, брат Лео, и Лоренцо — устроили в День Святого Иоанна 1514 года великолепные празднества, турниры, процессии и охотничьи сборища, на которых присутствовали многие выдающиеся личности Рима, и среди них, хотя и переодетые, не менее шести кардиналов".

Но величайший из пророков и апостолов уже был сожжен во Флоренции в 1498 году — фра Джороламо Савонарола из Феррары. Мы должны довольствоваться тем, что скажем несколько слов о нем с уважением.^[1073]

Инструментом, с помощью которого он преобразовал Флоренцию и правил ею (1494-1488), было его красноречие. Оставленные намскудные отчеты, которые в основном записывались на месте, дают нам, очевидно, весьма несовершенное представление об этом. Не то чтобы он обладал какими-то поразительными внешними преимуществами, поскольку голос, акцент и риторическое мастерство составляли как раз его самую слабую сторону; и те, кто требовал от проповедника быть стилистом, обращались к его сопернику фра Мариано да Дженаццано. Красноречие Савонаролы было проявлением возвышенной и властной личности, подобной которой больше не видели до времен Лютера. Сам он считал свое собственное влияние результатом божественного озарения и поэтому мог без всякой самонадеянности отвести очень высокое место служению проповедника, который в великой иерархии духов занимает следующее место после ангелов.

Этот человек, чья натура, казалось, была соткана из огня, сотворил еще одно и более великое чудо, чем любой из его ораторских триумфов. Его собственный доминиканский монастырь Сан-Марко, а затем и все доминиканские монастыри Тосканы, стали единомышленниками с ним и добровольно взялись за работу по внутренней реформе. Когда мы размышляем о том, какими были тогда монастыри, и о том, какие неизмеримые трудности сопровождают малейшие изменения в том, что касается монахов, мы вдвойне поражаемся столь полной революции. Пока реформа все еще продолжалась, большое количество последователей Савонаролы вступили в орден и тем самым значительно облегчили его планы. Сыновья первых домов Флоренции поступили в Сан-Марко послушниками.

Эта реформа Ордена в отдельной провинции была первым шагом к созданию национальной Церкви, в которой, если бы сам реформатор прожил дольше, она безошибочно закончилась бы. Савонарола действительно желал возрождения всей Церкви и ближе к концу своей карьеры направил великим державам настоятельные призывы созвать Собор. Но в Тоскане его Орден и партия были единственными органами его духа — солью земли, — в то время как соседние провинции оставались в своем прежнем состоянии. Фантазия и аскетизм все больше и больше вызывали в нем такое душевное состояние, при котором Флоренция представлялась сценой царства Божьего на земле.

Пророчества, частичное исполнение которых придавало Савонароле сверхъестественный авторитет, были средством, с помощью которого всегда активное итальянское воображение овладевало самыми здоровыми и осторожными натурами. Сначала францисканцы Оссерванцы, доверяя репутации, завещанной им Сан-Бернадино Сиенским, воображали, что могут соперничать с великим доминиканцем. Они посадили одного из своих людей за кафедру в соборе и превзошли Иеремиады Савонаролы еще более ужасными предупреждениями, пока

Пьетро де Медичи, который тогда еще правил Флоренцией, не заставил их обоих замолчать. Вскоре после этого, когда Карл VIII. прибыл в Италию и Медичи были изгнаны, как ясно предсказал Савонарола, в него одного поверили.

Следует откровенно признаться, что он никогда не оценивал свои собственные предчувствия и видения критически, как это делал с другими. В надгробной речи, посвященной Пико делла Мирандоле, он несколько резко обращается со своим покойным другом. Поскольку Пико, несмотря на внутренний голос, исходивший от Бога, не хотел вступать в Орден, он сам молился Богу наказать его за непослушание. Он, конечно же, не желал его смерти, и милостыня и молитвы привели к тому, что душа Пико была в безопасности в Чистилище. Что касается утешительного видения, которое было у Пико на одре болезни, в котором явилась Пресвятая Дева и пообещала ему, что он не умрет, Савонарола признался, что долгое время считал это обманом дьявола, пока ему не открылось, что Мадонна означала вторую и вечную смерть.^[1074] Если эти вещи и тому подобное являются доказательствами самонадеянности, следует признать, что эта великая душа, во всяком случае, жестоко поплатилась за свою ошибку. В свои последние дни Савонарола, похоже, осознал тщетность своих видений и пророчеств. И все же у него осталось достаточно внутреннего покоя, чтобы встретить смерть как христианин. Его приверженцы придерживались его доктрины и предсказаний еще тридцать лет.

Он предпринял реорганизацию государства только по той причине, что в противном случае его враги взяли бы власть в свои руки. Несправедливо судить о нем по полудемократической конституции (стр. 83, примечание 1) начала 1495 года. И она не лучше и не хуже других флорентийских конституций.^[1075]

В сущности, он был самым неподходящим человеком, которого только можно было найти для такой работы. Его идеалом была теократия, при которой все люди должны были в благословенном смирении склоняться перед Невидимым, а все конфликты страстей даже не должны были возникать. Все его мысли запечатлены в этой надписи на Палаццо Синьории, сутью которой была его максима^[1076] еще в 1495 году, и которая была торжественно обновлена его сторонниками в 1527 году: 'Иисус Христос, король народа Флорентийский, S. P. Q. decreto creatus'. Он имел не больше отношения к мирским делам и их действительному состоянию, чем любой другой обитатель монастыря. Человек, по его словам, должен заниматься только тем, что непосредственно способствует его спасению.

Этот настрой ясно проявляется в его мнениях об античной литературе: "Единственное хорошее, чем мы обязаны Платону и Аристотелю, - это то, что они выдвинули множество аргументов, которые мы можем использовать против еретиков. И все же они и другие философы сейчас в аду. Пожилая женщина знает о Вере больше, чем Платон. Для религии было бы хорошо, если бы многие книги, которые кажутся полезными, были уничтожены. Когда было не так много книг и не так много споров ("ragioni naturali"), религия росла быстрее, чем с тех пор." Он хотел ограничить классическое преподавание в школах Гомером, Вергилием и Цицероном, а остальное почерпнуть из Иеронима и Августина. Не только Овидий и Катулл, но и Теренций с Тибуллом должны были быть изгнаны. Возможно, это не более чем выражение нервной морали, но в другом месте специальной работы он признает, что наука в целом вредна. Он считает, что только несколько человек должны иметь к этому отношение, чтобы традиция человеческого знания не погибла, и особенно чтобы не было недостатка в интеллектуальных спортсменах для опровержения софизмов еретиков. Для всех остальных достаточно грамматики, морали и

религиозного учения ('*litterae sacrae*'). Таким образом, культура и образование полностью вернулись бы в ведение монахов, и поскольку, по его мнению, "самые образованные и благочестивые" должны править государствами и империями, эти правители также были бы монахами. Действительно ли он предвидел такой вывод, нам нет нужды выяснять.

Более детского метода рассуждения невозможно себе представить. Простая мысль о том, что новорожденная древность и безграничный рост человеческой мысли и знаний, который был ей обязан, могли бы дать блестящее подтверждение религии, способной приспособиться к ней, кажется, никогда даже не приходила в голову этому доброму человеку. Он хотел запретить то, с чем не мог справиться никакими другими средствами. На самом деле он был кем угодно, только не либералом, и был готов, например, отправить астрологов на тот же костер, на котором впоследствии умер он сам.^[1077]

Какой могучей, должно быть, была душа, жившая бок о бок с этим ограниченным интеллектом! И какое пламя, должно быть, пылало в нем, прежде чем он смог заставить флорентийцев, одержимых страстью к культуре, отдаться человеку, который мог так рассуждать!

Насколько они были готовы пожертвовать своим сердцем и своей светскостью ради него, показывают те знаменитые костры, у которых все "талами" Бернадино да Сиены и других, безусловно, не имели большого значения.

Однако все это не могло быть осуществлено без участия тиранической полиции. Он не брезговал самыми досадными вмешательствами в столь ценную свободу частной жизни итальянцев, используя шпионаж слуг за их хозяевами как средство проведения своих моральных реформ. То преобразование общественной и частной жизни, которое железный Кальвин едва смог осуществить в Женеве с помощью постоянного осадного положения, неизбежно оказалось невозможным во Флоренции, и эта попытка лишь подтолкнула врагов Савонаролы к более непримиримой враждебности. Среди его самых непопулярных мер можно упомянуть организованные группы мальчиков, которые врывались в дома и насильно хватали любые предметы, которые казались подходящими для разжигания костра. Поскольку случалось, что их иногда отправляли восвояси с побоями, впоследствии, чтобы поддерживать образ благочестивого "подростающего поколения", за ними присматривала телохранительница из взрослых людей.

В последний день карнавала 1497 года и в тот же день годом позже на площади Синьории состоялось великое "Аутодафе". В центре его возвышался огромный пирамидальный лестничный пролет, похожий на 'рогус', на котором обычно сжигали римских императоров. На нижнем ярусе были разложены накладные бороды, маски и карнавальные переодевания; выше - тома латинских и итальянских поэтов, среди прочих Боккаччо, "Морганте" Пульчи и Петрарки, частично в виде ценных печатных пергаментов и иллюминированных рукописей; затем женские украшения и предметы туалета, духи, зеркала, вуали и накладные волосы; выше - лютни, арфы, шахматные доски, игральные карты; и, наконец, на двух самых верхних ярусах - только картины, особенно женских красот, частично фантазийные, с изображениями животных. классические имена Лукреции, Клеопатры или Фаустины, частично портреты прекрасной Бенчины, Лены Мореллы, Бины и Марии де'Ленци; все картины Бартоломмео делла Порта, который привез их по собственному желанию; и, как кажется, несколько женских головок — шедевры древних скульпторов. В первый раз венецианский купец, случайно оказавшийся при этом, предложил синьории 22 000 золотых флоринов за предметы, изображенные на пирамиде; но единственным

ответом, который он получил, было то, что его портрет тоже был похищен и сожжен вместе с остальным. Когда костер был зажжен, Синьория появилась на балконе, и воздух наполнился песнями, звуками труб и перезвоном колоколов. Затем люди разошлись по площади Сан-Марко, где стали танцевать тремя концентрическими кругами. Внутренняя группа состояла из монахов монастыря, чередующихся с мальчиками, одетыми как ангелы; затем шли молодые миряне и священнослужители; а снаружи находились старики, горожане и священники, последние были увенчаны оливковыми венками.[\[1078\]](#)

Все насмешки его победоносных врагов, у которых, по правде говоря, не было недостатка в оправданиях или таланте к насмешкам, не смогли опорочить память Савонаролы. Чем трагичнее становилась судьба Италии, тем ярче становился ореол, который в воспоминаниях выживших окружал фигуру великого монаха и пророка. Хотя его предсказания, возможно, и не подтвердились в деталях, великое и всеобщее бедствие, которое он предсказал, исполнилось ужасающей правдой.

Однако, каким бы великим ни было влияние всех этих проповедников и как бы блестяще Савонарола ни обосновывал притязания монахов на этот пост,[\[1079\]](#) тем не менее орден в целом не смог избежать презрения и осуждения народа. Италия показала, что она может дарить свой энтузиазм только отдельным людям.

Если, помимо всего, что касается священников и монахов, мы попытаемся измерить силу старой веры, она будет сочтена большой или малой в зависимости от того, в каком свете она рассматривается. Мы уже говорили о необходимости Таинств как о чем-то необходимом (стр. 103, 464). Давайте теперь на мгновение взглянем на место веры и богослужения в повседневной жизни. И то, и другое определялось отчасти привычками народа, а отчасти политикой и примером правителей.

Все, что имеет отношение к покаянию и достижению спасения посредством добрых дел, находилось во многом на той же стадии развития или развращения, что и на Севере Европы, как среди крестьянства, так и среди более бедных жителей городов. Инструктируемые классы то тут, то там руководствовались одними и теми же мотивами. Те стороны популярного католицизма, которые берут свое начало в старых языческих способах обращения к богам, награждения и примирения с ними, неистребимо закрепились в сознании людей. Восьмая эклога Баттисты Мантовано,[\[1080\]](#), которая уже цитировалась в другом месте, содержит молитву крестьянина Мадонне, в которой она призывается как особая покровительница всех деревенских и сельскохозяйственных интересов. И какие представления сложились у людей о своей небесной покровительнице! Что было на уме у флорентийки[\[1081\]](#) которая отдала "ex voto" бочонок воска Аннунциате, потому что ее любовник, монах, постепенно опустошил бочонок вина так, что ее отсутствующий муж этого не заметил! Тогда, как и до сих пор в наши дни, различными сферами человеческой жизни руководили соответствующие покровители. Часто предпринимались попытки объяснить ряд наиболее распространенных обрядов католической церкви пережитками языческих церемоний, и никто не сомневается, что многие местные и популярные обычаи, связанные с религиозными праздниками, являются забытыми фрагментами старых дохристианских верований Европы. В Италии, напротив, мы находим примеры, когда принадлежность новой веры к старой, по-видимому, сознательно признается. Так, например, обычай готовить пищу для умерших за четыре дня до праздника кафедры

святого Петра, то есть 18 февраля, в день древней Фералии.^[1082] Многие другие практики такого рода, возможно, тогда преобладали и с тех пор были искоренены. Возможно, парадокс станет очевидным, только если мы скажем, что народная вера в Италии имела прочную основу ровно настолько, насколько она была языческой.

Степень, в которой эта форма веры преобладала в высших классах, может быть до определенного момента показана в деталях. Как мы уже говорили, говоря о влиянии духовенства, на его стороне были обычаи и ранние впечатления. Любовь к церковной помпезности и показухе помогла подтвердить это, и время от времени случались эпидемии возрожденчества, которым мало кто даже из насмешников и скептиков был способен противостоять.

Но в вопросах такого рода опасно слишком поспешно хвататься за абсолютные результаты. Мы могли бы вообразить, например, что чувство образованных людей к мощам святых было бы ключом, с помощью которого можно было бы открыть некоторые уголки их религиозного сознания. И в самом деле, некоторая разница в степени может быть продемонстрирована, хотя и не так явно, как хотелось бы. Правительство Венеции в пятнадцатом веке, по-видимому, полностью разделяло благоговение, испытываемое во всей остальной Европе к останкам тел святых (стр. 72). Даже незнакомые люди, жившие в Венеции, привыкли к этому суевию.^[1083] Если мы можем судить о научной Падуе по свидетельству ее топографа Микеле Савонаролы (стр. 145), то там все должно было быть примерно так же. Со смесью гордости и благочестивого трепета Микеле рассказывает нам, как во времена великой опасности по ночам на улицах города слышались вздохи святых, как волосы и ногти на трупe святой монахини в Санта-Кьяре продолжали непрерывно расти, и как тот же самый труп, когда надвигалась какая-либо катастрофа, издавал шум и воздевал руки.^[1084] Приступая к описанию часовни святого Антония в Санто, писатель погружается в экалогию и фантастические сны. В Милане люди, по крайней мере, проявляли фанатичную преданность реликвиям; и когда однажды, в 1517 году, монахи Сан-Симплициано были достаточно неосторожны, чтобы обнажить шесть святых тел во время определенных переделок главного алтаря, за которыми последовали проливные дожди, люди^[1085] приписали посещение этому святотатству и дали монахам награду. Они слышали удары всякий раз, когда встречали их на улице. В других частях Италии, и даже в случае с самими папами, искренность этого чувства гораздо более сомнительна, хотя и здесь вряд ли можно сделать положительный вывод. Хорошо известно, с каким всеобщим энтузиазмом Пий II торжественно поместил голову апостола Андрея Первозванного, привезенную из Греции, а затем из Санта-Мауры, в церкви Святого Петра (1462 г.); но из его собственного рассказа мы заключаем, что он сделал это только из чувства стыда, поскольку за реликвию боролись очень многие князья. Только впоследствии ему пришла в голову идея сделать Рим общим убежищем для всех останков святых, изгнанных из своих собственных церквей.^[1086] При Сиксте IV. население города было еще более ревностным в этом деле, чем сам папа, и магистратура (1483 г.) горько жаловалась на то, что Сикст отправил Людовику XI, умирающему королю Франции, несколько образцов латеранских реликвий.^[1087] Примерно в это время в Болонье раздался мужественный голос, советовавший продать череп святого Доминика королю Испании и направить вырученные деньги на какое-нибудь полезное общественное дело.^[1088] Но те, кто меньше всего благоговел перед мощами, были флорентийцами. Между решением воздвигнуть в честь своего святого С. Заноби новый саркофаг и окончательным выполнением проекта Гиберти прошло девятнадцать лет (1409-28), и то это произошло лишь случайно, потому что мастер с большим мастерством выполнил меньший заказ того же рода.^[1089]

Возможно, из-за обмана хитрой неаполитанской аббатисы (1352 г.), приславшей им поддельную руку покровительницы собора Санта-Репарата, сделанную из дерева и гипса, они начали уставать от реликвий.^[1090] Или, возможно, правильное было бы сказать, что их эстетическое чувство с отвращением отворачивало их от расчлененных трупов и заплесневелой одежды. Или возможно, их чувство было скорее вызвано тем чувством славы, которое считало Данте и Петрарку более достойными великолепной могилы, чем все двенадцать апостолов, вместе взятые. Вероятно, что по всей Италии, за исключением Венеции и Рима, состояние которых в последнем городе было исключительным, поклонение реликвиям уже давно уступило место поклонению Мадонне,^[1091] во всяком случае, в большей степени, чем где-либо еще в Европе; и в этом факте лежит косвенное свидетельство раннего развития эстетического чувства.

Можно усомниться в том, что на Севере, где почти все самые обширные соборы посвящены Богородице и где обширная ветвь латинской и местной поэзии воспевают Божью Мать, возможно ли было большее поклонение ей. В Италии, однако, количество чудесных изображений Пресвятой Богородицы было намного больше, и роль, которую они играли в повседневной жизни людей, была гораздо более важной. В каждом городе любого размера было их некоторое количество, начиная с древних или якобы древних картин святого Луки и заканчивая работами современников, которые нередко доживали до того, чтобы увидеть чудеса, сотворенные их собственными руками. Произведение искусства в этих случаях было отнюдь не таким безобидным, как думает Баттиста Мантовано^[1092]; иногда оно внезапно приобретало магическую силу. Популярная тяга к чудесам, особенно сильная у женщин, возможно, была полностью удовлетворена этими изображениями, и по этой причине реликвии пользовались меньшим уважением. Нельзя с уверенностью сказать, насколько уважение к подлинным реликвиям пострадало от насмешек, которые романисты направляли на поддельные.^[1093]

Отношение образованных классов к мариолатрии более отчетливо узнаваемо, чем к поклонению изображениям. Не может не поражать тот факт, что в итальянской литературе "Рай" Данте^[1094] является последним стихотворением в честь Пресвятой Девы, в то время как в народе гимны во славу нее постоянно сочиняются вплоть до наших дней. Имена Санназаро и Сабеллико^[1095] и других авторов латинских стихотворений мало что доказывают с другой стороны, поскольку цель, с которой они писали, была в основном литературной. Стихотворения, написанные на итальянском в XV веке^[1096] и в начале XVI веков, в которых мы встречаемся с подлинным религиозным чувством, такие как гимны Лоренцо Великолепного и сонеты Виттории Колонны и Микеланджело, с таким же успехом могли быть сочинены протестантами. Помимо лирического выражения веры в Бога, мы главным образом замечаем в них чувство греха, сознание освобождения через смерть Христа, стремление к лучшему миру. О заступничестве Божией Матери упоминается лишь между прочим.^[1097] То же явление повторяется во французской классической литературе времен Людовика XIV. Только во времена Контрреформации Мариолатрия вновь появилась в высшей итальянской поэзии. Между тем пластические искусства, несомненно, делали все возможное для прославления Мадонны. Можно добавить, что поклонение святым среди образованных классов часто принимало по сути языческую форму (с. 260).

Таким образом, мы могли бы критически изучить различные стороны итальянского католицизма в этот период и таким образом установить с определенной степенью вероятности отношение

просвещенных классов к народной вере. Однако абсолютного и положительного результата достичь невозможно. Мы сталкиваемся с трудно объяснимыми контрастами. В то время как архитекторы, художники и скульпторы с неугомонной активностью трудились в церквях и для них, в начале шестнадцатого века мы слышим самые горькие жалобы на пренебрежение общественным богослужением и самими этими церквями.

Templa ruunt, passim sordent altaria, cultus
Paulatim divinus abit.[1098]

Хорошо известно, как Лютер был шокирован непочтительностью, с которой священники в Риме служили мессу. И в то же время церковные праздники отмечались со вкусом и великолепием, о которых северные страны и понятия не имели. Похоже, что эта самая изобретательная из наций легко поддавалась искушению пренебречь повседневными вещами и так же легко поддавалась очарованию всего экстраординарного.

Именно этому избытку воображения мы должны приписать эпидемическое религиозное возрождение, о котором мы еще скажем несколько слов. Их следует четко отличать от волнения, вызванного великими проповедниками. Скорее, они были вызваны общими общественными бедствиями или страхом перед ними.

В Средние века вся Европа время от времени подвергалась затоплению этими великими приливами, которые уносили в своих волнах целые народы. Примером могут служить крестовые походы и возрождение флагеллантов. Италия принимала участие в обоих этих движениях. Первые крупные отряды флагеллантов появились сразу после падения Эццелино и его дома в окрестностях той самой Перуджи[1099] о которой уже говорилось (стр. 482, примечание 2), как о штаб-квартире проповедников-возрожденцев. Затем последовали Флагелланты 1310 и 1334 годов,[1100] а затем великое паломничество без бичевания в 1399 году, которое записал Корио.[1101] Не исключено, что Юбилеи были учреждены частично для того, чтобы регулировать и обезвреживать эту зловещую страсть к бродяжничеству, которая охватывала целые народы во времена религиозного возбуждения. Великие святилища Италии, такие как Лорето и другие, тем временем приобрели известность и, без сомнения, отвлекли определенную часть этого энтузиазма.[1102]

Но ужасные кризисы все еще имели силу в гораздо более позднее время вновь пробудить пыл средневекового раскаяния, и страдающие совестью люди, часто еще больше ужасавшиеся знамениям и чудесам, пытались разжалобить Небеса плачем и бичеванием, постами, процессиями и моральными предписаниями. Так было в Болонье, когда в 1457 году пришла чума,[1103] так было в 1496 году во время внутренних раздоров в Сиене,[1104] упомяну только два из бесчисленных примеров. Невозможно представить себе более трогательную сцену, чем та, о которой мы читаем в Милане в 1529 году, когда голод, чума и война вступили в сговор с испанскими вымогателями, чтобы погрузить город в пучину отчаяния.[1105] Случилось так, что монах, к которому прислушивался народ, фра Томмазо Ньето, сам был испанцем. Ведущий вел себя по-новому, среди босоногих толп старых и молодых. Он был помещен на украшенные носилки, которые покоились на плечах четырех священников в льняных одеждах — имитация Ковчега Завета[1106] который дети Израиля когда-то пронесли вокруг стен Иерихона. Так

страждущий народ Милана напомнил своему древнему Богу о Его ветхом завете с человеком; и когда процессия снова вошла в собор и казалось, что огромное здание вот-вот рухнет с мучительным криком "Мизерикордия!", многие из стоявших там, возможно, поверили, что Всемогущий действительно ниспровергнет законы природы и истории и ниспошлет им чудесное избавление.

В Италии было одно правительство, герцога Эрколе I. Феррарского,^[1107] которое взяло на себя руководство общественными чувствами и вынудило народные волнения двигаться по регулярному руслу. В то время, когда Савонарола был могущественен во Флоренции и движение, которое он начал, распространилось повсюду среди населения центральной Италии, жители Феррары добровольно объявили всеобщий пост (в начале 1496 года). Лазарист объявил с кафедры о приближении сезона войны и голода, какого мир никогда не видел; но Мадонна заверила некоторых благочестивых людей^[1108], что этих зол можно избежать, соблюдая пост. После этого у самого суда не было иного выбора, кроме как поститься, но он взял проведение публичных богослужений в свои руки. В день Пасхи, 3 апреля, была опубликована прокламация о морали и религии, запрещающая богохульство, игры, содомию, сожительство, сдачу домов проституткам или сводникам и открытие всех лавок в праздничные дни, за исключением булочных и зеленщиков. Евреи и мавры, укрывшиеся от испанцев в Ферраре, теперь были вынуждены снова носить на груди желтую букву "O". Нарушителям грозили не только наказания, уже предусмотренные законом, но и 'более суровые наказания, какие герцог сочтет целесообразными применить', из которых одна четверть в случае денежного штрафа должна была быть выплачена герцогу, а остальные три четверти должны были поступить в какое-либо государственное учреждение. После этого герцог и двор несколько дней подряд ходили слушать проповеди в церковь, и 10 апреля все евреи Феррары были вынуждены сделать то же самое.^[1109] 3 мая директор полиции — тот Зампанте, на которого уже ссылались (стр. 50) — отправил глашатая объявить, что тот, кто дал деньги полицейским, чтобы не быть обвиненным в богохульстве, может, если он объявится, получить их обратно с дополнительной компенсацией. Эти злонамеренные офицеры, по его словам, вымогали целых два или три дуката у невинных людей, угрожая подать против них донос. Затем они взаимно донесли друг на друга, и таким образом все оказались в тюрьме. Но поскольку деньги были выплачены именно для того, чтобы не иметь ничего общего с Зампанте, вполне вероятно, что его заявление побудило мало кого выступить вперед. В 1500 году, после падения Людовико Моро, когда произошла аналогичная вспышка народных настроений, Эрколе^[1110] приказал провести серию из девяти процессий, в которых приняли участие 4000 детей, одетых в белое, несущих знамя Иисуса. Сам он ездил верхом, поскольку ходить ему было нелегко. Впоследствии был опубликован эдикт того же рода, что и в 1496 году. Хорошо известно, сколько церквей и монастырей было построено этим правителем. Он даже послал за живой святой, сестрой Коломбой, незадолго до того, как женил своего сына Альфонсо на Лукреции Борджиа (1502). Специальный посольный^[1111] доставил святую с пятнадцатью другими монахинями из Витербо, и герцог лично проводил ее по прибытии в Феррару в монастырь, подготовленный для ее приема. Вероятно, мы не окажем ему несправедливости, если припишем все эти меры в значительной степени политическому расчету. Согласно концепции правления, сформированной Домом Эсте, как указано выше (стр. 46, кв.), использование религии в целях управления государством является своего рода логической необходимостью.

ГЛАВА III.

РЕЛИГИЯ И ДУХ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

НО для того, чтобы прийти к определенному выводу относительно религиозных чувств людей того периода, мы должны воспользоваться другим методом. Исходя из их интеллектуальной позиции в целом, мы можем сделать вывод об их отношении как к Божественной идее, так и к существующей религии их эпохи.

Эти современные люди, представители культуры Италии, родились с теми же религиозными инстинктами, что и другие средневековые европейцы. Но их сильная индивидуальность делала их в религии, как и в других вопросах, совершенно субъективными, а сильное очарование, которое оказывало на них открытие внутренней и внешней вселенной, делало их заметно мирскими. В остальной Европе религия до гораздо более позднего периода оставалась чем-то данным извне, и в практической жизни эгоизм и чувственность чередовались с набожностью и покаянием. У последних не было духовных конкурентов, как в Италии, или только в гораздо меньшей степени.

Кроме того, тесные и частые отношения Италии с Византией и мусульманскими народами породили бесстрастную терпимость, которая ослабила этнографическую концепцию привилегированного христианского мира. И когда классическая античность с ее людьми и институтами стала идеалом жизни, а также величайшим историческим воспоминанием, древние спекуляции и скептицизм во многих случаях полностью овладели умами итальянцев.

Поскольку, опять же, итальянцы были первыми современными жителями Европы, которые смело рассуждали о свободе и необходимости, и поскольку они делали это в жестоких и незаконных политических обстоятельствах, в которых зло, казалось, часто одерживало блестящую и длительную победу, их вера в Бога начала колебаться, а их взгляд на мировое правление стал фаталистическим. И когда их страстные натуры отказались успокаиваться из-за чувства неуверенности, они обратились за помощью к древним, восточным или средневековым суевериям. Они увлеклись астрологией и магией.

Наконец, эти интеллектуальные гиганты, эти представители эпохи Возрождения, проявляют в отношении религии качество, обычное для юношеских натур. Остро различая добро и зло, они, тем не менее, не сознают греха. При каждом нарушении своей внутренней гармонии они чувствуют себя способными извлечь пользу из пластичных ресурсов своей собственной природы, и поэтому они не чувствуют раскаяния. Таким образом, потребность в спасении ощущается все более и более смутно, в то время как амбиции и интеллектуальная активность настоящего либо полностью вытесняют всякую мысль о грядущем мире, либо заставляют ее принимать поэтическую, а не догматическую форму.

Когда мы смотрим на все это как на пронизанное и часто извращенное всемогущим итальянским воображением, мы получаем картину того времени, которая, безусловно, больше соответствует истине, чем туманные заявления против современного язычества. И более тщательное изучение часто показывает нам, что под этой внешней оболочкой все еще может сохраниться большая часть подлинной религии.

Более полное обсуждение этих моментов должно быть ограничено несколькими наиболее важными пояснениями.

То, что религия снова должна была стать делом отдельного человека и его собственных личных чувств, было неизбежно, когда Церковь стала коррумпированной в доктрине и тиранической на практике, и является доказательством того, что европейский разум все еще был жив. Это правда, что это проявлялось по-разному. В то время как мистические и аскетические секты Севера, не теряя времени, создавали новые внешние формы для своих новых способов мышления и чувств, каждый человек в Италии шел своим собственным путем, и тысячи людей блуждали по морю жизни без какого-либо религиозного руководства вообще. Тем больше мы должны восхищаться теми, кто обрел личную религию и крепко держался за нее. Они не были виноваты в том, что не могли иметь никакой роли или жребия в старой Церкви, какой она была тогда; и не было бы разумно ожидать, что все они пройдут тот могучий духовный труд, который был назначен немецким реформаторам. Форма и цель этой личной веры, как она проявилась в лучших умах, будут изложены в конце нашей работы.

Мирскость, благодаря которой Ренессанс, по-видимому, представляет столь разительный контраст со Средневековьем, возникла благодаря потоку новых мыслей, целей и взглядов, которые трансформировали средневековую концепцию природы и человека. Этот дух сам по себе не более враждебен религии, чем та "культура", которая сейчас занимает ее место, но которая может дать нам лишь слабое представление о всеобщем брожении, вызванном тогда открытием нового великого мира. Эта светскость была не легкомысленной, а серьезной и была облагорожена искусством и поэзией. Высокая необходимость современного духа заключается в том, что это отношение, однажды приобретенное, никогда больше не может быть утрачено, что непреодолимый импульс заставляет нас исследовать людей и вещи и что мы должны считать это исследование нашей надлежащей целью и работой.^[1112] Как скоро и какими путями этот поиск приведет нас обратно к Богу и каким образом это повлияет на религиозный характер человека, - это вопросы, на которые невозможно дать какой-либо общий ответ. Средние века, которые избавили себя от хлопот индукции и свободного исследования, не могут иметь права навязывать нам свой догматический вердикт в вопросе такой огромной важности.

Изучению человека, среди многих других причин, была обязана терпимость и безразличие, с которыми относились к мусульманской религии. Знание и восхищение замечательной цивилизацией, которой достиг ислам, особенно до монгольского нашествия, были характерны для Италии со времен Крестовых походов. Это сочувствие поддерживалось полумусульманским правительством некоторых итальянских князей, неприязнью и даже презрением к существующей Церкви и постоянными торговыми сношениями с гаванями Восточного и Южного Средиземноморья.^[1113] Можно показать, что в XIII веке итальянцы признавали мохаммадский идеал благородства, достоинства и гордости, который они любили связывать с личностью султана. Обычно подразумевается мамлюкский султан; если и упоминается какое-либо имя, то это имя Саладина.^[1114] Даже турки-османы, чьи разрушительные наклонности не были секретом, напугали итальянцев, как мы показали выше (стр. 92, кв.), лишь наполовину, и мирное соглашение с ними не считалось невозможным. Однако наряду с этой терпимостью возникла самая ожесточенная религиозная оппозиция магометанству; духовенство, говорит Филельфо, должно выступить против него, поскольку оно господствовало над большей частью мира и было более опасным для христианского мира, чем иудаизм;^[1115] наряду с готовностью к компромиссу с турками появилось страстное желание войны против них, которая привела к

одержимый Пий II. в течение всего своего понтификата и который многие гуманисты выражали в высокопарных речах.

Наиболее верным и характерным выражением этого религиозного безразличия является знаменитая история о трех кольцах, которую Лессинг вложил в уста своего Натана после того, как она была рассказана столетиями ранее, хотя и с некоторой сдержанностью, в "Ста старых романах" (72 или 73 ноября) и более смело у Боккаччо.^[1116] На каком языке и в каком уголке Средиземноморья это было впервые рассказано, никогда не может быть известно; скорее всего, оригинал был гораздо более простым, чем две итальянские адаптации. Религиозный постулат, на котором она зиждется, а именно деизм, будет обсуждаться позже в его более широком значении для этого периода. Та же идея повторяется, хотя и в неуклюжей карикатуре, в знаменитой пословице о "трех обманувших мир, то есть Моисее, Христе и Магомете".^[1117] Если император Фридрих II, от которого, как говорят, произошло это высказывание, действительно так думал, он, вероятно, выражался с большим остроумием. Идеи того же рода были распространены и в исламе.

В разгар эпохи Возрождения, ближе к концу пятнадцатого века, Луиджи Пульчи предлагает нам пример того же образа мыслей в 'Морганте Маджоре'. Воображаемый мир, о котором повествует его повесть, разделен, как и во всех героических романтических поэмах, на христианский и мусульманский лагерь. В соответствии со средневековыми традициями, победа христиан и окончательное примирение между воюющими сторонами сопровождалась крещением побежденных исламитов, и Импровизаторы, которые предшествовали Пульчи в рассмотрении этих вопросов, должно быть, свободно воспользовались этим типичным инцидентом. Целью Пульчи было спародировать своих предшественников, особенно худших из них, и он делает это с помощью тех обращений к Богу, Христу и Мадонне, с которых начинается каждая песнь; и еще яснее с помощью внезапных обращений и крещений, полная бессмысленность которых, должно быть, поразила каждого читателя или слушателя. Эта насмешка подводит его далее к признанию своей веры в относительную доброту всех религий,^[1118] вера в которую, несмотря на его исповедание ортодоксальности,^[1119] основывается по существу на теистической основе. В другом пункте он также сильно отходит от средневековых концепций. В прошлые века альтернативами были: христианин или же язычник и мусульманин; православный верующий или еретик. Пульчи рисует портрет Гиганта Маргутте^[1120] который, пренебрегая всеми без исключения религиями, весело признается во всех формах порока и чувственности и оставляет за собой только то достоинство, что никогда не нарушал веру. Возможно, поэт намеревался сделать что-то из этого — по-своему - честного монстра, возможно, чтобы Морганте наставил его на путь добродетели, но вскоре он устал от собственного творения и в следующей песне довел его до комического конца.^[1121] Маргутте был выдвинут в качестве доказательства легкомыслия Пульчи; но он необходим для завершения картины поэзии пятнадцатого века. Было естественно, что где-то в гротескных пропорциях присутствовала фигура неукротимого эгоизма, нечувствительного ко всем установленным правилам, и все же с остатками благородного чувства. В других стихотворениях в уста великанов, извергов, неверных и мусульман вкладываются чувства, которые ни один христианский рыцарь не осмелился бы высказать.

Античность оказывала влияние иного рода, чем ислам, и это не через свою религию, которая была слишком похожа на католицизм того периода, а через свою философию. Древняя литература, которой сейчас поклоняются как чему-то несравнимому, полна победы философии над религиозной традицией. Бесконечное количество систем и фрагментов систем внезапно предстало перед итальянским умом не как курьез или даже не как ересь, а почти с авторитетом догм, которые теперь нужно было скорее примирять, чем различать. Почти во всех этих различных мнениях и доктринах подразумевалась определенного рода вера в Бога; но в совокупности они составляли разительный контраст с христианской верой в Божественное правление миром. И оставался один центральный вопрос, который средневековая теология тщетно пыталась разрешить и который теперь настоятельно требовал ответа от мудрости древних, а именно: отношение Провидения к свободе или необходимости человеческой воли. Чтобы хотя бы поверхностно описать историю этого вопроса, начиная с четырнадцатого века, потребовался бы целый том. Здесь достаточно нескольких намеков.

Если мы возьмем Данте и его современников в качестве доказательства, мы обнаружим, что античная философия впервые соприкоснулась с итальянской жизнью в форме, которая представляла собой наиболее заметный контраст христианству, то есть эпикурейству. Труды Эпикура больше не сохранились, и даже в конце классической эпохи сложилось более или менее одностороннее представление о его философии. Тем не менее, той фазы эпикурейства, которую можно изучить у Лукреция и особенно у Цицерона, вполне достаточно, чтобы познакомить людей с безбожной вселенной. Трудно сказать, до какой степени его учение было на самом деле понято и не было ли имя проблематичного греческого мудреца скорее нарицательным для толпы. Вполне вероятно, что доминиканская инквизиция использовала его против людей, до которых не могло дойти более определенное обвинение. В случае со скептиками, родившимися раньше времени, которых все еще было трудно уличить в позитивных еретических высказываниях, умеренной роскоши могло быть достаточно, чтобы спровоцировать обвинение. Это слово используется в этом общепринятом смысле Джованни Виллани,^[1122] когда он объясняет флорентийские пожары 1115 и 1117 годов как Божественный суд над ересями, среди прочего, 'над роскошной и прожорливой сектой эпикурейцев'. Тот же автор говорит о Манфреде: "Его жизнь была эпикурейской, поскольку он не верил ни в Бога, ни в Святых, а только в телесные удовольствия".

Данте говорит еще яснее в девятой и десятой песнях 'Ада'. Это ужасное огненное поле, покрытое полуоткрытыми гробницами, из которых доносились крики безнадежной агонии, было населено двумя великими классами тех, кого Церковь победила или изгнала в тринадцатом веке. Одни были еретиками, которые выступали против Церкви, намеренно распространяя ложное учение; другие были эпикурейцами, и их грех против Церкви заключался в их общем настрое, который выражался в вере в то, что душа умирает вместе с телом.^[1123] Церковь хорошо понимала, что эта единственная доктрина, если она получит распространение, должна быть более разрушительной для ее авторитета, чем все учения манихеев и патерини, поскольку она лишает ее всякой причины для вмешательства в дела людей после смерти. То, что средства, которые она использовала в своей борьбе, были именно тем, что приводило самые одаренные натуры к неверию и отчаянию, было тем, в чем она, естественно, не хотела себе признаваться.

Отвращение Данте к Эпикуру или к тому, что он считал его доктриной, было, безусловно, искренним. Поэт грядущей жизни не мог не испытывать отвращения к отрицателю бессмертия; и мир, созданный и управляемый не Богом, не менее вульгарные предметы земной жизни,

которые, казалось, одобряла система, не могли не вызывать крайнего отвращения у натуры, подобной его натуре. Но если мы приглядимся внимательнее, то обнаружим, что некоторые доктрины древних произвели даже на него впечатление, отодвинувшее библейское учение о Божественном правлении на задний план, если, конечно, это не было его собственным отражением, влиянием господствовавших тогда мнений или отвращением к несправедливости, которая, казалось, правила этим миром, что заставило его отказаться от веры в особое Провидение.^[1124] Его Бог оставляет все детали управления миром наместнику Фортуне, единственной работой которого является изменять и повторять снова все земное, и который может игнорировать стенания людей в неизменном блаженстве. Тем не менее Данте ни на мгновение не теряет из виду моральную ответственность человека; он верит в свободу воли.

Вера в свободу воли в общепринятом смысле этих слов всегда преобладала в западных странах. Во все времена люди несли ответственность за свои поступки, как будто эта свобода была чем-то само собой разумеющимся. Иначе обстоит дело с религиозно-философской доктриной, которая сталкивается с трудностями согласования природы воли с законами вселенной в целом. Здесь мы имеем дело с вопросом о большем или меньшем, который должна принимать во внимание каждая моральная оценка. Данте не совсем свободен от тех астрологических суеверий, которые озаряли горизонт его времени обманчивым светом, но они не мешают ему подняться до достойного понимания человеческой природы. "Звезды", - говорит он своему Марко Ломбардо,^[1125] "звезды дают первый импульс вашим действиям", но

Свет был дан вам для добра и зла
И свободы воли; которая, если немного устанет
В первых битвах с небесами,
впоследствии побеждает все, если ее хорошо взращивать.

Другие могли бы искать необходимость, которая аннулировала человеческую свободу, в иной силе, чем звезды, но отныне этот вопрос был открытым и неизбежным. Поскольку это был вопрос школ или поисков изолированных мыслителей, его трактовка принадлежит историку философии. Но поскольку это вошло в сознание более широкой общественности, нам необходимо сказать несколько слов о нем.

Четырнадцатый век был главным образом стимулирован трудами Цицерона, который, хотя и был на самом деле эклектиком, все же из-за своей привычки излагать мнения различных школ, не приходя к какому-либо решению между ними, оказывал влияние скептика. Следующим по значимости был Сенека и несколько работ Аристотеля, переведенных на латынь. Непосредственным плодом этих исследований стала способность размышлять на важные темы, если и не в прямом противоречии с авторитетом Церкви, то, во всяком случае, независимо от него.

В течение пятнадцатого века произведения античности были обнаружены и распространены с необычайной быстротой. Все труды греческих философов, которыми мы сами располагаем, были теперь, по крайней мере в виде латинских переводов, в руках каждого. Любопытно, что некоторые из самых ревностных апостолов этой новой культуры были людьми строжайшего благочестия или даже аскетами (с. 273). Фра Амброджо Камальдолезе, как духовный сановник, в основном занимающийся церковными делами, и как литератор, занимающийся переводами греческих Отцов Церкви, не смог подавить гуманистический порыв и по просьбе Козимо де

Медици взялся перевести Диогена Лаэртского на латынь.^[1126] Его современники, Никколо Никколи, Грианноззо Манетти, Донато Аччаджуоли и папа Николай V.,^[1127] объединенная с многогранным гуманизмом глубокая библейская ученость и глубокое благочестие. У Витторино да Фельтре уже был замечен тот же темперамент (стр. 213 кв.). Тот же Мэтью Вегио, который добавил к 'Энеиде' тринадцатую книгу, с энтузиазмом относился к памяти святого Августина и его матери Моники, что не могло не оказать на него более глубокого влияния. Результатом всех этих тенденций стало то, что Платоновская академия во Флоренции сознательно избрала своей целью примирение духа античности с духом христианства. Это был замечательный оазис гуманизма того периода.^[1128]

Этот гуманизм на самом деле был языческим и становился таковым все больше и больше по мере расширения его сферы в пятнадцатом веке. Его представители, которых мы уже описали как передовой отряд необузданного индивидуализма, проявляют, как правило, такой характер, что даже их религия, которую иногда исповедуют весьма определенно, становится для нас безразличной. Их легко называли атеистами, если они проявляли безразличие к религии и открыто выступали против Церкви; но ни один из них никогда не исповедовал или осмеливался исповедовать формальный философский атеизм.^[1129] Если они искали какой—либо руководящий принцип, то это, должно быть, был своего рода поверхностный рационализм - небрежный вывод из многочисленных и противоречивых мнений древности, которыми они занимались, и из дискредитации, в которую впала Церковь и ее доктрины. Это были рассуждения такого рода, которые едва не привели Галеотта Марция^[1130] к костру, если бы его бывший ученик, папа Сикст IV., возможно, по просьбе Лоренцо де Медичи, не спас его из рук инквизиции. Галеотто осмелился написать, что человек, который ходит прямо и действует в соответствии с естественным законом, рожденным внутри него, попадет на небеса, к какой бы нации он ни принадлежал.

Давайте возьмем, в качестве примера, религиозное отношение одного из самых незначительных людей в великой армии. Кодрус Урсеус^[1131] сначала был наставником последнего Орделаффо, принца Форли, а затем в течение многих лет профессором в Болонье. По отношению к Церкви и монахам его язык такой же оскорбительный, как и у остальных. Его тон в целом безрассуден до последней степени, и он постоянно представляет себя во всех своих местных историях и сплетнях. Но он знает, как говорить в назидание истинному Богочеловеку, Иисусу Христу, и поручать себя письмом молитвам святого священника.^[1132] Однажды, после перечисления безумств языческих религий, он продолжает: "Наши богословы тоже сражаются и препираются" *de lana caprina* "о Непорочном зачатии, Антихристе, Таинствах, Предопределении и других вещах, о которых лучше не говорить публично". Однажды, когда его не было дома, его комната и рукописи были сожжены. Когда он услышал эту новость, он встал напротив статуи Мадонны на улице и крикнул ей: 'Послушай, что я тебе скажу; я не сумасшедший, я говорю то, что имею в виду. Если я когда-нибудь призову тебя в час моей смерти, тебе не нужно слышать меня или принимать к своим, ибо я уйду и проведу вечность с дьяволом'.^[1133] После этой речи он счел желательным провести шесть месяцев на пенсии в доме дровосека. При всем этом он был настолько суеверен, что чудеса и предзнаменования постоянно пугали его, не оставляя ему ни малейшей надежды на бессмертие души. Когда слушатели спросили его об этом, он ответил, что никто не знает, что становится с человеком, с его душой или телом, после смерти, а разговоры о другой жизни годятся только для того, чтобы пугать старых женщин. Но когда ему пришло время умирать, он вверил в своем завещании свою душу или свой дух^[1134] Всемогущему Богу, призвал своих плачущих учеников бояться Господа

и особенно верить в бессмертие и будущее возмездие, и принял Причастие с большим рвением. У нас нет гарантии, что более известные люди того же призвания, какими бы значимыми ни были их мнения, были в практической жизни более последовательными. Вполне вероятно, что большинство из них внутренне колебались между недоверием и остатками веры, в которой они были воспитаны, и внешне из благоразумных соображений придерживались Церкви.

Благодаря связи рационализма с недавно зародившейся наукой исторического исследования, кое-где, возможно, предпринимались робкие попытки библейской критики. Высказывание Пия II.[1135] была сделана запись, которая, по-видимому, призвана подготовить почву для такой критики: 'Даже если христианство не было подтверждено чудесами, его все равно следует принять из-за его нравственности'. Когда Лоренцо Валла называет Моисея и евангелистов историками, он не стремится принизить их достоинство и репутацию; но, тем не менее, осознает, что в этих словах заключается такое же явное противоречие традиционной точке зрения, принятой Церковью, как и в отрицании того, что Апостольский символ веры был делом рук всех Апостолов или что письмо Абгаруса Христу было подлинным.[1136] Церковные легенды, поскольку они содержали произвольные версии библейских чудес, были свободно высмеяны,[1137] и это отразилось на религиозных чувствах людей. Когда упоминаются иудействующие еретики, мы должны понимать главным образом тех, кто отрицал Божественность Христа, что, вероятно, и было преступлением, за которое Джорджо да Новара был сожжен в Болонье около 1500 года.[1138] Но снова в Болонье в 1497 году доминиканский инквизитор был вынужден позволить врачу Габриэле да Сало, у которого были могущественные покровители, сбежать с простым выражением раскаяния,[1139] хотя у него была привычка утверждать, что Христос был не Богом, а сыном Иосифа и Марии и был зачат обычным способом; что своей хитростью он обманом привел мир к его гибели; что он, возможно, умер на кресте из-за совершенных им преступлений; что его религии скоро придет конец; что его тело на самом деле не было причастно и что он творил свои чудеса не с помощью какой-либо божественной силы, а под влиянием небесных тел. Это последнее утверждение наиболее характерно для того времени: Вера ушла, но магия все еще стоит на своих местах.[1140]

Несколькими годами ранее (1459) худшая участь постигла каноника из Бергамо Занино де Сольча, который утверждал, что Христос пострадал не из любви к человеку, а под влиянием звезд, и который выдвинул другие любопытные научные и моральные идеи. Он был вынужден отречься от своих ошибок и заплатил за них вечным тюремным заключением.[1141]

Что касается морального управления миром, гуманисты редко выходят за рамки холодного и безропотного рассмотрения распространенного насилия и плохого правления. В этом настроении написаны многие работы 'О судьбе', или как бы они ни назывались. Они повествуют о вращении колеса Фортуны и о нестабильности земных, особенно политических, вещей. Провидение упоминается только потому, что писатели все еще стыдились бы неприкрытого фатализма, признания своего невежества или бесполезных жалоб. Джовиано Понтано[1142] гениально иллюстрирует природу того таинственного, что люди называют Фортуной, сотней случаев, большинство из которых относится к его собственному опыту. Эней Сильвий трактует эту тему с большим юмором в форме видения, увиденного во сне.[1143] С другой стороны, цель Поджио в работе, написанной в преклонном возрасте,[1144] состоит в том, чтобы представить мир как юдоль слез и свести счастье различных классов к минимуму, возможно. В дальнейшем этот тон стал преобладающим. Выдающиеся люди подсчитывали дебет и кредит счастья и

несчастья в своей жизни и, как правило, обнаруживали, что последнее перевешивало первое. Судьба Италии и итальянцев, насколько это можно было рассказать в 1510 году, была описана Тристано Караччоло с достоинством и почти элегическим пафосом.^[1145] Применив этот общий тон чувств к самим гуманистам, Пьеро Валериано впоследствии написал свой знаменитый трактат (стр. 276-279). Некоторые из этих тем, такие как судьба Льва, были наиболее наводящими на размышления. Все хорошее, что можно сказать о нем с политической точки зрения, было кратко и превосходно подытожено Франческо Веттори; картина удовольствий Лео дана Паоло Джовио и в анонимной биографии;^[1146] и тени, сопутствовавшие его процветанию, нарисованы с неумолимой правдивостью тем же Пьеро Валериано.

С другой стороны, мы не можем читать без некоторого благоговения, как люди иногда хвастались своим состоянием в публичных надписях. Giovanni II. Бентивольо, правитель Болоньи, рискнул высечь на камне на недавно построенной башне своего дворца, что его заслуги и состояние дали ему в изобилии все, что можно было пожелать^[1147]— и это за несколько лет до его изгнания. Древние, когда они говорили таким тоном, тем не менее испытывали чувство зависти богов. В Италии, вероятно, кондотьеры (стр. 22) первыми осмелились так громко хвастаться своим состоянием.

Но наиболее сильно возрожденная античность повлияла на религию не через какие-либо доктрины или философскую систему, а через общую тенденцию, которую она поддерживала. Люди и в некоторых отношениях институты античности были предпочтительнее средневековых, и в страстных попытках подражать им религия была предоставлена самой себе. Все были поглощены восхищением историческим величием (часть ii. глава III. и выше, *переход*). К этому филологи добавили множество собственных особых глупостей, благодаря которым они стали объектом всеобщего внимания. Насколько Павел II. был ли оправдан призыв его Аббревиатуров и их друзей к ответу за их язычество, безусловно, вызывает большие сомнения, поскольку его биограф и главная жертва, Платина (стр. 231, 331) продемонстрировал виртуозное мастерство в объяснении его мстительности другими причинами, и особенно в том, что заставил его сыграть нелепую фигуру. Обвинения в неверности, язычестве,^[1148] Отрицание бессмертия и так далее не выдвигались против обвиняемых до тех пор, пока обвинение в государственной измене не было опровергнуто. Павел, действительно, если мы правильно информированы о нем, ни в коем случае не был человеком, способным судить об интеллектуальных вещах. Он плохо знал латынь и говорил по-итальянски на Консисториях и на дипломатических переговорах. Именно он призывал римлян не учить своих детей ничему, кроме чтения и письма. Его священническая узость взглядов напоминает нам Савонаролу (стр. 476), с той разницей, что Павлу вполне могли сказать, что он и ему подобные во многом виноваты в том, что культура сделала людей враждебными к религии. Тем не менее, нельзя сомневаться в том, что он испытывал настоящую тревогу по поводу окружавших его языческих тенденций. И чего, по правде говоря, гуманисты не могли позволить себе при дворе распутного язычника Сигизмондо Малатесты? То, как далеко отваживались зайти эти люди, по большей части лишены твердых принципов, несомненно, зависело от того, какому влиянию они подвергались. Они также не могли относиться к христианству, не превращая его в язычество (часть iii. глава x). Любопытно, например, отметить, как далеко Джовиано Понтано зашел в этой путанице. Он говорит о святом не только как "divus", но и как "deus"; ангелов он считает идентичными гениям древности;^[1149] и его представление о бессмертии напоминает нам о древнем королевстве теней. Этот дух иногда проявляется в самых экстравагантных формах. В 1526 году, когда Сиена подверглась нападению изгнанников,^[1150] достойный каноник Тицио, который сам рассказывает нам эту историю,

поднялся со своей постели 22 июля, вспомнив то, что написано в третьей книге Макробия, "[1151] отслужил мессу, а затем произнес в адрес врага проклятие, которым снабдил его автор, изменив только "Tellus mater teque" Юпитера победителя" на "Tellus teque Christe Deus obtestor". После того, как он проделал это в течение трех дней, враг отступил. С одной стороны, эти вещи кажутся нам проявлением простого стиля и модности, с другой - симптомом религиозного упадка.

ГЛАВА IV.

СМЕСЬ ДРЕВНИХ И СОВРЕМЕННЫХ СУЕВЕРИЙ.

НО с другой стороны, и именно догматически, античность оказывала опасное влияние. Она привнесла в эпоху Возрождения свои собственные формы суеверий. Некоторые фрагменты этого сохранились в Италии на протяжении всего средневековья, и благодаря этому воскрешение целого стало намного проще. Нет необходимости подробно останавливаться на роли воображения в этом процессе. Только это могло заставить замолчать критический интеллект итальянцев.

Вера в Божественное правление миром была во многих умах разрушена зрелищем стольких несправедливостей и страданий. Другие, подобно Данте, во всяком случае, отдавали эту жизнь капризам случая, и если они, тем не менее, сохраняли твердую веру, то лишь потому, что считали, что высшее предназначение человека свершится в жизни грядущей. Но когда вера в бессмертие начала колебаться, тогда фатализм взял верх, или иногда последнее было первым и имело своим следствием первое.

Образовавшийся таким образом пробел был в первую очередь заполнен астрологией античности или даже арабов. Из отношений планет между собой и к знакам зодиака делались выводы о будущих событиях и ходе всей жизни, и в результате принимались наиболее весомые решения. Во многих случаях линия поведения, принятая таким образом по подсказке звезд, возможно, была не более аморальной, чем та, которой следовало бы придерживаться в противном случае. Но слишком часто решение принималось ценой чести и совести. Глубоко поучительно наблюдать, насколько бессильны были культура и просвещение против этого заблуждения, поскольку последнее опиралось на горячее воображение народа, на страстное желание проникнуть в будущее и определить его. Древность тоже была на стороне астрологии.

В начале XIII века это суеверие внезапно появилось на переднем плане итальянской жизни. Император Фридрих II. всегда путешествовал со своим астрологом Теодорусом; и Эццелино да Романо[1152] с большим, хорошо оплачиваемым двором таких людей, среди которых знаменитый Гвидо Бонатто и длиннородый сарацин Павел Багдадский. Во всех важных начинаниях они назначали для него день и час, и гигантские злодеяния, в которых он был повинен, возможно, отчасти были практическими выводами из их пророчеств. Вскоре все угрызения совести по поводу обращения к звездам исчезли. Не только князья, но и вольные города[1153] имели своих постоянных астрологов, а в университетах,[1154] с четырнадцатого по шестнадцатый век профессора этого псевдо- -ученые были назначены и читали лекции бок о бок с астрономами. Было хорошо известно, что Августин и другие Отцы Церкви боролись с астрологией, но их старомодные представления отвергались с легким презрением.[1155] Папы[1156] обычно не скрывали своего любования звездами, хотя Пий II, который также

презирал магию, предзнаменования и толкование мечты - почетное исключение.[1157] У Юлия II, с другой стороны, астрологи рассчитали день его коронации и день его возвращения из Болоњи.[1158] Даже Лев X., похоже, считал, что процветание астрологии является заслугой его понтификата,[1159] и Павел III. никогда не созывали Консисторию, пока звездочеты назначил время.[1160]

Справедливо можно предположить, что лучшие натуры не позволяли звездам определять их действия дальше определенной точки и что существовал предел, когда совесть и религия заставляли их остановиться. На самом деле, благочестивые и выдающиеся люди не только разделяли это заблуждение, но и выступили с ним публично. Одним из них был маэстро Паголо из Флоренции,[1161] в котором мы можем обнаружить то же желание обратить астрологию на моральный счет, которое встречается нам у позднеримского Фирмика Матернуса.[1162] Его жизнь была жизнью святого аскета. Он почти ничего не ел, презирал все мирские блага и собирал только книги. Искусный врач, он практиковал только среди своих друзей и поставил условием своего лечения признание ими своих грехов. Он часто посещал небольшой, но известный кружок, собиравшийся в монастыре Анджели вокруг фра Амброджо Камальдолезе (с. 463). Он также часто виделся с Козимо Старшим, особенно в последние годы его жизни; ибо Козимо признавал и использовал астрологию, хотя, вероятно, только для менее важных целей. Однако, как правило, Паголо толковал звезды только своим самым близким друзьям. Но даже без такой строгости нравов астрологи могли пользоваться большим уважением и проявляться повсюду. Кроме того, в Италии их было гораздо больше, чем в других европейских странах, где они появлялись только при великих дворах, да и то не всегда. Все знатные домовладельцы в Италии, когда это только вошло в моду, держали астролога, который, следует добавить, не всегда был уверен в том, что приготовит себе ужин.[1163] Благодаря литературе по этой науке, которая была широко распространена еще до изобретения книгопечатания, также вырос дилетантизм, который, насколько это было возможно, следовал по стопам мастеров. Наихудшим классом астрологов были те, кто использовал звезды либо как вспомогательное средство, либо как прикрытие для магических искусств.

Однако, помимо последнего, астрология была жалкой частью жизни того времени. Какую роль играют все эти высокоодаренные, многогранные, оригинальные персонажи, когда слепая страсть к познанию и определению будущего сводит на нет их мощную волю и решимость! Время от времени, когда звезды посылают им слишком жестокие послания, им удается собраться с силами, действовать самостоятельно и смело сказать: "Вир сапиенс доминабитур астрис" — мудрец повелевает звездами,[1164] а затем снова впадают в старое заблуждение.

Во всех лучших семьях гороскоп детей составлялся как нечто само собой разумеющееся, и иногда случалось, что полжизни мужчин преследовало праздное ожидание событий, которые так и не произошли. Звезды[1165] Задавались вопросом всякий раз, когда великому человеку приходилось принимать какое-либо важное решение, и даже консультировались относительно часа, в который следовало начинать любое начинание. Путешествия принцев, прием иностранных послов,[1166] закладка первого камня в фундамент общественных зданий зависела от ответа. Поразительный пример последнего встречается в жизни вышеупомянутого Гвидо Бонатто, который своей личной активностью и большой систематической работой по этому предмету[1167] заслуживает того, чтобы его называли восстановителем астрологии в тринадцатом веке. Чтобы положить конец борьбе гвельфов и гибеллинов в Форли, он убедил жителей восстановить городские стены и начать работы под указанным им созвездием. Если бы

тогда два человека, по одному от каждой партии, в один и тот же момент положили камень в фундамент, отныне и навсегда в Форли больше не было бы партийных разногласий. На эту должность были выбраны гвельф и гибеллин; наступил торжественный момент, каждый держал в руках камень, рабочие стояли наготове со своими инструментами, Бонатто подал сигнал, и гибеллин опустил свой камень на фундамент. Но гвельфы колебались и в конце концов вообще отказались что-либо предпринимать на том основании, что сам Бонатто имел репутацию гибеллина и, возможно, замышлял какую-то таинственную пакость против гвельфов. На что астролог обратился к нему: 'Будь проклят ты и партия гвельфов с твоей недоверчивой злобой! Это созвездие не появится над нашим городом в ближайшие 500 лет'. На самом деле вскоре после этого Бог действительно уничтожил гвельфов Форли, но теперь, пишет хронист около 1480 года, две стороны полностью примирились, и сами их имена больше не звучат.[1168]

Ничто из того, что зависело от звезд, не было важнее решений во время войны. Тот же Бонатто обеспечил великому вождю гибеллинов Гвидо да Монтефельтро серию побед, сообщив ему благоприятный час для похода.[1169] Когда Монтефельтро больше не сопровождал его[1170] он потерял мужество поддерживать свой деспотизм и ушел в монастырь миноритов, где жил монахом за много лет до своей смерти. Во время войны с Пизой в 1362 году флорентийцы поручили своему астрологу установить время для марша,[1171] и чуть не опоздали, внезапно получив приказ идти кружным путем через город. В предыдущих случаях они выходили маршем по Виа ди Борго Сан Апостола, и кампания была безуспешной. Было ясно, что с выходом на Пизу по этой улице было связано какое-то дурное предзнаменование, и, следовательно, армия теперь выходила через ворота Росса. Но поскольку палатки, растянутые там для просушки, не были убраны, флаги — еще одно дурное предзнаменование — пришлось приспустить. Влияние астрологии на войну подтверждалось тем фактом, что почти все кондотьеры верили в нее. Якопо Кальдора был весел во время самой тяжелой болезни, зная, что ему суждено пасть в бою, что и произошло на самом деле.[1172] Бартоломмео Альвиано был убежден, что его ранения в голову были таким же даром звезд, как и его военное командование.[1173] Никколо Орсини Питильяно попросил физика и астролога Алессандро Бенедетто[1174] назначить благоприятное время для заключения его сделки с Венецией (1495). Когда флорентийцы 1 июня 1498 года торжественно наделили своего нового кондотьера Паоло Вителли должностью, маршальский жезл, который они ему вручили, был, по его собственному желанию, украшен изображениями созвездий.[1175] Тем не менее, были такие генералы, как Альфонсо Великий Неаполитанский, которые не позволили пророкам предугадать их поход.[1176]

Иногда нелегко понять, были ли при проведении важных политических событий опрошены звезды заранее, или астрологов просто побудило впоследствии любопытство выяснить, какое созвездие определило результат. Когда Джангалеаццо Висконти (стр. 12) мастерским политическим ходом взял в плен своего дядю Бернабо с семьей последнего (1385), современник сообщает нам, что Юпитер, Сатурн и Марс стояли в доме Близначев,[1177] но мы не можем сказать, был ли впоследствии решен этот вопрос. Также вероятно, что советы астрологов часто определялись политическим расчетом не в меньшей степени, чем движением планет.[1178]

Вся Европа во второй половине Средних веков позволяла себе ужасаться предсказаниям эпидемий, войн, наводнений и землетрясений, и в этом отношении Италия ни в коей мере не отставала от других стран. Несчастливый 1494 год, который навсегда открыл ворота Италии для

чужеземцев, несомненно, был ознаменован многими пророчествами несчастья[1179]— только мы не можем сказать, не были ли такие пророчества готовы для каждого года.

Этот способ мышления был с полной последовательностью распространен в регионах, где мы вряд ли должны ожидать с ним встретиться. Если вся внешняя и духовная жизнь индивида определяется фактами его рождения, то тот же закон управляет также группами индивидов и историческими продуктами, то есть нациями и религиями; и по мере того, как меняется совокупность этих вещей, меняются и сами вещи. Идея о том, что у каждой религии есть свое время, впервые вошла в итальянскую культуру в связи с этими астрологическими верованиями, в основном из еврейских и арабских источников.[1180] Соединение Юпитера с Сатурном породило, как нам сказали,[1181] веру Израиля; веру Юпитера и Марса, халдеев; с Солнце - египтянин; с Венерой - мусульманин; с Меркурием - христианин; и соединение Юпитера с Луной однажды породит религию Антихриста. Кеччо д'Асколи уже кощунственно вычислил рождение Христа и вывел из него его смерть на кресте. За это он был сожжен на костре во Флоренции в 1327 году.[1182] Доктрины такого рода в конечном итоге просто затемнили все представления людей о духовных вещах.

Гораздо более достойной признания является война, которую чистый итальянский дух вел против этой армии заблуждений. Несмотря на огромное монументальное прославление астрологии, как на фресках в салоне в Падуе,[1183] и в летнем дворце Борсо (Шифаноха) в Ферраре, несмотря на бесстыдные восхваления даже такого человека, как старший Бериальдус,[1184] не было недостатка в вдумчивых и независимых умах, чтобы протестовать против этого. Здесь тоже путь был уготован древностью, но именно их собственный здравый смысл и наблюдательность научили их, что говорить. Отношение Петрарки к астрологам, которых он знал лично, - это отношение горького презрения;[1185] и никто не видел их систему лжи более ясно, чем он. Романы с тех пор, как они впервые начали появляться, — со времен "Cento novelle antiche", - почти всегда враждебны астрологам.[1186] Флорентийские хронисты мужественно защищают себя от заблуждений, которые, как часть исторической традиции, они вынуждены фиксировать. Джованни Виллани не раз говорит,[1187] "Ни одно созвездие не может подчинить себе ни свободную волю человека, ни советы Бога". Маттео Виллани[1188] заявляет астрология считалась пороком, который флорентийцы унаследовали, наряду с другими суевериями, от своих языческих предков, римлян. Этот вопрос, однако, не остался предметом простой литературной дискуссии, но стороны "за" и "против" публично спорили. После ужасных наводнений 1333 года и снова в 1345 году астрологи и теологи с большой подробностью обсуждали влияние звезд, волю Бога и справедливость его наказаний.[1189] Эта борьба не прекращалась на протяжении всего периода Возрождения,[1190] и мы можем заключить, что протестующие были серьезны, поскольку им было легче зарекомендовать себя перед великими, защищая астрологию, чем выступая против нее.

В кругу Лоренцо Великолепного, среди его самых выдающихся платоников, мнения по этому вопросу разделились. То, что Марсилио Фичино защищал астрологию и составил гороскоп детей дома, пообещав маленькому Джованни, впоследствии Льву X., что однажды он станет папой римским,[1191] как хочет заставить нас поверить Джовио, это выдумка - но другие академики признали астрологию. Пико делла Мирандола,[1192] с другой стороны, своим знаменитым опровержением он создал эпоху в этой теме. Он обнаруживает в этой вере корень всего нечестия и безнравственности. Если астролог, утверждает он, вообще во что-либо верит, он должен поклоняться не Богу, а планетам, от которых происходит все добро и зло. Все

остальные суеверия находят готовый инструмент в астрологии, которая служит помощницей геомантии, хиромантии и магии любого рода. Что касается морали, он утверждает, что ничто так не способствует злу, как мнение, что само небо является его причиной, и в этом случае вера в вечное счастье и наказание также должна исчезнуть. Пико даже взял на себя труд проверить астрологов индуктивным методом и обнаружил, что в течение месяца три четверти их погодных пророчеств оказались ложными. Но его главным достижением было изложение в Четвертой книге позитивной христианской доктрины о свободе воли и управлении вселенной, которая, по-видимому, произвела большее впечатление на образованные классы по всей Италии, чем все проповедники возрождения, вместе взятые. Последние, на самом деле, часто не дотягивали до этих классов.

Первым результатом его книги стало то, что астрологи перестали публиковать свои доктрины,[1193] и тем, кто уже напечатал их, было более или менее стыдно за то, что они сделали. Джовиано Понтано, например, в своей книге "О судьбе" (стр. 503) признал эту науку и в своем собственном великом труде,[1194], несколько частей которого были посвящены его высокопоставленным друзьям и единоверцам, Альдо Мануччи, П. Бембо и Сандазаро, изложил всю теорию этого явления в стиле старого Фирмика, приписывающего звездам рост всех телесных и духовных качеств. Теперь он в своем диалоге "Эгидий" отказался если не от астрологии, то, по крайней мере, от некоторых астрологов и вознес хвалу свободной воле, благодаря которой человек может познать Бога.[1195] Астрология оставалась более или менее в моде, но, похоже, не управляла человеческой жизнью так, как это было раньше. Искусство живописи, которое в пятнадцатом веке делало все возможное, чтобы усилить это заблуждение, теперь выражало изменившийся тон мысли. Рафаэль в куполе капеллы Киджи,[1196] представляет богов различных планет и звездного небосвода, за которыми, однако, наблюдают прекрасные фигуры ангелов и ими руководят, и они получают свыше благословение Вечного Отца. Была и еще одна причина, которая теперь начала выступать против астрологии в Италии. Испанцы не проявили к этому никакого интереса, даже генералы и те, кто хотел снискать их расположение[1197] объявил открытую войну наполовину еретической, наполовину мусульманской науке. Это правда, что Гвиччардини[1198] пишет в 1529 году: 'Как счастливы астрологи, которым верят, если они говорят одну правду на сотню лжи, в то время как другие люди теряют всякий авторитет, если они говорят одну ложь на сотню истин'. Но презрение к астрологии не обязательно вело к возвращению к вере в Провидение. С таким же успехом оно могло привести к неопределенному фатализму.

В этом отношении, как и в других, Италия не смогла самостоятельно пройти здоровый путь через брожение Возрождения, потому что иностранное вторжение и Контрреформация обрушились на нее в самый разгар. Без таких мешающих причин его собственная сила позволила бы ему полностью избавиться от этих фантастических иллюзий. Те, кто считает, что натиск чужеземцев и католическая реакция были необходимостью, за которую итальянский народ нес единоличную ответственность, будут рассматривать духовное банкротство, которое они вызвали, как справедливое возмездие. Но жаль, что остальной Европе пришлось косвенно выплатить столь значительную часть штрафа.

Вера в приметы кажется гораздо более невинным делом, чем астрология. Средние века повсюду в изобилии унаследовали их от различных языческих религий, и Италия в этом отношении ничем не отличалась от других стран. Что характерно для Италии, так это

поддержка, оказываемая гуманизмом народному суеверию. Языческое наследие было здесь подкреплено развитием языческой литературы.

Популярное суеверие итальянцев основывалось в значительной степени на предчувствиях и выводах, сделанных из зловещих событий,[\[1199\]](#) с которым было связано много магии, в основном невинного рода. Однако не было недостатка в ученых гуманистах, которые смело высмеивали эти заблуждения, и чьим нападкам мы отчасти обязаны знанием о них. Джовиано Понтано, автор великого астрологического труда, уже упомянутого ([стр. 280](#)), с сожалением перечисляет в своем 'Хароне' длинную череду неаполитанских суеверий — горе женщин, когда птица или гусь ловят косточку; глубокое беспокойство знати, если охотничий сокол не возвращается домой или лошадь вывихнула ногу; магические формулы апулийских крестьян, произносимые тремя субботними вечерами, когда на свободе бродят бешеные собаки. Царство животных, как и в древности, считалось особенно важным в этом отношении, и поведение львов, леопардов и других животных, содержащихся государством ([стр. 293 кв.](#)), дало людям еще больше пищи для размышлений, потому что они стали рассматриваться как живые символы государства. Во время осады Флоренции в 1529 году орел, в которого стреляли, улетел в город, и синьория дала предъявителю четыре дуката, потому что предзнаменование было добрым.[\[1200\]](#) Определенные времена и места были благоприятными или неблагоприятными, или даже решающими, так или иначе, для определенных действий. Флорентийцы, по словам Варчи, считали субботу судьбоносным днем, в который обычно происходили все важные события, как хорошие, так и плохие. Об их предубеждении против маршей на войну по определенной улице уже упоминалось ([стр. 512](#)). В Перудже одни из ворот, "Порта эбурнея", считались удачными, и Бальони всегда выходили через них с боем.[\[1201\]](#) Метеоры и внешний вид небес были столь же значимы в Италии, как и везде в Средние века, и народное воображение видело враждующие армии в необычном скоплении облаков и слышало грохот их столкновения высоко в воздухе.[\[1202\]](#) Суеверие становилось более серьезным, когда оно привязывалось к священным предметам, когда фигуры Богородицы плакали или отводили глаза,[\[1203\]](#) или когда публичные бедствия были связаны с каким-то предполагаемым актом нечестия, за который люди требовали искупления. В 1478 году, когда на Пьяченцу обрушился сильный и продолжительный ливень, было сказано, что сухой погоды не будет до тех пор, пока некий ростовщик, недавно похороненный в Сан-Франческо, не упокоится в освященной земле. Поскольку епископ был недостаточно любезен, чтобы выкопать труп, молодые люди города взяли его силой, протащили по улицам в страшном смятении, предложили бывшим кредиторам подвергнуть его оскорблениям и жестокому обращению и, наконец, бросили в тюрьму.[\[1204\]](#) Даже Политик принял эту точку зрения, говоря о Джакомо Пацци, одном из руководителей заговора 1478 года во Флоренции, которая названа его именем. Когда его приговорили к смерти, он посвятил свою душу сатане со страшными словами. Здесь тоже прошел дождь и пригрозил погубить урожай; здесь тоже группа мужчин, в основном крестьян, выкопала тело в церкви, и сразу же тучи рассеялись и засияло солнце — "так благосклонна была судьба к мнению людей", - добавляет великий ученый.[\[1205\]](#) Труп сначала бросили в неосвященную землю, на следующий день снова выкопали и после ужасной процессии по городу бросили в реку Арно.

Эти факты и подобные им носят популярный характер и могли иметь место как в десятом, так и в шестнадцатом веке. Но сейчас сказывается литературное влияние античности. Мы точно знаем,

что гуманисты были особенно доступны для чудес и предсказаний, и примеры этого уже приводились. Если бы потребовались дополнительные доказательства, их можно было бы найти у Поджио. Тот же радикальный мыслитель, который отрицал права благородного происхождения и неравенство людей (стр. 361 кв.), верил не только во все средневековые истории о привидениях и дьяволах (fol. 167, 179), но и в чудеса по древнему образцу, подобные тем, которые, как говорят, произошли во время последнего визита Евгения IV во Флоренцию.[1206] "Однажды вечером недалеко от Комо было замечено 4000 собак, которые отправились по дороге в Германию; за ними следовало огромное стадо крупного рогатого скота, а за ними армия пеших и конных, некоторые без голов, а некоторые с почти невидимыми головами, а затем гигантский всадник с другим стадом крупного рогатого скота позади него". Поджио также верит в битву сороки и конницы. галки (стр. 180). Он даже рассказывает, возможно, сам того не осознавая, хорошо сохранившийся фрагмент древней мифологии. На побережье Далмации появился Тритон, бородатый и рогатый, настоящий морской сатир, заканчивающийся плавниками и хвостом; он уводил женщин и детей с берега, пока пять отважных прачек не убили его палками и камнями.[1207] Деревянная модель монстра, которая была выставлена в Ферраре, делает всю историю Поджио правдоподобной. Хотя оракулов больше не было, и спросить совета у богов было уже невозможно, все же снова вошло в моду открывать Вергилия наугад и воспринимать попавшийся отрывок как предзнаменование[1208] ('Sortes Virgilianae'). Вера в демонов, распространенная в поздний период античности, также не могла не повлиять на эпоху Возрождения. Труд Ямвлиха, или Абаммона, о мистериях египтян, который, возможно, способствовал такому результату, был напечатан в латинском переводе в конце пятнадцатого века. Платоновская академия во Флоренции не была свободна от этих и других неоплатонических мечтаний о римском упадке. Здесь необходимо сказать несколько слов о вере в демонов и о магии, которая была связана с этой верой.

Популярная вера в то, что называется миром духов, была почти такой же в Италии, как и в других странах Европы.[1209] В Италии, как и везде, были призраки, то есть вновь появляющиеся умершие люди; и если представление о них в каком-либо отношении отличалось от того, которое преобладало на Севере, разница проявлялась только в древнем названии "омбра". В наши дни, если появляется такая тень, за ее упокой отслужат пару месс. То, что духи плохих людей появляются в ужасном обличье, само собой разумеется, но наряду с этим мы встречаем представление о том, что призраки усопших повсеместно злобны. Мертвые, говорит священник в Банделло,[1210] убивают маленьких детей. Создается впечатление, что здесь некая тень рассматривалась как отдельная от души, поскольку последняя страдает в Чистилище и, когда она появляется, не делает ничего, кроме стенаний и молитв. Чтобы похоронить призрака, гробницу вскрыли, труп разорвали на куски, сердце сожгли, а пепел развеяли по четырем ветрам.[1211] В других случаях появляется не призрак человека, а событие - прошлое состояние вещей. Так соседи объяснили дьявольские явления в старом дворце Висконти близ Сан-Джованни-ин-Конка в Милане, поскольку именно здесь Бернабо Висконти подвергал пыткам и душил бесчисленных жертв своей тирании, и неудивительно, что там можно было увидеть странные вещи.[1212] Однажды вечером толпа бедняков со свечами в руках явилась к нечестному опекуну бедных в Перудже и танцевала вокруг него; огромная фигура угрожающим тоном говорила от их имени — это был святой Ало, покровитель богадельни.[1213] Эти способы веры были настолько само собой разумеющимися, что поэты могли использовать их как нечто понятное каждому читателю. Появление убитого Людовико Пико под стенами осажденной

Мирандолы прекрасно передано Кастильоне.^[1214] Верно, что поэзия наиболее свободно использовала эти концепции, когда сам поэт перерос их.

Италия также разделяла веру в демонов с другими народами Средневековья. Люди были убеждены, что Бог иногда позволяет злым духам всех классов оказывать разрушительное влияние на отдельные части мира и на человеческую жизнь. Единственная оговорка заключалась в том, что человек, к которому Лукавый приходил как искушитель, мог использовать свою свободную волю для сопротивления.^[1215] В Италии демоническое влияние, особенно проявляющееся в природных событиях, легко приобрело характер поэтического величия. В ночь перед великим наводнением в Валь д'Арно в 1333 году благочестивый отшельник из Валломброзы слышал дьявольский шум в своей келье, перекрестился, подошел к двери и увидел толпу черных и ужасных рыцарей, скачущих галопом в доспехах. Когда их попросили встать, один из них сказал: "Мы идем топить Флоренцию за ее грехи, если Бог позволит нам".^[1216] С этим можно сравнить почти современное видение Венеции (1340 г.), из которого великий мастер венецианской школы, вероятно, Джорджоне, создал чудесную картину галеры, полной демонов, которая с быстротой птицы несется над бурной лагуной, чтобы разрушить грешный остров-город, пока три святых, которые спаслись, не покинут его. незаметно забрался в лодку бедного лодочника, изгнал демонов и отправил их вместе с судном на дно.^[1217]

К этой вере теперь добавилась иллюзия, что с помощью магических искусств можно вступить в отношения со злыми духами и использовать их помощь для достижения целей жадности, честолюбия и чувственности. Вероятно, многих людей обвиняли в этом до того, как многие действительно попытались это сделать; но когда так называемых магов и ведьм начали сжигать, преднамеренное применение черного искусства стало более частым. С дымом костров, на которых приносились предполагаемые жертвы, распространялись наркотические пары, с помощью которых множество загубленных персонажей были превращены в магов; и с ними стали ассоциироваться многие расчетливые самозванцы.

Примитивной и популярной формой, в которой суеверие, вероятно, продолжало существовать непрерывно со времен римлян,^[1218] было искусство ведьмы (Стрега). Ведьма, пока она ограничивалась простым гаданием,^[1219] могла бы быть достаточно невинной, если бы переход от пророчества к активной помощи не мог легко, хотя часто и незаметно, стать фатальным шагом вниз. В таком случае ей приписывали не только способность возбуждать любовь или ненависть между мужчиной и женщиной, но и чисто разрушительные и злонамеренные искусства, и особенно ее обвиняли в болезнях маленьких детей, даже когда болезнь явно происходила из-за пренебрежения и глупости родителей. До сих пор остается под вопросом, насколько широко она могла действовать с помощью простых магических церемоний и формул или сознательного союза с демонами, помимо ядов и лекарств, которые она применяла, полностью зная об их действии.

Более невинная форма суеверия, при которой нищенствующий монах мог рискнуть выступить в роли соперника ведьмы, показана в случае с ведьмой из Гаэты, о которой мы читаем в Понтано.^[1220] Его путешественник Суппатиус достигает ее жилища, когда она дает аудиенцию девушке и служанке, которые приходят к ней с черной курицей, девятью яйцами, снесенными в пятницу, уткой и немного белых ниток — ибо это третий день после новолуния. Затем их отсылают и просят прийти снова в сумерках. Остается надеяться, что не предполагается ничего худшего, чем гадание. Любовница служанки беременна от монаха; любовник девушки оказался

неверным и ушел в монастырь. Ведьма жалуется: 'После смерти моего мужа я таким образом содержу себя и могла бы извлечь из этого пользу, поскольку женщины Гаэтан очень верят, если бы монахи не мешали мне добиваться моих успехов, объясняя сны, умиротворяя гнев святых за деньги, обещая мужей девушкам, детей-мужчин беременным женщинам, потомство бесплодным, и, помимо всего этого, навещая женщин по ночам, когда их мужья уезжают на рыбалку, в соответствии с назначениями, заключенными днем в церкви'. Суппаций предостерегает ее от зависти со стороны монастыря, но она ничего не боится, поскольку его хранитель - ее старый знакомый.[1221]

Но это суеверие в дальнейшем породило ведьм худшего сорта, а именно тех, кто лишал мужчин здоровья и жизни. В этих случаях вред, когда его недостаточно объясняли сглазом и тому подобным, естественно приписывали помощи могущественных духов. Наказанием, как мы видели в случае с Финицеллой (стр. 469), был костер; и все же компромисс с фанатизмом иногда был осуществим. Например, согласно законам Перуджи, ведьма могла уладить дело, заплатив 400 фунтов стерлингов.[1222] Тогда к этому вопросу не относились с той серьезностью и последовательностью, которые были характерны для более поздних времен. На территории Церкви, в Норсии (Нурсия), доме святого Бенедикта, в верхних Апеннинах, было настоящее гнездо ведьм и колдунов, и из этого не делалось никакого секрета. Об этом говорится в одном из самых замечательных писем Энея Сильвия,[1223], относящемся к его более раннему периоду. Он пишет своему брату: "Податель этого письма пришел ко мне, чтобы спросить, знаю ли я гору Венеры в Италии, поскольку в таком месте обучали магическим искусствам, и его учитель, саксонец и великий астроном,[1224] стремился изучить их. Я сказал ему, что знаю о Порто-Венере недалеко от Каррары, на скалистом побережье Лигурии, где я провел три ночи по пути в Базель; я также узнал, что на Сицилии есть гора под названием Эрикс, посвященная Венере, но я не знал, обучают ли там магии. Но во время разговора мне пришло в голову, что в Умбрии, в старом герцогстве (Сполето), недалеко от города Нурсия, под отвесной скалой есть пещера, в которой течет вода. Насколько я помню, там обитают ведьмы (striges), деймоны и ночные тени, и тот, у кого хватает смелости, может видеть призраков (spiritus) и разговаривать с ними, а также изучать магические искусства.[1225] Я этого не видел и не беспокоился по этому поводу, ибо то, что познается с грехом пополам, лучше вообще не познавать.' Тем не менее он называет своего информатора и умоляет брата передать ему письмо, если тот еще жив. Эней заходит здесь достаточно далеко в своей вежливости к человеку с положением, но лично он был не только свободнее от суеверий, чем его современники (стр. 481, 508), но и выдержал испытание по этому предмету, которое смог бы выдержать не каждый образованный человек наших дней. Во время Базельского собора, когда он семьдесят пять дней пролежал в Милане, страдая лихорадкой, его так и не смогли убедить прислушаться к волшебным лекарям, хотя к его постели привели человека, который незадолго до этого чудесным образом излечил от лихорадки 2000 солдат в лагере Пиччинино. Все еще будучи инвалидом, Эней переехал через горы в Базель и в пути поправился.[1226]

Мы узнаем кое-что еще о окрестностях Норчи от некроманта, который пытался заполучить Бенвенуто Челлини в свою власть. Должна была быть освящена новая книга магии,[1227] и лучшим местом для церемонии были горы в этом районе. Мастер волшебника однажды, правда, проделал то же самое возле аббатства Фарфа, но там столкнулся с трудностями, которых не было в Норсии; кроме того, крестьяне в последнем районе были надежными людьми, имевшими опыт в этом вопросе и которые могли оказать значительную помощь в случае необходимости. Экспедиция не состоялась, иначе Бенвенуто, вероятно, смог бы рассказать нам

что-нибудь о помощниках самозванца. Вся округа тогда вошла в поговорку. Аретино где-то говорит о заколдованном колодце: 'там живут сестры сивиллы Норчийской и тетя Фата Морганы'. И примерно в то же время Триссино все еще мог прославлять это место в своем великом эпосе^[1228] со всеми средствами поэзии и аллегории как обитель подлинного пророчества.

После знаменитой Буллы Иннокентия VIII (1484),^[1229] колдовство и преследование ведьм превратились в великую и отвратительную систему. Главными представителями этой системы преследований были немецкие доминиканцы; а Германия и, что достаточно любопытно, те части Италии, которые находятся ближе всего к Германии, были странами, наиболее пораженными этой чумой. Буллы и предписания самих пап^[1230] относятся, например, к Доминиканской провинции Ломбардия, к Кремоне, к епархиям Брешии и Бергамо. Из знаменитого теоретико-практического руководства Шпренгера 'Маллеус Малефикарум' мы узнаем, что сорок одна ведьма была сожжена в Комо в первый год после опубликования буллы; толпы итальянских женщин нашли убежище на территории эрцгерцога Сигизмунда, где, по их мнению, они все еще были в безопасности. В конце концов, колдовство пустило прочные корни в нескольких несчастливых альпийских долинах, особенно в Валь-Камонике;^[1231] системе преследований удалось надолго заразить иллюзией те группы населения, которые были каким-либо образом к ней предрасположены. Эта по сути немецкая форма колдовства - это то, о чем мы должны думать, читая рассказы и повести Милана или Болоньи.^[1232] То, что в Италии он не добился дальнейшего прогресса, вероятно, связано с тем фактом, что в других местах уже существовала высокоразвитая "Стрегерия", основанная на другом наборе идей. Итальянская ведьма занималась ремеслом, и для этого нужны были деньги и, прежде всего, здравый смысл. Мы не находим о ней ничего из истерических снов северной ведьмы, о чудесных путешествиях по воздуху, об Инкубах и Суккубах; делом 'Стреги' было доставлять удовольствие другим людям. Если ей приписывали способность принимать различные обличья или внезапно переноситься в отдаленные места, она была довольна этой репутацией, поскольку ее влияние таким образом возрастало; с другой стороны, для нее было опасно, когда страх перед ее злобой и местью, и особенно перед ее способностью очаровывать детей, скот и посевы, стал всеобщим. Инквизиторы и магистраты тогда полностью согласились с пожеланиями народа, если сожгли ее.

Безусловно, наиболее важной сферой деятельности "Стреги" были, как уже было сказано, любовные отношения, которые включали в себя разжигание любви и ненависти, производство аборт, притворное убийство неверного мужчины или женщины с помощью магических искусств и даже изготовление ядов.^[1233] Из-за нежелания многих людей иметь дело с этими женщинами возник класс случайных практиков, которые тайно обучались у них тому или иному из их искусств, а затем использовали эти знания в своих целях. Римские проститутки, например, пытались усилить свою личную привлекательность с помощью чар другого описания в стиле Горациана Канидии. Аретино^[1234], возможно, не только знал, но и рассказал правду о них в данном конкретном случае. Он приводит список отвратительного месава, которое можно было найти в их ящиках— волосы, черепа, ребра, зубы, глаза мертвецов, человеческая кожа, пупки маленьких детей, подошвы обуви и куски одежды из гробниц. Они даже сами ходили на кладбище и приносили кусочки гнилой плоти, которые хитро давали своим любовникам на съедение — причем больше, что еще хуже. Кусочки волос и ногтей возлюбленного были сварены в масле, украденном из вечно горящих лампад в церкви. Самым безобидным из их чар было сделать сердце из светящегося пепла, а затем проткнуть его во время пения —

Prima che'l fuoco spenghi,
Fa ch'a mia porta venghi;
Tal ti punga mio amore
Quale io fo questo cuore.

Были и другие заклинания, применявшиеся при помощи лунного света, с рисунками на земле и фигурками из воска или бронзы, которые, несомненно, изображали влюбленного и с которыми обращались в зависимости от обстоятельств.

Все это было настолько обычным делом, что женщину, которая, не обладая молодостью и красотой, тем не менее оказывала сильное обаяние на мужчин, естественно, заподозрили в колдовстве. Мать Шанги,[\[1235\]](#) секретарь Климента VII., отравила любовницу своего сына, которая была женщиной такого рода. К сожалению, сын тоже умер, как и компания друзей, которые съели отравленный салат.

Затем пришел не как помощник, а как конкурент ведьме, магу или чародейке — "incantatore", — который был еще лучше знаком с самым опасным делом этого ремесла. Иногда он был астрологом в такой же или большей степени, чем магом; вероятно, он часто выдавал себя за астролога, чтобы не подвергаться судебному преследованию как маг, и определенная астрология была необходима для определения благоприятного часа для магического процесса.[\[1236\]](#) Но поскольку многие духи добры[\[1237\]](#) или равнодушны, маг иногда мог поддерживать очень сносную репутацию, и Сикст IV. в 1474 году пришлось открыто выступить против некоторых болонских кармелитов,[\[1238\]](#) которые утверждали с кафедры, что нет ничего плохого в поиске информации у демонов. Очень многие люди верили в возможность самой этой вещи; косвенным доказательством этого является тот факт, что самые набожные люди верили, что молитвой они могут получить видения добрых духов. Разум Савонаролы был полон этими вещами; флорентийские платоники говорят о мистическом единении с Богом; и Марцелл Палингениус ([стр. 264](#)) достаточно ясно дает нам понять, что он имел дело с посвященными духами.[\[1239\]](#) Тот же автор убежден в существовании целой иерархии плохих демонов, которые занимают свои места от луны и ниже и всегда готовы причинить вред природе и человеческой жизни.[\[1240\]](#) Он даже рассказывает о своем личном знакомстве с некоторыми из них, и поскольку объем настоящей работы не позволяет систематически изложить распространенную в то время веру в духов, рассказ Палингениуса может быть приведен как один пример из многих.[\[1241\]](#)

В Сан-Сильвестро, на Соракте, он получал наставления от благочестивого отшельника о ничтожестве земных вещей и никчемности человеческой жизни; и когда приблизилась ночь, он отправился в обратный путь в Рим. На дороге, при полном свете луны, к нему присоединились трое мужчин, один из которых окликнул его по имени и спросил, откуда он пришел. Палингений ответил: 'От мудреца с горы'. 'О глупец, - ответил незнакомец, - неужели ты действительно веришь, что кто-либо на земле мудр? Только высшие существа (Диви) обладают мудростью, и таковы мы трое, хотя и носим облик людей. Меня зовут Сарацил, а этих двоих Сатиэль и Джана. Наше царство лежит близ Луны, где обитает множество промежуточных существ, властвующих над землей и морями. Затем Палингений не без внутренней дрожи спросил, что они собираются делать в Риме. Ответ был таков: 'Один из наших товарищей, Аммон, находится в рабстве у магического искусства юноши из Нарни, одного из приближенных кардинала Орсини; ибо

заметьте, о люди, в том, что вы можете управлять одним из нас, есть доказательство вашего собственного бессмертия; я сам, запертый в кристалле, однажды был вынужден служить немцу, пока бородатый монах не освободил меня. Это та услуга, которую мы хотим оказать в Риме нашему другу, и мы также воспользуемся возможностью отправить одного или двух выдающихся римлян в преисподнюю. При этих словах поднялся легкий ветерок, и Сатиэль сказал: 'Послушай, наш посланник возвращается из Рима, и этот ветер возвещает о нем'. А затем появилось другое существо, которого они радостно приветствовали, а затем спросили о Риме. Его высказывания резко антипапские: Климент VII. снова вступил в союз с испанцами и надеялся искоренить доктрины Лютера не аргументами, а испанским мечом. Это всецело в интересах демонов, которым надвигающееся кровопролитие позволило бы унести души тысяч в ад. В конце этого разговора, в котором Рим со всей его виной представлен как полностью отданный во власть Лукавого, видения исчезают, и поэт печально продолжает свой путь в одиночестве.[1242]

Тех, кто хотел бы составить представление о степени веры в те отношения к демонам, которые можно открыто признавать, несмотря на наказания, полагающиеся за колдовство, можно отсылать к широко читаемой работе Агриппы Неттесгеймского 'Тайная философия'. Кажется, изначально он написал это до того, как оказался в Италии,[1243] но в посвящении Тритемию он упоминает итальянские власти среди прочих, хотя бы в качестве принижения. В случае двусмысленных личностей, подобных Агриппе, или мошенников и глупцов, на которых можно разделить большинство остальных, мало что интересного в системе, которую они исповедуют, с ее формулами, окуливаниями, мазиями и прочим подобным.[1244] Но эта система была наполнена цитатами из суеверий древности, влияние которых на жизнь и страсти итальянцев временами бывает самым замечательным и плодотворным. Мы могли бы подумать, что великий ум должен быть полностью разрушен, прежде чем он поддается такому влиянию; но неистовство надежды и желания заставляло даже энергичных и оригинальных людей всех классов обращаться к магу, а вера в то, что это вообще осуществимо, в некоторой степени ослабляла веру даже тех, кто держался на расстоянии, в моральный порядок мира. Ценой небольшого количества денег и опасности казалось возможным безнаказанно бросить вызов всеобщему разуму и морали человечества и избавить себя от промежуточных шагов, которые в противном случае лежат между человеком и его законными или незаконными целями.

Давайте здесь на мгновение взглянем на более старую и ныне пришедшую в упадок форму суеверия. С самого мрачного периода средневековья или даже со времен античности многие города Италии хранили память о связи своей судьбы с определенными зданиями, статуями или другими материальными объектами. Древние оставили записи о посвящении жрецов или Телестях, которые присутствовали при торжественном основании городов и магическим образом гарантировали их процветание, воздвигая определенные памятники или закапывая определенные предметы (Телесматы). Традиции такого рода, скорее всего, сохранились в виде популярных, неписанных легенд; но с течением веков священник естественным образом превратился в мага, поскольку религиозная сторона его функций больше не понималась. В некоторых из его вергилианских чудес в Неаполе,[1245] древнее воспоминание об одном из этих Телестей четко сохранилось, его имя со временем было вытеснено именем Вергилия. Заключенное в сосуд таинственное изображение города является ни много ни мало подлинной древней Телесмой; а Вергилий, основатель Неаполя, - всего лишь исполняющий обязанности священника, принявшего участие в церемонии, но одетого в другое платье. Народное воображение продолжало работать над этими темами, пока Вергилий не стал также

ответственным за "медного коня", за головы у ноланских ворот, за медную муху над другими воротами и даже за Грот Позилиппо — все это вещи, которые в том или ином отношении служили магическому ограничению судьбы, и первые две из которых, казалось, определили всю судьбу города. Средневековый Рим также сохранил смутные воспоминания того же рода. В церкви Святого Амброджо в Милане стоял древний мраморный Геркулес; говорили, что пока он стоит на своем месте, так долго продержится Империя. Вероятно, имеется в виду церковь немцев, поскольку коронация их императоров в Милане происходила в этой церкви.^[1246] Флорентийцы^[1247] были убеждены, что храм Марса, впоследствии преобразованный в Баптистерий, простоит до скончания веков, в соответствии с созвездием, под которым он был построен. Как христиане, они сняли с него мраморную конную статую; но поскольку разрушение последней навлекло бы на город какое-нибудь большое бедствие — также в соответствии с созвездием — они установили ее на башне у реки Арно. Когда Тотила завоевал Флоренцию, статуя упала в реку, и ее не вылавливали до тех пор, пока Карл Великий не восстановил город. Затем он был водружен на колонну у входа на Понте Веккьо, и на этом месте Буондельмонте был убит в 1215 году. Таким образом, начало великой вражды между гвельфами и гибеллинами было связано со страшным идолом. Во время наводнения 1333 года статуя исчезла навсегда.^[1248]

Но та же самая Телесма появляется снова в другом месте. Уже упоминавшийся Гвидо Бонатто не удовлетворился восстановлением стен Форли, потребовав от двух сторон определенных символических актов примирения (с. 511). Закапывая бронзовую или каменную конную статую,^[1249] которую он создал с помощью астрологических или магических искусств, он верил, что защитил город от разорения и даже от захвата и разграбления. Примерно шестьдесят лет спустя, когда кардинал Альборнос (стр. 102) был губернатором Романьи, статую случайно выкопали, а затем показали народу, вероятно, по приказу кардинала, чтобы стало известно, какими средствами жестокий Монтефельтро защищался от римской церкви. И снова, полвека спустя, когда попытка заставить Форли врасплох провалилась, люди снова заговорили о достоинствах статуи, которая, возможно, была спасена и перезахоронена. Это был последний раз, когда они могли это сделать, потому что год спустя Форли действительно был взят. Фундамент зданий на протяжении всего пятнадцатого века ассоциировался не только с астрологией (с. 511), но и с магией. Большое количество золотых и серебряных медалей, которые получил Павел II, похоронен в фундаментах своих зданий^[1250] был замечен, и Платина была отнюдь не разочарована, узнав в этом факте древнюю языческую Телесму. Ни Павел, ни его биограф никоим образом не осознавали средневекового религиозного значения такого подношения.^[1251]

Но эта официальная магия, которая во многих случаях основывается только на слухах, была сравнительно неважна по сравнению с тайными искусствами, применявшимися в личных целях.

Форма, которую они чаще всего принимали в повседневной жизни, показана Ариосто в его комедии о некромантах.^[1252] Его герой — один из многих еврейских изгнанников из Испании, хотя он также выдает себя за грека, египтянина и африканца и постоянно меняет свое имя и костюм. Он притворяется, что его заклинания могут омрачать день и рассеивать тьму, что он может двигать землю, становиться невидимым и превращать людей в зверей; но эти похвалы — всего лишь реклама. Его истинная цель — составить отчет о несчастных и проблемных браках, и следы, которые он оставляет за собой на своем пути, подобны слизи улитки, или часто подобны разрушениям, нанесенным бурей с градом. Для достижения своих целей он может

убедить людей, что шкатулка, в которой спрятан возлюбленный, полна призраков, или что он может заставить труп заговорить. Во всяком случае, это хороший знак, что поэты и романисты могут рассчитывать на народные аплодисменты, выставя этот класс людей на посмеище. Банделло не только рассматривает колдовство ломбардского монаха как жалкое и по своим последствиям ужасное мошенничество,^[1253] но он также с искренним возмущением описывает^[1254] бедствия, которые никогда не перестают преследовать легковверных глупцов. ‘Мужчина надеется с помощью “Ключа Соломона” и других магических книг найти сокровища, спрятанные в недрах земли, заставить свою даму исполнять его волю, выведать секреты принцев и в мгновение ока перенестись из Милана в Рим. Чем чаще его обманывают, тем непоколебимее он верит.... Помните ли вы то время, синьор Карло, когда один наш друг, чтобы завоевать расположение своей возлюбленной, наполнил свою комнату черепами и костями, как церковный двор? Предписывались самые отвратительные задания — вырвать у трупа три зуба или ноготь с пальца и тому подобное; и пока продолжался фокус-покус заклинания, несчастные участники иногда умирали от ужаса.

Бенвенуто Челлини не умер во время хорошо известного заклинания (1532) в Колизее в Риме,^[1255] хотя и он, и его спутники были свидетелями необычных ужасов; сицилийский священник, который, вероятно, ожидал найти в нем полезного помощника в будущем, когда они возвращались домой, сделал ему комплимент, сказав, что никогда не встречал человека столь наберитесь смелости. Каждый читатель сделает свои собственные выводы о самих слушаниях. Наркотические пары и тот факт, что воображение зрителей было предрасположено ко всем возможным ужасам, являются главными моментами, на которые следует обратить внимание, и объясняют, почему парень, который был одним из участников вечеринки и на которого они произвели наибольшее впечатление, видел гораздо больше, чем остальные. Но можно сделать вывод, что именно на Бенвенуто хотели произвести впечатление, поскольку опасное начало заклинания не могло иметь никакой другой цели, кроме как возбудить любопытство. Ибо Бенвенуто пришлось подумать, прежде чем ему пришла в голову прекрасная Анжелика; и волшебник сказал ему впоследствии, что занятия любовью - безумие по сравнению с поиском сокровищ. Далее, не следует забывать, что его тщеславию льстила возможность сказать: ‘Деймоны сдержали свое слово, и Анжелика попала в мои руки, как они и обещали, всего месяц спустя’ (глава 68). Даже если предположить, что Бенвенуто постепенно обманывал себя, заставляя поверить во всю эту историю, она все равно была бы неизменно ценной как свидетельство господствовавшего тогда образа мыслей.

Однако, как правило, итальянские художники, даже ‘странные, капризные и эксцентричные’ среди них, имели мало общего с магией. Один из них, занимаясь анатомией, возможно, вырезал себе куртку из кожи трупа, но по совету своего духовника снова положил ее в могилу.^[1256] Действительно, частое изучение анатомии, вероятно, больше, чем что-либо другое, разрушило веру в магическое влияние различных частей тела, в то время как непрерывное наблюдение и изображение человеческой формы познакомили художника с магией совершенно иного рода.

В целом, несмотря на приведенные примеры, магия, по-видимому, находилась в заметном упадке в начале шестнадцатого века, то есть в то время, когда она впервые начала бурно развиваться за пределами Италии; и, таким образом, поездки итальянских магов и астрологов на Север, по-видимому, не начинались до тех пор, пока их авторитет на родине не был основательно подорван. В четырнадцатом веке считалось необходимым тщательно следить за

озером на горе Пилатус, недалеко от Скариотто, чтобы помешать магам освящать там свои книги.[1257] В пятнадцатом веке мы находим, к примеру, что было предложено вызвать ливень, чтобы отпугнуть осажденную армию; и даже тогда командиру осажденного города — Николо Вителли из Читта—ди-Кастелло - хватило здравого смысла отмахнуться от колдунов как от безбожников.[1258] В шестнадцатом веке больше не появляется подобных официальных случаев, хотя в частной жизни маги все еще были активны. К этому времени относится классическая фигура немецкого чародейства, доктор Иоганн Фауст; итальянский идеал, с другой стороны, Гвидо Бонатто, восходит к тринадцатому веку.

Тем не менее следует добавить, что ослабление веры в магию не обязательно сопровождалось усилением веры в моральный порядок, но что во многих случаях, подобно ослаблению веры в астрологию, заблуждение не оставляло после себя ничего, кроме глупого фатализма.

Одна или две второстепенные формы этого суеверия, пиромантия, хиромантия[1259] и другие, получившие некоторое признание по мере того, как вера в колдовство и астрологию приходила в упадок, могут быть здесь пропущены, и даже псевдонаука физиогномика ни в коем случае не вызывает у нас того интереса, который могло бы вызвать у нас название. ожидать. Ибо она появилась не как сестра и союзница искусства и психологии, а как новая форма фаталистического суеверия и, как это могло быть у арабов, как соперница астрологии. Автор физиогномического трактата Бартоломео Кокле, который называл себя "метопоскопистом", [1260] и чья наука, по словам Джовио, казалась одним из самых респектабельных свободных искусств, не удовлетворился пророчествами, которые он сделал многим умным людям, которые ежедневно консультировались с ним, но написал также серьезнейший "каталог таких наук". которого ожидали большие опасности для жизни. ' Джовио, хотя и состарился в "свободной мысли Рима" — "in hac luce romana" — придерживается мнения, что в содержащихся в нем предсказаниях было слишком много правды.[1261] Из того же источника мы узнаем, как люди, о которых говорится в этих и подобных пророчествах, отомстили провидцу. Джованни Бентивольо заставил Лукаса Гаурикуса пять раз раскачаться взад-вперед у стены на веревке, свисающей с высокой винтовой лестницы, потому что Лукас предсказал ему потерю авторитета.[1262] Эрмес Бентивольо послал убийцу за Кокле, потому что незадачливый метопоскопист невольно предсказал ему, что он умрет изгнанником в битве. Убийца, по-видимому, высмеял умирающего в его последние минуты, сказав, что пророк предсказал ему, что вскоре он совершит позорное убийство. Возрождатель хиромантии, Антиоко Тиберто из Чезены,[1263] пришел к столь же плачевному концу от рук Пандольфо Малатеста из Римини, которому он предсказал худшее, что может вообразить тиран, а именно смерть в изгнании и в самой ужасной нищете. Тиберто был умным человеком, который, как предполагалось, давал свои ответы не столько в соответствии с какой-либо методической хиромантией, сколько с помощью своего проницательного знания человечества; и его высокая культура завоевала ему уважение тех ученых, которые невысокого мнения о его прорицаниях.[1264]

В заключение отметим, что алхимия, о которой в античности упоминалось лишь довольно поздно, при Диоклетиане, играла лишь очень второстепенную роль в лучший период Возрождения.[1265] Италия прошла через эту болезнь раньше, когда Петрарка в четырнадцатом веке признался в своей полемике против нее, что изготовление золота было обычной практикой.[1266] С тех пор этот особый вид веры, преданности и изоляции, которых требовала практика алхимии, становился все более и более редким в Италии, как раз когда

итальянские и другие адепты начали извлекать полную выгоду из великих лордов Севера.[1267] При Льве X. немногих итальянцев, которые занимались этим, называли "ingenia curiosa", [1268] и Аурелио Авгурелли, который посвященная Льву X, великому презирателю золота, его дидактическая поэма о создании металла, как говорят, получила взамен красивый, но пустой кошелек. Мистическая наука, которая, помимо золота, искала всемогущий философский камень, является поздним развитием севера, получившим свое развитие в теориях Парацельса и других.

ГЛАВА V.

ВСЕОБЩИЙ РАСПАД ВЕРЫ.

С этими суевериями, как и с древними образами мышления в целом, самым тесным образом связан упадок веры в бессмертие.[1269] Этот вопрос имеет широчайшее и глубочайшее отношение ко всему развитию современного духа.

Одним из главных источников сомнений в бессмертии было внутреннее желание не иметь никаких обязательств перед ненавистной Церковью. Мы видели, что Церковь клеймила тех, кто таким образом чувствовал, как эпикурейцев (с. 496 кв.). В час смерти многие, несомненно, призывали к таинствам, но множество людей на протяжении всей своей жизни, и особенно в самые энергичные годы, жили и действовали, исходя из негативного предположения. То, что неверие в этот конкретный пункт часто должно было приводить к общему скептицизму, очевидно само по себе и подтверждается многочисленными историческими доказательствами. Это люди, о которых Ариосто говорит: "Их вера не выше крыши".[1270] В Италии, и особенно во Флоренции, можно было жить открытым и отъявленным неверующим, если только человек воздерживался от прямых враждебных действий против Церкви.[1271] Духовник, например, которого послали подготовить политического преступника к смертной казни, начал с вопроса, был ли заключенный верующим, "поскольку было ложное сообщение, что он вообще не верил".[1272]

Упомянутый здесь несчастный преступник — тот самый Пьерпаоло Босколи, о котором уже упоминалось (стр. 59), — который в 1513 году принял участие в покушении на недавно восстановленную семью Медичи, является верным отражением господствовавшей тогда религиозной путаницы. Начав как сторонник Савонаролы, он впоследствии был одержим энтузиазмом по отношению к древним идеалам свободы и язычеству в целом; но когда он оказался в тюрьме, его ранние друзья восстановили контроль над его разумом и обеспечили ему то, что они считали благочестивым концом. Нежный свидетель и рассказчик его последних часов - один из артистической семьи Делии Роббиа, ученый филолог Лука. 'Ах, ' вздыхает Босколи, ' выкинь Брута из моей головы, чтобы я мог идти своим путем как христианин'. 'Если хотите, ' отвечает Лука, ' это нетрудно; ибо вы знаете, что эти деяния римлян не переданы нам такими, какими они были, а идеализированы (con arte accresciute)'. Кающийся теперь принуждает свой разум к вере и оплакивает свою неспособность верить добровольно. Если бы он мог прожить всего месяц с благочестивыми монахами, он действительно стал бы духовно мыслящим. Выясняется, что эти сторонники Савонаролы знали свою Библию очень несовершенно; Босколи может произнести только "Патерностер" и "Авемарию" и искренне умоляет Луку призвать своих друзей изучать священные писания, ибо только тем, чему человек научился при жизни, он овладеет после смерти. Затем Лука читает и объясняет ему историю

Страстей по Евангелию от святого Матфея; бедный слушатель, как ни странно, может ясно осознать Божественность Христа, но озадачен его мужественностью; он хочет ухватиться за это так же крепко, "как если бы Христос вышел ему навстречу из леса". В этой связи его друг призывает его быть смиренным, поскольку это было всего лишь сомнение, посланное ему дьяволом. Вскоре после этого кающемся приходит в голову, что он не выполнил данный в юности обет совершить паломничество в Импрунету; его друг обещает сделать это вместо него. Тем временем прибывает исповедник — монах, как и предполагалось, из монастыря Савонаролы — и, дав ему цитированное выше объяснение мнения святого Фомы Аквинского о тираноубийстве, увещевает его мужественно перенести смерть. Босколи отвечает: 'Отец, не теряй времени на это; философы уже научили меня этому; помоги мне перенести смерть из любви ко Христу'. То, что следует за этим — причащение, прощение и казнь — описано очень трогательно, один момент заслуживает особого упоминания. Когда Босколи положил голову на плаху, он умолял палача отсрочить удар на мгновение: 'Все время, прошедшее с момента оглашения приговора, он стремился к тесному единению с Богом, не достигая его так, как хотел, и теперь, в этот высший момент, он подумал, что сильным усилием сможет полностью отдать себя Богу'. Очевидно, его беспокоило какое-то наполовину понятное выражение Савонаролы.

Если бы у нас было больше исповедей такого характера, духовная картина того времени была бы богаче многими важными чертами, которых не сохранило для нас ни одно стихотворение или трактат. Мы должны были бы яснее увидеть, насколько силен врожденный религиозный инстинкт, насколько субъективно и изменчиво отношение индивида к религии и какие могущественные враги и конкуренты были у религии. Очевидно, что люди, внутреннее состояние которых таково, не являются людьми, способными основать новую церковь; но история западного духа была бы несовершенной без учета того периода брожения среди итальянцев, в то время как другие нации, не участвовавшие в эволюции мысли, можно обойти без потерь. Но мы должны вернуться к вопросу о бессмертии.

Если неверие в этом отношении достигло такого прогресса среди наиболее развитых натур, причина отчасти заключалась в том факте, что великая земная задача открытия мира и представления его в словах и формах поглощала большую часть высших духовных способностей. Мы уже говорили (стр. 490) о неизбежной мирскости эпохи Возрождения. Но это исследование и это искусство обязательно сопровождалось общим духом сомнения и пытливости. Если этот дух мало проявляется в литературе, если мы находим, например, лишь отдельные примеры зарождения библейской критики (стр. 465), то мы не должны поэтому делать вывод, что его вообще не существовало. Звучание этого было только подавлено потребностью в репрезентации и творчестве во всех отделах, то есть художественным инстинктом; и в дальнейшем, когда оно пыталось выразить себя теоретически, оно подвергалось дальнейшему сдерживанию со стороны уже существующего деспотизма Церкви. Этот дух сомнения, должно быть, по причинам, слишком очевидным, чтобы нуждаться в обсуждении, неизбежно и главным образом касался вопроса о состоянии человека после смерти.

И здесь проявилось влияние античности, которая двояко повлияла на этот аргумент. Прежде всего люди стремились овладеть психологией древних и пытались письмо Аристотеля в поисках решающего ответа. В одном из люциановых диалогов того времени^[1273] Харон рассказывает Меркурию, как он спрашивал Аристотеля о его вере в бессмертие, когда философ переправлялся в стигийской лодке; но благоразумный мудрец, хотя и умерший в теле, тем не

менее, продолжающий жить, отказался скомпрометировать себя определенным ответом — и столетия спустя, как это могло отразиться на интерпретации его слов? сочинения? Тем более горячо люди спорили о его мнении и мнениях других относительно истинной природы души, ее происхождения, ее предсуществования, ее единства во всех людях, ее абсолютной вечности, даже ее превращений; и были люди, которые рассуждали об этих вещах с кафедры.^[1274] Спор горячо продолжался даже в пятнадцатом веке; некоторые доказывали, что Аристотель учил доктрине бессмертной души;^[1275] другие жаловались на черствость человеческих сердец, которые не хотели верили, что душа вообще была, пока не увидели ее сидящей на стуле перед ними;^[1276] Филельфо в своей надгробной речи о Франческо Сфорце приводит длинный список мнений древних и даже арабских философов в пользу бессмертия и завершает эту смесь, занимающую полторы страницы печатного текста,^[1277] со словами: "Помимо всего этого у нас есть Ветхий и Новый Заветы, которые превыше всякой истины". Затем пришли флорентийские платоники с учением своего учителя о душе, иногда дополняемым, как в случае Пико, христианским учением. Но в образованном мире преобладало противоположное мнение. В начале шестнадцатого века камень преткновения, который это поставило на пути Церкви, был настолько серьезным, что Лев X. изложил Конституцию^[1278] на Латеранском соборе 1513 года в защиту бессмертия и индивидуальности души, причем последней против тех, кто утверждал, что у всех людей есть только одна душа. Несколькими годами позже появилась работа Помпонаццо, в которой утверждается невозможность философского доказательства бессмертия; и теперь спор велся непрерывно с ответами и извинениями, пока католическая реакция не заставила его замолчать. Предсуществование души в Боге, понимаемое более или менее в соответствии с теорией идей Платона, долгое время оставалось общепринятым верованием и оказалось полезным даже поэтам.^[1279] Вытекающие из этого следствия относительно способа продолжения существования души после смерти более подробно не рассматривались.

Был и второй способ, при котором влияние античности давало о себе знать, главным образом посредством того замечательного фрагмента шестой книги "Республики" Цицерона, известного под названием "Сон Сципиона". Без комментария Макробия он, вероятно, погиб бы, как и остальная часть второй части работы; теперь он был распространен в бесчисленных рукописных копиях,^[1280] а после открытия книгопечатания - в печатном виде и заново отредактирован различными комментаторами. Это описание преображенной загробной жизни великих людей, пронизанной гармонией сфер. Этот языческий рай, о котором из писаний древних постепенно извлекалось множество других свидетельств, постепенно вытеснял христианский рай по мере того, как идеал славы и исторического величия отодвигал в тень идеал христианской жизни, при этом, тем не менее, общественное чувство не было оскорблено, как это было с доктриной личного уничтожения после смерти. Даже Петрарка возлагает свои надежды главным образом на этот Сон Сципиона, на заявления, встречающиеся в других работах Цицерона, и на "Федо" Платона, не упоминая при этом Библию.^[1281] "Почему, - спрашивает он в другом месте, - я, как католик, не должен разделять надежду, которую явно лелеяли язычники?" Вскоре после этого Колуччо Салютати написал свои "Подвиги Геркулеса" (все еще существующие в рукописи), в конце которых доказывается, что доблестный человек, достойно перенесший великие труды земной жизни, по праву имеет право на обиталище среди звезд.^[1282] Если Данте все еще твердо утверждал, что великие язычники, которых он с радостью приветствовал бы в Раю, тем не менее, не должны выходить за пределы Лимба у входа в Ад,^[1283] поэзия более позднего времени радостно восприняла новые либеральные идеи

будущей жизни. Козимо Старший, согласно стихотворению Бернардо Пульчи о его смерти, был принят на небесах Цицероном, которого также называли "Отцом своей страны" Фабии, Курий, Фабриций и многие другие; вместе с ними он украсит хор, где поют только непорочные души.[1284]

Но у древних писателей была другая, менее приятная картина грядущего мира — призрачные царства Гомера и тех поэтов, которые не подсластили и не очеловечили эту концепцию. Это произвело впечатление на определенные темпераменты. Джовиано Понтано где-то приписывает Санназаро историю о видении, которое он увидел однажды рано утром, когда был в полудреме.[1285] Ему показалось, что он увидел ушедшего друга, Ферранда Януария, с которым он часто беседовал о бессмертии души, и которого он теперь спросил, правда ли, что муки Ада действительно ужасны и вечны. Тень дала ответ, подобный ответу Ахиллеса, когда Одиссей допрашивал его. 'Я так много говорю и заверяю тебя, что мы, расставшиеся с земной жизнью, испытываем сильнейшее желание вернуться к ней снова'. Затем он отсалютовал своему другу и исчез.

Нельзя не признать, что такие взгляды на состояние человека после смерти частично предполагают, а частично способствуют разрушению важнейших догм христианства. Представление о грехе и спасении, должно быть, почти полностью испарилось. Мы не должны быть введены в заблуждение действиями великих проповедников покаяния или эпидемическими пробуждениями, которые были описаны выше (часть vi. глава 2). Ибо, даже допуская, что индивидуально развитые классы участвовали в них наравне с остальными, причиной их участия была скорее потребность в эмоциональном возбуждении, возрождении страстных натур, ужас, испытываемый при виде великих национальных бедствий, крик к небесам о помощи. Пробуждение совести ни в коем случае не обязательно имело своим следствием осознание греха и ощущаемую потребность в спасении, и даже очень суровая внешняя епитимья волей-неволей не предполагала какого-либо покаяния в христианском смысле этого слова. Когда могущественные натуры эпохи Возрождения говорят нам, что их принцип - ни в чем не каяться,[1286] в их умах могут быть только нравственно безразличные вещи, ошибки неразумия или неблагоразумия; но по сути дела это презрение к покаянию должно распространяться на сферу морали, потому что его источник, а именно сознание индивидуальной силы, является общим для обеих сторон закона. человеческая природа. Пассивная и созерцательная форма христианства, с ее постоянной ссылкой на высший загробный мир, больше не могла контролировать этих людей. Макиавелли пошел еще дальше и утверждал, что это не может быть полезно государству и поддержанию общественной свободы.[1287]

Формой, которую принял сильный религиозный инстинкт, который, несмотря ни на что, сохранился во многих натурах, был теизм, или деизм, как нам будет угодно это называть. Последнее название может быть применено к тому образу мышления, который просто стер христианский элемент из религии, не ища и не находя никакой другой замены чувствам, на которые можно было бы опереться. Теизм можно рассматривать как определенную повышенную преданность единому Высшему Существо, с которой Средние века не были знакомы. Этот способ веры не исключает христианства и может либо объединяться с христианскими доктринами греха, искупления и бессмертия, либо существовать и процветать без них.

Иногда эта вера проявляется с детской наивностью и даже с наполовину языческим оттенком, когда Бог предстает как всемогущий исполнитель человеческих желаний. Аньоло Пандольфини^[1288] рассказывает нам, как после свадьбы он заперся со своей женой, преклонил колени перед семейным алтарем с изображением Мадонны и молился не ей, а Богу, чтобы он даровал им правильное использование их имущества, долгую жизнь в радости и единении друг с другом и множество мужчин мужского пола. потомки: "что касается меня, то я молился о богатстве, почестях и друзьях, о ее непорочности, честности и о том, чтобы она была хорошей хозяйкой". Когда используемый язык имеет сильный античный привкус, не всегда легко отделить языческий стиль от теистической веры.^[1289]

Этот характер иногда проявляется во времена несчастий с поразительной искренностью. Некоторые обращения к Богу остались нам от последнего периода Флоренцуолы, когда он годами лежал с лихорадкой, в ходе которой, хотя он прямо заявляет о себе как о верующем христианине, он показывает, что его религиозное сознание по сути теистично.^[1290] Его страдания не кажутся ему ни наказанием за грех, ни подготовкой к высшему миру; они являются делом только между ним и Богом, который поставил сильную любовь к жизни между человеком и его отчаянием. 'Я проклинаю, но проклинаю только Природу, поскольку твоё величие запрещает мне произносить твоё имя.... Дай мне смерть, Господи, умоляю тебя, дай её мне сейчас!'

В этих высказываниях и тому подобном было бы тщетно искать сознательный и последовательный теизм; говорившие частично считали себя все ещё христианами и по ряду других причин уважали существующие доктрины Церкви. Но во времена Реформации, когда люди были вынуждены прийти к четкому заключению по таким вопросам, этот образ мыслей был принят с более полным осознанием; ряд итальянских протестантов выступили как антитринитари и социнианцы и даже будучи изгнанниками в дальних странах предприняли памятную попытку основать церковь на этих принципах. Из предыдущего изложения будет ясно, что, помимо гуманистического рационализма, в этой области действовали и другие духи.

Одним из главных центров теистического образа мыслей была Платоновская академия во Флоренции, и особенно сам Лоренцо Магнifico. Теоретические труды и даже письма этих людей раскрывают нам лишь половину их натуры. Это правда, что Лоренцо с юности и до самой смерти догматически выражал себя как христианин,^[1291] и что влияние Савонаролы побудило Пико принять точку зрения монашеского аскета.^[1292] Но в гимнах Лоренцо,^[1293] которые мы склонны рассматривать как высшее произведение духа этой школы, безоговорочный теизм является изложенный теизм, который стремится рассматривать мир как великий моральный и физический Космос. В то время как люди Средневековья смотрят на мир как на долину слез, которую папа и император призваны охранять от пришествия Антихриста; в то время как фаталисты Возрождения колеблются между сезонами бьющей через край энергии и сезонами суеверий или глупой покорности, здесь, в этом кругу избранных духов,^[1294] утверждается доктрина, что видимое мир был сотворен Богом в любви, что он является копией образца, ранее существовавшего в Нем, и что Он всегда будет оставаться его вечным двигателем и восстановителем. Душа человека может, признавая Бога, заманить Его в свои узкие границы, но также и самой любовью к Нему расширяться до Бесконечности — и это блаженство на земле.

Отголоски средневекового мистицизма сливаются здесь в одно течение с платоновскими доктринами и с характерно современным духом. Здесь достигает зрелости один из самых

драгоценных плодов познания мира и человека, только благодаря которому итальянское возрождение должно быть названо лидером нового времени.

КОНЕЦ.

GEORGE ALLEN & UNWIN LTD.

Лондон: Музейная улица, 40, WC 1

Кейптаун: улица Святого Георгия, 73

Сидней, Нью-Йорк: 218-222 Кларенс-стрит

Веллингтон, Нью-3.: набережная Ламбтон, 110-112

СНОСКИ:

[1] *История архитектуры*, автор Франц Куглер. (Первая половина четвертого тома, содержащего "Архитектуру и убранство итальянского Возрождения", принадлежит Автору.)

[2] Macchiavelli, *Discorsi*, 1. i. c. 12. 'E la cagione, che la Italia non sia in quel medesimo termine, ne habbia anch' ella ò una repubblica ò un prencipe che la governi, è solamente la Chiesa; perchè havendovi habitato e tenuto imperio temporale non è stata sì potente ne di tal virtù, che l'habbia potuto occupare il restante d'Italia e farsene prencipe.'

[3] Правителей и их иждивенцев вместе называли "lo stato", и это название впоследствии приобрело значение коллективного существования территории.

[4] К. Винкельманн, *исполнительный директор Королевского правительства Фридриха II.*, Берлин. 1859. A. del Vecchio, *La legislazione di Federico II. imperatore*. Турин, 1874. Фридрих II. был полностью и обстоятельно обсужден Винкельманом и Ширрмахером.

[5] Бауманн, *Государственный архив Томаса фон Акино*. Лейпциг, 1873, особенно стр. 136 кв.

[6] *Cento Novelle Antiche*, изд. 1525. Для Фредерика, ноябрь. 2, 21, 22, 23, 24, 30, 53, 59, 90, 100; для Эццелино, 31 ноября и особенно 84.

[7] Скардеоний, *Де Урбис Патав. Античность. у Гревюуса*, Тезаурус, vi. iii. стр. 259.

[8] Сисмонди, *История. de Rép. Italiennes*, iv. стр. 420; viii. стр. 1 кв.

[9] Франко Саккетти, *Повесть* (61, 62).

[10] Говорят, что Данте потерял расположение этого принца, которое самозванцы умели сохранить. Смотрите важный отчет у Петрарки, *О повторном меморандуме*, lib. ii. 3, 46.

[11] Петрарка, *Старческая эпистола*, lib. xiv. 1, к Франческо ди Карраре (28 ноября 1373 г.). Письмо иногда печатается отдельно с заголовком "Оптимальная административная республика", например, Берн, 1602 год.

- [12] Только сто лет спустя о принцессе заговорили как о матери народа. Комп. Иерон. Надгробная речь Кривелли о Бьянке Марии Висконти в Муратори, *Итальянские скриптории*, xxv. кол. 429. Именно в качестве пародии на эту фразу сестра Сикста IV. называется в *Jas Volateranus* (Murat., xxiii. col. 109) 'mater ecclesiae'.
- [13] С просьбой в скобках, со ссылкой на предыдущий разговор, о том, что принц снова запретит держать свиней на улицах Падуи, поскольку их вид неприятен, особенно для незнакомцев, и может напугать лошадей.
- [14] Петрарка, *Повторный меморандум*, lib. iii. 2, 66.—Упомянутые лица - Маттео И. Висконти и Гвидо делла Торре, правившие в то время в Милане.
- [15] Маттео Виллани, против 81: тайное убийство Маттео II. (Маффиоло) Висконти от своего брата.
- [16] Филиппо Виллани, *История*, xi. 101. В том же тоне Петрарка говорит о тиранах, разодетых "как алтари на празднике". — Триумфальное шествие Кастракане в Лукке подробно описано Тегримо в его жизнеописании, в "Мурате", xi, 1340.
- [17] *De Vulgari Eloqui*, i. c. 12: ... 'qui non heroico more, sed plebeo sequuntur superbiam.'
- [18] Это мы находим впервые в пятнадцатом веке, но их представления, безусловно, основаны на верованиях более ранних времен: Л. Б. Альберти, *De re édif.*, v. 3.—Франц. di Giorgio, 'Trattato,' in Della Valle, *Lettere Sanesi*, iii. 121.
- [19] Франко Саккетти, 61 ноября.
- [20] Маттео Виллани, vi. 1.
- [21] Франко Саккетти, 117 ноября, упоминает падуанский паспортный стол примерно середины четырнадцатого века в словах 'quelli delle bullete'. В последние десять лет правления Фридриха II, когда осуществлялся строжайший контроль за личным поведением его подданных, эта система, должно быть, была очень развита.
- [22] Корио, *История Милана*, фол. 247 кв. Недавние итальянские авторы отмечали, что Висконти еще предстоит найти историка, который, соблюдая справедливую середину между преувеличенными похвалами современников (например, Петрарки) и яростными обличениями более поздних политических оппонентов (гвельфов), вынесет им окончательный приговор.
- [23] Например, о Паоло Джовио: *Иллюстрированная история боевых добродетелей*, Базель, 1575, стр. 85, "Жизнь Бернабо". Джангал. (*Vita*, стр. 86 кв.) для Джовио означает 'post Theodoricum omnium prestantissimus'. Сост. также Иовий, *Жизнеописание xii. Vicecomitum Mediolani principum*, Paris, 1549. pp. 165 sqq.
- [24] Corio, fol. 272, 285.
- [25] Каньола, в архиве. *История*, iii. стр. 23.
- [26] Итак, Корио, fol. 286, и Поджио, *История. Флоран*. iv. в Murat. xx. col 290.—Каньола (лок. цит.) рассказывает о своих замыслах на императорскую корону. Посмотрите также сонет у Трукки, *Поэзия итал. изд.*, ii. стр. 118:

“Stan le città lombarde con le chiave
In man per darle a voi ... etc.
Roma vi chiamo: Cesar mio novello
Io sono ignuda, e l’anima pur vive:
Or mi coprite col vostro mantello,” etc.

[27] Corio, fol. 301 и sqq. Комп. Ammian. Marcellin., xxix. 3.

[28] Итак, Пол. Jovius, *Elogia*, pp. 88-92, Jo. Maria Philippus.

[29] Де Гинген, *Послы Милана*, Париж и Женева, 1858, ii. стр. 200 кв. (N. 213). Сост. ii. 3 (N. 144) и ii. 212 кв. м. (N. 218).

[30] Пол. Jovius, *Elogia*, pp. 156 sqq. Carolus, Burg. dux.

[31] Это соединение силы и интеллекта называется Макиавелли *Virtù*, и оно вполне совместимо с *scelleratezza*. Например, *Discorsi*, глава 10. говоря о Сент. Севере.

[32] По этому поводу Франк. Веттори, *Арх. История*. vi. стр. 29.3 кв.: "Инвеститура человека, который живет в Германии и в котором нет ничего от римского императора, кроме пустого имени, не может превратить негодяя в настоящего лорда города".

[33] М. Виллани, iv. 38, 39, 44, 56, 74, 76, 92; v. 1, 2, 14-16, 21, 22, 36, 51, 54. Справедливо будет предположить, что неприязнь к Висконти, возможно, привела к худшим представлениям, чем подтверждали факты. Карл IV. однажды (iv. 74) Виллани высоко оценил это.

[34] Это был итальянец Фацио дельи Уберти (*Диттамондо*, л. vi. глава 5 —около 1360 г.), который рекомендовал Карлу IV. крестовый поход в Святую Землю. Этот отрывок - один из лучших в этом стихотворении и в других отношениях характерен. Наглый турок отгоняет поэта от Гроба Господня:

‘Con passi lunghi e con la testa bassa
Oltre passai e dissi: ecco vergogna
Del cristian che’l saracin qui lassa!
Poscia al Pastor (the Pope) mi volsi far rampogna
E tu ti stai, che sei vicar di Cristo,
Co’ frati tuoi a ingrassar la carogna?
Similmente dissi a quel sofisto (Charles IV.)
Che sta in Buemme (Bohemia) a piantar vigne e fichi
E che non cura di sì caro acquisto:
Che fai? Perché non segui i primi antichi
Cesari de’ Romani, e che non segui,
Dico, gli Otti, i Corradi, i Federichi?
E che pur tieni questo imperio in tregui?
E se non hai lo cuor d’esser Augusto,
Che non rifiuti? o che non ti dilegui?’ etc.

Примерно восемью годами ранее, около 1352 года, Петрарка написал (Карлу IV, *Epist. Fam.*, lib. xii. ep. 1, изд. Fracassetti, vol. ii. p. 160): ‘Simpliciter igitur et aperte ... pro maturando negotio terræ sanctæ ... oro tuo egentem auxilio quam primum invisere velis Ausoniam.’

[35] Подробнее см. Vespasiano Fiorent. ed. Mai, *Specilegium Romanum*, vol. i. p. 54. Сост. 150 и Panormita, *De Dictis et Factis Alfonsi*, lib. iv. nro. 4.

[36] *Дневник Феррарезе*, в Мурате. xxiv. кол. 217 кв.

[37] "Haveria voluto scortigare la brigata". Giov. Мария Филельфо, жившая в то время в Бергамо, написала жестокую сатиру "in vulgus equitum auro notatorum". Смотрите его биографию в Favre, *Mélanges d'Histoire littéraire*, 1856, i. стр. 10.

[38] *Исторические хроники*, в Murat. xx. col. 41.

[39] Поджии, *История. Флоран. рор.* л. vii. в Murat. col. 381. Эта точка зрения соответствовала антимоноархическим настроениям многих гуманистов того времени. Comp. the evidence given by Bezold, 'Lehre von der Volkssouverainität während des Mittelalters,' *Hist. Ztschr.* bd. 36, s. 365.

[40] Несколько лет спустя венецианец Лионардо Джустиниани обвиняет слово 'император' как неклассическое и, следовательно, неподобающее германскому императору, и называет немцев варварами из-за их незнания языка и нравов древности. Дело немцев защищал гуманист Х. Бебель. См. Л. Гейгера в *Allgem. Deutsche Biogr.* ii. 196.

[41] Сенарега, *Де реб. Подлинный*, у Мурата. xxiv. col. 575.

[42] Перечислен в *Дневнике Феррарезе*, в Мурате. xxiv. col. 203. Сост. Рис. ii. *Комментарий*. ii. стр. 102, изд. Рим, 1584 год.

[43] Марин Санудо, *Вита-де-Дучи-ди-Венеция*, в Мурате. xxii. col. 1113.

[44] Варчи, *Рассказ. Фиорент.* i. стр. 8.

[45] Сориано, *Римская церковь*, 1533 год, в Томмазо Гаре. *Релаз. della Corte di Roma*, (in Alberi, *Relaz. degli ambasc. Veneti*, ii. ser. iii.).

[46] О том, что следует дальше, см. Канестрини во Введении к тому xv. из *архива. Стор.*

[47] О нем см. Шеперд-Тонелли, *Жизнь Пугио*, Приложение. стр. viii.-xvi.

[48] Каньола, *Архив. Stor.* iii. p. 28: 'Et (Filippo Maria) da lei (Beatr.) ebbe molto tesoro e dinari, e tutte le giente d'arme del dicto Facino, che obedivano a lei.'

[49] *Inpressura*, в Eccard, *Scriptores*, II. col. 1911. Об альтернативах, которые Макиавелли ставит перед победоносным кондотьером, см. *Дискорси*, i. 30. После победы он должен либо передать армию своему нанимателю и спокойно ждать награды, либо привлечь солдат на свою сторону, занять крепости и наказать принца "за неблагодарность за то, что он использовал рабби".

[50] Сост. Барт. Facius, *De Viv. Ill.* стр. 64, который сообщает нам, что К. командовал армией в 60 000 человек. Неясно, не отравили ли венецианцы Альвиано в 1516 году, потому что он, как говорит Прато в *Арх. Stor.* iii. стр. 348, слишком рьяно помогал французам в битве при Сан-Донато. Республика объявила себя наследницей Коллеони, а после его смерти в 1475 году

официально конфисковала его имущество. Сост. Malipiero, *Annali Veneti*, in *Arch. История*. vii. i. 244. Это понравилось, когда кондотьеры вложили свои деньги в Венецию, там же, стр. 351.

[51] Каньола, в *арх. История*. iii. стр. 121 кв.

[52] Во всяком случае, в книге Павла Иовиуса "*Vita Magni Сфорца*", Рим. 1539 (посвящена кардиналу Асканио Сфорца), одной из самых привлекательных его биографий.

[53] И далее. Сильв. *Комментарий. de Dictis et Factis Alfonsi*, Opera, ed. 1538, p. 251: *Novitate gaudens Italia nihil habet stabile, nullum in eâ vetus regnum, facile hic ex servis reges videmus.*'

[54] Pii, ii. *Комментарий*. i. 46; сост. 69.

[55] Сисмонди, х. 258; Корио. fol. 412, где Сфорца обвиняется в соучастии, поскольку он опасался опасности для своего собственного сына из-за популярности П. *Storia Bresciana*, in Murat. xxi. col. 209. О том, как венецианский кондотьер Коллеони подвергся искушению в 1466 году, рассказывает Малипьеро *Annali Veneti*, *Arch. История*. vii. i. стр. 210. Флорентийские изгнанники предложили сделать его герцогом Миланским, если он изгонит из Флоренции их врага Пьеро Медичи.

[56] Аллегретти, *Диари Санеси*, в Мурате. xxiii. с. 811.

[57] *Филельфийские речи*, изд. Венеция, 1492, фол. 9, в надгробной речи по Франческо.

[58] Марин Санудо, *Vita дель Дучи ди Венеция*, в Мурате. xxii. кол. 1241. См. Ремон, *Лоренцо фон Медичи* (Lpz. 1874), ii. стр. 324-7, и цитируемые там авторитетные источники.

[59] Малипьеро, *Анн. Венет.*, *арх. История*. vii. i. стр. 407.

[60] *Хроника. Eugubinum*, in Murat. xxi. col. 972.

[61] *Веспас. Фиорент.* стр. 148.

[62] *Архив. Stor.* xvi., parte i. et ii., ed. Bonaini, Fabretti, Polidori.

[63] Юлий II с легкостью завоевал Перуджу в 1506 году и вынудил Джанпаоло Бальоне подчиниться. Последний, как говорит нам Макиавелли (*Discorsi*, i. с. 27), упустил шанс на бессмертие, не убив папу.

[64] *Varelin История. Фиорент.* i. стр. 242 кв.

[65] Сост. (среди прочих) Юпитерианин. Pontan. *De Immanitate*, cap. 17.

[66] Малипьеро, *Анна Венет.*, *Архив. История*. vii. i. стр. 498 кв. После тщетных поисков своей возлюбленной, отец которой запер ее в монастыре, он угрожал отцу, сжег монастырь и другие здания и совершил множество актов насилия.

[67] Lil. Грег. Giraldu, *De Sepulchris ac vario Sepeliendi Ritu. Опера* изд. Бас. 1580, i. стр. 640 кв. Более позднее издание Й. Фаеса, Хельмштедт, 1676 г. Посвящение и постскриптум Gir. 'ad Carolum Miltz Germanum' в этих изданиях без даты; ни одно из них не содержит отрывка, приведенного в тексте. —В 1470 году в той же семье уже произошла катастрофа в миниатюре

(по приказу Галеотто его брат Антонио Мария был брошен в тюрьму). Комп. *Diario Ferrarese*, in Murat. xxiv. col. 225.

[68] Юпитерианин. Pontan. Против. изд. Basileæ, 1538, т. i. *О либерализации*, главы 19, 29 и *Об послушании*, л. 4. Сост. Сисмонди, х. стр. 78, и Панормита, *О диктатах и фактах Альфонса*, lib. i. nro. 61, iv. nro. 42.

[69] Тристано Караччоло. 'De Fernando qui postea rex Aragonum fuit, ejusque posteris,' in Muratori XXII.; Jovian Pontanus, *De Prudentia*, l. iv.; *De Magnanimitate*, l. i.; *De Liberalitate*, cap. 29, 36; *De Immanitate*, cap. 8. Кулачок. Порцио, *Собрание баронов Неаполя против короля Фердинандо I.*, Пиза, 1818, главы 29, 36, новое издание, Неаполь, 1859, *passim*; Коминес, Карл VIII, с общими характеристиками арагонцев. Дополнительную информацию о трудах Ферранте для своего народа смотрите в "*Regis Ferdinandi primi Instructionum liber*", 1486-87, под редакцией Сципиона Випичеллы, что позволило бы нам в некоторой степени смягчить суровое суждение, вынесенное ему.

[70] Пол. Jovius. *История*. i. стр. 14. в речи миланского посла; *Дневник Феррарезе*, в Муратори, xxiv. col. 294.

[71] Он жил в самой тесной близости с евреями, например, Исааком Абранавелем, который бежал с ним в Мессину. Комп. Zunz, *Zur. Gesch. und Lit.* (Берлин, 1845) с. 529.

[72] Petri Candidi Decembrii Vita Phil. Mariae Vicecomitis, в Murat. xx., из которых, однако, Иовий (*Жизнеописание xii. Vicecomitum* стр. 186) не без основания говорит: 'Quum omissis laudibus quæ in Philippo celebrandæ fuerant, vitia, notaret'. Гуарино высоко ценит этого принца. Росмино Гуарини, ii. стр. 75. Jovius, в вышеупомянутой работе (стр. 186), и Jov. Понтанус, *De Liberalitate*, ii. главы 28 и 31, обращает особое внимание на его великодушное отношение к пленному Альфонсо.

[73] Были ли четырнадцать мраморных статуй святых в Миланской цитадели выполнены им? См. *Историю Фрундсбергов*, т. 27.

[74] Это беспокоило его: *вопрос аликвандо 'non esse' necesse esset*.

[75] Корио, fol. 400; Каньола, в архиве. *История*. iii. стр. 125.

[76] Pii II. *Комментарий*. iii. стр. 130. Сост. ii. 87. 106. Другая и довольно мрачная оценка состояния Сфорца дана Караччоло в "*Разнообразном состоянии*" в "Мурате". xxii. кол. 74. Посмотрите на противоположную точку зрения, восхваляющую удачу Сфорца в "*Родительской оратории о счастье дивной французской сферы*" Филельфо (готового восхвалять любого мастера, который ему заплатил), который воспел, не публикуя, подвиги Франческо в "Сфорциаде". Даже Декабрио, моральный и литературный оппонент Филельфо, прославляет судьбу Сфорцы в своей биографии (*Vita Franc. Сфортуае*, в "Мурате". xx.). Астрологи сказали: 'Звезда Франческо Сфорца приносит удачу человеку, но разорение его потомкам'. Arluni, *De Bello Veneto*, libri vi. in Grævius, *Thes. Древность. et Hist. Italicæ*, v. pars iii. Комп. также Барт. Facius, *De Vir. III*. стр. 67.

[77] Малипьеро, Анна Венети, Архив. *История*. vii. i. стр. 216 кв. 221-4.

[78] Важные документы, касающиеся убийства Галеаццо Марии Сфорца, опубликованы Дж. Д'Адда в *Историческом архиве Ломбардо Джорнале делла Социета Ломбарда*, том ii. (1875), стр. 284-94. 1. Латинская эпитафия убийце Лампуньяно, который погиб при покушении и которого автор представляет следующим образом: "Hic lubens quiesco, eternum inquam facinus monumentumque ducibus, principibus, regibus, qui modo sunt quique mox futura trahantur ne quid adversus justitiam faciant dicantve"; 2. Латинское письмо Доменико де Белли, который в одиннадцатилетнем возрасте присутствовал при убийстве; 3. "Плач" Галеаццо Марии, в котором, после призыва клянуть Девой Марией и рассказывая о совершенном над ним оскорблении, он призывает свою жену и детей, своих слуг и повиновавшиеся ему итальянские города оплакать его судьбу и обращается с мольбой ко всем народам земли, к девяти музам и богам древности, поднять всеобщий крик скорби.

[79] *Хронология. Venetum*, в Мюрате. xxiv. col. 65.

[80] Малипьеро, *Анна Венети, Архив. История*. vii. i. стр. 492. Сост. 482, 562.

[81] Приведены его последние слова, обращенные к тому же человеку, Бернардино да Корте, несомненно, с ораторскими украшениями, но, возможно, в основном согласующиеся с мыслями мавра из Сенареги, Мурата. xxiv. страница 567.

[82] *Дневник Феррарезе*, в Мурате. xxiv. кол. 336, 367, 369. Люди верили, что он собирает сокровище.

[83] Corio, fol. 448. Последствия такого положения вещей отчетливо видны в тех романах и предисловиях Банделло, которые относятся к Милану.

[84] Аморетти, *История Суллы, Эск. ди Лионардо да Винчи*, стр. 35 кв., стр. 83 кв. Здесь мы также можем упомянуть усилия мавра по благоустройству университета Павии.

[85] Смотрите его сонеты в "Trucchi, *Poesie inedite*".

[86] Прато, в *арке. История*. iii. 298. Сост. 302.

[87] Родился в 1466 году, обручен с Изабеллой, которой самой было шесть лет, в 1480 году, ок. 1484; м. 1490, ум. 1519. Смерть Изабеллы, 1539. Ее сыновья, Федерико (1519-1540), ставший герцогом в 1530 году, и знаменитый Ферранте Гонзага. То, что следует далее, взято из переписки Изабеллы с приложениями, *Архив. История*, приложение., том ii. передано д'Арко. См. того же автора, *"Искусство и изящные изделия Мантуи"*, Мантия, 1857-59, 2 тома. Каталог коллекции неоднократно печатался. Портрет и биография Изабеллы в Дидо, *Альд Мануке*, Париж, 1875, стр. lxi-lxviii. См. также ниже, часть ii. глава 2.

[88] Франк. Веттори, в *Своде. Рассказ. Приложение.*, том. vi. стр. 321. О Федерико см. *Веспас. Фиорент.* стр. 132 кв. и Прендилаква, *Жизнь Витторино да Фельтре*, стр. 48-52. V. пытался успокоить амбициозного юношу Федерико, тогда своего ученика, словами: 'Ты прав, цезарь Эрис'. Существует много литературной информации о нем, например, в Favre, *Mélanges d'Hist. Lit.* i. стр. 125, примечание 1.

[89] Смотрите ниже, часть iii. глава 3.

[90] Кастильоне, *Кортиджано*, Луизиана

[91] Петр. Bembus, *De Guido Ubaldo Feretrio deque Elizabetha Gonzaga Urbini ducibus*, Venetis, 1530. Также в работах Бембо, Базель, 1566, i. стр. 529-624. В форме диалога; содержит, среди прочего, письмо Фрида. Фрегос и речь Одаксиуса о жизни и смерти Гвидо.

[92] То, что следует далее, в основном взято из *Исторических хроник* Мурата. xx. и *Дневника Феррарезе* Мурата. xxiv

[93] См. Банделло, i. 32 ноября.

[94] *Diario Ferrar.* l. c. col. 347.

[95] Пол. Йов. *Vita Альфонси дучис*, изд. Флор. 1550, также итальянец Джованбаттиста Джелли, Флор. 1553.

[96] Paulus Jovius, l. c.

[97] Здесь также может быть упомянуто путешествие Льва X, когда он был кардиналом. Сост. Пол. Йов. *Vita Леонис X.* библиотека i. Его цель была менее серьезной и направлена скорее на развлечение и познание мира; но дух его совершенно современный. Ни один северянин тогда не путешествовал с такими предметами.

[98] *Дневник. Ферр.* в "Мурате". xxiv. col. 232 и 240.

[99] Юпитерианин. Pontan. *De Liberalitate*, cap. 28.

[100] Джиральди, *Гекатомити*, vi. 1 ноября (изд. 1565, fol. 223 a).

[101] Вазари, xii. 166, *Жизнь Микеланджело*.

[102] Еще в 1446 году члены Дома Гонзага последовали за трупом Витторино да Фельтре.

[103] Капитолий 19, и в *Малой опере*, изд. Лемонье, том i, стр. 425, озаглавленный "Элегия 17". Несомненно, причина этой смерти (см. выше, стр. 46) была неизвестна молодому поэту, которому тогда было 19 лет.

[104] Романы в "*Гекатомити*" Джиральди, относящиеся к Дому Эсте, можно найти, за одним исключением (8 ноября), в 6-й книге, посвященной Франческо де Эсте, маркизу делла Масса, в начале второй части всего произведения, которая посвящена Альфонсо II. 'пятый герцог Феррары. 10-я книга тоже специально посвящена ему, но ни один из романов не относится к нему лично, и только один к его предшественнику Геркулесу I.; остальные к Геркулесу I. 'второму герцогу" и Альфонсо I. 'третьему герцогу Феррары'. Но истории, рассказываемые об этих принцах, по большей части не являются любовными историями. Одна из них (i ноября. 8) рассказывает о провале попытки неаполитанского короля побудить Геркулеса Эсте лишить Борсо власти в Ферраре; другой (vi ноября. 10) описывает пылкое обращение Эрколе с заговорщиками. Два романа, повествующие об Альфонсо I. (vi. 2, 4 ноября), в последнем из которых он играет лишь второстепенную роль, также, как показывает название книги и как более полно объясняет посвящение вышеназванному Франческо, повествуют о 'атти ди кортесиа' по отношению к рыцарям и пленникам, но не по отношению к женщинам, и только две оставшиеся повести являются любовными историями. Они такого рода, какие могут быть рассказаны при жизни принца; они подчеркивают его благородство и щедрость, его добродетель и сдержанность. Только одно из них (vi. нояб. 1) относится к Геркулесу I., который

был мертв задолго до того, как были составлены романы, и только один - к Геркулесу II. then alive (b. 1508, d. 1568) son of Lucrezia Borgia, husband of Renata, of whom the poet says: 'Il giovane, che non meno ha benigno l'animo, che cortese l'aspetto, come già il vedemmo in Roma, nel tempo, ch'egli, in vece del padre, venne à Papa Hadriano.' История о нем вкратце такова: —Луцилла, прекрасная дочь бедной, но благородной вдовы, любит Никандро, но не может выйти за него замуж, так как отец влюбленной запрещает ему жениться на беспородной девушке. Геракл, который видит девушку и очарован ее красотой, находит свой путь, при попустительстве ее матери, в ее спальню, но настолько тронут ее умоляющим обращением, что уважает ее невинность и, дав ей приданое, позволяет ей выйти замуж за Никандро.

В Банделло, ii. 8 и 9 ноября, относятся к Алессандро Медичи, 26 - к Марии Арагонской, iii. 26, iv. 13 - к Галеаццо Сфорца, iii. 36, 37 - к Генриху VIII. из Англии, ii. 27 германскому императору Максимилиану. Император, 'чья природная доброта и более чем императорское великодушие восхваляются всеми писателями', преследуя оленя, отделяется от своих последователей, сбивается с пути и, наконец, выйдя из леса, спрашивает дорогу у соотечественника. Последний, занятый перевозкой древесины, умоляет императора, которого он не знает, помочь ему, и получает добровольную помощь. Все еще находясь на работе, Максимилиан возвращается, и, несмотря на его знаки противоположного, его последователи почтительно приветствуют его, и таким образом крестьянин узнает его, который умоляет простить за свободу, которую он невольно лишил. Император поднимает коленопреклоненного просителя, вручает ему подарки, назначает его своим слугой и дарует ему выдающиеся привилегии. The narrator concludes: 'Dimostrò Cesare nello smontar da cavallo e con allegra ciera aiutar il bisognoso contadino, una indicibile e degna d'ogni lode humanità, e in sollevarlo con danari e privilegi dalla sua faticosa vita, aperse il suo veramente animo Cesareo' (ii. 415). История в "*Гекатомифи*" (viii. ноября. 5) также повествует о Максимилиане. Это та же самая сказка, которая приобрела всемирную известность благодаря "*Мере за меру*" Шекспира (о ее распространении см. "*Вендунмут*" Кирхгофа, изд. Эстерли, bd. v. s. 152 кв.м), и сцена действия которого перенесена Джиральди в Инсбрук. Максимилиан - герой, и здесь ему тоже воздаются самые высокие почести. After being first called 'Massimiliano il Grande,' he is designated as one 'che fu raro esempio di cortesia, di magnanimità, e di singolare giustizia.'

[105] В "*Восхитительном поэме*". *Italarum* (1608), ii. pp. 455 sqq.: ad Alfonsum ducem Calabriæ. (И все же я не верю, что вышеприведенное замечание справедливо применимо к этому стихотворению, которое ясно выражает радости, испытываемые Альфонсо с Друзулой, и описывает ощущения счастливого влюбленного, который в своем восторге думает, что сами боги, должно быть, завидуют ему. — Л.Г.).

[106] Упоминается еще в 1367 году, в *Полисторе*, в Мурате. xxiv. col. 848, в связи с Никколо Старшим, который произвел двенадцать человек в рыцари в честь двенадцати апостолов.

[107] Буригоццо, в архиве. *История*. iii. стр. 432.

[108] *Дискорси*, i. 17, о Милане после смерти Филиппо Висконти.

[109] *Удалить. et Vanitate Scientiar.* cap. 55.

[110] Прато, Архив. *История*. iii. стр. 241.

[111] *De Casibus Virorum Illustrium*.

[112] *Discorsi*, iii. 6; сост. *Storie Fiorent.* l. viii. Описание заговоров было излюбленной темой итальянских писателей с очень давних времен. Луитпранд (из Кремоны, *пн. Germ.*, ss. iii. 264-363) приводит нам несколько примеров, которые более обстоятельны, чем у любого другого современного писателя десятого века; в одиннадцатом рассказывается об освобождении Мессины от сарацин, совершенном привлечением норманна Рожера (*Baluz. Miscell.* i. стр. 184), дает повод к характерному повествованию такого рода (1060); вряд ли нам нужно говорить о драматической окраске, приданной рассказам о Сицилийской вечерне (1282). Та же тенденция хорошо известна у греческих писателей.

[113] Corio, fol. 333. Что касается дальнейшего, там же. fol. 305, 422 кв. 440.

[114] Итак, в цитатах из Галла, в Сисмонди, xi. 93. Для всей темы см. Ремон, *Лоренцо деу Медичи*, стр. 387-97, особенно 396.

[115] Corio, fol. 422. Allegretto, *Diari Sanesi*, in Murat. xxiii. col. 777. См. выше, стр. 41.

[116] Энтузиазм, с которым флорентиец Аламанно Ринуччини (р. 1419) говорит в своем "*Рикорди*" (под ред. Г. Аяцци, Флоренция, 1840) об убийцах и их деяниях, весьма примечателен. Современную, хотя и не итальянскую, апологию тираноубийства см. в книге Кервина де Леттенхоува "*Жан без страха и оправдания тираноубийцы*" в "*Бюллетене Академии Брюсселя*", xi. (1861), стр. 558-71. Столетие спустя общественное мнение в Италии полностью изменилось. Смотрите осуждение поступка Лампуньяни в Egnatius, *De Exemplis Ill. Vir.*, Ven. fol. 99 b; сост. также 318 b.

Петр. Кринитус также ("*О честной дисциплине*", Париж, 1510, стр. 134 b) пишет стихотворение "*О добродетельном Джо*". Андр. Лампониани *тиранницида*, в которой подвиг Лампуньяни высоко оценен, а сам он представлен как достойный соратник Брута.

Сост. также латинское стихотворение: *Бонини Момбритский поэт Медиол. trenodiæ in funere illustrissimi D. Gal. Мару Спс* (2 книги — Милан, 1504), под редакцией Аскалона Валлиса (*так в оригинале*), который в своем посвящении юристу Я. Бальзамус восхваляет поэта и называет другие стихотворения, столь же достойные быть напечатанными. В этом произведении, в котором Мегера и Марс, Каллиопа и поэт выступают в качестве собеседников, убийца — не Лампуньяно, а человек из скромной семьи ремесленников — сурово обвиняется, и с ним и его товарищами-заговорщиками обращаются как с обычными преступниками; они обвиняются в государственной измене из-за предполагаемого союза с Карлом Бургундским. Перечислено не менее десяти прогнозов смерти герцога Галеаццо. Ярко описаны убийство принца и наказание убийцы; завершение состоит из благочестивых утешений, адресованных овдовевшей принцессе, и религиозных размышлений.

[117] 'Con studiare el Catalinario', - говорит Аллегретто. Сост. (в Corio) предложение, подобное следующему, в изложении Ольджати: 'Вопрос о том, кто является волхвом общества, потиссима и бесконечности, независимо от того, кто виноват, заражен, изменил или изменил благосклонность к лицу с богом'. Aliquid aliquibus parum donare: simul magis noctu edere, bibere, vigilare, nostra omnia bona polliceri,' etc.

[118] Вазари, iii. 251, примечание к *В. ди Донателло*.

[119] Сейчас его перевезли в недавно построенное здание.

[120] *Инферно*, xxxiv. 64.

[121] Передано слушателем, Лукой делла Роббиа, *Архив. История*. i. 273. Сост. Павел. Jovius, *Vita Leonis X*. iii. в " *Иллюстрациях Вури* ".

[122] Впервые напечатано в 1723 году в качестве приложения к "Истории Варчи", затем в "Роско, *Жизнь Лоренцо де Медичи*", том iv. приложение. 12, и часто помимо этого. Комп. Reumont, *Gesch. Toscana's seit dem Ende des Florent. Freistaates*, Gotha, 1876, i. p. 67, note. Смотрите также отчет в *Письме о принципах* (изд. Venez. 1577), iii. fol. 162 sqq.

[123] О последнем пункте см. Jac. Nardi, *Vita di Ant. Giacomini*, Lucca (1818), p. 18.

[124] 'Genethliacum Venetæ urbis' в *Кармине* Ant. Sabellicus. The 25th of March was chosen 'essendo il cielo in singular disposizione, si come da gli astronomi è stato calcolato più volte.' Комп. Sansovino, *Venezia città nobilissima e singolare, descritta in 14 libri*, Venezia, 1581, fol. 203. For the whole chapter see *Johannis Baptistæ Egnatii viri doctissimi de exemplis Illustrum Virorum Venetæ civitatis atque aliarum gentium*, Paris, 1554. Старейший венецианский хронист, Дж. Diaconi, *Chron. Venetum* в Перце, *Monum. S.S.* vii. стр. 5, 6, относит заселение островов ко времени лангобардов, а основание Риальто - позже.

[125] "Венецианский городской аппарат панагирикum кармен с надписью оракула".

[126] Весь квартал был изменен при реконструкциях шестнадцатого века.

[127] Гимн Бенедикту . VIII. в Eccard, *Scriptores*, II. col. 1597, 1601, 1621. В *Хронике. Venetum*, Murat. xxiv. col. 26, перечисляются политические добродетели венецианцев: "бонта, инноченца, зело ди карита, пьета, мизерикордия".

[128] Многие дворяне стригли волосы. См. *Коллоквиум Эрасми*, изд. Tiguri, a. 1553: miles et carthusianus.

[129] *Эпистола*, lib. v. fol. 28.

[130] Малипьеро, *Анна Венети*, *Архив. История*. vii. i. стр. 377, 431, 481, 493, 530; ii. стр. 661, 668, 679. *Хроника. Venetum*, in Muratori, xxiv. col. 57. *Diario Ferrarese*, ib. col. 240. См. также *Диспаччи Антонио Джустиниани* (Флор. 1876), i. стр. 392.

[131] Малипьеро, в *архиве. История*. vii. ii. стр. 691. Сост. 694, 713 и i. 535.

[132] Марин Санудо, *Вите дей Дучи*, Мурат. xxii. col. 1194.

[133] *Хроника. Venetum*, Murat. xxiv. глава 105.

[134] *Хроника. Venetum*, Murat. xxiv. кол. 123 кв.м. и Малипьеро, l. c. vii. i. стр. 175, 187 кв. расскажите о знаменательном падении адмирала Антонио Гримани, который, когда его обвинили в отказе передать главнокомандование другому, сам надел на ноги кандалы перед своим прибытием в Венецию и предстал в таком состоянии перед Сенатом. О нем и его будущей судьбе см. Эгнатий, fol. 183a кв., 198 b кв.

[135] *Хронология. Ven.* l. c. col. 166.

[136] Малипьеро, l. c. vii. i. 349. Другие списки того же рода см. Марин Санудо, *Вите дей Дучи*, Мурат. xxii. кол. 990 (1426 год), кол. 1088 (1440 год), в Корио, фол. 435-438 (1483), в *истории* Гуаццо, фол. 151 кв.

[137] Гвиччардини (*Ricordi*, № 150) одним из первых заметил, что страсть к мести может заглушить самый ясный голос личных интересов.

[138] Malipiero, l. c. vii. i., стр. 328.

[139] Статистический обзор Милана в 'Цветочном манипуле' (в Мурате. xi. 711 кв.м) за 1288 год важен, хотя и не обширен. Сюда входят входные двери домов, численность населения, мужчины призывного возраста, 'лоджии' знати, колодцы, пекарни, винные лавки, мясные лавки, торговцы рыбой, потребление зерна, собак, охотничьих птиц, цены на соль, древесину, сено и вина; также судьи, нотариусы, врачи, школьные учителя, переписчики, оружейники, кузнецы, больницы, монастыри, пожертвования и религиозные корпорации. Список, возможно, еще более древний, находится в "*Liber de magnalibus Mediolani*", в *Хайнре. де Эрвордуа*, изд. Поттаст, стр. 165. Смотрите также статистический отчет Асти о 1250 году в Огериусе Альфериусе (Alfieri), *De Gestis Astensium, Histor. namp. Monumenta, Scriptorum*, tom. iii. col. 684. sqq.

[140] Особенно Марин Санудо, в *Церкви Святого Духа Венеции*, Мурат. xxii. *passim*.

[141] Обратите внимание на заметную разницу между Венецией и Флоренцией, важную брошюру, адресованную в 1472 году Лоренцо Медичи некоторыми венецианцами, и ответ на нее Бенедетто Деи, в Paganini, *Della Decima*, Флоренция, 1763, iii. стр. 135 кв.

[142] В Sanudo, l. c. col. 958. То, что относится к торговле, добывается в Шерере, *Альгем. Gesch. des Welthandels*, i. 326, note.

[143] Здесь имеются в виду все дома, а не только те, которые принадлежат государству. Последнее, однако, иногда приносило огромную арендную плату. См. Вазари, xiii. 83. V. d. Яс. Сансовино.

[144] См. Sanudo, col. 963. Там же приведен список доходов других итальянских и европейских держав. Приведена оценка за 1490 год, кол. 1245 кв.

[145] У Павла II эта неприязнь, по-видимому, переросла в настоящую ненависть. который назвал гуманистов всех до единого еретиками. Платина, *Вита Паули*, ii. стр. 323. Смотрите также, чтобы узнать о предмете в целом, Фойгт, *Wiederbelebung des classischen Alterthums*, Берлин, 1859, стр. 207-213. Пренебрежение к наукам приводится Лил в качестве причины цветущего состояния Венеции. Грег. Гиральдус, *Опера*, ii. стр. 439.

[146] Sanudo, l. c. col. 1167.

[147] Сансовина, *Венеция*, либерия. xiii. Он содержит биографии дождей в хронологическом порядке и, следуя за этими жизнеописаниями одно за другим (регулярно начиная с 1312 года, под заголовком *Scrittori Veneti*), краткие заметки современных авторов.

[148] Венеция была тогда одним из главных мест пребывания петрархистов. See G. Crespan, *Del Petrarchismo*, in *Petrarca e Venezia*, 1874, pp. 187-253.

[149] См. Heinric. de Hervordia ad a. 1293, p. 213, ed. Поттаст, который говорит: 'Венецианцы хотели заполучить тело Якоба из Форли у жителей того места, поскольку оно сотворило много чудес. Они многое пообещали взамен, среди прочего взять на себя все расходы по канонизации усопшего, но так и не получили их просьбы'.

[150] Sanudo, l. c. col. 1158, 1171, 1177. Когда тело святого Луки было привезено из Боснии, возник спор с бенедиктинцами церкви Святой Джустины в Падуе, которые утверждали, что оно уже принадлежит им, и папе пришлось выбирать между двумя сторонами. Комп. Guicciardini, *Ricordi*, n. 401.

[151] Сансовино, *Венеция*, библиотека xii. 'dell'andate pubbliche del principe.' Egnatius, fol. 50a. Об ужасе, вызванном папским интердиктом, см. Эгнатий, fol. 12 a sqq.

[152] Г. Виллани, viii. 36. 1300 год также является фиксированной датой в "*Божественной комедии*".

[153] В *Веспасе* говорится о 1470 году. *Фиорент.* стр. 554.

[154] Следующий в предыдущих изданиях отрывок, относящийся к *Хронике Дино Компаньи*, здесь опущен, поскольку подлинность *Хроники* была опровергнута Полом Шеффер-Бойхорстом (Флорентийский студиец, Лейпциг, 1874, стр. 45-210), и опровержение сохранено ("*Хроника Д.К.*", Лейпциг, 1875) против выдающегося авторитета (К. Гегель, "*Хроника Д.К.*", *Versuch einer Rettung*, Лейпциг, 1875). Точка зрения Схеффера в целом принята в Германии (см. W. Bernhardt, *Der Stand der Dino-Frage, Hist. Zeitschr. N.F.*, 1877, bd. i.), и даже Гегель предполагает, что текст в том виде, в каком мы его имеем, является более поздней обработкой незаконченного произведения Дино. Даже в Италии, хотя большинство ученых пожелали проигнорировать этот критический выпад, как они поступали с другими более ранними публикациями того же рода, раздались голоса в пользу признания фальшивости документа. (См., в частности, П. Фанфани в его периодическом издании "*Il Borghini*" и в книге "*Дино Кампаньи Вендикато*", Милан, 1875). О ранних флорентийских историях в целом см. Хартвиг, *Форшунген*, Марбург, 1876, и К. Гегель в "*Историческом времени*" Х. фон Сибеля, b. xxxv. С тех пор Исидор дель Лунго, который с поразительной решимостью утверждает подлинность книги, завершил свое великое издание "Дино" и снабдил его подробным введением: "*Дино Кампаньи и суа кронака*", 2 тома. Флоренция, 1879-80. Недавно была найдена рукопись "Истории", датируемая началом пятнадцатого века и, следовательно, более ранняя, чем все известные до сих пор ссылки и издания. Вследствие открытия этой рукописи и исследований, проведенных К. Гегелем, и особенно доказательств того, что стиль работы не отличается от стиля четырнадцатого века, преобладающий взгляд на предмет, по существу, таков, что *Хроника* содержит важное ядро, которое является подлинным, которое, однако, возможно, даже в четырнадцатом веке было переработано на основе плана *Хроники* Виллани. Комп. Gaspary, *Geschichte der italienischen Literatur*. Берлин, 1885, i. стр. 361-9, 531 кв.

[155] *Чистилище*, vi. в конце.

[156] *О монархии*, i. 1. (Новое критическое издание Витте, Галле, 1863, 71; Немецкий перевод О. Хубача, Берлин, 1872).

[157] *Эпистола Дантиса Аллигерии*, записка К. Витте, Падуя, 1827. Он хотел, чтобы папа, а также император всегда оставались в Италии. См. Его письмо, стр. 35, во время конклава в Карпантресе, 1314 год. О первом письме см. *Жизнеописание*, глава 31, и *Послание*. стр. 9.

[158] Giov. Виллани, xi. 20. Сост. Матф. Виллани, ix. 93, который говорит, что Иоанн XXII. "хитрый в тутте сью козе и массиме в путешествии данайо" оставил после себя 18 миллионов флоринов наличными и 6 миллионов драгоценностей.

[159] Смотрите этот и подобные факты на Giov. Виллани, xi. 87, xii. 54. Он потерял свои собственные деньги в результате краха и был заключен в тюрьму за долги. See also Kervyn de Lettenhove, *L'Europe au Siècle de Philippe le Bel, Les Argentiers Florentins* in *Bulletin de l'Académie de Bruxelles* (1861), vol. xii. pp. 123 sqq.

[160] Giov. Виллани, xi. 92, 93. In Macchiavelli, *Stor. Fiorent.* lib. ii. cap. 42, мы читаем, что в 1348 году от чумы умерло 96 000 человек.

[161] Священник отложил по черной фасоли для каждого мальчика и по белой для каждой девочки. Это было единственное средство регистрации.

[162] Во Флоренции уже была постоянная пожарная команда.

[163] Маттео Виллани, iii. 106.

[164] Маттео Виллани, i. 2-7, сост. 58. Лучшим источником информации о самой чуме является знаменитое описание Боккаччо в начале "*Декамерона*".

[165] Giov. Виллани, x. 164.

[166] *Ex Annalibus Ceretani*, в Фаброни, *Magni Cormi Vita*, отсутствует. 34. том ii. с. 63.

[167] *Рикорди* из Лоренцо, в Фаброни. *Лаур. Мед. Magnifici Vita*, Adnot. 2 и 25. Павел. Jovius, *Elogia*, pp. 131 sqq. Cosmus.

[168] Приведена Бенедетто Деи в цитированном выше отрывке (стр. 70, примечание 1). Следует помнить, что сообщение должно было послужить предупреждением нападавшим. Подробнее об этом см. в Reumont, далее. *dei Medici*, ii. p. 419. Финансовый проект некоего Людовико Гетти с важными фактами приведен в книге Роско, *Жизнеописание Лор. Мед.* ii. Добавить, i.

[169] Например, в *своде. История.* iv.(?) Посмотрите для контраста на очень простую бухгалтерскую книгу Ott. Нуланд, 1455-1462 (Штутгарт, 1843), а для более позднего периода - ежедневник Лукаса Рема, 1494-1541, под ред. Б. Грейфа, август 1861.

[170] Библиотека, *История математических наук*, ii. 163 кв.

[171] Варчи, *История. Фиорент.* iii. стр. 56 и кв. до конца 9-й книги. Некоторые явно ошибочные цифры, вероятно, являются не более чем канцелярскими или типографскими оплошностями.

[172] В отношении цен и богатства в Италии я могу, за неимением дальнейших средств расследования, свести воедино лишь некоторые разрозненные факты, которые я собирал то тут, то там. Очевидные преувеличения должны быть отброшены. Золотые монеты, на которые стоит обратить внимание, - это дукат, пайетки, "фиорино д'оро" и "скудо д'оро". Стоимость всего этого почти одинакова, от 11 до 12 франков на наши деньги.

В Венеции, например, дож Андреа Вендрамин (1476) с 170 000 дукатов считался чрезвычайно богатым человеком (Malipiero, l. c. vii. ii. стр. 666. Конфискованное состояние Коллеони составило 216 000 флоринов, 244 аккредитива.

Около 1460 года патриарха Аквилеи Людовико Патавино, обладавшего 200 000 дукатов, называли 'возможно, самым богатым из всех итальянцев'. (Вздых. Вероней *Vuma Паули II.*, в Murat. iii. ii. col. 1027.) В другом месте сказочные заявления.

Антонио Гримани заплатил 30 000 дукатов за избрание своего сына кардиналом. Только его наличные деньги составили 100 000 дукатов. (*Хронология. Venetum*, Murat. xxiv. кол. 125.)

Сведения о зерне в торговле и на рынке Венеции см., в частности, в Malipiero, l. c. vii. ii. стр. 709 кв. Дата 1498 года.

В 1522 году это уже не Венеция, а Генуя, следующая за Римом, которая считается самым богатым городом Италии (заслуживает доверия только авторитет Франческо. Веттори. Смотрите его историю в архиве. *История*. Приложение. том. vi. стр. 343). Bandello, *parte ii. новелло* 34 и 42 называет самого богатого генуэзского купца своего времени Ансальдо Гримальди.

Между 1400 и 1580 франками. Сансовино предполагает обесценение на 50%. в стоимости денег. (*Venezia*, fol. 151 bis.)

В Ломбардии считается, что соотношение между ценами на хлеб примерно в середине XV века и в середине нынешнего столетия составляет 3 к 8. (Sacco di Piacenza, in *Archiv. История*. Добавить. том. против Примечания редактора Скарабелли.)

Во времена герцога Борсо в Ферраре были люди с 50 000-60 000 дукатов (*Diario Ferrarese*, Murat. xxiv. col. 207, 214, 218; экстравагантное заявление, col. 187). Во Флоренции данные являются исключительными и не дают оснований для вывода о средних значениях. К такого рода займам относятся займы иностранным принцам, в которых фигурируют только названия одного или двух домов, но которые на самом деле были работой крупных компаний. То же самое относится и к огромным штрафам, взимаемым с побежденных сторон; мы читаем, например, что с 1430 по 1453 год семьдесят семь семей заплатили 4875 000 золотых флоринов (Варки, iii, стр. 115 кв. м), и что один Джанноццо Маннетти, о котором у нас будет возможность поговорить позже, был вынужден заплатить сумму в 135 000 золотых флоринов и из-за этого был доведен до нищенства (Ремон, i. 157).

Состояние Джованни Медичи на момент его смерти (1428) составляло 179 221 золотой флорин, но только последний из двух его сыновей Козимо и Лоренцо оставил после своей смерти (1440) целых 235 137 (Fabroni, *Laur. Med.* Adnot. 2). Сын Козимо Пьеро оставил (1469) 237 982 скуди (Ремон, *Лоренцо де Медичи*, i. 286).

Доказательством общей активности торговли является то, что сорок четыре ювелира на Понте Веккьо платили в четырнадцатом веке правительству арендную плату в размере 800 флоринов (Вазари, ii. 114, *Жизнеописание Таддео Гадди*). Дневник Буонаккорсо Питти (в "Делеклюзе", "Флоренция и превратности судьбы", том ii.) полон цифр, которые, однако, лишь в общих чертах доказывают высокую цену товаров и низкую ценность денег.

Для Рима доходы Курии, поступавшие со всей Европы, не дают нам никакого критерия; также не заслуживают доверия заявления о папских сокровищах и судьбах кардиналов. Известный

банкир Агостино Киджи оставил (1520 г.) состояние всего в 800 000 дукатов (*Письмо Питториче*, i. Приложение. 48).

Во время высоких цен 1505 года стоимость *старо ферраррезе дель грано*, которая обычно весила от 68 до 70 фунтов (немецких), выросла до 1½ дукатов. *Семола* или *ремоло* продавалась в магазине "*Венти сольди ло старо*"; в последующие плодотворные годы "*старо*" продавалось по шесть *сольди*. Бонавентура Пистофило, стр. 494. В Ферраре годовая арендная плата за дом в 1455 году составляла 25 *лур*; сост. *Atti e memorie*, Parma, vi. 250; see 265 sqq. за документальный отчет о ценах, которые были выплачены артистам и помощникам.

Из описи Медичи (выдержки из Мунца, *Précurseurs*, 158 кв.м.) выясняется, что драгоценности были оценены в 12 205 дукатов; кольца - в 1792; жемчуг (очевидно, отличающийся от других драгоценных камней, S.G.C.M.) - в 3512; медальоны, камеи и мозаики - в 2579; вазы - в 4850; реликварии и тому подобное - в 3600; библиотека - в 2700; серебро - в 7000. Giov. Ручеллаи считает, что в 1473 году (?) он заплатил 60 000 золотых флоринов налогов, 10 000 - на приданое своих пяти дочерей, 2000 - на благоустройство церкви Санта-Мария-Новелла. В 1474 году он потерял 20 000 золотых флоринов из-за интриг врага. (*Autografo dallo Tibaldone di G.R.*, Florence, 1872). Брак Барнардо Ручеллаи с Нанниной, сестрой Лоренцо Медичи, стоил 3686 флоринов (Мюнц, *Краткий обзор*, 244, i).

[173] Что касается Козимо (1433-1465) и его внука Лоренцо Магнifico (ум. 1492), автор воздерживается от какой-либо критики их внутренней политики. Возвышение обоих, особенно Лоренцо, Уильяма Роско (*Жизнь Лоренцо Медичи, называемая Великолепной*, 1-е изд. Ливерпуль, 1795; 10-е изд. Лондон, 1851), по-видимому, были основной причиной реакции чувств против них. Эта реакция впервые появилась у Сисмонди (*Hist. des Rép. Italiennes*, xi.), в ответ на критику которого, иногда неоправданно суровую, Роско снова выступил вперед (*Исторические и критические иллюстрации к "Жизни доктора медицинских наук"*, Лондон, 1822); позже в "Джино Каппони" (*Архив. Стор. Итал. i.* (1842), стр. 315 кв.м), который впоследствии (*История представителей Флоренции*, 2 тома. Флоренция, 1875) привел дальнейшие доказательства и объяснения своего суждения. См. также работу Фон Роймона (*Доктор медицинских наук и магн.*), 2 тома. Лейпциг, 1874 г., отличается не меньше судебным спокойствием своих взглядов, чем мастерством, которое он демонстрирует при использовании обширных материалов. См. также А. Кастельман: "*Медичи*", 2 тома. Париж, 1879. Тема здесь затронута лишь вскользь. Сост. двух работ Б. Бусера (Лейпциг, 1879), посвященных внутренней и внешней политике Медичи. (1) *Die Beziehungen der Medicus zu Frankreich*. 1434-1494, &c. (2) *Lorenzo de' Medici als italienischen Staatsman*, &c., 2nd ed., 1883.

[174] Франк. Бурламакки, отец главы протестантов Луккезе Микеле Б. См. *арку. Стор. Итал. ser. i. tom. x.*, стр. 435-599; Documenti, стр. 146 кв. м.; далее Карло Минутולי, *История отца Б.*, Лукка, 1844, и важные дополнения Леоне дель Прете в *Giornale Storico degli Archiv. Toscani*, iv. (1860), стр. 309 кв. Хорошо известно, как Милан своим жестоким обращением с соседними городами с одиннадцатого по тринадцатый век подготовил почву для основания великого деспотического государства. Даже во время исчезновения Висконти в 1447 году Милан сорвал освобождение Верхней Италии, главным образом из-за того, что не принял план конфедерации равноправных городов. Сост. Corio, fol. 358 sqq.

[175] В третье воскресенье Адвента 1494 года Савонарола следующим образом проповедовал о методе введения новой конституции: каждая из шестнадцати компаний города должна была

разработать план, Гонфалоньери выбрать четырех лучших из них, а Синьория назвать лучших из всех в сокращенном списке. Дела, однако, приняли иной оборот, действительно под влиянием самого проповедника. См. П. Виллари, *Савонарола*. Помимо этой проповеди, С. написал замечательную *трактату о режиме Ференце* (переиздано в Лукке, 1817).

[176] Последнее произошло впервые в 1527 году, после изгнания Медичи. См. Varchi, i. 121 и с.

[177] Маккьявелли, *История Фиор*. л. iii. загл. 1: "Un Savio dator di leggi" может спасти Флоренцию.

[178] Варчи, *Рассказ. Фиор*. i. стр. 210.

[179] 'Discorso sopra il riformar lo Stato di Firenze,' in the *Opere Minori*, p. 207.

[180] Та же точка зрения, несомненно заимствованная отсюда, встречается у Монтескье.

[181], относящаяся к более позднему периоду (1532?). Сравните ужасающее по своей откровенности мнение Гвиччардини о состоянии и неизбежной организации партии Медичи. *Lettere di Principi*, iii. fol. 124, (ediz. Venez. 1577).

[182] И далее. Сильвий, *Апология Мартинума Майера*, стр. 701. С той же целью Макиавелли, *Discorsi*, i. 55, и в других местах.

[183] Насколько странным образом современная полукультура повлияла на политическую жизнь, показывает партийная борьба 1535 года. Della Valle, *Lettere Sanesi*, iii. p. 317. Ряд мелких лавочников, воодушевленных изучением трудов Ливия и *Discorsi* Макиавелли, со всей серьезностью призывают народных трибунов и других римских должностных лиц выступить против дурного правления знати и официальных классов.

[184] Пьеро Валериано, *Выдающийся литератор*. Кстати, о Бартоломмео делла Ровере. (Работа П. В., написанная в 1527 году, цитируется по изданию Менкена, *Analecta de Calamitate Literatorum*, Лейпциг, 1707.) Подразумеваемый здесь отрывок может быть только тем, что находится на стр. 384, из которого мы не можем сделать вывод о том, что говорится в тексте, но в котором мы читаем, что Б. д. Р. хотел заставить своего сына отказаться от пристрастия к учебе, которое он задумал, и посвятить его бизнесу.

[185] Сенарега, *Де реб. Подлинный*, у Мюрата. xxiv. col. 548. О ненадежности того времени см., особенно, статьи 519, 525, 528 и другие. Об откровенных высказываниях посланника по случаю сдачи государства Франческо Сфорца (1464), когда посланник сказал ему, что Генуя сдалась в надежде теперь жить безопасно и безбедно, см. Cagnola, *Archiv. История*. iii. стр. 165 кв. м. Фигуры архиепископа, дожа, корсара и (позже) кардинала Паоло Фрегозо составляют заметный контраст с общей картиной состояния Италии.

[186] Итак, варичи, в гораздо более позднее время. *История. Fiorent.* i. 57.

[187] Галеаццо Мария Сфорца, действительно, заявил венецианскому агенту обратное (1467 г.), а именно, что венецианские подданные предложили присоединиться к нему в войне с Венецией; но это всего лишь пародия. Комп. Malipiero, *Annali Veneti*, *Archiv. История*. vii. i. стр. 216 кв. м. При каждом удобном случае города и деревни добровольно сдавались Венеции, в основном, правда, те, которые вырвались из рук какого-нибудь деспота, в то время как

Флоренции приходилось силой оружия подавлять соседние республики, привыкшие к независимости, как отмечает Гвиччардини (*Ricordi*, п. 29).

[188] Наиболее убедительно, пожалуй, в наставлении послам, направлявшимся к Карлу VII. в 1452 году. (См. Fabroni, *Cosmus*, Дополнение. 107, fol. ii. pp. 200 кв.) Флорентийским посланникам было поручено напомнить королю о веках дружественных отношений, существовавших между Францией и их родным городом, и напомнить ему, что Карл Великий освободил Флоренцию и Италию от варваров (лангобардов), и что Карл I и Римская церковь были "фондатори делла парте Гвельфа". Il qual fundamento fa cagione della ruina della contraria parte e introdusse lo stato di felicità, in che noi siamo.' Когда молодой Лоренцо посетил герцога Анжуйского, который тогда находился во Флоренции, он надел французское платье. Фаброни, ii. стр. 9.

[189] Коминес, *Карл VIII*. глава x. Французы считались 'святыми-комми'. Сост. глава 17; *Хрон. Венетум*, у Мурата. xxiv. кол. 5, 10, 14, 15; Матараццо, *Хрон. di Perugia, Arch. Stor.* xvi. ii. стр. 23, не говоря уже о бесчисленных других доказательствах. Смотрите, в частности, документы в Desjardins, op. cit. стр. 127, примечание 1.

[190] *Pii II. Комментарий*, x. стр. 492.

[191] Джинджини, *Послы Милана, и др.* i. стр. 26, 153, 279, 283, 285, 327, 331, 345, 359; ii. стр. 29, 37, 101, 217, 306. Карл однажды заговорил о том, чтобы отдать Милан молодому герцогу Орлеанскому.

[192] Niccolò Valori, *Vita di Lorenzo*, Flor. 1568. Итальянский перевод латинского оригинала, впервые напечатанный в 1749 году (позже в Galletti, *Phil. Villani, Liber de Civit. Флор. famosis Civibus*, Флоренция, 1847, стр. 161-183; отрывок здесь отсылает к стр. 171). Однако не следует забывать, что эта самая ранняя биография, написанная вскоре после смерти Лоренцо, представляет собой скорее лестный, чем достоверный портрет, и что слова, приписываемые здесь Лоренцо, не упомянуты французским репортером и, по сути, вряд ли были произнесены. Комин, которому Людовик XI поручил отправиться в Рим и Флоренцию. говорит (*Воспоминания*, л. vi. глава. 5): 'Я не мог предложить ему армию, и со мной не было ничего, кроме моей свиты'. (Сост. Ремон, *Лоренцо*, i. стр. 197, 429; ii. 598). В письме из Флоренции Людовику XI. we read (Aug. 23, 1478: 'Omnis spes nostra reposita est in favoribus suæ majestatis.' A. Desjardins, *Négociations Diplomatiques de la France avec la Toscane* (Paris, 1859), i. p. 173. Точно так же сам Лоренцо в книге "Кервин де Леттенхоув", *"Письма и переговоры Филиппа де Комина"*, i. стр. 190. Мы видим, что Лоренцо на самом деле тот, кто смиренно просит о помощи, а не гордо отвергает ее.

Доктор Гейгер в своем приложении утверждает, что мнение доктора Берчхардта относительно национальной итальянской политики Лоренцо не подтверждается доказательствами. Переводчик не может участвовать в этом обсуждении. Понадобились бы веские доказательства, чтобы убедить его в том, что виртуозное историческое восприятие доктора Бурхардта было ошибочным в отношении предмета, который он изучал с особой тщательностью. В эпоху, когда дипломатическая ложь и политическое предательство были обычным делом, документальные свидетельства в значительной степени теряют свой вес и не могут восприниматься без оговорок как отражающие реальные чувства заинтересованных лиц, которые оговаривались, изворачивались и лгали сначала с одной, а затем с другой стороны с ловкостью, удивительной для тех, кто привык жить среди людей, говорящих правду (S.G.C.M.)

Авторитетными источниками, цитируемыми доктором Гейгером, являются: Ремон, *Лоренцо*, 2-е изд., i. 310; ii. 450. Desjardins: *Négociations Diplomatiques de la France avec la Toscane* (Paris, 1859), i. 173. Kervyn de Lettenhove, *Lettres et Négociations de Philippe de Comines*, i. 180.

[193] Фаброни, *Лаврентий Великолепный*, примеч. 205 кв.м. В одном из его кратких отчетов было сказано буквально: 'Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo'; но остается надеяться, что он не имел в виду турок. (Виллари, *История Савонаролы*, ii. стр. 48 "Документа".)

[194] Например, Юпитерианин. Pontan. в своем *Хароне*. In the dialogue between Æcus, Minos, and Mercurius (*Op. ed. Bas. ii. p. 1167*) the first says: 'Vel quod haud multis post sæculis futurum auguror, ut Italia, cujus intestina te odia male habent Minos, in unius redacta ditionem resumat imperii majestatem.' And in reply to Mercury's warning against the Turks, Æcus answers: 'Quamquam timenda hæc sunt, tamen si vetera respicimus, non ab Asia aut Græcia, verum a Gallis Germanisque timendum Italiæ semper fuit.'

[195] Коминес, *Карл VIII.*, глава. 7. О том, как Альфонсо однажды попытался во время войны схватить своих противников на конференции, рассказывает Нантипорто в Murat. iii. ii. col. 1073. Он был подлинным предшественником Цезаря Борджиа.

[196] *Pii II. Commentarii*, x. стр. 492. См. Письмо Малатесты, в котором он рекомендует Мухаммеду II. художник-портретист Маттео Пассо из Вероны объявляет об отправке книги о военном искусстве, вероятно, в 1463 году, в Балуз. *Ошибка*. iii. 113. То, что Галеаццо Мария Миланский сказал в 1467 году венецианскому посланнику, а именно, что он и его союзники присоединятся к туркам, чтобы разрушить Венецию, было сказано просто в виде угрозы. Комп. Malipiero, *Ann. Veneti, Archiv. История*. vii. i. стр. 222. О Боккалино читайте на стр. 36.

[197] Порцио, *Конгиура деи Барони*, л. и. п. 5. То, что Лоренцо, как намекает Порцио, действительно приложил к этому руку, не заслуживает доверия. С другой стороны, кажется совершенно очевидным, что Венеция подтолкнула султана к этому поступку. См. Romanin, *История документов Венеции*, библиотека xi. сар. 3. После взятия Отранто Веспасиано Бистиччи произнес свое "Плач по Италии", *Архив. История. Итал.* iv. стр. 452 кв.

[198] *Хроника. Venet.* в "Мурате". xxiv. кол. 14 и 76.

[199] Малипьеро, л. с. 565, 568.

[200] Тритем. *Анналы Херсога*, 1490 г. н.э., том ii. стр. 535 кв.

[201] Малипьеро, л. с. 161; сост. стр. 152. За сдачу Джема Карлу VIII. см. стр. 145, из которой ясно, что между Александром и Баязетом существовала связь самого постыдного рода, даже если документы Буркардуса поддельны. See on the subject Ranke, *Zur Kritik neuerer Geschichtschreiber*, 2 Auflage, Leipzig, 1874, p. 99, and Gregorovius, bd. vii. 353, note 1. Там же. стр. 353, примечание 2, заявление папы о том, что он не был в союзе с турками.

[202] Варт. Мантуанус, *О временной катастрофе*, в конце второй книги "Песни nereиды Дорис турецкому флоту".

[203] Томмазо Гар, *Релаз. della Corte di Roma*, i. p. 55.

[204] Ranke, *Geschichte der romanischen und germanischen Völker*. Мнение Мишле (*Reforme*, стр. 467) о том, что турки переняли бы западную цивилизацию в Италии, меня не удовлетворяет. Возможно, впервые на эту миссию Испании намекает речь, произнесенная Федрой Ингирами в 1510 году перед Юлием II на праздновании взятия Бугии флотом Фердинанда Католика. См. *Anecdota Litteraria*, ii. стр. 419.

[205] Среди прочих Corio, fol. 333. Jov. Понтанус в своем трактате "*О либералитате*", глава 28, рассматривает добровольное увольнение Альфонсо как доказательство "либералитаса" Филиппо Марии. (См. Выше, стр. 38, примечание 1.) Сравните линию поведения, принятую в отношении Сфорца, стр. 329.

[206] Сетевой адаптер. Валори, *Жизнь ди Лоренцо*; Павел Джовиус, *Вита Леонис X*. л. и. Последнее, безусловно, основано на хорошем авторитете, хотя и не без риторических прикрас. Сост. Reumont, i. 487, и цитируемый там отрывок.

[207] Если Коминес в этом и многих других случаях наблюдает и судит так же объективно, как любой итальянец, его общение с итальянцами, особенно с Анджело Катто, должно быть принято во внимание.

[208] Сост., например, Малипьеро, стр. 216, 221, 236, 237, 468, & с., и выше, стр. 88, примечание 2, и 93, примечание 1. Комп. Egnatius, fol. 321 а. Папа проклинает посла; венецианский посланник оскорбляет папу; другой, чтобы расположить к себе слушателей, рассказывает басню.

[209] В Виллари, *История Савонаролы*, том ii. стр. xliii. из 'Documenti', среди которых можно найти другие важные политические письма. Другие документы, особенно конца пятнадцатого века в Балузиусе, *Сборник*, изд. Манси, том i. Смотрите, в частности, собранные депеши флорентийских и венецианских послов конца пятнадцатого и начала шестнадцатого веков в книге Дежардена "*Дипломатические переговоры Франции по Тоскане*". тома i. ii. Париж. 1859, 1861.

[210] В последнее время эта тема была более подробно рассмотрена Максом Янсом, "*Кругсунст альс Кунст*", Лейпциг, 1874.

[211] *Pii II. Комментарий*. iv. стр. 190, 1459 г. н.э.

[212] Кремонцы гордились своим мастерством в этой области. См. *Cronaca di Cremona* в *Итальянской исторической библиотеке*, т. i. Милан, 1876, стр. 214, и примечание. Венецианцы сделали то же самое, Эгнатий, около 300 кв.

[213] По этому поводу Павел Иовиус (*Elogia*, стр. 184), который добавляет: 'Больше не нужно инвекто екстернарум генциум круэнто, Италия воинствует над сангвинариями и множеством людей, видящих правду'. Это напоминает нам о Фредерике Урбинском, которому было бы 'стыдно' терпеть печатную книгу в своей библиотеке. См. "*Веспас*". *Fiorent*.

[214] *Porcellii Commentaria Jac. Пучинини*, в Мюрате. xx. Продолжение войны 1453 года, там же. xxv. Пол Кортезиус (*De Hominibus Doctis*, стр. 33, Флоренция, 1734) сурово критикует книгу из-за убогих гексаметров.

[215] Порчелло по ошибке называет Сципиона Эмилианом, имея в виду Большого Африканца.

[216] Симонетта, *Hist. Fr. Sfortiaæ*, в Murat. xxi. col. 630.

[217] Так его считали. Комп. Bandello, parte i. nov. 40.

[218] Сост., например, *Трехгранный обсидиан*, в т. 2, из *перераб. Курсив. Scriptores excodd. Флоран.* col. 690. Дуэль маршала Бусико с Галеаццо Гонзагой (1406) в Каньоле, *арх. История.* iii. стр. 25. Инфессура рассказывает нам о почестях, оказанных Сикстом IV. дуэлянтам из числа его гвардии. Его преемники издали буллы против дуэлей.

[219] Здесь мы можем отметить в скобках (см. Jähns, стр. 26, кв.) менее благоприятную сторону тактики кондотьеров. Бой часто был просто притворным, в котором враг был вынужден отступить с помощью безобидных маневров. Целью сражающихся было избежать кровопролития, в худшем случае взять в плен с целью получения выкупа. Согласно Макиавелли, флорентийцы потеряли в великой битве 1440 года всего одного человека.

[220] Подробнее см. *Свод. История. Дополнить.* том. v.

[221] Здесь раз и навсегда мы отсылаем наших читателей к "*Папам*" Ранке, том i, и к Сугенхайму, "*Описанию сущности и управления Кирхенштадтом*". Использовались также еще более поздние работы Грегоровиуса и Ремона, и когда они предлагают новые факты или взгляды, их цитируют. See also *Geschichte der römischen Papstthums*, W. Wattenbach, Berlin, 1876.

[222] О впечатлении, произведенном благословением Евгения IV во Флоренции, см. *Веспасиано Фиорент*, стр. 18. Смотрите также отрывок, цитируемый в Reumont, *Lorenzo*, i. 171. О впечатляющих офисах Николая V. см. Infessura (Eccard, ii. col. 1883 кв.м) и J. Manetti, *Жизнь Николая V.* (Murat. iii. ii. col. 923). О почитании Пия II см. в *Дневнике Феррарезе* (Murat. xxiv. col. 205), и *Pii II. Комментарий, passim*, особенно iv. 201, 204 и xi. 562. О Флоренции см. "*Дела эрудиции*", хх. 368. Даже профессиональные убийцы уважают личность папы римского.

Любящий помпезность Павел II относился к великим церковным должностям как к делам большой важности. (Платина, л. с. 321) и Сикстом IV, который, несмотря на подагру, проводил пасхальную мессу в сидячем положении. (*Иак. Diarium*, Murat. xxiii. col. 131.) Любопытно заметить, как люди проводили различие между магической силой благословения и недостойнством человека, который его дал; когда он не смог дать благословение в День Вознесения 1481 года, население роптало и проклиняло его. (*Там же.*, стр. 133.)

[223] Макиавелли, *Скритти Минори*, стр. 142, в известном эссе о катастрофе Синигальи. Это правда, что французские и испанские солдаты были все же более усердными, чем итальянцы. Сост. в Paul. Jov. *Vita Leonis X.* (л. ii.) сцена перед битвой при Равенне, в которой легат, плача от радости, был окружен испанскими войсками и умолял об отпущении грехов. Смотрите далее (*там же.*) заявления, касающиеся французов в Милане.

[224] В случае с еретиками из Поли, в Кампанье, которые придерживались доктрины о том, что подлинный папа должен показывать бедность Христа как признак своего призвания, мы имеем просто разновидность вальденсовской доктрины. Их заключение при Павле II. описано в Infessura (Eccard, ii. col. 1893), Platina, стр. 317 и др.

[225] В качестве иллюстрации этого чувства смотрите стихотворение, адресованное папе римскому, цитируемое в Грегоровиусе, vii. 136.

[226] *Диалог заклинателя Стефани де Поркариса*, написанный его современником Петрусом Годесом де Виченца, цитируется и используется Грегоровиусом, viii. 130. Л. Б. Альберти, *De Porcaria Conjurazione*, в Murat. xxv. col. 309. Поркари желал 'омнем понтификов турбам фундитус экстингуэре'. Автор приходит к выводу: 'Видео в здравом уме, оно сходит с ума по-итальянски; разумно и разумно, причина его возмущения - это омния поведения"... Он называет их "Внешними импульсорами" и придерживается мнения, что Поркари найдет преемников в своих злодеяниях. Мечты Поркари определенно имели некоторое сходство с мечтами Кола Риенци. Он также относил к себе стихотворение "Spirto Gentil", адресованное Петраркой Риенци.

[227] 'У папы тантума викария Христа сидят и не эти Цезари.... "Папа, наставление и правда святого отца, отец всемогущий, отец церковный' и т. Д. Работа Валлы была написана несколько раньше и была направлена против Евгения IV. Посмотри на Валена, *Лор. Валла* (Берлин, 1870), стр. 25 кв., особенно 32. Николая V., с другой стороны, хвалит Валла, Грегоровиус, vii. 136.

[228] *Pii II. Комментарий*. iv. стр. 208 кв. Фойгт, *ВДНХ Сильвио*, iii. стр. 151 кв.

[229] Платина, *Вита Паули II*.

[230] Баттиста Мантовано, *О временной катастрофе*, л. iii. Араб продает благовония, тирский пурпур, индийскую слоновую кость: 'Venalia nobis templa, sacerdotes, altaria sacra, coronae, ignes, thura, preces, caelum est venale Deusque'. *Опера*, изд. Париж, 1507, фол. 302 б. Затем следует обращение к папе Сиксту, предыдущие усилия которого высоко оцениваются, с призывом положить конец этому злу.

[231] См., например, *Анналы Плацентарных*, в Murat. xx. col. 943.

[232] Корио, *История Милана*, fol. 416-420. Пьетро уже помогал при избрании Сикста. Смотрите Infessura в Essard, *Scriptores*, ii. col. 1895. Любопытно, что в 1469 году было предсказано, что избавление придет из Савоны (дом Сикста, избранного в 1471 году) в течение трех лет. Смотрите письмо и дату в Балуге. *Ошибка*. iii. стр. 181. Согласно Макиавелли, *История Фиорента*. л. vii. Венецианцы отравили кардинала. Конечно, у них были для этого небезосновательные мотивы.

[233] Гонорий II. пожелал после смерти Вильгельма I (1127) аннексировать Апулию, поскольку феоф вернулся к Святому Петру.

[234] Фаброни, *Лаврентий Маг*. Adnot. 130. An informer, Vespucci, sends word of both, 'Hanno in ogni elezione a mettere a sacco questa corte, e sono i maggior ribaldi del mondo.'

[235] Corio, fol. 450. Подробности, частично взятые из неопубликованных документов, об этих актах взяточничества в деле Грегоровиуса, vii. 310 кв.

[236] Наиболее характерное увещательное письмо Лоренцо ин Фаброни, *Лаврентий Магн*. Примечание. 217, и выдержки из Ranke, *Popes*, i. стр. 45, и в Reumont, *Lorenzo*, ii. стр. 482 кв.

[237] И, возможно, о некоторых неаполитанских доказательствах, ради которых Иннокентий вновь призвал анжуйцев против непоколебимого Ферранте. Поведение папы в этом деле и его участие во втором заговоре баронов были в равной степени глупыми и нечестными. О его методе ведения переговоров с иностранными державами см. Выше, стр. 127, примечание 2.

[238] Сост., в частности, Infessura, в Eccard. *Scriptores*, ii. *passim*.

[239] Согласно *Диспаччи Антонио Джустиниани*, i. стр. 60 и iii. стр. 309, Себастьян Пинзон был уроженцем Кремоны.

[240] Недавно Грегоровиусом, *Лукреция Борджиа*, 2 Bände 3 Aufl., Штутгарт, 1875.

[241] За исключением Бентивольо в Болонье и Дома Эсте в Ферраре. Последний был вынужден завязать семейные отношения, и Лукреция вышла замуж за принца Альфонсо.

[242] Согласно Корио (fol. 479), у Карла были мысли о Соборе, о низложении папы и даже о том, чтобы увезти его во Францию, это после его возвращения из Неаполя. Согласно Бенедикту, *Карлу VIII*. (в Eccard, *Scriptores*, II. col. 1584), Карл, находясь в Неаполе, когда папа и кардиналы отказались признать его новую корону, несомненно, подумывал об "итальянской империи в отношении статуса понтификиса", но вскоре после этого решил удовлетвориться личным унижением Александра. Папа, тем не менее, сбежал от него. Подробности в Pilorgerie, *Campagne et Bulletins de la Grande Armée d'Italie*, 1494, 1495 (Париж, 1866, 8 об.), где обсуждается степень опасности, грозившей Александру в разные моменты (стр. 111, 117 и др.). В напечатанном там письме архиепископа Сен-Мало королеве Анне прямо указано: 'Господин рой Юстин, я являюсь покровителем посланников кардиналов, Ильз Юссент свершил это от имени папы и намеревался преобразовать церковь, но не был разочарован. Le roy désire bien la reformacion, mais il ne veult point entreprendre de sa deposicion.'

[243] Corio, fol. 450. Malipiero, *Ann. Veneti, Arch. История*. vii. i. стр. 318. Алчность всей семьи можно увидеть у Малипьеро, среди других авторитетных источников, л. с. 565. Некий "нипоте" был великолепно принят в Венеции в качестве папского легата и заработал огромную сумму денег, продавая разрешения; его слуги, уходя, крали все, что попадалось им под руку, включая кусок вышитой ткани с главного алтаря церкви в Мурано.

[244] Это только у Панвинио среди современных историков (Продолжение). Platinæ, p. 339), 'insidiis Cæsaris fratris interfectus ... connivente ... ad scelus patre' и с той же целью Иовий, *Elog. Vir. Ill.* стр. 302. Глубокое волнение Александра выглядит как признак соучастия. После того, как труп был извлечен из Тибра, Санназаро написал (*Opera Omnia Latine Scripta* 1535, fol. 41 a):

'Piscatorem hominum ne te non, Sixte, putemus
Piscaris natum retibus, ecce, tuum.'

Помимо процитированной эпиграммы, есть и другие (fol. 36 b, 42 b, 47 b, 51 a, b — в последнем отрывке 5) в Санназаро на Александра, то есть против него. Среди них есть знаменитый, упомянутый в Грегоровиусе i. 314, о Лукреции Борджиа:

Ergo te semper cupiet Lucretia Sextus?
O fatum diri nominis: hic pater est?

Другие проклинают его жестокость и празднуют его смерть как начало эры мира. На Юбилей (см. Ниже, стр. 108, примечание 1) есть еще одна эпиграмма, фол. 43б. Есть и другие, не менее суровые (fol. 34 b, 35 a, b, 42 b, 43 a), направленные против Сезара Борджиа, среди которых мы находим одну из самых сильных:

Aut nihil aut Cæsar vult dici Borgia; quidni?
Cum simul et Cæsar possit, et esse nihil.

(использовано Банделло, iv. 11 ноября). Об убийстве герцога Гандийского см., в частности, замечательную подборку самых оригинальных свидетельств из источников в книге Грегоровиуса, vii. 399-407, согласно которой вина Цезаря очевидна, но представляется весьма сомнительным, знал ли Александр или одобрял планируемое убийство.

[245] Макиавелли, *Опера*, изд. Милан, том v. стр. 387, 393, 395, в *Легазионе аль Дука Валентино*.

[246] Томмазо Гар, *Родственник делла Корте ди Рома*, i. p. 12, в *отношении П. Капелло*. Буквально: 'Папа питает больше уважения к Венеции, чем к любой другой державе в мире'. 'E però desidera, che ella (Signoria di Venezia) protegga il figliuolo, e dice voler fare tale ordine, che il papato o sia suo, ovvero della signoria nostra.' Слово 'сuo' может относиться только к цезарю. Пример неопределенности, вызванной этим употреблением, можно найти во все еще оживленном споре относительно слов, использованных Вазари в *Жизни Рафаэлла*: "A Bindo Altoviti fece il ritratto suo и т. Д."

[247] *Поэты Строщи*, стр. 19, в 'Венацио' Эрколе Строщи: '... cui triplicem fata invidere coronam'. И в Элегии на смерть Цезаря, стр. 31 кв.: "Speraretque olim solii decora alta paterni".

[248] Там же. Юпитер когда -то обещал

'Affore Alexandri sobolem, quæ poneret olim
Italix leges, atque aurea sæcla referret,' etc.

[249] Там же.

'Sacrumque decus majora parantem deposuisse.'

[250] Как хорошо известно, он был женат на французской принцессе из семьи Альбре и имел от нее дочь; так или иначе, он попытался бы основать династию. Не известно, что он предпринял шаги, чтобы вернуть кардинальскую шапку, хотя (согласно Макиавелли, л. с. 285) он, должно быть, рассчитывал на скорую смерть своего отца.

[251] Макьявелли, Л. к., стр. 334. Планы относительно Сиены, а в конечном итоге и всей Тосканы, безусловно, существовали, но еще не созрели; согласие Франции было необходимо.

[252] Макиавелли, л. с., стр. 326, 351, 414; Матараццо, *Кронака-ди-Перуджа*, арх. *История*. xvi. ii. стр. 157 и 221. Он пожелал, чтобы его солдаты размещались там, где им заблагорассудится, чтобы они больше выигрывали в мирное время, чем на войне. Петрус Алциониус, *De Exilio* (1522), изд. Менкен, стр. 19, говорит о стиле ведения войны: 'Ea scelera et flagitia a nostris militibus patrata sunt quæ ne Scythæ quidem aut Turcæ, aut PœNi in Italia commissent'. Тот же автор (стр. 65) обвиняет Александра как испанца: "Hispani generis hominem, cujus proprium est, rationibus et commodis Hispanorum consultum velle, non Italorum". См. Выше, стр. 109.

[253] На этот счет Пьеро Валериано, *О неполноценной литературе*. изд. Менкен, стр. 282, говоря о Джованни Реджио: "Тайно проскриптор альбо позитус".

[254] Томмазо Гар, l. c. p. 11. С 22 мая 1502 г. и далее *Депеши Джустиниани*, 3 тома. Флоренция, 1876, под редакцией Паскуале Виллари, содержит ценную информацию.

[255] Павел Юпитер, *Элогия*, Цезарь Борджиа. В *Городских комментариях* Ральфа. Волатриан, lib. xxii. существует описание Александра VI, составленное при Юлии II и до сих пор написанное очень осторожно. Мы здесь читаем: "Roma ... nobilis jam carneficina facta erat".

[256] *Дневник Феррарезе*, в Муратори, xxiv. col. 362.

[257] Пол. Jovius, *Histor.* ii. fol. 47.

[258] Смотрите отрывки в Ranke, *Röm. Päpste*; Sämmtl. Werke, Bd. xxxvii. 35 и xxxix. Anh. Abschn. 1, Nro. 4, и Грегоровиус, vii. 497, кв. Джустиниани не верит в то, что папа был отравлен. См. его *Диспаччи*, том ii. стр. 107 кв. м.; Примечание Виллари, стр. 120 кв. м., и Приложение. стр. 458 кв. м.

[259] Панвиний, *Воплощение Понтификума*, стр. 359. О попытке отравления преемника Александра, Юлия II, см. стр. 363. Согласно Сисмонди, xiii, с. 246, именно таким образом Лопес, кардинал Капуи, в течение многих лет являвшийся соучастником всех тайн папы, пришел к своему концу; согласно Сануто (в Ranke, *Popes*, i. стр. 52, примечание), кардинал Вероны также. Когда кардинал Орсини умер, папа получил свидетельство о естественной смерти от коллегии врачей.

[260] Прато, *арх. История*. iii. с. 254; сост. Attilio Alessio, in Baluz. *Miscell.*, iv. стр. 518 кв.

[261] И перешел к самому прибыльному аккаунту Папы Римского. Сост. *Хроника. Венет*, в Мурате. xxiv. col. 133, given only as a report: 'E si giudiceva, che il Pontefice dovesse cavare assai danari di questo Giubileo, che gli tornerà molto a proposito.

[262] Аншельм, *Berner Chronik*, iii. стр. 146-156. Тритем. *Annales Hirsaug.* том ii. стр. 579, 584, 586.

[263] Панвин. *Продолжение. Platinae*, стр. 341.

[264] Отсюда великолепие гробниц прелатов, возведенных при их жизни. Таким образом, часть награбленного была спасена из рук пап.

[265] Действительно ли Юлий надеялся, что Фердинанда Католика побудят восстановить на неаполитанском престоле изгнанную арагонскую династию, остается, несмотря на заявление Джовио (*Vita Alfonsi Ducis*), весьма сомнительным.

[266] Оба стихотворения в Роско, *Леоне X*. изд. Босси, iv. 257 и 297. Of his death the *Cronaca di Cremona* says: 'quale fu grande danno per la Italia, perchè era homo che non voleva tramontani in Italia, ed haveva cazato Francesi, e l'animo era de cazar le altri.' *Библия. История. Итал.* (1876) i. 217. Это правда, что когда Юлий в августе 1511 года несколько часов пролежал в обмороке и его сочли мертвым, наиболее беспокойные члены благороднейших семейств — Помпео Колонна и Антимо Савелли — отважились призвать 'народ' к Капитолию и призвать его сбросить папское иго — "вендикарси в либерте" ... a publica ribellione', как рассказывает Гвиччардини в своей десятой книге. Смотрите также, Павел Иов. в *Колонной жизни Помпеи*, и Грегоровиус, viii. 71-75.

[267] *Septimo decretal.* 1-3.

[268] Франк. Веттори, в *Арке. Stor.* vi. 297.

[269] Помимо которой сказано (Пол. Lang. *Chronicon Cilicense*), чтобы добыть не менее 500 000 золотых флоринов; один только орден францисканцев, генерал которого был произведен в кардиналы, заплатил 30 000. Информацию о различных выплаченных суммах см. в Sanuto, xxiv. fol. 227; обо всем этом см. в Gregorovius, viii. 214 кв.

[270] Франк. Веттори, l.c., стр. 301. *Свод. История.* Приложение. i. стр. 293 кв. Роско, *Леоне X.* изд. Босси, vi. стр. 232 кв. Томмазо Гар, л. к., стр. 42.

[271] Ариосто, Сб. vi. v. 106. "Тутти моррете, изд-во "Роковое блюдо муохи Леоне". Сб. 3 и 7 высмеивают прихлебателей при дворе Лео.

[272] Один из нескольких примеров таких комбинаций приведен в *Письме принципов*, i. 65, в депеше кардинала Библиены из Парижа от 1518 года.

[273] Франк. Веттори, л.с. 333.

[274] Во время Латеранского собора в 1512 году Пико написал обращение: *J. E. P. Oratio ad Leonem X. et Concilium Lateranense de Reformandis Ecclesiae Moribus* (изд. Хагенау, 1512, часто печатается в изданиях его работ). Обращение было посвящено Пиркхаймеру и было снова отправлено ему в 1517 году. Сост. *Vur. Докт. Epist. ad Pirck.*, изд. Фрейтаг, Лейпциг. 1838, стр. 8. Пико опасается, что при Льве зло может определенно восторжествовать над добром, "и в войне с враждебной религией перед аудиясом джери по парижу".

[275] *Письмо Принципов*, i. (Рим. 17 марта 1523 г.): "Этот город стоит на острие иглы, и дай Бог, чтобы нас вскоре не загнали в Авиньон или на край океана. Я предвижу скорое падение этой духовной монархии.... Если Бог не поможет нам, мы пропали." Был ли Адриан действительно отравлен или нет, нельзя с уверенностью узнать от Бласа Ортиса, *Итинера. Hadriani* (Baluz. *Miscell.* ред. Манси, i. стр. 386 кв.); хуже всего было то, что все в это поверили.

[276] Негро, л.с. 24 октября (должно быть сентября) и 9 ноября 1526 г., 11 апреля 1527 г. Это правда, что у него нашлись поклонники и льстецы. Диалог Петра Алциона 'Изгнание' был написан в его похвалу незадолго до того, как он стал папой.

[277] Варчи, *Рассказ. Fiorent.* i. 43, 46 sqq.

[278] Павел Иоанн, *Вита Помпа. Columnae.*

[279] Ранке, *Немецкая торговля* (4 Aufl.) ii. 262 кв.

[280] Варчи, *Рассказ. Fiorent.* ii. 43 sqq.

[281] Там же. и Ранке, *Deutsche Gesch.* ii. 278, примечание, и iii. 6 кв. Считалось, что Карл перенесет свое правительственное кресло в Рим.

[282] Смотрите его письмо Папе Римскому, датированное Карпантрасом, 1 сентября 1527 г., в *Anecdota litt.* iv. стр. 335.

[283] *Письмо Принципов*, i. 72. Кастильоне Папе Римскому, Бургос, 10 декабря 1527г.

[284] Томмазо Гар, *Релаз. della Corte di Roma*, i. 299.

[285] Фарнезе преуспел в чем-то подобном, Караффа были разорены.

[286] Петрарка, *Эпист. Fam.* i. 3. стр. 574, когда он благодарит Бога за то, что родился итальянцем. И снова в "*Апологии против анонимной галльской клеветы*" от 1367 года (*Opp.* изд. Bas. 1581), стр. 1068 кв. См. Л. Гейгер, *Петрарка*, 129-145.

[287] Особенно те, что содержатся в томе i. Шардиуса, *Scriptores rerum Germanicarum*, Базель, 1574. Для более раннего периода - Феликс Фабер, *История севовов*, libri duo (в Голдасте, *сценарий. перев. Свев.* 1605); для более позднего - Иренник, *Немецкая экзегеза*, Хагенау, 1518. О последней работе и патриотических историях того времени читайте в различных исследованиях А. Горавица, *Hist. Zeitschrift*, bd. xxxiii. 118, anm. 1.

[288] Один пример из многих: *Ответы венецианского дожа флорентийскому агенту относительно Пизы*, 1496 год, Малипьеро, *Анн. Венеция. Свод. История.* vii. i. стр. 427.

[289] Обратите внимание на выражения "uomo singolare" и "uomo unico" для высших стадий индивидуального развития.

[290] К 1390 году во Флоренции уже не было преобладающей мужской моды на одежду, каждый предпочитал одеваться по-своему. Смотрите *Канцону* Франко Саккетти "Contro alle nuove foggie" в "*Инее*", опублик. dal Poggiali, p. 52.

[291] В конце шестнадцатого века Монтень проводит следующую параллель (*Эссе*, л. iii. chap. 5, vol. iii. p. 367 of the Paris ed. 1816): 'Ils (les Italiens) ont plus communement des belles femmes et moins de laides que nous; mais des rares et excellentes beautés j'estime que nous allons à pair. Et j'en juge autant des esprits; de ceux de la commune façon, ils en ont beaucoup plus et evidemment; la brutalité y est sans comparaison plus rare; d'ames singulières et du plus hault estage, nous ne leur en devons rien.'

[292] А также их жен, как это видно в семье Сфорца и среди других североитальянских правителей. Сост. в работе Якобуса Фила. "*Бергоменсис*", "*О множестве избранных сокровищ*", Феррара, 1497 г., "*Жизни Баттисты Малатесты, Паолы Гонзага, Боны Ломбарды, Рикарды Эсте и главных женщин дома Сфорца, Беатриче и других*". Среди них более чем один подлинный бой-баба, а в ряде случаев природные дополнены Великой гуманистической культуры. (См. ниже, гл. 3 и Ч. В.)

[293] Франко Саккетти в своем "*Капитоло*" (*Иней*, опублик. дал Поджиали, стр. 56), перечисляет около 1390 имен более ста выдающихся людей из правящих партий, погибших в его память. Сколько бы посредственностей среди них ни было, этот список все равно примечателен как свидетельство пробуждения индивидуальности. О "*Вите*" Филиппо Виллани читайте ниже.

[294] *Траттато-дель-Гуверно-делла-Фамилья* является частью произведения: "*Кура-делла-Фамилья*" (*Опера Волг. инспектор Леон Батм. Alberti*, publ. да Анисио Бонуччи, Флор. 1844, том ii.). Смотрите там тома i. стр. xxx.-xl., том ii. стр. xxxv. кв. и т. v., стр. 1-127. Ранее эта работа обычно, как и в тексте, приписывалась Аньоло Пандольфини (ум. 1446; см. о нем *Вечеря*).

Fiorent., стр. 291 и 379); недавние исследования о Палермо (Флоренция, 1871) показали, что автором является Альберти. Работа цитируется по изд. Torino, Pomba, 1828.

[295] Траттато, стр. 65 кв.

[296] Jov. Понтанус, *De Fortitudine*, l. ii. cap. 4, "De tolerando Exilio", Семьдесят лет спустя, Карданус (*De Vitâ Propriâ*, cap. 32) could ask bitterly: 'Quid est patria nisi consensus tyrannorum minutorum ad opprimendos imbelles timidos et qui plerumque sunt innoxii?'

[297] *De Vulgari Eloquentia* 17. Духовное единство культурных людей, глава. 18. О тоске по дому, сост. знаменитые отрывки, *Purg.* viii. 1 кв. м., и *парад.* xxv. 1 кв. м.

[298] *Dantis Alligherii Epistolae*, изд. Карл Витте, стр. 65.

[299] Гиберти, *Secondo Commentario*, глава xv. (Вазари эд Лемонье, i. p. xxix.).

[300] *Кодри Урчей Вума*, в конце его работ, первое издание. Bologna 1502. Это, безусловно, близко к старой поговорке: "ubi bene, ibi patria". К. У. был назван не по месту его рождения, а в честь Форли, где он долго жил; см. Малагола, *Кодро Урчео*, Болонья, 1877, глава v. и приложение xi. Изобилие нейтральных интеллектуальных удовольствий, которые не зависят от местных условий и к которым образованные итальянцы становились все более и более способными, делало изгнание для них более терпимым. Космополитизм, кроме того, является признаком эпохи, в которую открываются новые миры, и люди больше не чувствуют себя как дома в старом. Мы видим это среди греков после Пелопоннесской войны; Платон, как говорит Нибур, не был хорошим гражданином, а Ксенофонт - плохим; Диоген зашел так далеко, что провозгласил бездомность удовольствием и называет себя, по словам Лаэртца, ππολις. Здесь можно упомянуть еще одну замечательную работу. Петрус Алционий в своей книге: *Legam изгнания lib. duo*, Ven. 1522 (напечатано в Mencken, *Analecta de Calam. Literatorum*, Лейпциг, 1707, стр. 1-250) посвящает теме изгнания долгую и пространную дискуссию. Он пытается логически и исторически опровергнуть три причины, по которым изгнание считается злом, а именно: 1. Потому что изгнанник должен жить вдали от своей родины. 2. Потому что он теряет почести, оказанные ему дома. 3. Потому что он вынужден обходиться без своих друзей и родственников; и в конце концов приходит к выводу, что изгнание - это не зло. His dissertation culminates in the words, 'Sapientissimus quisque omnem orbem terrarum unam urbem esse ducit. Atque etiam illam veram sibi esse patriam arbitratur quæ se perigrinantem exciperit, quæ pudorem, probitatem, virtutem colit, quæ optima studia, liberales disciplinas amplectitur, quæ etiam facit ut peregrini omnes honesto otio teneant statum et famam dignitatis suæ.'

[301] Это пробуждение личности также проявляется в большом напряжении, уделяемом независимому развитию характера, в притязании формировать духовную жизнь для себя, отдельно от родителей и предков. Воссассио (*De Cas. Vir. Ил.* Paris, s. a. fol. xxix. b) указывает на то, что Сократ происходил от необразованных, Еврипид и Демосфен - от неизвестных родителей, и восклицает: "Quasi animos a gignentibus habeamus!"

[302] Боккаччо, *Жизнеописание Данте*, стр. 16.

[303] Ангелы, которых он нарисовал на табличках в годовщину смерти Беатриче (*Новая жизнь*, стр. 61), возможно, были чем-то большим, чем работой дилетанта. Лев. Аретино говорит, что он нарисовал "эгрегиаменте" и был большим любителем музыки.

[304] Об этом и о том, что следует, см., особенно. *Веспасиано Фиорентино*, авторитетный специалист по флорентийской культуре XV века. Сост. стр. 359, 379, 401 и др. Смотрите также очаровательную и поучительную *жизнеописание Янноктия Манетти* (р. 1396) Налдуса Налдиуса в Murat. xx. стр. 529-608.

[305] То, что следует далее, взято, например, из рассказа Пертикари о Пандольфо Колленуччо в "Роско", *Леоне X.* изд. Босси iii. стр. 197 кв., и из "*Оперы Конте Пертикари*", 1823 год, том ii.

[306] Для дальнейшего сравните Буркхардта, *Книгу о Ренессансе в Италии*, Штутгарт, 1868 г., особенно стр. 41 кв. м., и А. Шпрингера, *Руководство новым художественным собранием*, Бонн, 1867 г., стр. 69-102. Хаб готовит новую биографию Альберти. Janitschek.

[307] В Murat. xxv. col. 295 кв.м., с итальянским переводом в *Opera Volgari di L. B. Alberti*, том i. стр. lxxxix-cix, где выдвигается гипотеза и доказывается вероятность того, что эта 'Жизнь' написана самим Альберти. Смотрите далее, Вазари, iv. 52 кв. Мариано Сочини, если мы можем верить тому, что читаем о нем в "Эн. Сильвий (*Опера*, стр. 622, *Послание*. 112) был универсальным дилетантом и в то же время мастером в нескольких предметах.

[308] Подобные попытки, особенно попытка создания летательного аппарата, были предприняты около 880 года андалузцем Абуль Аббасом Касимом ибн Фирнасом. Комп. Гьянгос, *История мусульманских династий в Испании* (Лондон, 1840), i. 148 кв. и 425-7; выдержки из Hammer, *Literaturgesch. der Araber*, i. Introd. p. li.

[309] Услуга "Изобретение сущности человека с квадроэффектом элегантности", id prope divinum ducebat.

[310] Это книга (сост. стр. 185, примечание 2), одна часть которой, часто печатавшаяся отдельно, долгое время считалась работой Пандольфини.

[311] В его работе "*Об уточнении*", л. viii. глава i., есть определение красивой дороги: "Си модо маре, модо монтес, модо лакум флюентем фонтесве, модо аридам рупем аут планитим, модо немус валлемке экспонебит".

[312] Один писатель среди многих: Блондус, *Римские триумфаторы*, л. v., стр. 117 кв., где определения славы собраны у древних, и христианину прямо разрешено желать ее. Работа Цицерона "*De Gloria*", которая, как утверждал Петрарка, принадлежала ему, была украдена у него его учителем Конвеволом, и с тех пор ее никто не видел. Альберти в юношеском сочинении, когда ему было всего двадцать лет, восхваляет стремление к славе. *Опера*, том i, стр. sxxvii-clxvi.

[313] *Paradiso*, xxv. в начале: 'Se mai continga' и проч. См. выше, стр. 133, примечание 2. Сост. Boccaccio, *Vita di Dante*, p. 49. 'Vaghissimo fu e d'onore e di pompa, e per avventura più che alla sua inclita virtù non si sarebbe richiesto.'

[314] *De Vulgari Eloquentia*, первая часть и особенно. *О монархии*, глава I. i., где он желает изложить идею монархии не только для того, чтобы быть полезным миру, но и "ут пальмам танти брави примус во славу адипискара".

[315] *Convito*, изд. Венеция, 1529, тома 5 и 6.

[316] *Парадизо*, vi. 112 кв.

[317] Например, *Inferno*, vi. 89; xiii. 53; xvi. 85; xxxi. 127.

[318] *Чистилище*, v. 70, 87, 133; vi. 26; viii. 71; xi. 31; xiii. 147.

[319] *Чистилище*, xi. 85-117. Помимо 'гории', мы здесь находим рядом "гридо", "фама", "руморе", "номинация", "оноре" - все это разные названия одного и того же предмета. Боккаччо писал, как он признается в своем письме к Дж. Пизинга (*Op. Volg.* xvi. 30 sqq.) 'perpetuandi nominis desiderio'.

[320] Скардеоний, *урб. Patav. Античность*. (Græv. Тезаурус. vi. iii. col. 260). Нельзя сказать, следует ли читать 'cereis' или 'certis muneribus'. Несколько торжественный характер Муссаты прослеживается в тоне его "истории Генриха VII".

[321] Франк. Петрарка, *Posteritati*, или *Ad Posterios*, в начале изданий его сочинений, или единственное письмо книги XVIII. из *Epp. Seniles*; также во Фракассетти, *Temp. Epistolæ Familiæ*, 1859, i. 1-11. Некоторые современные критики тщеславия Петрарки вряд ли проявили бы столько доброты и откровенности, будь они на его месте.

[322] *Opera*, изд. 1581, стр. 177: 'Прославление номинированного значения'. Известность в народных массах была для него особенно оскорбительной. *Эпп. Фам.* i. 337, 340. У Петрарки, как и у многих гуманистов старшего поколения, мы можем наблюдать конфликт между стремлением к славе и притязаниями на христианское смирение.

[323] "Исправление утрированной судьбы" в изданиях сочинений. Часто печатается отдельно, например, Берн, 1600 год. Сравните знаменитый диалог Петрарки "О современном мире" или "О внутреннем конфликте", в котором собеседник Августин обвиняет любовь к славе как ужасный недостаток.

[324] *Epp. Семья*. библиотека. xviii. (изд. Fracassetti) 2. О славе Петрарки сто лет спустя свидетельствует утверждение Блондуса (*Italia Illustrata*, стр. 416), что вряд ли даже образованный человек узнал бы что-нибудь о Роберте Добром, если бы Петрарка не говорил о нем так часто и с такой добротой.

[325] Следует отметить, что даже Карл IV, возможно, под влиянием Петрарки, говорит в письме историку Мариньоле о славе как о цели каждого стремящегося человека. Х. Фридджунг, *кайзер Карл IV. und sein Antheil am geistigen Leben seiner Zeit*, Vienna, 1876, p. 221.

[326] *Сообщение. Сенилес*, xiii. 3, Джованни Аретино, 9 сентября 1370 г.

[327] Филиппо Виллани, *Vite*, стр. 19

[328] Оба вместе в эпитафии Боккаччо: "Наки во Флоренции аль Поццо Тосканелли; Ди фуэр сеполто и Чертаьдо джаччо" и др. Сост. *Op. Volg. di Boccaccio*, xvi. 44.

[329] Мичиган. Savonarola, *De Laudibus Patavii*, in Murat. xxiv. кол. 1157. С тех пор Аркуа оставался объектом особого почитания (сост. Этторе Конте Макола, *I Codici di Arquà*, Падуя, 1874), и был местом больших торжеств по случаю пятого столетия со дня смерти Петрарки. Говорят, что его жилище недавно было передано городу Падуя последним владельцем, кардиналом Сильвестри.

[330] Указ 1396 года и его основания в Гайе, *Картеджо*, i. 123.

[331] Ремон, *Лоренцо де Медичи*, ii. 180.

[332] Боккаччо, *Жизнеописание Данте*, стр. 39.

[333] Франко Саккетти, 121 ноября.

[334] Первое находится в хорошо известном саркофаге близ Сан-Лоренцо, второе - над дверью в Палаццо делла Раджоне. Подробнее об их открытии в 1413 году см. Misson, *Voyage en Italie*, том i., и Michele Savonarola, col. 1157.

[335] *Житие Данте*, л. с. Как тело Кассия попало из Филиппов обратно в Парму?

[336] "Nobilitatis fastu" и "sub obtentu religionis", - говорит Пий II. (*Комментарий*. х. стр. 473). Новый вид славы, должно быть, был неудобен тем, кто привык к старому.

То, что Карло Малатеста снес статую Вергилия и бросил ее в Минчо, и это, как он утверждал, из-за гнева на почитание, оказываемое ей жителями Мантуи, является достоверным фактом, особенно подтвержденным инвективой, написанной в 1397 году П. П. Верджерио против К. М., *De dirutâ Statuâ Virgilii P. P. V. eloquentissimi Oratoris Epistola ex Tugurio Blondi sub Apolline*, под ред. Марко Мантуи. Бенавидес (опубл. определенно, до 1560 года в Падуе). Из этой работы ясно, что до тех пор статую не устанавливали снова. Произошло ли это из-за оскорбления? Bartholomæus Facius (*De Vir. Ил.*, стр. 9 кв. в *Жизнеописании* П. П. (1456) говорится, что это произошло: "Carolus Malatestam invectus Virgilii statua, quam ille Mantuæ in foro everterat, quoniam gentilis fuerat, ut ibidem restitueretur, effecit"; но его свидетельство стоит особняком. Это правда, что, насколько нам известно, нет современных хроник истории Мантуи того периода (Platina, *Hist. Mant.* в Murat. xx. ничего не говорится об этом), но более поздние историки сошлись во мнении, что статуя не была восстановлена. Смотрите доказательства, Прендилакуа, *Жизнеописание Витта да Фельтре*, написанное вскоре после 1446 года (изд. 1871, стр. 78), где говорится о разрушении, но не о восстановлении статуи, и работа Анта Поссевини, июнь. (*Гонзага*, Мантуя, 1628), где, стр. 486, упоминается снос статуи, ропот и яростное сопротивление народа, а также обещание, данное вследствие этого принцем, что он восстановит ее, с добавлением: "Нек тамен реститутус эст Виргилиус". Далее, 17 марта 1499 года Якопо д'Хатри пишет Изабелле де Эсте, что он говорил с Понтано о плане принцессы воздвигнуть статую Вергилию в Мантуе, и что Понтано с восторгом воскликнул, что Верджерио, если бы он был жив, был бы еще более доволен, "если бы не аттисто, которого граф Карола Малатеста убедил в том, что статуя Вергилия находится в Мантуе". Затем автор переходит к рассказу о способе его оформления, о надписи "Р. Виргилиус Мантуанский" и "Восстановление Изабеллы Маркиониссы Мантуанской", и предполагает, что Андреа Мантенья был бы подходящим человеком для выполнения этой работы. Мантенья действительно сделал для него рисунки. (Рисунок и письмо, о которых идет речь, приведены в Baschet, *Исследования документов искусства и истории в архивах Мантуи; документы, касающиеся персон и произведений Андреа Мантеньи*, в *Газете изящных искусств*, хх. (1866) 478-492, особенно 486 кв. м.) Из этого письма ясно, что Карло Малатеста не реставрировал статую. В работе Компаретти о Вергилии в средние века история рассказана вслед за Буркхардтом, но без авторитетных источников. Доктор Гейгер, опираясь на авторитет профессора Пауля из Берлина, различает К. Кассия Лонгина и Кассия Парменсиса, поэта, обоих среди убийц Цезаря.

[337] Сост. Keyssler's *Neueste Reisen*, p. 1016.

[338] Известно, что старший был уроженцем Вероны.

[339] В таком тоне выдержана замечательная работа "*Похвальная грамота папе*" в Мурате. хх., датируемая четырнадцатым веком — большая муниципальная гордость, но никакого представления о личной славе.

[340] *Похвала Патавиу*, в Мурате. хxiv. ок. 1138 кв. Только три города, по его мнению, могли сравниться с Падуей — Флоренция, Венеция и Рим.

[341] 'Nam et veteres nostri tales aut divos aut æternâ memoriâ dignos non immerito prædicabant, quum virtus summa sanctitatis sit consocia et pari ematur pretio.' То, что следует далее, наиболее характерно: "Что касается меня, то я облегчаю судебное разбирательство по этому делу".

[342] Подобные идеи встречаются у многих современных авторов. Кодрус Урций, *Сермо XIII*. (Орр. 1506, fol. xxxviii. b), говоря о Галеаццо Бентивольо, который был одновременно ученым и воином: "Знающий искусство воина, знающий, что такое превосходство, и знающий, что такое многословие".

[343] То, что следует далее, как отмечает редактор (Murat. хxiv col. 1059, примечание), не принадлежит перу Мичигана. Savonarola.

[344] Петрарки, в "Триумф" тут в кавычках, только обитает на героев древности, и в его коллекции, *де ребус Меторандис*, мало что может сказать современников. *Виллюстративный случай Вирорума* Боккаччо (среди мужчин есть несколько женщин, помимо Филиппы Катиненсис, о которой говорится в конце, и даже описана богиня Юнона), только конец восьмой книги и последняя книга — девятая - относятся к неклассическим временам. Замечательное произведение Боккаччо "*О ясности ума*" также почти исключительно посвящено античности. Она начинается с Евы, затем говорится о девяти семи женщинах древности и семи средневековья, начиная с папы Иоанна и заканчивая королевой Неаполя Иоганной. И так в гораздо более позднее время в *Городских комментариях* Ральфа. Volaterranus. В труде *De Claris Mulieribus* августинца Якоба Бергоменсиса (напечатан в 1497 году, но, вероятно, опубликован раньше) древность и легенды занимают главное место, но все же есть несколько ценных биографий итальянских женщин. "Одна или две жизни современных женщин" Веспасиано да Бистиччи (Арх. Стор. Итал. iv. i., стр. 430 кв.). У Скардеония (*De Urb. Patav. Древность. Græv. Тезаурус*. vi. iii. col. 405 кв.м) упоминаются только знаменитые падуанские женщины. Сначала идет легенда или предание времен падения империи, затем трагические истории о партийной борьбе тринадцатого и четырнадцатого веков; затем упоминания о нескольких героических женщинах; затем об основательнице женских монастырей, женщине-политике, женщине-враче, матери многих и выдающихся сыновей, ученой женщине, крестьянской девушке, которая погибла, защищая свое целомудрие; затем о культурной красавице шестнадцатого века, о которой все пишут сонеты; и, наконец, о женщине-романистке и поэтессе из Падуи. Столетие спустя к ним добавилась бы женщина-профессор. О знаменитой женщине из Дома Эсте см. Ариосто, *Orl.* xiii.

[345] Бартоломео Фацио и Паоло Кортезе. Б. Ф. *De Viris Illustribus Liber*, впервые опубликован Л. Мехусом (Флоренция, 1745). Книга была начата автором (известным по другим историческим работам и проживавшим при дворе Альфонсо Неаполитанского) после того, как он закончил историю этого короля (1455), и закончена, как показывают ссылки на борьбу Венгрии и незнание писателем возведения Эней Сильвиуса в кардиналы, в 1456 году. (См., тем не менее,

Wahlen, *Laurentii Vallæ Opuscula Tria*, Вена, 1869, стр. 67, примечание 1.) Его никогда не цитируют современники и редко - более поздние авторы. Автор желает в этой книге описать знаменитых людей 'памятной ностры' и, следовательно, упоминает только тех, кто родился в последней четверти четырнадцатого века и все еще жил в середине пятнадцатого или умер незадолго до этого. Он в основном ограничивается итальянцами, за исключением художников или принцев, к числу последних он относит императора Сигизмунда и Альбрехта Ахилла Бранденбургского; и при размещении различных биографий он не следует ни хронологическому порядку, ни различиям, которых достигла тема каждого из них, но помещает их 'ut quisque mihi occurrerit', намереваясь во второй части рассмотреть тех, кого он мог бы опустить в первой. Он делит знаменитых людей на девять классов, почти всем им предшествуют замечания об их отличительных качествах: 1. Поэты; 2. Ораторы; 3. Юристы; 4. Врачи (с несколькими философами и теологами в качестве приложения); 5. Художники; 6. Скульпторы; 7. Выдающиеся граждане; 8. Генералы; 9. Принцы и короли. Среди последних он с особой полнотой и заботой относится к папе Николаю V. и королю Неаполя Альфонсо. Как правило, он приводит только короткие и в основном хвалебные биографии, ограничиваясь в случае принцев и солдат перечислением их подвигов, а художников и писателей - перечислением их произведений. Не предпринимается попыток их подробного описания или критики; лишь в отношении нескольких произведений искусства, которые он видел сам, он пишет более полно. Также не предпринимается никаких попыток оценить отдельных людей; его герои либо устаиваются несколькими общими похвальными словами, либо должны довольствоваться простым упоминанием своих имен. О себе автор почти ничего не говорит. Он утверждает только, что Гуарино был его учителем, что Манетти написал книгу на тему, которую он сам рассматривал, что Брацеллиус был его соотечественником и что художник Пизано из Вероны был ему известен (стр. 17, 18, 19, 48; но ничего не говорит о Лаврентии Валле о его собственных жестоких ссорах с этим ученым. С другой стороны, он не преминул выразить свое благочестие и ненависть к туркам (стр. 64), смягчить свой итальянский патриотизм, назвав швейцарцев варварами (стр. 60), и сказать о П. П. Вергериусе: "dignus qui totam in Italia vitam scribens exegisset" (стр. 9).

Из всех знаменитостей он, очевидно, больше всего ценит ученых, и среди них 'ораторов', которым он посвящает почти треть своей книги. Тем не менее, он с большим уважением относится к юристам и проявляет особую нежность к врачам, среди которых он хорошо отличает теоретиков от практиков, рассказывая об успешных диагнозах и операциях последних. То, что он рассматривает теологов и философов в связи с врачами, столь же любопытно, как и то, что он ставит художников сразу после врачей, хотя, как он говорит, они больше всего связаны с поэтами. Несмотря на его благоговение перед ученостью, которое проявляется в похвалах, воздаваемых князьям, покровительствовавшим ей, он слишком придворный, чтобы не отметить знаки королевской милости, полученные учеными, о которых он говорит, и охарактеризовать князей во введении к посвященным им главам как тех, кто "владеет corpus membra, ita omnia generaquæ supra memoravimus, правит ac tuentur".

Стиль книги прост и без прикрас, а содержание полно поучений, несмотря на ее краткость. Жаль, что Фаций не вошел более полно в личные отношения и обстоятельства людей, которых он описал, и не добавил к списку их трудов какого-либо указания на содержание и ценность их.

Работа Паоло Кортезе (р. 1645, ум. в 1510) "*О человеке доктисе Диалогусе*" (первое изд. Флоренция, 1734), гораздо более ограничен по своему характеру. Эта работа, написанная около 1490 года, поскольку в ней упоминается Антоний Геральдинус как умерший в 1488 году, и

посвященная Лоренцо де Медичи, умершему в 1492 году, отличается от работы Фация, написанной поколением ранее, не только исключением всех, кто не является учеными людьми, но и различными внутренними и внешними характеристиками. Во-первых, формой, представляющей собой диалог между автором и двумя его спутниками, Александром Фарнезе и Антониусом, и вызванными этим отступлениями и неодинаковым отношением к различным персонажам; и, во-вторых, манерой самого обращения. В то время как Фаций говорит только о людях своего времени, Кортеше говорит только о мертвых, и частично о тех, кто давно умер, чем он скорее расширяет свой круг, чем сужает его, исключая живых; в то время как Фаций просто описывает произведения и подвиги, как будто они неизвестны, Кортеше критикует литературную деятельность своих героев, как будто читатель уже знаком с ней. Эта критика основана на гуманистической оценке красноречия, согласно которой ни один человек не может считаться значимым, если он не достиг чего-то выдающегося в красноречии, т.е. в классической, Цицероновской трактовке латинского языка. Исходя из этого принципа, Данте и Петрарку хвалят лишь умеренно и обвиняют в том, что они потратили так много своих сил с латыни на итальянский; Гуарино описывают как человека, который видел совершенное красноречие, по крайней мере, сквозь облако; Лионардо Аретино - как человека, предложившего своим современникам "aliquid splendidius"; а Энея Сильвио - как его "in quo primum apparuit mutati sæculi signum". Эта точка зрения возобладала над всеми остальными; пожалуй, никогда еще ее не придерживались так односторонне, как Кортеше. Чтобы составить представление о его образе мыслей, нам достаточно услышать его замечания о предшественнике, также составителе большого биографического сборника, Сикко Полентоне: 'Я всегда бодрствую над библиотекой скрипториев для claris scriptoribus, использую admodum для того, чтобы продолжать путь в omnibus legi sent desiti. Est enim in iudicando parum acer, nec servit aurium voluptati quum tractat res ab aliis ante tractatas; sed hoc ferendum. Illud certe molestum est, dum alienis verbis sentiis scripta infarcit et explet sua; ex quo nascitur maxime vitiosum scribendi genus, quum modo lenis et candidus, modo durus et asper appareat, et sic in toto genere tanquam in unum agrum plura inter se inimicissima sparsa semina.'

Все они рассматриваются не так подробно; о большинстве из них говорится в нескольких коротких предложениях; некоторые просто названы без добавления единого слова. Тем не менее, из его суждений можно многому научиться, хотя мы, возможно, не всегда сможем согласиться с ними. Мы не можем здесь обсуждать его более полно, тем более что многие из его наиболее характерных замечаний уже использовались; в целом они дают нам ясную картину того, как более позднее время, внешне более развитое, с критическим презрением смотрело на более раннюю эпоху, внутренне, возможно, более богатую, но внешне менее совершенную.

Говорится о Фациусе, авторе первого упомянутого биографического труда, но не о его книге. Как и Фаций, Кортеше - скромный придворный, смотрящий на Лоренцо Медичи так же, как Фаций смотрел на Альфонсо Неаполитанского; как и он, он патриот, который восхваляет иностранное превосходство лишь невольно и потому, что должен; добавляя уверенность, что он не хочет выступать против своей собственной страны (стр. 48, говоря о Янусе Паннонии).

Информация о Кортеше была собрана Бернардусом Папериниусом, редактором его работы; мы можем добавить, что его латинский перевод романа Л. Б. Альберти "Ипполит и Дежанира" впервые печатается в "Опере Л. Б. А.", т. iii. стр. 439-463.

[346] О том, насколько велика была слава гуманистов, свидетельствует тот факт, что самозванцы пытались нажиться на использовании их имен. Таким образом, в Вероне появился человек, странно одетый и использующий странные жесты, который, когда предстал перед мэром, с большой энергией декламировал отрывки из латинских стихов и прозы, взятые из трудов Панормиты, отвечал в ответ на заданные ему вопросы, что он сам Панормита, и смог сообщить так много мелких и обычно неизвестных подробностей о жизни этого ученого, что его заявление получило всеобщее признание. Затем власти и ученые люди города отнеслись к нему с большим почетом, и он успешно играл свою роль в течение значительного времени, пока Гуарино и другие, кто знал Панормиту лично, не обнаружили обман. Comp. Rosmini, *Vita di Guarino*, ii. 44 sqq., 171 sqq. Мало кто из гуманистов был свободен от привычки хвастаться. Кодрус Урций (*Buma*, в конце *Оперы*, 1506, fol. lxx.), когда его спрашивали о том или ином знаменитом человеке, обычно отвечал: 'Sibi scire videntur'. Барт. Facius, *De Vir. Ил.*, стр. 31, рассказывает о правоведе Антонио Бутриенсисе: "Я единственный в мире, кто не существует, кто неминуем, адео превосходных людей в нашей студии volebat, ут докторату достойный в исследовании компрометации".

[347] Латинский поэт двенадцатого века, один из странствующих ученых, обменявший свою песню на пальто, использует это как угрозу. *Кармина Бурана*, стр. 76.

[348] Интерфейс Sonnet: Lasso ch'i ardo.

[349] Боккаччо, *Опера Волгари*, том xvi. в сонете 13: Паллидо, винто и др.

[350] В другом месте и в Роско, *Леоне X.* изд. Босси, iv. 203.

[351] *Анджели Политиани*, *Ерр.* lib. x.

[352] Элементы навигации и т.д. Деодатум (*Сент-Дье*), 1507 год. Comp. O. Peschel, *Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen*, 1859, ed. 2, 1876.

[353] Пол. Йов. *De Romanis Piscibus*, Præfatio (1825). Вскоре должно было быть опубликовано первое десятилетие его исторических трудов 'non sine aliqua spe immortalitatis'.

[354] Сост. *Discorsi*, i. 27. "Tristizia" (преступление) может иметь "grandezza" и быть "in alcuna parte generosa"; "grandezza" может убрать "позор" из поступка; человек может быть "onorevolmente tristo" в отличие от того, кто является "совершенным человеком".

[355] *История Фиорентины*, л. vi.

[356] Пол. Йов. *Elog. Vir. Лум. Ил.* стр. 192, говоря о Мариусе Молсе.

[357] Простые перила найдены очень рано, в Бенцо из Альбы, в одиннадцатом веке (*Пн. Герм.* ss. xi. 591-681).

[358] Средневековые также богато так называемыми сатирическими стихотворениями; но сатира не индивидуальна, а направлена на классы, категории и целые группы населения, и легко переходит в дидактический тон. Весь дух этой литературы лучше всего представлен *Рейнеке Фукс* во всех ее формах у различных народов Запада. Об этой ветви французской литературы читайте в новом и замечательном произведении Ляяна "*Сатира во Франции во*

время войны", Париж, 1860 г., и в не менее превосходном продолжении "*Сатира во Франции в военной литературе*", в XVI^{году}, 1866г..

[359] См. выше, стр. 7, примечание 2. Время от времени мы находим дерзкую шутку, 37 ноября.

[360] *Инферно*, ххi. ххii. Единственная возможная параллель - с Аристофаном.

[361] Скромное начало *Оперы*, стр. 421, кв. м., в *Rerum Memorandarum Libri IV*. Опять же, в *Epp. Seniles*, х. 2. Сост. *Epp. Семья*. изд. Fracass. i. 68 кв.м., 70, 240, 245. У каламбуров есть привкус их средневекового дома, монастырей. Инвективы Петрарки "contra Gallum", "contra medicum objurgantem" и его работа "*О судьбе ипсууса и множественном невежестве*"; возможно, также его "*Эпистола с титулом*", могут быть процитированы как ранние примеры сатирического письма.

[362] 40, 41 ноября; Ридольфо да Камерино - мужчина.

[363] Известная шутка Брунеллеско и толстого резчика по дереву Манетто Амманатини, который, как говорят, бежал в Венгрию перед насмешками, с которыми столкнулся, умна, но жестока.

[364] 'Аральдо' Флорентийской синьории. Один из многих примеров, *Комиссия Ринальдо дельи Альбицци*, iii. 651, 669. Дурак, необходимый для оживления компании после обеда; Алкионий, *De Exilio*, изд. Менкен, стр. 129.

[365] Саккетти, 48 ноября. И все же, согласно 67 ноября, создалось впечатление, что романьоль превосходит худшего флорентийца.

[366] Л. Б. Альберти, *История семьи, Опера*, изд. Вонисси, v. 171. Сост. выше, стр. 132, примечание 1.

[367] Франко Саккетти, 156 ноября; сост. 24 за Дольчибене и евреев. (За Карла IV. "и дураки", *Friedjung*, о.с. стр. 109.) *Шутки* Поджио по существу напоминают Саккетти - розыгрыши, дерзости, утонченные непристойности, непонятые простыми людьми; филолога выдает большое количество словесных шуток. О Л. А. Альберти см. стр. 136, кв.

[368] И, следовательно, в тех романах итальянцев, сюжет которых взят из них.

[369] По словам Банделло, iv. 2 ноября, Гоннелла мог придавать своим чертам лица сходство с другими людьми и имитировать все диалекты Италии.

[370] Пол. Йов. *Вита Леонис X*.

[371] 'Erat enim Bibiena mirus artifex hominibus ætate vel professione gravibus ad insaniam impellendis.' Это напоминает нам о шутках Кристины Шведской с ее филологами. Сост. замечательный отрывок из "Иовиана". Pontanus, *De Sermone*, lib. ii. cap. 9: 'Ferdinandus Alfonsi filius, Neapolitanorum rex magnus et ipse fuit artifex et vultus componendi et orationes in quem ipse usus vellet. Nam ætatis nostri Pontifices maximi fingendis vultibus ac verbis vel histriones ipsos anteveniunt.

[372] Бинокль я вывожу не только из портрета Рафаэля, где его можно объяснить как увеличительное стекло для разглядывания миниатюр в молитвеннике, но и из заявления

Пелликана, согласно которому Лев рассматривает продвигающуюся процессию монахов через 'зеркало' (сост. *Züricher Taschenbuch* за 1858 год, стр. 177), и от 'cristallus concava', которым, по словам Джовио, он пользовался на охоте. (Сост. 'Леонис Х. вита аукторе анон, призыв" в Приложении к "Роско".) In Attilius Alessius (Baluz. *Miscell.* iv. 518) мы читаем: 'Oculari ex gemina (гемма?) utebatur quam manu gestans, signando aliquid videndum esset, oculis admovebat.' Близорукость в семье Медичи была наследственной. Лоренцо был близорук и ответил сиенцу Бартоломео Соччини, который сказал, что воздух Флоренции вреден для глаз: 'E quella di Siena al cervello'. Плохое зрение Льва Х вошло в поговорку. После его избрания римские остряки объяснили число MCCCXL. выгравировано в Ватикане следующим образом: 'Multi cæci Cardinales creaverunt cæcum decimum Leonem'. Сост. Шеперд-Тонелли, *Жизнеописание Поджио*, ii. 23, кв. м, и процитированные там отрывки.

[373] Мы находим это также в пластическом искусстве, например, на знаменитой пластинке, пародирующей группу лаокунов в виде трех обезьян. Но здесь пародия редко выходила за рамки набросков и тому подобного, хотя многое, это правда, могло быть уничтожено. Карикатура, опять же, это нечто иное. Лионардо в "гротескных лицах" в библиотеке Амброзиана олицетворяет то, что отвратительно, когда и потому что это комично, и преувеличивает смехотворный элемент в свое удовольствие.

[374] Юпитерианин. Pontan. *De Sermone*, libri v. Он приписывает особый дар остроумия сиенцам и перуджинезийцам, а также флорентийцам, добавляя испанский двор из вежливости.

[375] *Il Cortigiano*, lib. ii. cap. 4 кв., изд. Боде ди Весме, Флоренция, 1854, стр. 124 кв. Объяснение остроумия как эффекта контраста, хотя и не сформулированное четко, см. там же. загл. lxxiii. с. 136.

[376] Понтан, *Де Сермоне*, lib. iv. cap. 3, также советует людям воздерживаться от использования "насмешек" как над несчастными, так и над сильными.

[377] *Галатео дель Каса*, изд. Venez. 1789, p. 26 sqq. 48.

[378] *Письмо Питториче*, i. стр. 71, в письме от имени Винк. Боргини, 1577 год. Macchiavelli (*Stor. Фуор.* vii. глава. 28) says of the young gentlemen in Florence soon after the middle of the fifteenth century: 'Gli studî loro erano apparire col vestire splendidi, e col parlare sagaci ed astuti, e quello che più destramente mordeva gli altri, era più savio e da più stimato.'

[379] Сост. Надгробная речь Федры Ингирами о Людовико Подокатаро (ум. 25 августа 1504 г.) в *Анекдоте. Litt.* i. p. 319. Скандалист Массайно упоминается в Paul. Jov. *Dialogues de Viris Litt. Illustr.* (Тирабощи, том vii. часть iv. стр. 1631).

[380] Именно такого плана придерживался Лев Х., и его расчеты не оправдались. К сожалению, поскольку его репутация была подорвана сатириками после его смерти, они не смогли изменить общую оценку, сложившуюся о нем.

[381] Вероятно, так было с кардиналом Ардичино делла Порта, который в 1491 году пожелал сложить с себя сан и укрыться в монастыре. Смотрите Информацию в Eccard. ii. col. 2000.

[382] Смотрите его надгробную речь в *Anecd. Lum.* iv. с. 315. Он собрал армию крестьян в походе на Анеону, которой помешала действовать только измена герцога Урбино. О его изящных и безнадежных стихотворениях о любви см. Trucchi, *Поэзия неизданная*, iii. 123.

[383] Как он использовал свой язык за столом Климента VII. рассказывается у Джиральди, *Гекатомити*, vii. 5 ноября.

[384] Обвинение в принятии к рассмотрению предложения утопить Пасквино (в книге Павла Иоанна *Vita Адриани*) передано от Сикста IV. Адриану. Сост. *Письмо Принципов*, i. 114 кв. м., письмо Негра, датированное 7 апреля 1523 г. В День Святого Марка у Пасквино было особое празднование, которое папа запретил.

[385] В отрывках, собранных у Грегоровиуса, viii. примечание 380, 381 кв. 393 кв.

[386] Сост. Пирс. Valer. *De Infel. Lum.* под ред. Менкена, стр. 178. 'Pestilentia quæ cum Adriano VI. invecta Romam invasit.'

[387] Например, Флоренцуола, *Опера* (Милан, 1802), том i, стр. 116, в *Дискорси дельи Анимали*.

[388] Сост. имена в Хефлере, *Sitzungsberichte der Wiener Academie* (1876), том 82, стр. 435.

[389] Слова Пирса. Valerian, *De Infel. Lit.* ed. Mencken, p. 382, are most characteristic of the public feeling at Rome: 'Ecce adest Musarum et eloquentiæ totiusque nitoris hostis acerrimis, qui literatis omnibus inimicitias minaretur, quoniam, ut ipse dictitabat, Terentiani essent, quos quum odisse atque etiam persequi cœpisset voluntarium alii exilium, alias atque alias alii latebras quærentes tam diu latuere quoad Deo beneficio altero imperii anno decessit, qui si aliquanto diutius vixisset, Gothica illa tempora adversus bonas literas videbatur suscitaturus.' Всеобщая ненависть к Адриану была отчасти вызвана и тем фактом, что в условиях больших финансовых трудностей, в которых он оказался, он прибегнул к прямому налогообложению. Ranke, *Päpste*, i. 411. Здесь можно упомянуть, что, тем не менее, были поэты, восхвалявшие Адриана. Сост. различных отрывков из *Корицианы* (изд. Рим, 1524), особенно J. J. 2b кв.

[390] Герцогу Феррарскому, 1 января 1536 г. (*Письмо*, изд. 1539, fol. 39): "Теперь вы отправитесь из Рима в Неаполь", "Послание к висте, открывающей путь к миру страданий понтификата в созерцании высшей империи".

[391] Страх, который он вызывал у известных людей, особенно художников, этими средствами, здесь не поддается описанию. Публицистическим оружием немецкой реформации были главным образом брошюры, описывающие события так, как они происходили; Аретино - журналист в том смысле, что у него есть постоянный повод для написания.

[392] Например, в "*Капитолии*" об Альбиканте, плохом поэте; к сожалению, отрывки не подходят для цитирования.

[393] *Письмо*, изд. Venez. 1539, fol. 12, датировано 31 мая 1527г.

[394] В первом *Капитолии* Козимо.

[395] Гайе, *Картеджо*, ii. 332.

[396] Смотрите наглое письмо 1536 года в *Письме Питтора*. я. Прилагаю. 34. Дом, в котором родился Петрарка в Ареццо, см. выше, стр. 142.

[397]

L'Aretin, per Deo grazia, è vivo e sano,
Ma'l mostaccio ha fregiato nobilmente,
E più colpi ha, che dita in una mano.'
(Mauro, 'Capitolo in lode delle bugie.')

[398] Смотрите, например, письмо кардиналу Лотарингии, *Lettere*, изд. Venez. fol. 29, датированное 21 ноября 1534 г., и письма Карлу V., в которых он говорит, что ни один человек не стоит ближе к Богу, чем Карл.

[399] Что следует далее, см. Гайе, *Картеджио*, ii. 336, 337, 345.

[400] *Письмо*, изд. Venez. 1539, fol. 15, от 16 июня 1529. Сост. другое примечательное письмо М. А., от 15 апреля 1528, fol. 212.

[401] Возможно, он сделал это либо в надежде заполучить красную шляпу, либо из страха перед новой деятельностью инквизиции, которую он осмелился яростно критиковать в 1535 году (см. fol. 37), но которая после реорганизации учреждения в 1542 году внезапно возобновилась и вскоре заставила замолчать все возражающие голоса.

[402] [Кармина Бурана, в *Литературной библиотеке в Штутгарте*, том xvi. (Stuttg. 1847). Пребывание в Павии (стр. 68 бис), итальянские местные упоминания в целом, сцена с "пастореллой" под оливковым деревом (стр. 146), упоминание "pinus" как тенистого полевого дерева (стр. 156), частое употребление слова "bravium" (стр. 137, 144) и, в частности, формы *Madii* для *Maji* (стр. 141) - все говорит в пользу нашего предположения.]

Гипотеза доктора Буркхардта о том, что лучшие произведения из "*Кармины Бураны*" были написаны итальянцем, несостоятельна. Доводы, выдвинутые в его поддержку, имеют небольшой вес (например, упоминание Павии: 'Quis Paviæ demorans castus habeatur?', что может быть объяснено как выражение, вошедшее в поговорку, или относится к кратковременному пребыванию автора в Павии), не могут, далее, противостоять доводам другой стороны и, наконец, теряют всю свою силу ввиду вероятной идентификации автора. Аргументами О. Хубача (О. Hubatsch) против итальянского происхождения этих стихотворений (*Die lateinischen Vagantenlieder des Mittelalters*, Герлиц, 1870, стр. 87) являются, среди прочего, нападки на итальянский язык и восхваление немецкого духовенства, упреки южан в том, что они являются "генсом протервы", и упоминание поэта как 'трансмонтануса'. Кем он был на самом деле, однако, неясно. То, что он носил имя Вальтер, не проливает света на его происхождение. Ранее его отождествляли с Гвальтерусом де Мапесом, каноником Солсберийским и капелланом английских королей в конце двенадцатого века; с тех пор, согласно Гизебрехту ("*Вагантен одер Голиарден и ихре лидер*", *Allgemeine Monatschrift*, 1855), с Вальтером Лилльским или Шатийонским, который перешел из Франции в Англию и Германию, а оттуда, возможно, с архиепископом Рейнхольдом Кельнским (1164 и 75) в Италию (Павия и др.). Если это гипотеза, против которой Хубач (ум.) выдвинул определенные возражения, должна быть отброшена, остается несомненным, что происхождение почти всех этих песен следует искать во Франции,

откуда они распространились через обычную школу, которая здесь существовала для них по всей Германии, и там расширились и смешались с немецкими фразами; в то время как Италия, как показал Гизебрехт, осталась почти незатронутой этим классом поэзии. Итальянский переводчик работы доктора Буркхардта, проф. Д. Вальбуза, в примечании к этому отрывку (i. 235) также оспаривает итальянское происхождение стихотворения. [Л. Г.]

[403] *Карм. Бур.* стр. 155, только фрагмент: полностью в книге Райта, *Уолтера Мэйпса* (1841), стр. 258. Сост. Хубач, стр. 27 кв., который указывает на тот факт, что в основе лежит история, о которой часто говорят во Франции. Аст. Интер. *Карм. Бур.*, стр. 67; *Думай о Диане, Карм. Бур.*, стр. 124. Дополнительные примеры: "Кор патет Джови"; классические имена для любимой; однажды, когда он называет ее Блансифлор, он добавляет, как бы компенсируя это, имя Елена.

[404] То, каким образом античность могла служить проводником и учителем во всех высших сферах жизни, вкратце описано Энеасом Сильвиусом (*Опера*, стр. 603, в *Послании* 105 эрцгерцогу Сигизмунду).

[405] За подробностями мы должны отсылать читателя к Роско, *Лоренцо Маг.* и *Лео Х.*, а также к Фойгту, *Энеа Сильвио* (Берлин, 1856-63); к работам Ремона и Грегоровиуса, "*История города Рима в Миттелальтере*".

Чтобы составить представление о масштабах, которых достигли исследования в начале шестнадцатого века, мы не можем придумать ничего лучше, чем обратиться к *Городским комментариям* Рафаэля Волаттеррана (изд. Василий, 1544, стр. 16 и др.). Здесь мы видим, как античность сформировала введение и главный предмет изучения во всех отраслях знания, начиная с географии и местной истории, жизни великих и прославленных людей, популярной философии, морали и специальных наук, вплоть до анализа всего Аристотеля, которым завершается работа. Чтобы понять его значение как авторитета в истории культуры, мы должны сравнить его со всеми более ранними энциклопедиями. A complete and circumstantial account of the matter is given in Voigt's admirable work, *Die Wiederbelebung des classischen Alterthums oder Das erste Jahrhundert der Humanismus*, Berlin, 1859.

[406] В книге Уильяма Малмсберийского, *Gesta Regum Anglor.* l. ii. § 169, 170, 205, 206 (изд. 1840, том i, стр. 277 кв. м. и стр. 354 кв.), мы встречаемся с мечтами охотников за сокровищами, Венерой как призрачной любовью и открытием гигантского тела Паллада, сына Эвандра, примерно в середине XI века. Comp. Jac. ab Aquis *Imago Mundi* (*Hist. Pamp. Монум. Script.* t. iii. col. 1603), о происхождении Дома Колонна, со ссылкой на обнаружение спрятанных сокровищ. Помимо рассказов об искателях сокровищ, Уильям Малмсберийский упоминает элегию Хильдеберта из Мана, епископа Турского, один из самых необычных примеров гуманистического энтузиазма первой половины XII века.

[407] Данте, *Конвито*, тратт. iv. глава. v.

[408] *Ерр. Familiares*, vi. 2; упоминания о Риме до того, как он его увидел, и выражения его тоски по городу, *Ерр. Фам.* ред. Фракасс. том i. с. 125, 213; том ii. с. 336 кв. м. Смотрите также собранные ссылки в L. Geiger, *Petrarca*, стр. 272, примечание 3. У Петрарки мы уже находим жалобы на множество разрушенных и заброшенных зданий, которые он перечисляет одно за другим (*De Rem. Утрийский форм.* lib. i. dial. 118), добавив замечание о том, что от античности осталось много статуй, но нет картин (л. с. 41).

[409] *Диттамондо*, ii. загл. 3. Процессия временами напоминает трех королей и их свиту на старых картинах. Описание города (ii. глава. 31) не лишен археологической ценности (Грегоровиус, vi. 697, примечание 1). Согласно Полисторо (Murat. xxiv. col. 845), Niccolò and Ugo of Este journeyed in 1366 to Rome, 'per vedere quelle magnificenze antiche, che al presente si possono vedere in Roma.'

[410] Грегоровиус, против 316 кв. В скобках мы можем процитировать иностранные свидетельства о том, что на Рим в средние века смотрели как на каменоломню. Знаменитый аббат Сугерий, который около 1140 года искал высокие колонны для восстановления Сен-Дени, сначала думал не о чем ином, как о приобретении гранитных монолитов Терм Диоклетиана, но впоследствии передумал. Смотрите "Sugerii Libellus Alter" в Дачезне, *История. Франк. Скриптории*, iv. стр. 352.

[411] *Poggii Opera*, фол. 50 кв.м. 'Ruinarum Urbis Romæ Descriptio', написанный около 1430 года, незадолго до смерти Мартина V. В то время бани Каракаллы и Диоклетиана имели колонны и мраморное покрытие. См. Грегоровиус, vi. 700-705.

[412] Поджио фигурирует как один из первых коллекционеров надписей в своем письме в "*Bute Поджио*", Муратори, xx. col. 177, и как коллекционер бюстов (col. 183 и письмо в "Шеперд-Тонелли", i. 258). См. также Амброс. *Траверсарийская эпистола*, xxv. 42. Небольшая книжечка, которую Поджио написал о надписях, по-видимому, утеряна. Пастух, *Жизнь Поджио*, традиция. Tonelli, i. 154 sqq.

[413] Фаброни, *Косм*, Дополнено. 86. Из письма Альберто дельи Альберти Джованни Медичи. См. также Грегоровиус, vii. 557. О состоянии Рима при Мартине V см. Платина, стр. 227; а во время отсутствия Евгения IV см. Веспасиано Фиорент., стр. 21.

[414] *Roma Instaurata*, написана в 1447 году и посвящена папе римскому; впервые напечатана в Риме в 1474 году.

[415] Смотрите, тем не менее, его дистихи в Voigt, *Wiederbelebung des Alterthums*, стр. 275, примечание 2. Он был первым папой, издавшим Буллу о защите древних памятников (4 Кал. Май 1462 г.), предусматривающую наказания в случае неповиновения. Но эти меры оказались неэффективными. Сост. Грегоровиус, vii. стр. 558 кв.

[416] То, что следует, взято из Jo. Ant. Campanus, *Vita Pii II.*, в Муратори, iii. ii. col. 980 кв.м. *Pii II. Комментарий*, стр. 48, 72 кв.м., 206, 248 кв.м., 501 и в других местах.

[417] Первое датированное издание, Бриксен, 1482 год.

[418] Боккаччо, *Фьямметта*, загл. 5. *Opere*, ed. Монтье, vi. 91.

[419] Его работа, *Итинерариум Кириаки Анконитани*, изд. Мехус, Флоренция, 1742. Сост. Leandro Alberti, *Descriz. di tutta l'Italia*, fol. 285.

[420] Два примера из многих: легендарное происхождение Милана в Манипулусе (Murat. xl. col. 552) и Флоренции в Джио. Виллани (который здесь, как и везде, дополняет фальшивую хронику Рикардо Малеспини), согласно которой Флоренция, будучи лояльна римлянам в своих чувствах, всегда права в отношении антиримского мятежника Фьезоле (i. 9, 38, 41; ii. 2). Данте, *Inf.* xv. 76.

[421] *Комментарии*, стр. 206, в четвертой книге.

[421A] Мичиган. Cannesius, *Vita Pauli II.*, in Murat. iii. ii. col. 993. Даже по отношению к Нерону, сыну Домиция Агенобарба, автор не будет невежлив, учитывая его связь с папой римским. Он только говорит о нем: 'De quo verum Scriptores multa ac diversa memororant'. Семья Платона в Милане пошла еще дальше и хвасталась своим происхождением от великого афинянина. Филельфо в свадебной речи и в восхвалении юриста Теодоро Платона осмелился высказать это утверждение; а некий Джованантонио Платон поместил надпись на рельефном портрете, вырезанном им в 1478 году (при дворе Пал. Magenta at Milan): 'Platonem suum, a quo originem et ingenium refert.'

[422] См. По этому поводу Нангипорто в Murat. iii. ii. col. 1094; Инфессура в Eccard, *Scriptores*, ii. col. 1951; Матараццо в *Arch. История*. xvi. ii. стр. 180. Нангипорто, однако, признает, что уже невозможно было определить, был ли труп мужчиной или женщиной.

[423] Еще при Юлии II. раскопки проводились в надежде найти статуи. Vasari, xi. p. 302, *V. di Gio. da Udine*. Комп. Грегоровиус, viii. 186.

[424] Письмо было впервые приписано Кастильоне, *Письму Лысого Негози дель Конте*. Кастильоне, Падуа, 1736 и 1769 годы, но оказалось, что он был написан рукой Рафаэля Даниэле Франческони в 1799 году. Напечатано с мюнхенской рукописи в Пассаванте, *Книга Лебена Рафаэля*, iii. стр. 44. Сост. Gruyer *Raphael et l'Antiquité*, 1864, i. 435-457.

[425] *Письмо Питториче*, ii. 1, Толемеи-Ланди, 14 ноября 1542 г.

[426] Он попробовал 'curis animique doloribus quacunque ratione aditum intercludere'; музыка и оживленная беседа очаровали его, и он надеялся с их помощью прожить дольше. Леонис X. *Анонимная жизнь*, в Роско, изд. Босси, xii. стр. 169.

[427] Этот момент упоминается в *Сатирах* Ариосто. Смотрите первое ("Perc"ho molto" и т. Д.) и четвертое "Poiche, Annibale").

[428] Ранке, *Пяпсте*, i. 408 кв.м. 'Lettere dei Principi, p. 107. Письмо Негри от 1 сентября 1522 года ... 'tutti questi cortigiani esausti da Papa Leone e falliti.' Они отомстили за смерть Льва сатирическими стихами и надписями.

[429] *Pii II. Комментарии*, стр. 251 в 5-й книге. Сост. Sannazaro's elegy, 'Ad Ruinas Cumarum urbis vetustissimæ' (*Opera*, fol. 236 sqq.).

[430] Полифило (то есть Франциск Колумна) 'Hypnerotomachia, ubi humana omnia non nisi somnum esse docet atque obiter plurima scita sane quam digna commemorat,' Venice, Aldus Manutius, 1499. Сост. по этой замечательной книге и другим, А. Дидо, *Альд Мануке*, Париж, 1875, стр. 132-142; и Грюйер, *Рафаэль и Античность*, i. стр. 191 кв. м.; Дж. Буркхардт, *История возрождения в Италии*, стр. 43 кв. м., и работа A. Ilg, Вена, 1872.

[431] В то время как все Отцы Церкви и все паломники говорят только о пещере. Поэты тоже обходятся без дворца. Сост. Sannazaro, *De Partu Virginis*, l. ii.

[432] В основном из Веспасиано Фиорентина, в первом томе. из *Пряностей. Romanum*, автор Mai, из издания которого взяты цитаты в этой книге. Новое издание Бартоли, Флоренция, 1859.

Автор был флорентийским книготорговцем и копировальным агентом примерно в середине пятнадцатого века и после нее.

[433] Сост. Петр. *Epist. Fam.* изд. Fracass. l. xviii. 2, xxiv. 12, var. 25, с примечаниями Фракассетти в итальянском переводе, т. iv. 92-101, v. 196 кв., где также приводится фрагмент перевода Гомера до времен Пилато.

[434] Хорошо известно, что подделки, с помощью которых страсть к древности использовалась для наживы или развлечения мошенников, не были редкостью. Смотрите статьи в "Истории литературы" об Аннии из Витербо.

[435] Веспас. Fiorent. p. 31. 'Tommaso da Serezana usava dire, che dua cosa farebbe, se egli potesse mai spendere, ch'era in libri e murare. С любовью, с любовью к фесе нель суо понтификато". Что касается его перевода, см. Здесь. Сильвий, *De Europa*, глава 58, стр. 459, и Папенкордт, *Ges. der Stadt Rom*. p. 502. Особенно см. Фойгт, указ. соч. книга V.

[436] Веспас. Фиор. стр. 48 и 658, 665. Сост. Дж. Манетти, *Жизнь Николая V.*, в Мурате. iii. ii. кол. 925 кв. м. По вопросу о том, частично ли и каким образом Каликст III. снова разогнал библиотеку, см. Веспас. Фиорент. стр. 284, с примечанием Мэй.

[437] Веспас. Фиор. стр. 617 кв.

[438] Веспас. Фиор. стр. 457 кв.

[439] Веспас. Фиорент, стр. 193. Сост. Марин Санудо, в "Мурате". xxii. col. 1185 sqq.

[440] О том, как этот вопрос рассматривался в предварительном порядке, рассказывается в Малипьеро, *Анна-Венеция, арх. История*. vii. ii. Стр. 653, 655.

[441] Веспас. Fior. pp. 124 sqq., and 'Inventario della Libreria Urbinata compilata nel Secolo XV. da Federigo Veterano, bibliotecario di Federigo I. da Montefeltro Duca d'Urbino,' given by C. Guasti in the *Giornale Storico degli Archivi Toscani*, vi. (1862), 127-147 and vii. (1863) 46-55, 130-154. Мнения современников о библиотеке см. в Favre, *Mélanges d'Hist. Lit.* i. 127, примечание 6. Ниже приводится суть замечаний доктора Гейгера по поводу старых авторов:

Для библиотеки Медичи, сост. *Delle condizioni e delle vicende della libreria medicea privata dal 1494 al 1508 ricerche di Enea Piccolomini*, Arch. stor. итал., 265 кв.м., 3 серия, т. xix. стр. 101-129, 254-281, xx. 51-94, xxi. 102-112, 282-296. Доктор Гейгер не берется за оценку относительной ценности различных редких и почти неизвестных произведений, содержащихся в библиотеке, и не может указать, где их сейчас можно найти. Он отмечает, что информация о Греции гораздо полнее, чем об Италии, что является характерной приметой того времени. Каталог содержит издания Библии, отдельных ее книг, с текстом и аннотациями, а также греческие и римские произведения в их наиболее полных на тот момент формах, вместе с некоторыми книгами на иврите — *tractatus quidam rabbinorum eвр.* — с большим количеством современных работ, в основном на латыни, и немалым количеством на итальянском.

Доктор Гейгер сомневается в абсолютной точности каталога библиотеки Веспасиано Фиорентино в Урбино. См. немецкое издание, i. 313, 314. [S.G.C.M.]

[442] Возможно, при взятии Урбино войсками Сезара Борджиа. Существование рукописи вызывало сомнения; но я не могу поверить, что Веспасиано назвал бы гномические отрывки из "Менандра", которые насчитывают не более пары сотен стихов, "tutte le opere" или упомянул бы их в списке исчерпывающих рукописей, хотя перед ним были только наши нынешние Пиндар и Софокл. Нет ничего невероятного в том, что этот Менандр может когда-нибудь выйти на свет.

[Каталог библиотеки в Урбино (см. Предыдущее примечание), датируемый пятнадцатым веком, не совсем соответствует отчету Веспасиано и замечаниям доктора Буркхардта по этому поводу. Как официальный документ, он заслуживает большего доверия, чем описание Веспасиано, которому, как и большинству его описаний, нельзя отказать в определенной неточности в деталях и склонности к чрезмерному приукрашиванию. В этом каталоге рукопись Менандра не упоминается. Следовательно, сомнения Май в ее существовании оправданны. Вместо "все произведения Пиндара" мы находим: "Олимпийский Пиндарис и Пифия". Каталог не делает различий между древними и современными книгами, содержит произведения Данте (среди прочих, *Комедии Таско Кармине*) и Боккаччо в очень несовершенной форме; произведения Петрарки, однако, во всей полноте. Можно добавить, что в этом каталоге упоминаются многие гуманистические произведения, которые до сих пор оставались неизвестными и неопубликованными, что в нем собраны собрания привилегий князей Монтефельтро и тщательно перечислены посвящения, предложенные переводчиками или авторами— оригиналами Федерико Урбинскому.- Л. Г.]

[443] О том, что следует далее и частично о том, что было раньше, см. W. Ваттенбаха, *"Шрифтвезен в Миттелальтере"*, 2-е изд. Лейпциг, 1875, стр. 392 кв. м., 405 кв. м., 505. Сост. также стихотворение, *De Officio Scribæ*, Фил. Бероальдус, который, однако, скорее говорит об общественном писце.

[444] Когда Пьеро де Медичи после смерти Матяша Корвина, короля Венгрии, любителя книг, заявил, что 'скриттори' должны снизить свои сборы, поскольку в противном случае они не найдут дальнейшей работы (Scil. за исключением Италии), он мог иметь в виду только греческих переписчиков, поскольку каллиграфов, к которым можно было бы отнести его слова, по-прежнему было много по всей Италии. Фаброни, *Лоран. Магн. Adnot.* 156 Сост. Adnot. 154.

[445] Гайе, *Картеджо*, i. стр. 164. Письмо 1455 года правления Каликста III. Знаменитая миниатюрная Библия Урбино написана французом, мастером Веспасиано. См. D'Agincourt, *La Peinture*, табл. 78. О немецких переписчиках в Италии см. Далее G. Campori, *Artisti Italiani e Stranieri negli Stati Estensi*, Модена, 1855, стр. 277, и *Giornale di Erudizione Artistica*, том ii. стр. 360 кв. м. Wattenbach, *Schriftwesen*, 411, note 5. Информацию о немецких принтерах смотрите ниже.

[446] Веспас. Фиор. стр. 335.

[447] Ambr. Трав. *Послание*. i. стр. 63. Папа был в равной степени полезен библиотекам Урбино и Пезаро (библиотеке Алесса. Сфорца, стр. 38). Сост. Свод. Стр. ital. xxi. 103-106. Библия и комментарии к ней; отцы Церкви; Аристотель с его комментаторами, включая Аверроэса и Авиценну; Моисей Маймонид; латинские переводы греческих философов; латинские прозаики; из поэтов упоминаются только Вергилий, Статий, Овидий и Лукан.

[448] Веспас. Фиор. стр. 129.

[449] "Искусство — это труд, суть которого заключается в артикуляции" в стихотворении Роберта Урсуса около 1470 года, *переиздание итал. Сценарий, бывший Кодд. Fiorent.* том, ii. кол. 693. Он слишком поспешно радуется быстрому распространению классической литературы, на которое возлагались надежды. Сост. Libri, *Hist. des Sciences Mathématiques*, ii. 278 sqq. (См. также хвалебную речь Лора. Valla, *Hist. Zeitschr.* xxxii. 62.) О печатниках в Риме (первыми были немцы: Хан, Паннарц, Швайнхайм) см. Гаспар. Верон. *Vita Pauli II.* в Murat. iii. ii. col. 1046; и Laire, *Спец. История. Typographiæ Romanae*, xv. sec. Рим, 1778; Грегоровиус, vii. 525-33. О первом Привилегиуме в Венеции см. Марин Санудо, в Муратори, XXII. кол. 1189.

[450] Нечто подобное уже существовало в эпоху рукописей. Увидеть Веспаса. Фиор. стр. 656, о *Кронако-дель-Мондо* Зембино из Пистойи.

[451] Фаброни, *Лоран. Магн. Adnot.* 212. Это произошло в случае с клеветой. *De Exilio.*

[452] Даже у Петрарки часто можно заметить сознание этого превосходства итальянцев над греками: *Epp. Fam. lib. i.* ер. 3; *Epp. Sen. lib. xii.* ер. 2; он неохотно хвалит греков: *Кармина*, lib. iii. 30 (ред. Россетти, т. ii. стр. 342). Столетие спустя Эней Сильвий пишет (Комм. to Panormita, 'De Dictis et Factis Alfonsi,' Append.): 'Alfonsus tanto est Socrate major quanto gravior Romanus homo quam Græcus putatur.' В соответствии с этим чувством изучению греческого языка уделялось мало внимания. Из использованного ниже документа, написанного около 1460 года, явствует, что Порчеллио и Томазо Сенека пытались противостоять растущему влиянию греческого языка. Точно так же Паоло Кортезе (1490) испытывал отвращение к греческому языку, чтобы не подорвать до сих пор исключительный авторитет латыни, *De Hominibus Doctis*, стр. 20. Об изучении греческого языка в Италии см., особенно. ученый труд Фавра "*Меланж д'Ист*". *Литера. i. passim.*

[453] См. выше стр. 187 и сост. С. Фойгт, *Видербелебунг*, 323 кв.

[454] Вымирание этих греков упоминается Пиерием Валерианом, *Непревзойденным литератором*. кстати, о Ласкарисе. И Павел Иовиус в конце своей "*Литературной книги*" говорит о немцах: "Quum literæ non latinæ modo cum pudore nostro, sed græcæ et hebraicæ in eorum terras fatali commigratione transierint" (около 1450 г.). Точно так же за шестьдесят лет до этого (1482 г.) Иоан. Аргиропулос воскликнул, услышав, как молодой Рейхлин переводит Фукидида в своей лекционной аудитории в Риме: "Græcia nostra exilio transvolavit Alpes". Geiger, *Reuchlin* (Lpzg. 1871), pp. 26 sqq. Бурхардт, 273. Замечательный отрывок можно найти в книге Юпитера. Pontanus, *Antonius*, opp. iv. p. 203: 'In Græcia magis nunc Turcaicum discas quam Græcum. Quicquid enim doctorum habent Græcæ disciplinæ, in Italia nobiscum victitat.

[455] Ранке, *Пяпсте*, i. 486 кв.м. Комп. окончание этой части нашей работы.

[456] Томмазо Гар, *Реляциони делла Корте ди Рома*, i. стр. 338, 379.

[457] Георгий Трапезундский, преподаватель риторики в Венеции, с зарплатой 150 дукатов в год (см. Малипьеро, *арх. Стор.* vii. ii. стр. 653). О греческой кафедре в Перудже см. *Арх. История.* xvi. ii. стр. 19 Введения. В случае Римини есть некоторые сомнения в том, преподавали греческий или нет. Сост. *Анекдот. Litt.* ii. p. 300. В Болонье, центре юридических исследований, *Aurispa* добилась небольшого успеха. Подробности по этому вопросу в Малаголе.

[458] Исчерпывающая информация по этому вопросу содержится в замечательной работе А. Ф. Дидо, *"Альде Мануке и эллинизм в Венеции"*, Париж, 1875.

[459] For what follows see A. de Gubernatis, *Matériaux pour servir à l'Histoire des Études Orientales en Italie*, Paris, Florence, &c., 1876. Дополнения от Соаве в *Итальянской студии "Bolletino Italiano degli Studi Orientali"*, i. 178 кв. Более точная информация ниже.

[460] Смотрите ниже.

[461] См. *Комментарий к жизни Мессера Джаноццо Манетти, скритто да Веспасиано Бистиччи*, Турин, 1862 г., особенно стр. 11, 44, 91 кв.

[462] Vesp. Фиор. с. 320. A. Trav. *Послание*. lib. xi. 16.

[463] Платина, *Вита Сиксти IV*. стр. 332.

[464] Бенедикт Фалеус, *Древнееврейский греческий латиноамериканский литературный сборник*, Неаполь, 1520.

[465] О Данте см. Вегеле, *Данте*, 2-е изд., стр. 268, и Ласинио, *Данте и семитский язык в "Восточной Ривисте"* (Флор. 1867-8). О Поджо, *Опера*, стр. 297; Лев. Бруни, *Послание*. lib. ix. 12, сост. Грегоровиус, vii. 555, и Шепард-Тонелли, *Вита Поджо*, i. 65. Письмо Поджо к Никколи, в котором он рассуждает об иврите, было недавно опубликовано на французском и латыни под названием *"Бани против погге"*, Энтони Мерее, Париж, 1876. Поджо пожелал узнать, на каких принципах Джером переводил Библию, в то время как Бруни утверждал, что теперь, когда перевод Джерома существует, к нему проявляют недоверие, изучая иврит. О Манетти как о коллекционере рукописей на иврите. см. Штейншайдера в цитируемой ниже работе. В библиотеке Урбино всего была шестьдесят одна рукопись на иврите. Among them a Bible 'opus mirabile et integrum, cum glossis mirabiliter scriptus in modo avium, arborum et animalium in maximo volumine, ut vix a tribus hominibus feratur.' Они, как явствует из списка Ассеманни, сейчас в основном находятся в Ватикане. О первом издании на иврите см. Steinschneider and Cassel, *Jud. Типографское в книге Э. У. Грубера "Реальный цикл"*. раздел ii. bd. 28, стр. 34, и *Catal. Бодл.* Штайншайдер, 1852-60, стр. 2821-2866. Характерно, что из двух первопечатников один принадлежал Мантуе, другой - Реджо в Калабрии, так что печатание еврейских книг началось почти одновременно на двух концах Италии. В Мантуе печатником был еврейский врач, которому помогала его жена. В качестве курьеза можно упомянуть, что в *Гипнеротомахии* Полифило, написанной в 1467 году, напечатанной в 1499 году, fol. 68 a, есть короткий отрывок на иврите; в остальном иврит не встречается в альдинских изданиях до 1501 года. Ученые-ивритисты в Италии приведены Де Губернатисом (стр. 80), но авторитетные источники цитируются не для них по отдельности. (Марко Липпоманно опущен; сост. Штайншайдер в книге, приведенной ниже.) Паоло де Канал упоминается Пирсом как ученый гебраист. Валериан. *De Infel. Лумерам*. изд. Менкен, стр. 296; в 1488 году профессор в Болонье, *mag. Вукентий*; сост. *Costituzione, discipline e riforme dell'antico studio Bolognese. Memoria del Prof. Лучано Скарабелли*, Пьяченца, 1876; в 1514 году профессор в Риме Агариус Гидацериус, согласно Грегоровиусу, viii. 292, и цитируемые там отрывки. На Guid. see Steinschneider, *Bibliogr. Handbuch*, Leipzig, 1859, pp. 56, 157-161.

[466] Литературная деятельность евреев в Италии слишком велика и имеет слишком широкое влияние, чтобы ее можно было полностью обойти молчанием. Следующие абзацы, которые, чтобы не перегружать текст, я перенес в примечания, полностью отражают суть сообщений, сделанных мне доктором М. Штайншнайдером из Берлина, которому я [доктор Людвиг Гейгер] пользуясь случаем, хочу выразить свою благодарность за его постоянную и дружескую помощь. Он привел исчерпывающие доказательства по этому вопросу в своем глубоком и поучительном трактате "Итальянская литература Джудеи" в обзоре *Il Buonarrotti*, тома vi. viii. xi. xii.; Рим, 1871-77 (также печатается отдельно); к которому я раз и навсегда отсылаю читателя.

Во времена Второго Храма в Риме жило много евреев. Они настолько основательно переняли язык и цивилизацию, господствовавшие в Италии, что даже на своих гробницах использовали не иврит, а латинские и греческие надписи (переданные Гаруччи, см. Steinschneider, *Евр. Библиогр.* vi. с. 102, 1863). В частности, в Нижней Италии изучение греческого языка сохранилось в средние века среди жителей в целом, и особенно среди евреев, некоторые из которых, как говорят, преподавали в Университете Салерно и соперничали с христианами в литературной продуктивности (сост. Steinschneider, 'Donnolo,' in Virchow's *Archiv*, bd. 39, 40). Это превосходство греческой культуры продолжалось до тех пор, пока сарацины не завоевали Нижнюю Италию. Но до этого завоевания евреи Средней Италии стремились сравняться или превзойти своих южных братьев. Еврейское образование сосредоточилось в Риме, а оттуда уже в шестнадцатом веке распространилось в Кордову, Кайрованну и Южную Германию. Благодаря этим эмигрантам итальянский иудаизм стал учителем всей расы. Благодаря своим трудам, особенно труду Арух Натана бен Иехиэля (1101), большому словарю Талмуда, Мидрашим и Таргума, "который, хотя и не основан на подлинно научном духе, предлагает такой богатый запас материала и опирается на такие ранние авторитеты, что его сокровища даже сейчас не полностью исчерпаны", он косвенно оказал большое влияние (Абрахам Гейгер, "*Иудейский мир и невод*", Бреслау, bd. ii. 1865, стр. 170; и *Nachgelassene Schriften того же автора*, bd. ii. Берлин, 1875, стр. 129 и 154). Немного позже, в XIII веке, еврейская литература в Италии сблизила евреев и христиан и получила через Фридриха II, а еще больше, возможно, через его сына Манфреда, своего рода официальную санкцию. Об этом контакте у нас есть свидетельство в том факте, что итальянец Никколо ди Джовинаццо изучал у еврея Моисея бен Саломо латинский перевод знаменитой работы Маймонида "*Больше Небухима*"; об этой санкции - в том факте, что император, который отличался своим свободомыслием в той же степени, что и любовью к востоковедению, вероятно, был причиной создания этого латинского перевода и вызвал знаменитого Анатолия из Прованса в Италию для перевода работ Аверроэса на иврит (сост. Steinschneider, *Hebr. Библиогр.* xv. 86 и Ренан, "*Аверроэс и Аверроэзм*", третье издание, Париж, 1866, стр. 290). Эти меры доказывают знакомство ранних евреев с латынью, что делало возможным общение между ними и христианами — общение, которое носило иногда дружеский, а иногда и полемический характер. Еще больше, чем Анатолий, Гиллель б. Самуэль во второй половине XIII века посвятил себя латинской литературе; он учился в Испании, вернулся в Италию и здесь сделал много переводов с латыни на иврит; среди них труды Гиппократ в латинской версии. (Это было напечатано Гайотиусом в 1647 году и выдавалось за его собственное.) В этом переводе он ввел несколько итальянских слов в качестве пояснения и, возможно, таким образом или всем своим литературным ходом навлек на себя упрек в презрении к еврейским доктринам.

Но евреи пошли дальше этого. В конце тринадцатого и в четырнадцатом веках они настолько сблизились с христианской наукой и представителями культуры Возрождения, что один из них,

Джуда Романо, в ряде доселе ненапечатанных работ усердно трудился над схоластической философией, а в одном трактате использовал итальянские слова для объяснения еврейских выражений. Он один из первых, кто это сделал (Штайншнайдер, *Джуда Романо*, Рим, 1870). Другой, двоюродный брат Джуды, Манозелло, друг Данте, написал в подражание ему что-то вроде "Божественной комедии" на иврите, в которой он превозносит Данте, смерть которого он также оплакивал в итальянском сонете (Абрахам Гейгер, *Jüd. Zeitsch.* v. 286-331, Бреслау, 1867). Третий, Моисей Риете, родившийся ближе к концу века, писал произведения на итальянском языке (образец в Каталоге рукописей на иврите, Лейден, 1858). В пятнадцатом веке мы можем ясно распознать влияние эпохи Возрождения в Мессере Леоне, еврейском писателе, который в своей *риторике* использует Квинтилиана и Цицерона, а также еврейские авторитеты. Одним из самых известных еврейских писателей Италии XV века был Элиа дель Медиги, философ, который публично преподавал как еврей в Падуе и Флоренции и однажды был выбран венецианским сенатом арбитром в философском споре (Абр. Гейгер, *Начгелассене Шифтен*, Берлин, 1876, bd. iii. 3). Элиа дель Медиги был учителем Пико делла Мирандолы; кроме него, Йоханан Алеманно (ум. Steinschneider, *Polem. u. Apolog. Lum.* Lpzg. 1877, anh. 7, § 25). Список образованных евреев Италии, возможно, замыкают Калоним бен Давид и Абрахам де Бальмес (ум. в 1523 г.), которым принадлежит большая часть переводов Аверроэса с иврита на латынь, которые все еще публично читались в Падуе в семнадцатом веке. К этому ученому можно добавить еврейского Альду, Герсона Сончино, который не только сделал свою типографию центром еврейского книгопечатания, но и, публикуя греческие произведения, вторгся на территорию самого великого Альду (Штайншнайдер, *Герсон Сончино и Альдус Мануций*, Берлин, 1858).

[467] Пиерий Валериан. *De Infelic. Lit.* ред. Менкен, 301, говоря о Монгаджо. Губернатис, стр. 184, отождествляет его с Андреа Альпаго из Беллемо, который, как говорят, также изучал арабскую литературу и путешествовал по Востоку. Об арабских исследованиях в целом, Губернатис, стр. 173 кв. Для перевода, выполненного в 1341 году с арабского на итальянский, сост. Narducci, *Intorno ad una tradizione italiana di una composizione astronomica di Alfonso X. rè di Castiglia*, Roma 1865. О Рамузио см. Сансовино, *Венеция*, стр. 250.

[468] Губернатис, стр. 188. Первая книга содержит христианские молитвы на арабском языке; первые итальянские переводы Корана появились в 1547 году. В 1499 году мы встречаемся с несколькими не очень удачными арабскими шрифтами в работе Полифило, р. 7 а. О начале изучения Египта см. Грегоровиус, viii. стр. 304.

[469] Особенно в важном письме 1485 года Эрмолао Барбаро, в *англ. Политический деятель. Epistolæ*, l. ix. Comp. Jo. Pici, *Oratio de Hominis Dignitate*. Об этом рассуждении читайте в конце части iv.; о самом Пико подробнее будет рассказано в части vi. глава 4.

[470] Их оценка самих себя указана Поджио (*De Avaritia*, fol. 2), согласно которому только такие люди могли сказать, что они жили (*se vixisse*), которые писали ученые и красноречивые книги на латыни или переводили с греческого на латынь.

[471] Особенно. Libri, *Histoires des Sciences Mathém.* ii. 159 sqq., 258 sqq.

[472] *Чистилище*, xviii. содержит поразительные примеры. Мария спешит через горы, цезарь - в Испанию; Мария бедна, а Фабриций бескорыстен. Здесь мы можем отметить хронологическое

введение Сивилл в светскую историю античности, предпринятое Уберти в его *Диттамондо* (i. главы 14, 15), около 1360 года.

[473] Первый немецкий перевод *Декамерона* Х. Штайнховеля был напечатан в 1472 году и вскоре стал популярным. Переводам всего *Декамерона* почти везде предшествовали переводы "Истории Гризельды", написанные Петраркой на латыни.

[474] Эти латинские сочинения Боккаччо были недавно превосходно обсуждены Шюком, "*Характеристика умалии*". *Hum. im 14 und 15 Jahrh.* Breslau, 1865; and in an article in Fleckeisen and Masius, *Jahrbücher für Phil. und Pädag.* bd. xx. (1874).

[475] "Поэта" даже у Данте (*Новая жизнь*, стр. 47) означает только автора латинских стихов, в то время как для итальянского используются выражения 'Rimatore, Dicitore per rima'. Это правда, что со временем названия и идеи смешались.

[476] Петрарка тоже на пике своей славы жаловался в минуты меланхолии, что его злая звезда предопределила ему провести свои последние годы среди негодяев (*extremiures*). В воображаемом письме к Ливию, *Epp. Fam.* изд. Fracass. lib. xxiv. ep. 8. Хорошо известно, что Петрарка защищал поэзию и каким образом (сост. Geiger, *Petr.* 113-117). Помимо врагов, которые окружали его вместе с Боккаччо, ему приходилось сталкиваться с врачами (сост. *Инвективы в "Медицинском обиходе"*, главы i и ii).

[477] Боккаччо в более позднем письме Якобусу Пизинге (*Опера Волгари*, том xvi.) более строго ограничивается поэзией в собственном смысле этого слова. И все же он признает поэзией только то, что относилось к античности, и игнорирует трубадуров.

[478] Петр. *Эпп. Сенил.* lib. i. ep. 5.

[479] Boccaccio (*Vita di Dante*, p. 50): 'La quale (laurea) non scienza accresce ma è dell'acquistata certissimo testimonio e ornamento.'

[480] *Paradiso*, xxv. 1 кв.м. Boccaccio, *Vita di Dante*, p. 50. 'Sopra le fonti di San Giovanni si era disporto di coronare.' Comp. *Парадизо*, i. 25.

[481] Смотрите письмо Боккаччо к нему в "*Opera Volgari*", том xvi. стр. 36: "Si prestat Deus, concedente senatu Romuleo". ...

[482] Мэтт. Виллани, ст. 26. По городу прошла торжественная конная процессия, когда последователи императора, его 'барони', сопровождали поэта. Боккаччо, Л. к. Петрарка: *Инвективы против медицины. Præf.* См. также *Epp. Семья. Volgarizzate da Fracassetti*, iii. 128. За речь Заноби на коронации, Фриджунг, около 308 кв. м. Фацио дельи Уберти также был коронован, но неизвестно, где и кем.

[483] Яс. Волатерран. в Мюрате. xxiii. col. 185.

[484] Веспас. Фиорент. стр. 575, 589. *Жизнь Яна. Манетти*, в Murat. xx. col. 543. Известность Лионардо Аретино была при его жизни настолько велика, что люди съезжались со всех концов света только для того, чтобы увидеть его; один испанец упал перед ним на колени. — Вечерня, стр. 568. На памятник Гуарино магистрат Феррары выделил в 1461 году значительную по тем

временам сумму в 100 дукатов. О коронации поэтов в Италии есть хорошее резюме заметок в Favre, *Mélanges d'Hist. Lit.* (1856), i. 65 кв.

[485] Сост. Libri, *Histoire des Sciences Mathém.* ii. p. 92 sqq. Болонья, как хорошо известно, была старше. Пиза процветала в четырнадцатом веке, пала во время войн с Флоренцией и впоследствии была восстановлена Лоренцо Магнifico, "ad solatium veteris amissæ libertatis", как говорит Джовио, *Vita Леонис X.* л. и. Флорентийский университет (сост. Гайе, *Картеджио*, i. стр. 461-560 *passim*; *Маттео Виллани*, i. 8; vii. 90), который существовал еще в 1321 году с обязательным посещением для местных жителей города, был основан заново после Черной смерти в 1348 году и приносил доход в 2500 золотых флоринов, снова пришел в упадок и был восстановлен в 1357 году. Кафедра объяснения Данте, созданная в 1373 году по просьбе многих граждан, впоследствии была объединена с кафедрой филологии и риторики, как тогда, когда ее занимал Филельфо.

[486] Это следует отметить в списках профессоров, например, в списке Павийского университета за 1400 год (Corio, *История Милана*, стр. 290), где (среди прочих) фигурируют не менее двадцати юристов.

[487] Марин Санудо, в Мурате. xxii. col. 990.

[488] Фаброни, *Лоран. Магн.* Примечание. 52, в 1491 году.

[489] Аллегретто, *Диари Санеси*, в Мурате. xiii. col. 824.

[490] Филельфо, когда его вызвали в недавно основанный Пизанский университет, потребовал не менее 500 золотых флоринов. Комп. Фаброни, *Лаур. Магн.* ii. 75 кв.м. Переговоры были прерваны не только из-за запрошенной высокой зарплаты.

[491] Сост. Веспасиан. Фиорент. стр. 271, 572, 582, 625. *Vita. Январь. Манетти*, в Murat. xx. col. 531 кв.

[492] Веспас. Фиорент. стр. 1460. Прендилакка (ученик Витта.), *Intorno alla Vita di V. da F.*, первое изд. by Natale dalle Lasta, 1774, translated by Giuseppe Brambilla, Como, 1871. C. Rosmini, *Idea dell'ottimo Precettore nella Vita e Disciplina di Vittorino da Feltre e de' suoi Discepoli*, Bassano, 1801. Более поздние работы Рачели (Милан, 1832) и Венуа (Париж, 1853).

[493] Веспас. Fior. p. 646, of which, however, C. Rosmini, *Vita e Disciplina di Guarino Veronese e de' suoi Discepoli*, Brescia, 1856 (3 vols.), says that it is (ii. 56), 'formicolante di errori di fatto.'

[494] Об этом и о Гуарино в целом см. Facius, *De Vir. Illustribus*, p. 17 sqq.; and Cortesius, *De Hom. Doctis*, стр. 13. Оба согласны с тем, что ученые следующего поколения гордились тем, что были учениками Гуарино; но в то время как Фацио хвалит его работы, Кортезе считает, что он больше заботился бы о своей славе, если бы ничего не написал. Гуарино и Витторино были друзьями и помогали друг другу в учебе. Современники любили сравнивать их, и в этом сравнении Гуарино обычно занимал первое место (Sabellico, *Dial. de Lingu. Lat. Репарата*, в Росмини, ii. 112). Отношение Гуарино к 'Эрмафродито' примечательно; см. Росмини, ii. 46 кв. У обоих этих учителей наблюдалась необычная умеренность в еде и питье; они никогда не пили неразбавленного вина; у обоих принципы воспитания были одинаковы; они не применяли телесных наказаний; самое суровое наказание, которому подвергал Витторино, заключалось в

том, что мальчик становился на колени и ложился на землю в присутствии своих товарищей-учеников.

[495] Эрцгерцогу Сигизмунду, *Послание*. 105, стр. 600, и королю Ладиславу Постуму, стр. 695; последнее как *Трактат о свободном образовании* (1450).

[496] Стр. 625. О Никколи см. Далее речь Поджо, *Опера*, изд. 1513, стр. 102 кв.; и жизнь Манетти в его книге "*О длинных иллюстрациях*".

[497] Следующие слова Веспасиано непереводимы: "Настала эра ведро в таволе коси антико, эра уна джентилецца".

[498] Там же. стр. 495.

[499] Согласно Веспасу. стр. 271, ученые мужи имели обыкновение собираться здесь для обсуждения.

[500] О Никколи можно далее отметить, что, подобно Витторино, он ничего не писал, будучи убежден, что ни о чем не может трактовать в столь совершенной форме, как ему хотелось; что его чувства были настолько тонко уравновешены, что он "никогда не понимал азина, никогда не понимал секантем серрам, никогда не ощущал мускулистости". потерять. Но нельзя забывать и о менее благоприятных сторонах характера Никколи. Он отнял у своего брата его возлюбленную Бенвенуту, вызвал этим поступком негодование Лионардо Аретино и был озлоблен девушкой против многих своих друзей. Он обиделся на отказ одолжить ему книги и сильно поссорился из-за этого с Гуарино. Он не был свободен от мелочной ревности, под влиянием которой пытался изгнать Хрисолора, Поджио и Филельфо из Флоренции.

[501] Смотрите его *Жизнеописание* Нальдуса Нальди в Murat. xx. col. 532 кв.м. See further Vespasiano Bisticci, *Commentario della Vita di Messer Giannozzo Manetti*, first published by P. Fanfani in *Collezione di Opere inedite o rare*, vol. ii. Torino, 1862. Этот 'Комментарий' следует отличать от краткой 'Жизни' Манетти того же автора, в которой часто упоминаются первые. Веспасиано был в близких отношениях с Джанноццо Манетти и в своей биографии попытался нарисовать идеальный образ государственного деятеля для вырождающейся Флоренции. Веспасиано - авторитет Нальди. Сост. также фрагмент из Галетти, *Фил. Vill. Свобода Флор.* 1847, стр. 129-138. Полвека спустя после его смерти Манетти был почти забыт. Сост. Paolo Cortese, p. 21.

[502] Название работы на латыни и итальянском приведено в Bisticci, *Commentario*, стр. 109, 112.

[503] То, что было известно о Платоне раньше, могло быть лишь фрагментарным. Странная дискуссия об антагонизме Платона и Аристотеля состоялась в Ферраре в 1438 году между Уго Сиенским и греками, пришедшими на Собор. Сост. Эней Сильвий, "*Европейская*, глава 52 (*Опера*, стр. 450).

[504] В книге Никколо Валори "*Жизнь Лоренцо Великолепного*". Комп. Веспас. Фиорент. стр. 426. Первыми сторонниками Аргиропулоса были Аччаджоли. *Ib.* 192: Кардинал Виссарион и его параллели между Платоном и Аристотелем. *Ib.* 223: Кузанус как платонист. *Ib.* 308: Каталонец Нарцисо и его споры с Аргиропулосом. *Ib.* 571: Отдельные диалоги Платона, переведенные

Лионардо Аретино. *ib.* 298: Растущее влияние неоплатонизма. О Марсилио Фичино см. Ремон, *Лоренцо де Медичи*, ii. 27 кв.

[505] Варчи, *Рассказ. Фиор.* стр. 321. Замечательный набросок характера.

[506] Упомянутые выше "Жизни Гуарино и Витторино" Росмини (стр. 213, примечание 1; и 215, примечание 1), а также "Жизнь Поджио" Шепарда, особенно в расширенном итальянском переводе Тонелли (2 тома. Флоренция, 1825); переписка Поджо, отредактированная тем же автором (2 тома. Flor. 1832); и письма Поджио в "*Spicilegium*" Майи, том x. Рим, 1844, стр. 221-272, содержат много информации по этому вопросу.

[507] *Сообщение.* 39; *Опера*, стр. 526, посвящается Мариано Социно.

[508] Нас не должен вводить в заблуждение тот факт, что наряду со всем этим часто раздавались жалобы на недостаточность княжеского покровительства и безразличие многих князей к своей славе. См., например, Бапт. Мантан, *Eclog.* v. еще в пятнадцатом веке; и Амброджо Траверсари, *De Infelicitate Principum*. Удовлетворить всех было невозможно.

[509] О литературном и научном покровительстве пап вплоть до конца пятнадцатого века см. Грегоровиус, том vii. и viii. For Pius II., see Voigt, *En. Silvio als Papst Pius II.* bd. iii. (Берлин, 1863), стр. 406-440.

[510] Lil. Грег. Гиральдус, *О временных ноздрях Поэта*, говоря о *Сфероидусе* из Камерино. Достойный человек не закончил его вовремя, и его труд сорок лет пролежал у него в столе. За скудные выплаты, произведенные Сикстом IV, сост. Pierio Valer. *Де Инфелик. Лит.* о Теодорасе Газе. Он получил за перевод и комментарий к труду Аристотеля пятьдесят золотых флоринов 'ab eo a quo se totum inauratum iri speraverat'. О преднамеренном исключении гуманистов из кардинала папами до Льва, сост. Надгробная речь бабушки о кардинале Эджидио, *Анекдот. Лит.* iv. с. 307.

[511] Лучшие из них можно найти в "*Итальянском поэте*" и в приложениях к различным изданиям Роско, *Леона X.* Несколько поэтов и писателей, таких как Алционий, *De Exilio*, изд. Менкен, стр. 10, откровенно говорит, что они восхваляют Льва, чтобы самим стать бессмертными.

[512] Пол. Йов. *Элогия* кстати, о Гвидо Постумусе.

[513] Пьеро Валериано в его *Сими.*

[514] Смотрите элегию Иоанна. Aurelius Mutius in the *Deliciae Poetarum Italorum*.

[515] Хорошо известная история о пурпурном бархатном кошельке, наполненном золотыми мешочками разного размера, в который Лео обычно засовывал руку вслепую, находится у Джиральди *Гекатоммити*, vi. 8 ноября. С другой стороны, латинских 'импровизаторов', когда их стихи были слишком ошибочными, высекали плетью. Лил. Грег. Gyraldus, *De Poetis Nostri Temp. Opp.* ii. 398 (Basil, 1580).

[516] Роско, *Леоне X.* ред. Босси. iv. 181.

[517] Веспас. Фиор. стр. 68 кв. Переводы с греческого, сделанные по заказу Альфонсо, см. на стр. 93; *Вита янв. Манетти*, в Murat. xx. col. 541 кв.м., 450 кв.м., 495. Панормита, *Слова и факты Альфонси*, с примечаниями Энейса Сильвиуса, под ред. Якоба Шпигеля, Базель, 1538.

[518] Даже Альфонсо не смог угодить всем - Поджио, например. Посмотреть Шепард-Тонелли, *Поджио* ii. 108 кв.м. и письмо Поджио к Фациусу в *Fac. de Vir. Ill.* изд. Мехус, стр. 88, где он пишет об Альфонсо: "Ad ostentationem quædam facit quibus videatur doctis viris favere"; и письмо Поджио в Мае, *Спец.* том. x. стр. 241.

[519] Овидий. *Любовники*, iii. 11, стих ii.; Юпитерианин. Pontan.*De Principe*.

[520] *Джорн. Наполет.* in Murat. xxi. col. 1127.

[521] Веспас. Фиор. стр. 3, 119 кв. м. 'Volle aver piena notizia d'ogni cosa, cosi sacra come gentile.'

[522] Последний Висконти разделял свой интерес между Ливием, французскими рыцарскими романами, Данте и Петраркой. Гуманистов, которые представлялись ему с обещанием 'прославить его', обычно отсылали прочь через несколько дней. Сост. *Декабрь*, в Murat. xx. col. 1114.

[523] Пол. Йов. *Вита Альфонси Дучис*.

[524] О Колленуччо при дворе Джованни Сфорца из Пезаро (сына Алессандро, стр. 28), который, наконец, в 1508 году казнил его, см. стр. 135, примечание 4. Во время последнего Орделаффи в Форли это место занимал Кодрус Урсеус (1477-80); жалоба на смертном одре С. U. *Opp. Ven.* 1506, fol. liv.; за его пребывание в Форли, *Сермо*, vi. Сост. Карло Малагола, *Della Vita di C. U.* Болонья, 1877, Ап. iv. Среди проинструктированных деспотов мы можем упомянуть Галеотто Манфредди из Фаэнцы, убитого в 1488 году своей женой, и некоторых членов семьи Бентивольо в Болонье.

[525] *Литературный анекдот.* ii. стр. 305 кв.м., 405. Басиний Пармский высмеивает Порчеллио и Томмазо Сенеку; они - нуждающиеся паразиты, которым на старости лет приходится изображать солдат, в то время как он сам наслаждался "возрастом" и "виллой".

[526] Подробнее об этих захоронениях см. Keyssler, *Neueste Reisen*, с. 924.

[527] *Pii II. Комментарий.* л. ii. стр. 92. Под историей он подразумевает все, что имеет отношение к античности. Кортезиус также высоко хвалит его, стр. 34 кв.

[528] Фаброни, *Костнус*, Примечание. 118. Веспасиан. Fior. *passim*. Важный отрывок, касающийся требований, предъявляемых флорентийцами к своим секретарям ("quod honour apud Florentinos magnus habetur", - говорит Б. Фациус, говоря о назначении Поджио на должность секретаря, *De Vir. Ил.*, стр. 17), находится в "Энее Сильвиусе", "О Европе", глава 54 (*Опера*, стр. 454).

[529] См. Фойгт, *En. Silvio als Papst Pius II.* bd. iii. 488 кв., о часто обсуждаемом и часто неправильно понимаемом изменении, внесенном Pius II. в отношении Аббревиатур.

[530] Сост. заявление Якоба Шпигеля (1521), приведенное в отчетах Венской академии, lxxviii. 333.

[531] *Анекдот, лит. i. p. 119 кв.* Ходатайство ('Actio ad Cardinales Deputatos') Якобуса Волатерануса от имени Секретарей, несомненно, времен Сикста IV. (Фойгт, л. с. 552, примечание). Гуманистические притязания 'консистоциальных адвокатов' основывались на их ораторском искусстве, а секретарей - на их переписке.

[532] Императорская канцелярия при Фридрихе III. наиболее известен Эней Сильвий. Сост. *Эпп.* 23 и 105; *Опера*, стр. 516 и 607.

[533] Письма Бембо и Садолето часто печатались; письма первого, например, в *Опере*, Базель, 1556, том ii, где письма, написанные от имени Льва X., отличаются от частных писем; письма последнего наиболее полно, 5 томов. Рим, 1760. Некоторые дополнения к обоим были даны Карло Малаголой в обзоре *ell Baretti*, Турин, 1875. О *Асолани* Бембо будет сказано ниже; Значение Садолето для латинского стиля было оценено современником Петрусом Алциониусом следующим образом, *De Exilio*, изд. Menken, p. 119: 'Solus autem nostrorum temporum aut certe cum paucis animadvertit elocutionem emendatam et latinam esse fundamentum oratoris; ad eamque obtinendam necesse esse latinam linguam expurgare quam inquinaverunt nonnulli exquisitarum literarum omnino rudes et nullius iudicii homines, qui partim a circumpadanis municipiis, partim ex transalpinis provinciis, in hanc urbem confluerunt. Emendavit igitur 'eruditissimus hic vir corruptam et vitiosam linguæ latinæ consuetudinem, pura ac integra loquendi ratione.'

[534] Корио, *История Милана*, стр. 449, на письмо Изабеллы Арагонской своему отцу, Альфонсо Неаполитанскому; fols. 451, 464, два письма мавра Карлу VIII. Сравните историю в *Письме Питториче*, iii. 86 (Себастьяно дель Пьомбо - Аретино), как Климент VII во время разграбления Рима созвал вокруг себя своих ученых мужей и заставил каждого из них по отдельности написать письмо Карлу V.

[535] О соответствии периода в целом см. Фойгт, *Wiederbelebung*, 414-427.

[536] Бембо считал необходимым извиниться за то, что написал по-итальянски: "Объявление Семпрония", *Опера Бемби*, Bas. 1556, vol. iii. 156 кв.

[537] О собрании писем Аретино см. Выше, стр. 164 кв. м., и примечание. Сборники латинских букв были напечатаны еще в пятнадцатом веке.

[538] Сост. речи в *опере* Филельфа, Сабеллика, Бериальда и др.; а также сочинения и жизни Джанна. Манетти, Эней Сильвий и другие.

[539] B. F. *De Viris Illustribus*, изд. Мехус, стр. 7. Манетти в роли Весп. Бистиччи, *Commentario*, стр. 51, утверждает, что произнес много речей на итальянском, а затем записал их на латыни. Ученые XV века, например Паоло Кортезе, судили о достижениях прошлого исключительно с точки зрения 'Красноречия'.

[540] *Diario Ferrarese*, in Murat. xxiv. кол. 198, 205.

[541] *Pii II. Комментарий*. л. и., стр. 10.

[542] Успех удачливого оратора был велик, а унижение оратора, который не выдержал перед уважаемой аудиторией, не менее велико. Примеры последнего в книге Петра Кринита "О честной дисциплине", v глава. 3. Сост. Веспас. Фиор. стр. 319, 430.

[543] *Pii II. Комментарий*. л. iv. с. 205. Было также несколько римлян, которые ждали его в Витербо. 'Singuli per se verba facere, ne alius alio melior videretur, cum essent eloquentiâ ferme pares.' Тот факт, что епископу Ареццо не разрешили выступить от имени генерального посольства итальянских государств перед новоизбранным Александром VI, Гвиччардини всерьез называет (в начале книги i) среди причин, которые способствовали катастрофе 1494 года.

[544] Рассказано Марин Санудо из "Мурата". xxii. col. 1160.

[545] *Pii II. Комментарий*. л. ii. стр. 107. Сост. стр. 87. Другая принцесса-ораторша, мадонна Баттиста Монтефельтро, замужем за Малатестой, обратилась с речью к Сигизмунду и Мартину. Сост. *Свод. История*. iv. i. стр. 442, примечание.

[546] *Экспедиция в Туркасе*, в Мурате. xxiii. col. 68. 'Nihil enim Pii concionantis majestate sublimius.' Не говоря уже о наивном удовольствии, с которым Пий описывает свои собственные триумфы, см. Campanus, *Vita Pii II.*, в Murat. iii. ii. *passim*. В более поздний период эти речи оценивались менее восторженно. Сост. Фойгт, *ВДНХ Сильвио*, ii. 275 кв.

[547] Карл V., когда однажды не смог уследить за речами латинского оратора в Генуе, ответил на ухо Джовио: 'Ах, мой наставник Адриан был прав, когда сказал мне, что я должен быть наказан за свою детскую праздность в изучении латыни'. Paul. Jov. *Vita Hadriani VI*. Принцы ответили на эти речи через своих официальных ораторов - Фридриха III. через Энеа Сильвио, в ответ Джанноццо Манетти. Вечер. Bist. *Комментарий*. стр. 64.

[548] Lil. Грег. Гиральдус, *О поэзии ноздрей временных*. кстати, о Колленуччо. Филельфо, женатый мирянин, произнес вступительную речь в кафедральном соборе Комо для епископа Скарампи в 1460 году. Росмини, *Филельфо*, ii. 122, iii. 147.

[549] Фаброни, *Косм*, также отсутствует. 52.

[550] Что, тем не менее, несколько обидело Яс. Volaterranus (в Murat. xxiii. col. 171) на службе в память Платины.

[551] *Анекдот*, приведенный на первой странице 299, в надгробной речи Федры на Лод. Подакатаро, которого Гуарино обычно нанимал в таких случаях. Сам Гуарино произнес более пятидесяти речей на фестивалях и похоронах, которые перечислены в Rosmini, *Guarino*, ii. 139-146. Буркхардт, 332. Доктор Гейгер здесь замечает, что в Венеции также были свои профессиональные ораторы. Comp. G. Voigt, ii. 425.

[552] Многие из этих вступительных лекций сохранились в работах Сабеллика, Бероальда Майора, Кодруса Урсея и др. В творчестве последнего также есть несколько стихотворений, которые он декламировал "в principio studii".

[553] Слава о выступлении Помпонаццо сохранилась в Paul. Jov. *Elogia Vir. Докт.* стр. 134. В общем, создается впечатление, что речи, форма которых должна была быть безупречной, были выучены наизусть. В случае с Джанноццо Манетти мы точно знаем, что так было однажды (*Commentario*, 39). Смотрите, однако, отчет, стр. 64, с заключительным заявлением о том, что Манетти говорил лучше *экспромтом*, чем Аретино с подготовкой. Нам рассказывают о Кодрусе

Урсее, у которого была слабая память, что он читал свои речи (*Vita*, в конце своих сочинений. Ven. 1506, fol. lxx.). Следующий отрывок иллюстрирует преувеличенное значение, придаваемое ораторскому искусству: "Ausim affirmare perfectum oratorem (si quisquam modo sit perfectus oratorem) ita facile posse nitorem, lætitiā, lumina et umbras rebus dare quas oratione exponendas suscipit, изображение такого цвета и пигментация на лице видны всем." (Петр. Алционий, *De Exilio*, изд. Менкен, стр. 136.)

[554] Веспас. Фиор. с. 103. Сост. с. 598, где он описывает, как Джанноццо Манетти пришел к нему в лагерь.

[555] *Archiv. История*. xv. стр. 113, 121. Введение Канестрини, стр. 32 кв. Сообщается о двух таких речах перед солдатами; первая, написанная Аламани, удивительно хороша и достойна данного случая (1528).

[556] По этому поводу смотрите Фаустина Тердоцея в его сатире "*О триумфе глупости*", lib. ii.

[557] Оба этих экстраординарных случая происходят в Sabellicus, *Opera*, fol. 61-82. *De Origine et Auctu Religionis*, произнесенная в Вероне с кафедры перед босоногими монахами; и *De Sacerdotii Laudibus*, произнесенная в Венеции.

[558] Яс. Волатеррани. *Diar. Роман*. в Мюрате. xxiii. *passim*. В кол. 173 упоминается замечательная проповедь перед судом, хотя и в отсутствие Сикста IV. Отец Паоло Тосканелла обрушился с громом на папу, его семью и кардиналов. Когда Сикст услышал об этом, он улыбнулся.

[559] ФАЙЛ. Виллани, *Жизнеописание*, изд. Галетти, стр. 30.

[560] См. выше, стр. 237, примечание 3.

[561] Георг. Трапезунт, *Риторика*, первая полная система обучения. Æn. Sylvius, *Artis Rhetoricae Praecepta*, in the *Opera*, p. 992. намеренно рассматривает только построение предложений и расположение слов. Это характерно как пример рутины, которой следовали. Он называет несколько других авторов-теоретиков, некоторые из которых больше не известны. Комп. С. Voigt, ii. 262 кв.

[562] Его жизнь в Murat. xx. полна триумфов его красноречия. Сост. Веспас. Фиор. 592 кв. м., и *Комментарий*, стр. 30. На нас эти речи не производят большого впечатления, например, на коронации Фридриха III. у Фрера-Струве, *Сценарий. Перераб. Зародыш*. iii. 4-19. О речи Манетти на похоронах Льва. Aretino, Shepherd-Tonelli says (*Poggio*, ii. 67 sqq.): 'L'orazione ch'ei compose, è ben la cosa la più meschina che potesse udirsi, piena di puerilità volgare nello stile, irrelevante negli argomenti e d'una prolissità insopportabile.'

[563] *Annales Placentini*, в Murat. xx. col. 918.

[564] Например, Манетти. Сост. Вечер. *Commentario*, стр. 30; то же самое и у Савонаролы Сост. Perrens, *Vie de Savonarole*, i. p. 163. Стенографисты, однако, не всегда могли следовать за ним, как и за любыми быстрыми 'Импровизаторами'. Савонарола проповедовал по-итальянски. См. Pasq. Villari: *Vita di Savonarola*.

[565] Это ни в коем случае не было одним из лучших (*Произведение Бериальди*, Базель, 1509, fol. xviii.-XXI). Самое примечательное в нем - росчерк в конце: 'Есто тибидипси архетип и образец, тейпсум имитаре' и т.д.

[566] Письма и речи такого рода были написаны Альберто ди Рипальтой; сост. "*Анналы Плацентари*", написанные его отцом Антонио и продолженные им самим, в Murat. xx. col. 914 sqq., где педант дает поучительный отчет о своей собственной литературной карьере.

[567] *Pauli Jovii Dialogus de Viris Litteris Illustribus*, in Tiraboschi, tom. vii. parte iv. И все же он говорит примерно десять лет спустя, в конце *Elogia Litteraria*: 'Tenemus adhuc (после того, как лидерство в филологии перешло к немцам) sincerae et constantis eloquentiae munitam arcem' и т.д. Весь отрывок приведен на немецком языке у Грегоровиуса, viii. 217 кв. это важно, поскольку показывает точку зрения итальянца на Германию, и в этой связи снова цитируется ниже.

[568] Особый класс составляют полусатирические диалоги, которые Колленуччо и в еще большей степени Понтано скопировали у Лукиана. Их пример стимулировал Эразма и Хаттена. Образцом для собственно трактатов могли послужить так называемые части этических трудов Плутарха.

[569] См. Ниже, часть iv. глава 5.

[570] Сост. эпиграмма Санназаро:

'Dum patriam laudat, damnat dum Poggius hostem,
Nec malus est civis, nec bonus historicus.'

[571] Бенедикт: *Кароли VIII. История*. в Essard, Scriptt. vi. col. 1577.

[572] Петрус Кринитус сожалеет об этом неуважении, *О честной дисциплине*, л. xviii. глава. 9. Гуманисты здесь напоминают писателей эпохи заката античности, которые также отделили себя от своей эпохи. Сост. Burckhardt, *Die Zeit Constantin's des Grossen*. Смотрите с другой стороны несколько заявлений Поджио в Voigt, *Wiederbelebung*, стр. 443 кв.

[573] Лоренцо Валла в предисловии к "*Истории Фердинанди Реджиса Арага*"; в противовес ему Джакомо Дзено в "*Вите Кароли Зени*", Мурат. xix. стр. 204. Смотрите также, Гуарино, в Росмини, ii. 62 кв.м., 177 кв.м.

[574] В письме Пизинге, *Опера Волгари*, том xvi. стр. 38. С Раф. Volaterranus, l. xxi. интеллектуальный мир начинается в четырнадцатом веке. Это тот самый писатель, чьи ранние книги содержат так много замечательных для его времени замечаний об истории всех стран.

[575] Здесь тоже Петрарка расчистил путь. Особенно обратите внимание на его критическое исследование Австрийской хартии, утверждающей, что она происходит от Цезаря. *Err. Sen.* xvi. 1.

[576] Как у Джанноццо Манетти в присутствии Николая V, всего папского двора и огромного скопления незнакомцев со всех концов света. Комп. Весп. Fior. стр. 591, и более полно в *Commentario*, стр. 37-40.

[577] Фактически, уже было сказано, что Гомер один содержал в себе все искусства и науки - что он был энциклопедией. Комп. *Codri Urcei Opera*, Sermo xiii. в конце концов. Это правда, что мы встречались с подобным мнением у нескольких древних авторов. Слова К. У. (Sermo xiii., habitus in laudem liberalium artium; *Опера*, изд. Ven. 1506, fol. xxxviii. b) are as follows: 'Eia ergo bono animo esto; ego graecas litteras tibi exponam; et praecipue divinum Homerum, a quo ceu fonte perenni, ut scribit Naso, vatum Pieriis ora rigantur aquis. Ab Homero grammaticum dicere poteris, ab Homero rhetoricam, ab Homero medicinam, ab Homero astrologiam, ab Homero fabulas, ab Homero historias, ab Homero mores, ab Homero philosophorum dogmata, ab Homero artem militarem, ab Homero coquinariam, ab Homero architecturam, ab Homero regendarum urbium modum percipies; et in summa, quidquid boni quidquid honesti animus hominis discendi cupidus optare potest, in Homero facile poteris invenire.' С тем же успехом 'Сермо' VII. и viii. *Опера*, fol. xxvi. кв., в которых говорится только о Гомере.

[578] Кардинал при Павле II. обучал своих поваров этике Аристотеля. Сост. Гаспар. Верон. *Vita Pauli II.* in Muratori, iii. ii. col. 1034.

[579] Для изучения Аристотеля в целом особенно поучительна речь Гермолая Барбаруса.

[580] Берселлис, Энн. *Вопон.* в Мюрате. xxiii. col. 898.

[581] Вазари, xi. стр. 189, 257. *Vite di Sodoma e di Garofalo*. Неудивительно, что распутные женщины в Риме брали самые благозвучные древние имена — Юлия, Лукреция, Кассандра, Порция, Вирджиния, Пентесилея, под которыми они фигурируют у Аретино. Возможно, именно тогда евреи взяли имена великих семитских врагов римлян — Ганнибала, Гамилькара, Гасдрубала, которые даже сейчас они обычно носят в Риме. [Это последнее утверждение не может быть поддержано. Ни Цунц, "Имя еврея", Лейпциг, 1837, перепечатано в *ZunzGesammelte Schriften*, Берлин, 1876, ни Штайншнайдер в его сборнике в *Il Buonarrotti*, ser. ii. vol. vi. 1871, стр. 196-199, не упоминают ни одного еврея того периода, который носил эти имена, и даже сейчас, согласно запросам принца Буонкомпаньи от синьора Тальякапо, ответственного за еврейские архивы в Риме. , есть только несколько человек по имени Асдрубале, и ни одного Амилькаре или Аннибале. Л. Г.] Буркхардт, 352. Тщательный выбор названий рекомендуется Л. Б. Альберти, *Della famiglia*, opp. ii. стр. 171. Маффео Вегио (*О свободном образовании*. lib. i. с. х.) предостерегает своих читателей от использования *наименования неприличной варвары как новы, а не как горечавки божьей на солнце*. Такие имена, как "Нерон", позорят их носителя; в то время как другие, такие как Цицерон, Брут, Назон, Маро, могут использоваться *как таковые, характеризующие венеру как таковую, лишенную иллюзорной силы*.

[582]

'Quasi che 'l nome i buon giudici inganni,
E che quel meglio t' abbia a far poeta,
Che non farà lo studio di molt' anni!'

Так шутит Ариосто, которому судьба, несомненно, дала благозвучное имя, в *Седьмой сатире*, стих 64.

[583] Или после работ Боджардо, которые частично совпадают с его.

[584] Солдаты французской армии в 1512 году были 'omnibus diris ad inferos devocati'! О честном канонике Тицио, который со всей серьезностью произнес проклятие Макробия в адрес иностранных войск, речь пойдет дальше.

[585] *de infelicitate principum*, в Poggii *Опера*, ВОЛС. 152: 'Cujus (Дантис) exstat поэма praeclarum, neque, Latinis literis constaret Си, ullâ в одностороннем порядке poetis superioribus (древние) postponendum.' По словам Боккаччо, *Вита-Ду-Данте*, С. 74, 'много мудрых мужей даже тогда обсуждался вопрос, почему Данте написал не на латыни. Cortesius (*De hominibus doctis*, p. 7) complains: 'Utinam tam bene cogitationes suas Latinus litteris mandare potuisset, quam bene patrium sermonem illustravit!' Он высказывает ту же жалобу, говоря о Петрарке и Боккаччо.

[586] Его труд "*О вульгарном красноречии*" долгое время был почти неизвестен и, каким бы ценным он ни был для нас, никогда не смог бы оказать влияния на *Божественную комедию*.

[587] Чтобы узнать, как далеко зашел этот фанатизм, нам достаточно обратиться к Lil. Грег. Gyraldus, *De poetis nostri temporis, passim*. Веспасиано Бистиччи - один из немногих латинских писателей того времени, которые открыто признавались, что мало знали латынь (*Комментарий к жизни Дж. Манетти*, стр. 2), но он знал достаточно, чтобы вводить латинские предложения здесь и там в своих произведениях и читать латинские буквы (*там же*. 96, 165). В связи с этим исключительным отношением к латыни можно процитировать следующий отрывок из Петра. Алциний, *De exilio*, изд. Менкен, стр. 213. He says that if Cicero could rise up and behold Rome, 'Omnium maxime illum credo perturbarent ineptiae quorundam qui, amisso studio veteris linguae quae eadem hujus urbis et universae Italiae propria erat, dies noctesque incumbunt in linguam Geticam aut Dacicam discendam eandemque omni ratione ampliendam, cum Goti, Visigothi et Vandali (qui erant olim Getae et Daci) eam in Italos invexerant, ut artes et linguam et nomen Romanum delerent.'

[588] Были регулярные стилистические упражнения, как в "*Ораториях* старшего Бериальда", где есть две повести Боккаччо и даже "Канцона" Петрарки, переведенная на латынь.

[589] Сост. Письмо Петрарки с земли к прославленным теням внизу. *Опера*, стр. 704 кв. См. также стр. 372 в работе *Об оптике администрации*: "Таково истинное положение вещей".

[590] Юпитер рисует пародийную картину фанатичного пуризма, господствующего в Риме. Понтан в своем *Антонии*.

[591] *Открытка Адриани (Корнетани)*. С. Хрисогони *де сермоне латинская свобода*, особенно введение. Он находит у Цицерона и его современников латинство в его абсолютной форме (*an sich*). Тот же Кодрус Урций, который нашел у Гомера сумму всех наук (см. Выше, стр. 249, примечание 1), говорит (*Oppr.* изд. 1506, fol. lxx.): "Quidquid temporibus meis aut vidi aut studui libens omne illud Cicero mihi felici dedit omine", и заходит так далеко, что говорит в другом стихотворении (*там же*.): "Non habet huic similem doctrinae Graecia mater".

[592] Павел. Jov. *Elogia doct. vir.* стр. 187 кв., говоря о Бапте. Pius.

[593] Пол Джов. *Elogia*, on Naugerius. Их идеалом, по его словам, было: 'Aliquid in stylo proprium, quod particularem ex certain notâ mentis effigiem referret, ex naturae genio effinxisse'. Политиан, когда спешил, возражал против написания своих писем на латыни. Сост. Раф. Волат. *Комментарий. урбан.* л. xxi. Полициан к Кортесию (*Послание. lib. viii. ep. 16*): 'Mihi vero

longe honestior tauri facies, aut item leonis, quam simiae videtur;’ to which Cortesius replied: ‘Ego malo esse assecla et simia Ciceronis quam alumnus.’ Мнение Пико о латинском языке можно найти в цитированном выше письме, стр. 202.

[594] Пол. Джов. *Dialogus de viris literis illustribus*, in Tiraboschi, ed. Venez. 1766, tom. vii. p. iv. Хорошо известно, что Джовио давно стремился взяться за великую работу, которую выполнил Вазари. В упомянутом выше диалоге предвидится и выражается сожаление по поводу того, что латынь теперь полностью утратит свое господство.

[595] В ‘Бреве’ 1517 года на Франк. де Рози, сочиненный Садолето, в Роско, *Леоне X.* изд. Босси, vi. стр. 172.

[596] Вздох. Veronens. *Vita Pauli II.* in Murat. iii. ii. col. 1031. Также были исполнены пьесы Сенеки и латинские переводы греческих драм.

[597] В Ферраре Плавта играли в основном в итальянских экранизациях Колленуччо, младшего Гуарино и других, и в основном ради сюжетов. Изабелла Гонзага взяла на себя смелость назвать его скучным. О латинской комедии в целом см. Р. Пейпера в “Флекейзене и Масиусе”, *Neue Jahrb. für Phil. u. Pädag.*, Lpzg. 1874, xx. 131-138, and *Archiv für Literaturgesch.* v. 541 sqq. О Помпезности. Лаэт, смотри *Оперу Сабелличчи*, Послание к римлянам, т. xi, т. 56 кв.м, и ниже, в конце части III.

[598] Сост. Буркхардт. *Gesch. der Renaissance in Italien*, 38-41.

[599] О том, что следует далее, см. *Итальянские поэты*; Пол. Иов. *Логия*; Лил. Грег. Гиральдус, *О поэзии временных лет*; и Приложения к Роско, *Леоне X.* изд. Босси.

[600] Вышло два новых издания поэмы: Пинго (Париж, 1872) и Коррадини (Падуя, 1874). В 1874 году также появились два итальянских перевода, выполненных Г. Б. Гаудо и А. Палезой. О *Африке* сравните Л. Гейгера: *Петрарка*, стр. 122 кв. и стр. 270, примечание 7.

[601] Филиппо Виллани, *Vite*, изд. Галетти, стр. 16.

[602] Франк. *Aleardi Oratio in laudem Franc. Sfortiae*, in Marat. xxv. col. 384. Сравнивая Сципиона с Цезарем, Гуарино и Кириак Анконитан считали последнего, Поджио (*Опера*, ерр. fol. 125, 134 кв.) - первого, более великим. О Сципионе и Ганнибале на миниатюрах Аттаванте см. Вазари, iv. 41. *Жизнь Фьезоле*. Имена обоих использовались для обозначения Пичинино и Сфорца. См. стр. 99. Были большие споры относительно относительного величия этих двоих. Шепард-Тонелли, i. 262 кв. и Росмини: Гуарино, ii. 97-111.

[603] Ниже также будут упомянуты блестящие исключения, в которых сельская жизнь рассматривается реалистично.

[604] Напечатано в Mai, *Spicilegium Romanum*, vol. viii. стр. 488-504; около 500 стихов гекзаметром. Пьеро Валериано развил миф в своих стихах. Посмотрите его “*Карпио*” в “*Итальянском поэте*”. Фрески Брусасорчи в Пале. Мурари в Вероне представляют тему *Сарки*.

[605] Недавно отредактировано и переведено Т. А. Фасснахтом в *кнуре Drei Perlen der neulateinischen Poesie*. Leutkirch and Leipzig, 1875. See further, Goethe’s *Werke* (Hempel’sche Ausgabe), vol. xxxii. стр. 157 и 411.

[606] *De sacris diebus*.

[607], например, в его восьмой эклоге.

[608] Есть две незаконченные и ненапечатанные Сфорциады, одна написана старшим, другая - младшим Филельфо. О последнем см. Favre, *Mélanges d'Hist. Lit.* i. 156; о первом см. Rosmini, *Filelfo*, ii. 157-175. Говорят, что оно состоит из 12 800 строк и содержит отрывок: "Солнце влюбляется в Бьянку".

[609] Роско, *Леоне Х.* ред. Босси, viii. 184. Стихотворение в похожем стиле, xii. 130. Стихотворение Ангильберта о дворе Карла Великого любопытным образом напоминает нам эпоху Возрождения. Сост. Перц. *Монум.* ii.

[610] Строцци, *Поэты*, стр. 31 кв. 'Caesaris Borgiae ducis epicedium.'

[611]

'Pontificem addiderat, flammis lustralibus omneis
Corporis ablutum labes, Dis Juppiter ipsis,' etc.

[612] Это был Эрколе II Феррарский, родившийся 4 апреля 1508 года, вероятно, незадолго до или вскоре после написания этого стихотворения. "Nascere, magne puer, будущая мать", - говорится ближе к концу.

[613] Сост. сборников *скрипторов* Шардиуса, Фреера и др. и см. Выше стр. 126, примечание 1.

[614] Уззано, см. *Архив.* iv. i. 296. Macchiavelli, *i Decennali*. "Жизнь Савонаролы" под названием "Седрус Либани", фра Бенедетто. *Assedio di Piombino*, Murat. xxv. Мы можем процитировать в качестве параллели "Теуэрданк" и другие северные произведения в рифму (новое изд. из этого Хальтауса, Кведлинба. и Лейпциг, 1836). Популярные исторические песни немцев, которые в большом изобилии сочинялись в пятнадцатом и шестнадцатом веках, можно сравнить с этими итальянскими стихотворениями.

[615] Мы можем отметить о *coltivazione* Л. Аламанни, написанном по-итальянски 'versi sciolti', что все действительно поэтические и приятные отрывки прямо или косвенно заимствованы у древних (старое изд., Париж, 1540; новое изд. из сочинений А., 2 тома., Флоренция, 1867).

[616] Например, К. Г. Вайзе, Лейпциг, 1832. Произведение, разделенное на двенадцать книг, названных в честь двенадцати созвездий, посвящено Геркулесу II Феррарскому. В посвящении встречаются замечательные слова: 'Нам нужен алиум патронум во всей Италии, чтобы изобрести опоссума, как сердце мусы, как кармен сиби облатум, не знающая, не исследующая прямой кишечник?' Палингениус использует "Юпитер" и "Деус" без разбора.

[617] Первое шуточное стихотворение Л. Б. Альберти, предположительно написанное автором Лепидом, долгое время считалось произведением античности.

[618] В данном случае (см. Ниже, стр. 266, примечание 2) на введение к Лукрецию и Горацию, *Од.* iv. 1.

[619] Обращение к святому покровителю - это по сути языческое начинание, как было замечено на стр. 57. По более серьезному поводу, сост. Sannazaro's Elegy: 'In festo die divi Nazarii martyris.' Sann. *Elegiae*, 1535, fol. 166 sqq.

[620]

Si satis ventos tolerasse et imbres
Ac minas fatorum hominumque fraudes
Da Pater tecto salientem avito
Cernere fumum!

[621] *Andr. Naugerii, Orationes duae carminaque aliquot*, Venet. 1530, 4^o. Несколько "Кармина" частично или полностью содержатся в *Деликатесах*. О Н. и его смерти см. Pier. Val. *De inf. lit.* ред. Менкен, 326 кв.

[622] Сравните приветствие Петрарки Италии, написанное более чем столетием ранее (1353 г.) в *письме Петра. Кармина Минора*, изд. Россетти, ii. стр. 266 кв.

[623] Чтобы составить представление о том, что мог проглотить Лев Х., прочтите молитву Гвидо Постумо Сильвестри Христу, Пресвятой Деве и всем Святым, чтобы они надолго оставили этого 'нумена' на земле, поскольку на небесах их и так предостаточно. Напечатано в Roscoe, *Leone X.* изд. Босси, v. 337.

[624] "Поэзия волгари и латыни" *Мольцы*, под редакцией Пьерантонио Серасси, Бергамо, 1747.

[625] Боккаччо, *Жизнеописание Данте*, стр. 36.

[626] Санназаро высмеивает человека, который приставал к нему с такими подделками: "Синт ветер а хек алиис, моя новая жизнь". (Ad Rufum, *Opera*, 1535, fol. 41 a.)

[627] "Венецианские мирабили" (*Опера*, фол. 38 b):

Viderat Adriacis Venetam Neptunus in undis
Stare urbem et toto ponere jura mari:
Nunc mihi Tarpejas quantum vis Juppiter arceis
Objice et illa tui mœnia Martis ait,
Si pelago Tybrim praefers, urbem aspice utramque
Illam homines dices, hanc posuisse deos.

[628] *Письмо о принципах*, i. 88, 98.

[629] Малипьеро, *Анн. Венети, арх. История*. vii. i. стр. 508. В конце мы читаем, ссылаясь на быка как герб Борджиа:

'Merge, Tyber, vitulos animosas ultor in undas;
Bos cadat inferno victima magna Jovi!'

[630] Обо всем этом деле см. Роско, *Леоне X.*, изд. Босси, vii. 211, viii. 214 кв. м. Печатный сборник, ныне редкий, этих *корисиан* 1524 года, содержащий только латинские стихи; Вазари видел во владении августинцев еще одну книгу, в которой были сонеты. Привычка прикреплять стихи была настолько заразной, что группу пришлось оградить перилами, а то и вовсе спрятать. Замена Горица на "Кориций сенекс" предложена Вергилием, *Георг.* iv.127. О жалком конце человека при разграблении Рима см. Пьеро Валериано, *Де Инфелич. литерат.* изд. Менкен, стр. 369.

[631] Работа впервые появилась в *Corusciana* со вступлениями Сильвануса и самого Корициуса; также перепечатана в Приложениях к Roscoe, *Леоне X.* ред. Босси и в *Deliciae*. Комп. Павел. Иов. *Логия*, кстати об Арсилле. Далее, о большом количестве эпиграмматистов см. Lil. Грег. Гиральдус, l. c. Одним из самых язвительных авторов был Маркантонио Казанова. Среди менее известных заслуживает упоминания Джо. Томас Мусканиус (см. *Deliciae*). О Казанове см. Пирс. *Valer. De infel. lit.* изд. Менкен, стр. 376 кв. м.; и Пол. Джов. *Elogia*, стр. 142 кв., который говорит о нем: 'Nemo autem eo simplicitate ac innocentia vitae melior'; Арсиллус (ум.) говорит о своих "продажах плаcid". Несколько его стихотворений в "*Корисиане*", J. 3 a кв. л. 1 a, L. 4 b.

[632] Марин Санудо, в *Деле дучи ди Венеция*, Murat. xii. регулярно цитирует их.

[633] Скардеоний, *урб. Patav. antiq.* (Граев. thes. vi. 11, col. 270), называет изобретателем некоего Одаксиуса из Падуи, жившего примерно в середине пятнадцатого века. Смешанные стихи на латыни и языке страны были найдены гораздо раньше во многих частях Европы.

[634] Не следует забывать, что очень скоро они были напечатаны как со старой Схолией, так и с современными комментариями.

[635] Ариосто, *Сатира*, vii. Дата 1531 года.

[636] Мы встречаем нескольких таких детей, но я не могу привести пример, когда с ними явно обращались подобным образом. Юный вундеркинд Джулио Кампаньола был не из тех, кого заставляли ставить перед собой амбициозные цели. Комп. Scardeonius, *De urb. Patav. antiq.* в Граеве. фес. vi. 3, кол. 276. По аналогичному делу Чеккино Браччи, ум. в 1445 году на пятнадцатом году жизни, сост. Trucchi, *Poesie Ital. избранное*, iii. стр. 229. Отец Кардано попробовал 'memoriam artificialem instillare' и научил его, когда он был еще ребенком, арабской астрологии. См. Cardanus, *De propria vita* cap. 34. К этому списку можно добавить Манозелло, если только мы не сочтем его выражение 'В возрасте шести лет я так же хорош, как в восемьдесят' бессмысленной фразой. Комп. *Lumb. des Orients*, 1843, p. 21.

[637] Bapt. Мантуанский. *De calamitatibus temporum*, l. i.

[638] Lil. Грег. Gyraldus, *Progymnasma adversus literas et literatos*. Соч. изд. Василия, 1580, ii. 422-445. Посвящения 1540-1541; сама работа адресована Джованни. Франку. Пико и, следовательно, закончена до 1533 года.

[639] Lil. Грег. Гиральдус, *Геркулес*. Посвящение является ярким свидетельством первых угрожающих действий инквизиции.

[640] Он сошел, как мы видели, за последнего защитника ученых.

[641] *Ознакомьтесь с литературой.* Об изданиях см. Выше, стр. 86, примечание 4. Пьер Вал., покинув Рим, долго жил на хорошей должности профессора в Падуе. В конце своей работы он выражает надежду, что Карл V и Климент VII. приведут к лучшим временам для ученых.

[642] Сост. Данте, "Ад", xiii. 58 кв.м, особенно 93 кв.м, где Петрус де Вайнис говорит о своем собственном самоубийстве.

[643] Мол. Валер. стр. 397 кв., 402. Он был дядей писателя.

[644] Кили Кальканьини, *Опера*, изд. Василий. 1544, стр. 101, в Седьмой книге Посланий, № 27, письмо Якобу Циглеру. Сост. Пьеро Валь. *De inf. lit.* ред. Менкен, стр. 369 кв.

[645] *M. Ant. Опера Сабелличчи*, Эпист. л. xi. fol. 56. Смотрите также биографию в *Elogia* Паоло Джовио, стр. 76 кв. Первое появилось отдельно в Страсбурге в 1510 году под названием *Sabellicus: Vita Pomponii Laeti*.

[646] Яс. Волатерран. *Дневник. Рим.* в Муратори. xxiii. col. 161, 171, 185. *Литературный анекдот*, ii. стр. 168 кв.

[647] Пол. Йов. *De Romanis piscibus*, cap. 17 and 34.

[648] Садолети, Послание. 106, 1529 год.

[649] Антон. Галатеи, Послание. 10 и 12, в Мае, *Закон. Рим.* том. viii.

[650] Так было еще до середины века. Сост. Лил. Грег. *Gyraldus, De poetis nostri temp.* ii.

[651] Луиджи Босси, *Жизнеописание Христофора Колумбо*, в котором содержится очерк более ранних итальянских путешествий и открытий, стр. 91 кв.

[652] Смотрите на эту тему трактат Перца. Неадекватный отчет можно найти у Эней Сильвий, *Europaе status sub Frederico III.* Имп. глава 44 (в *Скрипториях* Фрера, изд. 1624, т. ii. стр. 87). Об Эн. С. см. Пешель о.к. 217 кв.

[653] Сост. О. Пешеля, *Описание Эрдкунде*, 2-е изд., Софуса Руге, Мюнхен, 1877, стр. 209 кв. *et passim*.

[654] *Pii II. Комментарий.* л. и., стр. 14. То, что он не всегда правильно наблюдал и иногда дополнял картину по своему воображению, ясно показано, например, его описанием Базеля. Тем не менее, его заслуга в целом, тем не менее, велика. Об описании Базеля см. Г. Фойгт; Enea Silvio, i. 228; об Э. С. как географе, ii. 302-309. Площадь дома 91 кв.м.

[655] В шестнадцатом веке Италия продолжала оставаться родиной географической литературы, в то время как сами первооткрыватели принадлежали почти исключительно к странам на берегах Атлантики. Местная география создала в середине века великую и замечательную работу Леандро Альберти "*Описание тугты Италии*", 1582 год. В первой половине шестнадцатого века карты Италии опережали карты других стран. See Wieser: *Der Portulan des Infanten Philipp II. von Spanien in Sitzungsberichte der Wien. Академик. Фил. История. Кл. Bd. 82* (1876), стр. 541 кв. О различных итальянских картах и открытиях смотрите в превосходной работе Оскара Пешеля "*Абхэндл. zur Erd-und Völkerkunde* (Leipzig, 1878). Comp.

also, *inter alia*: Berchet, *Il planisfero di Giovanni Leandro del'anno 1452 fa-simil nella grandezza del' original Nota illustrativa*, 16 S. 4^o. Venezia, 1879. Комп. Voigt, ii. 516; and G. B. de Rossi, *Piante iconografiche di Roma anteriori al secolo XVI*. Рим, 1879. За попытку Петрарки составить карту Италии, сост. Flavio Biondo: *Italia illustrata* (ed. Василий.), стр. 352 кв. м.; также *Петр. Эпист. вар. LXI*. изд. Перепалка. iii. 476. Замечательную попытку изобразить карту Европы, Азии и Африки можно найти на лицевой стороне медали Карла IV. Анжуйский, казненный Франческо да Лорана в 1462 году.

[656] Libri, *Histoire des Sciences Mathématiques en Italie*. 4 тома. Париж, 1838.

[657] Чтобы вынести окончательное суждение по этому вопросу, необходимо было бы подробно проиллюстрировать рост привычки собирать наблюдения не только в математических науках. Но это выходит за рамки нашей задачи.

[658] Библиотека, указ. цит. ii. стр. 174 кв. See also Dante's treatise, *De aqua et terra*; and W. Schmidt, *Dante's Stellung in der Geschichte der Cosmographie*, Graz, 1876. Отрывки, касающиеся географии и естествознания, из "Тезисов Брунетто Латини" публикуются отдельно: "*Траммато сферы S. Br. L.*", автор Барт. Сорио (Милан, 1858), который дополнил систему исторической хронологии Б. Л.

[659] Скардеоний, *урб. Patav. antiq.* in *Graevii Thesaur. ant. Итал.* том. vi. парс iii. кол. 227. А. умер в 1312 году во время расследования; его статуя была сожжена. На Джов. Пел. см. *op. cit.* col. 228 кв.м. Сост. о нем, Фабрициусе, *Библ. лат. с. против Петруса де Апоно*. Шпренгер в *книге Э. у. Грубера*, i. 33. Он перевел (1292-1293 гг.) астрологические труды Авраама ибн Эсры, напечатанные в 1506 году.

[660] Смотрите ниже, часть vi. глава 2.

[661] Смотрите преувеличенные жалобы Libri, *op. cit.* ii. стр. 258 кв. Как ни прискорбно, что столь высокоодаренный народ не посвятил больше своих сил естественным наукам, мы, тем не менее, считаем, что он преследовал и частично достигал еще более важных целей.

[662] Об исследованиях последнего в Италии, сост. тщательное исследование К. Малаголы в его работе о Кодро Урчео (Болонья, 1878, глава vii. 360-366).

[663] Итальянцы также разбивали ботанические сады в зарубежных странах, например, Анджело из Флоренции, современник Петрарки, в Праге. Фриджунг: *Карл IV*. стр. 311, примечание 4.

[664] *Описание Александрии Браччи хорти Лаврентия Мед.*, напечатано в Приложении № 58 к "*Жизни Лоренцо*" Роско. Также можно найти в приложениях к "*Лаврентию*".

[665] *Mondanarii Вилла*, напечатанные в *Poemata Алиготе знаки иллю. poetar. Недавние*.

[666] О зоологическом саду в Палермо при Генрихе VI см. Отто де С. Блазио, 1194 г. н.э. Памятник Генриху I Английскому в парке Вудсток (Гулиэль. Мальмес. стр. 638) содержал львов, леопардов, верблюдов и дикобраза - подарки иностранных принцев.

[667] Поэтому его называли, будь то нарисованный или высеченный в камне, 'Марцокко'. В Пизе держали орлов. Смотрите "Комментаторы Данте", *Inf.* xxxiii. 22. The falcon in Boccaccio, *Decam.* v.

9. See for the whole subject: *Due trattati del governo e delle infermità degli uccelli, testi di lingua inediti*. Рим, 1864. Это произведения четырнадцатого века, возможно, переведенные с персидского.

[668] Смотрите выдержку из Egid. Витерб. in Papencordt, *Gesch. der Stadt Rom im Mittelalter*, стр. 367, примечание, с инцидентом 1328 года. Бои диких животных между собой и с собаками служили развлечением для людей по большим поводам. На приеме Пия II и Галеаццо Марии Сфорца во Флоренции в 1459 году в замкнутом пространстве на площади Синьории быки, лошади, кабаны, собаки, львы и жираф были выставлены вместе, но львы легли и отказались нападать на других животных. Комп. *Ricordi di Firenze, Rer. Ital. сценарий. из Флоренции. codd.* tom. ii. col. 741. Другой аккаунт в *Vita Pii II*. Murat. iii. ii. col. 976. Второй жираф был подарен Лоренцо Великолепному мамелюкским султаном Кайтбеем. Комп. Пол. Йов. *Vita Леонис X. л.* и. В зверинце Лоренцо особенно прославился один великолепный лев, и его уничтожение другими львами считалось предзнаменованием смерти его владельца.

[669] Gio. Виллани, x. 185, xi. 66. Маттео Виллани, iii. 90, v. 68. Драка львов была плохим предзнаменованием, и еще хуже, если они убивали друг друга. Com. Varchi, *Stor. fiorent.* iii. p. 143. Матфей V. посвящает первую из двух процитированных глав доказательству (1) того, что львы родились в Италии, и (2) того, что они пришли в мир живыми.

[670] *Cron. di Perugia, Arch. История.* xvi. ii. стр. 77, 1497 год. Пара львов однажды сбежала из Перуджи; *там же.* xvi. i. стр. 382, 1434 год. Флоренция, например, послала польскому королю Владиславу (май 1406 г.) пару львов с *утрийским сексуальным животным и потомством катула хаберетуса*. The accompanying statement is amusing in a diplomatic document: 'Sunt equidem hi leones Florentini, et satis quantum natura promittere potuit mansueti, deposita feritate, quam insitam habent, hique in Gætulorum regionibus nascuntur et Indorum, in quibus multitudo dictorum animalium evalescit, sicuti prohibent naturales. Et cum leonum complexio sit frigoribus inimica, quod natura sagax ostendit, natura in regionibus aestu ferventibus generantur, necessarium est, quod vostra serenitas, si dictorum animalium vitam et sobolis propagationem, ut remur, desiderat, faciat provideri, quod in locis calidis educantur et maneant. Conveniunt nempe cum regia majestate leones quoniam leo græce latine rex dicitur. Sicut enim rex dignitate potentia, magnanimitate ceteros homines antecellit, sic leonis generositas et vigor imperterritus animalia cuncta praesit. Et sicut rex, sic leo adversus imbecilles et timidos clementissimum se ostendit, et adversus inquietos et tumidos terribilem se offert animadversione justissima.' (*Cod. epistolaris sæculi. Понедельник, среда. ævi hist. res gestas Poloniæ illustr.* Krakau, 1876, p. 25.)

[671] Гейдж, *Картеджио*, т. 422, 1291 год. Висконти использовали дрессированных леопардов для охоты на зайцев, которых заводили маленькие собачки. См. В. Кобель, *Вильдангер*, стр. 247, где упоминаются более поздние случаи охоты с леопардами.

[672] *Поэты Строчици*, стр. 146: *Борсийский герцог Де Леоне*. Лев щадит зайца и маленькую собачку, подражая (так говорит поэт) своему хозяину. Сопоставьте слова fol. 188 "et inclusis condita septa feris" и fol. 193, эпиграмму из четырнадцати строк "in leporarii ingressu quam maximi"; см. *там же.* для охотничьего парка.

[673] *Cron. di Perugia*, l. c. xvi. ii. p. 199. Нечто в том же роде можно найти у Петрарки, *De remed. utriusque fortunæ*, но выраженное менее ясно. Здесь Гаудиум в беседе с Ratio хвастается тем, что владеет обезьянами и "ludicra animalia".

[674] Юпитерианин. Pontan. *De magnificentia*. В 1463 году в зоологическом саду кардинала Аквилехского в Альбано обитали павлины, индийские куры и сирийские козлы с длинными ушами. *Pii II. Комментарий*. л. xi. стр. 562 кв.

[675] *Декабрио*, ap. Muratori, xx. col. 1012.

[676] Брунетти Латини, *Тесор*. (изд. Шабай, Париж, 1863), библиотека i. Во времена Петрарки в Италии не было слонов. 'Itaque et in Italia avorum memoria unum Frederico Romanorum principi fuisse et nunc Egyptio tyranno nonnisi unicum esse fama est.' *De rem. utr. form.* i. 60.

[677] Наиболее забавные подробности в Paul. Jov. *Элогия*, о Tristanus Acunius. О дикобразах и страусах в Pal. Строцци, см. Рабле, "*Пантагрюэль*", iv глава. 11. Лоренцо Великолепный получил жирафа из Египта через каких-то торговцев, Балуз. *Ошибка*. iv. 416. Люди сильно оплакивали слона, посланного Льву, когда он умер, был написан его портрет, а стихи о нем написал младший Бериальдус.

[678] Сост. Пол. Джов. *Элогия*, стр. 234, говоря о Франческо Гонзаге. О роскоши Милана в этом отношении см. Банделло, Часть II. 3 и 8 ноября. В повествовательных стихотворениях мы также иногда слышим мнение знатока лошадей. Сост. Пульчи, *Морганте*, xv. 105 кв.

[679] Пол. Йов. *Логия*, кстати о Hipp. Лекарства.

[680] Здесь уместны будут несколько замечаний о рабстве в Италии во времена Возрождения. Короткий, но важный отрывок из "Юпитера". Pontan. *De obedientia*, l. iii. cap. i.: 'An homo, cum liber natura sit, domino parere debeat?' В Северной Италии не было рабов. В других местах даже христиан, а также черкесов и болгар покупали у турок и заставляли служить, пока они не заработают свой выкуп. Негры, напротив, оставались рабами, но кастрировать их не разрешалось, по крайней мере в Неаполитанском королевстве. Слово "моро" обозначает любого темнокожего мужчину; негра звали "моро неро". - Фаброни, *Космос*, Приложение 110: Документ о продаже черкесской рабыни (1427); Приложение 141: Список рабынь Козимо. — Нантипорто, Мурат. iii. ii. col. 1106: Иннокентий VIII. получил 100 мавров в подарок от Фердинанда католика и раздал их кардиналам и другим великим людям (1488). — Марсуччо, *Новелла*, 14: продажа рабов; do. 24 и 25: негритянские рабы, которые также (в интересах своего владельца?) работай "факкини" и снискай любовь женщин; делай. 48 Мавров из Туниса, пойманных каталонцами и проданных в Пизе. — Гайе, *Кармеджуо*, i. 360: вольная и вознаграждение негритянского раба по флорентийскому завещанию (1490). — Пол, Джов. *Elogia*, sub Franc. Sfortia; Porzio, *Congiura*, iii. 195; and Comines, *Charles VIII*. глава. 18: негры как тюремщики и палачи Дома Арагон в Неаполе. — Пол. Джов. *Elogia*, sub Galeatio: негры как последователи принца во время его экскурсий. — Эней Сильвий, *Опера*, стр. 456: негр-раб как музыкант. — Пол. Йов. *Де пишибус*, глава 3: а (бесплатно?) негр - ныряльщик и мастер плавания в Генуе. — Алекс. Benedictus, *De Carolo VIII*. в Eccard, *Scriptores*, ii. col. 1608: негр (Ethiops) в качестве старшего офицера в Венеции, согласно которому мы вправе думать об Отелло как о негре. Банделло, Часть III. 21 ноября: когда раб в Генуе заслужил наказание, его продали в Ивизу, на один из Балеарских островов, для перевозки соли.

Приведенные выше замечания, хотя они и не претендуют на полноту, могут быть оставлены в том виде, в каком они есть в новом издании, из-за превосходного отбора примеров, которые они содержат, и потому, что они не получили достаточного внимания в работах по данному вопросу. В последнее время много написано о работорговле в Италии. The very curious book

offFilippo Zamboni: *Gli Ezzelini, Dante e gli Schiavi, ossia Roma e la Schiavitù personale domestica. Con documenti inediti. Seconda edizione aumentata* (Вена, 1870), не содержит того, что обещает заголовок, но дает, стр. 241 кв.м., ценную информацию о работорговле; стр. 270, замечательный документ о покупке и продаже рабыни; стр. 282, список различных рабынь (с указанием места, где они были куплены и проданы, их дома, возраста и цены) в XIII и трех последующих веках. Трактат Ваттенбаха: *Sklavenhandel im Mittelalter (Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit*, 1874, стр. 37-40) лишь частично относится к Италии: в 1309 году Климент V. решает, что венецианских пленников следует превратить в рабынь; в 1501 году, после захвата Капуи, многие капуанские женщины были проданы в Риме по низкой цене. В *Монуме. historica Slavorum meridionalium*, ed. Vinc. Macusceo, том i. Варшава, 1874, мы читаем на стр. 199 решение (Анкона, 1458) о том, что 'греки, турки, татары, саррацени, боссиненсы, бургари вель Альбаненсес' должны быть и всегда оставаться рабами, если только их хозяева не освободили их на основании юридического документа. Эгнатий, *Exempl. ill. vir. Ven. fol. 246 a*, восхваляет Венецию на том основании, что 'servorum Venetis ipsis nullum unquam usum extitisse'; но, с другой стороны, сост. Zamboni, p. 223, and especially Vincenzo Lazari: 'Del traffico e delle condizioni degli schiavi, in Venezia nel tempo di mezzo,' in *Miscellanea di Stor. Итал.* Турин, 1862, т. i. 463-501.

[681] Вряд ли есть необходимость отсылать читателя к известным главам на эту тему в "Космосе."

[682] Смотрите по этому вопросу наблюдения Вильгельма Гримма, процитированные Гумбольдтом в упомянутой работе.

[683] Кармина Бурана, стр. 162, *Филлида и флора*, ул. 66.

[684] Трудно сказать, что еще ему приходилось делать на вершине Бисмантовой горы в провинции Реджо, *Пургат.* iv. 26. Точность, с которой он показывает нам все части своего сверхъестественного мира, демонстрирует замечательное чувство формы и пространства. То, что существовала вера в существование спрятанных сокровищ на вершинах гор и что на такие места смотрели с суеверным ужасом, можно ясно заключить из *Хроники. Новалисьенсе*, ii. 5, Перцем, *шрифтом.* vii., и *Монум. история. patriae, Сценарий.* iii.

[685] Помимо описания Байе в *Фьямметте*, рощи в Амето и т.д., Важен отрывок из *De genealogia deorum*, xiv. 11, где он перечисляет ряд сельских красот — деревья, луга, ручьи, отары, коттеджи и т.д. — и добавляет, что эти вещи "animum mulcent"; их действие - "mentem in se colligere".

[686] Флавио Бьондо, *Italia Illustrata* (изд. Василий), стр. 352 кв. Сост. *Послание. Вар.* ред. Фракасс. (лат.) iii. 476. О плане Петрарки написать великую географическую работу смотрите В доказательствах, приведенных Аттилио Хортисом, *Accenni alle Scienze Naturali nelle Opere di G. Боккаччи*, Триест, 1877, стр. 45 кв.

[687] Хотя он любит ссылаться на них: например, *De vita solitaria* (*Опера*, изд. Василий, 1581), особенно стр. 241, где он цитирует описание виноградной беседки у святого Августина.

[688] *Сообщение. семья.* vii. 4. 'Interea utinam scire posses, quanta, cum voluptate solivagus et liber, inter montes et nemora, inter fontes et flumina, inter libros et maximorum hominum ingenia respiro, quamque me in ea, quae ante sunt, cum Apostolo extendens et praeterita oblivisci nitor et praesentia non videre.' Комп. vi. 3, о. с. 316 кв.м., особенно 334 кв. м. Сост. Л. Гейгер: *Петрарка*, стр. 75, примечание 5 и стр. 269.

[689] 'Jacuit sine carmine sacro'. Сост. *Itinerar. Syriacum*, *Opp.* стр. 558.

[690] Он различает в *Маршрутке*. *Syr.* p. 357, on the Riviera di Levante: 'colles asperitate gratissima et mira fertilitate conspicuos.' О порту Гаэта см. *Ero De remediis utriusque fortunae*, i. 54.

[691] *Письмо потомкам*: 'Местный вид ударных'. Описания великих природных явлений: Шторм в Неаполе, 1343 г.: *Epp. fam.* i. 263 кв. м.; Землетрясение в Базеле, 1355 г., *Epp. seniles*, lib. x. 2 и *De rem. utr. form.* ii. 91.

[692] *Послание*. семье. ред. Фракассетти, i. 193 кв.

[693] *Il Dittamondo*, iii. cap. 9.

[694] *Диттамондо*, iii. глава. 21, iv. глава. 4. Papencordt, *Gesch. der Stadt Rom*, говорит, что император Карл IV. имел сильный вкус к красивым пейзажам и цитирует по этому поводу Пельцеля, *Карла IV.* стр. 456. (Два других отрывка, которые он цитирует, не говорят о том же.) Возможно, что император перенял эту фантазию из общения с гуманистами (см. Выше, стр. 141-2). Об интересе Чарльза к естественным наукам см. Х. Фриджунг, указ. соч., стр. 224, примечание 1.

[695] Мы также можем сравнить Платину, *Биографию понтифика*. стр. 310: 'Человек истинный (Пий II.), верный, целое число, истинный; ноль привычки фиктивной, ноль симуляции' — враг лицемерия и суеверий, мужественный и последовательный. См. Фойгт, ii. 261 кв. и iii. 724. Однако он не дает анализа характера Пия.

[696] Наиболее важные отрывки следующие: *Pii II. P. M. Commentarii*, l. iv. стр. 183; весна в его родной стране; l. v., стр. 251; летняя резиденция в Тиволи; l. vi., стр. 306: трапеза у источника Виковаро; l. viii., стр. 378: окрестности Витербо; p. 387: горный монастырь Святого Мартина; p. 388: озеро Больсена; l. ix., стр. 396: великолепное описание Монте-Амиата; l. . x. стр. 483: расположение Монте-Оливето; стр. 497: вид из Тоди; л. xi. стр. 554: Остия и Порту; стр. 562: описание Альбанских холмов; л. xii. стр. 609: Фраскати и Гроттаферрата; сост. 568-571.

[697] Таким образом, мы должны предположить, что это было написано, а не на Сицилии.

[698] Он называет себя с намеком на свое имя: "Сильварум аматор и вариа виденди купидус".

[699] О чувстве Леонбаттисты Альберти к пейзажам см. Выше, стр. 136 кв. Альберти, младший современник Энея Сильвиуса (*Траттато дель Гуверно делла Фамилья*, стр. 90; см. Выше, стр. 132, примечание 1), находясь за городом, восхищается 'поросшими кустарником холмами', "прекрасными равнинами и журчащими водами". Здесь можно упомянуть небольшую работу П. Бембуса "*Этна*", впервые опубликованную в Венеции в 1495 году и с тех пор часто печатающуюся, в которой, среди многого бессвязного и пространного, есть замечательные географические описания и описания пейзажей.

[700] Наиболее проработанная картина такого рода у Ариосто; вся его шестая песнь находится на переднем плане.

[701] Он по-другому обращается со своей архитектурной структурой, и в этом современное декоративно-прикладное искусство может чему-то у него научиться даже сейчас.

[702] *Письмо Питториче*, iii. 36, Тициану, май 1544г.

[703] *Поэты Строчици*, в "Эротике", л. vi. fol. 183; в стихотворении: "Гортанный человек сам по себе, без любви".

[704] Сост. Thausing: *Dürer*, Leipzig, 1876, p. 166.

[705] Эти поразительные выражения взяты из седьмого тома *Истории Франции* Мишле (Введение).

[706] Томм. Гар, *Релаз. della Corte di Roma*, i. pp. 278 and 279. В районе Сориано, 1533 год.

[707] Прато, *арх. История*. iii. стр. 295 кв. Слово "сатурнико" означает "несчастный", а также "приносящий несчастье". О влиянии планет на характер человека в целом см. Кукурузу. Agrippa, *De occulta philosophia*, с. 52.

[708] См. Trucchi, *Итальянская поэзия в редакции*, i. стр. 165 кв.

[709] Чистый стих стал в более позднее время обычной формой для драматических композиций. Триссино в посвящении своей "*Софонисбы*" Льву X выразил надежду, что папа римский признает этот стиль таким, какой он есть, — лучшим, благороднее и менее простым, чем это кажется. Роско, Леоне X., изд. Bossi, viii. 174.

[710] Сост., например, поразительные формы, принятые Данте, *Новая жизнь*, изд. Витте, стр. 13 кв., 16 кв. В каждой по двадцать неправильных строк; в первой одна рифма встречается восемь раз.

[711] Trucchi, *op. cit.* i. 181 кв.

[712] Это были "Канцони" и сонеты, которые пел и пародировал каждый кузнец и погонщик ослов, что немало разозлило Данте. (Сост. Франко Сачетти, ноябрь 114, 115.) Так быстро эти стихи нашли свой путь среди людей.

[713] *Новая жизнь*, изд. Витте, стр. 81, 82 кв. "Де Перегрини", там же. 116.

[714] Для психологии Данте начало *Чистилища*. iv. является одним из наиболее важных отрывков. Смотрите также разделы *Convito* имеющие отношение к этому вопросу.

[715] Портреты школы Ван Эйка доказали бы обратное для Севера. В течение длительного периода они оставались намного выше всех словесных описаний.

[716] Напечатано в шестнадцатом томе его *Оперы Волгари*. См. М. Ландау, *Giov. Боккаччо* (Штутгарт, 1877), стр. 36-40; он особо подчеркивает зависимость Б. от Данте и Петрарки.

[717] В "Песне пастуха Теогейпа", после праздника Венеры, *Орр.* изд. Монтье, том xv. 2. стр. 67 кв. Комп. Ландау, 58-64; о *Фьямметтесм*. Ландау, 96-105.

[718] Знаменитый Лионардо Аретино, лидер гуманистов начала пятнадцатого века, признает: "Че за античные греки, гуманитарии и джентилецца ди куоре, аббино аванзанто ди гран-лунга и ноздри Италии"; но он говорит это в начале романа, который содержит сентиментальный история больного царевича Антиоха и его мачехи Стратоники — документ неоднозначного и полуазиатского характера. (Напечатано в качестве приложения к *Роману "Античная история"*.)

[719] Без сомнения, двор и принц получали достаточно лести от своих случайных поэтов и драматургов.

[720] Сост. противоположного мнения придерживаются Грегоровиус, *Геск. Римляне*, vii. 619.

[721] Пол. Юпитер, *Диалог. de viris lit. иллюстрация.*, в Тирабоши, том. vii. iv. Лил. Грег. Gyraldus, *De poetis nostri temp.*

[722] Изабелла Гонзага своему мужу, 3 февраля 1502 г., *арх. История*. Приложение. ii. стр. 306 кв. Сост. Грегоровиус, *Лукреция Борджиа*, i. 256-266, изд. 3. Во французских *мистериях* сами актеры сначала проходили перед зрителями в процессии, которая называлась "монтре".

[723] *Дневник Феррарезе*, в Мурате. xxiv. кол. 404. Другие отрывки, относящиеся к сцене в этом городе, кол. 278, 279, 282 до 285, 361, 380, 381, 393, 397, из чего явствует, что Плавт был драматургом, наиболее популярным в этих случаях, что представления иногда продолжались до трех часов утра и даже давались на открытом воздухе. Балеты не имели никакого значения и не имели отношения к присутствующим лицам, а событие было торжественным. Изабелла Гонзага, которая, безусловно, в то время тосковала по мужу и ребенку и была недовольна союзом своего брата с Лукрецией, говорила о "холодности и изморози" этого брака и сопровождавших его торжествах.

[724] *Поэт Строцци*, fol. 232, в четвертой книге *Голостихи* Тито Строццы. Строки гласят:

‘Ecce superveniens rerum argumenta retexit
Mimus, et ad populum verba diserta refert.
Tum similes habitu formaque et voce Menæchmi
Dulcibus oblectant lumina nostra modis.’

The *Менешми* также был вручен в Ферраре в 1486 году стоимостью более 1000 дукатов. Murat. xxiv. 278.

[725] Франк. Sansovino, *Venezia*, fol. 169. The passage in the original is as follows: ‘Si sono anco spesso recitate delle tragedie con grandi apparecchi, comporte da poeti antichi o da moderni. Alle quali per la fama degli apparati concorrevano le genti estere e circonvicine per vederle e udirle. Ma hoggi le feste da particolari si fanno fra i parenti et essendosi la città regolata per se medesima da certi anni in quà, si passano i tempi del Carnovale in comedie e in altri più lieti e honorati dilette.’ Этот отрывок не совсем понятен.

[726] Должно быть, это имеет в виду Сансовино, *Венеция*, стр. 168, когда он жалуется, что "речитативы" испортили комедии "con invenzioni o personaggi troppo ridicoli".

[727] Сансовино, l. c.

[728] Скардеоний, *урб. Patav. antiq.*, в Graevius, Thes. vi. iii. col. 288 кв. Важный отрывок для литературы о диалектах в целом. One of the passages is as follows: ‘Hinc ad recitandas comœdias socii scenici et gregales et æmuli fuere nobiles juvenes Patavini, Marcus Aurelius Alvarotus quem in comœdiis suis Menatum appellitabat, et Hieronymus Zanetus quem Vezzam, et Castegnola quem Billoram vocitabat, et alii quidam qui sermonem agrestium imitando præ ceteris callebant.’

[729] О том, что последний существовал еще в пятнадцатом веке, можно сделать вывод из *Дневника Феррересе*, 2 февраля 1501 г.: 'Герцог Эрколе женился на фесте Менечино секондо иль суо усо'. Murat. xxiv. col. 393. Не может быть путаницы с Menæschmī Плавта, который написан правильно, l. c. col. 278. См. выше, стр. 318, примечание 2.

[730] Пульчи озорно придумывает торжественную легенду старого света для своей истории о великане Маргутте (*Морганте*, песнь XIX, ул. 153 кв.м.). Критическое представление о Лимерно Питокко по-прежнему остается забавным (*Orlandino*, cap. i. str. 12-22).

[731] "*Морганте*" была написана в 1460 и последующих годах и впервые напечатана в Венеции в 1481 году. Последнее изд. П. Сермолли, Флоренция, 1872. О турнирах см. Часть V. глава i. То, что следует за этим, см. в Ranke: *Zur Geschichte der italienischen Poesie*, Берлин, 1837.

[732] "*Орландо инаморато*" был впервые напечатан в 1496 году.

[733] *Италия освобождения да Готи*, Рим, 1547.

[734] См. выше, стр. 319, и "*Боккаччо*" Ландау, 64-69. Следует, тем не менее, отметить, что упомянутое здесь произведение Боккаччо было написано до 1344 года, в то время как произведение Петрарки было написано после смерти Лауры, то есть после 1348 года.

[735] Вазари, viii. 71, в Комментарий к *Житию Рафаэля*.

[736] В *Илиаде* наш нынешний вкус мог бы обойтись без многого подобного.

[737] Первое издание, 1516.

[738] Вставленные речи сами по себе являются повествовательными.

[739] Как это было в случае с Пульчи, *Морганте*, песнь XIX. ул. 20 кв.

[740] "*Орландино*", первое издание, 1526 год.

[741] Радявичус, *Де гестис Фридеричи имп.*, особенно ii. 76. Восхитительная *Vita Хенричи IV.* содержит очень мало личных описаний, как и в случае с *Vita Chuonradi imp.* от Воис.

[742] Здесь имеется в виду библиотекарь Анастасий (середина IX века). Все собрание жизнеописаний пап (*Liber Pontificalis*) ранее приписывалось ему, но ошибочно. Сост. Wattenbach, *Deutschland's Geschichtsquellen*, i. 223 sqq. 3rd ed.

[743] Жил примерно в то же время, что и Анастасий; автор истории Равеннского епископства. Wattenbach, l. c. 227.

[744] Я не могу сказать, насколько рано Филострат использовался таким же образом. Светоний, без сомнения, был взят за образец в еще более ранние времена. Помимо "*Жизни Карла Великого*", написанной Эгинхардом, примеры из XII века предлагает Уильям Малмсберийский в своих описаниях Вильгельма Завоевателя (стр. 446 кв. м., 452 кв. м.), Вильгельма II (стр. 494, 504) и Генриха I. (стр. 640).

[745] Смотрите замечательную критику в Ландау, *Боккаччо*, 180-182.

[746] См. выше, стр. 131. Оригинал (на латыни) был впервые опубликован в 1847 году во Флоренции Галлетти под названием "*Philippi Villani Liber de civitatis Florentiae famosis civibus*"; старый итальянский перевод часто печатался с 1747 года, последний - в Триесте в 1858 году. Первая книга, повествующая о древнейшей истории Флоренции и Рима, так и не была напечатана. Особенно интересна глава в книге Виллани "*О полупоэтиках*", то есть о тех, кто писал как в прозе, так и в стихах, или о тех, кто писал стихи помимо занятия какой-либо другой профессией.

[747] Здесь мы отсылаем читателя к биографии Л. Б. Альберти, выдержки из которой приведены выше (стр. 136), и к многочисленным флорентийским биографиям в Муратори, в *Архиве истории* в других местах. "Жизнь Альберти", вероятно, является автобиографией, л. с. примечание 2.

[748] *История Фиорентины*, изд. Ф. Л. Полидори, Флоренция, 1838.

[749] *Иллюстративный материал*, в публикациях *Stuttgarter liter. Вепейны*, № i. Штутгарт, 1839. Сост. К. Фойгт, ii. 324. Из шестидесяти пяти биографий двадцать одна утрачена.

[750] Его *Римский дневник* с 1472 по 1484 год, в Мурате. xiii. 81-202.

[751] *Уголини Верини poetae Флорентини* (Современник Лоренцо, ученик Landinus, ВОЛС. 13, и учитель Петра Crinitus, ВОЛС. 14), *de illustratione Urbis Florentinae Либри Трес*, Париж, 1583, заслуживает упоминания, ЭСП. Либ. 2. Данте, Петрарка, Боккаччо упоминаются и характеризуются без единого упрека. О нескольких женщинах см. следующую главу.

[752] *Петри Кандидоз Декабриозный Вита Филиппи Мария Виккомитис*, в Murat. xx. Comp выше, стр. 38.

[753] См. выше, стр. 225.

[754] О Comines см. Выше, стр. 96, примечание 1. В то время как Коминес, как там указано, частично обязан своей способностью к объективной критике общению с итальянцами, немецкие гуманисты и государственные деятели, несмотря на длительное пребывание некоторых из них в Италии и их прилежное и часто наиболее успешное изучение классического мира, практически не приобрели дара биографического представления или анализа характера. Путешествия, биографии и исторические очерки немецких гуманистов XV, а часто и начала XVI веков в основном представляют собой либо сухие каталоги, либо пустые риторические декламации.

[755] См. выше, стр. 96.

[756] Кое-где мы находим исключения. Письма Хаттена, содержащие автобиографические заметки, фрагменты хроники Барта. Састроу и *Шабаш* Иоанна Богослова. Кесслер, познакомьте нас с внутренними конфликтами писателей, в основном, однако, носящими специфически религиозный характер Реформации.

[757] Среди автобиографий северян мы, возможно, могли бы выбрать для сравнения автобиографию Агриппы д'Обинье (хотя и относящуюся к более позднему периоду) как живое и говорящее изображение человеческой индивидуальности.

[758] Написано в преклонном возрасте, около 1576 года. О Кардано как исследователе и первооткрывателе см. Либри, *История. des Sciences Mathém.* iii. p. 167 sqq.

[759] Например, казнь его старшего сына, который отомстил за неверность своей жены, отравив ее (глава 27, 50).

[760] *Краткое жизненное собрание*, состоящее из 'траттато', "компендио", 'эссе' и 'письма' Даниэлю Барбаро. Книга часто переиздавалась.

[761] Была ли это вилла Кодевикко, упомянутая выше, стр. 321?

[762] В некоторых случаях очень рано; в городах Ломбардии еще в двенадцатом веке. Комп. Ландульфус старший, *Рикобальдуси* (в Мурате. х.) замечательный анонимный труд, *De laudibus Papiae*, четырнадцатого века. Также (в Murat. i.) *Liber de Situ urbis Mediol.* Some notices on Italian local history in O. Lorenzo, *Deutschland's Geschichtsquellen im Mittelalter seit dem 13ten Jahr.* Берлин, 1877; но автор явно воздерживается от оригинальной трактовки предмета.

[763] *Li Tresors*, изд. Шабай, Париж, 1863, стр. 179-180. Сост. там же. стр. 577 (lib. iii. p. ii. c. 1).

[764] О Париже, который был гораздо более важным местом для средневекового итальянца, чем для его преемника сто лет спустя, см. *Диттамондо*, iv. глава. 18. Контраст между Францией и Италией подчеркнут Петраркой в его *Инвективах против Галлума*.

[765] Савонарола, в Мурате. xxiv. col. 1186 (выше, стр. 145). О Венеции см. Выше, стр. 62 кв. Самое старое описание Рима, сделанное Синьорили (ср.), было написано в понтификат Мартина V. (1417); см. Грегоровиус, vii. 569; самое старое немецкое описание принадлежит X. Муффелю (середина пятнадцатого века), под ред. Фойгта, Тюбинген, 1876.

[766] Характер беспокойной и энергичной Бергамаски, полной любопытства и подозрительности, очаровательно описан в книге Банделло, часть i. 34 ноября.

[767] Например, Варчи в девятой книге *Истории Фиорентины* (том iii. стр. 56 кв.м).

[768] Вазари, xii. стр. 158. *Против Микеланджело*, в начале. В других случаях мать-природу восхваляют достаточно громко, как, например, в сонете Альфонса де Пацци, обращенном к не-тосканцу Аннибалу Каро (в Trucchi, l. c. iii. стр. 187):

'Misero il Varchi! e più infelici noi,
Se a vostri virtudi accidentali
Aggiunto fosse 'l natural, ch'è in noi!'

[769] *Forcianaes Questiones, in quibus varia Italorum ingenia explicantur multaque alia scitu non indigna.* Авторская филалетка Polytopiensis cive. Среди них *Mauritii Scaevae Carmen*.

'Quos hominum mores varios quas denique mentes
Diverso profert Itala terra solo,
Quisve vinis animus, mulierum et strenua virtus
Pulchre hoc exili codice lector habes.'

Neapoli excedebat Martinus de Ragusia, Anno MDXXXVI. Это небольшое произведение, использованное Ранке, *Päpste*, i. 385, считается написанным рукой Ортензио Ланди (сост. Tiraboschi, vii. с 800 по 812), хотя в самой работе нет никакого намека на автора. Название объясняется тем обстоятельством, что сообщается о беседах, которые велись в Форсиуме, бане близ Лукки, большой компанией мужчин и женщин, на вопрос, откуда берутся такие большие различия между человечеством. Вопрос остается без ответа, но многие различия среди итальянцев того времени заметны — в учебе, торговле, военном мастерстве (пункт, цитируемый Ранке), изготовлении боевых орудий, образе жизни, различиях в одежде, в языке, в интеллекте, в любви и ненависти, в способах завоевания расположения, в манере принимать гостей и в еде. В заключение приведем некоторые размышления о различиях между философскими системами. Большая часть работы посвящена женщинам — их различиям в целом, силе их красоты и особенно вопросу о том, равны ли женщины мужчинам или уступают им. Работа использовалась в различных отрывках ниже. В качестве примера может служить следующий отрывок (fol. 7b sq.): "Aperiam nunc quæ sint in consilio aut dando aut accipiendo dissimilitudo." Præstant consilio Mediolanenses, sed aliorum gratia potius quam sua. Sunt nullo consilio Genuenses. Rumor est Venetos abundare. Sunt perutili consilio Lucenses, idque aperte indicarunt, cum in tanto totius Italiæ ardore, tot hostibus circumsepti suam libertatem, ad quam nati videntur semper tutati sint, nulla, quidem, aut capitis aut fortunarum ratione habita. Quis porro non vehementer admiretur? Quis callida consilia non stupeat? Equidem quotiescunque cogito, quanta prudentia ingruentes procellas evitarint, quanta solertia impendentia pericula effugerint, adducor in stuporem. Lucanis vero summum est studium, eos deludere qui consilii captandi gratia adeunt, ipsi vero omnia inconsulte ac temere faciunt. Brutii optimo sunt consilio, sed ut incommodent, aut perniciem afferant, in rebus quæ magnæ deliberationis dictu mirum quam stupidi sint, eisdem plane dotibus instructi sunt Volsci quod ad cædes et furta paulo propensiores sint. Pisani bono quidem sunt consilio, sed parum constanti, si quis diversum ab eis senserit, mox acquiescunt, rursus si aliter suadeas, mutabunt consilium, illud in causa fuit quod tam duram ac diutinam obsidionem ad extremum usque non pertulerint. Placentini utrisque abundant consiliis, scilicet salutaribus ac pernitiis, non facile tamen ab iis impetres pestilens consilium, apud Regienses neque consilii copiam invenies. Si sequere Mutinensium consilia, raro cedit infelicit, sunt enim peracutissimo consilio, et voluntate plane bona. Providi sunt Florentini (si unumquemque seorsum accipias) si vero simul conjuncti sint, non admodum mihi consilia eorum probabuntur; feliciter cedunt Senensium consilia, subita sunt Perusinorum; salutaria Ferrariensium, fideli sunt consilio Veronenses, semper ambigui sunt in consiliis aut dandis aut accipiendis Patavini. Sunt pertinaces in eo quod cœperint consilio Bergomates, respuunt omnium consilia Neapolitani, sunt consultissimi Bononienses.'

[770] *Commentario delle più notabili e mostruose cose d'Italia et altri luoghi, di Lingua Aramea in Italiana tradotta. Con un breve Catalogo degli inventori delle cose che si mangiano et bevono, novamente ritrovato.* В Венеции в 1553 году (впервые напечатано в 1548 году, основано на путешествии Ортензио Ланди по Италии в 1543 и 1544 годах). То, что Ланди действительно был автором этого *Комментария*, ясно из заключительных замечаний Николо Морры (стр. 46 а): "Настоящий комментарий нато к константиссимусу сервелло в М. О. Л."; и из подписи под всем текстом (стр. 70 а): "СВИСНЕТРОХ СВДНАЛ, РОТУА ЦЕ", "Автор Гортензий Ландус". "После заявления об Италии из уст таинственного седовласого мудреца описывается путешествие из Италии в Италию". Сицилия через Италию на Восток. Все города Италии более или менее полно обсуждены: то, что Лукка заслуживает особой похвалы, понятно из образа мыслей автора. Венеция, где, по его утверждению, он много бывал с Пьетро Аретино (стр. 166), и Милан

описаны подробно, и в связи с последним рассказываются самые безумные истории (см. 25 кв.). В таких местах нет недостатка — в розах, которые цветут круглый год, звездах, которые сияют в полдень, птицах, которые превращаются в людей, и людях с бычьими головами на плечах, водяных и людях, которые изрыгают огонь изо рта. Среди всего этого часто встречаются достоверные фрагменты информации, некоторые из которых будут использованы в надлежащем месте; кратко упоминаются лютеране (fol. 32a, 38 a), и часто слышны жалобы на тяжелые времена и плачевное состояние Италии. We there read (fol. 22 a): 'Son questi quelli Italiani li quali in un fatto d'armi uccisero ducento mila Francesi? sono finalmente quelli che di tutto il mondo s'impadronirono? Hai quanto (per quel che io vego) degenerati sono. Hai quanto dissimili mi paiono dalli antichi padri loro, liquali et singolar virtu di cuore e disciplina militare ugualmente monstrano avere.' О добавленном каталоге закусовых смотрите ниже.

[771] *Описание тупты Италии.*

[772] Сатирические списки городов часто встречаются позже, например, *Macaroneide*, *Phantas*. ii. Для Франции Рабле, знавший Макаронидов, является главным источником всех шуток и злобных аллюзий этого местного толка.

[773] Это правда, что многие приходящие в упадок произведения литературы полны болезненно подробных описаний. Смотрите, например, у Сидония Аполлинария описания вестготского короля (*Послание*. i. 2), личного врага (*Послание*. iii. 13), а в его стихотворениях - типы различных германских племен.

[774] О Филиппо Виллани см. стр. 330.

[775] *Театр Парнасso*, Липсия, 1829. Введение. стр. vii.

[776] Здесь явно искажено чтение. The passage is as follows (*Ameto*, Venezia, 1856, p. 54): 'Del mezo de' quali non camuso naso in linea diretta discende, quanto ad aquilineo non essere dimanda il dovere.'

[777] "Благодаря фильму 'Очи ладри нель лоро'. Вся работа богата такими описаниями.

[778] Очаровательная книга песен Джусто деи Конти, *La bella Mano* (лучшее изд. Флоренция, 1715), не сообщает нам так много подробностей об этой знаменитой руке своей возлюбленной, как Боккаччо в дюжине отрывков из "*Амето*", посвященных рукам его нимф.

[779] 'Делла беллецца делле донн', в первом томе. из *Оперы Флоренции*, Милан, 1802. За его взгляд на телесную красоту как признак красоты души, сост., том ii, стр. 48-52, в "раджионаменти", предваряющем его романы. Среди многих, кто придерживается этой доктрины, частично в стиле древних, мы можем процитировать одного, Кастильоне, *Il Cortigiana*, l. iv. fol. 176.

[780] Это было всеобщее мнение, а не только профессиональное мнение художников. Смотрите ниже.

[781] Возможно, это повод сказать несколько слов о глазах Лукреции Борджиа, взятых из стихотворений придворного поэта Феррарезе Эрколе Строцца (*Strozzii Poetae*, fol. 85-88). Сила ее взгляда описана способом, понятным только в эпоху искусства, который сейчас был бы недопустим. Иногда это превращает смотрящего в огонь, иногда в камень. Тот, кто долго

смотрит на солнце, становится слепым; тот, кто увидел Медузу, становится камнем; но тот, кто смотрит на лицо Лукреции

‘Fit primo intuitu cæcus et inde lapis.’

Говорят, что даже мраморный Купидон, спящий в ее чертогах, окаменел от ее взгляда:

‘Lumine Borgiadeo saxificatur Amor.’

Критики могут спорить, если им заблагорассудится, имеется ли в виду так называемый Эрос Праксителя или Микеланджело, поскольку она была обладательницей и того, и другого.

И такой же взгляд предстал другому поэту, Марчелло Философсено, только мягкий и возвышенный, "мансуэто и альтеро" (Роско, *Леоне Х.* изд. Босси, vii. стр. 306).

Напрашиваются сравнения с идеальными фигурами античности (с. 30). О десятилетнем мальчишке мы читаем в *Orlandino* (ii. стр. 47), ‘ed ha capo romano’. Ссылаясь на тот факт, что внешний вид висков может быть полностью изменен укладкой волос, Фиренцуола комично нападает на переполненность волос цветами, из-за чего голова "выглядит как горшочек с гвоздиками или четвертинка козлятины на вертеле". В карикатуре он, как правило, чувствует себя как дома.

[782] Об идеале "миннесотца" см. Фальке, *Немецкая трахтен-энд Моденвельт*, i. стр. 85 кв.

[783] О точности его чувства формы, стр. 290.

[784] *Inferno*, xxi. 7; *Purgat.* xiii. 61.

[785] Мы не должны воспринимать это слишком серьезно, если прочитаем (в Platina, *Жизнеописание понтифика*. стр. 310), что он держал при своем дворе своего рода шутов, флорентийского греко, "знающего, что такое нравы, природа, язык и максимум омниума для прослушивания рисунка с легкостью объяснения".

[786] *ЛИЧНАЯ информация. II. Комментарий.* viii. с. 391.

[787] Следует различать два турнира: Лоренцо в 1468 году и Гильяно в 1475 году (третий в 1481 году?). См. Reumont, *L. M.* i. 264 кв. 361, 267, примечание 1; ii. 55, 67 и цитируемые там работы, которые разрешают старый спор по этим пунктам. Первый турнир описан в стихотворении Луки Пульчи, изд. *Ciriffo Calvaneo di Luca Pulci Gentilhuomo Fiorentino, con la Giostra del Magnifico Lorenzo de' Medici*. Флоренция, 1572, стр. 75, 91; второе в неоконченной поэме Анж. Полициано, лучшее изд. Carducci, *Le Stanze, l'Orfeo e le Rime di M. A. P.* Florence, 1863. Описание Политиана обрывается на отъезде Гильяно на турнир. Пульчи дает подробный отчет о бойцах и манере ведения боя. Описание Лоренцо особенно хорошо (стр. 82).

[788] Эта так называемая "Качча" напечатана в Комментарий к *эклоге* Кастильоне с римской рукописи *Письма дель конте Б. Кастильоне*, изд. Пьерантонио Лерасси (Падуа, 1771), ii. стр. 269.

[789] См. Сервентесе Джанноццо Флорентийского в Тракки, *Итальянская поэзия в редакции*, ii. стр. 99. Многие из этих слов совершенно непонятны, на самом деле они заимствованы или, по-видимому, кажутся заимствованными из языков иностранных наемников. Описание Флоренции Макиавелли во время чумы 1527 года в определенной степени относится к этому классу работ. Это серия живых, говорящих картин ужасного бедствия.

[790] Согласно Боккаччо (*Жизнь Данте*, стр. 77), Данте был автором двух эклог, вероятно, написанных на латыни. Они адресованы Дж. де Вирджилису. Сост. Фратичелли, *Opp. min. di Dante*, i. 417. Буколическая поэма Петрарки в *П. Кармина минора*, изд. Боссетти, i. Сост. Л. Гейгер, *Петр.* 120-122 и 270, примечание 6, особенно А. Хортис, *Scritti inediti di F. P.* Триест, 1874.

[791] Боккаччо дает в своем *Амето* (выше, стр. 344) своего рода мифический декамерон, и иногда ему нелепо не удается сохранить персонажа. Одна из его нимф - добрая католичка, и прелаты в Риме бросают на нее взгляды, полные нечестивой любви. Другая выходит замуж. В "*Нинфале фьезолано*" нимфа Менсола, обнаружившая, что беременна, советуется со "старой и мудрой нимфой".

[792] В целом благосостояние итальянских крестьян было тогда выше, чем у крестьянства где-либо еще в Европе. Сост. Саккетти, 88 и 222 ноября; Л. Пульчи в "*Бека да Дикамано*" (Виллари, *Макиавелли*, i. 198, примечание 2).

[793] "Нулевой род *hominum aptius urbi*", - говорит Баттиста Мантовано (*Ecl. viii.*) о жителях Монте-Бальдо и долины Валь-Кассина, которые могли взяться за что угодно. Население некоторых стран, как хорошо известно, даже сейчас имеет привилегии в отношении определенных профессий в больших городах.

[794] Возможно, один из самых сильных отрывков, *Орландино*, ул. кап. в. 54-58. Спокойная и необученная вечерня. Бистиччи говорит (*Комм. sulla vita di Giov. Manetti*, p. 96): 'Sono due ispezie di uomini difficili a supportare per la loro ignoranza; l'una sono i servi, la seconda i contadini.'

[795] В Ломбардии в начале шестнадцатого века дворяне не чурались танцев, борьбы, прыжков и скачек наперегонки с крестьянами. *Il Cortigiano*, l. ii. fol. 54. А. Пандольфини (Л. Б. Альберти) в "*Трактато правительства семьи*", стр. 86, представляет собой пример землевладельца, который утешает себя жадностью и мошенничеством своих крестьянских арендаторов, размышляя о том, что таким образом его учат терпеть своих ближних и иметь с ними дело.

[796] Юпитерианин. Pontan. *De fortitudine*, lib. ii.

[797] Знаменитая крестьянка из Вальтеллины — Бона Ломбарда, жена кондотьера Пьетро Бруноро, — известна нам от Якобуса Бергоменсиса и от Порцеллия в Murat. xxv. col. 43.

[798] О положении итальянского крестьянства в целом и особенно о деталях этого положения в некоторых провинциях мы не можем рассказать более подробно. Пропорции между собственностью, находящейся в собственности фригольда, и арендованной собственностью, а также бремя, лежащее на каждой из них, по сравнению с теми, которые ложатся на плечи в настоящее время, должны быть почерпнуты из специальных работ, с которыми у нас не было возможности ознакомиться. В бурные времена сельские жители были склонны к ужасающим рецидивам дикости (*Арх. История*. xvi. i. стр. 451 кв. м., 1440 г. н.э.; Корио, фол. 259; *Летописи*

Олив. в Мюрате. xxii. col. 227, хотя ничего похожего на всеобщую крестьянскую войну не произошло. Восстание близ Пьяченцы в 1462 году имело определенное значение и интерес. Сост. Corio, *Storia di Milano*, fol. 409; *Annales Placent.* в Murat. xx. col. 907; Сисмонди, x. стр. 138. Смотри ниже, часть vi. глава 1.

[799] Ф. Бапм. *Mantuani Bucolica seu Adolescentia in decem Eclogas divisa*; often printed, e.g. Strasburg, 1504. Дата составления указана в предисловии, написанном в 1498 году, из которого также явствует, что девятая и десятая эклоги были добавлены позже. В заголовке к десятому - слова 'post religionis ingressum'; в заголовке к седьмому - 'cum jam autor ad religionem aspiraret'. Эклоги ни в коем случае не посвящены исключительно крестьянской жизни; фактически, это делают только две из них — шестая, 'disceptatione rusticorum et civium', в которой автор встает на сторону крестьян; и восьмая, 'de rusticorum religione'. Другие говорят о любви, об отношениях между поэтами и богачами, об обращении в религию и о нравах римского двора.

[800] *Poesie di Lorenzo Magnifico*, i. p. 37 sqq. Замечательные поэмы, относящиеся к периоду немецкого "миннезенгера", которые носят имя Нейтхарда фон Ройенталя, изображают крестьянскую жизнь лишь постольку, поскольку рыцарь предпочитает смешиваться с ней для своего развлечения. Крестьяне отвечают на насмешки Ройенталя своими песнями. Сост. Karl Schroder, *Die höfische Dorfpoesie des deutschen Mittelalters* in Rich. Gosche, *Jahrb. für Literaturgesch.* 1 том. Берлин, 1875, стр. 45-98, особенно 75 кв.

[801] *Поэзия Лора. Magn.* ii. 149.

[802] В поэме *Deliciae. итал.*, и в работах Политиана. Первое отдельное издание. Флоренция, 1493. Дидактическая поэма Ручеллаи "Али", впервые напечатанная в 1519 году, и "Колтывазион", Париж, 1546 год, содержат нечто в том же роде.

[803] *Poesie di Lor. Magnifico*, ii. 75.

[804] Подражание разным диалектам и манерам разных районов проистекает из одной и той же тенденции. Сост. с. 155.

[805] Джо. Пичи *ораторское искусство о достоинстве человека*. Отрывок следующий: 'Statuit tandem optimus opifex ut cui dari nihil proprium poterat commune esset quidquid privatum singulis fuerat. Igitur hominem accepit indiscretæ opus imaginis atque in mundi posito meditullio sic est allocutus; Nec certam sedem, nec propriam faciem, nec munus ullum peculiare tibi dedimus, O Adam, ut quam sedem, quam faciem, quæ munera tute optaveris, ea pro voto pro tua sententia habeas et possideas. Definita caeteris natura inter præscriptas a nobis leges coercetur, tu nullis augustiis coercitus pro tuo arbitrio, in cujus manus te posui, tibi illam præfinies. Medium te mundi posui ut circumspiceres inde commodius quidquid est in mundo. Nec te caelestem neque terrenum, neque mortalem neque immortalem fecimus, ut tui ipsius quasi arbitrarius honorariusque plastes et fictor in quam malueris tute formam effingas. Poteris in inferiora quæ sunt bruta degenerare, poteris in superiora quæ sunt divina ex tui animi sententia regenerari. O summam dei patris liberalitatem, summam et admirandam hominis felicitatem. Cui datum id habere quod optat, id esse quod velit. Bruta simulatque nascuntur id secum afferunt, ut ait Lucilius, e bulga matris quod possessura sunt; supremi spiritus aut ab initio aut paulo mox id fuerunt quod sunt futuri in perpetuas aeternitates. Nascenti homini omnifaria semina et omnigenæ vitæ germina indidit pater; quæ quisque excoluerit illa adolescent et fructus suos ferent in illo. Si vegetalia, planta fiet, si sensualia, obbrutescet, si rationalia, coeleste evadet animal, si intellectualia, angelus erit et dei filius, et si nulla creaturarum

sorte contentus in unitatis centrum suae se receperit, unus cum deo spiritus factus in solitaria patris caligine qui est super omnia constitutus omnibus antestabit.’

Речь впервые появляется в *комментариях* Джо. Рисунок без какого-либо специального названия; заголовок ‘de hominis dignitate’ был добавлен позже. Это не совсем уместно, поскольку большая часть беседы посвящена защите своеобразной философии Пико и восхвалению еврейской каббалы. О Пико см. Выше, стр. 202 кв. м.; и ниже; часть vi, глава ii. 4. Более чем за двести лет до этого Брунетто Латини (*Tesoro*, lib. i. cap. 13, изд. Chabaille, p. 20) had said: ‘Toutes choses dou ciel en aval sont faites pour l’ome; mais li hom at faiz pour lui meisme.’ Современнику показалось, что в этих словах было слишком много человеческой гордости, и он добавил: "Ради смерти америки, ради служения и ради того, чтобы избежать прощаемой радости".

[806] Намек на падение Люцифера и его последователей.

[807] Привычка пьемонтской знати жить в своих замках за городом поразила других итальянцев как исключительная. Банделло, часть ii. 7 ноября (?).

[808] Так было задолго до книгопечатания. Большое количество рукописей, и среди них лучшие, принадлежали флорентийским ремесленникам. Если бы не великий костер Савонаролы, их осталось бы еще много.

[809] Данте, *О монархии*, л. ii. глава 3.

[810] *Paradiso*, xvi. в начале.

[811] Данте, *Convito*, почти все *Trattato*, iv. и в других местах. Брунетто Латини говорит (*Il tesoro*, lib. i. p. ii. cap. 50, изд. Шабайль, стр. 343): ‘Се (истинная) наска премьера благородства благородного человека, без участия предков’; и он предупреждает мужчин (lib. ii. p. ii. cap. 196, стр. 440), что они могут потерять истинное благородство из-за плохих поступков. Аналогично Петрарке, *de rem. utr. form.* lib. i. dial. xvii.: ‘Verus nobilis non nascitur, sed fit.’

[812] *Poggi Opera*, *Набепуме. de nobilitate*. С точкой зрения Аристотеля прямо борется Б. Платина, *De vera nobilitate*.

[813] Это презрение к благородному происхождению распространено среди гуманистов. Посмотрите суровые отрывки из Эн. Сильвий, *Опера*, стр. 84 (*История богемии*. cap. 2) и 640. (*Истории Лукреции и Эвриала*.)

[814] Так обстоит дело в самой столице. См. Банделло, часть ii. 7 ноября; *Джовиани Понтани Антониус*, где упадок энергии знати датируется приходом к власти арагонской династии.

[815] По всей Италии было повсеместным, что владелец крупной земельной собственности стоял наравне с дворянами. Это всего лишь лесть, когда Дж. А. Кампанус дополняет заявление Пия II. (*Комментарии*, стр. 1), что мальчиком он помогал своим бедным родителям в их деревенских трудах, далее утверждается, что он делал это только для своего развлечения и что таков был обычай молодых дворян (Фойгт, ii. 339).

[816] Для оценки дворянства Северной Италии важен Банделло с его неоднократными упреками в *мезальянсах* (часть i. 4, 26 ноября; часть iii. 60 ноября). Об участии дворян в играх крестьян см. выше.

[817] Суровое суждение Макиавелли, *Дискорси*, i. 55, относится только к тем представителям знати, которые все еще сохраняли феодальные права, и которые были совершенно праздными и политически вредными. У Агриппы Неттесгеймского, который обязан своими самыми замечательными идеями главным образом жизни в Италии, есть глава о знати и принцах (*De Incert. et Vanit. Scient.* cap. 80), горечь которого превосходит все, с чем можно было столкнуться в других местах, и объясняется социальным брожением, царившим тогда на Севере. Отрывок на стр. 213 выглядит следующим образом: 'Си ... nobilitatis primordia requiramus, comperiemus hanc nefaria perfidia et crudelitate partam, si ingressum spectemus, reperiemus hanc mercenaria militia et latrocinii auctam. Nobilitas revera, ничто иное, как невероятная робуста, достойная человека, не принадлежащего к низам, кесита бенедиктио и наследственность пессимиста в качестве филиорума'. Излагая историю дворянства, он мимоходом упоминает Италию (стр. 227).

[818] Массуччо, 19 ноября (изд. Сеттембрини, Нап. 1874, стр. 220). Первое издание. Романы появились в 1476 году.

[819] Якопо Питти Козимо I., *Архив. История*. iv. ii. с. 99. В Северной Италии испанское правление привело примерно к тем же результатам. Банделло, часть ii. 40 ноября, относится к этому периоду.

[820] Когда в пятнадцатом веке Веспасиано Фиорентино (стр. 518, 632) подразумевает, что богатые не должны пытаться увеличить свое унаследованное состояние, а должны тратить весь свой годовой доход, это может относиться только к крупным землевладельцам.

[821] Франко Саккетти, 153 ноября. Сост. 82 и 150 ноября.

[822] "Че за кавалерия и смерть".

[823] Поджиус, *Де Нобилитат*, fol. 27. См. Выше, стр. 19. Энея Сильвио (*История. Жареный. III.* изд. Коллар, стр. 294) придирается к готовности, с которой Фридрих даровал рыцарство в Италии.

[824] Вазари, iii. 49, и примечание. *Vita di Dello*. Город Флоренция претендовал на право присвоения рыцарского звания. О церемониях такого рода в 1378 и 1389 годах см. Ремон, *Лоренцо*, ii. 444 кв.

[825] Сенарега, *Де реб. генерал*. в Мурате. xxiv. col. 525. На свадьбе Иоанна. Adurnus with Leonora di Sanseverino, 'certamina equestria in Sarzano edita sunt ... proposita et data victoribus praemia. Ludi multiformes in palatio celebrati a quibus tanquam a re nova pendebat plebs et integros dies illis spectantibus impendebat.' Politian writes to Joh. Пик кавалерийских упражнений его учеников (*аврусм Пол. Epist.* lib. xii. ep. 6): 'Tu tamen a me solos fieri poetas aut oratores putas, at ego non minus facio bellatores.' Ортензио Ланди в "*Commentario*", стр. 180, рассказывает о дуэли между двумя солдатами в Корреджо со смертельным исходом, напоминающей одно из старых гладиаторских боев. Писатель, чье воображение обычно активно, производит здесь впечатление правдивости. Приведенные отрывки показывают, что рыцарство не было абсолютно необходимым для этих публичных состязаний.

[826] Петрарка, *Послание. Сениль*. xi. 13, к Уго из Эсте. Еще один отрывок из *Послания. Famil. lib. v. ep. 6*, 1 декабря 1343 г., описывает отвращение, которое он испытал, увидев падение рыцаря на турнире в Неаполе. Юридические предписания относительно турнира в Неаполе см. в Итальянском переводе писем Петрарки Фракассетти, Флоренция, 1864, ii. стр. 34. Л. Б. Альберти также указывает на опасность, бесполезность и дороговизну турниров. *Della Famiglia, Op. Volg.* ii. 229.

[827] 64 ноября. В отношении этой практики прямо говорится в "*Орландино*" (ii. стр. 7) о турнире при Карле Великом: "Здесь сражались не повара и поварята, а короли, герцоги и маркизы".

[828] Это одна из старейших пародий на турнир. Прошло шестьдесят лет, прежде чем Жак Кер, бюргер-министр финансов при Карле VII, устроил турнир на ослах во дворе своего дворца в Бурже (около 1450 года). Самая блестящая из всех этих пародий — вторая песнь только что процитированного *Орландино* — была опубликована только в 1526 году.

[829] Сост. уже цитировавшихся стихотворений Политиана и Луки Пульчи (стр. 349, примечание 3). Далее, Пол. Джов., *Вита Леонис X. л. и.*; Макиавелли, *История Фиорента.*, л. vii.; Пол. Джов. *Elog.*, говоря о Пьетро Медичи, который пренебрегал своими общественными обязанностями ради этих развлечений, и о Франке Борбоний, погибший в них; Вазари, ix. 219, *Житие Граначчи*. В "*Морганте Пульчи*", написанном под руководством Лоренцо, рыцари комичны в своем языке и действиях, но их удары крепки и научны. Боджардо тоже пишет для тех, кто разбирается в турнирах и военном искусстве. Сост., стр. 323. В более ранней истории Флоренции мы читаем о турнире в честь короля Франции, который состоялся около 1380 года в Леоне. Aret., *Hist. Флор.* библиотека. xi. изд. Серебро, стр. 222. Турниры в Ферраре в 1464 году упоминаются в *Дневнике Феррара*. в Мюрате. xxiv. col. 208; в Венеции, см. Сансовино, *Венеция*, т. 153 кв. м.; в Болонье в 1470 году и позже, см. Бурселлис, *Annal. Bonon.* Муратори xxiii. col. 898, 903, 906, 908, 911, где любопытно отметить странную смесь сентиментализма, присущую празднованию римских триумфов; 'ut antiquitas Romana renovata videretur', - читаем мы в одном месте. Фредерик Урбинский (стр. 44 кв.) потерял правый глаз на турнире "ab ictu lanceae". О турнире, проводившемся в то время в северных странах, см. Оливье де ла Марш, *Мемуары, passim* особенно cap de la Marche.. 8, 9, 14, 16, 18, 19, 21, & c.

[830] Лысый. Castiglione. *Il Cortigiano*, l. i. fol. 18.

[831] Пол. Jovii, *Elogia*, sub tit. Петрус Гравина, Алекс. Ахиллинус, Бальт. Кастеллио и др. стр. 138 кв. м. 112 кв. м. 143 кв. м.

[832] Casa, *Il Galateo*, стр. 78.

[833] Смотрите по этому поводу венецианские книги мод и Сансовино, *Венеция*, т. 150 кв. Свадебное платье на помолвке - белое, с волосами, свободно ниспадающими на плечи, — изображено на картине Тициана "Флора". Выставка 'Proveditori alle pompe' в Венеции основана в 1514 году. Выдержки из их решений в Armand Baschet, *Souvenirs d'une Mission*, Париж, 1857. Запрет вышитых золотом одежд в Венеции в 1481 году, которые раньше носили даже жены пекарей; теперь они должны были быть украшены 'gemmis unionibus', так что 'frugalissimus ornatus' стоил 4000 золотых флоринов. М. Ант. Sabellici, *Epist. lib. iii.* (обращаясь к М. Анто. Барбаварус).

[834] Юпитерианин. Pontan. *De Principe*: 'Utinam autem non eo impudentiae perventum esset, ut inter mercatorem et patricium nullum sit in vestitu ceteroque ornatu discrimen. Sed haec tanta licentia reprehendi potest, coerceri non potest, quanquam mutari vestes sic quotidie videamus, ut quas quarto ante mense in deliciis habebamus, nunc repudiemus et tanquam veteramenta abjiciamus. Quodque tolerari vix potest, nullum fere vestimenti genus probatur, quod e Galliis non fuerit adductum, in quibus levia pleraque in pretio sunt, tametsi nostri persaepe homines modum illis et quasi formulam quandam praescribant.'

[835] См., например, *Дневник Феррарезе* в Мурате. xxiv. col. 297, 320, 376, кв., в котором говорится о последних немецких модах; хронист говорит: "Che pareno buffoni tali portatori".

[836] Здесь можно процитировать этот интересный отрывок из очень редкой работы. См. Выше, стр. 83 примечание 1. Историческое событие, о котором идет речь, - это завоевание Милана Антонио Лейвой, генералом Карла V., в 1522 году. 'Olim splendidissime vestiebant Mediolanenses. Sed postquam Carolus Cæsar in eam urbem tetram et monstruosam Bestiam immisit, ita consumpti et exhausti sunt, ut vestimentorum splendorem omnium maxime oderint, et quemadmodum ante illa durissima Antoniana tempora nihil aliud fere cogitabant quam de mutandis vestibus, nunc alia cogitant ac in mente versant. Non potuit tamen illa Leviana rabies tantum perdere, neque illa in exhausta depraedandi libidine tantum expilare, quin a re familiari adhuc belle parati fiant atque ita vestiant quemadmodum decere existimant. Et certe nisi illa Antonii Levae studia egregios quosdam imitatores invenisset, meo quidem iudicio, nulli cederent. Neapolitani nimium exercent in vestitu sumptus. Genuensium vestitum perelegantem iudico neque sagati sunt neque togati. Ferme oblitus eram Venetorum. Ii togati omnes. Decet quidem ille habitus adulta aetate homines, juvenes vero (si quid ego iudico) minime utuntur panno quem ipsi vulgo Venetum appellant, ita probe confecto ut perpetuo durare existimes, saepissime vero eas vestes gestant nepotes, quas olim tritavi gestarunt. Noctu autem dum scortantur ac potant, Hispanicis palliolis utuntur. Ferrarienses ac Mantuani nihil tam diligenter curant, quam ut pileos habeant aureis quibusdam frustillis adornatos, atque nutanti capite incedunt seque quovis honore dignos existimant, Lucenses neque superbo, neque abjecto vestitu. Florentinorum habitus mihi quidem ridiculus videtur. Reliquos omitto, ne nimius sim." Уголин Берин, "de illustratione urbis Florentiae", говорит о простоте старого доброго времени:

'Non externis advecta Britannis
Lana erat in pretio, non concha aut coccus in usu.'

[837] Сост. отрывков на ту же тему в Falke, *Die deutsche Trachten- und Modenwelt*, Лейпциг, 1858.

[838] О флорентийских женщинах см. Основные ссылки в Giov. Виллани, х. 10 и 150 (Правила относительно одежды и их отмена); Маттео Виллани, i. 4 (Экстравагантный образ жизни вследствие чумы). В знаменитом указе о моде 1330 года вышитые рисунки были разрешены только на платьях женщин, за исключением тех, которые были раскрашены (dipinto). Какова была природа этих украшений, представляется сомнительным. У Боккаччо есть список туалетных искусств, которыми пользовались женщины, *De Cas. Vir. Ill. lib. i. cap. 18*, "в муьере".

[839] Парики из настоящих волос назывались "capelli morti". Парики носили и мужчины, например, Джанноццо Манетти, *Vesp. Bist. Commentario*, стр. 103; итак, по крайней мере, мы объясняем этот несколько неясный отрывок. Пример вставных зубов из слоновой кости, которые носил, хотя и только ради четкой артикуляции, итальянский прелат, см. Anshelm, *Berner Chronik*,

iv. стр. 30 (1508). Ivory teeth in Boccaccio, l. c.: 'Dentes casu sublato reformare ebore fuscato pigmentis gemmisque in albedinem revocare pristinam.'

[840] Infessura, в Eccard, *Scriptores*, II. col. 1874: Аллегретто, в Murat. xxiii. col. 823. О писателях, рассказывающих о Савонароле, читайте ниже.

[841] Сансовино, *Венеция*, фол. 152: "Биондиссими капеллы за единую силу". Сост. стр. 89, и редкие работы, цитируемые Ириарте, "*Борьба патриция Венеции*" (1874), стр. 56.

[842] Как это было и в Германии. *Poesie satiriche*, p. 119. Из сатиры Берна. Джамбуллари, "За преданность могли" (стр. 107-126), мы можем составить представление о химии туалета, которое было основано в значительной степени на суевериях и магии.

[843] Поэты не жалели сил, чтобы показать уродство, опасность и абсурдность этих практик. Комп. Ariosto, *Sat.* iii. 202 sqq.; Aretino, *Il Marescalco*, atto ii. сцена 5; и несколько отрывков из "*Раджуонаменти*"; Джамбуллари, l. c. Phil. Бироальд. сен. *Гармина*. Также Филельфо в своих сатирах (Венеция, 1502, iv. 2-5 кв.м).

[844] Ченнино Ченнини, *Трактато делла Питтура*, дает в главе 161 рецепт нанесения макияжа на лицо, очевидно, для мистерий или маскарадов, поскольку в главе 162 он торжественно предостерегает своих читателей от общего использования косметики и тому подобного, что было особенно распространено, как он нам говорит (стр. 146 кв.), в Тоскане.

[845] Сост. *La Nencia di Barberino*, str. 20 and 40. Влюбленный обещает привезти из города свою любимую косметику (см. Об этом стихотворении Лоренцо деи Медичи выше, стр. 101).

[846] Аньоло Пандольфини, *Трактато делла Гуверно делла Фамилья*, стр. 118. Он самым решительным образом осуждает эту практику.

[847] Тристан. Караччоло в Мюрате. xxii. кол. 87. Банделло, часть II. 47 ноября.

[848] Заглавная. i. Козимо: "В чем суть новой истории и профумации альтро ди ми мандасте на донаре". Некоторые предметы, относящиеся к этому периоду, еще не утратили своего запаха.

[849] Веспасиано Фиорент. стр. 453, "Жизнь Донато Аччаджуоли", и стр. 625, "Жизнь Никколи". См. Выше, том i, стр. 303 кв.

[850] Джиральди, *Гекатоммити*, Введение. 6 ноября. Несколько замечаний о немцах в Италии, возможно, будут здесь уместны. О страхе перед немецким вторжением см. стр. 91, примечание 2; о немцах как переписчиках и печатниках, стр. 193 кв. и примечания; о насмешках над Адрианом VI. как немец, стр. 227 и примечания. Итальянцы в целом были недоброжелательны к немцам и демонстрировали свою недоброжелательность насмешками. Boccaccio (*Decam.* viii. 1) says: 'Un Tedesco in soldo prò della persona è assai leale a coloro ne' cui servigi si mattea; il che rade volte suole de' Tedeschi avvenire.' Рассказ приводится как пример немецкой хитрости. Итальянские гуманисты полны нападок на немецких варваров, и особенно на тех, кто, подобно Поджио, видел Германию. Сост. Voigt, *Wiederbelebung*, 374 sqq.; Geiger, *Beziehungen zwischen Deutschland und Italien Zeit des Humanismus in Zeitschrift für deutsche Culturgeschichte*, 1875, pp. 104-124; see also Janssen, *Gesch. der deutschen Volkes*, i. 262. Одним из главных противников германцев был Иоанн. Ант. Кампанус. Смотрите его работы, изд. Менкен, который выступил с речью 'De Campani odio в Германии'. Ненависть к германцам усилилась из-за поведения

Адриана VI и еще больше из-за поведения войск при разграблении Рима (Грегоровиус, viii. 548, примечание). Банделло III, 30 ноября, выбирает немца как тип грязного и глупого человека (см. iii. 51, о другом немце). Когда итальянец хочет похвалить немца, он говорит, как Петрус Алкиониус в посвящении к своему диалогу "*Изгнание*", адресованному Николаю Шомбергу, стр. 9: 'Итакэ и другие в понимании клариссимы Немецкой провинции, иллюстрирующей наталибус ортус эс, укрощенной в итальянской познании'. Безоговорочная похвала встречается редко, например, в адрес немецких женщин во времена Мариуса, *Кортиджано*, iii. глава 33.

Следует добавить, что итальянцы эпохи Возрождения, как и греки античности, испытывали отвращение ко всем варварам. Боккаччо, "*О ясности ума*", в статье "Кармента" говорит о "немецком варварстве, французской дикости, английском ремесле и испанской грубости".

[851] Пол. Йов. *Elogia*, стр. 289, в котором, однако, ничего не упоминается о немецком образовании. Даже знаменитые женщины не могли заставить Максимилиана сменить нижнее белье.

[852] Эней Сильвий (*Биография Папарума*, ум. Murat. iii. ii. col. 880) says, in speaking of Baccano: 'Pauca sunt mapalia, eaque hospitia faciunt Theutonici; hoc hominum genus totam fere Italiam hospitem facit; ubi non repereris hos, neque diversorium quaeras.'

[853] Франко Саккетти, 21 ноября. Падуя, примерно в 1450 году, хвастался великолепной гостиницей 'Окс', похожей на дворец, с конюшнями на двести лошадей. Микеле Савонарола, в мюр. xxiv. кол. 1175. Во Флоренции, за воротами Сан-Галло, находилась одна из самых больших и великолепных гостиниц, известных в то время, но служившая, по-видимому, лишь местом развлечения горожан. Varchi, *Stor. Фур.* iii. стр. 86. Во времена Александра VI. лучшую гостиницу в Риме держал немец. Смотрите замечательные примечания, взятые из рукописи Буркарда в Грегоровиусе, vii. 361, примечание 2. Сост. там же. стр. 93, примечания 2 и 3.

[854] Сост., например, отрывки из "*Повествования*" Себастьяна Бранта, из "Коллоквиумов Эразма", из латинской поэмы Гробиана и др., А также стихи о поведении за столом, где, помимо описания вредных привычек, даются правила хорошего поведения. For one of these, see C. Weller, *Deutsche Gedichte der Jahrhunderts*, Tübingen, 1875.

[855] Уменьшение слова "бурла" очевидно из примеров в *Кортиджано*, l. ii. fol. 96. Флорентийские розыгрыши прочно удерживали свои позиции. Смотрите, в качестве доказательства, "Рассказы о Ласке" (ант. франц. Грацини, р. 1503, ум. в 1582), появившийся во Флоренции в 1750 году.

[856] Что касается Милана, см. Банделло, часть i. 9 ноября. Там было более шестидесяти экипажей с четырьмя лошадьми и бесчисленное множество других с двумя, многие из них были украшены резьбой, богатой позолотой и с шелковыми верхами. Сост. там же. ноябрь. 4. Ариосто, Сб. iii. 127.

[857] Банделло, часть i. 3 ноября, iii. 42, iv. 25.

[858] *De Vulgari Eloquio*, изд. Corbinelli, Parisiis, 1577. Согласно Боккаччо, "*Жизнь Данте*", стр. 77, это было написано незадолго до его смерти. В *Convito* он упоминает быстрые и разительные изменения, произошедшие при его жизни в итальянском языке.

[859] Смотрите по этому вопросу исследования Лионардо Аретино (*Послание*. изд. Мехус. ii. 62 кв. lib. vi. 10) и Поджио (*Historiae disceptativae convivales tres*, в *Opp.* fol. 14 кв.), был ли в прежние времена язык народа и ученых одинаковым. Лионардо настаивает на отрицательном; Поджио явно настаивает на положительном в отношении своего предшественника. Смотрите также подробную аргументацию Л. Б. Альберти во введении к "*Делла Фамилья*", книга iii. о необходимости итальянского языка для общения.

[860] Ученый-носитель языка мог бы без труда подсчитать постепенный прогресс, достигнутый этим диалектом в литературе и общественном общении. Можно было бы показать, до какой степени в четырнадцатом и пятнадцатом веках различные диалекты сохраняли свое место, полностью или частично, в переписке, в официальных документах, в исторических трудах и в литературе в целом. Также будут обсуждаться отношения между диалектами и более или менее нечистой латынью, которая служила официальным языком. Способы речи и произношения в разных городах Италии описаны в Landi, *Forcianaes Quaestiones*, fol. 7 a. О первом он говорит: "Hetrusci vero quanquam caeteris превосходен, излишествует не поспунтившись, никогда не высмеивая себя, сам по себе не имеет ничего общего"; что касается произношения, то особенно хвалят сиенцев, луккезе и флорентийцев; но о флорентийцах говорят: "Plus (jucunditatis) haberet si voces non ingurgitaret aut non ita palato lingua jungeretur".

[861] Это так чувствуется у Данте, *De Vulgari Eloquio*.

[862] Тосканский, это правда, читался и писался задолго до этого в Пьемонте — но вообще было сделано очень мало чтения и записи.

[863] Также было четко понято место диалекта в повседневной жизни. Джовиано Понтано осмелился специально предостеречь принца Неаполитанского от его использования (Jov. Pontan. *De Principe*). Последние бурбоны, как известно, были менее щепетильны в этом отношении. О том, как высмеивали миланского кардинала, желавшего сохранить свой родной диалект в Риме, см. Банделло, часть ii. 31 ноября.

[864] Лысый. Castiglione, *Il Cortigiano*, l. i. fol. 27 sqq. На протяжении всего диалога мы можем узнать личное мнение писателя. Противопоставление Петрарки и Боккаччо очень любопытно (Данте ни разу не упоминается). Мы читаем, что Политиан, Лоренцо де Медичи и другие тоже были тосканцами и столь же достойны подражания, как и они, "в борьбе за не второстепенную точку зрения и руководство".

[865] Однако этому было ограничение. Сатирики вводят кусочки испанского, а Фоленго (под псевдонимом Лимерно Питокко, в своем *Орландино*) французского, но только в качестве насмешки. Исключительным фактом является то, что улица в Милане, которая во времена правления французов (с 1500 по 1512 год, с 1515 по 1522 год) называлась Rue Belle, сейчас носит название Ругабелла. Долгое испанское правление почти не оставило следов в языке, и лишь изредка имя какого-либо губернатора встречается на улицах и в общественных зданиях. Только в восемнадцатом веке вместе с французским образом мышления многие французские слова и обороты проникли в итальянский. Пуризм нашего века все еще занят их устранением.

[866] Флоренцуола, *Опера*, i. в предисловии к "Рассуждениям о женской красоте" и ii. в *Раджюнаменти*, которые предшествуют романам.

[867] Банделло, часть i. *Proemio*, и 1 и 2 ноября. Другой ломбардец, вышеупомянутый Теофило Фоленго в своем "*Орландино*", рассматривает все это с насмешкой.

[868] Такой конгресс, по-видимому, был проведен в Болонье в конце 1531 года под председательством Бембо. Посмотрите письмо Клода. Толомаи, во Флоренции, *Опера*, том ii. приложение. стр. 231 кв. м. Но это было не столько вопросом пуризма, сколько скорее старой ссорой между лангобардами и тосканцами.

[869] Луиджи Корнаро жалуется в 1550 году (в начале его *Трактато делла Вита Собрия*), что в последнее время испанские церемонии и комплименты, лютеранство и обжорство набирают силу в Италии. С умеренностью в отношении развлечений, предлагаемых гостям, исчезли свобода и непринужденность общения.

[870] Вазари, xii. стр. 9 и 11, *Вита Рустичи*. О Скандальной школе нуждающихся художников см. xi. 216 кв. м., *Жизнеописание Аристотеля*. "*Капитолий*" Макиавелли для круга искателей удовольствий (*Опера минори*, стр. 407) - нелепая карикатура на эти общественные устои. Известное описание вечерней встречи художников в Риме у Бенвенуто Челлини, глава 30, ни с чем не сравнимо.

[871] Снимок, должно быть, сделан около 10 или 11 часов. Смотрите Банделло, часть ii. 10 ноября.

[872] Прато, арх. *Stor.* iii. p. 309, называет дам "*alquante ministre di Venere*".

[873] Биографические сведения и некоторые из ее писем в "*Кратком изложении итальянского языка*" А. В. Ремон. Фрайбург (1877), стр. 22 кв.

[874] Важные отрывки: часть первая. ноябрь. 1, 3, 21, 30, 44; ii. 10, 34, 55; iii. 17 и др.

[875] Сост. *Lorenzo Magn. dei Med.*, *Поэзия*, i. 204 (Симпозиум); 291 (вечеринка Хокинга). Роско, *Жизнь Лоренцо*, iii. стр. 140 и доп. с 17 по 19.

[876] Название "Симпозио" неточно; его следовало бы назвать "Возвращение со сбора винограда". Лоренцо в пародии на "Ад Данте" рассказывает забавный рассказ о своей встрече на Виа Фаэнца со всеми своими хорошими друзьями, возвращавшимися из деревни более или менее навеселе. В восьмой главе "Пьованно Арлотто" есть очень комичная картина, где Пьованно отправляется на поиски утоления жажды, вооружившись вяленным мясом, селедкой, куском сыра, колбасой и четырьмя сардинами "*e tutte si coccevan nel sudore*".

[877] О Козимо Руччеллаи как центре этого круга в начале шестнадцатого века см. Макиавелли, *Искусство Гуэрры*, л. и.

[878] *Il Cortigiano*, л. ii. fol. 53. См. выше, стр. 121, 139.

[879] Целий Кальканьин (*Opere*, стр. 514) описывает образование молодого итальянца, занимавшего высокое положение, примерно в 1506 году, в надгробной речи Антонио Костабили: во-первых, "Искусство свободы и изначальной дисциплины"; *tum adolescentia in iis exercitationibus acta, quæ ad rem военный корпус и животный мир. Nunc gymnastæ (i.e. the teachers of gymnastics) operam dare, luctari, excurrere, natare, equitare, venari, aucupari, ad palum et apud lanistam ictus inferre aut declinare, caesim punctimve hostem ferire, hastam vibrare, sub*

armis hyemen juxta et aestatem traducere, lanceis occursare, veri ac communis Martis simulacra imitari.' Cardanus (*De prop. Buma*, с. 7) называет среди своих гимнастических упражнений прыжки на деревянном коне. Сост. Рабле, *Гаргантюа*, i. 23, 24, для образования в целом и 35 для гимнастического искусства. Даже для филологов Марсилиус Фичин (*Epist.* iv. 171 Галеотто) требует гимнастики, а Маффео Веглио (*De Puerorum Educatione*, lib. iii. с. 5) - для мальчиков.

[880] Сансовино, Венеция, фол. 172 кв. Говорят, что они возникли из-за гребли на Лидо, где проходили тренировки с арбалетом. Великая регата в праздник Святого Павла была предписана законом с 1315 года. В ранние времена в Венеции было много верховой езды, до того, как улицы были заасфальтированы, а ровные деревянные мосты превратились в арочные каменные. Петрарка (*Epist. Сенилес*, iv. 4) описывает блестящий турнир, состоявшийся в 1364 году на площади Святого Марка, и у дожа Стено около 1400 года была такая же прекрасная конюшня, как у любого принца в Италии. Но верховая езда в окрестностях площади была запрещена, как правило, после 1291 года. В более позднее время венецианцы, естественно, получили прозвище плохих наездников. См. Ариосто, Сб. v. 208.

[881] Смотрите по этому вопросу: "*История возрождения и переплетения музыки*", Бернхард Лоос, Базель, 1875, который, однако, вряд ли предлагает для этого периода больше, чем приведено здесь. О позиции Данте по отношению к музыке, а также о музыке к стихотворениям Петрарки и Боккаччо см. Trucchi, *Poesie Ital. избранное*, ii. стр. 139. См. также *Музыкальные произведения Секоли XIV., XV. и XVI. tratte da vari codici per cura di Antonio Cappelli*, Bologna, 1868. Для теоретиков четырнадцатого века, Филиппо Виллани, *Vite*, стр. 46, и Скардеония, *De urb. Патив. antiq.* в Graev. Тезаурус, vi. iii. col. 297. Полный отчет о музыке при дворе Фредерика Урбинского можно найти в "*Вечерне*". *Фиор.* стр. 122. О детской капелле (десять детей 6-8 лет, которых Ф. воспитывал в своем доме и которых обучал пению) при дворе Геркулеса I. см. *Дневник Феррарезев* Мюрате. xxiv. col. 359. За пределами Италии влиятельным лицам все еще с трудом разрешалось быть музыкантами; при фламандском дворе молодого Карла V. по этому поводу разгорелся серьезный спор. Увидимся с Хьюбертом. Леод. *De Vita Frid. II. Palat.* l. iii. Генрих VIII. исключением является Англия, а также германский император Максимилиан, который предпочитал музыку, как и все другие искусства. Куспиниан в своей "*Жизни императора*" называет его "Единственным любителем музыки" и добавляет: 'К чему клонит максим патет, к чему ведут всеобщие музыкальные принципы, во всеобщих музыкальных инструментах в ejus curia, велюти в fertilissimo agro succreverant. Scriberem catalogum musicorum quos novi, nisi magnitudinem operis vererer.' Вследствие этого в Венском университете большое внимание уделялось музыке. Этому способствовало присутствие музыкального молодого герцога Милана Франческо Сфорца из Милана. See Aschbach, *Gesch. der Wiener Universität* (1877), vol. ii. 79 sqq.

Замечательный и всеобъемлющий отрывок о музыке можно найти там, где мы его не ожидали, в Маккарониде, Фант. xx. Это комическое описание квартета, из которого мы видим, что часто исполнялись испанские и французские песни, что у музыки уже были свои враги (1520) и что капелла Льва X. и еще более раннего композитора Жоскена де Пре, основные произведения которого упоминаются, были главными объектами энтузиазма в музыкальном мире того времени. Тот же писатель (Фоленго) демонстрирует в своем "*Орландино*" (iii. 23 и далее), опубликованном под названием "Лимерно Питокко", музыкальный фанатизм совершенно современного толка.

Барт. Facius, *De Vir. Ил.* стр. 12, восхваляет Леонарда Юстиниана как композитора, который в юности сочинял песни о любви, а в старости - религиозные произведения. Дж. А. Кампанус (*Послание*. i. 4, изд. Mencken) превозносит музыканта Закаруса из Тегато и говорит о нем: 'Inventa pro oraculis habentur'. Томас из Форли "Папская музыка" в *Дневнике Бурчарди*, изд. Leibnitz, pp. 62 sqq.

[882] *Анонимная жизнь Леониса*, в Роско, изд. Босси, xii. стр. 171. Не может ли он быть скрипачом из Палаццо Шарра? Некий Джован Мария да Корнето восхваляется в "*Орландино*" (Милан, 1584, iii. 27).

[883] Ломаццо, *Траттато дель Арте делла Питтура*, и с. стр. 347. Текст, однако, не подтверждает последнее утверждение, которое, возможно, основано на неправильном понимании последнего предложения: "И внутри вас я получаю удовольствие от общения с подобными людьми, от того, что вы являетесь легендой и поэтом, и от того, что вы исторически копируете историю, и от того, что является сутью изобретательности, и от того, что вы создаете воображаемое как таковое?" Говоря о лире, он упоминает Лионардо да Винчи и Альфонсо (герцога?) Феррарского. Автор включает в свою работу всех знаменитостей того времени, среди них нескольких евреев. Наиболее полный список знаменитых музыкантов шестнадцатого века, разделенных на более раннее и более позднее поколение, можно найти у Рабле, в 'Новом прологе' к четвертой книге. Виртуоз, слепой Франческо Флорентийский (ум. в 1390 г.), был коронован в Венеции королем Кипра лавровым венком.

[884] Сансовино, *Венеция*, фол. 138. Те же самые люди, естественно, собирали музыкальные книги. Sansovino's words are, 'è vera cosa che la musica ha la sua propria sede in questa città.'

[885] "Академия филармонии" в Вероне упоминается Вазари, xi. 133, в "Жизни Санмикеле". В 1480 году Лоренцо Магниifico уже был центром Школы гармонии, состоящей из пятнадцати членов, среди которых был знаменитый органист и изготовитель органа Скварчалупи. См. Делекюз, *Флоренция и превратности судьбы*, том ii, стр. 256, и Ремон, *Л. д. М.* i. 177 кв. м., ii. 471-473. Марсилио Фичино принимал участие в этих упражнениях и дает в своих письмах (*Epist.* i. 73, iii. 52, v. 15) замечательные правила относительно музыки. Лоренцо, похоже, передал свою страсть к музыке своему сыну Лео X. Его старший сын Пьетро тоже был музыкальным.

[886] *Il Cortigiano*, фол. 56, сост. фол. 41.

[887] Quatro viole da arco' — высокое и, за исключением Италии, редкое достижение для любителей.

[888] Банделло, часть i ноября. 26. Песня Антонио Болоњи в доме Ипполиты Бентивольо. Сост. iii. 26. В наши деликатные дни это назвали бы профанацией самых святейших чувств. (Сост. "Последняя песнь Британика", Тацит. *Анналы*. xiii. 15.) Декламации в сопровождении лютни или "альта" нелегко отличить, согласно дошедшим до нас описаниям, от так называемого правильного пения.

[889] Скардеониус, Л. к.

[890] Биографии женщин см. Выше, стр. 147 и примечание 1. Сост. превосходная работа Атилио Хортиса: *Знаменитый Донн, описание Джованни Боккаччи*. Триест, 1877 год.

[891] Например, в Кастильоне, *Иль Кортиджано*. В том же духе Франческо Барбаро, *De Re Uxoribus*; Поджио, *"Сени сидят за дученду"*, в котором много зла сказано о женщинах; насмешки над Кодро Урсео, особенно его замечательное выступление, *"За дученду сидят"* (*Опера*, 1506, fol. xviii.-XXI.), а также сарказмы многих эпиграмматистов. Марцелл Палингений (т. i. 304) рекомендует безбрачие в различных отрывках, lib. iv. 275 sqq., ст. 466-585; в качестве средства усмирения непослушных жен он рекомендует женатым людям,

'Tu verbera misce

Tergaque nunc duro resonent pulsata bacillo.'

Итальянскими писателями, отстаивающими интересы женщин, являются Бенедетто да Чезена, *"Де Оноре Мульерум"*, Венеция, 1500 г., Дардано, *"Защита Донны"*, 1554 г., пер. Донна Романа. изд. Манфреди, Бол. 1575. Защита или нападение на женщин, подкрепленные примерами известных или печально известных женщин вплоть до времен писательницы, также рассматривались евреями частично на итальянском, частично на иврите; и в связи с более ранней еврейской литературой, датируемой тринадцатым веком, мы можем упомянуть Abr. Сартеано и Элиа Дженнацано, последний из которых защищал первого от нападков Абигдора (за их ср. стихи о 1500 году, сост. Steinschneider, *Hebr. Библиогр.* vi. 48).

[892] Адресована Аннибале Малегуччо, иногда числится как 5-я или 6-я.

[893] Когда венгерская королева Беатриче, неаполитанская принцесса, приехала в Вену в 1485 году, к ней обращались по-латыни и говорили: "Прошу прилежания за домину регину саепе, cum placide audierat, subridendo". Ашбах, о. с. том ii. 10 примечание.

[894] Доля женщин в пластическом искусстве была незначительной. Ученая Изотта Ногарола заслуживает отдельного упоминания. О ее отношениях с Гуарино см. Росмини, ii. 67 кв. м.; с Пием II. см. Фойгт, iii. 515 кв.м.

[895] Именно с этой точки зрения мы должны судить о жизни Алессандры де Барди в Веспасиано Фиорентино (Mai, *Spicileg.* рим. i. стр. 593 кв.м) Автор, кстати, великий "laudator temporis acti", и не следует забывать, что почти за сто лет до того, что он называет старыми добрыми временами, Боккаччо написал *"Декамерон"*. О культуре и образовании итальянских женщин того времени, сост. многочисленные факты, приведенные в книге Грегоровиуса *"Лукреция Борджиа"*. Существует каталог книг, принадлежавших Лукреции в 1502 и 3 годах (Грегоровиус, изд. 3, i. 310, ii. 167), которые можно считать характерными для итальянских женщин того периода. Там мы находим Требник; книжечку с семью псалмами и несколькими молитвами; пергаментную книгу с золотой миниатюрой под названием *"Де Коппелле алла Спаньола"*; печатные письма Екатерины Сиенской; печатные послания и Евангелия на итальянском; религиозную книгу на испанском; сборник испанских од с пословицами Доменико Лопеса; печатную книгу под названием *"Аквила Воланте"*; *"Зеркало веры"*, напечатанную на итальянском; итальянскую печатную книгу под названием *"Дополнение к Библии"*. *Хроники*; печатный Данте с комментариями; итальянская книга по философии; легенды о святых на итальянском; старинная книга *Де Вентуры*; Донат; Жизнь Христа на испанском; рукопись Петрарки на двенадцатиперстном пергаменте. Второй каталог 1516 года вообще не содержит светских книг.

[896] Ant. Galateo, *Epist.* 3, к молодой Боне Сфорца, будущей жене Сигизмунда Польского: "Инкипе аликвида виро сапере, право на императорскую власть над природой".... Ita fac, ut sapientibus viris placeas, ut te prudentes et graves viri admirentur, et vulgi et muliercularum studia et iudicia despicias,' &c. Замечательное письмо и в других отношениях (Mai.*Spicileg. Рим.* viii. стр. 532).

[897] Так она называется в *Хронике. Venetum*, in Muratori, xxiv. col. 121 sqq. (в отчете о ее героической защите, там же., стр. 121, она названа мегерой). Сост. Инфессура в Eccard, *Scriptt.* ii. col. 1981, и *Arch. История.* приложение. ii. стр. 250, и Грегоровиус, vii. 437, примечание 1.

[898] Современные историки говорят о ее более чем женском интеллекте и красноречии. Комп. Ranke's *Filippo Strozzi*, in *Historisch-biographische Studien*, p. 371 note 2.

[899] И иногда это правильно. Как должны вести себя дамы во время рассказывания подобных историй, мы узнаем из *Кортиджано*, л. iii. fol. 107. То, что дамы, присутствовавшие при его диалогах, должны былизнать, как вести себя в случае необходимости, показано сильным отрывком, л. ii. fol. 100. То, что говорят о "Донне ди Палаццо" — двойнике Кортиджано, — что она не должна ни избегать легкомысленного общества, ни употреблять неподобающие выражения, не имеет решающего значения, поскольку она была гораздо больше служанкой принцессы, чем Кортиджано принца. Банделло, i. ноябрь 44. Бьянка д'Эсте рассказывает ужасную историю любви своего предка, Никколо Феррарского, и Паризины. Истории, вложенные в уста женщин из "*Декамерона*", также могут служить примерами этой неделикатности. О Банделло см. Выше, стр. 145; и Ландау, *Beitr. z. Gesch. der Ital. Nov.* Вена, 1875, стр. 102. примечание 32.

[900] Сансовино, *Венеция*, фол. 152 кв. Насколько высоко путешествующие итальянцы ценили более свободные отношения с девушками в Англии и Нидерландах, показано Банделло, ii. ноябрь. 44 и iv. ноябрь. 27. О венецианских женщинах и итальянках в целом см. Работу Ириарте, стр. 50 кв.

[901] Пол. Йов. *Де Рим. Piscibus*, cap. 5; Банделло, часть III. ноябрь. 42. Аретино в "*Раджионамента дель Зоппино*", стр. 327, говорит о куртизанке: "Она знает наизусть всего Петрарку и Боккаччо, а также множество прекрасных стихов Вергилия, Горация, Овидия и тысячи других авторов".

[902] Банделло, ii. 51, iv. 16.

[903] Банделло, iv. 8.

[904] Характерный пример этого см. Джиральди, *Гекатомити*, 7 ноября VI.

[905] Infessura, в Eccard, *Scriptores*, II. col. 1997. Имеются в виду только публичные женщины, а не содержанки. Их число по сравнению с населением Рима, безусловно, огромно, возможно, из-за какой-то канцелярской ошибки. Согласно Джиральди, vi. 7, Венеция была исключительно богата 'di quella sorte di donne che cortigiane son dette'; см. также эпиграмму Пасквина (Gregor. viii. 279, примечание 2); но Рим не стоял позади Венеции (Джиральди, *Вступление.* 2 ноября). Сост. сообщение о "меретрисах" в Риме (1480), которые встретились в церкви и у них отняли драгоценности и украшения, Мюрат. xxii. 342 кв. м., и отчет в *Дневнике Бурчарди*, изд. Leibnitz, pp. 75-77, &c. Landi (*Commentario*, fol. 76) упоминает Рим, Неаполь и Венецию как главные места

проведения "кортиджаны"; там же. 286, славу женщин Кьявенны следует понимать с иронией. "Вопросы силы", том 9 того же автора, содержат интереснейшую информацию о любви и любовных утехх, а также о стиле и положении женщин в разных городах Италии. С другой стороны, Эгнатий (*De Exemp. III. Vir. Ven. fol. 212 b sqq.*) восхваляет целомудрие венецианских женщин и говорит, что проститутки приезжают каждый год из Германии. Кукуруза. Агр. де ван. *Scientiae*, глава 63 (*Против*. изд. Lugd. ii. 158) says: 'Vidi ego nuper atque legi sub titulo "Cortosanæ" Italica lingua editum et Venetiis typis excusum de arte meretricia dialogum, utriusque Veneris omnium flagitiosissimum et dignissimum, qui ipse cum autore suo ardeat.' Ambr. Траверсари (*Послание*. viii. 2 кв.м) называет возлюбленную Никколо Никколи 'foemina fidelissima'. В *Письме принципов*, i. 108 (отчет Негро, 1 сентября 1522 г.) 'дон Грече' описывается как "фонтан огня кортесии и амореволетцы". Большой авторитет, особенно для Сиены это *Гермафродит* Панормитана. Перечисление "lenaе luraeque" во Флоренции (ii. 37) вряд ли можно назвать вымышленным; там встречается строка:

'Annaque Theutonico tibi si dabit obvia cantu.'

[906] Действительно ли эти странствующие рыцари были женаты?

[907] *Траммато-дель-Гуверно-делла-Фамилья*. См. выше, стр. 132, примечание 1. Пандольфини умер в 1446 году, Л. Б. Альберти, которым на самом деле было написано это произведение, - в 1472 году.

[908] Подробная история 'порки' среди германской и латинской рас, к которым применялась определенная психологическая сила, стоила бы томов депеш и переговоров. (Скромное начало было положено Лихтенбергом, *Vermischte Schriften*, v. 276-283.) Когда и под каким влиянием порка стала повседневной практикой в немецком доме? Not till after Walther sang: 'Nieman kan mit gerten kindes zuht beherten.'

В Италии избиения прекратились рано; Маффео Вегио (ум. в 1458 г.) рекомендует (*De Education. Liber. lib. i. c. 19*) умеренность в порке, но добавляет: 'Caedendos magis esse filios quam pestilentissimis blanditiis laetandos'. Позже семилетнего ребенка больше не били. "Маленький Роланд" (*Орландино*, кап. vii. ул. 42) устанавливает принцип:

'Sol gli asini si ponno bastonare,
Se una tal bestia fussi, patirei.'

Немецкие гуманисты эпохи Возрождения, такие как Рудольф Агрикола и Эразм, решительно выступают против порки, которую старшие школьные учителя считали незаменимым средством воспитания. В биографиях *Фарендена Шюлера* конца пятнадцатого века (*Lebensbeschreibung* Платтера, изд. Fechter, Basel, 1840; *Butzbach's Wanderbuch*, ed. Бехер, Регенсбург, 1869) есть грубые примеры телесных наказаний того времени.

[909] Но вкус не был универсальным. Дж. А. Кампанус (*Послание*. iv. 4) решительно выступает против деревенской жизни. Он признает: "Ego si rusticus natus non essem, легкий тангерпер сладострастен"; но поскольку он родился крестьянином, "quod tibi deliciae, mihi satietas est".

[910] Джованни Виллани, XI. 93, наш главный специалист по строительству вилл до середины четырнадцатого века. Виллы были красивее городских домов, и флорентийцы приложили немало усилий, чтобы сделать их такими, 'onde erano tenuti matti'.

[911] *Траттато дель Гуверно делла Фамилья* (Турин, 1829), стр. 84, 88.

[912] См. Выше, часть iv. глава I. 2. Петрарку называли 'Сильванус' из-за его неприязни к городу и любви к деревне. *Эпл. Семья*. изд. Переполох. ii. 87 кв.м. Описание виллы Гуарино Джанбаттисте Чандрате в Росмини, ii. 13 кв.м., 157 кв.м. Поджио в письме к Фациусу (*De Vir. Ill.* p. 106): 'Sum enim deditior senectutis gratia rei rusticæ quam antea.' См. также Поджио, *Opp.* (1513), стр. 112 кв. м.; и Шепард-Тонелли, i. 255 и 261. Аналогично, Маффео Вегио (*De Lib. Education.* vi. 4) и Б. Платина в начале своего диалога "О вере благородной". Описания Политианом загородных домов Медичи в Ремоне, *Лоренцо*, ii. 73, 87. О Фарнезине см. Грегоровиус, viii. 114.

[913] Сост. Дж. Буркхардт, *"История возрождения в Италии"* (Штутгарт, 1868), стр. 320-332.

[914] Сравните стр. 47 кв., где показано, что великолепие фестивалей было препятствием для более высокого развития драмы.

[915] По сравнению с городами Севера.

[916] Процессия на праздник Тела Христова была учреждена в Венеции только в 1407 году; Чеккетти, *Венеция и Римский Корте*, i. 108.

[917] Празднества, имевшие место в 1395 году, когда Висконти стал герцогом Миланским (Corio, fol. 274), при всем их великолепии имели в себе что-то от средневековой грубости, и драматический элемент полностью отсутствовал. Обратите также внимание на относительную незначительность процессий в Павии в четырнадцатом веке (*Anonymus de Laudibus Papiae*, в Murat. xi. col. 34 кв.).

[918] Gio. Виллани, viii. 70.

[919] См., например, Infessura, в Eccard, *Scrippt.* ii. col. 1896; Corio, fols. 417, 421.

[920] Диалог в мистериях был в основном октавами, монолог - "терцином". О тайнах см. J. L. Klein, *Geschichte der Ital. Драм*, i. 153 кв.

[921] Нам нет необходимости ссылаться на реализм схоластов для доказательства этого. Примерно в 970 году епископ Вибольд Камбрейский рекомендовал своему духовенству вместо игральных костей своего рода духовную безику, в которой пятьдесят шесть абстрактных имен представлены таким же количеством комбинаций карт. "Gesta Episcopori Cameracens". в *понеделник. Зародыш*. SS. vii. стр. 433.

[922] Например, когда он нашел картинки с метафорами. У ворот Чистилища центральная сломанная ступенька означает сокрушение сердца (*Purg.* ix. 97), хотя плита, будучи разбитой, теряет свою ценность как ступенька. И снова (*Пург.* XVIII. 94), праздные в этом мире должны показать свое раскаяние бегством в другом, хотя бег может быть символом бегства.

[923] *Инферно*, ix. 61; *Пургат.* viii. 19.

[924] *Сатирическая поэзия*, изд. Милан, стр. 70 кв. Датируется концом четырнадцатого века.

[925] Последнее, например, в *Венацио* кардинала Адриано да Корнето (Страсбург, 1512; часто печатается). Предполагается, что Асканио Сфорца после падения своего дома находит утешение в удовольствиях охоты. См. Выше, стр. 261.

[926] Правильнее 1454. See Olivier de la Marche, *Mémoires*, chap. 29.

[927] О других французских фестивалях см., например, Ювеналь де Урсен (Париж, 1614), 1389 год н. э. (въезд королевы Изабеллы); Иоанн де Труа, 1461 год н. э.) (часто печатается) (въезд Людовика XI.). Здесь тоже мы встречаемся с живыми статуями, машинами для поднятия тел и так далее; но в целом это запутанные и разрозненные, а аллегории по большей части невразумительны. Празднества в Лиссабоне в 1452 году, проводившиеся по случаю отъезда инфанты Элеоноры, невесты императора Фридриха III, длились несколько дней и отличались своим великолепием. См. Freher-Struve, *Перевод с немецкого. Сценарий*. ii. fol. 51—отчет Nic. Lauckmann.

[928] Большое преимущество для тех поэтов и художников, которые знали, как ею пользоваться.

[929] Сост. Бартол. Gambia, *Notizie intorno alle Opere di Feo Belcari*, Milano, 1808; and especially the introduction to the work, *Le Rappresentazioni di Feo Belcari ed altre di lui Poesie*, Firenze, 1833. В качестве параллели смотрите предисловие библиофила Якоба к его изданию Pathelin (Париж, 1859).

[930] Это правда, что Мистерия в Сиене, посвященная Избиению Невинных, завершалась сценой, в которой безутешные матери хватали друг друга за волосы. Della Valle, *Lettere Sanesi*, iii. p. 53. Освободить Мистерии от этих чудовищ было одной из главных целей Фео Белькари (ум. в 1484 году), о котором мы уже говорили.

[931] Франко Саккетти, 72 ноября.

[932] Вазари, iii. 232 кв.: *Vita di Brunellesco*; v. 36 кв.: *Vita d'el Cecco*. Comp. v. 32, *Vita di Don Bartolommeo*.

[933] *Архив. История*. приложение. ii. стр. 310. Мистерия Благовещения в Ферраре по случаю свадьбы Альфонсо с фейерверками и летательными аппаратами. Описание изображения Сусанны, Иоанна Крестителя, и легенды в доме кардинала Риарио см. в Corio, fol. 417. О мистерии Константина Великого в Папском дворце на карнавале 1484 года см. Jac. Volaterran. (Murat. xxiii. col. 194). Главным действующим лицом был генуэзец, родившийся и получивший образование в Константинополе.

[934] Грациани, *Кронака-ди-Перуджа, арх. История*. xvi. 1. стр. 598. При Распятии на месте действующего лица держали наготове фигуру.

[935] Для этого см. Грациани, Л. с. и Pii II. *Комментарий*. л. viii. с. 383, 386. Поэзия пятнадцатого века иногда демонстрирует ту же грубость. В 'канцоне' Андреа да Бассо подробно прослеживается разложение трупа жестокосердной красавицы. В монашеской драме двенадцатого века царь Ирод был выведен на сцену с поедающими его червями (*Кармина Бурана*, стр. 80 кв.). Многие немецкие драмы семнадцатого века предлагают параллельные примеры.

[936] Allegretto, *Diarii Sanesi*, in Murat. xxiii. col. 767.

[937] Матараццо, *арх. История*. xvi. ii. стр. 36. Монах ранее предпринял путешествие в Рим, чтобы провести необходимые исследования для фестиваля.

[938] Выдержки из "Vergier d'honneur", в Роско, *Леоне X.*, изд. Босси, i. стр. 220 и iii. стр. 263.

[939] *Pii II. Комментарий*. л. viii. стр. 382 кв. Другое великолепное празднование "Corpus Domini" упоминается Бурселлисом в *Летописи. Воноп.* в Мюрате. xxiii. кол. 911, за 1492 год. Изображения взяты из Ветхого и Нового Заветов.

[940] В таких случаях мы читаем: "Ничто не угрожает потее ведере".

[941] То же самое верно для многих подобных описаний.

[942] Пять королей с вооруженной свитой и дикарь, который сражался с (прирученным?) лев; последнее, возможно, с намеком на имя папы римского —Сильвий.

[943] Примеры из книги Сикста IV, Иак. Волатерр. в Мюрате. xxiii. col. 135 (bombardorum et scloporum crepitus), 139. При восшествии на престол Александра VI. раздались мощные артиллерийские залпы. Фейерверк, прекрасное изобретение Италии, принадлежит, как и праздничные украшения в целом, скорее истории искусства, чем нашей настоящей работе. То же самое относится и к блестящим иллюминациям, о которых мы читаем в связи со многими празднествами, а также к охотничьим трофеям и настольным украшениям. (См. стр. 319. Возвышение Юлия II. восшествие на папский престол было отпраздновано в Венеции трехдневной иллюминацией. Брош, *Юлий II.* стр. 325, примечание 17.)

[944] Аллегретто, в Мурате. xxiii. col. 772. Смотрите, кроме того, кол. 770, о приеме Пия II в 1459 году. Был изображен рай, или хор ангелов, из которого вышел ангел и спел папе римскому: "in modo che il Papa si commosse a lagrime per gran tenerezza da si dolci parole".

[945] Смотрите авторитетные источники, цитируемые в Favre, *Mélanges d'Hist. Lit.* i. 138; Corio, fol. 417 кв. *Меню* занимает почти две страницы, напечатанные крупным шрифтом. 'Среди других блюд была внесена гора, из которой вышел живой человек, с признаками удивления оказавшийся среди этого праздничного великолепия; он повторил несколько стихов, а затем исчез' (Грегоровиус, vii. 241). Infessura, in Eccard, *Scriptt.* ii. col. 1896; *Strozzii Poetae*, fol. 193 sqq. Здесь можно добавить пару слов о еде и питье. Леон. Аретино (*Epist. lib. iii.* ep. 18) жалуется, что ему пришлось потратить так много на свой свадебный пир, одежду и так далее, что в тот же день он заключил 'брак' и растратил "наследство". Эрмолао Барбаро описывает в письме Пьетро Каре меню свадебного пира у Тривульцио (*Angeli Politiani Epist. lib. iii.*). Особый интерес представляет список мясных блюд и напитков в Приложении к *Комментарию* Ланди (выше). Ланди говорит о том, сколько хлопот он взял на себя, собрав материал у пятисот авторов. Отрывок слишком длинный, чтобы его цитировать (мы там читаем: 'Ли антропофаги фурино и прими че манджассеро карне хумана'). Poggio (*Opera*, 1513, fol. 14 sqq.) discusses the question: 'Uter alteri gratias debeat pro convivio impenso, isne qui vocatus est ad convivium an qui vocavit?' Платина написал трактат "Об искусстве коквинарии", который, как говорят, печатался несколько раз и цитировался под разными названиями, но который, по его собственному свидетельству (*Диссертация. Воссилане*, i. 253 кв.м), содержит больше предупреждений о недопустимости превышения, чем инструкций по рассматриваемой области техники.

[946] Вазари, ix. стр. 37, *Vita di Пунтормо*, рассказывает, как ребенок во время такого фестиваля во Флоренции в 1513 году умер от последствий нагрузки — или, лучше сказать, от позолоты? Бедный мальчик должен был олицетворять "золотой век"!

[947] Фил. Бироальди, *Nuptiae Bentivolorum*, в "*Ораториях доктора философии*", Париж, 1492, около 3 кв. м. Описание других торжеств на этой свадьбе очень примечательно.

[948] М. Антон. Sabellici, *Epist.* l. iii. fol. 17.

[949] Аморетти, *Мемори и др. Лионардо да Винчи*, стр. 38 кв.

[950] О том, в какой степени астрология повлияла даже на фестивали этого столетия, свидетельствует представление планет (не описанное с достаточной четкостью) на приеме герцогских невест в Ферраре. *Diario Ferrarese*, in Muratori, xxiv. col. 248, ad. a. 1473; col. 282, ad. a. 1491. То же самое и в Мантуе, *Арх. История*. приложение. ii. стр. 233.

[951] *Летопись. Estens.* в Murat. xx. col. 468 кв. Описание нечеткое и напечатано по неверной расшифровке.

[952] Мы читаем, что веревки машины, использовавшиеся для этой цели, были сделаны для имитации гирлянд.

[953] Строго корабль Игил, который вошел в воду 5 марта, как символ возобновления навигации. Об аналогиях в немецкой религии см. Jac. Grimm, *Deutsche Mythologie*.

[954] *Чистилище*, xxix. 43 в конце и xxx. в начале. Согласно ст. 115, колесница более великолепна, чем триумфальная колесница Сципиона, Августа и даже Бога Солнца.

[955] Ранке, *Геск. der Roman. und German.* Фолькер, изд. 2, стр. 95. П. Виллари, *Савонарола*.

[956] Фацио дельи Уберти, *Диттамондо* (lib. ii. cap. 3), особо отмечает "триумфальную моду".

[957] Корио, фол. 401: 'объяснение того, что такое суеверие божье'. Сост. Каньола, *арх. Stor.* iii. стр. 127, который говорит, что герцог отказался из скромности.

[958] См. выше, том i, стр. 315 кв. м.; сост. i, стр. 15, примечание 1. "Триумф Альфонси", как приложение к "*Изречению и фактам*" Панормиты, изд. 1538, стр. 129-139, 256 кв. м. Неприязнь к чрезмерной показухе в таких случаях проявляли доблестные комнины. Сост. Циннама, i. 5, vi. 1.

[959] Положение, отведенное Фортуне, характерно для наивности эпохи Возрождения. При въезде Массимилиано Сфорца в Милан (1512) она стояла как главная фигура триумфальной арки, *возвышающейся* над Фамой, Сперанцей, Аудачей и Пенененцей, которые были представлены живыми людьми. Сост. Прато, *Арх. История*. iii. стр. 305.

[960] Вступление Борсо из Эсте в Реджо, описанное выше (стр. 417), показывает впечатление, которое триумф Альфонсо произвел на всю Италию. О въезде Цезаря Борджиа в Рим в 1500 году см. Грегоровиус, vii. 439.

[961] Прато, *арх. Этаж*. iii. 260 кв.м. Автор прямо говорит: 'Как квалифицировать римскую победу в борьбе с нами'.

[962] Ее три "капитолия" в терцинах, *анекдот. Litt.* iv. 461 sqq.

[963] Старинные картины с подобными сценами отнюдь не редкость и, без сомнения, часто представляют собой реально проводимые маскарады. Богатые классы вскоре привыкли разъезжать на колесницах на каждом общественном торжестве. Мы читаем, что Аннибале Бентивольо, старший сын правителя Болоньи, вернулся во дворец после того, как председательствовал в качестве судьи на регулярных военных учениях 'cum triumpho more romano'. Бурселлис, l. c. col. 909. 1490 г. н. э.

[964] Замечательные похороны Малатесты Бальоне, отравленного в Болонье в 1437 году (Грациани, *арх. Stor.* xvi. i. p. 413), напоминает нам о великолепии этрусских похорон. Однако рыцари в трауре и другие детали церемонии соответствовали обычаям знати по всей Европе. Смотрите, например, похороны Бертрана Дюгесклена в Ювенале Урсенов, 1389 год нашей эры. См. также Грациани, Л. с. 360.

[965] Вазари, ix. стр. 218, *Вита ди Граначчи*. О триумфах и процессиях во Флоренции см. Ремон, *Лоренцо*, ii. 433.

[966] Мичиган. Cannesius, *Vita Pauli II.* в Murat. iii. ii. col. 118 кв.

[967] Томмази, *Жизнеописание Чезаре Борджиа*, стр. 251.

[968] Вазари ix. стр. 34 кв. м., *Вита Пунтормо*. Самый важный отрывок в своем роде.

[969] Вазари, viii. стр. 264, *Жизнеописание Андреа дель Сарто*.

[970] Аллегретто в Мюрате. xxiii. col. 783. То, что одно из колес сломалось, считалось дурным предзнаменованием.

[971] М. Антон. *Sabellici Epist.* l. iii. письмо М. Антону. Барбаварус. He says: 'Vetus est mos civitatis in illustrium hospitem adventu eam navim auro et purpura insternere.'

[972] Сансовино, *Венеция*, фол. 151 кв. Названия этих корпораций были: Pavoni, Accessi, Eterni, Reali, Sempiterni. Академии, вероятно, произошли от этих гильдий.

[973] Вероятно, в 1495 году. Сост. М. Антон. *Послание Сабелличчи*. l. v. fol. 28; последнее письмо М. Антуану Барбаварусу.

[974] 'Terræ globum socialibus signis circunquaque figuratum,' and 'quinis pegmatibus, quorum singula foederatorum regum, principumque suas habuere effigies et cum his ministros signaque in auro affabre caelata.'

[975] Информация, в Eccard, *Scriptt.* ii. col. 1093, 2000; Мичиган. Cannesius, *Vita Pauli II.* в Murat. iii. ii. col. 1012; Platina. *Биография понтифика*. стр. 318; Иак. Волатерран. у Мюрата. xiii. кол. 163, 194; Пол. Иов. *Elogia*, sub Juliano Cæsarino. В других местах также проходили женские забеги, *Diario Ferrarese*, в Мурате. xxiv. col. 384: сост. Грегоровиус, vi. 690 кв. м., vii. 219, 616 кв. м.

[976] Однажды при Александре VI. с октября по Великий пост. См. Tommasi, l. c., стр. 322.

[977] Балуз. *Ошибка*. iv. 517 (сост. Грегоровиус, vii. 288 кв.м).

[978] *Pii II. Комментарий*. л. iv. с. 211.

[979] Нантипорто, в Murat. iii. ii. col. 1080. Они хотели поблагодарить его за заключенный им мир, но обнаружили, что ворота дворца закрыты, а войска расставлены на всех открытых местах.

[980] 'Tutti i trionfi, carri, mascherate, o canti carnascialeschi.' Cosmopoli, 1750. Macchiavelli, *Opere Minori*, p. 505; Vasari, vii. p. 115 sqq. *Жизнь Пьеро ди Козимо*, которому приписывается главная роль в развитии этих празднеств. Сост. Б. Лоос (выше, стр. 154, примечание 1), стр. 12 кв. и Ремон, *Лоренцо*, ii. 443 кв.м., где собраны представители власти, которые показывают, что Карнавал вскоре был пресечен. Сост. там же, ii. стр. 24.

[981] *Дискорси*, l. i. c. 12. Также с. 55: Италия более коррумпирована, чем все другие страны; затем идут французы и испанцы.

[982] Paul. Jov. *Viri Illustres*: Jo. Gal. Наместники. Сост. стр. 12 кв.м. и примечания.

[983] О той части, которая наполнена чувством чести в современном мире, см. Прево-Парадоль, *Новая Франция*, лив. iii. глава 2.

[984] Сравните, что говорит мистер Дарвин о покраснении при "Выражении эмоций" и об отношениях между стыдом и совестью.

[985] Франк. Guicciardini, *Ricordi Politici e Civili*, n. 118 (*Opere inedite*, vol. i.).

[986] Его ближайшим аналогом является Мерлин Коккаджус (Теофило Фоленго), чей *опус Massaronicorum* Рабле, безусловно, знал и цитировал неоднократно (*Пантагрюэль*, л. ii. гл. 1. и гл. 7, в конце). Вполне возможно, что Мерлинус Коккаджус, возможно, дал импульс, который привел к появлению Пантагрюэля и Гаргантюа.

[987] *Гаргантюа*, л. и., глава 57.

[988] То есть благородного происхождения в высшем смысле этого слова, поскольку у Рабле, сына трактирщика из Шинона, здесь нет мотива присваивать дворянству какие-либо особые привилегии. Проповедь Евангелия, о которой говорится в надписи у входа в монастырь, плохо вписывалась бы в остальную жизнь обитателей; ее следует понимать в негативном смысле, как подразумевающую неповиновение Римской церкви.

[989] Смотрите выдержки из его дневника в Delécluze, *Флоренция и превратности судьбы*, том 2.

[990] Infessura, ap. Eccard, *Сценарий*. II. col. 1992. О F. C. см. Выше, стр. 108.

[991] Это мнение Стендаля (*La Chartreuse de Parme*, изд. Delahays, стр. 335), как мне кажется, основывается на глубоком психологическом наблюдении.

[992] Грациани, *Кронака ди Перуджа*, за 1437 год (*арх. История*. xvi. i. стр. 415).

[993] Джиральди, *Гекатоммити*, 7 ноября.

[994] Инфессура, в Eccard, *Scriptt*. ii. col. 1892, за 1464 год.

[995] Allegretto, *Diari Sanisi*, in Murat. xxiii. col. 837. Аллегретто сам присутствовал при принесении присяги и не сомневался в ее действенности.

[996] Пульчи высмеивает тех, кто оставляет месть Богу, *Морганте*, песнь XXI. ул. 83 кв. м., 104 кв.м.

[997] Гвиччардини, *Рикорди*, l. c. n. 74.

[998] Таким образом, Карданус (*De Propria Vita*, cap. 13) описывает себя как очень мстительного, но также и как "верного, запоминающего, оправдывающего".

[999] Это правда, что когда испанское правление было полностью установлено, население в определенной степени сократилось. Если бы этот факт был вызван деморализацией народа, он появился бы гораздо раньше.

[1000] Джиральди, *Гекатоммити*, iii ноября. 2. В том же духе, *Cortigiano*, l. iv. fol. 180.

[1001] Шокирующий пример мести, осуществленной братом в Перудже в 1455 году, можно найти в хронике Грациани (*арх. Стор.* xvi. c. 629). Брат заставляет кавалера вырвать сестре глаза, а затем бьет его с места. Это правда, что семья была ветвью Одди, а любовник всего лишь кордвейнером.

[1002] Банделло, часть i. 9 и 26 ноября. Иногда духовник жены подкупается мужем и выдает супружескую измену.

[1003] См. выше стр. 394 и примечание 1.

[1004] В качестве примера, Банделло, часть i. 4 ноября.

[1005] "Пьячча аль Синьоре Иддио че нон си ритрови", - говорят женщины в Джиральди (iii. 10 ноября), когда им говорят, что это деяние может стоить убийце головы.

[1006] Так обстоит дело, например, с Джовиано Понтано (*Де Фортитьюдин*, л. ii.). Его героические асколанцы, проводящие свою последнюю ночь в пении и танцах, мать-абруццианка, подбадривающая сына на пути к виселице, и т.д., Вероятно, принадлежат к разбойничьим семьям, но он забывает об этом. сказать так.

[1007] *Парменский диарий*, у Мурата. xxii. col. 330-349 *passim*. Сонет, col. 340.

[1008] *Дневник Феррарезе*, в Мурате. xxiv. col. 312. Это напоминает нам о банде, возглавляемой священником, которая за некоторое время до 1837 года наводнила западную Ломбардию.

[1009] Массуччо, 29 ноября. Как само собой разумеющееся, мужчине везет в любви.

[1010] Если он появился как корсар в войне между двумя линиями Анжу за обладание Неаполем, он, возможно, сделал это как политический деятель, и это, по понятиям того времени, не предполагало бесчестья. Архиепископ Генуи Паоло Фрегозо во второй половине XV века, вероятно, позволял себе такую же свободу, а то и больше. Современники и более поздние авторы, например, Аретино и Поджио, пишут о Джоне гораздо худшие вещи. Грегоровиус, vi. стр. 600.

[1011] Поджио, *Facetiae*, fol. 164. Любой, кто знаком с Неаполем в настоящее время, возможно, слышал о таких комичных вещах, хотя и имеющих отношение к другим сторонам человеческой жизни.

[1012] Юпитепуанин. *Pontani Antonius*: 'Nec est quod Neapoli quam hominis vita minoris vendatur.' Это правда, что он думает, что при Анжуйском доме все было не так, 'sicam ab iis (арагонский) ассептимус'. Положение вещей примерно в 1534 году описано Бенвенуто Челлини, глава 70.

[1013] Абсолютных доказательств этого привести нельзя, но зарегистрировано мало убийств, и воображение флорентийских писателей в лучшие времена не было переполнено подозрениями в них.

[1014] Смотрите по этому поводу отчет Федели в Альберти, *Relazioni Serie*, ii. том i. стр. 353 кв.

[1015] М. Брош (*История. Zeitschr.* bd. 27, стр. 295 кв.) собрал из венецианских архивов пять одобренных советом предложений отравить султана (1471-1504), а также доказательства плана убийства Карла VIII (1495) и приказа, отданного проводнику в Фаэнце казнить Цезаря Борджиа (1504).

[1016] Доктор Гейгер добавляет несколько гипотетических утверждений и ссылок на эту тему. Следует отметить, что подозрение в отравлении, которое я считаю в настоящее время в целом необоснованным, часто высказывается в определенных частях Италии в отношении любой смерти, которая не подлежит немедленному объяснению. — [Переводчик.]

[1017] Инфессура, в Eccard, *Scriptor*. ii. col. 1956.

[1018] *Хроника. Venetum*, у Мюрата. xxiv. col. 131. В северных странах в Италии верили в еще более удивительные вещи, связанные с искусством отравления. См. *Juvénal des Ursins*, 1382 год н. э. (изд. Бюшон, стр. 336), о ланцете отравителя, которого Карл Дураццо взял к себе на службу; всякий, кто пристально смотрел на него, умирал.

[1019] Петр. Crinitus, *De Honesta Disciplina*, l. xviii. cap. 9.

[1020] *Pii II. Комментарий*. л. xi. стр. 562. Joh. Ant. Campanus, *Vita Pii II.* in Murat. iii. ii. col. 988.

[1021] Вазари, ix. 82, *Жизнь Россо*. В случае несчастливых браков трудно сказать, было ли больше реальных или воображаемых случаев отравления. Сост. Банделло, ii. 5 и 54 ноября: ii. 40 ноября более серьезно. В одном и том же городе Западной Ломбардии, название которого не приводится, жили два отравителя. Муж, желая убедиться в искренности отчаяния своей жены, заставил ее выпить то, что она считала ядом, но на самом деле это была подкрашенная вода, после чего они помирились. Только в семье Карданус произошло четыре случая отравления (*De Propria Vita*, главы 30, 50). Даже на банкет, устраиваемый по случаю коронации папы римского, каждый кардинал приносил с собой своего виночерпия и свое вино, "вероятно, потому, что по опыту знал, что в противном случае рискует быть отравленным". И этот обычай был распространен в Риме и практиковался как 'sine injuria invitantis'! Blas Ortiz, *Itinerar. Адриани VI.* ап. Балуз. Miscell. ed. манси, i. 380.

[1022] О магических искусствах, использованных против Леонелло Феррарского, см. *Дневник Феррарезев "Мурате"*. xxiv. кол. 194, 1445 год н.э. Когда приговор был зачитан на площади их автору, некоему Бенато, человеку с дурным характером в других отношениях, в воздухе послышался шум и земля затряслась, так что многие люди разбежались или упали на землю; это произошло потому, что Бенато 'хавеа чиамато и скон джурато иль дьявола'. То, что

Гвиччардини (л. и.) говорит о злонамеренных приемах, применявшихся Людовико Моро против своего племянника Джангалеаццо, лежит на его собственной ответственности. О магии см. Ниже, глава 4.

[1023] Эццелино да Романо можно было бы поставить на первое место, если бы он не действовал под влиянием честолюбивых побуждений и астрологических заблуждений.

[1024] *Джорнали Наполетани*, в Murat. xxi. col. 1092 г. н.э. 1425 г. н.э. Согласно повествованию, это деяние, по-видимому, было совершено из простого удовольствия от жестокости. Бр., правда, не верил ни в Бога, ни в святых, презирал и пренебрегал всеми заповедями и церемониями Церкви.

[1025] *Pii II. Комментарий*. л. vii. с. 338.

[1026] Юпитерианин. Pontan. "*Об Имманентности*", глава 17, где он рассказывает, как Малатеста зачал свою собственную дочь — и так далее.

[1027] Варчи, *История Фиорентины*, в конце. (Когда работа публикуется без исключений, как в миланском издании.)

[1028] В этом пункте ощущения различаются в зависимости от места и людей. Эпоха Возрождения преобладала во времена и в городах, где преобладала тенденция от души наслаждаться жизнью. Всеобщее помрачение духа мыслящих людей начало проявляться только во времена иностранного господства в шестнадцатом веке.

[1029] То, что называется духом Контрреформации, было развито в Испании незадолго до самой Реформации, главным образом благодаря жесткому надзору и частичной реорганизации Церкви при Фердинанде и Изабелле. Главным авторитетом по этому вопросу является Гомес, "*Жизнь кардинала Хименеса*", в Роб. Бел, *Перев. Испанский. Скриптории*, 3 тома. 1581.

[1030] Следует отметить, что романисты и сатирики почти никогда не упоминают епископов, хотя они могли бы, под измененными именами, нападать на них, как и все остальные. Однако они делают это, например, в Bandello, ii. nov. 45; однако во ii. 40 он описывает добродетельного епископа. Джовиано Понтано в "*Хароне*" представляет призрак роскошного епископа с "утиной походкой".

[1031] Foscolo, *Discorso sul testo del Decamerone*, 'Ma dei preti in dignità niuno poteva far motto senza pericolo; onde ogni frate fu l'irco delle iniquità d'Israele,' &c. Тимотеус Маффеус посвящает книгу против монахов папе Николаю V. Фаций, *De Vir. Ил.* стр. 24. Особенно сильные пассажи против монахов и духовенства есть в уже упомянутом труде Палингениуса, iv. 289, v. 184 кв., 586 кв.

[1032] Банделло предваряет ii. первое ноября заявлением о том, что порок скупости был более дискредитирующим священников, чем любой другой класс мужчин, поскольку у них не было семей, которые нужно было обеспечивать. На этом основании он оправдывает позорное нападение, совершенное на дом священника двумя солдатами или разбойниками по приказу молодого джентльмена, при котором у скупого и подагрического старого священника была украдена овца. Одна-единственная история такого рода иллюстрирует идеи, в соответствии с которыми люди жили и действовали, лучше, чем все диссертации в мире.

[1033] Giov. Виллани, iii. 29, ясно говорит об этом столетие спустя.

[1034] *L'Ordine*. Вероятно, имеется в виду табличка с надписью I. H. S.

[1035] Он добавляет: "и в *сегги*", то есть клубах, на которые была разделена неаполитанская знать. Соперничество двух орденов часто высмеивается, например, Банделло, iii. 14 ноября.

[1036] 6 ноября, изд. Сеттембрини, стр. 83, где отмечается, что в Указателе 1564 года упоминается книга "*Матримонио делли Прети и делле Монахе*".

[1037] О том, что следует дальше, см. Jovian. Pontan. *De Sermone*, l. ii. глава 17, и Банделло, часть i. 32 ноября. Гнев брата Франциска, который пытался воздействовать на короля с помощью видения святого Катардуса, был настолько велик из-за его неудачи, а разговоры на эту тему были настолько универсальными: "У итальянской фермы всемогущи сами по себе в примис римский понтифекс табулы".

[1038] Александр VI. и Юлий II, жестокие меры которого, однако, не показались венецианским послам Джустиниани и Содерини ничем иным, как средством вымогательства денег. Сост. М. Брош, *История*. Zeitscher. bd. 37.

[1039] Панормита, *О словах и фактах Альфонса*, lib. ii. Эней Сильвий в своем комментарии к ней (*Орр.* изд. 1651, стр. 79) рассказывает об обнаружении мнимого постника, который, как говорили, ничего не ел в течение четырех лет.

[1040] По этой причине они могут быть открыто осуждены в непосредственной близости от суда. Увидеть Юпитерианца. Pontan. *Антоний и Харон*. Одна из историй такая же, как в "Массуччо", ii ноября.

[1041] Смотрите в качестве примера восьмую песнь *Макаронида*.

[1042] История из Вазари, v. стр. 120, *Жизнеописание Сандро Боттичелли* показывает, что к инквизиции иногда относились шутливо. Это правда, что упомянутый здесь "Викарий", возможно, был заместителем архиепископа, а не инквизитора.

[1043] Берселлис, *Энн. Бонон.* ап. Мюрат. xxiii. col. 886, ср. 896. Мальв. умер в 1468 году; его "бенефиций" перешел к его племяннику.

[1044] См. стр. 88 кв. Он был аббатом в Валломброзе. Отрывок, свободный перевод которого мы приводим, находится в *Опере*, том ii. стр. 209, в десятом романе. Смотрите увлекательное описание комфортной жизни картезианцев в "*Итальянском комментарии*", т. 32 кв. цитируется на стр. 84.

[1045] Пий II. принципиально выступал за отмену безбрачия духовенства. Одна из его любимых фраз была: "Священный закон великого союза, сублатус бракосочетания главных реституендов видери". Платина, *Биография понтифика*. стр. 311.

[1046] Рикорди, n. 28, в *Отредактированной операции*, том первый....., том первый

[1047] Ricordi, n. i. 123, 125.

[1048] Посмотреть *Орландино*, каб. vi. ул., 40 кв.м.; каб. vii. ул., 57; каб. viii. ул. 3 кв.м., особенно 75.

[1049] *Дневник Феррарезе*, в Мурате. xxiv. страница 362.

[1050] С ним были переводчик с немецкого и славянского языков. Святому Бернару приходилось использовать те же средства, когда он проповедовал в Рейнской области.

[1051] Капистрано, например, довольствовался тем, что осенял крестным знаменем тысячи больных, которых к нему приносили, и благословлял их именем Троицы и своего учителя Сан-Бернадино, после чего некоторые из них естественным образом выздоравливали. Брешийская хроника излагает это так: 'Он творил прекрасные чудеса, но их было не так много, как о нем рассказывали' (Murat. xxi.).

[1052] Так, например, Поджио, *Аварития*, в *Опере*, fol. 2. Он говорит, что им было легко это сделать, так как они говорили одно и то же в каждом городе и отсылали людей еще глупее, чем они пришли. Поджио в другом месте (*Послание*. изд. Тонелли, i. 281) говорит об Альберте Сартеанском как о "доктусе" и "пергумане". Филельфо защищал Бернадино Сиенского и некоего Николауса, вероятно, из оппозиции к Поджо (*Сб.* ii. 3, vi. 5), а не из симпатии к проповедникам. Филельфо был корреспондентом А. Сартеано. Он также в некоторых отношениях хвалит Роберто да Лечче, но обвиняет его в том, что он не использует подходящие жесты и выражения, что он выглядит несчастным, когда должен выглядеть жизнерадостным, и в том, что он слишком много плачет и тем самым оскорбляет слух и вкусы своей аудитории. Fil. *Epist. Venet.* 1502, fol. 96 b.

[1053] Франко Саккетти, 72 ноября. Проповедники, которые терпят неудачу, являются постоянным предметом насмешек во всех романах.

[1054] Сравните хорошо известную историю в *Decamerone* vi. 10 ноября.

[1055] В этом случае проповеди приобрели особую окраску. См. Малипьеро, *Энн Венет. Archiv. История*. vii. i. стр. 18. *Хроника. Venet.* в Мурате. xxiv. глава 114. *Storia Bresciana*, in Murat. xxi. col. 898. Отпущение грехов было добровольно обещано тем, кто принимал участие в крестовом походе или жертвовал деньги на него.

[1056] *История Брешианы*, в Мурате. xxiii. col. 865 sqq. В первый день присутствовало 10 000 человек, из них 2000 незнакомых.

[1057] Аллегретто, *Диари Санеси*, в Мурате. xxiii. col. 819 sqq. (С 13 по 18 июля 1486 г.); проповедником был Пьетро делл'Оссерванца ди С. Франческо.

[1058] В тексте (в Eccard, *Scriptores*, ii. col. 1874) сказано: 'Canti, brevi, sorti'. Первое может относиться к песенникам, которые на самом деле были сожжены Савонаролой. Но Грациани (*Крон. di Perugia, Arch. Stor.* xvi. i., стр. 314) говорит по аналогичному поводу 'краткие наставления', когда мы, без сомнения, должны прочитать 'краткие наставления', и, возможно, то же исправление желательно в Infessura, чьи 'разновидности' указывают на какой-то инструмент суеверия, возможно, колоду карт для гадания. Точно так же после внедрения книгопечатания были собраны все доступные копии Марциала, которые затем были сожжены. Банделло, iii. 10.

[1059] Смотрите его замечательную биографию у Веспасиано Фиорента. стр. 244 кв., а также у Энея Сильвиуса, *Иллюстрация Де Вируса*. стр. 24. В последнем мы читаем: "Является ли

quoque in tabella pictum nomen Иисуса деферебата, гоминибуска адорандум остендебат мультумке суадебат анте остия доморум хок номен депинги".

[1060] Allegretto, l. c. col. 823. Проповедник возбудил народ против судей (если вместо 'джудичи' мы не должны читать "джудеи"), после чего они чудом избежали сожжения в своих домах. В ответ противоположная сторона пригрозила проповеднику жизнью.

[1061] Infessura, l. c. В дате смерти ведьмы, похоже, допущена техническая ошибка. О том, как тот же святой вырубил печально известный лес близ Ареццо, рассказывается в книге Вазари, iii. 148, *Жизнеописание Парри Спинелли*. Без сомнения, часто покаянное рвение слушателей не заходило дальше таких внешних жертвоприношений.

[1062] "Парева че л'ария си фендесс", - где-то читаем мы.

[1063] Яс. Волатерран. в Мюрате. xxiii. col. 166 sqq. Прямо не сказано, что он вмешивался в эту вражду, но вряд ли можно сомневаться, что он это сделал. Однажды (1445), когда Якопо делла Марка только что покинул Перуджу после необычайного успеха, в семье Раньери разразилась страшная *вендетта*. Сост. Грациани, л. с., 565 кв.м. Здесь мы можем отметить, что Перуджу эти проповедники посещали удивительно часто. сост. стр. 597, 626, 631, 637, 647.

[1064] Капистрано принял пятьдесят солдат после одной проповеди, *Стор. Брешиана*, л. к. Грациани, л. к., стр. 565 кв. Эн. Сильвий (*Иллюстрация Де Вируса*. стр. 25), будучи молодым человеком, однажды был настолько тронут проповедью Сан-Бернадино, что был готов вступить в его Орден. У Грациани мы читаем о новообращенном, покинувшем орден; он женился: "e fu maggiore ribaldo, che non era prima".

[1065] О том, что между знаменитыми проповедниками-наблюдателями и их соперниками-доминиканцами не было недостатка в спорах, свидетельствует спор о крови Христа, которая, как говорили, сошла с креста на землю (1462). Посмотреть Фойгта. *ВДНХ Сильвио* iii. 591 кв.м. Фра Якопо делла Марка, который не уступил доминиканскому инквизитору, подвергается критике со стороны Пия II. in his detailed account (*Comment.* l. xi. p. 511), with delicate irony: 'Pauperiem pati, et famam et sitim et corporis cruciatum et mortem pro Christi nomine nonnulli possunt; jacturam nominis vel minimam ferre recusant tanquam sua deficiente fama Dei quoque gloria pereat.'

[1066] Уже тогда их репутация колебалась между двумя крайностями. Их следует отличать от монахов-отшельников. Граница в этом отношении не всегда была четко проведена. Сполетанцы, которые путешествовали, творя чудеса, считали святого Антония и святого Павла своими покровителями, последнего из-за змей, которых они носили с собой. Мы читаем о деньгах, которые они получали от крестьян даже в тринадцатом веке с помощью своего рода жреческого колдовства. Их лошадей приучали преклонять колени при имени святого Антония. Они делали вид, что собирают деньги для больниц (Массуччо, 18 ноября; Банделло iii, 17 ноября). Фиренцуола в своем "*Азино д'Оро*" заставляет их играть роли нищенствующих священников в "Апулехусе".

[1067] Прато, *арх. История*. iii. стр. 357. Буригоццо, *там же*. стр. 431 кв.

[1068] Аллегретто, в Мюрате. xxiii. col. 856 sqq. Цитата гласила: 'Ecce venio cito et velociter. Estote parati.'

[1069] Маттео Виллани, viii. глава. 2 кв.м. Сначала он проповедовал против тирании вообще, а затем, когда правящий дом Беккариа попытался его убить, он начал проповедовать смену правительства и конституции и вынудил Беккариа бежать из Павии (1357). См. Петрарку, *Эппа. Fam.* xix. 18 и А. Хопмус, *Scritti Inediti di F. P.* 174-181.

[1070] Иногда в критические моменты сам правящий дом прибегал к услугам монахов, чтобы призвать народ к верности. Пример такого рода в Ферраре см. в Санудо (Murat. xxii. col. 1218). Проповедник из Болоньи напомнил людям о благах, которые они получили от Дома Эсте, и о судьбе, которая ожидала их от рук победоносных венецианцев.

[1071] Прато, *арх. История.* iii. стр. 251. Другие фанатичные антифранцузские проповедники, появившиеся после изгнания французов, упоминаются Буригоццо, *там же.* стр. 443, 449, 485; 1523, 1526, 1529 гг. н.э.

[1072] Jac. Pitti, *Storia Fior.* l. ii. p. 112.

[1073] Перренс, *Жером Савонарола*, два тома. Возможно, самая систематическая и трезвая из всех многочисленных работ на эту тему. П. Виллари, *История Джироля. Савонарола* (два тома. 8в. Флоренция, Лемонье). Точка зрения последнего автора значительно отличается от той, которой придерживается текст. Comp. also Ranke in *Historisch-biographische Studien*, Lpzg. 1878, pp. 181-358. О Генезе. см. Vill. i. 57 кв. ii. 343 кв. Ремон, *Лоренцо*, ii. 522-526, 533 кв.

[1074] Проповеди Аггея; окончание проповеди 6.

[1075] Савонарола был, пожалуй, единственным человеком, который мог освободить подчиненные города и при этом сохранить Тоскану единой. Но, похоже, он никогда не думал об этом. Пизу он ненавидел как истинный флорентиец.

[1076] Поразительный контраст с сиенцами, которые в 1483 году торжественно посвятили свой отвлеченный город Мадонне. Аллегретто в Мюрате. xxiii. col. 815.

[1077] Он говорит об "имперской астрологии": "не спорь (с лоро) об альтрименти в отношении будущего".

[1078] См. Villari по этому вопросу.

[1079] Смотрите отрывок из четырнадцатой проповеди об Иезекииле, в Perrens, о. с., том i. 30 примечание.

[1080] С заголовком: *De Rusticorum Religione*. См. выше, стр. 352.

[1081] Франко Саккетти, 109 ноября, где есть еще что-то подобного рода.

[1082] Bapt. Мантуанский. *De Sacris Diebus*, l. ii. exclaims:—

Ista superstitio, ducens a Manibus ortum
Tartareis, sancta de religione facessat
Christigenûm! vivis epulas date, sacra sepultis.

Столетием ранее, когда армия Иоанна XXII вступила в Поход, чтобы напасть на гибеллинов, предлогом были заведомо 'эрезия' и 'идолопоклонство'. Реканти, который сдался

добровольно, тем не менее был сожжен, 'потому что там поклонялись идолам', на самом деле, как месть за тех, кого убили горожане. Giov. Виллани, ix. 139, 141. При Пии II. мы читаем об упрямом солнцепоклоннике, родившемся в Урбино. *Опера*, стр. 289. *История. Повторяю. всеобщий жест*. с. 12. Еще более замечательным было то, что произошло на Форуме в Риме при Льве X. (точнее, в междоусобицу Адриана и Льва. Июнь 1522 г., Грегоровиус, viii. 388). Чтобы остановить чуму, с соблюдением языческих обрядов в жертву торжественно приносили быка. Павел. *Hist.* xxi. 8.

[1083] См. Сабеллико, *De Situ Venetae Urbis*. Он упоминает имена святых, как это принято у многих филологов, без добавления "sanctus" или "divus", но часто говорит о различных реликвиях, причем в самом почтительном тоне, и даже хвастается, что поцеловал несколько из них.

[1084] *Похвала Патавиу*, в Мурате. xxiv. col. 1149 - 1151.

[1085] Прато, *арх. История*. iii. стр. 408 кв. Хотя он ни в коем случае не свободомыслящий, он все же протестует против причинно-следственной связи.

[1086] *Pii II. Комментарий*. л. viii. стр. 352 кв. 'Verebatur Pontifex, ne in honore tanti apostoli diminute agere videretur,' &c.

[1087] Яс. Волатерран. в Мурате. xxiii. col. 187. Папа извинился, сославшись на великие заслуги Людовика перед Церковью и на пример других пап, например святого Григория, который сделал то же самое. Людовик смог выразить свою преданность реликвии, но все-таки умер. В то время о катакомбах забыли, но даже Савонарола (ум. ок. 1150 г.) говорит о Риме: 'Velicet Aeldama Sanctorum habita est'.

[1088] Бурселлис, *Летопись. Воноп.* в Мурате. xxiii. col. 905. Это был один из шестнадцати патрициев, Бартол. della Volta, d. 1485 or 1486.

[1089] Вазари, iii. 111 кв. примечание. *Vita di Ghiberti*.

[1090] Маттео Виллани, iii. 15 и 16.

[1091] Мы должны провести дополнительное различие между итальянским культом тел исторических святых недавнего времени и северной практикой сбора костей и реликвий священной древности. Такие останки в большом изобилии сохранились в Латеране, который по этой причине имел особое значение для паломников. Но на могилах святого Доминика и святого Антония Падуанских покоился не только ореол святости, но и величие исторической славы.

[1092] Замечательное суждение в его *De Sacris Diebus*, работе его последних лет, относится как к священному, так и к нечестивому искусству (l. i.). У евреев, по его словам, была веская причина для запрета всех резных изображений, иначе они вернулись бы к идолопоклонству или дьяволопоклонству окружающих их народов:

Nunc autem, postquam penitus natura Satanum
Cognita, et antiqua sine majestate relictæ est,
Nulla ferunt nobis statuæ discrimina, nullos
Fert pictura dolos; jam sunt innoxia signa;

Sunt modo virtutum testes monimentaue laudum
Marmora, et aeternae decora immortalia famaе.

[1093] Баттиста Мантовано жалуется на некоторых "небулонов" (*De Sacris Diebus*, l. v.), которые не верят в подлинность Священной Крови в Мантуе. Та же критика, которая ставила под сомнение Пожертвование Константина, была также, хотя и косвенно, враждебна вере в реликвии.

[1094] Особенно знаменитая молитва святого Бернарда, *Paradiso*, xxxiii. 1, "Верджин мадре, фиiglia туо фиgлио".

[1095] Возможно, мы можем добавить Пия II., чья элегия о Богородице напечатана в *Opera*, стр. 964, и который с юности считал, что находится под ее особым покровительством. Яс. Карточка. Papiens. 'De Morte Pii,' *Opp.* p. 656.

[1096] То есть в то время, когда Сикст IV. был так ревностен к Непорочному Зачатию. *Экстравагантность. Община.* л. iii. тит. xii. Он также учредил праздник Сретения Пресвятой Богородицы в Храме и Праздники святой Анны и святого Иосифа. См. Тритем. *Ann. Хирсаг.* ii. стр. 518.

[1097] Наиболее поучительны в этом отношении несколько холодных сонетов Виттории к "Мадонне" (№ 85 кв. под ред. П. Висконти, Рим, 1840).

[1098] Bart. Мантуанский. *De Sacris Diebus*, л. v., и особенно речь младшего Пико, которая предназначалась для Латеранского собора, в Роско, *Леоне X.* изд. Босси, viii. стр. 115. Сост., стр. 121, примечание 3.

[1099] *Монах. Paduani Chron.* l. iii. в самом начале. We there read of this revival: 'Invasit primitus Perusinos, Romanes postmodum, deinde fere Italiae populos universos.' Гильдия. Ventura (*Fragmenta de Gestis Astensium in Mon. Хирсг. Памп. CC.* том. iii. кол. 701) называет паломничество флагеллантов "admirabilis Lombardorum commotio"; отшельники выходили из своих келий и призывали города к покаянию.

[1100] Г. Виллани, viii. 122, xi. 23. Первые не были приняты во Флоренции, вторые были приняты с еще большей готовностью.

[1101] Corio, fol. 281. Леон. Aretinus, *Hist. Флор.* глава xii. (в начале) упоминается о внезапном оживлении, вызванном процессиями "деальбати" из Альп в Лукку, Флоренцию и еще дальше.

[1102] Паломничества в отдаленные места уже стали очень редкими. Имена принцев Дома Эсте в Иерусалиме, Сен-Яго и Вене перечислены в "Мюрате". xxiv. col. 182, 187, 190, 279. О путешествии Ринальдо Альбицци в Святую Землю см. Macchiavelli, *Stor. Fior.* л. v. И здесь иногда мотивом является желание славы. Хронист Джов. Cavalcanti (*Ist. Fiorentina*, ed. Полидори, ii. 478) говорит о Лионардо Фескобальди, который хотел отправиться со своим спутником (около 1400 года) к Гробу Господню: "Stimarono di eternarsi nella mente degli uomini futuri".

[1103] Бурселлис, *Летопись. Бон.* в Мюрате. xxiii. col. 890.

[1104] Аллегретто, в Мюрате. xxiii. col. 855 sqq. Поступило сообщение о том, что за воротами пролился кровавый дождь. Все бросились вперед, но "gli uomini di guidizio non lo credono".

[1105] Буригоццо, арх. *История*. iii. 486. По поводу нищеты, царившей тогда в Ломбардии, Галеаццо Капелло (*Лучший ребус в Italia Gestis*) является лучшим авторитетом. Милан пострадал едва ли меньше, чем Рим во время разграбления 1527 года.

[1106] Его также называли "l'arca del testimonio", и люди рассказывали, как это было "conzado" (построено) "con gran misterio".

[1107] *Дневник Феррарезе*, в Мурате. xxiv. col. 317, 322, 323, 326, 386, 401.

[1108] 'Ad uno santo homo o santa donna', - говорится в хронике. Женатым мужчинам запрещалось содержать наложниц.

[1109] Проповедь была обращена особенно к ним; после нее был крещен еврей, "ma non di quelli", - добавляет летописец, - "che erano stati a udire la predica".

[1110] 'За то, что ты рискнул, а луи ното и перше семпре и за то, что ты стал звездой благодаря Иддио', - гласит летописец. After describing the arrangements, he adds resignedly: 'La cagione perchè sia fatto et si habbia a fare non s'intende, basta che ogni bene è bene.'

[1111] Его зовут 'Мессо дель Канчеллиери дель Дука'. Очевидно, все это было задумано для того, чтобы создать впечатление, что это дело рук только суда, а не какой-либо церковной власти.

[1112] Смотрите цитаты из *Рассуждения Пико о достоинстве человека* выше, стр. 354-5.

[1113] Не говоря уже о том, что подобная терпимость или безразличие не были редкостью среди самих арабов.

[1114] Так в "*Декамероне*". Султаны без имени в Массуччо, ноябрь 46, 48, 49; один называется 'Ре ди Фес', другой 'Ре ди Туниси'. В *Диттамондо*, ii. 25, мы читаем: 'иль буоно Саладин'. О союзе Венеции с султаном Египта в 1202 году см. Г. Аното в *Историческом*", iv (1877), стр. 74-102. Естественно, было также много нападков на мусульманство. О турчанке, крестившейся сначала в Венеции, а затем в Риме, см. Чехетти, i. 487.

[1115] *Philelphi Epistolae*, Venet. 1502 fol. 90 b. кв.

[1116] *Декамерон* i. 3 ноября. Боккаччо первым назвал христианскую религию, чего не делают другие. О старофранцузском авторитете XIII века см. Тоблер, *Ли ты Врай Аниэль*, Лейпциг, 1871. Для еврейской истории об Абре. Абулафия (р. 1241 в Испании, приехал в Италию около 1290 года в надежде обратить папу римского в иудаизм), в которой двое слуг утверждают, что каждый из них хранит драгоценности, захороненные для сына, см. Steinschneider, *Polem. und Apol. Lit. der Arab. Sprache*, стр. 319 и 360. Из этих и других источников мы заключаем, что первоначально история была менее определенной, чем та, которую мы имеем сейчас (в Abul. например, она используется полемически против христиан), и что доктрина равенства трех религий является более поздним дополнением. Комп. Reuter, *Gesch. der Relig. Aufklärung im M. A.* (Berlin, 1877), iii. 302 sqq. 390.

[1117] *de Tribus Impostoribus*, название произведения, приписываемые Фридриху II. среди многих других людей, и которые никоим образом не отвечает ожиданиям, связанным с названием. Последнее издание. Веллер, Хайльбронн, 1876. Национальность автора и дата создания оспариваются. См. Reuter, op. cit. ii. 273-302.

[1118], Тем не менее, в устах дьявола Астаротте, песнь xxv. ул. 231 кв. Ул. Комп. 141 кв.

[1119] Песнь xxviii. ул. 38 кв.

[1120] Песнь xviii. стр. 112 до конца.

[1121] Пульчи затрагивает, хотя и поспешно, аналогичную концепцию в своем "Принце Кьяристанте" (песнь xxi, стр. 101 кв.м., 121 кв.м., 145 кв.м., 163 кв.м.), который ни во что не верит и заставляет боготворить себя и свою жену. Это напоминает нам о Сигизмондо Малатесте (стр. 245).

[1122] Giov. Виллани, iv. 29, vi. 46. Название встречается еще в 1150 году в северных странах. Оно определено Уильямом Малмсберийским (iii. 237, изд. Londin, 1840): 'Epicureorum ... qui opinantur animam corpore solutam in aerem evanescere, in auras effluere.'

[1123] Смотрите аргумент в третьей книге Лукреция. Впоследствии имя эпикурейца стало использоваться как синоним слова "вольнодумец". Lorenzo Valla (*Opp.* 795 sqq.) speaks as follows of Epicurus: 'Quis eo parcius, quis contentior, quis modestior, et quidem in nullo philosophorum omnium minus invenio fuisse vitiorum, plurimique honesti viri cum Graecorum, tum Romanorum, Epicurei fuerunt.' Валла защищался перед Евгением IV. от нападок фра Антонио да Битонто и других.

[1124] *Инферно*, vii. 67-96.

[1125] *Чистилище*, xvi. 73. Сравните теорию влияния планет в *Конвито*. Даже дьявол Астаротте в Пульчи (*Морганте*, xxv. стр. 150) свидетельствует о свободе человеческой воли и справедливости Бога.

[1126] Сост. Voigt, *Wiederbelebung*, 165-170.

[1127] *Веспасиано Фиорент.* стр. 26, 320, 435, 626, 651. Murat. xx. col. 532.

[1128] Во вступлении Платины. в его "Жизни Христа" любопытным образом прослеживается религиозное влияние эпохи Возрождения ("*Жизнеописание Папарума*", в начале): Христос, по его словам, полностью достиг четырех платоновских "нобилитас" в соответствии со своим 'родом': 'Кем быть из благородных людей, gloria и номинантка, Давид и Саломоне, кике сапиентия и доктрина, а Христос сам по себе достоин быть и возможно?' Иудаизм, как и классическая античность, также объяснялся на основе христианской гипотезы. Пико и Пьетро Галатино пытались показать, что христианское учение было предвосхищено в Талмуде и других еврейских писаниях.

[1129] О Помпонаццо см. Специальные работы; среди прочих, Bitter, *Geschichte der Philosophie*, bd. ix.

[1130] Пол. Джовии, *Elog. Lit.* стр. 90. Г. М., однако, был вынужден публично отречься. Его письмо Лоренцо (17 мая 1478 г.) с просьбой ходатайствовать перед папой, "satis enim poenarum dedi", приводится Малаголой, *Codro Urceo*, стр. 433.

[1131] *Codri Urcei Opera* Бьянчини; и в его филологических лекциях, стр. 65, 151, 278 и др.

[1132] Однажды он говорит: "В Лаудем Кристи:"

Phoebum alii vates musasque Jovemque sequuntur,
At mihi pro vero nomine Christus erit.

Он также (fol. x.b) нападает на богемцев. Гуса и Иеронима Пражского защищает Поджио в своем знаменитом письме Льву. Аретино ставит их в один ряд с Муцием Сцеволой и Сократом.

[1133] "Ауди дева, как и все остальные, состоит из животных". Si forte cum ad ultimum vitae finem pervenero supplex accedam ad te spem oratum, ne me audias neve inter tuos accipias oro; cum infernis diis in aeternum vitam degere decrevi.'

[1134] "Animum meum seu animam" — различие, которым филология тогда ставила в тупик теологию.

[1135] Платина, *Биография понтифика*. стр. 311: 'Христианам доверяют чудеса, не требующие подтверждения, честность получателя опровергнута'. Может возникнуть вопрос, действительно ли все, что Платина приписывает папе римскому, является подлинным.

[1136] Предисловие к *Истории Фердинанда I.* (*История. Ztschr.* xxxiii. 61) и *Антид.* в *Pogg. lib. iv. Opp.* стр. 256 кв. Понтанус (*De Sermone*, i. 18) говорит, что Валла не колебался 'извлекать выгоду из привычного для себя дела во Христе спикеле'. Понтано, однако, был другом врагов Валлы в Неаполе.

[1137] Особенно когда монахи импровизировали с кафедры. Но старые и признанные чудеса не остались без внимания. Фиренцуола ("*Опера*", том ii, стр. 208, десятый роман) высмеивает францисканцев Новары, которые хотели потратить деньги, которые они присвоили, на пристройку часовни к своей церкви: "dove fusse dipinta quella bella storia, quando S.Francesco predicava agli uccelli nel deserto; e quando ei fece la santa zuppa, e che l'agnolo Gabriello gli portò i zoccoli.'

[1138] Некоторые факты о нем можно найти в Варт. Мантуанский. *De Patientia*, l. iii. cap. 13.

[1139] Берселлис, *Энн. Bonon.* в Мюрате. xxiii. col. 915.

[1140] Насколько далеко иногда заходили эти богохульные высказывания, показал Гизелер (*Kirchengeschichte*, ii. iv. § 154, анм.), который приводит несколько поразительных примеров.

[1141] Фойгт, *ВДНХ Сильвио*, iii. 581. Неизвестно, что случилось с епископом Петром из Аранды, который (1500 г.) отрицал Божественность Христа и существование Ада и Чистилища, а также осудил индульгенции как уловку пап, изобретенную для их личной выгоды. О нем см. *Дневник Бурчарди*, изд. Leibnitz, p. 63 sqq.

[1142] Jov. Pontanus, *De Fortuna*, *Opp.* i. 792-921. Сост. *Opp.* ii. 286.

[1143] Эн. Сильвий, *Опера*, стр. 611.

[1144] Поджиус, *О страданиях человека*.

[1145] Караччоло, *разновидность Fortunaе*, в Мурате. xxii., одно из самых ценных сочинений периода, богатого подобными произведениями. Об удаче в публичных процессиях см. стр. 421.

[1146] Леонис X. *Анонимная жизнь*, в Роско, изд. Босси, xii. стр. 153.

[1147] Берселлис, *Энн. Bonon.* в Мюрате. xxiii. col. 909: 'Monimentum hoc conditum a Joanne Bentivolo secundo patriae rectore, cui virtus et fortuna cuncta quæ optari possunt affatim praestiterunt.' До сих пор не совсем ясно, находилась ли эта надпись снаружи и была видна всем, или, как другая, упомянутая чуть ранее, была скрыта на одном из камней фундамента. В последнем случае речь идет о свежей идее. С помощью этой тайной надписи, о которой, возможно, знал только летописец, со зданием магическим образом связана Удача.

[Согласно словам хроники, надпись не могла стоять на стенах недавно построенной башни. Точное место неизвестно.— Л.Г.]

[1148] "Квест *nimium gentilitatis amatores essemus*". Язычество, по крайней мере внешне, определенно зашло довольно далеко. Надписи, недавно обнаруженные в катакомбах, показывают, что члены Академии называли себя "священными" и называли Помпония Лета 'большим понтификом'; последний однажды обращался к Платине 'pater sanctissimus'. Грегоровиус, vii. 578.

[1149] В то время как пластические искусства, во всяком случае, проводили различие между ангелами и "путти" и использовали первых для всех серьезных целей. В *Летописц. Estens.* Murat. xx. col. 468, 'amorino' наивно называется 'instar Cupidinis angelus'. Сост. речь, произнесенная перед Львом X (1521), в которой встречается следующий отрывок: "Quare et te non jam Iuppiter, sed Virgo Capitolina Dei parens quæ hujus urbis et collis reliquis præsidet, Romamque et Capitolium tutaris". Грег. viii. 294.

[1150] Делла Валле, *Письмо Санези*, iii. 18.

[1151] Макроб. *Saturnal.* iii. 9. Несомненно, канон не опустил предписанные там жесты. Сост. Грегоровиус, viii. 294, для Бембо. О язычестве, таким образом, преобладавшем в Риме, см. Также Ranke, *Päpste*, i. 73 кв. Сост. также Грегоровиус, viii. 268.

[1152] Монах Падуанский. л. ii. ап. Urstisius, *Scriptt.* i. pp. 598, 599, 602, 607. У последнего Висконти (стр. 37) также было несколько таких людей на службе (Сост. Декабрио, в Murat. xx. col. 1017): он ничего не предпринимал без их совета. Среди них был еврей по имени Хелиас. Гаспарино да Барцицци как-то обратился к нему: "Великая астрономическая фортуна, которая правит". Г. Б. *Опера*, изд. Фуриетто, стр. 38.

[1153] Например, Флоренция, где Бонатто долгое время занимал должность. Смотрите также Маттео Виллани, xi. 3, где, очевидно, имеется в виду городской астролог.

[1154] Библиотека, *История. des Sciences Mathém.* ii. 52, 193. Говорят, что в Болонье эта профессура существовала в 1125 году. Составьте список профессоров в Павии, в Корио, стр. 290. О профессорском звании в Sapienza при Лео X. см. Роско, *Леоне X.* ред. Босси, v. стр. 283.

[1155] Дж. А. Кампанус подчеркивает ценность и важность астрологии и завершает словами: "Quamquam Augustinus sanctissimus ille vir quidem ac doctissimus, sed fortassis ad fidem religionemque propensior negat quicquam vel boni vel mali astrorum necessitate случайность." 'Oratio initio studii Perugiæ habita,' compare *Opera*, Rome, 1495.

[1156] Около 1260 года папа Александр IV принудил кардинала (и астролога со стыдливый лицом) Бьянко выдвинул ряд политических пророчеств. Giov. Виллани, vi. 81.

[1157] *De Dictis u c. Альфонси, Опера*, стр. 493. Он считал, что это 'пульхриус квам утиль'. Платина, *Биография понтифика*. стр. 310. Для Сикста IV. сост. Иак. Волатерран. в Мюрате. xxiii. col. 173, 186. Он распорядился, чтобы "планетарии" устанавливали часы аудиенций, приемов и тому подобного. В "Европе", с. 49, Пий II упоминает, что Баптиста Блазиус, астроном из Кремоны, предсказал несчастья отца. Foscaro 'tanquam prævidisset.'

[1158] Брош, *Юлий II*. (Гота, 1878), стр. 97 и 323.

[1159] П. Валериано, *Де Инфель. Лит.* (318-324) говорит об о. Friuli, who wrote on Leo's horoscope, and 'abditissima quæque anteactæ ætatis et uni ipsi cognita principi explicuerat quæque incumberent quæque futura essent ad unguem ut eventus postmodum comprobavit, in singulos fere dies prædixerat.'

[1160] Ранке, *Пяпсте*, i. 247.

[1161] *Веспас. Фиорент*. стр. 660, сост. 341. Там же. стр. 121, другой Паголо упоминается как придворный математик и астролог Федерико Монтефельтро. Как ни странно, он был немцем.

[1162] Фирмик Матернус, *Матесеос Либри viii*. в конце второй книги.

[1163] В Банделло, 60 ноября, астролог Алессандро Бентивольо в Милане признался перед всей компанией, что он бедняга.

[1164] Именно в такой решительный момент Людовико Моро приказал изготовить крест с этой надписью, который сейчас находится в кафедральном соборе в Куре. Сикст IV. ту однажды сказал, что попробовал бы, если бы пословица была правдой. Об этом высказывании астролога Птолемея, которое Б. Фацио принял за виргилианское, см. Лаур. Valla, *Opera*, p. 461.

[1165] Отец Пьеро Каппони, сам астролог, пристроил своего сына в торговлю, чтобы тот не получил опасную рану в голову, которая угрожала ему. *Vita di P. Capponi, Arch. История*. iv. ii. 15. Пример из жизни Кардана см. на стр. 334. Врач и астролог Пьерлеони из Сполето верил, что утонет, поэтому избегал всех водных мест и отказался от блестящих должностей, предложенных ему в Венеции и Падуе. Поль. Иов. *Журнал. Л*. стр. 67 кв. В конце концов он бросился в воду в отчаянии от предъявленного ему обвинения в соучастии в смерти Лоренцо и действительно утонул. Hier. Алиотту было сказано быть осторожным на шестьдесят втором году жизни, так как тогда его жизнь была бы в опасности. Он жил с большой осмотрительностью, держался подальше от врачей, и год прошел благополучно. Н. А. *Opuscula* (Ареццо, 1769), ii. 72. Марсилио Фичино, который презирал астрологию (*Opp*. стр. 772), написал другу (*Epist. lib. 17*): "Претерия мне воспоминания о дуобусе вестроруме астрологическом аудивиссе, о том, что из квадрата сидерум позиционионе антиквас отзыв философский сентенциас".

[1166] Примеры из жизни Людовико Моро см. в Senarega, в Murat, xxiv. col. 518, 524. Бенедикт, в Эккарте, II кол. 1623. И все же его отец, великий Франческо Сфорца, презирал астрологию, а его дед Джакомо, во всяком случае, не следовал ее предостережениям. Корио, фол. 321, 413.

[1167] Приведенные здесь факты см. в *Annal. Для Оливьенса*. в Мюрате. xxii. кол. 233 кв.м. (сост. кол. 150). Леонбаттиста Альберти стремился придать духовный смысл церемонии закладки фундамента. *Опера Волгари*, том. iv. стр. 314 (или *Уточняющий*. 1. i.). For Bonatto see Filippo Villani, *Vite and Delia Vita e delle Opere di Guido Bonati, Astrologo e Astronomo del Secolo Decimoterzo, raccolte da E. Бонкомпаньи*, Рим, 1851. Великая работа Б. "Об астрономии", lib. x. часто печаталась.

[1168] В гороскопах второго основания Флоренции (Giov. Виллани, iii. 1. при Карле Великом) и первого Венецианца (см. Выше, стр. 62), старая традиция, возможно, смешалась с поэзией Средневековья.

[1169] Об одной из этих побед см. Замечательный отрывок, процитированный Бонатто у Штайншайдера в *Zeitschr. d. D. Morgan. Ges.* xxv. стр. 416. О Б. сост. Там же. xviii. 120 кв.м.

[1170] *Ann. Форолив*. 235-238. Filippo Villani, *Vite*. Macchiavelli, *Stor. Фуор*. л. и. Когда появились созвездия, предвещавшие победу, Бонатто поднялся со своей книгой и астрольбией на башню Сан-Меркуриале над площадью и, когда настал подходящий момент, дал сигнал к удару в большой колокол. Тем не менее, было признано, что он часто ошибался и не предвидел ни своей собственной смерти, ни судьбы Монтефельтро. Недалеко от Чезены он был убит грабителями на обратном пути в Форли из Парижа и итальянских университетов, где читал лекции. Как предсказатель погоды, он однажды потерпел поражение от своего соотечественника.

[1171] Маттео Виллани, xi. 3; см. Выше, стр. 508.

[1172] Юпитерианин. Pontan. *De Fortitudine*, l. i. См. примечание 1 на стр. 511, о почетном исключении, сделанном первым Сфорца.

[1173] Пол. Йов. *Elog.* продолжение против Ливиана, стр. 219.

[1174] Который сам нам это рассказывает. Бенедикт, в Эккарте, II кол. 1617.

[1175] В этом смысле мы должны понимать слова Яс. Нарди, *Жизнь древнего Рима. Джакомини*, стр. 65. Такие же рисунки были распространены на одежде и домашней утвари. На приеме у Лукреции Борджиа в Ферраре мул герцогини Урбинской был одет в попону из черного бархата с астрологическими фигурами, выполненными золотом. *Арх. История. Приложение*. ii. стр. 305.

[1176]. Сильвий, в цитированном выше отрывке, стр. 508; сост. *Орр*. 481.

[1177] Азарио, ин-Корио, fol. 258.

[1178] Соображения такого рода, вероятно, повлияли на турецких астрологов, которые после битвы при Никополе посоветовали султану Баязету I. согласиться на выкуп Иоанна Бургундского, поскольку 'ради него было бы пролито много христианской крови'. Нетрудно было предвидеть дальнейший ход гражданской войны во Франции. *Магн. Хроника. Бельгикум*, стр. 358. *Juvénal des Ursins*, ad. a. 1396.

[1179] Benedictus, в Essard, ii. col. 1579. О короле Ферранте в 1493 году было сказано, что он потеряет свой трон "син круоре сед сола фама", что и произошло на самом деле.

[1180] Сост. Steinschneider, *Apokalypsen mit polemischer Tendenz*, D. M. G. Z. xxviii. 627 sqq. xxix. 261.

[1181] Bapt. Мантуанский. *De Patientia*, l. iii. cap. 12.

[1182] Giov. Виллани, x. 39, 40. Существовали и другие причины, например, зависть его коллег. Бонатто учил тому же и объяснил чудо Божественной Любви в святом Франциске как действие планеты Марс. Сост. Джо. Пикус, *Adv. Астрол.* ii. 5.

[1183] Они были написаны Миретто в начале пятнадцатого века. Согласно Скардеониусу, они были предназначены 'для обозначения естественного зарождения в градусах и числах' — более популярного способа обучения, чем мы сейчас можем себе представить. Это была астрология "а-ля портрет всего мира".

[1184] Он говорит (*Orationes*, fol. 35, 'In Nuptias') об астрологии: 'hec efficit ut homines parum a Diis distare videantur'! Другим энтузиастом того же времени является Джо. Гарцониус, *De Dignitate Urbis Bononiae*, в Murat. xxi. col. 1163.

[1185] Петрарка, *Эпп. Сенилес*, iii. 1 (стр. 765) и в других местах. Письмо, о котором идет речь, было написано Боккаччо. О полемике Петрарки с астрологами см. Гейгера. *П.* 87-91 и 267, примечание 11.

[1186] Франко Саккетти (151 ноября) высмеивает их претензии на мудрость.

[1187] Gio. Виллани, iii. x. 39. В другом месте он предстает как истовый сторонник астрологии, x. 120, xii. 40.

[1188] В отрывке xi. 3.

[1189] Gio. Виллани, xi. 2, xii. 58.

[1190] Автор *Annales Placentini* (в Murat. xx. col. 931), тот самый Альберто ди Рипальта, упомянутый на стр. 241, принимал участие в этом споре. Отрывок примечателен в других отношениях, поскольку в нем изложено популярное мнение относительно девяти известных комет, их цвета, происхождения и значения. Комп. Джо. Виллани, xi. 67. Он говорит о комете как о вестнике великих и в целом катастрофических событий.

[1191] Павел. Йов. *Вита Леонис* xx. l. iii. где говорится, что сам Лев верил, по крайней мере, в предчувствия и тому подобное, см. Выше, стр. 509.

[1192] Джо. Пикус Миранд. *Adversus Astrologos*, libri xii.

[1193] Согласно Павлу, Джованни. *Элог. лит.* подзаголовок. Джо Пикус, результат, которого он достиг, был "ut subtilium disciplinarum professores a scribendo deteruisse videatur".

[1194] *De Rebus Caelestibus*, библиотека xiv. (*Против.* iii. 1963-2591). В двенадцатой книге, посвященной Паоло Кортеше, он не признает опровержения астрологии последним. Эгидий, *Орр.* ii. 1455-1514. Понтано посвятил свою небольшую работу "О Луне (*Орр.* iii. 2592) тому же отшельнику Эгидию (из Витербо?)

[1195] Последний отрывок см. на стр. 1486. Таким образом, разница между Понтано и Пико выражается во франках. Pudericus, one of the interlocutors in the dialogue (p. 1496): 'Pontanus non ut Johannes Picus in disciplinam ipsam armis equisque, quod dicitur, irrumpit, cum illam tueatur, ut cognitu maxime dignam ac pene divinam, sed astrologos quosdam, ut parum cautos minimeque prudentes insectetur et rideat.'

[1196] В Сан-Мария-дель-Пополо в Риме. Ангелы напоминают нам теорию Данте в начале *Собрания*.

[1197] Так было с Антонио Галатео, который в письме Фердинанду Католику (Mai, *Spicileg. Рим.* вып. viii. стр. 226, 1510 г. н.э.), яростно отвергает астрологию, а в другом письме графу Потенца (*там же*. стр. 539) делает вывод по звездам, что турки нападут на Родос в том же году.

[1198] *Ricordi*, l. c. n. 57.

[1199] Многие примеры подобных суеверий в случае с последним Висконти упоминаются Декабрио (Murat. xx. col. 1016, кв.). Одаксиус говорит в своей речи на похоронах Гвидобальдо (*Опера Бемби*, i. 598, кв.), что боги объявили о его приближающейся смерти посредством удары молнии, землетрясения и другие знамения и чудеса.

[1200] Варчи, *Рассказ. Fior.* l. iv. (стр. 174); пророчества и предчувствия были тогда столь же распространены во Флоренции, как и в Иерусалиме во время осады. Сост. *там же*. iii. 143, 195; iv. 43, 177.

[1201] Матараццо, *Архив. История.* xvi. ii. стр. 208.

[1202] Прато, *арх. История.* iii. 324, за 1514 год.

[1203] О Мадонне дельАрбор в Миланском соборе и о том, что она сделала в 1515 году, см. Прато, l. c. стр. 327. Он также сообщает об обнаружении мертвого дракона толщиной с лошадь при раскопках часовни-морга близ Сан-Назаро. Голова была доставлена во дворец Триульци, для которых была построена часовня.

[1204] 'И в будущем мирные поиски illico pluvia прекратятся'. *Diar. Парменсе* в Мюрате. xxii. col. 280. Автор разделяет народную ненависть к ростовщикам. Сост. 371.

[1205] *Conjuratōnis Pactianae Commentarius*, в приложениях к книге Роско "Лоренцо". Политиан вообще был противником астрологии. Святые, естественно, могли заставить дождь прекратиться. Сост. Эней Сильвий в своей "Жизни Бернадино да Сиены" (*De Vir. Ill.* p. 25): 'jussit in virtute Jesu nubem abire, quo facto solutis absque pluvia nubibus, prior serenitas rediit'.

[1206] *Poggi Facetiae*, fol. 174. Эн. Сильвий (*De Europa*, c. 53, 54, *Opera*, стр. 451, 455) упоминает чудеса, которые, возможно, действительно происходили, такие как битвы между животными и странные явления в небе, и упоминает их главным образом как курьезы, даже при добавлении приписываемых им результатов. Similarly Antonio Ferrari (il Galateo), *De Situ Iapygiae*, p. 121, with the explanation: 'Et haec, ut puto, species erant earum rerum quae longe aberant atque ab eo loco in quo species visae sunt minime poterant.'

[1207] *Poggi Facetiae*, fol. 160. Комп. Pausanias, ix. 20.

[1208] Варчи, iii 195. Двое подозреваемых решились на бегство в 1529 году, потому что они открыли "Энеиду" в книге iii. 44. Сост. Rabelais, *Pantagruel*, iii. 10.

[1209] Фантазии ученых, такие как 'великолепие' и 'спиритус' Кардануса и 'фамильный демон' его отца, могут быть приняты за то, чего они стоят. Комп. Cardanus, *De Propria Vita*, cap. 4, 38, 47. Он сам был противником магии; кэп. 39. О вундеркиндах и призраках, с которыми он встречался, см. Главы 37, 41. Об ужасе перед призраками, который испытывал последний Висконти, см. Декабрио в Murat. xx. col. 1016.

[1210] 'Растление и смерть гуастано-ле-твари'. Банделло, ii. 1 ноября. Мы читаем (Galateo, стр. 177), что "животные" нечестивых людей восстают из могил, являются своим друзьям и знакомым "animalibus vexi, pueros sugere ac necare, deinde in sepulcra reverti".

[1211] Galateo, l. c. Мы также читали (стр. 119) о "Фата-Моргане" и других подобных выступлениях.

[1212] Банделло, iii. 20 ноября. Это правда, что призрак был всего лишь любовником, желавшим напугать хозяина дворца, который также был мужем любимой дамы. Влюбленный и его сообщники переоделись дьяволами; за одним из них, умевшим имитировать крик различных животных, послали издалека.

[1213] Грациани, арх. История. xvi. i. стр. 640, 1467 г. н.э. Хранитель умер от страха.

[1214] Балт. Кастильония Кармина; Просоппея Людская. Пичи.

[1215] Александри аб Александро, *Dierum Genialium*, библиотека vi. (Двоеточие. 1539), является авторитетом первого ранга в этих вопросах, тем более что автор, друг Понтана и член его академии, утверждает, что то, что он описывает, либо произошло с ним самим, либо было сообщено ему полностью заслуживающими доверия свидетелями. Библия vi. глава 19: на двух злых людей и монаха нападают дьяволы, которых они узнают по форме их ног, и обращают в бегство, частично силой, а частично крестным знаменем. Lib. vi. cap. 21: Слуга, брошенный в тюрьму жестоким принцем за незначительный проступок, призывает дьявола, чудесным образом выводится из тюрьмы и возвращается обратно, тем временем посещает нижний мир, показывает принцу свою руку, опаленную адским пламенем, рассказывает ему от имени ушедшего духа определенные секреты, которые были сообщены последнему, призывает его отказаться от своей жестокости и вскоре после этого умирает от последствий испуга. Lib. ii. c. 19, iii. 15, v. 23: Призраки ушедших друзей, святого Каталдуса и неизвестных существ в Риме, Ареццо и Неаполе. Глава ii. 22, iii. 8. Появление водяных людей и русалок в Неаполе, в Испании и на Пелопоннесе; в последнем случае это гарантировано Теодором Газой и Георгием Трапезундским.

[1216] Gio. Виллани, xi. 2. Он узнал об этом от настоятеля Валломброзы, которому отшельник сообщил это.

[1217] Другой взгляд на демонов был дан Гемистосом Плетоном, чья великая философская работа "οἱ νόμοι", от которой сейчас остались лишь фрагменты (изд. Александр, Париж, 1858), вероятно, был более полно известен итальянцам пятнадцатого века либо по копиям, либо по традиции и, несомненно, оказал большое влияние на философскую, политическую и религиозную культуру того времени. Согласно ему, демоны, принадлежащие к третьему разряду

богов, защищены от всех заблуждений и способны следовать по стопам богов, стоящих над ними; это духи, которые приносят людям все хорошее, "что нисходит от Зевса через других богов по порядку; они очищают и охраняют человека, они возвышают и укрепляют его сердце". Сост. Fritz Schultze, *Gesch. der Philosophie der Renaissance*, Jena, 1874.

[1218] От чудес, приписываемых ей, мало что осталось. О, вероятно, последнем превращении человека в осла в XI веке при Льве IX см. Malmesbur. ii. 171.

[1219] Вероятно, так было в случае с одержимой женщиной, с которой в 1513 году в Ферраре и других местах знатные ломбардцы консультировались относительно будущих событий. Ее звали Родожин. См. Рабле, *Пантагрюэль*, iv. 58.

[1220] Юпитерианин. Pontan. Antonius.

[1221] Насколько широко тогда была распространена вера в ведьм, показывает тот факт, что в 1483 году Политиан дал 'praelectio' 'in priora Aristotelis Analytica cui titulus Lamia' (итальянский перевод. Исидор дель Лунго, Флор. 1864) Сост. Reumont, *Lorenzo*, ii. 75-77. Согласно этому, Фьезоле был, в определенном смысле, гнездом ведьм.

[1222] Грациани, *арх. История*. xvi. i. стр. 565, 1445 г. н.э., говорится о ведьме из Ночеры, которая предложила только половину суммы и, соответственно, была сожжена. Закон был направлен против таких лиц, как "facciono le fature overo venefitie overo encantatione d'communde spirite a nuocere", l. c. примечание 1, 2.

[1223] Библиотека. i. ер. 46, *Opera*, стр. 531 кв. Вместо "umbra" на стр. 552 прочитайте "Umbria", а вместо "lacum" прочитайте "locum".

[1224] Позже он называет его: "Medicus Ducis Saxoniae, homo tum dives tum potens".

[1225] В четырнадцатом веке недалеко от Анседонии в Тоскане существовали своего рода врата ада. Это была пещера со следами людей и животных на песке, которые всякий раз, когда их стирали, появлялись снова на следующий день. Уберти. *Il Dittamondo*, l. iii. cap. 9.

[1226] *Pii II. Комментарий*. л. и., стр. 10.

[1227] См. Челлини, л. и., глава 65.

[1228] "*Италия освобождения да Готи*", песнь xiv. Можно усомниться в том, верил ли сам Триссино в возможность своего описания, или же он не был слишком романтичен. Те же сомнения допустимы и в случае с его вероятной моделью, Луканом (книга vi), который представляет фессалийскую ведьму, вызывающую труп перед Секстом Помпеем.

[1229] *Декрет Септимо*, библиотека против тит. xii. Оно начинается так: 'Итоги желаемого воздействия' и проч. Здесь я могу отметить, что всестороннее рассмотрение этого вопроса убедило меня в том, что в данном случае нет оснований верить в сохранение языческих верований. Чтобы убедиться, что исключительно воображение нищенствующих монахов ответственно за это заблуждение, нам достаточно изучить в Мемуарах Жака дю Клерка так называемый судебный процесс над Вальденсами из Арраса в 1459 году. Столетние

преследования довели народное воображение до такого состояния, что колдовство было принято как нечто само собой разумеющееся и воспроизводилось естественным образом.

[1230] Александра VI., Льва X., Адриана VI.

[1231] Вошла в поговорку как страна ведьм, например, *Орландино*, глава 12.

[1232] Например, Банделло, 29 ноября, 52. Прато, *арх. История*. iii. 409. Бурселлис, Анна. Бон. в Мюрате. xxiii. col. 897, упоминает осуждение приора в 1468 году, который содержал призрачный бордель: 'cives Bononienses coire faciebat cum dæmonibus in specie puellarum'. Он приносил жертвы демонам. Смотри параллельный случай, Прокоп. *История. Arcana*, с. 12, где настоящий бордель часто посещает деймон, который выставляет других посетителей за дверь. "Галатео" (, стр. 116) подтверждает существование веры в ведьм: "воларе в дальних регионах, хорей в труднодоступных местах и демонибуках, ингредиенты и эгреди в клаусе остии и форамина".

[1233] О мерзких приспособлениях на кухнях ведьм см. *Маккарониду*, Phant. xvi. xxi., где описана вся процедура.

[1234] В *регионе Золпино*. Он придерживается мнения, что куртизанки учатся своему искусству у определенных еврейских женщин, у которых есть 'мали'. Следующий отрывок очень примечателен. Бембо говорит в "Жизни Гвидобальдо" (*Опера*, i. 614): "Гид. constat sive corporis et naturae vitio, seu quod vulgo creditum est, actibus magicis ab Octaviano patruo propter regni cupiditatem impeditum, quarum omnino ille artium expeditissimus habebatur, nulla cum femina coire unquam in tota vita potuisse, nec unquam fuisse ad rem uxoriam idoneum."

[1235] Варчи, *История. Фиор*. ii. стр. 153.

[1236] Любопытная информация дана Ланди в *Commentario*, fol. 36 а и 37 а, о двух магах, сицилийце и еврее; мы читаем о волшебных зеркалах, о говорящей мертвой голове и о птицах, остановившихся в полете.

[1237] Особое внимание уделяется этой оговорке. Кукуруза. Agrippa, *De Occulta Philosophia*, cap. 39.

[1238] *Декретный документ Септимо*, l. с.

[1239] *Zodiacus Vitae*. [1239]

[1240] Там же. ix. 291 кв.

[1241] *Ibid.*.

[1242] Мифическим типом волшебника среди поэтов того времени был Малагиги. Говоря о нем, Пульчи (*Морганте*, песнь xxiv. 106 кв.) излагает свой теоретический взгляд на пределы демонического и магического влияния. Трудно сказать, насколько он был серьезен. Сост. песнь XXI.

[1243] Полидорус Виргилиус был итальянцем по происхождению, но его работа "О вундеркиндах" посвящена главным образом суевериям в Англии, где прошла его жизнь. Говоря о предвидении демонов, он делает любопытную ссылку на разграбление Рима в 1527 году.

[1244] Однако убийство вряд ли когда-либо бывает целью и, возможно, никогда - средством. Такое чудовище, как Жиль де Рец (около 1440 г.), принесший в жертву демонам более 100 детей, вряд ли имеет отдаленного аналога в Италии.

[1245] Смотрите трактат Рота "О зауберере Виргилиусе" в "*Германии*" Пфайффера, iv., и "*Вергилии в средние века*" Компаретти. То, что Вергилий начал занимать место старшего Телеста, отчасти можно объяснить тем фактом, что частые посещения его могилы даже во времена Империи поражали воображение народа.

[1246] Уберти, *Диттамондо*, 1. iii. глава. 4.

[1247] Что следует дальше, смотрите в Gio. Виллани, i. 42, 60, ii. 1, iii. v. 38, xi. Сам он не верит в такие безбожные суеверия. Сост. Данте, *Ад* xiii. 146.

[1248] Согласно фрагменту, приведенному в Baluz. В Мисцелле ix. 119 говорится, что в древние времена перуджийцы поссорились с равеннатами: "и воинственный мрамор рядом с Равеннамом продолжает войну против великого узурпатора и против гражданского виртуоза, вторгшегося в страну".

[1249] Местное мнение по этому вопросу приведено в *Annal. Для Оливенс*. Murat. xxii. col. 207, 238; более полно в Fil. Виллани, *Vite*, стр. 33.

[1250] Платина, *Биография понтифика*. стр. 320: "Ветер потий вернулся к Петру, Анаклету и Линии подражания".

[1251] Которую легко узнать, например, у Сугерия, *De Consecratione Ecclesiae* (Duchesne, *Scriptores*, iv. 355) и в *Chron. Петершузанум*, главы 13 и 16.

[1252] Сост. Каландра из Бибиены.

[1253] Банделло, iii. 52 ноября. Фр. Filelfo (*Epist. Venet.* библиотека 34, fol. 240 sqq.) яростно атакует персромансу. Он относительно свободен от суеверий (Сб. iv. 4), но верит в "эффект мали" кометы (*Послание*. fol. 246 b).

[1254] Банделло, iii. 29. Маг требует обещания хранить тайну, подкрепленного торжественными клятвами, в данном случае клятвой у главного алтаря Святого Петронио в Болонье, в то время, когда в церкви больше никого не было. В *Маккаронидемного волшебства*, Фант. xviii.

[1255] См. Челлини, первая глава, 64.

[1256] Вазари, viii. 143, *Жизнеописание Андреа да Фьезоле*. Это был Сильвио Козини, который также "охотился за магическими формулами и прочими глупостями".

[1257] Уберти, *Диттамондо*, iii. сар. 1. Во время Марша по Анконе он посещает Скариотто, предполагаемое место рождения Иуды, и замечает: 'Я не должен здесь проезжать мимо горы Пилатус с ее озером, где в течение лета регулярно меняется стража. Ибо тот, кто разбирается в магии, приходит сюда, чтобы освятить свои книги, после чего, как говорят местные жители, поднимается великая буря. (Освящение книг, как уже отмечалось, стр. 527, является особой церемонией, отличной от остальных.) В шестнадцатом веке восхождение на гору Пилатус близ Люцерна было запрещено 'законом о свободе', как записывает Дибольд Шиллинг. Считалось,

что в озере на горе обитает призрак, который был духом Пилата. Когда люди поднимались на гору или бросали что-либо в озеро, поднимались страшные бури.

[1258] *Де Обседуне Тифернатий*, 1474 (Reg. Итал. Сценарий. из Флоренции. codicibus, tom. ii.).

[1259] Это суеверие, широко распространенное среди солдат (около 1520 г.), высмеивается Лимерно Питокко в "*Орландино*", ст. 60.

[1260] Пол. Йов. *Elog. Lit.* стр. 106, sub voce "Коклы".

[1261] Здесь говорит увлеченный коллекционер портретов.

[1262] Со звезд, поскольку Гаурикус не знал физиогномики. Что касается его собственной судьбы, то ему пришлось обратиться к пророчествам Кокле, поскольку его отец не стал составлять его гороскоп.

[1263] Павел. Йов. л. к. п. 100 кв. м. против Тиберта.

[1264] Наиболее существенные факты, касающиеся этих побочных ветвей гадания, приведены Кукурузой. *Agrippa, De Occulta Philosophia*, cap. 57.

[1265] Библиотека, *История. des Sciences Mathém.* ii. 122.

[1266] "Нови нихиль нарро, мос эст пабликус" (*Исправлено. Utr. Fort.* стр. 93), один из оживленных отрывков этой книги, написанный "ab irato".

[1267] Главный отрывок из Тритема. *Ann. Hirsaug.* ii. 286 sqq.

[1268] 'Некий эним десант', Пол. Йов. *Лог. лит.* стр. 150, с. v. "Помпей, Горик"; сост. там же. стр. 130, с. v. Орел. Авгурелл, *Маккаронеида*. Фант. xii.

[1269] При написании истории итальянского неверия было бы необходимо обратиться к так называемому аверроризму, который был распространен в Италии и особенно в Венеции примерно в середине четырнадцатого века. Против этого выступали Боккаччо и Петрарка в различных письмах, а последний - в своей работе "*О судьбе Ипсиуса и алиоруме невежества*". Хотя оппозиция Петрарки, возможно, усилилась из-за недопонимания и преувеличения, он, тем не менее, был полностью убежден, что аверроисты высмеивали и отвергали христианскую религию.

[1270] Ariosto, *Sonetto*, 34: 'Non credere sopra il tetto.' Поэт использует слова чиновника, который принял решение против него в имущественном вопросе.

[1271] Здесь мы можем снова сослаться на Гемистоса Плетона, чье пренебрежение христианством оказало важное влияние на итальянцев, и особенно на флорентийцев того периода.

[1272] *Повествование Касо-дель-Босколи*, арх. *История.* i. 273 кв. Постоянной фразой было 'non aver fede'; сост. Vasari, vii. 122, *Vita di Piero di Cosimo*.

[1273] Юпитерианин. Pontan. *Харон, Opp.* ii. 1128-1195.

[1274] *Faustini Terdocei Triumphus Stultitiae*, l. ii.

[1275] Например, Борбоун Морозини около 1460 года; сост. Сансовино, *Венеция*, т. хiii. стр. 243. Он написал 'de immortalite animæ ad mentem Aristotelis'. Помпоний Лет, желая добиться своего освобождения из тюрьмы, указал на тот факт, что он написал послание о бессмертии души. Посмотрите замечательную защиту в книге Грегоровиуса, vii. 580 кв. Посмотрите, с другой стороны, высмеивание Пульчи этой веры в сонете, цитируемом Галеотти, *Свод. История. Итал.* н. п. ix. 49 кв.

[1276] *Веспас. Фиорент.* стр. 260.

[1277] *Оратории Филельфи*, fol. 8.

[1278] *Septimo Decretal.*.

[1279] Ариосто, *Орландо*, vii. 61. Высмеян в "*Орландино*", iv. 67, 68. Каритео, член Неаполитанской академии Понтана, использует идею о предсуществовании души, чтобы прославить Арагонский дом. Роско, *Леоне X.* изд. Босси, ii. 288.

[1280] Орелли, ad Cic. *De Republ.* л. vi. Сост. Лукан, *Фарсалия*, в самом начале.

[1281] Петрарка, *Эпп. Фам.* iv. 3, iv. 6.

[1282] ФАЙЛ. Villani, *Vite*, p. 15. This remarkable passage is as follows: 'Che agli uomini fortissimi poichè hanno vinto le mostruose fatiche della terra, debitamente sieno date le stelle.'

[1283] *Инферно*, iv. 24 кв. Комп. *Purgatorio*, vii. 28, xxii. 100.

[1284] Этот языческий рай упоминается в эпитафии художнику Никколо делл'Арка:

'Nunc te Praxiteles, Phidias, Polycletus adora
Miranturque tuas, o Nicolae, manus.'

В Берселлисе, *Энн. Воноп.* Murat. xxiii. col. 912.

[1285] В его поздней работе *Actius*.

[1286] Карданус, *De Propria Vita*, глава 13: "Non pœnitere ulius rei quam voluntarie effecerim, etiam quæ male cessisset"; иначе я был бы из всех мужчин самым несчастным.

[1287] *Дискорси*, ii. глава. 2.

[1288] *История семьи*, стр. 114.

[1289] Сост. короткой оды М. Антонио Фламинио в "*Корисиане*" (см. стр. 269):

Dii quibus tam Corycius venusta
Signa, tam dives posuit sacellum,
Ulla si vestros animos piorum
Gratia tangit,

Vos jocos risusque senis faceti
Sospites servate diu; senectam

Vos date et semper viridem et Falerno
Usque madentem.

At simul longo satiatum ævo
Liquerit terras, dapibus Deorum
Lætus intersit, potiore mutans
Nectare Bacchum.

[1290] Флоренцуола, *Опера*, iv. стр. 147 кв.

[1291] Сетевой адаптер. Valori, *Vita di Lorenzo, passim*. О совете своему сыну кардиналу Джованни см. Фаброни, *Лаврентий*, стр. 178, и приложения к книге Роско "Лев X".

[1292] Жо. Пичи Вума, аукцион. Жо. Франк. Пико. For his 'Deprecatio ad Deum,' see *Deliciae Poetarum Italarum*.

[1293] *Оразионе*, Роско, *Леоне X*. ред. Босси viii. 120 (Magno Dio per la cui costante legge); hymn (oda il sacro inno tutta la natura) in Fabroni, 'Laur. adnot. 9; *L'Altercazione*, in the *Poesie di Lor. Magn.* i. 265. Другие названные здесь стихотворения цитируются в том же сборнике.

[1294] Если Пульчи в своем *Морганте* серьезно относится к религии, то он таков в песне xvi. str. 6. Это деистическое высказывание прекрасной язычницы Антеи, возможно, является самым ясным выражением образа мыслей, преобладающего в кругу Лоренцо, которому в определенном смысле дополняют слова деймона Астаротте (процитированные выше, стр. 494).

Типографские ошибки, исправленные переводчиком электронного текста:

изначально принадлежал Флорентийцу=> изначально принадлежал Флорентийцу {стр. 204}

Миланская цитадель=> Миланская цитадель {стр. 38}

природа Линдовико Моро=> природа Людовико Моро {стр. 43}

Die Kriegskunt als Kunst=> Die Kriegskunst als Kunst {pg 98 fn 210}

to проявлять какой-либо интерес=> проявлять какой-либо интерес {стр. 101}

из своих вассалов, законный=> из своих вассалов, законный {стр. 125}

делай это позорными поступками=> делай это позорными поступками {стр. 152}

поддельная хроника Рикардо Малеспини=> поддельная хроника Рикардо Малеспини {стр. 182, стр. 420}

прокладывать себе путь среди язычников=> прокладывать себе путь среди язычников {стр. 206}

к неудовольствию Петрарки=> к неудовольствию Петрарки {стр. 208}

был знаком с трудами=> был знаком с трудами {стр. 227}

теперь полностью утратить свое превосходство=> теперь полностью утратить свое превосходство {стр. 255, стр. 594}

Пьесы Платуса и Теренция=> Пьесы Плавта и Теренция {стр. 242}
и смешался с общим трауром=> и смешался с общим трауром {стр. 296}
заставил их на некоторое время увидеть=> заставил их на некоторое время увидеть {стр. 298}
Я ухожу ненадолго=> Я ухожу ненадолго {стр. 336}
Jo. Pici oratio de hominis dignatate=> Jo. Pici oratio de hominis dignitate {pg 354 fn 805}
он дает нам юмористическое описание=> он дает нам юмористическое описание {стр. 387}
Cronaco di Perugia, Arch. Stor.=> Cronaca di Perugia, Arch. Stor. {стр. 413 кф. 934}
глаза Делио и Ателлано=> глаза Делио и Ателлано {стр. 444}
Гилья Гонзага, 385;=> Джулия Гонзага, 385; {стр. 552}
продолжатели, 217-229.=> продолжатели, 217-229. {стр. 554}
Незаконнорожденность, безразличие к, 21, 22.=> Незаконнорожденность, безразличие к, 21,
22. {стр. 554}
